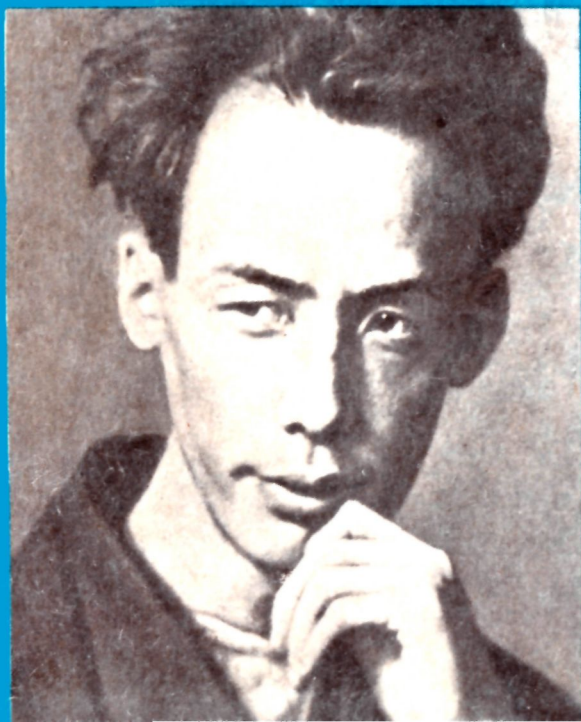


Рюносукэ АКУТАГАВА

.....
Слова пигмея
.....

Рассказы.
Воспоминания. Эссе.
Письма.





**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С. С. АВЕРИНЦЕВ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ, Т. В. БАЛАШОВА,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,
П. М. ТОПЕР, А. А. ФАЙНГАР

**Рюноскэ
АКУТАГАВА**

.....
Слова пигмея
.....

ББК84.5Я

А 44

Составитель, автор предисловия и комментариев
д.ф.н. В. С. ГРИВНИН

Художник В. И. ЛЕВИНСОН

Редактор А. Н. ПАНКОВА

В работе над сборником принял участие Е. В. МАЕВСКИЙ

Акутагава Р.

А 44 Слова пигмея: Пер. с яп. Сост., авт. предисл. и коммент. В. С. Гривнин. — М.: Прогресс, 1992. — 592 с.; (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза.)

ISBN5-01-002673-2

Акутагава Рюноске (1892—1927) — классик японской литературы XX века. Советскому читателю хорошо известен своими новеллами. В настоящем сборнике впервые публикуются его автобиографическая проза, дневники, путевые заметки, письма. Личность писателя, его мысли о политической жизни Японии и ее культуре первой четверти нашего столетия, его эстетические взгляды — таково главное содержание публицистики Акутагавы.

Приурочена к 100-летию со дня рождения писателя.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

А $\frac{47030204000-060}{06(01)-92}$ без объявл.

ББК 84.5 Я

ISBN5-01-002673-2

Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технический редактор *Е. В. Левина*

ИБ № 19196

Издание подготовлено на микроЭВМ
с помощью программы «Вентура Паблшер».

Фотоофсет. Подписано в печать 21.10.91. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Условн. печ. л. 31,08.

Усл. кр. отт. 62,58. Уч.-изд. л. 31,56. Тираж 20000 экз. Заказ № 1190.

Изд. № 47302.

В книге использованы архивные фотодокументы

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»

Государственного комитета СССР по печати. 119847,

Москва, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате

Министерства печати и информации Российской Федерации.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.

© Составление, предисловие, комментарии, перевод на русский язык, кроме отмеченных в содержании *, и художественное оформление издательство «Прогресс», 1991.

В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА



Каждая эпоха открывает выдающегося писателя по-новому, видит в нем то, что созвучно ей, что превращает его в современника тех, кто безраздельно властвует над умами народа. Второстепенное, случайное для писателя все больше отходит на второй план, позволяя ярче высветить главное, истинную суть его творчества. Такое постижение творчества писателя — процесс естественный и неизбежный, поскольку речь идет о неординарной личности, обогнавшей свое время, увидевшей то, что скрыто от современников. Именно поэтому многих писателей мы открываем заново. Они предстают перед нами в новом, неведомом их современникам свете. Не избежал этого и Рюноскэ Акутагава, тем более что родился он на закате XIX века, когда человечество вступило в эпоху трагических потрясений.

Сравнивая оценки творчества Акутагавы в 20-е годы с нынешними, убеждаешься, сколь различны они, а часто и диаметрально противоположны. Диапазон их поистине безграничен. Одни говорили о нем как о поборнике чистого искусства, другие считали его чуть ли не глашатаем революции. Но даже оценки, дававшиеся еще при жизни Акутагавы в 20-е годы, не совпадали потому, что касались разных периодов его творческих исканий и к тому же исходили от людей, стоявших нередко на прямо противоположных позициях. Но что самое интересное, во многом бы-

ли правы и те, и другие. Поборник чистого искусства — и вдруг огромные цензурные выбросы из его новелл, например из тех, где дается характеристика японской армии. Метод Акутагавы, названный им «новым мастерством», казалось бы, ставил форму над содержанием, но вдруг мы находим неожиданное заявление самого писателя, решительно отвергающего подобное предположение, — только единство формы и содержания способно родить истинное художественное произведение, говорит он. В общем, окаяная в творчество Акутагавы, есть над чем задуматься. Замышляя настоящий сборник, мы стремились к тому, чтобы писатель в своих новеллах, миниатюрах, эссе, письмах сам рассказал о себе, о своих творческих позициях, о своих политических симпатиях и антипатиях.

Творчество Рюносукэ Акутагавы — одно из наиболее сложных, противоречивых, но и чрезвычайно интересных явлений в японской литературе XX века. Писатель раскрывает перед нами мир, где скована свобода мысли, свобода творческой фантазии, наконец, свобода в самом главном, самом прекрасном смысле этого слова. Он всегда в поиске — отбрасывает все, что его не удовлетворяет, и устремляется к новой вершине, часто перечеркивая достигнутое, которое на новом этапе поиска представляется ему ложным. Суждения Акутагавы подчас неожиданны и парадоксальны. Ироничность его всеобъемлюща. Однако именно ироничность помогает ему вскрыть суть явления, помогает за саркастической улыбкой скрыть горечь разочарования. Читая его новеллы, ловишь себя на мысли: как широко, как разнообразны интересы писателя, как глубоко волнует его судьба человека, его беды. К его творчеству поразительно подходят слова Джойса, сказавшего как-то, что его намерением было написать главу из духовной истории жизни своей страны.

Независимо от того, где находит Акутагава источник сюжета — в древней хронике, средневековой повести или современности, — произведения его всегда злободневны. Именно в этом жизненность его новелл, именно это объясняет огромный интерес, с которым воспринимаются они сегодняшним читателем.

Успех Акутагавы не просто стабилен — он растет из года в год. Каждое поколение находит в его произведени-

ях что-то важное для себя, прочитывает его заново. Нередко явления, которые мастерски живописует Акутагава, с годами приобретают все более универсальный характер.

Было бы неверным считать, что Акутагава ограничивается лишь описанием современного ему японского общества. Нет, он идет дальше — обнажает его пороки, остро, беспощадно рисует носителей зла. Однако превращать его из критика, обличителя несовершенного общества, в глашатая, зовущего на баррикады, все же не следует. В то же время было бы неверно говорить об Акутагаве как о поборнике чистого искусства, как о человеке, замкнувшемся в узком эстетском мире. Творчество писателя неизмеримо глубже, многограннее.

Акутагава — родоначальник современной японской литературы. Именно его творчество способствовало тому, что японская литература влилась в общий поток мировой. Прочно оставаясь на национальной почве, он смог воспринять достижения мировой культуры, причем не эпигонски, не эклектически, а творчески, глубоко проникнув в их суть. Влияние Акутагавы на японских писателей огромно. Признают они это или нет, но вряд ли можно сомневаться, что так, как писали до него, писать уже было невозможно. И в первую очередь потому, что он слил национальное, традиционное и интернациональное в монолитный сплав, что и определило качественный скачок современной японской литературы. Вот почему правильно понять и оценить творчество Акутагавы — значит правильно понять и основные направления развития японской литературы двадцатого века.

В любой его новелле, начиная с самой ранней и кончая последней, итоговой, можно увидеть искаленную душу, человеческое же величие обнаруживается чрезвычайно редко. И это не потому, что Акутагава неисправимый пессимист. Нет, он реалист — и в творчестве, и в умении увидеть жизнь во всей ее полноте, многообразии и, главное, во всей ее драматической правде. А общество Японии, особенно тех лет, давало мало поводов для оптимистического его изображения.

Япония готовилась стать в ряд мировых держав, а для этого в первую очередь необходимо было экономическое и военное могущество. Нравственные, моральные, этические нормы — все отступает на второй план. Страна с многовековой

культурой, страна, чуть ли не тысячу лет назад давшая миру первый в истории человечества роман «Повесть о Гэндзи», страна утонченного поэтического творчества, уникальной живописи безжалостно растаптывала свои культурные традиции во имя подготовки почвы для колониальных захватов. Японо-китайская война 1894—1895 годов не оставила в этом ни малейших сомнений. Бездуховность стала знаменем правителей Японии. Таковы были условия, в которых рос и воспитывался будущий писатель.

Акутагава родился в Токио 1 марта 1892 года в районе Кё-баси, где в то время жили в основном иностранцы. Лишь три дома принадлежали японцам, и один из них — семье Акутагавы. Не исключено, что именно этот факт — одна из причин интереса будущего писателя к культуре далеких, неведомых стран, регулярные отношения с которыми еще только зарождались. Но не это было главной причиной такого интереса. Жизнь Японии конца прошлого — начала нынешнего века звала людей, принадлежавших к поколению Акутагавы, с надеждой смотреть на Запад, считая его эталоном для переустройства Японии.

Отцом Рюноскэ был Ниихара Носидзо, торговец молоком, имевший пастбища на окраине Токио. Рюноскэ родился, когда отец и мать были уже далеко не молоды и, следуя старинному обычаю, сделали вид, будто ребенка им подкинули. Формально отцом стал управляющий одной из молочных лавок, принадлежавших настоящему отцу. И хотя это было сделано лишь из суеверных соображений, отец и в самом деле перестал считать его родным сыном. Вскоре после рождения Рюноскэ у матери появились признаки психического расстройства, и, когда мальчику было десять лет, она умерла. Душевная болезнь матери, безразличие отца — под этим знаком прошло его детство. Над ним всю жизнь тяготел ужас безумия.

Незадолго до смерти матери Рюноскэ взяли в семью ее старшей сестры. Муж сестры, человек образованный, служил начальником отдела в Токийском муниципалитете. Немного рисовал, писал стихи. В его обширной библиотеке была широко представлена японская и китайская классика. Приверженец старого классического образования, он стремился и у приемного сына пробудить интерес к японской старине. Современность он воспринимал как неиз-

бежное зло, которое погубит Японию, если она забудет о своих многовековых традициях. В этом духе он и воспитывал приемного сына. Первое ему удалось — Рюноскэ стал настоящим знатоком японской классики, что сослужило ему добрую службу, когда он занялся писательским трудом. Заставить же его погрузиться в безмятежность старины, забыв о радостях и бедах современной ему Японии, приемному отцу не удалось.

Район Хондзё, где жил Рюноскэ, был в то время, если можно так сказать, заповедным уголком уходящей феодальной Японии. Здесь еще была жива Япония старинных сказаний. Именно наблюдавшееся в ней на переломе эпох причудливое сочетание старого и нового нашло впоследствии отражение в творчестве писателя, и не только в том, что многие сюжеты его новелл почерпнуты из древней и средневековой литературы, но и в самом стиле его произведений. Ясность, краткость, отточенность фразы, полный отказ от внешней красоты, лаконичность, даже скупость в обрисовке персонажей, не просто рассказ о том, что произошло, а само действие — все это присуще писателю и, несомненно, восходит к стилю старинных повестей.

Поскольку уж речь зашла о японской старине, следует остановиться на этом чуть подробнее. В «Заметках Тёкодо» можно прочесть такие слова: «В своих новеллах я пишу о старине, но по этой старине я совсем не тоскую. Я благодарен судьбе, что родился не в хэйанскую эпоху, не в период Эдо, а в сегодняшней, нынешней Японии».

Новеллы Акутагавы традиционно подразделяются японскими критиками на исторические и новеллы из современной жизни. Сразу же заметим — такое деление искусственно. Оно не только не способствует проникновению в творчество писателя, но, наоборот, препятствует этому.

Обосновывая свое обращение к древним и средневековым сюжетам, Акутагава писал, что необходимость черпать материал в древности возникает у него лишь в том случае, когда ему нужно с максимальной художественной силой раскрыть тему, а совсем не для того, чтобы воссоздавать древность.

Знаменательны его слова: «Душа человека в древности и душа современного человека имеют много общего». В этом все дело, здесь секрет творческого метода писателя.

Акутагава искал в древности аналогии поступков, мыслей, психологии современных ему людей. Не потому ли в его исторических новеллах почти полностью отсутствуют приметы времени, а герои действуют так, будто автор только вчера встретил их на Гиндзе? Герои же новелл, взятые из сказок, не имеют ничего общего со сказочными, буквально врываются в живую жизнь.

Акутагава был не только выдающимся писателем, но и ярким представителем японской интеллигенции начала века, той ее части, которая видела путь культурного возрождения страны не в национальной изоляции, уже не однажды отбрасывавшей Японию на много веков назад в ее духовном развитии, а в широких связях с Западом. Национальное и интернациональное во взаимодействии, взаимопроникновении, взаимообогащении — только так может быть достигнут прогресс общества. Такова была позиция передовой японской молодежи, к которой принадлежал Акутагава. При этом не следует забывать, что прошло немногим более пятидесяти лет с тех пор, как закончилась изоляция Японии, длившаяся более двухсот лет, и она возобновила общение с внешним миром. В страну устремилась, пусть не безбрежным, но все же достаточно широким потоком европейская культура, причем и в лучших, и в худших образцах. Японская интеллигенция реагировала на это двояко. Молодежь безоговорочно принимала одно модное течение за другим (и в литературе, и в искусстве, и в философии), часто не успев критически осмыслить воспринятое — все, что шло с Запада, казалось прогрессивным хотя бы потому, что оно притекало извне в «Страну рутины», как часто называла Японию молодежь. Национальные традиции рассматривались как отжившие, мертвые, как груз, тянувший страну назад. Старшее поколение, наоборот, ко всему пришлому относилось с опаской и недоверием, видя в нем угрозу национальным традициям. При этом традиции рассматривались в целом как нечто однородное, нерасчленимое, и поэтому упускалась из виду та их часть, которая должна была отмереть хотя бы потому, что была тормозом в социальном и духовном развитии Японии.

Итак, молодежь на все западное смотрела как на откровение, а ко всему своему, национальному относилась резко критически, старшее же поколение — наоборот. Но самое худшее здесь было то, что соотношение «Япония —

Запад» рассматривалось в большинстве случаев с точки зрения эмоций, а не глубокого знания предмета. Западная литература, так же как и японская традиция, представляла в виде единого целого, что влекло к искажению картины, позитивному восприятию того, что достойно было критики, и наоборот.

Борьба между традиционалистами и сторонниками осовременивания Японии была сродни борьбе между славянофилами и западниками в России — интеллигенция искала пути обновления страны. Акутагава в этом споре занимал принципиальную и последовательную позицию — учиться у Запада, перенимая все прогрессивное, но оставаясь при этом на национальной почве. Статьи и письма Акутагавы убеждают нас, насколько вдумчиво и всесторонне изучал он, а иногда и критиковал произведения даже непререкаемых литературных авторитетов Запада, как глубоко постигал их.

Именно эта способность к критической оценке как достижений западной литературы, так и ее слабостей, к учебе на лучших ее образцах, на ее вершинных достижениях способствовала рождению писателя, свободного от предвзятого отношения к чужой культуре, от националистических шор, мешающих адекватному ее восприятию.

В 1913 году Акутагава поступил в Токийский университет. Он мечтал об отделении английской литературы, надеясь систематизировать и углубить знания, полученные в колледже. Университет, надеялся он, развернет перед ним многокрасочную, живую картину английской литературы, покажет ее значение в развитии мировой культуры, поможет глубже проникнуть в тайны писательского мастерства, научит мыслить широко и объективно. К сожалению, надежды его не сбылись. Университет разочаровал его, оказавшись цитаделью рутины. Схоластика и формализм, стремление вложить в головы студентов как можно больший объем знаний, часто никому не нужных, — вот что господствовало в те годы на литературном отделении. Поэтому занятия в университете очень мало способствовали духовному развитию Акутагавы, формированию его как писателя. Место университета занял журнал «Синситё». Можно без преувеличения сказать, что именно этот журнал, основанный Акутагавой и его товарищами в 1914 году, в полном смысле этого слова сформировал и вывел на творческую стезю писателей, которым суждено было,

в первую очередь благодаря Акутагаве, оставить глубокий след в японской литературе. Так родилась группа «нового мастерства», провозгласившая своим творческим методом неореализм, а если говорить точнее, реализм, противопоставленный натурализму и его крайнему выражению, получившему широкое распространение в Японии начала века, — эгобеллетристике.

После окончания университета в 1916 году Акутагава начинает работать преподавателем английского языка в военно-морской школе механиков в Иокосуке. Но профессия педагога ему не по душе, его призвание — литература. Уже в 1919 году Акутагава покидает школу. «Теперь я, в отличие от того, что было прежде, целиком посвящу себя творчеству, — пишет он в одном из писем. — Что же касается императорского флота, то его можно лишь поздравить с тем, что он избавился от такого бездарного преподавателя, как я».

Последние восемь лет жизни — период расцвета творчества писателя, когда было создано большинство новелл, эссе, миниатюр. В 1927 году Акутагава покончил жизнь самоубийством. Называют самые разные причины его трагического решения. Но, думается, главная — страх повторить судьбу матери, чувство, что он оказался в творческом тупике.

Уже первый сборник новелл Акутагавы «Расёмон», вышедший в 1917 году, принес писателю известность. Это была новая литература, еще неизвестная Японии. Внутренний мир человека, психология человека как объект познания, а не только как объяснение его поступков — вот то новое, что, следуя за Достоевским, принес в японскую литературу Акутагава, вот та новая грань реализма, которая в прошлом в японской литературе отсутствовала. Причем Акутагава показал внутренний мир человека не обособленно, а в столкновении с окружающим миром.

Пройдя через ученичество, характеризующееся увлечением, хотя и кратковременным, западным декадансом, и в первую очередь символизмом Метерлинка (весьма характерна в этом смысле одна из первых его новелл «Юноши и смерть», в которой удивительно переплетаются буддийская притча и западная символика), Акутагава вступил в период поиска своей темы. Но уже и тогда, даже в первых

новеллах, можно увидеть черты, характерные для зрелого Акутагавы: стремление постичь сущность человека, психологию его поступков.

В дальнейшем писатель касается все новых сторон человеческого характера и общества. Он переходит к критике нравов, создает новеллы, вскрывающие пороки, рисующие несовершенство людей и общества, в котором они живут. Акутагаву влечет духовная сторона жизни человека. И в своих новеллах он прежде всего касается проблем морали и религии — буддизма, христианства, бусидо, проблемы взаимосвязи искусства и жизни, социальной несправедливости.

Наконец, в последние годы жизни Акутагава приходит к большим темам современности, создав ряд остросоциальных произведений. Именно в этот период Акутагава пишет: «Социализм не объект дискуссий о том, правомерен он или нет. Социализм неизбежен».

В начале века одной из самых популярных в Японии зарубежных литератур стала русская литература, и творчество Акутагавы неопровержимо доказывает, что он многому у нее учился. Акутагава точно определил истинное место русской литературы в культурной жизни Японии: «Если вы хотите узнать, какие из русских романов оказали наибольшее влияние на современную Японию, читайте Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова». Писатель был потрясен тем необъятным миром, который разворачивали перед ним эти писатели. Он преклонялся перед их могучим талантом. «Сегодня читал рассказы Чехова... Мало всей жизни, чтобы написать на таком же уровне», — говорит он в письме одному из своих друзей.

Можно ли после этого удивляться тому, что описание героя «Бататовой каши» Акутагавы почти текстуально совпадает с описанием Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя, басенка, рассказанная Грушенькой из «Братьев Карамазовых», перенесена на японскую почву в «Паутинке», трагедия уходящего дворянства в «Вишневом саде» явилась темой «Сада», в котором писателем заимствован весь образный строй чеховской пьесы. Поэтому нет ничего странного в том, что Акутагава называл великих русских писателей своими учителями. Но, в свою очередь, и Акутагава оказался близок русскому читателю. Более того, он явился тем писателем, который привлек внимание широ-

ких читательских кругов нашей страны к японской литературе.

Первые переводы новелл Акутагавы появились в нашей стране в 1924 году. Это были «Дзюриано Китискэ» и «Тело женщины». В 1926 году была переведена новелла «В бамбуковой роще». Таким образом, еще при жизни Акутагавы в Советском Союзе вышли три его новеллы. Это, разумеется, очень немного, но советский читатель все же получил возможность оценить выдающийся талант японского писателя. Однако настоящая встреча с Акутагавой произошла в 1936 году, когда был выпущен сборник «Расёмон». Весьма знаменательно, что примерно через двадцать лет после появления в Японии в Советском Союзе вышел сборник Акутагавы, носящий то же название, что и принесший писателю славу в его стране. Причем в него были включены в основном переводы новелл из японского сборника. Японская читающая публика приветствовала рождение нового писателя, на десятилетия определившего пути развития национальной литературы. То же произошло и у нас в 1936 году — Акутагава прочно вошел в культурную жизнь нашей страны.

В 1952 году в Советском Союзе был выпущен новый, значительно расширенный сборник новелл Акутагавы, в 1971-м — двухтомник, в который вошли большинство новелл писателя. Это издание было почти полностью повторено в серии «Библиотека всемирной литературы» в 1974 году. С тех пор произведения Акутагавы выходят в нашей стране регулярно.

Даже этот беглый перечень достаточно красноречиво говорит об огромной популярности Акутагавы. В чем же дело? Что привлекло советского читателя к его творчеству?

Прежде всего это демократизм, помноженный на высочайшее художественное мастерство. Акутагава писал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет. Шекспир, Гёте, Мондзаэмон Тикамацу смертны. Но породившее их лоно — великий народ бессмертен».

Это четкое, точное выявление своего места в культурной жизни страны, верное понимание соотношения «народ — художник», определяло творческую сущность Акутагавы, пафос его творчества.

Первым произведением, которое в полном смысле слова стало отправной точкой стремительного литературного

восхождения Акутагавы, стала новелла «Нос», появившаяся в 1915 году и удостоенная высокой оценки его учителя, выдающегося японского писателя Нацумэ Сосэки. «Ваша новелла показалась мне чрезвычайно интересной, — писал он. — Это по-настоящему высокохудожественное произведение, полное юмора, но юмора спокойного, лишённого шутовства... Правильно выбран стиль, соответствующий содержанию новеллы. Я восхищён. Написав таких же двадцать-тридцать произведений, вы превратитесь в писателя, которого еще не знала наша литература».

Столь восторженный отзыв о новелле начинающего писателя был продиктован не столько мастерством, хотя уже и в ней можно было увидеть черты крепнувшего таланта, сколько тем, что творческие идеалы молодого Акутагавы и Нацумэ удивительно совпадали. Свой творческий путь Акутагава начал с новелл, вскрывающих моральную и духовную ущербность человека, мизерность, часто недостойность владеющих им помыслов и желаний, его эгоизм. В этом он, несомненно, следовал за своим учителем. Достаточно вспомнить слова из романа «Сердце»: «...На свете не существует заранее созданных по шаблону злодеев. Но в критический момент они вдруг превращаются в злодеев — это страшно».

Следует отметить, что все эти людские качества не были только этической проблемой, касающейся личности как таковой. Оба они рассматривали их как острую социальную проблему, характерную для японского общества тех лет, как «государственный эгоизм» Японии, опоздавшей с выходом на мировую арену и теперь растаптывающей моральные нормы, чтобы вырваться вперед, грабящей соседей и называющей это «высшей справедливостью». Именно поэтому романы Нацумэ, а вслед за ними и новеллы Акутагавы воспринимаются не как нравоучения, порицающие зло и превозносящие добро, а как исследования законов общества, разоблачающие его пороки. Пройдет всего лишь несколько лет, и Акутагава назовет японское общество обществом, проникнутым рабским сознанием, и добавит: «Без рабского сознания японскому обществу не просуществовать и дня».

Моральная ущербность человека, зло, которое он творит, зачастую не осознавая того, что он делает, скудность, никчемность, часто недостойность его устремлений, порочность, гниль, составляющие сущность японской армии,

сатира на псевдокультуру, на псевдоцивилизованность, острая, даже беспощадная критика узконационалистического понимания феодальной морали бусидо, в которой некоторые представители японской интеллигенции того времени видели панацею, способную излечить Японию от всех социальных и духовных болезней, разъедающих страну, — все эти темы можно увидеть уже в ранних, относящихся к 1915—1916 годам новеллах Акутагавы. Причудливо переплетая вымысел и реальность, что стало характерным для творчества писателя стилем, Акутагава живописует современную ему японскую действительность. В центре внимания — сам человек. Пока что писателя интересует лишь индивид, его духовный мир, его психология, его мировоззрение — не более. Серьезные социальные обобщения еще не делаются. Читатель сам должен прийти к ним. Именно так следует оценить «Расёмон» и «Нос», «Ад одиночества» и «Табак и дьявол», «Бататовую кашу» и «Отца», «Обезьяну» и «Носовой платок».

Но, повторяем, уже они давали серьезную пищу для раздумий. Рассказывает ли Акутагава историю многовековой давности, как, например, в «Расёмоне» или «Аде одиночества», или ведет речь о том, что случилось буквально на его глазах, как, например, в «Носовом платке» или «Обезьяне», он всегда останется верен себе — всегда вскрывает психологические мотивы человеческих поступков, выясняя, почему, подчас даже не сознавая этого, человек поступает безнравственно, или задумываясь, как низко заставляют его пасть жизненные обстоятельства. Акутагава понимал причины, но никогда не оправдывал человеческой низости, подлости, хотя ни в одной из его новелл мы не найдем обличений. Он прибегал к другому, гораздо более мощному оружию — к иронии. Вот ее-то в его новеллах в избытке.

Творчество Акутагавы последующих периодов развивает названные выше темы, новеллы его стали сложнее и глубже, гораздо ярче окрашены социально. Сатира на японскую военщину, например, в «Генерале» или «Момотаро» по своей остроте не идет ни в какое сравнение с подобной же сатирой в «Обезьяне». Но тот факт, что военная тема, прозвучавшая в самом начале его творческого пути, послужила запалом для будущих его антивоенных новелл, несомненен.

1917—1921 годы были решающими для Акутагавы — современность заняла главенствующее место в его творчестве. Позже, когда он целиком перешел к темпам современности, начинают меняться и его герои. Писатель все глубже проникает в их внутренний мир, неразрывно увязывая его с окружающей социальной действительностью. И тогда читатель уже с полным основанием воспринимал частный случай как типический, личную драму персонажа как драму века. Но черты того, что в последующем станет органической сущностью творчества Акутагавы — социальная незащищенность человека, — уже можно обнаружить во многих новеллах этого периода. Достаточно назвать «Учителя Мори», «Мандарины», «О-Рицу и ее дети», «Тень», «Странную встречу».

Нет никакого сомнения в том, что все более острое социальное звучание новелл Акутагавы в этот период непосредственно связано с тем, что происходило в мире. Акутагава формировался как писатель-реалист в переломную эпоху. С каждым годом в Японии росло и ширилось социалистическое движение, мощным стимулом развития которого послужила Октябрьская революция в России. Об этом нельзя забывать, говоря об эволюции творчества писателя. Акутагава принял Октябрьскую революцию. Это было естественно и неизбежно для человека, не только видящего пороки современного ему общества, но и остро реагирующего на них. Принял он революцию как гуманист, считая новый социальный строй способным навсегда покончить с социальной несправедливостью, что нашло отражение в его творчестве.

Именно поэтому нельзя согласиться с точкой зрения, до сих пор бытующей в японской критике, отметим это еще раз, что Акутагава — поборник чистого искусства, писатель, стоявший в стороне от жизни. При этом игнорируются не только вся творческая практика писателя, но и его собственные слова. Акутагава писал: «Существует вульгарная точка зрения, что литература не связана с политикой. Это неверно. Скорее можно сказать, что особенность литературы состоит как раз в том, что она существует благодаря возможности быть связанной с политикой». Трудно сказать яснее и определеннее. Столь же категоричен Акутагава непосредственно в оценке идеи чистого искусства. «Искусство для искусства, — писал он, — во всяком случае, искусство для искусства, когда речь идет

о художественном творчестве, может вызвать лишь зевоту». В то же время он стоит на совершенно четких позициях в понимании природы и сути творчества: «Художник, я уверен, всегда создает свое произведение сознательно. Однако, познакомившись с самим произведением, видишь, что его красота или безобразие наполовину порождены таинственным миром, лежащим вне пределов сознания художника».

Именно такая позиция Акутагавы позволила ему точно определить значение и возможности, в частности, пролетарского литературного движения в Японии. «Я с большим интересом слежу за тем, как бойцы пролетариата избирают в качестве своего оружия искусство. Они всегда будут свободно владеть этим искусством», — писал он. Одновременно он критиковал слабости пролетарского литературного движения, и в первую очередь недостаточную требовательность к качеству. «Если считать, что для пролетарской литературы все сойдет, если считать, что это просто литература политически окрашенная, — значит пренебрежительно относиться к ней», — подчеркивал Акутагава. Другими словами, считая пролетарское литературное движение весьма важным и перспективным явлением культурной жизни Японии, он в то же время выступал за качественный его подъем — главное, что могло обеспечить его влияние на широкие читательские слои. Акутагава критиковал сектантскую узость, которая была свойственна этому движению и не позволила вовлечь в его орбиту многих японских писателей, разделявших его пафос.

Таким образом, поворот Акутагавы к современности был вполне закономерен. Но здесь необходимо сделать оговорку. Мы уже подчеркивали, что независимо от того, из какого исторического пласта черпал Акутагава сюжет для своих новелл, они всегда были обращены к современности, всегда были связаны с действительностью, в которой жил писатель. Это относилось не только к новеллам психологическим (а таких было большинство), но и к новеллам на исторические темы. Это совершенно верно. Едва ли можно подразделять новеллы Акутагавы на чисто исторические и чисто современные. Но все же новеллы, построенные на материале, восходящем к средневековью, использующие сказочные сюжеты, почерпнутые из «Кодзики», отмечены некоей камерностью. Их соотношение с

современностью подчас должно было угадываться только самым внимательным читателем. С современностью соотносились лишь общечеловеческие проблемы, свойственные любой эпохе. Акутагава, рассказывая в «Бататовой каше» о самодурстве средневекового правителя и о маленьком человеке со скромными желаниями, подразумевал и самодурство современных правителей, и ничтожность современных чиновников. В «Муках ада», повествуя о средневековом художнике, противопоставившем искусство жизни, писатель явно имел в виду и художника современного, исповедующего чистое искусство. Все это верно. Но рассказать о своей эпохе во всей полноте и сложности, о всех ее бесчисленных, серьезнейших проблемах, волнующих современников, можно было, только обратившись непосредственно к тому времени, в котором живешь.

Однако японская действительность двадцатых годов, характеризовавшаяся огромным накалом политической обстановки в Японии, не могла не оказать влияния и на Акутагаву. В двадцатые годы социальные проблемы в Японии приобрели такую остроту, что честный художник уже не мог ограничиться сферой морально-этической. Именно к этому времени относится обращение Акутагавы к одному из своих товарищей Кё Цунэто: «Хочу познакомиться с социалистическими идеями — пришли мне книги, которые есть у тебя под рукой». Цунэто вспоминает, что он выполнил его просьбу.

Как уже говорилось, последние годы жизни Акутагавы знаменовались разработкой больших тем современности — социальная несправедливость, незащищенность человека, военная истерия, захватывающая все более широкие слои общественности. Пороки современного ему общества критикуются уже с совершенно четких позиций, и непримирима его критика милитаризма. Она просматривается не только в новеллах «Три окна», «Момотаро», но и в эссе, письмах, многочисленных статьях. Акутагава в полной мере демонстрирует возросшую зрелость социального мышления, критикуя уже не отдельные пороки общества, а его антигуманность в самом широком смысле этого слова. Особенно отчетливо прослеживается это в его новеллах «Ком земли», «Любовный роман», «Мать».

Как уже говорилось, в начальный период своего творчества Акутагава абстрагировался от вопросов социально-политических, интересуясь главным образом проблемами

морально-этическими. Теперь же, в 1921—1927 годах, он пришел к обостренному восприятию социальной несправедливости, к пониманию, хотя в чем-то и ограниченному, проблем политических, что нашло яркое отражение в «Неком социалисте», «Зубчатых колесах», «Словах пигмея».

Но было бы неверно утверждать, что, обращаясь к важным социальным проблемам, Акутагава полностью отошел от художественного анализа духовного мира человека. Духовный аспект человеческой жизни до последних дней писателя оставался стержнем его творчества. Поэтому совершенно естественно, что даже самые острые социальные проблемы, поднятые им в новеллах этого периода, глубоко психологичны.

Однако здесь следует обратить внимание на то, что если раньше психология человека, внутренний мир человека нередко рассматривались писателем как нечто изолированное, вневременное, как нечто присущее человеческой природе вообще, независимо от условий жизни общества, то новеллы, относящиеся к последнему периоду его творчества, посвящены уже совершенно четко и определенно жизни именно японского общества тех лет, а не некоему анонимному социальному образованию вне времени и пространства.

Результатом идейных и творческих исканий Акутагавы, итоговым произведением, продемонстрировавшим зрелость его как обличителя социального зла, явился памфлет «В стране водяных» — яркая, беспощадная сатира на современное ему японское общество.

Акутагава — художник честный. О трагедии человека он говорит прямо и открыто, не приукрашивая тягот, выпадающих на его долю. Его оружие — правда. Главный вывод, к которому он подводит читателя, можно сформулировать так: только в том случае, если человек, пройдя через ошибки и разочарования, сможет сбросить с себя скверну лжи, эгоизма, бездуховности, сможет противопоставить себя лицемерию и всем другим бесчисленным порокам общества, в котором он живет, и тем самым найдет в нем свое место, не подлаживаясь к нему, но борясь с окружающим злом, то есть, если человек сможет найти себя, то он победит, и эта победа будет первым шагом к перестройке социальных отношений, к возобладанию разума над тьмой.

Составляя настоящий сборник, мы видели свою задачу в том, чтобы Акутагава сам рассказал о своей жизни, о своих идейных и творческих исканиях. Те, кто прочтет его, смогут, мы надеемся, достаточно ясно увидеть, что представляет собой далекий японский писатель, открывший новую страницу в мировой литературе.

В. Гривнин

НОВЕЛЛЫ, МИНИАТЮРЫ



ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Я, разумеется, очень рад, что мои произведения переводятся на русский язык. Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и даже скорее на японские читательские слои такое же влияние, как русская. Даже молодежь, не знакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия... Тот факт, что современная японская литература испытала на себе огромное влияние современной русской литературы, объясняется, несомненно, тем, что современная мировая литература в целом испытала на себе огромное влияние современной русской литературы. Но еще более важная проблема заключается в том, что объяснение этому, как мне думается, следует искать в сходстве характеров русских и японцев. Мы, современные японцы, благодаря произведениям великих русских реалистов в общих чертах смогли понять Россию. Постарайтесь и вы, русские, понять нас, японцев. (Мы, японцы, чувствуем себя в мире совершенно одинокими в сфере искусств, исключая изобразительное и прикладное.) Среди современных японских писателей я не самый крупный. Более того, я даже сомневаюсь, самая ли я подходящая фигура, с которой следовало бы познакомить Россию. Япония после 1880 года родила множество талантов. Эти таланты либо, подобно Уолту Уитмену, восславляли человека, ли-

бо, подобно Флоберу, правдиво рисовали жизнь буржуазии, либо, наконец, воспевали традиционную японскую красоту, присущую одной лишь нашей стране. Если вслед за переводами моих произведений русские познакомятся и с произведениями этих талантов, радоваться буду не я один. Мое предисловие кратко, но его написал японец, который считает ваших Наташу и Соню нашими сестрами. С этой мыслью и читайте написанное мною.

ПОМИНАЛЬНИК

1

Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви. Я помню мать в нашем родном доме в Сиби, ее прическу с гребнями; она всегда сидела одна и курила длинную трубку. У нее было маленькое личико, и сама она была маленькая. Как-то, читая «Сиянци», я встретил слова «запах земли и вкус грязи» и вдруг вспомнил лицо моей матери — ее иссохший профиль.

Естественно, что мать несколько обо мне не заботилась. Помню, однажды, когда я с моей приемной матерью, навещая ее, поднялся к ней в мезонин, она сильно ударила меня трубкой по голове. Однако чаще мать бывала очень тихой. Мы с сестрой приставали к ней, просили нарисовать нам картинку. И она рисовала на четвертушках листа. Не только тушью. Акварельными красками моей сестры она рисовала наряды девушек, травы и деревья. Но лица людей на этих картинках всегда походили на лисьи мордочки.

Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Умерла не столько от болезни, сколько от истощения. В памяти у меня сохранились лишь обстоятельства ее смерти, и то смутно.

Я, видимо, приехал, получив телеграмму о том, что мать при смерти. Темной безветренной ночью мы с приемной матерью примчались на рикше из Хондзё в Сибу. Я и сейчас не ношу кашне. Но помню, что как раз той ночью шея у меня была повязана легким шелковым платочком с пейзажным рисунком китайской школы. Помню, что от платочка пахло духами «Ирис».

Мать лежала в просторной гостиной прямо под мезонином. Мы с сестрой, которая была старше меня на четыре года, сели у изголовья и заплакали навзрыд. Когда кто-то у нас за

спиной произнес: «Она умирает, она умирает», горе с особой силой охватило нас. Но мать, до сих пор лежавшая как мертвая, с закрытыми глазами, вдруг открыла их и что-то сказала. И мы, несмотря на нашу печаль, тихонько засмеялись.

Следующей ночью я просидел возле матери почти до рассвета. Но почему-то слезы не лились, как накануне. Чуть ли не пристыженный почти непрерывным плачем сестры, я всеми силами старался сделать вид, что плачу. И в то же время верил, что, поскольку не могу плакать, мать, возможно, и не умрет.

На третий день вечером мать без всяких страданий скончалась. Перед самой смертью к ней как будто возвратился разум, она посмотрела на нас, и из глаз у нее полились слезы. Но она ни слова не проронила.

Когда мать положили в гроб, я уже не мог удержаться от слез. Дальняя родственница, «тетка из Одзи», сказала: «Ну и молодец же ты!» Но я только удивлялся, почему же я молодец.

В день похорон сестра с посмертной табличкой и я с благовониями для возжигания поехали на рикше. Время от времени я засыпал и пробуждался в страхе, что уронил благовония. Мы никак не могли добраться до Янаки. Под осенним ясным небом довольно длинная похоронная процессия медленно следовала по улицам Токио.

День смерти моей матери — 28 ноября. Ее посмертное имя Кимёин-мёдзёниссин-дайси. А между тем я не помню ни дня смерти, ни посмертного имени моего родного отца. Вероятно, потому, что в одиннадцать лет запомнить день смерти и посмертное имя составляло для меня предмет гордости.

2

У меня есть старшая сестра. Человек она больной, но, несмотря на это, у нее двое детей. Разумеется, я не хочу включать эту сестру в «Поминальник». Речь идет о другой сестре, которая совсем юной внезапно скончалась еще до моего рождения. Из нас, троих детей, говорят, она была самой умной.

Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. В нашем доме на буддийской божнице до сих пор стоит фотография Хаттян в маленькой рамке. Она вовсе не была слабенькой. Ее пухленькие щечки с ямочками как спелый абрикос...

Что ни говори, отец и мать больше всех любили Хаттян. Ее водили с улицы Синсэндза в Сибире, в детский сад мадам Саммаз в доме родителей моей матери — в доме Акутагава в Хондзё. В этих случаях Хаттян всегда надевали вошедшее в моду в двадцатых годах Мейдзи европейское платье. Помню, когда я ходил в начальную школу, мне как-то дали обрезки от платьев Хаттян и я наряжал в них резиновых кукол. Все это были лоскуты импортного ситца с узором из цветов или изображением музыкальных инструментов.

Как-то в начале весны, в воскресенье, Хаттян, гуляя по саду, обратилась к тетушке, сидевшей в гостиной у раздвинутых сёдзи (я представлял себе, что в это время сестра, конечно, была в европейском платье).

— Тетушка, что это за дерево?

— Какое дерево?

— Вот это, с почками.

В саду родителей моей матери росло низенькое дерево айвы, склонившееся над старым колодцем. Вероятно, Хаттян, смотрела на его колючие ветки широко раскрытыми глазами.

— Это айва, у этого дерева почти такое же имя, как у тебя, глупышка.

Но шутка тетушки осталась непонятой.

— Значит, это дерево тоже зовется глупышкой?¹

Стоит заговорить о Хаттян, как тетушка всякий раз возвращается к этому диалогу. И действительно, кроме этого рассказа, никаких воспоминаний о Хаттян не осталось. Через несколько дней она оказалась в гробу. Я не помню посмертной таблички, на которой было бы вырезано «Хаттян». Но, как ни странно, ясно помню, что день ее смерти — 4 мая.

Почему я питаю к этой сестре — сестре, которую совсем не знал, — теплое чувство? Если б Хаттян осталась в живых, ей было бы сейчас за сорок. Может быть, лицом сорокалетняя Хаттян походила бы на мать, которая с отсутствующим взглядом курила трубку в доме в Сибире? Иногда я чувствую, что за моей жизнью пристально следит какой-то призрак — сорокалетняя женщина, то ли мать, то ли сестра. Причиной ли тому мои нервы, расшатанные кофе и табаком? Или сверхъестественная сила, которая в некоторых случаях являет свой лик реальному миру?

¹ Игра слов "айва" — бокэ, "глупышка" — бака.

Поскольку моя мать сошла с ума, я почти сразу же после рождения был отдан приемным родителям (дяде со стороны матери). К родному отцу я был равнодушен. Он был фермером, добившимся известного преуспевания. В то время с новыми фруктами и напитками меня знакомил только отец: с бананами, мороженым, ананасами, ромом, может быть, и еще с чем-нибудь. Я помню, как пил ром в тени дуба в Синдзюку. Это был совсем слабый напиток желтоватого цвета.

Предлагая мне, малышу, такие редкости, отец надеялся, что я вернусь к нему от приемных родителей. Помню, как однажды вечером, угощая меня мороженым в ресторане в Омори, он уговаривал меня бежать оттуда. В таких случаях отец говорил очень убедительно и сладкоречиво. Но, к сожалению, его уговоры никогда не имели успеха. Я любил приемных родителей, а еще больше тетушку.

Кроме того, отец был вспыльчив и часто ссорился то с тем, то с другим — он мог поссориться с кем угодно. Когда я учился в третьем классе средней школы, мы с ним как-то стали бороться и я, применяя свой любимый прием, быстро его одолел. Не успел он подняться, как подступил ко мне со словами: «Еще разок». Я опять без труда его повалил. Отец со словами «Еще разок» вновь набросился на меня, изменившись в лице. Смотревшая на нас тетушка сделала мне знак глазами. Поборовшись с отцом, я нарочно упал навзничь. Но не уступил я тогда ему, отец непременно поколотил бы меня.

Мне было двадцать восемь лет, и я еще преподавал, когда пришла телеграмма, что отец в больнице, и я поспешно отправился из Камакуры в Токио. Отец попал в больницу с инфлюэнцей. Дня два или три мы с тетушкой из дома приемных родителей и с тетушкой из родного дома провели в больнице, буквально ютясь в углу. Понемножку я стал скучать. А тут знакомый корреспондент-ирландец позвонил мне, приглашая пообедать с ним в японском ресторане в Цукидзи. Под предлогом, что этот корреспондент скоро уедет в Америку, я оставил находившегося при смерти отца и отправился в Цукидзи.

Мы с несколькими гейшами весело пообедали. Обед закончился в десять. Простившись с корреспондентом, я спустился по узенькой лестнице, как вдруг меня окликнули: «А-сан!», Остановившись я взглянул вверх. На меня пристально смотрела одна из бывших с нами гейш. Я молча спу-

стился с лестницы и сел в такси, стоявшее у входа. Такси сразу тронулось. Я думал не столько об отце, сколько о лице этой женщины с европейской прической — особенно о ее глазах.

Когда я вернулся в больницу, оказалось, что отец меня ждет с нетерпением. Удалив за ширмы всех лишних людей, он, то сжимая мою руку, то глядя ее, стал рассказывать о давно прошедших незнакомых мне вещах, о том, как они с матерью поженились. Это были просто мелочи, вроде того, как он с матерью ходил покупать комод, как они ели суси, и тому подобное. Когда я слушал эти рассказы, мои глаза увлажнились. А у отца по впалым щекам катились слезы.

На другое утро отец тихо скончался. Перед смертью, видимо, разум у него помутился, он говорил: «Прибыл корабль с поднятым флагом. Все кричите банзай!» Как прошли похороны отца, я не помню. Помню лишь, когда тело его везли из больницы домой, катафалк освещала большая весенняя луна.

4

В этом году в середине марта мы с женой после длительного перерыва отправились на кладбище. После длительного перерыва... Но не только маленькая могила, но и сосна, простиравшая свои ветви над могилой, нисколько не изменились.

Трое, включенные в «Поминальник», все лежат погребенными в уголке кладбища в Янаке и под могильным камнем. Я вспомнил, как в эту могилу тихо опускали гроб моей матери. Вероятно, в ту же, где лежала Хаттян. Только отец... Я помню, как в пепле, где белели останки костей, сверкали золотые зубы.

Я не люблю ходить на кладбище. Если бы можно было, я хотел бы забыть и о родителях и о сестре. Но в этот день, может быть от физической слабости, я, глядя при свете закатного весеннего солнца на почерневший могильный камень, думал о том, кто из них троих был счастлив.

Мотылек-однодневка!
За могильным холмом
Ты живешь — да и только

Я никогда еще так остро не чувствовал настроения, которое вызывает этот стих Дзёсо.

О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ

Все, что вы прочитаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Да я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и, по возможности, без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени.

Тем не менее я решил опубликовать эти воспоминания, успокаивая себя тем, что подобное опасение неизбежно возникает при издании любого художественного произведения. Наконец, я хотел бы добавить, что сказанное мною о правдивом изложении не обязательно распространяется и на последовательность в изложении фактов. Только сами факты в общем описаны правдиво.

1

Было ясное ноябрьское утро. Спустя долгое время я снова надел неудобную студенческую форму и отправился в университет. У входа я встретился с Нарусэ, на котором была такая же точно форма. Я сказал «Давненко!» Он ответил: «Давненко!» Мы положили рядом наши квадратные студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание юридического и литературного факультетов. У входа перед доской объявлений стоял одетый по-японски Мацуока. Мы еще раз обменялись нашими «давенненко».

Сначала мы поговорили о нашем журнале «Синситё», который собирались выпустить в ближайшие дни. Затем Мацуока рассказал о том, как он после долгого перерыва появился в университете. Зашел не то в аудиторию по истории западной философии, не то в какую-то другую, сел и стал ждать. Сколько он ни ждал, ни преподаватель, ни студенты не появились. Мацуоке это показалось странным. Он вышел наружу и спросил у посыльного, в чем дело. Оказалось, он пришел в выходной день. Для такого рассеянного человека, как Мацуока, в этом не было ничего необычного. Ведь это он однажды, намереваясь сесть на трамвай, вышел из дома с десятью сэннами в кармане, зашел в табачную лавку и преспокойно сказал: «Один билет туда и обратно».

Тем временем мимо нас промчался похожий на горбуна посылный, который изо всех сил тряс звонок, извещающий о начале утренних лекций.

Первой была лекция ныне покойного Лоуренса. Мы распрощались с Мацукой и вместе с Нарусэ поднялись на второй этаж. В аудитории уже было полно студентов. Одни читали свои конспекты, другие болтали о разных разностях. Мы заняли стол в углу и начали обсуждать темы рассказов, которые собирались написать для журнала «Синситё». Над нашими головами висела на стене табличка «Курить воспрещается», но мы, беседуя, вытащили из карманов «Сикисима»¹ и закурили. Курили не только мы. Другие студенты тоже преспокойно дымили папиросами. В этот момент, держа портфель под мышкой, в аудиторию поспешно вошел Лоуренс. Поскольку я уже успел докурить свою «Сикисима» и даже выбросил окурочок, опасаться мне было нечего, и я спокойно раскрыл конспекты. У Нарусэ папироса еще дымилась во рту. Он быстро бросил окурочок под стол и наступил на него, пытаясь погасить. К счастью, Лоуренс не обратил внимания на струйку дыма, поднимавшуюся из-под нашего стола. Поэтому, проверив по списку присутствующих, он сразу же приступил к лекции.

Все сходились в то время на том, что лекции Лоуренса крайне скучны. Но в то утро лекция была особенно неинтересна. Вначале Лоуренс конспективно изложил ее содержание. Причем это происходило по следующей схеме: акт первый, сцена вторая — краткое изложение. И так акт за актом, сцена за сценой. Не было никаких человеческих сил выносить подобную скуку. Прежде во время лекции меня всегда одолевала мысль: какой злой рок заставил меня поступить в университет?! Теперь я даже об этом не думал: настолько я покорился судьбе, вынуждавшей меня молча выслушивать эти «великолепные» лекции. В то утро я, как обычно, механически двигал пером, прилежно записывая нечто напомиравшее английский перевод содержания пьесы императорского театра. Но вскоре меня стало клонить ко сну. И я, конечно, уснул.

У меня была законспектирована всего одна страничка, когда я сквозь сон услышал какие-то странные интонации в голосе Лоуренса, заставившие меня проснуться. Вначале мне показалось, что Лоуренс заметил, будто я сплю, и ругает меня за это. Но в следующий момент я понял, что Лоуренс размахива-

¹ Марка папирос.

ет «Макбетом» и с увлечением имитирует голос шута. Я подумал, что и сам-то я отношусь к разряду шутов. Мне показалось это комичным, и сонливость мгновенно исчезла. Рядом Нарусэ конспектировал лекцию. Иногда он поглядывал в мою сторону и потихоньку смеялся. Я успел испортить еще несколько страниц, когда наконец прозвенел звонок, извещавший об окончании лекции. Вслед за Лоуренсом мы дружной толпой выплеснулись в коридор.

Стоя в коридоре, мы любовались пожелтевшей листвой росших во дворе деревьев. Подошел Минору Тоёда. «Покажи на минутку твой конспект», — попросил он. Я дал ему конспект, но оказалось, что того места, которое его интересовало, в конспекте не было: я его как раз проспал. Я, естественно, почувствовал себя неловко. «Ну, ладно», — сказал Тоёда и неторопливо двинулся дальше. (Слово «неторопливо» употреблено здесь мною не случайно. Ведь ты правда всегда ходишь неторопливо... Где ты теперь? Чем занимаешься? Точно не знаю. Хотел бы только сказать, что среди поклонников Лоуренса или, если сказать по-другому, среди студентов, которым симпатизировал Лоуренс, Тоёда был единственным, к которому если не все мы, то по крайней мере, я питал в некоторой степени дружеские чувства. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю твою неторопливую походку и мне хочется снова встретиться с тобой в коридоре университета и обменяться обычными приветствиями.)

Тем временем снова прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж, в аудиторию. Следующей была лекция по философии профессора Кацудзи Фудзиоки. Остальные студенты пришли заранее и заняли места поближе к кафедре. А такие лентяи, как мы, всегда приходили последними и садились за стол в самом углу. В то утро мы, как всегда, до самого звонка проболтались в коридоре второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лекции профессора Фудзиоки по филологии имели право на существование уже хотя бы потому, что профессор обладал прекрасно поставленным звучным голосом и пересыпал свои лекции оригинальными шутками. Правда, я, как человек, от рождения лишенный филологического мышления, сказал бы несколько по-иному: только поэтому они и имели право на существование. Вот почему и сегодня то делая записи, то прекращая их, я с интересом слушал изобиловавшую интересными подробностями лекцию о Максе Мюллере.

Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим

записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае, именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекций, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки. К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наполовину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень.

Вместе с Нарусэ мы отправились в харчевню «Иппакуся», что напротив университета. Там на втором этаже мы купили содовой воды и заказали обед на двадцать сэнов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусэ были друзьями. Причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти одновременно прочитали «Жана Кристофа» и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без усталости беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец, надо всегда быть готовым к этому», — решительно произнес Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак», — заключил Нарусэ и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Коселек». Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона.

После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Кумэ, который поблизости снимал комнату в Мияюре. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Кумэ вообще не посещал лекций. Он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогривания ног.

— Садитесь сюда, — пригласил Кумэ.

Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходивший от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Кумэ сообщил нам, что он пишет

рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Кумэ еще был ребенком. Это вроде был его дебют, и поэтому, по словам Кумэ, он измучился вконец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее Кумэ, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил:

— Как дела?

— Написал наконец половину «Носа», — ответил я.

Нарусэ сказал, что он приступил к очерку о своей поездке в Японские Альпы летом этого года. Попивая приготовленный Кумэ кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества.

Кумэ начал подвизаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами он, несомненно, обладал и большим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его умение легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Кумэ с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать, что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших оттого, что высота идеала не соответствовала нашим способностям. В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Кумэ, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодушевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Кумэ. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Катая Таямы.

Справедливости ради следует сказать, что личность Таямы и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистическое течение. И в этом смысле Таяма — сколь бы скучными мы ни считали его «Жену» и «Школьного учителя» и сколь бы примитивной ни казалась его теория плоского отображения — если и не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то по крайней мере привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще не способны в должной мере оценить его бьющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и

сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Таяма рассказывал в стиле Гюисманса о любопытных подробностях из жизни новообращенного, только вызвали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Таямы с Дюрталем. Прежде всего мы признавали в нем талантливого автора путевых заметок. В то время я дал ему прозвище *Sentimental landscape-painter*¹. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Таяма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, в которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин — поклонников *venus Libentina*². Когда Таяма писал свои путевые заметки, он просто преобразался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был прост и наивен. Ну прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой области Таяма был уникален. В то же время тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Таяму авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что «все это благодаря тому, что такое уж тогда было время».

Покончив с обсуждением Катая Таямы, я и Нарусэ простились с Кумэ. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже клонился к вечеру и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени. Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго, 3, простились и поехали по домам.

2

Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нарусэ после утренних лекций отправились к Кумэ. Мы вместе пообедали, и Кумэ показал нам рукопись пьесы, которую ему прислал утром Кикиути из Киото. Это была одноактная пьеса «Любовь Саката Тодзиро», главным героем которой являлся известный актер Токугавской эпохи. Кумэ предложил мне посмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако

¹ Сентиментальный пейзажист (англ.).

² Богиня чувственной любви (лат.).

непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзэн, портили все дело. Создавалось впечатление, будто подъедаешь остатки со стола Кафу Натай и Дзюньитиро Танидзаки. «Весь грех в многословии», — вынес я свой приговор. Нарусэ тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход», — согласился с нами Кумэ. От нашего имени Кумэ написал Кикүти письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Кумэ зашел Мацуока В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок Кумэ. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготавливали рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Кумэ часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напоминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Масао Кумэ. Однако Мацуокой владели мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком, увлекался Кьеркегором, пытался писать довольно странные акварели. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, когда ее ставили вверх ногами. После того как Кумэ переехал из их общей комнаты в Мияуру, Мацуока снял угол в доме на Хонго, 5. Он и сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакьян Муни.

Попивая приготовленный Кумэ кофе и немилосердно курия, мы вчетвером оживленно обсуждали разнообразные проблемы. Это было время, когда на вершину Парнаса вот-вот должен был вступить Санзацу Мусякодзи. И естественно, его произведения и высказывания нередко становились темой наших бесед. Мы с радостью ощущали, что Мусякодзи открыл настужь окна на нашем литературном Парнасе и впустил струю свежего воздуха. Очевидно, эту радость с особой силой почувствовало наше поколение, пришедшее в литературу вслед за Мусякодзи, а также молодежь, которая появилась по-

сле нас. Поэтому неизбежны были расхождения (в большей или меньшей степени) в оценке творчества Мусякодзи писателями и читателями предшествовавшего нам периода и периода, следовавшего после нас. Такое же расхождение имело место и в оценке творчества Катая Таямы (вопрос в том, для кого из них, для Мусякодзи или для Таямы, эта степень расхождения более соответствовала истине. Хотел бы лишь отметить, что, когда я выше говорил «такое же расхождение», я не имел в виду одинаковую «степень расхождения»). В то время мы тоже не считали Мусякодзи литературным мессией. Существовало также расхождение в оценке его как писателя и как мыслителя. Говоря о нем как о писателе, следует, к сожалению, отметить, что он всегда слишком спешил с завершением своих произведений. Несмотря на тесную связь между формой и содержанием, он, опиравшийся не столько на терпеливую, тщательную обработку, сколько на вдохновение, в своей практической творческой деятельности забывал о тонких и своеобразных взаимоотношениях между формой и содержанием. Поэтому форма, к которой прежде Мусякодзи относился с пренебрежением, в «Его сестре» и последующих произведениях стала восставать против него. В пьесах Мусякодзи постепенно исчезал неповторимый элемент драматизма (правда, нельзя сказать, что он исчез полностью. Даже в «Мечте одного юноши», которую некоторые критики вообще не причисляли к пьесам, если читать фразу за фразой, можно обнаружить целый ряд отрывков, написанных с мощной драматической выразительностью), и вместо того, чтобы обрисовывать характер героя, он постепенно все в большей степени стал использовать пьесу для изложения своих собственных мыслей. А поскольку для изложения мыслей и чувств не требовалось особой драматической выразительности, постольку они получались значительно слабее, чем то, о чем он писал в «Смеси». Будучи знакомыми с произведениями Мусякодзи еще с тех времен, когда была опубликована «Одна семья», мы испытывали серьезное неудовлетворение этой его новой тенденцией, которая стала проявляться начиная с «Его сестры». Но фактом было также и то, что во многих его заметках, опубликованных под рубрикой «Смесь», таились могучие силы, которые, подобно тайфуну, раздували стремление к идеалу, извергая иногда мощные протуберанцы пламени. Часто некоторые критики указывали на отсутствие логики в идеях, излагавшихся Мусякодзи в «Смеси». Однако в нас слишком много было человеческого для того, чтобы признавать за истину

только то, что уже удостоверено логикой. Нет, одна из великих и светлых истин Мусякодзи состояла прежде всего в том, чтобы серьезно относиться именно к человеческому. Когда втоптаный в грязь и давным-давно потерявший свое истинное лицо гуманизм вновь появился на литературной арене, где, как сказано в главе о Христе из Эммауса, «день уже склонился к вечеру», все мы вместе с Мусякодзи почувствовали, как «горело в нас сердце наше». В наше время я часто слышал от подобных мне людей, в том числе даже от писателей, которые придерживаются противоположных Мусякодзи взглядов, что, когда они снова перечитывают его «Смесь», к ним всегда возвращается былое и столь дорогое сердцу волнение. Мусякодзи показал нам — по крайней мере, мне — например, как для того, чтобы встретить гуманность, которую «посадили на осленка», он «постилал одежды свои по дороге», рубил ветви деревьев и устилал ими дорогу...

Поговорив у Кумэ о том о сем, мы вместе вышли на улицу. У Хонго, 3, расставшись с Нарусэ и Мацуокой, мы с Кумэ сели в трамвай, направлявшийся к Гиндзе. Мы поужинали несколько раньше обычного в кафе «Лайон» и двинулись в театр Кабуки, где купили билеты на стоячие места. Мы попали на вторую пьесу репертуара того дня. Пьеса была новая. Не только сюжет, но и само название ее было нам незнакомо. На сцене стояли декорации, плохо имитировавшие чайный домик. Там и сям были наклеены искусственные цветы сливы, напоминавшие изделия из ракушек. На наружной галерее чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Я вырос в торговых кварталах Токио и не питал особого интереса к вещам, созданным в эдоском вкусе, в том числе и к пьесам. Я был к ним настолько равнодушен, что любая драматическая ситуация почти никогда не оказывала на меня впечатления. (А может быть, меня сделали равнодушным. Ведь родители брали меня с собой в театр начиная с двухлетнего возраста.) Поэтому в театре я в большей степени, чем содержанием пьесы, интересовался игрой актеров, интересовался публикой, сидевшей в дома и садзики. И на этот раз меня гораздо больше, чем великие актеры, привлекал похожий на приказчика человек в спортивной шапке с козырьком, который грыз сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену. Я сказал, что он не отрываясь смотрел на сцену, но должен добавить, что мой приказчик в то же время ни на минуту не прекращал есть каштаны. Он запуская руку за пазуху, вытаскивал новую горсть каштанов, лущил и снова

отправлял в рот. Причем во время всего этого процесса он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтересовавшись столь тонким разделением зрительных и вкусовых ощущений, я в течение некоторого времени внимательно наблюдал за его лицом. Наконец у меня появилось желание спросить у него, каким из этих двух дел он занимался серьезно. Как раз в этот момент сидевший рядом со мной Кумэ истошным голосом завопил: «Татибаная!» Я вздрогнул и невольно бросил взгляд на сцену. Вдоль двора спокойно шествовал игравший молодого самурая Утаэмон, который не был способен ни на что другое, кроме исполнения роли обольстителя женщин. Однако сидевший рядом приказчик словно и не слышал выкрика Кумэ. Он по-прежнему уписывал сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену, словно хотел вцепиться в нее. Я подумал, что комичность ситуации слишком серьезна, чтобы смеяться над ней. В то же время я почувствовал, что ситуация заслуживает того, чтобы отобразить ее в каком-нибудь рассказе. Несмотря на появление на сцене Татибаная, сам спектакль был еще более ужасен, чем картины Тэруки Икэды. Не дожидаясь окончания первого действия, я воспользовался моментом, когда поворачивалась сцена и менялись декорации, и бросился вон из театра, увлекая за собой упиравшегося Кумэ.

Когда мы вышли на освещенную луной улицу, я сказал Кумэ:

— Что за идиотизм орать в театре!

— Почему? Я просто замечательно кричал, — ответил Кумэ, не желая признать глупость своего поведения. Вспоминая теперь об этом эпизоде, я предполагаю, что на поведении Кумэ сказались изрядная доза виски, выпитая им в кафе «Лайон».

3

«Все же существование чисто литературного факультета в университете — явление очень странное. Известно, что он включает в себя отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же на этих отделениях практически занимаются? По правде говоря, это для меня остается неясным. Несомненно, предметом изучения там является литература каждой страны. И эту, так сказать, литературу там, несомненно, рассматривают как один из разделов искусства. Говорят об изучении литературы как о науке. Но

действительно ли это наука? (Точнее сказать, действительно ли это самостоятельная наука?) Если видеть в ней науку, если (употребляя более трудное выражение) имеются все условия для того, чтобы видеть в ней *Wissenschaft*¹, то тогда она будет, безусловно, идентична эстетике. И не только эстетике. Я полагаю, что, например, история литературы полностью идентична исторической науке. Правда, среди лекций, которые читаются теперь на чисто литературном факультете, многие не имеют ничего общего ни с эстетикой, ни с историей. Эти лекции даже из приличия нельзя считать наукой. Мягко говоря, они представляют собой изложение точки зрения преподавателей. Грубо говоря, это просто вздор. Поэтому я считаю, что правильной было бы ликвидировать этот чисто литературный факультет. Лекции обзорного порядка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные лекции, поскольку они представляют собой чистейший вздор, следует вообще изъять из программы. Если слово «вздор» звучит слишком грубо, можно выразиться более высокопарно: эти лекции не гармонируют с таким заведением, как университет, где ставят целью изучение научных дисциплин. Осуществление этих мероприятий является неотложной задачей. В противном случае публика будет значительно легче поддаваться вздору, которым напичканы читаемые в университете лекции, поскольку он подается в более качественной упаковке, чем тот же вздор, который публикуется в газетных или журнальных критических статьях. А так как статьи, публикуемые в газетах и журналах, рассчитаны на широкие слои населения, а университетские лекции только на студентов, то вздорный характер последних легче скрыть от широкой публики. При любых обстоятельствах было бы несправедливым еще более приукрашивать этот совершенно спокойно распространяемый на лекциях вздор. Для меня лично еще куда ни шло. Ведь я поступил в университет лишь с тем, чтобы получить возможность пользоваться библиотекой. Ну, а если бы я вдруг загорелся серьезным желанием исследователя?! Каким путем я смог бы заняться изучением литературы? В конце концов я оказался бы в крайне затруднительном положении. В таких условиях можно, конечно, создать солидную работу, если, например, подобно Санки Итикаве исследовать английскую литературу с точки зрения филологии. Но в таком случае драмы Шекспира и поэмы

¹ Науку (нем.).

Мильтона превратятся лишь в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями у меня нет никакого желания, да если бы оно и появилось, я не смог бы создать что-либо стоящее. Можно, конечно, удовлетвориться вздором, но зачем для этого утруждать себя поступлением в университет? Если же у кого-либо появилось желание изучать литературу в эстетическом либо историческом плане, то в тысячу раз было бы полезней поступить не на литературный, а на другие факультеты. Исходя из этой точки зрения, смысл существования чисто литературного факультета оправдывается всего лишь мотивами практического удобства. Но сколь бы это ни было удобно, вред, приносимый его существованием, перевешивает. Поэтому лучше бы такого факультета не существовало вообще. А раз так, то было бы более справедливым его ликвидировать. Что? Вы говорите, что он необходим для подготовки преподавателей средних школ? Послушайте, ведь я не шучу, а говорю более чем серьезно. Для подготовки преподавателей средних школ существует специальный педагогический институт. Вы требуете, чтобы в таком случае этот институт ликвидировали? Но ведь говорить так — это все равно что ставить вопрос с ног на голову. Уж если следовать такой логике, то в первую очередь следует ликвидировать в университете чисто литературный факультет и как можно быстрее слить его с педагогическим институтом».

Все эти мысли я заставил выслушать Нарусэ во время прогулки по улице Канда, известной множеством букинистических лавок.

4

Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусэ отправились в императорский театр на концерт. В театре встретились с Кумэ, который, так же как и мы, был одет в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можно представить себе, насколько все мы были далеки от музыки, если даже я считался ее знатоком. Надо сказать, что на концерты я ходил без разбора. К тому же у меня было очень странное понимание музыки, да и воспринимал я ее на особый лад. Лучше всего я понимал Листа. Однажды в отеле Тэйкоку я слушал в исполнении в то время уже очень пожилой госпожи Петцольд «Святого Антония, шествующего по

волнам» (кажется, так называлось это произведение Листа. Прошу прощения, если я ошибся). Ни на миг не замирая, лились звуки фортепиано, и перед моими глазами вставала удивительно яркая картина. Во все стороны этой картины бесконечно двигались волны. По верхушкам волн двигались ноги человека. Причем каждый их шаг вызывал мелкую рябь. Наконец, над волнами и ногами возникло ослепительное сияние, которое начало двигаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на это яркое видение, и, когда окончилась музыка и раздались аплодисменты, я с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего меня мира, из которого исчезли волнующие звуки музыки.

Но такое со мной случалось лишь тогда, когда я слушал Листа. Что же касается Бетховена и других композиторов, то понимание их произведений ограничивалось для меня тем, что одни мне нравились, а другие нет. Поэтому концерты симфонической музыки я слушал отнюдь не как музыкант. Я только недоверчиво прислушивался к вихрю звуков, которые доносились до меня из леса инструментов.

В вечер, о котором идет речь, на концерте присутствовал его высочество принц Карьин-но-мия, и поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамами и девицами. Рядом со мной чинно восседала старуха. Лицо — кожа да кости, на нем — толстый слой пудры, на пальцах — золотые кольца, на груди — золотая пряжка. И ко всему прочему ее рот был полон золотых зубов (я заметил это, когда она зевала). На этот раз (в отличие от последнего посещения театра Кабуки) меня в большей степени интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт щеголи и щеголихи. Поэтому я перестал обращать внимание на эту старуху, погрёбенную под горами пудры и золота. Видно, она считала себя очень значительной персоной. На ее лице было написано такое безразличие к музыке, такое разочарование... Она беспрестанно крутила головой, не устаивая взглядом лишь Косаку Ямаду, взмахивавшего на сцене дирижерской палочкой.

Кажется, после соло супруги Ямады наступил перерыв, и мы втроем поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа в нее стоял низенький человек, у которого из-под черного сюртука выглядывал красный жилет. Вместе со своим спутником, одетым в хакама и хаори, он курил сигареты с золотым мундштуком. Увидав его, Кумэ склонился к нам и

шепнул: «Это Дзюньитиро Танидзаки». Мы с Нарусэ, проходя мимо, исподтишка внимательно разглядывали этого известного писателя-эстета. Характерная особенность его лица состояла в том, что глаза мыслителя и губы животного все время как бы соревновались между собой, пытаясь утвердить свою волно. Мы сели в удобные кресла, открыли коробку «Сикисима» — одну на всех — и, покуривая, стали обсуждать творчество Танидзаки. В то время Танидзаки на издавна возделываемой им, подернутой таинственной вуалью ниве эстетизма выращивал такие зловещие «цветы зла», как «Убийство Оцуя», «Вундеркинд», «Осай и Миноскэ» и другие. Эти великолепные, словно сверкающая цветами радуги шпанская мушка, цветы зла, хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения По и Бодлера, к которым тяготел Танидзаки, но по своему направлению коренным образом отличались от них. За болезненным эстетизмом По и Бодлера скрывалась до ужаса холодная, безразличная душа. И эта окаменевшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их отбросить мораль, покинуть бога, отказаться от любви. Однако, погружаясь в старое болото декаданса, они в то же время не хотели согласиться с таким концом. И это нежелание должно было в них враждовать с ощущением, выраженным в строфе «Une Vieille gabade sans mots sur une mer monstruense et sans bord»¹. Поэтому их эстетизм порождал вереницу ночных бабочек, которые неизбежно поднимались и взлетали со dna их истерзанных этим ощущением душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера безысходная скорбь («Ah Seigneur donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans degout»)² всегда перемешивалась с ядовитыми испарениями гнилого болота. Нас глубоко потряс их эстетизм именно благодаря тому, что мы увидели, например, в «Дон-Жуане в аду»: страдания холодной души. Эстетизм же Танидзаки вместо атмосферы неподвижного удушья был слишком уж переполнен эпикурейством. Танидзаки вел свой корабль по морю, где там и сям вспыхивали и гасли светляки преступления и зла, с таким упорством и воодушевлением, словно искал Эльдорадо. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, на которого он сам смотрел свысока. Болезненные тенденции в творчестве

¹ И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил" (Бодлер, перевод В. Левика).

² О боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья на сердца моего и плоти наготу!" (Бодлер, перевод И. Лихачева).

Готье несли на себе тот же самый отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но, в отличие от последнего, они были, так сказать, полны жизненных сил. Это были, выражаясь высокопарно, болезненные тенденции пресыщенного султана, страдающего от тяжести висящих на нем бриллиантов. Поэтому в произведениях Готье и Танидзаки не хватало той напряженности, которая была характерна для По и Бодлера. Однако, взамен этого, в описаниях чувственной красоты они проявляли поистине потрясающее красноречие, напоминавшее реку, несущую вдаль бесконечные волны. (Думаю, когда недавно Кадзуо Хироцу, критикуя Танидзаки, высказал свое сожаление по поводу чересчур здорового характера его творчества, он, очевидно, имел в виду эту самую полную жизненных сил болезненную тенденцию. Но сколь бы творчество Танидзаки ни было переполнено жизненными силами, для него останется несомненным присутствие болезненной тенденции, подобно тому как она сохраняется на всю жизнь у страдающего ожирением больного.) И мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать недюжинный талант Танидзаки, именно благодаря его блестящему красноречию. Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестики чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения (начиная с «Татуировки»). Его рассказы, словно «Эмали и Камеи», от начала до конца пронизаны ясным ритмом. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки, я часто не обращаю внимания на смысл каждого слова или отрывка, а ощущаю почти физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойденным мастером. Пусть он не зажег «звезду страха» на мрачных литературных небесах. Но среди возвращенных им радужных цветов в Японии неожиданно начался шабаш ведьм...

Прозвенел звонок. Мы прервали разговор о Танидзаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил у меня:

— А ты вообще-то понимаешь музыку?

На что я ему ответил:

— Уж побольше, чем сидящие рядом кожа да кости, золото и пудра.

Я снова занял свое место рядом с этой старухой. Пианист Шольц исполнял, если не ошибаюсь, ноктюрн Шопена. Симоне писал, что однажды в детстве он слушал похоронный

марш Шопена и все понял. Глядя на быстрые пальцы Шольца, я думал, что в этом смысле мне далеко до Симонса, даже если не принимать во внимание разницы лет. Не помню сейчас, что исполнялось дальше на этом концерте. Когда он окончился и мы вышли на улицу, стоянка перед театром была настолько забита каретами и автомобилями, что трудно было даже пройти. И тут мы увидели, как к одному из автомобилей подошла, пряча в меха лицо, та самая в пудре и золоте старуха, которая сидела рядом с нами на концерте. Мы подняли воротники пальто и, пробравшись наконец между машинами, вышли на улицу, где гулял пронизывающий ветер. И в этот момент перед нами внезапно выросло уродливое здание полицейского управления, которое высилось в небе черной громадой. Я вдруг почувствовал какое-то беспокойство.

— Странно, — невольно сказал я.

— Что странно? — стал допытываться Нарусэ.

Я сказал ему первое, что мне пришло в голову, не желая углубляться в обсуждение охватившего меня настроения. Тем временем мимо нас одна за другой проносились автомашины и кареты.

5

На следующий день после лекции, которую читал профессор Оцука (эта лекция на тему о философии Риккерта была наиболее поучительной из всех, которые мне довелось слушать), мы с Нарусэ, подгоняемые пронизывающим ветром, отправились в харчевню Иппакуся, чтобы съесть свой обед за двадцать сэнов.

— Ты не знаком с женщиной, которая на концерте сидела позади нас? — неожиданно спросил меня Нарусэ.

— Нет. Единственная, с кем я знаком, — это сидевшие рядом золото, кожа да кости и пудра.

— Золото, кожа... О чем это ты?

— Не имеет значения. Во всяком случае, ясно, что это не женщина, которая сидела сзади. А ты что, влюбился?

— Какое там влюбился! Я даже не знал...

— Что за чепуху ты говоришь! Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?

— Дело в том, что, когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены.

— Значит, тебе устроили смотрины?

— До смотрин еще не дошло.

— Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины. Не так ли? Твоя мамаша тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробавлялись, как теперь, обедом за двадцать сэнов.

Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям Нарусэ удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова:

— Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди.

— В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену... Ну, а что ты ответил матери?

— Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее.

— Ну и что же? Теперь ты собираешь излить мне свои горести. Не выйдет... Эх, жаль. Сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю.

Тут мы с Нарусэ не выдержали и расхохотались.

В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе: когда Нарусэ шел на лекцию, я отдыхал, когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Нарусэ. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя каной транскрипцию немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. На этот раз была очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу.

Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гинко и загонял их даже в букинистическую лавку, что напротив университета Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацуоку. В отличие от меня (да и, должно быть, от большинства людей) Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа, и, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку,

отправился на Хонго, 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуоке комнату.

— Господин Мацуока изволит еще отдыхать, — сказала она с выражением сожаления на лице.

— Неужели еще спит? Ну и соня!

— Нет, он изволил работать всю ночь и совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать, и теперь, наверно, изволит отдыхать.

— А может быть, он еще не уснул. Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно.

Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуоки. Раздвинув фумуса, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуоки. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разостланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуоку прочитать только что вышедшую из-под пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к подушке давно не бритой щекой. У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдохавшего после ночных трудов Мацуоку. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его изголовья и стал наудачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Мацуоку и увидел у него между ресницами слезы. Мало того. На его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале (мол, человек пишет, работает), куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. «Глупый человек! Занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? Что ж ты будешь делать тогда?» — такими словами хотел я обругать Мацуоку. Но за этим желанием скрывалось и другое — похва-

лить: «Вот ведь как он страдает!» Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы.

Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила:

— Он изволит почивать?

— Спит, как сурок, — резко ответил я и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу.

На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревели. Я раздраженно взглянул наверх. Высоко в небе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти.

У МОРЯ

1

...Дождь все еще шел. Покончив с обедом, мы, испепеляя папиросу за папиросой, перебрасывались новостями о токийских приятелях.

Мы сидели в двухкомнатном номере в самой глубине гостиницы, тростниковая штора от солнца свешивалась в голый сад. Я говорю, что сад был голый, но все же редкие кустики высокой травы, которой так много на побережье, склонили к песку свои метелочки. Когда мы приехали, этих метелочек не было еще и в помине. А если и появилось несколько, то они были ярко-зелеными. Теперь же все они в какой-то момент стали одинаково коричневыми, и на кончике каждой приутилась капля влаги.

— Ну что, поработаем, пожалуй?

М., продолжая лежать, растянувшись во весь рост, стал протирать очки рукавом сильно накрахмаленного домашнего кимоно. Работой, которую он упомянул, называлось то, что мы должны были ежемесячно писать для нашего журнала.

После того как М. ушел в соседнюю комнату, я, подложив под голову дзабутон, стал читать «Историю восьми псов». Вчера я остановился на том месте, где Сино, Гэнхати и Кобунго отправляются на вырубку Соскэ. «Тогда Амадзаки Тэрубуми вынул из-за пазухи приготовленные пять мешочков золотого песка. Положив три мешочка на веер, он сказал: «Три

пса-самурая, в каждом мешочке денег на тридцать рё. Их, конечно, очень мало, но сейчас в пути они вам пригодятся. Это не мой прощальный подарок, это вам дар от Сатомидоно, не откажитесь принять его». Читая это, я вспомнил о присланном позавчера гонораре — сорок сэнов за страницу. Мы только что в июле окончили английское отделение университета. И нас мучил вопрос, где изыскать средства к существованию. Постепенно я забыл об «Истории восьми псов» и вспомнил, что стану преподавателем. Тут я как будто заснул на миг и увидел сон.

Это случилось, по всей вероятности, за полночь. Во всяком случае, я лежал один в гостиной с закрытыми ставнями. Вдруг кто-то постучал и позвал меня: «Послушайте». Я знал, что за прикрытыми ставнями находится пруд. И я не мог представить, кто меня зовет.

— Послушайте, я бы хотел попросить вас...

Это произнес голос за ставней. Услышав эти слова, я подумал: «Ну да, конечно же, этот тип К.» К. был никудышным парнем с философского отделения, на курс ниже нас. Продолжая лежать, я ответил довольно громко:

— Брось нить. Ты что, опять за деньгами?

— Нет, не за деньгами. Просто есть женщина, с которой я хочу свести моего товарища...

Голос совсем не был похож на голос К. Больше того, он принадлежал, видимо, человеку, который беспокоился обо мне. В волнении я быстро вскочил, чтобы открыть ставни. Действительно, в саду, от самой веранды, раскинулся большой пруд. Но там не было никакого К., да и вообще не было ни живой души.

Некоторое время я смотрел на пруд, в котором отражалась луна. Я видел, как в воде колышутся, точно плывут, водоросли, и мне показалось, что начинается прилив. И тут я заметил, что прямо передо мной поднимается рябь. Рябь докатилась до моих ног и вдруг превратилась в карася. Карась спокойно шевелил хвостом в прозрачной воде.

«А-а, это карась разговаривал».

Подумав так, я успокоился.

Когда я проснулся, тростниковая штора у карниза пропускала лишь слабые лучи солнца. Я взял кружку, спустился в сад и подошел к колодцу за домом, чтобы помыться. Но и после того, как я помылся, воспоминания о только что увиден-

ном сне, как ни странно, не покидали меня. «В общем, этот карась из сна — мое подсознательное «я», — так, во всяком случае, мне показалось.

2

...Прошел всего лишь час, и мы, повязав лбы полотенцами, в купальных шапочках и гэта, взятых напрокат, пошли к морю, находившемуся в полутё. Дорожка спускалась в конец сада и выходила к пляжу.

— Ну как, купаться можно?

— Сегодня, пожалуй, холодновато.

Так, разговаривая, мы шли, раздвигая густую высокую траву. (Когда мы вошли в эти заросли травы, на которой застыли капли влаги, икры начали зудеть, и мы замолчали.) Действительно, было слишком свежо, чтобы лезть в воду. Но нам так жаль было расставаться с морем в Кадзуса, вернее, с уходящим летом.

Обычно, когда мы приходили к морю, даже еще вчера, семь-восемь юношей и девушек пытались «кататься» на волнах. А сегодня ни души, убраны и красные флажки, ограждающие пляж. Лишь волны обрушивались на бескрайний берег. Даже в раздевалке, отгороженной тростниковыми щитами, даже там одна лишь рыжая собака гонялась за роем мошкеры. Но и она, увидев нас, тут же убежала. Я снял только гэта — купаться не было ни малейшего желания. Но М. уже успел сложить в раздевалке купальный халат и очки и, повязавшись полотенцем поверх купальной шапочки, стал осторожно входить в воду.

— Ты что, собираешься купаться?

— А чего ради мы пришли?

М. вошел в воду по пояс, несколько раз окунулся и повернул ко мне улыбающееся загорелое лицо.

— Давай и ты лезь.

— Не хочется.

— Ну да, была бы здесь «хохотушка», полез бы, наверно.

— Ну что ты глупости болтаешь.

«Хохотушкой» мы прозвали пятнадцати-шестнадцатилетнюю школьницу, с которой обменивались здесь приветствиями. Девушка не отличалась особой красотой, но была свежей, точно молодое деревцо. Однажды после полудня дней десять назад мы вылезли из воды и лежали на горячем песке. Она быстро шла в нашу сторону, мокрая, с доской в руках. Нежи-

данно увидев, что мы лежим у нее на дороге, она, сверкнув зубами, рассмеялась. Когда она прошла, М. повернулся ко мне с улыбкой: «А она заразительно хохочет». С тех пор мы и прозвали ее «хохотушкой».

— Значит, не полезешь?

— Ни за что не полезу.

— У, эгоист!

М., то и дело окунаясь, заходил все дальше в море. Не обращая на него внимания, я начал взбираться на небольшую дюну чуть в стороне от раздевалки. Потом, подложив под себя взятые напрокат гэта, решил закурить. Но сильные порывы ветра никак не давали поднести зажженную спичку к папиросе.

— Эй!

Я не заметил, что М. успел вернуться и, стоя у самого берега, что-то кричит мне. Но из-за непрерывного шума воды я не разобрал, что он кричит.

— Ну, что такое?

Не успел я это сказать, как М. уже в накинутах на плечи купальном халате опустился рядом со мной.

— Подумай только, медуза обожгла!

Несколько дней назад в море неожиданно стало как будто больше медуз. В самом деле, третьего дня утром у меня по левому плечу и предплечью протянулся след, как от иглы.

— Что обожгла?

— Шею. Обожгла-таки. Обернулся, а там плавают несколько штук.

— Потому-то я и не полез в воду.

— Ври больше... Но купанье, в общем, кончилось.

Побережье, насколько хватал глаз, кроме тех мест, где на берег были выброшены водоросли, клубилось в лучах солнца. Лишь изредка по нему пробегала тень облака. С папиросами в зубах мы молча наблюдали за волнами, накатывающимися на песок.

— Ну как, решился ты занять должность преподавателя?

— Пока нет. А ты?

— Я? Я... — М. хотел что-то сказать, но в это время нас вспугнул неожиданный смех и топот ног. Это были две девушки-ровесницы в купальных костюмах и шапочках. Они бежали прямо к берегу, нарочно проскочив совсем рядом с нами. Провожая глазами их спины, их гибкие спины, одну в ярко-крас-

ном, другую в полосатом, точно тигр, черно-желтом купальнике, мы, будто сговорившись, улыбнулись.

— Смотри, эти девушки тоже еще не вернулись в город.

В шутовском тоне М. крылось некоторое волнение.

— Может, еще разочек влезешь в воду?

— Если бы она была одна, стоило бы лезть. А то с ней Зингез...

Как и «хохотушке», этой, в черно-желтом купальнике, мы тоже дали прозвище — Зингез. «Зингез» означало чувственное (sinnlich) лицо (gesisht). Мы оба не питали к ней никакой симпатии. К другой девушке тоже... Впрочем, к другой девушке М. проявлял некоторый интерес. Больше того, он даже настаивал, чтобы ему были созданы условия: «Ты давай с Зингез. А я с той».

— Хорошо, что ты это понимаешь!

— Нет, ужасно обидно.

Девушки, взявшись за руки, уже выходили на мелкое место. Брызги волн непрерывно липли к их ногам. Точно боясь намокнуть, девушки каждый раз подпрыгивали. Их игра казалась такой веселой, что диссонировала с опустевшим, окутанным последним теплом взморьем. В своей прелести они скорее походили не на людей, а на мотыльков. Слушая их смех, доносимый ветром, мы некоторое время смотрели на удалявшиеся от берега фигурки.

— Удивительно смелые, а?

— Еще идут.

— Уже... Нет, еще идут.

Они уже давно не держались за руки и шли в море каждая в отдельности.

Одна из девушек — та, что в ярко-красном купальнике, — двигалась особенно решительно. Не успели мы оглянуться, как она зашла в воду по грудь и стала что-то пронзительно кричать, подзывая подругу. Даже издали было видно ее смеющееся лицо, прикрытое до бровей купальной шапочкой.

— Кажется, медуза?

— Может, и медуза.

Но они заходили все дальше и дальше в море и наконец поплыли.

Вскоре стали видны лишь купальные шапочки. Только тогда наконец мы поднялись с песка. И, почти не переговариваясь (мы изрядно проголодались), не спеша пошли домой.

...Вечер был по-осеннему прохладный. Покончив с ужином, мы, прихватив нашего приятеля Х., приехавшего погостить домой, в этот городок, и N. — молодого хозяина гостиницы, снова пошли к морю. Пошли мы вчетвером не для того, чтобы погулять вместе. Каждый направлялся по своим делам: Х. — навестить дядю в деревне S., N. — заказать у плетельщика из той же деревни корзины для кур.

Дорога в деревню S., которая шла по побережью, огибала высокую дюну и сворачивала в противоположную сторону от пляжа. Море спряталось за дюной, и шум волн едва доносился. Но росшие повсюду кустики травы, выбросив черные метелочки, не умолкая шелестели на ветру, дувшем с моря.

— В этом краю, кажется, растет морской рис... N.-сан, как здесь называют эту траву?

Я сорвал травинку и протянул ее N., одетому в короткое летнее кимоно.

— Нет, вроде бы не спорыш... Как же она называется? Х.-сан, наверное, знает. Он местный, не то что я.

Мы тоже слышали, что N. приехал сюда из Токио зятем. Кроме того, мы еще слышали, что его жена-наследница как будто летом прошлого года, родив мальчика, ушла из дому.

— И в рыбе Х.-сан смыслит куда лучше, чем я.

— Вот как, Х.-сан такой ученый? А я думал, он знает толк лишь в фехтовании.

Х., хотя N. так говорил о нем, лишь весело улыбался, продолжая тащить палку для лука.

— M.-сан, вы тоже, наверное, чем-нибудь занимаетесь?

— Я? Я, это... я только плаваю.

Закурив, N. стал рассказывать о биржевом маклере из Токио, которого в прошлом году во время купанья укусила маленькая рыбешка. Этот маклер, что бы ему кто ни говорил, упорно доказывал, что нет, его укусила не эта рыбешка, а совершенно точно — морская змея.

— А морские змеи в самом деле существуют?

На этот вопрос ответил лишь один человек — высокого роста, в панаме. Это был Х.

— Морские змеи? Морские змеи и правда водятся в нашем море.

— И в это время тоже попадаются?

— Ну, еще бы, хотя редко.

Мы, все четверо, рассмеялись. Тут нам повстречались двое ловцов нагарами (нагарами — один из видов моллюсков), тащивших корзины для рыбы. Оба они были крепкого сложения, в красных фудоси. Тела их блестели от воды, но вид был грустный, скорее даже жалкий. Поравнявшись с ними, N. коротко ответил на их приветствие и сказал:

— В баньку бы сейчас.

— Занятию их не позавидуешь.

Мне показалось, что я ни за что не смог бы стать ловцом нагарами.

— Да, никак не позавидуешь. Ведь им приходится далеко заплывать, а сколько раз нырять на дно...

— А если к фарватеру унесет, ни за что не спастись.

Размахивая палкой, X. рассказывал о разных фарватерах. Большой фарватер начинается в полутора ри от берега и тянется в открытое море... Об этом мы тоже поговорили.

— Пойдите, X.-сан, когда же это было? Помните, прошел слух, будто появился призрак ловца с нагарами.

— Осенью прошлого... нет, позапрошлого года

— На самом деле появился?

X. рассмеялся.

— Да нет, никакой призрак не появлялся. Просто неподалеку от моря, у горы, есть кладбище, а тут еще всплыл скрюченный, как креветка, утопленник — ловец нагарами, вот и пошли слухи, и хотя вначале никто всерьез их не принимал, но тем не менее остался неприятный осадок — это уж я точно знаю. Вдобавок однажды вечером на кладбище выследили человека в унтер-офицерской форме и решили, что это и есть призрак. Хотели было его поймать, но не удалось. Там оказалась только девушка из веселого дома, которая была обручена с погибшим ловцом нагарами. Рассказывали, что временами слышится голос, который зовет кого-то, и мелькают огоньки, — ну и началась паника.

— И что же, эта девушка ходила туда нарочно, чтобы пугать людей?

— Да, ежедневно примерно в двенадцать часов ночи она приходила к могиле ловца нагарами и скорбно стояла там.

X. старался рассказывать с юмором, но никто не смеялся. Больше того, все без видимой причины притихли и молча продолжали свой путь.

— Хватит, пора возвращаться.

Когда M. сказал это, мы шли по безлюдному берегу, ветер утих. Было еще достаточно светло, чтобы на бескрайнем при-

брежном песке можно было увидеть следы ржанок. Но море, пенясь каждый раз, когда волны, накатываясь на берег, прочерчивали полукружья, становилось все темнее и темнее.

— Ну что ж, прощайте.

— До свидания.

Расставшись с Х. и Н., мы не торопясь возвратились с побережья, где стало прохладно. На побережье, мешаясь с шумом волн, ударявшихся о берег, до нас время от времени доносились чистые голоса цикад. Это были цикады, стрекотавшие в сосновом лесу по меньшей мере в трех тѣ отсюда.

— Послушай, М.!

Я отстал и шел в пяти-шести шагах позади М.

— Что такое?

— Может, и нам податься в Токио?

— Да, неплохо бы.

И М. стал весело насвистывать «Типеррэри».

ПИСЬМО

Я сейчас живу в гостинице на горячих источниках. Не могу сказать, что у меня нет желания целиком отдаться отдыху. Но, кроме того, у меня есть еще и совершенно определенное желание — спокойно почитать и пописать. Судя по рекламному проспекту, этот курорт помогает при истощении нервной системы. Может быть, поэтому в гостинице живут и душевнобольные, правда всего двое. Одна — женщина лет двадцати семи—двадцати восьми. Она все время молчит и лишь играет на аккордеоне. Судя по одежде, она, видимо, жена состоятельного человека. Внимательно присмотревшись, я обратил внимание, что круглым, с правильными чертами лицом она чем-то напоминает полукровку. Другой душевнобольной — мужчина лет сорока с большими залысинами на лбу. Судя по татуировке на левой руке — сосновой ветке, до болезни у него, не исключено, была довольно беспокойная профессия. Разумеется, мы часто вместе принимаем ванну. К-кун (это студент, тоже живущий в нашей гостинице), указав пальцем на его татуировку, сказал: «Имя твоей жены О-Мацу-сан, да?» Мужчина, сидя по горло в ванне, покраснел, как ребенок...

К-кун лет на десять моложе меня. К тому же он в прекрасных отношениях с М...ко-сан и ее матерью, тоже живущих в нашей гостинице. М...ко-сан, если употребить старомодное выражение, можно назвать, пожалуй, бой-девицей. Я слышал,

что в годы учебы в женской гимназии она, распустив волосы и повязав голову скрученным в жгут платком, упражнялась во владении мечом — это, наверно, было похоже на то, что делал Вакамару Уси. Разумеется, S-кун тоже хорошо знаком с M...ко-сан и ее матерью. S-кун товарищ K-куна. Вот только в чем их различие? Обычно, когда я читаю роман, то, чтобы различить двух героев, просто из озорства представляю себе одного из них толстым, другого — тонким. Так же смешно одного из них вообразить человеком могучего сложения, другого — хлипким. Правда, K. и S. оба нетолстые. И оба весьма чувствительны. Но K. не в пример S. тщательно скрывает этот свой недостаток. Более того, он все время тренирует себя, чтобы никто этого недостатка не заметил.

K-кун, S-кун, M...ко-сан и ее мать — с ними только я и общаюсь. Я говорю «общаюсь», но на самом деле наше общение ограничивается лишь совместными прогулками и беседами. Ведь здесь, кроме курортной гостиницы (всего-навсего два небольших строения), нет даже ни одного кафе. Я совсем не считаю эту заброшенность недостатком. Однако K-кун и S-кун испытывают «ностальгию по нашей городской жизни». M...ко-сан с матерью тоже, хотя с M...ко-сан и ее матерью все обстоит несколько сложнее, M...ко-сан и ее мать принадлежат к аристократии. Следовательно, не могут испытывать удовлетворения от жизни в глуши. Но именно в своем неудовольствии они и находят удовлетворение. Во всяком случае, удовлетворение на месяц.

Я живу в дальней комнате на втором этаже. До полудня я сижу за столом, стоящим в углу, и занимаюсь. Во второй половине дня солнце раскаляет оцинкованную крышу и от жары даже читать невозможно. Что остается делать? Убивать время за картами и шахматами с K-куном и S-куном, которые приходят ко мне спать, подложив под голову искусно сделанную деревянную подушечку (ими славятся здешние места). Это случилось как-то под вечер, дней пять-шесть назад. Подложив под голову деревянную подушечку, я читал «Стремя Окубо Мусаси», толстую книгу в картонном переплете. Неожиданно фусума раздвинулась и показалось лицо M...ко-сан, жившей на первом этаже. Я слегка растерялся и по-дурацки выпрямился, продолжая сидеть.

— Ой, у вас никого нет?

— Да, сегодня никого... Но вы входите.

M...Ко-сан, не закрывая фусума, осталась стоять на веранде.

— Какая у вас жаркая комната.

Солнце освещало ее со спины, и видны были лишь прозрачно-розовые уши. Я посчитал своим долгом выйти к ней.

— У вас, видимо, прохладная комната.

— Да... Но все время слышен аккордеон.

— А-а, напротив ведь живет душевнобольная.

Разговаривая так, мы некоторое время стояли на веранде. Освещенная лучами заходящего солнца рифленая оцинкованная крыша ярко сверкала. С росшей в саду вишни на нее упала гусеница. Издав легкий звук удара о тонкое железо, гусеница выгнулась несколько раз и сразу же погибла. Это была действительно мгновенная и действительно легкая смерть.

— Будто на раскаленную сковороду упала.

— Я терпеть не могу гусениц.

— А я даже руками могу их брать.

— S-сан мне то же самое говорил.

M...ко-сан серьезно посмотрела на меня.

— Значит, и S-кун тоже.

Мой ответ, видимо, пришелся M...ко-сан не по душе. (Я в самом деле питал интерес к M...ко-сан — нет, лучше сказать, к психологии девушки, которую зовут M...ко-сан). M...ко-сан, наверно, слегка рассердилась и, отходя от перил, сказала:

— Ну что ж, всего хорошего.

После того как M...ко-сан ушла, я продолжал читать «Стремя Окубо Мусаси». Бегая глазами по строчкам, я вспоминал наш разговор о гусенице...

Я выхожу на прогулку, как правило, перед ужином. В это же время выходит и M...ко-сан с матерью, а также K-кун с S-куном. Место прогулки тоже совершенно определенное — от нашей деревни к сосновой роще в двух-трех тѐ. Это случилось, пожалуй, еще до того, как мы смотрели на упавшую гусеницу. Шумно переговариваясь, мы весело шли по сосновой роще. Мы? Мать M...ко-сан была исключением. Она выглядит лет на десять старше своего возраста. Лишь я один ничего не знал о семье M...ко-сан. Но как-то я прочел в газете, что эта женщина, по всей вероятности не родная мать M...ко-сан и ее старшего брата. Брат M...ко-сан, не сдав вступительных экзаменов в университет, застрелился из пистолета отца. Если верить памяти, газета писала, что его самоубийство лежит на совести мачехи. Может быть, из-за этого она и состарилась так рано? Я думаю так каждый раз, когда вижу эту совершенно

седую женщину, хотя ей нет и пятидесяти. Мы вчетвером болтали и болтали без умолку. Вдруг М...ко-сан, вскрикнув: «Ой, противная какая», схватила К-куна за руку.

— Что случилось? Я уж подумал, не змея ли выползла.

На самом деле ничего страшного не произошло. На сухой песчаной дорожке маленькие муравьи тащили огромную полуживую осу. Она лежала на спине и время от времени жужжала, трепеща своими истерзанными крылышками, разгоняя полчища муравьев. Но те тут же снова вцеплялись в ее крылья и лапки. Мы остановились и некоторое время смотрели на отчаянные и бесплодные усилия осы. М...ко-сан, с серьезным лицом, совсем другим, чем вначале, когда она вскрикнула, стояла рядом с К-куном.

— Иногда она высовывает жало.

— Жало у нее загнуто крючком.

С М...ко-сан разговаривал я, поскольку все молчали.

— Пошли. Я не люблю подобных зрелищ.

Мать М...ко-сан двинулась вперед первой. Мы — вслед за ней. Кроме тропинки, вся роща поросла высокой травой. Наши голоса вызвали неожиданно громкое эхо. Особенно смех К-куна — К-кун рассказывал S-куну и М...ко-сан о своей младшей сестре. Сестра, живущая недалеко отсюда, только-только окончила школу. Но уже говорит, что ее мужем должен быть безупречный джентльмен, некурящий и непьющий.

— Мы бы ей не подошли, верно?

Это сказал мне S-кун. И изобразил на лице полную безнадежность.

— И курить нельзя, и пить... Но зато это как раз по тебе, — развил К-кун мысль своего товарища.

Беспечно отвечая на их шутки, я продолжал прогулку, но настроение было испорчено. Поэтому я вздохнул с облегчением, когда М...ко-сан сказала: «Давайте вернемся». Мы не успели ничего ответить, как М...ко-сан, весело улыбнувшись, пошла обратно. По дороге в гостиницу я разговаривал только с матерью М...ко-сан. Мы возвращались той же тропинкой. Осу уже куда-то утащили.

Прошло всего лишь полмесяца. Может быть, из-за того, что день был ненастный, мне ничего не хотелось делать, и я спустился в сад, к пруду. Там сидела в удобном полукресле мать М...ко-сан и читала газету. М...ко-сан собиралась с К-куном и S-куном подняться на гору У., возвышающуюся за гос-

тиницей. Увидев меня, мать М...ко-сан сняла очки и поздоровалась.

— Уступить вам кресло?

— Нет, что вы, мне здесь удобно.

Я как раз садился на стоявший рядом плетеный стул.

— Вчера ночью вам, наверно, не удалось как следует выспаться?

— Нет, почему же... А что-нибудь случилось?

— Душевнобольной все время бегал по коридору туда-обратно, туда-обратно.

— В самом деле? Что вы говорите?

— Он прочел в газете, что в каком-то банке началось массовое изъятие вкладов.

Я представил себе жизнь этого душевнобольного с выколотой на руке сосновой веткой. Потом — можешь смеяться надо мной — вспомнил об акциях и ценных бумагах, которыми владеет мой младший брат.

— S-сан очень жаловался...

В какой-то момент мать М...ко-сан стала задавать мне наводящие вопросы об S-куне. Но я свои ответы все время дополнял словами: «возможно», «думаю». (Я всегда оцениваю человека как такового. Меня нисколько не интересует его семья, состояние, социальное положение. Самое же худшее, даже когда оцениваешь человека как такового, высказать симпатию или антипатию, выискивая в нем лишь сходные с тобой черты.) Кроме того, в ее тоне, каким она выпрашивала у меня об S-куне, было что-то странное.

— Наверное, S-кун нервный.

— Да, возможно, немного нервный.

— И очень наивный, неискушенный в жизни.

— Но он ведь еще совсем молод... В обычных же делах, я думаю, он вполне разбирается.

Во время нашего разговора я вдруг увидел ползущего у самого берега небольшого краба. Он тащил другого краба, у которого панцирь был наполовину разрушен. Я вспомнил рассказ о крабе во «Взаимоотношении» Кропоткина. По утверждению Кропоткина, краб всегда помогает своему раненому товарищу. Но зоологи, основываясь на действительных примерах, которые они наблюдали, говорят, что краб тащит своего раненого товарища, чтобы сожрать его. Я разговаривал с матерью М...ко-сан, глядя, как оба краба скрываются в прибрежных зарослях, и вдруг потерял всякий интерес к нашему разговору.

— Они вернутся, наверное, к вечеру?

Сказав это, я поднялся. И одновременно увидел что-то необычное в выражении лица матери М...ко-сан. На нем промелькнуло удивление и в то же время инстинктивная враждебность. Но она тут же взяла себя в руки и спокойно ответила:

— Да, М...ко-сан именно так и сказала.

Вернувшись в свою комнату, я подошел к перилам веранды и стал смотреть на вершину горы У., возвышающуюся над сосновой рощей. Вершина сверкала от падавших на ее каменистую поверхность лучей солнца. Глядя на этот пейзаж, я испытал жалость к нам, людям...

М...ко-сан и ее мать несколько дней назад вместе с S-куном уехали в Токио. К-кун договорился дожждаться здесь свою младшую сестру (она должна приехать примерно через неделю после моего отъезда) и тоже готовится к отъезду. Оставшись вдвоем с К-куном, я почувствовал себя свободнее. Правда, желая утешить К-куна, я не могу решиться откровенно поговорить с ним. Но все-таки мы живем душа в душу. Забравшись вечером в бассейн, мы чуть ли не по часу говорим о Цезаре Франке.

Я пишу это письмо, сидя в своей комнате. Здесь уже наступила ранняя осень. Утром, когда я проснулся, я увидел просвечивающие сквозь бумагу сёдзи силуэты горы У. и сосновой рощи. Это потому, что сквозь дырку в двери от выпавшего сучка пробивался солнечный свет. Я перевернулся на живот, закурил — в этом крохотном прозрачно-чистом пейзаже ранней осени чувствовался удивительный покой...

Всего хорошего. Наверно, сейчас и в Токио утром и вечером вполне сносно. Передай привет детям.

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

Гав

Однажды в зимний день, под вечер, Ясукиiti сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто (горячие) сандвичи». (Один из его приятелей про-

чел: «облегченные¹ (горячие) сэндвичи» — и всерьез удивился.) Слева от столика — лестница, которая вела вниз, справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки.

Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть, и, поскольку он приезжий, ему лишь оставалось торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении Дзэнмаро Токи (если ошибаюсь, прошу меня простить) говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый — люблю тебя, жена, люблю». Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, поглядывая то в окно на лавку старьевщика, то на «хотто (горячие) сэндвичи», жевал пропахшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ.

Вдруг Ясукити обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукити. Они были мало знакомы, и Ясукити не знал его имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалованье. Требуя все новые порции пива, они не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудовольствия, со стаканами в руках сновала по лестнице вверх и вниз. Потому-то она и не несла несчастную чашку чая, заказанную Ясукити. Так случалось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города.

Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукити, разумеется, не прислушивался к их разговору. Но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай». Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гёте и Стриндберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держат. И ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там

¹ Игра слов: «хотто» — «горячий», от английского «hot» — «горячий». Японское слово «хотто» означает «испытывать чувство облегчения».

был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Гавкни. Ну, гавкни». Ясукити, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, — еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой сакэ «Масамунэ». Потом — поднятая штора. Потом — носки, сушившиеся на краю кадки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом — лужа на дороге. Потом — ну что ты скажешь, собаки нигде не было видно. Вместо нее он заметил нищего лет двенадцати-тринадцати, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа.

— Гавкни! Ну, гавкни же! — опять закричал интендант.

В этих словах была какая-то магическая сила, притягивающая нищего. Точно сомнамбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал два-три шага и подошел под самое окно. Тут-то Ясукити и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка. И если нет, то, значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить, как низко может пасть человек, принося в жертву собственное достоинство ради того, чтобы набить брюхо. Ясукити считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исав ради печеного мяса отказался от права первородства. Сам Ясукити ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, *de gustibus non est disputandum*¹, только сегодня он говорил это своим ученикам. Кому что нравится. Хочешь экспериментировать — экспериментировать. Думая так, Ясукити продолжал смотреть на нищего под окном.

Интендант замолчал. А нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, — это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать.

— Погавкай. Погавкаешь, получишь вот это.

¹ О вкусах не спорят (*лат.*).

Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясу-кити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка-нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно «вроде». Ясу-кити действительно испытывал не столько жалость, сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом.

— Не будешь? Ну, гавкни еще.

Нищий сморщился.

— Гав.

Голос у него был очень тихий.

— Громче.

— Гав, гав.

Нищий громко пролаял два раза. И тут же из окна полетел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий, конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется.

Не прошло и недели, как Ясу-кити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалованье. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясу-кити, он спросил односложно: «Жалованье?» «Да», — в тон ему ответил Ясу-кити. Интендант, может быть, был занят и все не выдавал жалованья. В конце концов он просто повернулся к Ясу-кити спиной, обтянутой военным мундиром, и начал нескончаемое перерасывание костяшек на счетах.

— Интендант...

Это умоляюще сказал Ясу-кити, подождав немного. Интендант обернулся к нему. С его губ уже готово было сорваться «сейчас». Но Ясу-кити опередил его и закончил свою мысль.

— Интендант. Может быть, мне гавкнуть? А, интендант?

Ясу-кити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был нежнее, чем у ангела.

Иностранцы

В этой школе было два иностранца, они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один — англичанин Таундсенд, другой — американец Столлет.

Таундсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повелось, что преподаватели-иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о Гёте. Но, к счастью, Таундсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи — вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?»

Ясукиги жил с Таундсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога отнимала минут двадцать. И они оба, с глазгоскими трубками в зубах, болтали о табаке, о школе, о призраках. Таундсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор заходил об occult sciences¹, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей».

Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зимой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таундсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему: «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Льюис Стивенсон и О'Генри!

Столлет жил не на одной с Ясукиги даче, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукиги почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукиги сказал, зевая: «До чего же тосклива профессия педагога!» А привлекательный Столлет, в очках без оправы, сделав удивленное лицо, ответил: «Педагог — не профессия. Это скорее дар божий. You know Socrates and Platon are two great teachers... Etc».²

Не важно, что он называл Роберта Льюиса Стивенсона янки или как-то еще. Но он говорил, что Сократ и Платон педагоги, — и с тех пор Ясукиги проникся к нему симпатией.

¹ Окультистские науки (англ.).

² Ведь Сократ и Платон — два великих учителя... и т.д. (англ.).

Дневной отдых

(Ф а н т а з и я)

Ясукити вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукити же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему, точно кузнечик, перепрыгивая через три ступеньки, взбегал унтер-офицер. Увидев Ясукити, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукити. Ясукити слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы.

Во дворе, между подокарпов и торрей цвели магнолии. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида росшей здесь магнолии цветы были обращены к югу. Ясукити, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек — рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение.

— Сюда! Сюда! Не туда. Сюда! Сюда!

Следуя призывам трясогузки, Ясукити шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка — что ей почудилось? — вдруг снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий моторист. Ясукити показалось, что ему откуда-то знакомо его лицо. Моторист отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукити, дымя сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов — на десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелил ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

В конце концов Ясукити вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу — звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают. Он присел под пушкой. Потом закурил вторую сигарету. На гравии в круглом садике блестяла ящерица. Если у человека оторвать ногу — конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы ото-

рвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукити думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий.

Ясукити с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе, в котором то и дело что-то взрывается. И одновременно то справа, то слева от сетки возникает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. И шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубашках. Вознося хвалу богам, Ясукити повернул на задний двор.

Задний двор был весь в розовых кустах. Но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на склоненной почти до земли ветке гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукити тихонько остановился и решил послушать.

Первая гусеница. Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших пра-пра-пра-дедов он только и делает, что ползает по земле.

Вторая гусеница. Может быть, люди и не превращаются в бабочек.

Первая гусеница. Нет, вроде бы превращаются. Посмотри, кто-то летает.

Вторая гусеница. Но конечно же, кто-то летает. Но как это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены даже чувства прекрасного.

Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукити стал смотреть на самолет, пролетающий над его головой.

Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в прошлые времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукити:

— Вечером встретимся?

В ухмылке дьявола Ясукиги отчетливо послышались строчки из Фауста: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни дерево»¹.

Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге, заглядывая в каждый, Ясукиги увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, подумал, конечно, что его сотрут. И вдруг, то растягиваясь, то сжимаясь, произнес:

— На следующем уроке еще понадобится.

Ясукиги поднялся по той же лестнице, по которой спустился, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В преподавательской был только лысый Таундсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукиги лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, он, к ужасу своему, обнаружил, что Таундсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукиги стал согбенным седоголовым старцем.

Стыд

Перед тем как идти в класс, Ясукиги обязательно просматривал учебник. И не только из чувств долга: раз получаешь зарплату, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение *cat's paw* может означать «кошачья лапа» и в то же время «бриз».

Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывалось о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер и в люки врывались волны, со страниц не вставали ни эти волны, ни этот ветер. Заставляя учеников читать и переводить, чтобы вызвать у учеников интерес к идейным проблемам или хотя бы проблемам повседневной жизни. Преподаватель ведь, в сущности, хочет обучить и тому, что выходит за рамки его предмета. Мораль, приверженность, мировоззрение — можно назвать это как угодно. В общем, он хочет научить тому, что ближе его сердцу, чем учебник или гри-

¹ Перевод Б. Пастернака.

фельная доска. Но, к сожалению, ученики не хотят знать ничего, кроме учебника. Нет, не то чтобы не хотят. Они просто ненавидят учение. Ясукиги был в этом убежден, поэтому и на сей раз ему не оставалось ничего другого, как, преодолевая скуку, следить за чтением и переводом.

Но даже в те минуты, когда Ясукиги не бывало скучно, когда он, внимательно прислушавшись к тому, как читает и переводит ученик, обстоятельно поправлял ошибку, даже в эти минуты все ему было достаточно противно. Не прошло и половины урока, который длится час, как он прекратил чтение и перевод. Вместо этого он стал сам читать и переводить абзац за абзацем. Морское путешествие в учебнике по-прежнему было невыразимо скучным. Но и его метод обучения ни капли не уступал ему в невыразимой скуке. Подобно паруснику, попавшему в полосу штиля, он неуверенно, то и дело замирая на месте, продвигался вперед, либо путая времена глагола, либо смешивая относительные местоимения.

И вдруг Ясукиги заметил, что до конца того куска, который он подготовил, осталось всего пять-шесть строк. Если он перевалит через них, то попадет в коварное, бушующее море, полное рифов, морской терминологии. Краешком глаза он посмотрел на часы. До трубы, возвещавшей перерыв, оставалось еще целых двадцать минут. Со всей возможной тщательностью он перевел подготовленные им последние пять-шесть строк. Но вот перевод уже закончен, а стрелка часов за это время передвинулась всего на три минуты.

Ясукиги некуда было деваться. Единственный выход, единственное, что могло спасти его, — вопросы учеников. А если и после этого останется время, тогда только один выход — закончить урок раньше. Откладывая учебник в сторону, он открыл было рот, чтобы сказать: «Вопросы?» И вдруг густо покраснел. Почему же он покраснел? Этого он и сам не смог бы объяснить. Обмануть учеников было для него пустяковым делом, а на этот раз он почему-то покраснел. Ученики, ничего, конечно, не подозревая, внимательно смотрели на него. Он снова посмотрел на часы. Потом... Едва взяв в руки учебник, начал как попало читать дальше.

Может быть, и потом морское путешествие в учебнике было скучным. Но в метод, каким он обучал, Ясукиги верит и поныне. Ясукиги был преисполнен отваги больше, чем парусник, борющийся с тайфуном.

Доблестный часовой

В конце осени или в начале зимы — точно не помню. Во всяком случае, это было время, когда в школу ходили в пальто. Все сели за обеденный стол, и один молодой преподаватель-офицер рассказал сидевшему рядом с ним Ясукиги о недавнем происшествии.

— Глубокой ночью два-три дня назад несколько вооруженных бандитов пристали на лодке к берегу позади училища. Заметивший их часовой, который нес ночную вахту, попытался в одиночку задержать их. Но после ожесточенной схватки бандитам удалось уплыть обратно в море. Часовой же, промокнув до нитки, кое-как выбрался на берег. А лодка с бандитами в это время скрылась во мраке. Часовой которого зовут Оура, остался в дураках.

Офицер грустно улыбнулся, набивая рот хлебом.

Ясукиги тоже знал Оуру. Часовые, их несколько, сменяясь, сидят в караульной около ворот. И каждый раз, когда входит или выходит преподаватель, независимо от того, военный он или штатский, они отдают честь. Ясукиги не любил, чтобы его приветствовали, и сам не любил приветствовать. Поэтому, проходя через караульную, изо всех сил ускорял шаг, чтобы не оставить времени для приветствия. Ему не удавалось усыпить бдительность лишь одного Оуры. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривал расстояние в пять-шесть эзнов перед воротами. Поэтому, как только появлялась фигура Ясукиги, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивался в приветствии. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов Я с укиги примирился с этим. Нет, не только примирился. Стоило ему видеть Суру, как он, чувствуя себя точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу.

И вот сейчас Ясукиги услышал, что из-за бандитов Оуре пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки.

Через пять-шесть дней в зале ожиданий на вокзале Ясукиги столкнулся с Оурой. Увидев его, Оура, хотя место было совсем не подходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукиги даже померещился за ним вход в караульную.

— Ты недавно... — начал после непродолжительного молчания Ясукиги.

— Да, не удалось бандитов задержать...

— Трудно пришлось?

— Счастье еще, что не ранили... — С горькой улыбкой, точно насмехаясь над собой, Оура продолжал: — Да что там, если бы я очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал. Ну, хорошо, задержал, а дальше что?

— Как это дальше?

— Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких ситуациях.

— Даже если погибнешь на посту?

— Все равно, даже если погибнешь.

Ясукити взглянул на Оуру. По его собственным словам вышло, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукити, вынимая сигарету, сочувственно кивнул:

— Действительно, дурацкое положение. Рисковать задаром нет никакого резона.

Оура понимающе хмыкнул. Выглядел он необычно мрачным.

— Вот если бы давали награду...

Ясукити спросил угрюмо:

— Ну а если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь.

На этот раз Оура промолчал. Ясукити взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукити. Ясукити, приближая сигарету к красному колышущемуся огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ.

— Благодарю.

— Ну что вы, пожалуйста

Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ее для богов, которых он призывал в свидетели его верности бусидо.

ДЕСЯТИИЕНОВАЯ БУМАЖКА

Однажды в начале лета пасмурным утром Ясукити Хори-кава уныло поднимался по каменным ступенькам на платформу. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто ему

было грустно оттого, что в кармане у него всего-навсего шестьдесят сэн. В то время Ясукиги Хорикава постоянно страдал от безденежья. Жалованье преподавателя английского языка исчислялось мизерной суммой в шестьдесят иен. И даже когда в журнале «Тюокорон» печаталась его новелла, написанная в свободное от преподавания время, ему платили не более девяноста сэн за страницу. Впрочем, этих денег не вполне хватало, чтобы платить пять иен в месяц за квартиру и еще по пятьдесят сэн в день за завтрак, обед и ужин. Ведь он не столько любил роскошествовать, сколько заботился о собственном реноме и лишь поэтому придавал большое значение своим доходам. Правда, помимо всего прочего, ему необходимо было читать книги. Необходимо было курить египетские сигареты. Необходимо было ходить в концерты. Необходимо было встречаться с товарищами. И еще с женщинами — в общем, раз в неделю ему необходимо было ездить в Токио. Движимый жаждой жизни, он без конца брал авансы под свои рукописи, выпрашивая деньги у родителей и братьев. Когда же и этих денег не хватало, нес в заклад свою большую коллекцию картин в один похожий на амбар дом с красным фонарем над входом, куда редко кто заглядывал. Но на этот раз никаких надежд на аванс не было, к тому же Ясукиги Хорикава поссорился с родителями и братьями, так что положение его было из рук вон плохо. Ему пришлось расстаться даже со своим атласным цилиндром, который он купил за восемнадцать иен и пятьдесят сэн ко Дню основания империи.

И пока Ясукиги шагал по запруженной людьми платформе, образ прекрасного блестящего цилиндра буквально преследовал его. Этот глянец вызывал в памяти освещенные окна дома-амбара. В цилиндре отражались цветы горной вишни, росшей под окнами того дома... Но шестьдесят сэн на дне кармана, которых коснулись пальцы Хорикавы, миг разрушили это видение. Сегодня только тринадцатое. Целых две недели до двадцать восьмого числа, когда он получит жалованье в конверте с надписью: «Господину преподавателю Хорикаве». А долгожданное воскресенье, когда можно наконец съездить в Токио, уже завтра.

Ясукиги собирался поужинать с Хасэ и Отомо. Кроме того, он собирался купить в Токио кисти, краски и холсты, которых здесь не было. И еще собирался пойти на концерт фрейлейн Мёллендорф. Но с шестьюдесятью сэнами в кармане нечего было и думать о поездке в Токио.

— Итак, прощай мое завтра.

Чтобы рассеять тоску, Ясукиги решил закурить. Но в карманах, которые он тщательно обыскал, не осталось ни единой сигареты — вот досада. Все сильнее и сильнее чувствуя, с какой жестокостью смеется над ним злая судьба, он подошел к стоявшему у зала ожидания уличному торговцу. Торговец в зеленой охотничьей шляпе, с лицом, обсыпанным редкими оспинами, с обычным скучающим видом смотрел на газеты и карамель, разложенные в ящике, висевшем у него на шее. Он не просто торговец. Он символ, мешающий нашей жизни. Сегодня, или, лучше сказать, особенно сегодня, Ясукиги испытывал к этому уличному торговцу глухое раздражение.

— Дай мне «Асахи».

— «Асахи»? — не поднимая глаз, сурово спросил торговец. — Газету или сигареты?

Ясукиги почувствовал, что у него от напряжения дрожит переносица.

— Пива!

Торговец удивленно уставился на Ясукиги.

— Пива «Асахи» у меня нет.

С чувством облегчения Ясукиги отошел от торговца. Но как же «Асахи»? Ведь он подошел специально, чтобы купить их... Ничего, можно и не выкурить «Асахи». Зато он как следует проучил отвратительного уличного торговца — а это, пожалуй, даже приятнее, чем выкурить сигару. И, забыв, что у него в кармане жалкие шестьдесят сэн, Ясукиги гордо зашагал по платформе. С видом Наполеона, одержавшего блистательную победу над Ваграмом...

* * *

На фоне затянутого тучами неба высится холм — не поймешь, скала это или огромная куча грязи. Вершина холма покрыта коричневатой зеленью — не поймешь, трава это или деревья. Ясукиги медленно бредет вдоль подножия холма. После получасовой тряски в поезде еще полчаса тащиться по пыльной дороге — тяжело. Тяжко? Вовсе нет. Он шел по инерции и на какой-то момент перестал ощущать, как тяжело идти. Каждый день он покорно брел вдоль подножия этого холма, нагонявшего тоску. Наша трагедия в том, что мы обречены на адские муки. Наша трагедия в том, что адские муки мы не воспринимаем как муки. Раз в неделю он избавлялся от этой тра-

гедии. Но сегодня, когда в кармане оставалось всего шестьдесят сэн...

— Доброе утро, — неожиданно окликнул его старший преподаватель Авано-сан.

Авано-сан перевалило за пятьдесят. Смуглый, чуть сутуловатый господин в очках. Преподаватели военно-морской школы, где служил Ясукиги, позволяли себе носить лишь давно вышедшие из моды синие саржевые пиджаки — никаких других они никогда не носили. Авано-сан был в саржевом пиджаке и новой соломенной шляпе. Ясукиги вежливо поклонился.

— Доброе утро.

— Ужасная духотища.

— Как ваша дочь? Я слышал, она больна...

— Спасибо. Вчера ее наконец выписали из больницы.

Отдавая Авано-сану дань уважения, Ясукиги пропустил его вперед. Причем уважение его отнюдь не было показным. Он беспредельно восхищался лингвистическим талантом Авано-сана. Авано-сан — он умер в возрасте шестидесяти лет — учил латыни на произведениях Цезаря. Кроме того, он знал, разумеется, английский, а также много других современных языков. Ясукиги поражало, что Авано читал по-итальянски книгу под названием «Асино»¹, хотя сам не был дураком.

Но Ясукиги восхищался не только его лингвистическим талантом. Авано-сан обладал великодушием старшего. Всякий раз, натолкнувшись в учебнике английского языка на трудное место, Ясукиги непременно консультировался с Авано-саном. Трудные места... они возникали потому, что, экономя время, Ясукиги нередко шел на урок, не заглянув в словарь. В таких случаях, правда, он изо всех сил старался изобразить не только почтительность, но и смущение. Авано-сан всякий раз без труда разрешал его сомнения. И лишь в тех случаях, когда Ясукиги задавал вопрос настолько легкий, что и сам мог бы на него ответить, Авано-сан изображал на лице глубокую задумчивость — Ясукиги до сих пор отчетливо помнит, как это происходило. Держа в руках учебник Ясукиги, Авано-сан, с потухшей трубкой в зубах, ненадолго погружался в размышления. Потом вдруг, точно его осенило, вскрикивал: «Это значит вот что», — и одним духом объяснял непонятное Ясукиги место. Как же почитал Ясукиги Авано-сана за такие представ-

¹ «Дурак» (итал.).

ления, за такие уроки не столько талантливому лингвиста, сколько талантливому притворщику!..

— Завтра воскресенье. Вы опять отправитесь в Токио?

— Да... Нет. Завтра я решил не ехать.

— Почему?

— Честно говоря... из-за бедности.

— Вы шутите, — сказал Авано-сан со смехом. Он конфузился, когда смеялся, потому что из-под темно-рыжих усов у него торчали выдающиеся вперед зубы. — Ведь, кроме жалования, у вас есть еще и гонорары, так что в общей сложности вы получаете вполне прилично.

— Вы шутите. — Теперь эти слова уже произнес Ясукиги. Но произнес их гораздо серьезнее, чем Авано-сан. — Как вам известно, мое жалование — пятьдесят иен, а гонорар — девяносто сэн за страницу. Если даже писать пятьдесят страниц в месяц, то получится — пятью девять — сорок пять иен. А в мелких журналах вообще платят сэн шестьдесят, так что...

Ясукиги стал разглагольствовать о том, как трудно живет литературному поденщику. И не просто разглагольствовать. Обладая прирожденным поэтическим даром, он с ходу расцвечивал свои слова самыми причудливыми красками. Японские драматурги и писатели — особенно его друзья — вынуждены мириться с ужасающей нуждой. Масао Хасэ приходится вместо саке пить всякое пойло. Юкиги Отото с женой и ребенком снимает крохотную комнатку на втором этаже. Ходзэ Мацумото тоже... правда, он недавно женился, и теперь ему живется полегче. А до этого он ходил только в дешевую закусную.

— Arrangances are deceitful¹, что говорить, — не то в шутку, не то всерьез поддакнул Авано-сан.

Пустынная дорога незаметно перешла в улицу с убогими домишками, тянувшимися по обеим сторонам. Запыленные витрины, оборванные объявления и афиши на телеграфных столбах — одно только название, что город. Ни с чем не сравнимый трепет вызывал прочерчивающий небо над черепичными крышами огромный подъемный кран, который выбрасывал в небо клубы черного дыма и белого пара. Наблюдая эту картину из-под полей сломанной шляпы, Ясукиги испытывал глубокое волнение при мысли о трагедии литературных поденщиков, которую он сам нарисовал такими яркими красками. И, точно забыв о своем правиле терпеть, но не подавать

¹ Внешность обманчива (англ.).

виду, проболтался о содержимом своего кармана, где по-прежнему покоилась его рука.

— Честно говоря, у меня всего шестьдесят сэн, не разгуляешься, так что в Токио я не поеду.

В преподавательской Ясукиги подсел к столу и, раскрыв учебник, стал готовиться к занятиям. Но ему не доставляло особой радости читать статью о ютландском морском бое. Особенно сегодня, когда он полон желания поехать в Токио. Держа в руке английский словарь морских терминов, Ясукиги пробежал глазами всего одну страницу и тут же с тоской принялся думать о том, что в кармане у него всего шестьдесят сэн...

В половине двенадцатого голоса в преподавательской смолкают. Десять преподавателей уходят на занятия, остается один Авано-сан. Он скрыт за стоящим напротив столом... точнее, за безвкусной книжной полкой, отделяющей его стол от стола Ясукиги. И лишь синеватый дымок от трубки, как свидетельство существования Авано-сана, время от времени медленно поднимается вверх на фоне белой стены. За окном тоже безмолвие. Покрытые молодой листвой верхушки деревьев, уходящие в облачное небо, серое здание школы за ними, а еще дальше сверкающая гладь залива — все погружено в знойную, унылую тишину.

Ясукиги вспомнил о сигарете. И тут обнаружил, что, прочуввав неприветливого торговца, совсем забыл купить сигареты. Когда нечего курить — это тоже трагедия. Трагедия?.. А может быть, вовсе не трагедия? Страдания Ясукиги, разумеется, не шли ни в какое сравнение со страданиями умирающего с голоду бедняка, для которого шестьдесят сэн целое состояние. Но страдал Ясукиги так же, как бедняк. Даже сильнее. Ибо обладал тонкой нервной организацией. Бедняка совсем не обязательно называть бедняком. Талантливый лингвист Авано-сан совершенно равнодушен и к «Подсолнухам» Ван Гога, и к «Песне» Вольфа, и даже к урбанистской поэзии Верхарна. Лишить Авано-сана искусства все равно что лишить травы собаку. Лишить же искусства Ясукиги все равно что лишить травы верблюда. Мизерная сумма в шестьдесят сэн заставила Ясукиги Хорикаву страдать от духовного голода. Рэнтаро Авано, пожалуй, отнесся бы к этому равнодушно.

— Хорикава-кун...

Ясукиги не заметил подошедшего к нему Авано-сана. В том, что он подошел, не было ничего удивительного. Удивительным было то, что и от его зальсины на лбу, и от глаз за

сильными стеклами очков, и от коротких усов... а если прибегнуть к некоторой гиперболе, то и от поблескивающей никотином трубки веяло необычным, поистине очаровательным, почти женским смущением. Пораженный Ясукиги, не спросив даже: «У вас ко мне дело?» — уставился на старого преподавателя, такого простого и близкого сейчас.

— Хорикава-кун, это очень мало, но...

Скрывая за улыбкой смущение, Авано-сан протянул Ясукиги сложенную вчетверо десятииеновую бумажку.

— Это, конечно, мало, но на билет до Токио хватит.

Ясукиги растерялся. Занять у Рокфеллера — об этом он часто мечтал. К тому же он сразу вспомнил, что лишь сегодня утром разглагольствовал о трагедии литературного поденщика. Ясукиги покраснел и стал запинаясь отказываться.

— Нет, что вы, честно говоря, карманных денег... карманных денег у меня действительно нет, но... стоит мне съездить в Токио, и я все улажу... кроме того, я передумал и не поеду, так что...

— Ну что вы, берите, все же лучше, чем ничего.

— Мне в самом деле не нужно. Благодарю вас...

Авано-сан вынул трубку изо рта и растерянно посмотрел на сложенную вчетверо десятииеновую бумажку. А когда поднял глаза, спрятанные за стеклами очков в золотой оправе, в них все еще сквозила смущенная улыбка.

— Вам виднее. Ну что ж... простите, что оторвал вас от дела.

И Авано-сан, с таким видом, будто это ему отказались дать в долг, быстро спрятал десятииеновую бумажку в карман и заспешил к своему столу, скрытому полкой, уставленной словарями и справочниками.

Наступившая тишина окончательно лишила Ясукиги покоя. Он даже взмок и, вынув из кармана никелированные часы, стал рассматривать свое лицо, отражавшееся в крышке. Привычка смотреться в зеркало всякий раз, когда он терял душевный покой, появилась у Ясукиги лет десять назад. Правда, отраженное в маленьком кружке крышки часов лицо расплылось, нос разросся до огромных размеров. К счастью, и этого оказалось достаточно, чтобы в его сердце постепенно начал воцаряться покой. И одновременно он все острее испытывал сожаление, что отверг дружелюбие Авано-сана. Авано-сана, конечно, нисколько не волновало, вернут ему десять иен или нет, он лишь предвкушал наслаждение при мысли о том, с ка-

кой радостью они будут приняты. И очень невежливо отвергнуть его предложение. Мало того...

Ясукиги почувствовал, что не в силах устоять перед этим «мало того», как перед сильным порывом ветра. Мало того, после мольбы о помощи отклонить благодеяние — непростительное малодушие. Чувство долга, на него можно наплевать. Главное — сделать все, чтобы не стать трусом. Хорошо, он возьмет в долг... предположим, возьмет — но до двадцать восьмого, пока не получит жалованье, никак не сможет их вернуть. Он спокойно брал авансы под свои будущие произведения. Но две с лишним недели не возвращать долг Авано-сану — это, пожалуй, хуже, чем стать нищим...

Минут десять Ясукиги колебался, затем спрятал часы в карман и с воинственным видом направился к столу Авано-сана. Тот, окутанный клубами табачного дыма, в своей обычной позе сидел за столом, где в строгом порядке были расставлены коробка табака, пепельница, журнал учета посещений, бутылка с клеем, и читал детектив Мориса Леблана. Увидев Ясукиги, Авано-сан отложил книгу, полагая, что у того какой-то вопрос по учебнику, и спокойно посмотрел ему прямо в лицо.

— Авано-сан. Одолжите мне, пожалуйста, деньги, которые вы только что предлагали. Я все хорошенько обдумал и решил взять их.

Ясукиги выпалил это одним духом. Он смутно помнит, что Авано-сан встал из-за стола, но ничего не сказал. Какое у него было при этом лицо — этого он, видимо, не заметил. Теперь, когда уже прошло лет семь или восемь, Ясукиги помнил только огромную правую руку Авано-сана, протянутую к его лицу. Помнил, как тот смущенно, дрожащими пальцами (ноготь на толстом указательном пальце — желтый от никотина) протягивал ему сложенную вчетверо десятииеновую бумажку...

Ясукиги твердо решил вернуть Авано-сану долг послезавтра, в понедельник. Для верности скажем: именно эту десятииеновую бумажку. И совсем не потому, что у него был какой-то тайный умысел. Теперь, когда не оставалось никакой надежды на новый аванс и он поссорился с родителями и братьями, ясно, что денег он не достанет, если даже отправится в Токио. Следовательно, чтобы вернуть долг, он должен сберечь именно эту десятииеновую бумажку. А чтобы сберечь эту десятииеновую бумажку... Ожидая гудка отправления в уголке полутемного вагона второго класса, Ясукиги еще неотступнее, чем утром, думал о десятииеновой бумажке, лежав-

шей в кармане вместе с мелочью — несчастными шестьюдесятью сэнами.

Неотступнее, чем утром, но не унылее, чем утром. Утром он с горечью думал лишь о том, что у него нет денег. А сейчас он испытывал помимо этого и нравственную муку, связанную с необходимостью вернуть десять иен. Нравственную?.. Ясуцити невольно поморщился. Нет, никакая не нравственная. Просто он не хочет ронять своего достоинства в глазах Аваносана. Другого же способа сохранить честь, кроме как вернуть одолженные деньги, не существует. Если бы и Аваносан любил искусство или по крайней мере литературу — писатель Ясуцити Хорикава попытался бы сохранить честь, выпустив блестящее произведение. Или, если бы Аваносан был заурядным, как все мы, лингвистом, преподаватель Ясуцити Хорикава мог бы сохранить честь, продемонстрировав свою элементарную лингвистическую подготовку. Но ни один из этих способов не годился, когда речь шла о совершенно равнодушном к искусству лингвистическом гении Аваносана. В общем, хочешь не хочешь, Ясуцити должен был сохранить свое достоинство; как это делают обычные воспитанные люди. А именно, вернуть одолженные деньги. Возможно, это выглядит немного комично — причинять себе столько хлопот, преодолевать столько трудностей лишь ради того, чтобы сохранить честь, а именно в глазах Аваносана, этого пожилого, благородного, чуть сутуловатого человека в очках с золотой оправой...

Поезд тронулся. Дождь, полосующий обложенное тучами небо, затянул пеленой военные корабли, замершие в сине-зеленом море. Ясуцити, испытывая какую-то непонятную легкость, обрадовался, что у него всего несколько попутчиков, и с наслаждением вытянулся на диване. Ему сразу же вспомнился один журнал в Хонго. Всего месяц назад он получил оттуда длинное письмо с предложением сотрудничать. Но, презирая этот журнал, он не откликнулся на предложение. Продать свои произведения такому журналу почти то же, что отдать собственную дочь в проститутки. Но теперь, когда везде, где только можно, он получил авансы, остался один этот журнал. Если бы удалось добыть хоть небольшую сумму...

Поезд нырнул из тоннеля в тоннель, и, следя за сменой света и тьмы, Ясуцити представлял себе, какую радость принес бы ему даже самый маленький аванс. Радость человека искусства зависит от случая. Воспользоваться таким случаем ни-

сколько не стыдно. Сегодня этот случай — экспресс, прибывающий в Токио в два часа тридцать минут. Чтобы получить хоть какой-нибудь аванс, нужно прежде всего добраться до Токио. Если бы удалось достать иен пятьдесят или, на худой конец, тридцать, можно было бы поужинать с Хасэ и Отомо. Можно было бы пойти на концерт фрейлейн Мёллендорф. Можно было бы купить холсты, кисти и краски. Мало ли что можно было бы. Да и стоит ли прилагать такие невероятные усилия, чтобы сохранить десятииеновую бумажку? А вдруг не удастся получить аванса — что ж, тогда он и подумает, как быть. В самом деле, во имя чего он так стремится сохранить честь в глазах Рэнтаро Авано? Авано-сан, пожалуй, человек благородный. Но к судьбе самого Ясукиги, к огню искусства, пылающему у него в груди, Авано-сан не имеет ни малейшего отношения. И не воспользоваться таким случаем ради этого чужого человека... Черт возьми, подобная логика опасна!

Вздروгнув, Ясукиги вдруг садится на диване. Вырвавшийся из тоннеля поезд, выбрасывая клубы дыма, с печальным видом бежит по ущелью, поросшему мокрым от дождя зеленым мискантом, шелестящим по ветру...

Это произошло на следующий день, в воскресенье, под вечер. Ясукиги сидел на старом плетеном стуле в своей комнате и неторопливо подносил огонь к сигарете. Его сердце было переполнено удовлетворением, какого он давно уже не испытывал. И это не случайно. Во-первых, ему удалось сохранить десятииеновую бумажку. Во-вторых, в только что полученное им от одного издательства письмо был вложен гонорар за пятьсот экземпляров его книги — пятьдесят сэн за каждый экземпляр. В-третьих — самым неожиданным было именно это событие, — так вот, в-третьих, квартирная хозяйка подала ему на ужин печеную форель!

Лучи летнего вечернего солнца заливали свисавшие над карнизом ветви вишни. Заливали и десятииеновую бумажку, лежавшую у Ясукиги на коленях, обтянутых саржевыми брюками. Он внимательно смотрел на сложенную бумажку в лучах этого вечернего солнца. Серая десятииеновая бумажка с напечатанными на ней виньетками и шестнадцатилепестковой хризантемой была удивительно хороша. Хорош был и овальный портрет: лицо туповатое, но совсем не вульгарное, как ему прежде казалось. Еще прекрасней была оборотная сторона, зеленовато-коричневая и на редкость изящная. Хотя

в рамку вставляй, не будь она захватана руками. Но она не только захватана руками. Над крупной цифрой 10 что-то мелко написано чернилами. Ясукити двумя пальцами взял бумажку и прочел надпись: «Может, сходить в «Ясукэ»?»

Ясукити снова положил бумажку на колени. Потом выпустил сигаретный дым вверх, к озаряющим сад лучам вечернего солнца. Эта десятииеновая бумажка, возможно, навела автора надписи всего лишь на мысль сходить поесть суси. Но какие трагедии возникают в бескрайнем мире вот из-за такой десятииеновой бумажки! Да и сам он еще накануне вечером готов был заложить душу за эту бумажку. Но все обошлось. Во всяком случае, ему удалось сохранить свою честь в глазах Аваносана. А на мелкие расходы ему вполне хватит до жалованья гонорара за пятьсот экземпляров.

— Может, сходить в «Ясукэ»? — шепчет Ясукити и пристально смотрит на десятииеновую бумажку. Как Наполеон — на Альпы, которые он только вчера перевалил.

ДЕНЬ В КОНЦЕ ГОДА

...Я шел по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни. Но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее...

Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трем журналам, — все три не удовлетворяли меня. Но тем не менее сегодня перед рассветом я закончил последний.

На сѣдзи рядом с постелью четко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошел в уборную. «Пожалуй, похолодало», — подумал я.

Тетка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходящую на веранду. Отсюда и шел дребезжащий звук. Тетка, в безрукавке поверх кимоно, с подвязанными тесемкой рукавами, выжимая в ведерке тряпки, сказала мне с легкой издевкой:

— Знаешь, а ведь уже двенадцать часов.

И правда, было уже двенадцать. В столовой у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто еще утро, пошел умываться на кухню, где не было ни души.

Покончив с завтраком, который был одновременно и обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение мое не улучшилось. Каждый раз, закончив работу, я испытывал странную опустошенность. Как после близости с женщиной, и с этим уж ничего не поделаешь...

К. пришел около двух часов. Я пригласил его к жаровне и решил сначала поговорить о делах. Одетый в полосатый пиджак К. — в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене — сейчас работал в самой редакции.

— Ну как? Если есть время, может, пройдемся? — предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома.

— Да, если часов до четырех... Вы уже заранее решили, куда мы пойдем? — спросил К застенчиво.

— Нет, мне все равно куда.

— Может, пойдем на могилу?

Могила, о которой говорил К., была могилой Нацумэ.

С полгода назад я обещал К. показать могилу Нацумэ — любимого его писателя. Идти на могилу под Новый год — это, пожалуй, вполне соответствовало моему настроению.

— Ну что ж, пойдемте.

Быстро накинув пальто, я вместе с К. вышел из дому.

День холодный, но ясный. На узенькой Додзаке было оживленнее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука почти касались небольшого домика под тесовой крышей, именовавшегося помещением молодежной организации Табаты. При виде этой улицы у меня воскресло памятное с детства ощущение близости Нового года.

Подождав немного, мы сели на электричку в сторону Гоккудзимаэ. В электричке было не очень много народу. Так и не опуская воротника пальто, К. рассказывал мне, как недавно ему наконец удалось достать рукопись стихов сэнсэя.

Когда мы проехали Фудзимаэ, одна из лампочек в центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие кусочки. Там стояла женщина лет двадцати пяти, она была дурна собой. В одной руке женщина держала огромный узел, а другой ухвати-

лась за ремень. Падая на пол, лампочка слегка задела прядь волос у нее на лбу. Женщина сделала удивленное лицо и стала оглядывать пассажиров. У нее было такое выражение, будто она ждет сочувствия или, уж во всяком случае, хочет привлечь к себе внимание. Но все, будто сговорившись, оставались совершенно равнодушными. Продолжая беседовать с К., я смотрел на обескураженную женщину, и лицо ее казалось мне исполненным отчаяния и, уж разумеется, не смешным.

На конечной остановке мы вышли из электрички и по улице, где было множество лавок, торговавших гирляндами, направились к кладбищу Дзосикая.

На кладбище, засыпанном листьями огромным гинкго, как всегда, стояла тишина. На широкой центральной аллее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди К., я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки за живой изгородью боярышника, а иногда за ржавой железной оградой выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Но сколько мы ни шли, могилу сэнсэя не могли найти.

— Может быть, на той дорожке.

— Возможно.

Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сэнсэя даже девятого декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верилось, что можно забыть, где его могила.

Но и на другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы все не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалеку от его могилы.

— И спросить не у кого... Ну что ты будешь делать!

В словах К. мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести к могиле, так что злиться мне не приходилось.

Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромное гинкго. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под пальто тепло собственного тела — меня бросало в жар, — я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира и я бежал домой, сдерживая слезы.

Мы ходили до тех пор, пока наконец я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиция, и все-таки привел К. к могиле сэнсэя.

Могилка обветшала еще больше даже по сравнению с прошлым разом. Да к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали, — на ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесенные, видимо, девятого числа. К. снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с К.

— Сколько лет прошло?

— Ровно девять.

Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Го-кокудзимаэ.

В электричку мы сели вместе с К., а у Фудзимаэ я сошел один. Навестив приятеля в библиотеке Тоёбунко, я возвратился к вечеру на Додзаку.

Наступил самый оживленный час на Додзаке. Но когда я миновал храм Косиндо, прохожих стало попадаться все меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шел по ветреной улице, упорно глядя под ноги.

Под горкой Хатимандзака, что за кладбищем, опершись о ручки тележки, отдыхал ее владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись: «Токійская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повозку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, грязной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю свое состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону. И тогда голые ветви деревьев на кладбище стонали. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих сгущающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой...

НЕКИЙ СОЦИАЛИСТ

Он был молодой социалист. Его отец, мелкий чиновник, хотел выгнать его за это из дому. Но он не сдавался. Отчасти потому, что его увлечение было горячо, отчасти потому, что его воодушевляли товарищи.

Они организовали общество, выпускали брошюры в десять страничек, устраивали вечера с речами. Он, конечно, постоянно бывал на их собраниях и, кроме того, иногда печатал в этих брошюрках свои статьи. Его статей, кроме членов общества, по-видимому, никто специально не читал. Но с одной из них — под названием «Вспоминаю Либкнехта» — у него было связано чувство какого-то удовлетворения. Пусть она не являлась тонким исследованием, зато была исполнена поэтического жара.

Тем временем он окончил училище и поступил в редакцию одного журнала. Однако он не переставал посещать их собрания. Они по-прежнему горячо обсуждали свои вопросы. Больше того, потихоньку, как вода точит камень, они переходили к практической работе.

Отец больше не вмешивался в его дела. Молодой человек женился и поселился в маленьком домике. Жилище и в самом деле было маленькое. Но он не испытывал недовольства — напротив, он чувствовал себя счастливым. Жена, собачка, тополь в палисаднике — все это придавало его жизни какую-то неведомую ему теплоту.

Из-за семьи, а также из-за того, что он был завален работой в редакции, где нельзя было терять ни минуты, он все реже посещал собрания Общества. Но его увлечение нисколько не остыло. По крайней мере, он был убежден, что он, теперешний, нисколько не отличается от того, каким он был несколько лет назад. Но они — его товарищи — думали иначе. Особенно молодежь, недавно вступившая в их организацию, нисколько не стеснялась осуждать его пассивность.

Это неизбежно приводило к тому, что он больше и больше отдалялся от Общества. А тут он стал отцом и еще сильнее привязался к семье. Но предметом его увлечения по-прежнему был социализм. Он не бросал своих занятий поздней ночью при электрическом свете. В то же время в брошюрках в десять страниц, которые он написал несколько лет назад, в том числе и в брошюре «Вспоминаю Либкнехта», что-то перестало его удовлетворять.

Товарищи тоже совсем к нему охладели. Он потерял для них интерес даже как объект осуждения. Оставив его в покое — оставив в покое так много похожих на него людей, — они шаг за шагом продвигали свою работу. Встречаясь со старыми товарищами, он каждый раз принимался жаловаться. Но на самом деле он просто нашел удовлетворение в обывательском покое.

Потом, через несколько лет, он поступил на службу в одну фирму и заслужил доверие начальства. Тогда он поселился в доме, который был гораздо больше прежнего; у него росло несколько детей. Но его увлечение — где оно теперь, известно, пожалуй, одному богу! Иногда, сидя в кресле и покуривая папиросу, он вспоминал свои молодые годы. Нельзя сказать, чтобы это как-то странно не омрачало его сердце. Но восточная «покорность судьбе» всегда спасала его.

Конечно, он отступник. Но его брошюрка «Вспоминаю Либкнехта» послужила стимулом для другого человека. Это был юноша из Осаки, который, играя на бирже, лишился имущества, доставшегося ему в наследство от родителей. Этот юноша прочел его брошюру и под ее влиянием сделался социалистом. Но обо всем этом он, конечно, ничего не знал. Он и теперь, сидя в кресле и покуривая папиросу, вспоминает свои молодые годы — по-человечески, пожалуй, слишком по-человечески.

Человеческое, слишком человеческое — это всегда нечто животное («Слова пигмея»).

ЗИМА

В теплом пальто и каракулевой шапке я направлялся к тюрьме Итигая. В эту тюрьму несколько дней тому назад посадили моего кузена — мужа двоюродной сестры. А я шел туда как представитель родственников, чтобы утешить его.

Хотя на предфевральских улицах все еще висели флаги, обозначающие места дешевых распродаж, во всем городе чувствовался зимний «мертвый сезон». Взбираясь вверх по склону, я тоже всем своим существом физически ощутил смертельную усталость. В ноябре прошлого года скончался от рака горла мой дядя. Кроме того, под новый год сбежал из дому сынишка моих дальних родственников. Вдобавок... Однако то, что мой кузен угодил в тюрьму, было для меня самым чувствительным ударом. Мне вместе с его младшим братом приходилось вести совершенно непривычные для меня бесконечные переговоры со множеством людей. К тому же возникали всякого рода сложности, связанные с чувствами родственников, задетых случившимся, — сложности, суть которых трудно понять тому, кто не родился в Токио. Меня не покидала надежда,

что после свидания с кузеном я все-таки смогу поехать куда-нибудь на недельку отдохнуть и подкрепить свои силы.

Тюрьма Итигая была окружена высокой насыпью с поросшими сухой травой склонами. Сквозь решетчатые из толстых деревянных брусьев ворота в средневековом стиле виднелся усыпанный галькой двор с заиндепевшими кипарисами. Я остановился у ворот и подал визитную карточку добродушному на вид надзирателю с седеющими бакенбардами. После этого меня проводили в комнату ожидания — отдельное помещение с навесом, покрытым толстым слоем высохшего мха. Здесь на скамейках с тонкой обивкой сидело уже немало людей. Среди них особое внимание привлекала женщина лет тридцати пяти в дорогом черном хаори. Она читала какой-то журнал.

Время от времени заходил удивительно нелюбезный надзиратель. Монотонным, без малейшего выражения, голосом выкликал он номера тех, кому подошла очередь идти на свидание. Я ждал и ждал, но мой номер все не называли. Я ждал... Когда я проходил через ворота тюрьмы, было около десяти утра. А теперь часы на моей руке показывали уже без десяти час.

Я, естественно, успел проголодаться. Но еще нестерпимее казался холод: здесь и в помине не было какого-либо отопления. Я непрерывно пританцовывал и старался подавить раздражение, но, как ни странно, все ожидающие казались спокойными. Так, одетый в два кимоно мужчина, с виду профессиональный игрок, все время не спеша ел мандарины и даже читал газету.

С каждым приходом надзирателя число ожидающих уменьшалось. Я вышел наружу и стал ходить по усыпанному галькой двору перед дверью. Сюда хоть доходили лучи зимнего солнца. Но вдруг поднялся ветер и швырнул мне в лицо мелкую пыль. Однако я решил пойти стихии наперекор — по крайней мере часов до четырех не заходить в помещение. Но вот наступило четыре часа, а мой номер, как ни странно, все не выкликали. В то же время я заметил, что большая часть тех, кто пришел после меня, уже оказались вызванными и ушли. Наконец я не выдержал, вошел в комнату ожидания и, поклонившись, обратился к мужчине с внешностью игрока за советом. В ответ он, не шевельнув ни одним мускулом лица, произнес вдруг неожиданно низким и сиплым, как у исполнителя нанивабуси, голосом:

— Они здесь только по одному в день пускают. Небось до вас уже кто-нибудь приходил.

Естественно, эти слова не могли не озаботить меня. Я решил спросить у надзирателя, пришедшего объявить очередные номера, смогу ли я в конце концов получить свидание с кузенком. Однако надзиратель ничего не ответил и ушел, даже не взглянув в мою сторону. Вместе с ним ушел человек с внешностью игрока и еще два-три посетителя. Стоя посередине прихожей, я курил сигарету за сигаретой. И по мере того как шло время, чувствовал, как растет во мне ненависть к мрачному надзирателю. (До сих пор удивляюсь, как мог я так спокойно, не возмущившись сразу, перенести нанесенное мне оскорбление.)

Когда надзиратель снова явился, было уже пять часов вечера. Я снял свою каракулевую шапку и попытался было опять обратиться с прежним вопросом. Но в тот момент надзиратель, который стоял ко мне боком, быстро вышел, не обратив на меня никакого внимания. Мое состояние тогда можно было определить словами «чаша переполнилась». Я отшвырнул окурки и, выйдя во двор, направился к тюремной конторе, находившейся напротив. За стеклянным окошком слева от входа, к которому вели каменные ступеньки, корпели над бумагами несколько человек в штатском. Я открыл окошко и насколько мог спокойно обратился к мужчине в черном чесучовом кимоно с гербами:

— Я пришел на свидание с Т. Скажите, могу я с ним повидаться?

— Ждите, когда придут и объявят ваш номер.

— Но я жду уже с десяти утра!

— Сейчас придут и вас вызовут.

— А если не вызовут, все равно ждать? Ждать, даже когда ночь наступит?

— Ну, как бы там ни было, ждите... Во всяком случае, подождите еще.

Видно, мой резкий тон обескуражил служащего. И я, хоть и был рассержен, посочувствовал этому человеку. В то же время я невольно ощущал и некоторую курьезность положения: это были переговоры представителя родственников с представителем тюрьмы.

— Но ведь уже шестой час! Сделайте хоть что-нибудь, чтобы я мог получить свидание.

С этими словами я вышел из тюремной конторы и вернулся в комнату ожидания. Уже спустились сумерки, и

женщина с прической марумагэ перестала читать. Она сидела, опустив журнал на колени и высоко подняв голову. Ее лицо анфас напоминало готическую скульптуру. Я сел впереди этой женщины, все еще чувствуя собственную беспомощность и враждебность ко всему, с чем пришлось мне здесь столкнуться.

Когда меня в конце концов вызвали, стрелки часов приближались к шести. В сопровождении другого надзирателя, круглоголового и шустрого, я вошел в комнату для свиданий. Хотя помещения для свиданий именовались «комнатами», на самом деле это были крохотные каморки размером едва метр на метр. К тому же длинный ряд окрашенных масляной краской дверей вместе с той, через которую я вошел, удивительно напоминал общественную уборную. Внутри каморки, впереди, отделенное узким коридором, виднелось полукруглое окошко, через которое и происходило свидание.

Вот с другой стороны этого окошка — темного, застекленного — показалось полное, круглое лицо кузена. То, что он совсем не переменялся, несколько ободрило меня. Отбросив сентиментальность, мы заговорили сразу о деле. А из каморки справа до нас доносились безудержные рыдания девушки лет шестнадцати, пришедшей, видимо, к старшему брату. Ее плач невольно отвлекал мое внимание, когда я говорил с кузеном.

— Это обвинение от начала до конца ложное. Прошу вас, расскажите всем об этом, — напыщенно произнес кузен.

На это я ничего не ответил и только пристально посмотрел на него. Я молчал, потому что от его слов у меня будто перехватило дыхание. Тем временем слева от нас старик с плешинами на голове говорил через полукруглое окошечко мужчине — очевидно, сыну:

— Когда сидишь здесь один и никто тебя не навещает, много всяких вещей вспоминаешь, а как встретишься, так все из головы вон.

Когда я вышел из комнаты для свиданий, у меня было такое ощущение, будто я в чем-то виноват перед кузеном. И мне казалось, что все мы несем ответственность. Снова в сопровождении надзирателя я быстро прошел по холодному тюремному коридору к выходу...

В одном из домов на Яманотэ — в доме кузена — меня ждала двоюродная сестра. По пыльным, замусоренным улицам я вышел наконец к остановке у Ецуй и сел в пе-

реполненный трамвай. В ушах все еще звучали странно беспомощные слова старика: «Когда сидишь один и никто не навещает...» Они казались мне даже более человеческими, чем рыдания той девушки. Держась за ремень, я смотрел на загоравшиеся в вечерних сумерках огни домов Кодзимати, и мне невольно приходили на ум слова: «О люди, люди, какие вы разные!» Через полчаса я стоял перед домом кузена и нажимал кнопку в бетонной стене. Донесшийся до моего слуха слабый звук звонка зажег лампочку за стеклянной дверью подъезда. Затем дверь приоткрыла пожилая горничная. Увидев меня, она удивленно вскрикнула: «Ой...» — и быстро проводила на второй этаж в комнату с окнами на улицу. Сбросив пальто и шапку на стоящий там стол, я вдруг снова ощутил усталость, о которой на какое-то время забыл. Горничная зажгла газовый камин и вышла, оставив меня одного. Кузен, у которого была страсть к коллекционированию, и здесь развесил несколько картин и акварелей. Я разглядывал их от нечего делать и вспоминал старые изречения о превратностях судьбы.

Тут в комнату вошла моя двоюродная сестра с младшим братом своего мужа. Я как можно точнее передал им все, что говорил кузен, и мы приступили к обсуждению мер, которые нужно было на этот раз принимать. Сестра не проявила особой активности в поисках выхода из положения. Больше того, во время разговора она взяла мою каракулеву шапку и сказала, обращаясь ко мне:

— Странная шапка. В Японии, наверное, таких не делают.

— Эта? Она из России, такие шапки носят русские.

Однако брат кузена, еще более оборотистый человек, чем сам кузен, уже предвидел разнообразные препятствия:

— Представляете себе, на днях какой-то приятель брата прислал мне со своей визитной карточкой корреспондента из отдела светской хроники газеты. На карточке было написано, чтобы я передал этому корреспонденту остаток суммы за то, чтобы тот молчал, поскольку половину денег этот приятель будто бы уже заплатил ему из своего кармана. Когда я, со своей стороны, проверил, то оказалось, что с корреспондентом говорил приятель брата по собственной инициативе. И никакой половины суммы он ему не передавал. Просто прислал ко мне за деньгами. Да и этот корреспондент тоже... Одним словом, газетчик есть газетчик!

— Но я как-никак тоже газетчик! Пощадите мои уши, умоляю.

Я не мог удержаться от шутки, чтобы как-то подбодрить хотя бы самого себя. Но брат кузена с налитыми кровью, затуманенными глазами продолжал говорить так, словно произносил речь. У него и в самом деле был грозный вид, и здесь уже было не до шуток.

— Больше того, находятся еще такие деятели, которые, словно нарочно, чтобы разозлить следователя, буквально ловят его и защищают перед ним брата.

— А вы бы поговорили с ними...

— Разумеется, я так и делаю. Я им и говорю, что, мол, весьма обязан вам за вашу любезность, но если вы задеваете чувства следователя, то ваши добрые намерения оборачиваются своей противоположностью, и потому покорнейше прошу не делать этого.

Двоюродная сестра, сидя перед газовым камином, вертела в руках мою каракулеву шапку. Признаюсь откровенно, что все время, пока я разговаривал с братом кузена, мое внимание было приковано к этой шапке. Я очень боялся, как бы сестра не уронила ее в огонь. Вот об этом-то я и думал время от времени. Эту шапку мне с трудом удалось достать в Москве, где я случайно оказался. Когда-то я безуспешно пытался найти такую в европейском квартале Берлина, где жил один мой товарищ.

— И ваши просьбы не помогают?

— Какое там помогают! В ответ только и слышишь, что вот, мол, для вас стараешься, голову ломаешь, а от вас — одни оскорбления...

— Да, тут уж, действительно, ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь. Ведь тут ни к чему не придерешься ни с юридической, ни с этической точки зрения. Во всяком случае, внешне все выглядит так, словно они не жалеют ни сил, ни времени ради товарища. На деле же помогают рыть для него яму. Я тоже из тех, чей принцип — бороться до конца, но против таких я бессилен.

Вдруг в наш разговор ворвались голоса, заставившие нас вздрогнуть: «Ура Т.!» Я приподнял рукой штору на окне. Узкая улица была запружена народом. Многие несли фонарики с надписью: «Молодежная группа квартала***». Я переглянулся с двоюродной сестрой и тут вдруг вспомнил, что кузен был еще и старшиной молодежной группы.

— Надо бы, пожалуй, выйти поблагодарить за приветствие.

Двоюродная сестра со страдальческим выражением лица, всем своим видом показывая, что ей это уже нелегко, пристально посмотрела на нас.

— В чем дело? Я выйду!

Брат кузена, не раздумывая, быстро вышел из комнаты. Немного завидуя его боевому духу, я, чтобы не встретиться взглядом с сестрой, рассматривал картины на стенах. Мне было тяжело сидеть вот так, не произнося ни слова. И все же было бы еще тяжелее, если бы, заговорив, мы оба расчувствовались. Я молча закурил сигарету и, глядя на одну из висящих на стене картин — портрет самого кузена, — стал отыскивать в ней нарушения законов перспективы.

— Нам совсем не до приветствий. Но сколько ни говори им об этом, все бесполезно, — странно притворным голосом заговорила наконец сестра.

— А что, разве в квартале еще не знают?

— Нет... А как, собственно, обстоят дела?

— Какие дела?

— Да у Т., у мужа.

— Если встать на место Т.-сана, можно найти много объяснений случившемуся...

— В самом деле?

Я вдруг почувствовал раздражение и, отвернувшись от сестры, подошел к окну. Внизу опять раздались крики. Это собравшиеся прокричали трехкратное «ура». Брат кузена вышел к подъезду и кланялся толпе, размахивавшей поднятыми вверх фонариками. Мало того, брат кузена вышел не один: с ним были две маленькие девочки — дочери Т. Он держал их за руки, и они все время от времени наклоняли головки в церемонном поклоне.

* * *

С тех пор прошло уже десять лет. В один из пронзительно холодных вечеров я сидел в доме кузена в гостиной и, потягивая недавно начатую трубку с мятой, беседовал с глазу на глаз с двоюродной сестрой. В доме, где только что проводили седьмой день траура, стояла гнетущая тишина. Перед табличкой с именем кузена, сделанной из некрашеного дерева, теплился огонек свечи. А перед столиком с табличкой стояли две девочки в ночных рубашонках. Разглядывая заметно постаревшее лицо сестры, я вдруг

вспомнил события того неприятного для меня дня. Но вслух я произнес лишь такие банальные слова:

— Знаешь, когда куришь трубку с мятой, кажется, будто всего тебя пронизывает холод.

— Вот как? У меня тоже руки и ноги замерзли.

И она, словно нехотя, поворошила угли в жаровне...

ОН

1

Я неожиданно вспомнил о нем, моем старом друге. Имени его лучше не называть. Уйдя от дяди, он снимал крохотную комнатку на втором этаже типографии в районе Хонго. На втором этаже, где от каждого оборота маховика работавшей внизу ротационной машины, точно в каюте парового катера, сотрясалось все тело. Я, в то время еще ученик колледжа, поужинав у себя в общежитии, часто навещался туда, на второй этаж. Сидя у окна и склонив голову на тонкой шее, вдвое тоньше, чем у других, он обычно гадал на картах. И всегда висевшая у него над головой медная керосиновая лампа отбрасывала круглую тень...

2

Живя еще у своего дяди в Хонго, он ходил в ту же, что и я, третью среднюю школу, находившуюся в Хондзё. Он жил у дяди потому, что у него не было родителей. Я говорю «потому, что не было родителей», но кажется, мать у него не умерла. Он по-детски пылко любил не отца, а именно мать, которая второй раз вышла замуж. Однажды осенью не успел он меня увидеть, как заговорил, запинаясь на каждом слове:

— Я недавно узнал, что моя сестра (я смутно помню, что у меня действительно есть сестра) вышла замуж. Может, сходим к ней хоть и в это воскресенье?

Мы сразу же отправились на улицу Басуэ, недалеко от Камзидо. Вопреки ожиданиям не потребовалось много времени, чтобы увидеть, что представляет собой замужество его сестры. Они жили в одноэтажном многоквартирном доме за парикмахерской. Мужа не было — видимо, он ушел на работу на какую-нибудь находившуюся неподалеку фабрику, и в доме,

бедном и невзрачном, кроме жены, сестры моего товарища, кормившей грудью ребенка, не было ни души. Хотя она и приходилась ему сестрой, но была намного старше его. И кроме удлинненного разреза глаз, в их внешности почти совсем не было сходства.

— Ребенок родился в этом году?

— Нет, в прошлом.

— Но ведь замуж ты вышла, кажется, в прошлом году?

— Нет, в марте позапрошлого.

Он говорил без передышки, точно стараясь преодолеть возникшее между ними препятствие. А его сестра приветливо отвечала на вопросы, покачивая ребенка. Я же, держа в руках большую грубую чашку с крепким чаем, смотрел на замшелую кирпичную стену, куда выходил черный ход. И чувствовал в их бессвязном разговоре какую-то грусть.

— Что за человек твой муж?

— Что за человек? Книги любит читать.

— Какие книги?

— Ну, к примеру, сборники рассказов.

Действительно, у окна стоял старый стол. И на нем лежало несколько книг, в том числе и сборников рассказов. Но, к сожалению, я ничего не помню об этих книгах. В памяти осталось лишь, что в подставку для ручек было воткнуто два павлиньих пера.

— Я еще приду повидаться. Передай привет мужу.

Сестра, продолжая кормить ребенка, приветливо попрощалась с нами.

— Обязательно. Передай всем привет. Простите, что не могу подать вам гэта.

Мы шли по улице Хондзё, когда уже спускались сумерки. Он, несомненно, был разочарован, встретившись со своей сестрой. Но мы, будто сговорившись, ни словом не обмолвились о своих чувствах. Он — я до сих пор отчетливо помню это, — касаясь рукой тянувшейся вдоль улицы ограды храма Кэнниндзи, сказал мне:

— Когда идешь, вот так касаясь ограды, пальцы странно подрагивают. Точно по ним пробегает электричество.

3

Окончив среднюю школу, он держал экзамен в первый колледж. Но, к сожалению, провалился. После этого он и

стал снимать комнату на втором этаже типографии. И после этого же стал увлекаться книгами Маркса и Энгельса. Я же, конечно, не знал абсолютно ничего о социальных науках. И испытывал неизъяснимое уважение или даже не столько уважение, сколько страх к таким словам, как «капитал», «эксплуатация». Он же, пользуясь этим страхом, часто нападал на меня. Верлен, Рэмбо, Бодлер — эти поэты были для меня в то время идолами, даже больше, чем идолами. Для него они были не более чем порождением гашиша и опиума.

Наши споры, если посмотреть на них сегодняшними глазами, даже и нельзя было назвать спорами. Но мы с полной серьезностью нападали друг на друга. И лишь один наш приятель, ученик медицинского колледжа К., язвительно высмеивал нас:

— Чем спорить с таким жаром, пошли лучше в Сусаки, с девочками развлечемся.

К. часто говорил это, поглядывая то на меня, то на товарища. В глубине души мне, конечно, хотелось пойти в Сусаки или еще куда-нибудь. Но мой друг с неприступным видом (у него действительно был такой вид, который иначе, как неприступный, не назовешь), зажав в зубах «Голден бэт», не обращал внимания на слова К. А иногда даже, опередив К., сам переходил в наступление.

— Революцию можно, пожалуй, назвать социальным очищением...

В июле следующего года он поступил в шестой колледж в городе Окаяма. Полгода после этого были для него самыми счастливыми. Он часто писал мне письма, в которых подробно рассказывал о своей жизни. (В этих письмах он обычно перечислял названия прочитанных книг по социальным наукам.) И все-таки мне его очень не хватало. Каждый раз, встречаясь с К., я всегда говорил о нем. И К. тоже, хотя не столько потому, что видел в нем приятеля, сколько потому, что питал к нему чисто научный интерес.

— Мне кажется, он навсегда останется ребенком. Но все равно в нем никогда не проснется гомоэротизм, как это бывает у красавцев юношей. Как ты думаешь, в чем причина этого?

К не раз задавал мне этот вопрос в нашем общежитии, стоя спиной к окну и ловко пуская дым кольцами.

Не прошло и года после поступления в шестой колледж, как он заболел и вынужден был вернуться в дом дяди. Болезнь его называлась туберкулезом почек. Иногда я, захватив с собой печенье, приходил навестить его. И каждый раз он, сидя на постели и обняв худые колени, вопреки ожиданиям, оживленно разговаривал со мной. Но я не мог оторвать глаз от ночного горшка, стоявшего в углу комнаты.

— Со здоровьем у меня никуда не годится. Да, тюрьму мне не вынести.

Говоря это, он горько улыбался.

— Вот, например, Бакунин, даже на фотографии видно, какой он здоровый.

И все-таки нельзя сказать, что он совсем лишен был радости. Такой радостью для него была удивительно чистая любовь к дочери дяди. Он ни разу не говорил мне о своей любви. Но однажды под вечер, в пасмурный весенний день, неожиданно признался мне, что любит. Неожиданно? Нет, совсем не неожиданно. С тех пор как я впервые увидел его двоюродную сестру, я — это свойственно любому юноше — ждал, что он расскажет мне о своей любви.

— Миё-тян со своим классом уехала в Одавара, а я невзначай заглянул в ее дневник...

Мне хотелось саркастически улыбнуться на его «невзначай». Но я, естественно, промолчал и ждал, что он скажет дальше.

— Там написано об одном студенте, с которым она познакомилась в электричке.

— Ну и?..

— Ну и я думаю, что, может быть, стоит предостеречь Миё-тян...

У меня вдруг сорвалось с языка:

— Ты не находишь, что противоречишь себе? Ты можешь любить Миё-тян, но считаешь, что она не имеет права никого любить, — это не логично. Конечно, если учитывать твое состояние, но это уже другой вопрос.

Мои слова ему были явно неприятны. Но он промолчал. Потом, о чем же мы потом говорили? Помню только, что и мне самому стало неприятно. Я испытывал чувство, конечно, только потому, что заставил испытать неприятное чувство больно-го человека.

— Ну ладно, привет.

— Привет.

Он слегка кивнул мне и добавил с деланным весельем:

— Ты мне книжку почитать не принесешь? Когда придешь в следующий раз.

— Какую книгу?

— Хорошо бы жизнеописание гения или что-нибудь в этом роде.

— Может, принести «Жан-Кристофа»?

— Приноси любую, лишь бы повеселее.

Я вернулся в свое общежитие на улице Яёи в полной растерянности. В аудитории для самостоятельных занятий окна были разбиты, и там, к сожалению, было пусто. Я сел под тусклую лампу и стал повторять немецкую грамматику. И все-таки я почувствовал зависть к нему — к нему, хотя и страдавшему от безответной любви, но все же имевшему девушку, дочь дяди.

5

Примерно через полгода он решил поехать к морю, чтобы переменить климат. Вернее, это так называлось «переменить климат», на самом же деле он уезжал, чтобы лечь в больницу. На зимние каникулы я поехал навестить его. Палата на втором этаже, в которой он лежал, была сумрачной, и там гулял сквозняк. Сидя в кровати, он был по-прежнему бодрым и веселым. Но ни слова не говорил о литературе или социальных науках.

— Стоит мне взглянуть на ту пальму, как я начинаю ее жалеть. Посмотри, как дрожат листья на ее верхушке.

Листья на верхушке пальмы дотягивались почти до самого окна. И когда дерево раскачивалось, концы его узко нарезанных листьев нервно дрожали. Казалось, они и в самом деле воплощают какую-то свою тоску. Но я подумал о нем, в одиночестве запертом в больничной палате, и бодро ответил:

— Качается. Грустит о чем-то своем пальма на берегу моря...

— А дальше?

— Вот и все.

— Неприятно почему-то.

Во время этого разговора я почувствовал, что у меня перехватило дыхание.

— Ты читал «Жан-Кристофа»?

— Да, читал немного, но...

— И не захотелось читать дальше?

— Слишком уж жизнерадостная эта книга.

Я снова постарался переменить тему, в которой легко было утонуть.

— Мне говорил К., что недавно он был у тебя

— Да, приезжал и в тот же день вернулся в Токио. И все рассказывал мне о случаях вивисекции.

— Неприятный он человек.

— Почему?

— Даже не могу объяснить почему...

После ужина ветер утих, мы обрадовались и решили пойти погулять к морю. Солнце только что скрылось. Но было еще светло. Мы сели на склоне дюны, поросшей невысокими соснами, и разговаривали, глядя, как перелетает с места на место несколько стариков.

— Песок кажется холодным, да? А ты попробуй сунь в него руку.

Я послушался и погрузил руку в песок, смешанный с сухой травой. Там еще осталось немного солнечного тепла.

— Как-то неприятно. Уже почти ночь, а песок еще теплый.

— Чепуха, он быстро остынет.

Не знаю почему, но я отчетливо помню наш разговор. Тогда, метрах в пятидесяти от нас, недвижимой чернотой растянулся Тихий океан...

6

О его смерти я узнал как раз на следующий Новый год. Как мне потом рассказывали, врачи и сестры до поздней ночи праздновали Новый год, устроив вечер с игрой в карты. А он, в ярости, что не может уснуть из-за шума, лежал в кровати и громко проклинал их; у него началось сильное кровотечение, и он вскоре умер. Когда я увидел его фотографию в траурной рамке, то почувствовал даже не грусть, а скорее то, как брэнна человеческая жизнь.

«Книги покойного сожгите вместе с его останками. Прошу меня простить, если среди этих книг будут и взятые мной на время».

Эти слова были написаны его собственной рукой на фотографии. Прочтя их, я представил себе, как коробятся и превращаются в пепел книги. Был среди них, конечно, и первый том «Жан-Кристофа», который я дал почитать ему. Я был тогда в таком состоянии, что мне это показалось символичным.

Прошло дней пять-шесть, и я, случайно встретившись с К., заговорил с ним о покойном друге. К., как всегда невозмутимый, покуривая сигарету, спросил меня:

— Как ты думаешь, он знал женщин?

— Ну как тебе сказать...

К. недоверчиво посмотрел на меня.

— А в общем, сейчас это не имеет никакого отношения. Но все-таки, когда ты думаешь о смерти, не возникает ли у тебя чувство, что ты победитель?

Я заколебался. И К., решившись, сам ответил на свой вопрос:

— Во всяком случае, мне так кажется.

С тех пор я всегда избегал встречаться с К.

ЕЩЕ ОДИН ОН

1

Он был молодым ирландцем. Имени его лучше не называть. Он был моим другом — этого достаточно. Его сестра до сих пор пишет обо мне: «My brother's best friend»¹. Когда я впервые встретился с ним, его лицо показалось мне знакомым. Нет, не только лицо. У меня было такое чувство, что я определенно видел огонь, пылавший в камине в его комнате, и кресло красного дерева, на котором плясали блики огня, и собрание сочинений Платона, стоявшее на каминной доске. И пока я разговаривал с ним, это чувство все усиливалось. Я подумал, что, возможно, лет пять-шесть назад все это видел во сне. Но я, конечно, ни разу не говорил ему об этом. Попыхивая сигаретой, он рассказывал об ирландских писателях — этот разговор зашел у нас вполне естественно.

— I detest Bernard Shaw².

Я помню, с каким высокомерием он говорил это. Это было зимой, нам тогда едва исполнилось по двадцать пять лет.

¹ Лучший друг моего брата (англ.).

² Мне отвратителен Бернард Шоу (англ.).

Раздобыв денег, мы заходили в кафе и ресторанчики. Он был задира еще больший, чем я. Однажды вечером, когда на улице сыпал снег, мы сидели с ним в кафе «Паулиста» за столиком в углу. В то время в кафе посреди зала стоял граммофон — он играл, когда в него опускали никелевую монету. И в тот вечер тоже граммофон почти беспрерывно сопровождал наш разговор.

— Послушай, переведи официанту, пусть он выключит этот орущий граммофон — за каждые пять сэн, которые заходят в него опустить, я буду давать десять.

— Нет, с такой просьбой не обращаются. Начать хотя бы с того, что с помощью денег прекращать музыку, которую хотят слушать другие, — это так вульгарно.

— Не менее вульгарно с помощью денег заставлять слушать музыку человека, который слушать ее не хочет.

К счастью, в это время граммофон как раз замолчал. Но тут человек в охотничьей шляпе, по виду студент, встал и направился к граммофону, чтобы опустить в него монету. Тогда мой друг вскочил и с проклятиями замахнулся на него подставкой со специями.

— Перестань. Не делай глупостей.

Я схватил его и вытащил на улицу, где сыпал снег. Я тоже был возбужден. Взявшись под руки, мы шли, не раскрывая зонтов.

— В такой снежный вечер мне хочется идти без конца. Пока несут ноги...

Он прервал меня чуть ли не руганью.

— Почему же ты не идешь? Если бы я хотел идти без конца, то и шел бы без конца.

— Это слишком романтично.

— А что плохого в романтике? Хотеть идти и не двигаться — это удел безвольных. Нужно идти, несмотря ни на что, даже если погибнешь от холода...

Неожиданно он изменил тон и, обращаясь ко мне, назвал меня «brother»¹;

— Вчера я послал телеграмму правительству вашей страны, что хочу вступить в армию.

— Ну и что?

— Ответа пока нет.

¹ Брат (англ.).

Так мы добрили с ним до витрины книжного магазина, торговавшего иностранной литературой. В ярко освещенной витрине, наполовину засыпанной снегом, были выставлены фотоальбомы с танками, отравляющими газами, военная литература. Мы остановились, продолжая держаться под руку возле этой витрины.

— «Above the War». Romein Rolland¹.

— X-м, но не над нами.

Лицо его стало каким-то странным. Он весь взъерошился — нахохлился, как петух.

— Что понимает твой Роллан и ему подобные? Мы с тобой amidst² схватки.

Враждебность, которую он испытывал к Германии, ощущалась мной, конечно, не так остро. Поэтому я почувствовал, что его слова вызывают во мне некоторый протест. И в то же время почувствовал отрезвление.

— Ну, я пошел.

— Да? Ладно, а я... Нырну в какое-нибудь заведенье по близости.

Мы стояли как раз у моста Кёбаси с резными перилами. На ночном безлюдном берегу одинокая голая ива, запорошенная снегом, низко опустила свои ветки в воду черного, грязного канала.

— Вот истинно японский пейзаж.

Он сказал проникновенно, прежде чем расстаться со мной.

3

К сожалению, он не смог вступить в армию, как ему хотелось. После возвращения его в Лондон прошло года два-три, и он снова поселился в Японии. Но к тому времени мы, я уж во всяком случае, утратили былой романтизм. В нем, конечно, тоже за эти годы произошли какие-то перемены.

Он сидел, одетый в хаори и кимоно, в своей комнате на втором этаже частного пансиона и, грея руки на грелке, брюзжал.

¹ Ромен Роллан. «Над схваткой».

² Здесь.: в центре (англ.).

— Япония все больше американизируется. Мне иногда хочется из Японии переселиться во Францию.

— Иностранцы всегда рано или поздно испытывают разочарование. То же произошло в старости с Херном.

— Нет, я не разочарован. Человек, не имевший *illusion*¹, не может испытать *disillusion*².

— Не доктринерство ли это? Возьми хоть меня — я сам до сих пор полон *illusions*.

— Может, ты прав...

Он стал хмуро смотреть в окно на мрачные, окутанные облаками холмы.

— Может быть, я скоро стану корреспондентом в Шанхае.

Его слова сразу же напомнили мне о его профессии, о которой я, признаться, забыл. Я всегда думал о нем как об одном из нас — человеке искусства, и только. Но, чтобы зарабатывать на жизнь, он служил корреспондентом какой-то английской газеты. И, задумавшись над тем, что любой человек искусства имеет «дело», из которого не вырвешься, я постарался сделать наш разговор приятным.

— Шанхай, наверно, еще интереснее Токио.

— Я тоже так думаю. Но до Шанхая мне придется съездить в Лондон... Я тебе это показывал?

Он вытащил из ящика стола бархатную коробочку. В ней лежало тонкое платиновое кольцо. Я примерил его на свой палец и не смог сдержать улыбку, увидев на внутренней стороне выгравированное имя «Момоко».

— Я просил, чтобы под «Момоко» было мое имя.

Возможно, это была ошибка гравера. Но не исключено, что гравер, зная, что за профессия у этой девицы, специально решил не писать на кольце имени иностранца. И мне стало грустно и совсем не захотелось выражать сочувствие человеку, которому это, в общем, безразлично.

— Куда ты собираешься в ближайшие дни?

— На Янагибаси. Там слышится журчание реки.

Для меня, токиосца, это были жалкие, ненужные слова. Потом он вдруг оживился и стал говорить о японской литературе, которую всегда любил.

¹ Иллюзия (англ.).

² Разочарование (англ.).

— Читал недавно роман Дзюнъитиро Танидзаки «Дьявол». Это роман, в котором описаны, пожалуй, самые грязные вещи на свете.

(Несколько месяцев спустя в разговоре с автором «Дьявола» я передал ему эти слова. Беспечно смеясь, он ответил мне: «Главное "самый... на свете", а остальное — неважно!»)

— А «Полевой мак»?

— Для моего японского языка он слишком сложен... Может, пообедаем вместе?

— Давай, у меня тоже была такая мысль.

— Тогда подожди меня немного. Там лежат журналы, можешь их посмотреть.

Насвистывая, он стал быстро переодеваться в европейский костюм. Повернувшись к нему спиной, я рассеянно просматривал «Бук мэн» и другие журналы. Вдруг, прекратив свист, он со смехом сказал мне по-японски:

— Я уже совсем привык сидеть как японец. Жалко только брюки.

4

В последний раз я встретился с ним в одном кафе в Шанхае. (Через полгода после этого он заболел оспой и умер.) Мы сидели под свисавшей над самым столом яркой лампой, потягивали виски с содовой и наблюдали за мужчинами и женщинами, набившимися в кафе. За исключением двух-трех китайцев, это были американцы и русские. Среди них женщина в зеленовато-голубом платье, взволнованная больше, чем все остальные, что-то горячо говорила. Она была самая стройная, самая красивая из всех. Когда я увидел ее лицо, мне на ум пришло сравнение: в нем есть что-то вульгарное и в то же время прекрасное. Действительно, женщина была красива, но в ней было что-то порочное.

— Кто эта женщина?

— Вон та? Французская... ну что ли актриса. Она известна под именем Нини. Ты лучше посмотри на того старика.

«Тот старик» сидел за соседним столиком и, обхватив руками бокал с красным вином, непрерывно качал головой в такт оркестру. Весь его вид выражал полнейшую удовлетворенность. Мне тоже доставляла большое удовольствие джазовая музыка, вылетающая из зарослей тропических растений.

Но это удовольствие не шло ни в какое сравнение со счастьем, которое испытывал старик.

— Тот старик еврей. Он живет в Шанхае уже лет тридцать. Интересно бы узнать, какие мысли владеют им?

— Разве не все равно, какие у него мысли?

— Конечно, не все равно. Возьми, например, меня — я уже по горло сыт Китаем.

— Не Китаем. Шанхаем, наверно?

— Именно Китаем. Я некоторое время жил и в Пекине...

Мне захотелось поиронизировать над его брюзжанием.

— Китай тоже постепенно американизируется?

Он ссутулился и умолк. Я почувствовал нечто близкое раскаянию. Почувствовал, что нужно что-то сказать, чтобы сгладить неловкость.

— Ну ладно, а где бы тебе хотелось жить?

— Да в общем-то, все равно — где только я не жил. А сейчас мне хочется жить только в Советской России.

— Ну что ж, тогда лучше всего и поехать в Россию. Ты ведь можешь поехать куда угодно.

Он снова умолк. А потом — я до сих пор отчетливо помню его лицо. Он сощурился и вдруг прочел стихотворение из «Маньёсю», которое я уже забыл:

Грустна моя дорога на земле,
В слезах и горе я бреду по свету.
Что делать?
Ведь нельзя мне улететь:
Не птица я и крыльев нету¹.

Я не мог сдерживать улыбку, слушая, как он произносит японские слова. И в то же время не мог не почувствовать в глубине души волнение.

— Я уж не говорю об этом старике. Даже Нини счастливее меня. Ведь ты же прекрасно знаешь...

Я сразу понял, что он хочет сказать.

— Можешь не продолжать, мне и так все ясно. Видимо, ты Вечный жид.

Он залпом выпил остаток виски с содовой и снова вернулся в свое обычное состояние.

— Я не так примитивен. Поэт, художник, критик, газетчик... и многое еще. Сын, брат, холостяк, ирландец... По харак-

¹ Перевод А. Глускиной.

теру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим взглядам — коммунист...

Смеясь, мы встали, резко отодвинув стулья.

— Ну и еще, видимо, любовник этой женщины.

— Да, любовник... Можно еще продолжить: по религиозным убеждениям — атеист, по философским взглядам — материалист...

Ночная улица была пропитана не просто туманом, а какими-то отвратительными миазмами.

В свете уличных фонарей туман казался желтоватым. Взявшись под руки, мы шли, как в тот давний вечер, когда нам было по двадцать пять, — но сейчас мне уже не хотелось идти без конца.

— Я тебе еще, кажется, не рассказывал, как мне проверяли голосовые связки?

— В Шанхае?

— Нет, когда ездил в Лондон. Проверили мои голосовые связки и сказали, что я мог бы стать всемирно известным баритоном. — Он взглянул на меня и чему-то ехидно улыбнулся. — Во всяком случае, лучше, чем быть каким-то газетчиком... Конечно, стань я оперным певцом, появился бы второй Карузо. Но теперь уж ничего не поделаешь.

— Для тебя это большая потеря.

— Что? Потеря не для меня. Потеря для человечества.

Мы шли по берегу реки, где мелькало множество фонарей на лодках. Вдруг он остановился и кивнул: смотри. В просвечивающей сквозь туман воде плыл, крутясь в волнах, труп белой маленькой собачонки. Кто-то повесил ей на шею пучок травы, переплетенной с цветами. Я почувствовал, как это жестоко и в то же время прекрасно. Я немного заразился сентиментальностью после того, как он прочел мне стихотворение из «Маньёсю».

— Нини?

— Или сидящий во мне певец.

Ответив мне так, он громко чихнул.

5

Это произошло, возможно, потому, что наконец от его сестры из Ниццы пришло письмо. Два дня назад я разговаривал с ним во сне. Разговор происходил, несомненно, во время на-

шей первой встречи. Камин ярко пылал, и блики огня плясали на столе и кресле красного дерева. Мы были утомлены и вели естественно возникший между нами разговор об ирландских писателях. Но мне было нелегко бороться с овладевшей мной сонливостью. Мое затуманенное сознание уловило его слова:

— I detest Bernard Shaw¹.

Я спал сидя. И тут вдруг проснулся. Рассвет еще не наступил. Завешенная платком лампа едва светила. Я лег ничком на постель и, чтобы унять волнение, закурил. Было ужасно неприятно, что сон мой кончился и я вернулся к действительности.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ

Я лежу в тростниковом шезлонге. По-видимому, на палубе. Перед глазами перила, а за ними в серых волнах что-то поблескивает, кажется, летающие рыбы. Но зачем я сел на пароход? Этого, как ни странно, я не помню. Еду ли я один или с кем-нибудь — и об этом у меня туманное представление.

Туман... Морская даль в тумане, она как бы подернута дымкой. Мне лень шевелиться, но я хочу рассмотреть, что там за этой дымкой. И тут, будто вызванные усилием моей воли, впереди возникают очертания острова. В центре, придавая острову конусообразную форму, сгрудились горы. Довольный результатом, я еще раз напрягаю волю. Но напрасно, я по-прежнему вижу только нечеткие контуры острова. На этот раз воля не помогла.

Тут я услышал справа от себя чей-то смех.

— Ха-ха-ха, не получилось? Воля не подействовала, да? Ха-ха-ха!

Рядом со мной в тростниковом кресле сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, хотя и в морщинах, все еще красиво. Старик одет по моде восемнадцатого века и, кажется, будто сошел с картины Хогарта. На нем шляпа с серебряными полями, так называемая *socked hat*², расшитая рубашка и панталоны чуть ниже колен. Волосы ниспадают на плечи, но это не его волосы. Он в парике цвета конопля, присыпанном какой-то мукой. Я был так поражен, что даже ничего не ответил.

— Возьмите мою подзорную трубу. Через нее хорошо видно.

¹ Терпеть не могу Бернарда Шоу (англ.).

² Треуголка (англ.).

И старик с недоброй усмешкой протянул мне старую подзорную трубу. Похоже, что раньше она была в каком-то музее.

— О-о, thanks.

Я непроизвольно перешел на английский. Но старик продолжал говорить на безупречном японском языке, указывая в сторону острова рукой в манжете, из-под которого виднелись похожие на пену кружева.

— Этот остров называется Суссанрап. Как пишется? Извольте: Sussanrap. Его стоит посмотреть. Наш пароход простит здесь дней пять-шесть, непременно совершите поездку по острову. Там есть и университет и храм. Особенно великолепен остров в базарные дни, когда туда съезжаются многочисленные жители с соседних островов.

Пока старик говорил, я смотрел в подзорную трубу. В поле зрения попал город, расположенный на берегу острова. Видны ряды чистых домиков. Ветер качает верхушки деревьев. Высятся храм. Дымка исчезла. Все отчетливо видно. Восхищенный увиденным, я поднял подзорную трубу немного выше... И чуть не вскрикнул от удивления.

В безоблачное небо уходит похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного. Но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами: капустой, помидорами, луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имбирем. Самыми различными овощами. Покры... Да нет. Она сложена из них. Удивительная овощная пирамида!

— Это... Это что такое?

Не выпуская из рук подзорной трубы, я оборачиваюсь к старику. Но его уже нет. Только газета лежит на тростниковом кресле... Неожиданно я почувствовал, что кровь отливает от головы, и опять впал в какое-то тяжелое забытье.

* * *

— Ну как, осмотрели остров?

И старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной.

Мы в гостинице. В необычно просторном зале, обставленном в стиле Secession.

Я сижу на диване в углу зала и курю первосортную «гавану».

Сверху свисают побеги тыквы, растущей в горшке. Среди закрывающих горшок широких листьев видны распустившиеся желтые цветы.

— Да, осмотрел. Сигару?

Но старик покачал головой, как ребенок, и достал старинную табакерку слоновой кости. Я видел такую где-то в музее. Да, стариков, как этот, нет теперь на Западе, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомить с ним Харуо Сато! Вот бы удивился!

— Как только выходишь за город, начинаются огороды, — продолжал я.

— Большинство населения Суссанрапа выращивает овощи. Этим занимаются и мужчины и женщины.

— Наверное, на овощи большой спрос?

— Они продают их жителям близлежащих островов. Но, конечно, продается не все. Остатки сваливаются в кучу. Вы, наверное, видели гору в двадцать тысяч футов вышиной?

— Неужели это все непроданные остатки, эта овощная пирамида?

Я мог только, глядя на старика, хлопать от удивления глазами. А старик не переставал загадочно улыбаться.

— Да, это все остатки. Причем скопившиеся только за последние три года. А если бы собрать и за прежние годы, овощами можно было бы засыпать Тихий океан. Но жители Суссанрапа продолжают выращивать овощи. Они не знают покоя ни днем, ни ночью. Ха-ха-ха! Вот и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они трудятся не покладая рук. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Невесело посмеиваясь, старик достал пахнущий жасмином носовой платок. Это был не простой смех. Он напоминал смех сатаны, издевающегося над людской глупостью. Я нахмурился и перевел разговор на другую тему.

— Скажите, когда здесь бывает базар?

— В начале каждого месяца. Но это обычные базары. А три раза в год — в январе, апреле и сентябре — устраиваются еще большие базары. Самый большой — в январе.

— Наверное, перед большими базарами на острове царит оживление?

— Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. Используются фосфатные удобрения и жмыхи, овощи помещают в теплицы, подключают электрический ток... Всего не расскажешь. Бывает и так, что, стремясь как можно скорее вырастить овощи, люди губят их.

— Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал мужчина с обезумевшим лицом и кричал: «Не успею, не успею».

— Вполне возможно. Ведь скоро новогодний базар. Городские торговцы тоже сбились с ног.

— Городские торговцы?

— Да, те кто занимается торговлей овощами. Торговцы покупают овощи, которые выращивают деревенские жители на своих огородах, а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у этих торговцев. Таков здешний порядок.

— Наверное, это и был торговец. Толстый мужчина с черным портфелем в руках. Все приговаривал: «Плохо дело, плохо дело». А какие овощи здесь самые ходкие?

— На то воля божья. Точно сказать трудно. Каждый год положение меняется, а почему — неизвестно.

— Но, видимо, те, что лучше качеством, лучше и расходятся?

— Да как вам сказать. Здесь ведь качество обычно определяют калеки.

— Почему же калеки?

— Очень просто. Калеки в огородах не работают, стало быть, овощей не выращивают и потому при определении их качества могут быть беспристрастными. Как в японской поговорке: кто смотрит с холма, видит в восемь глаз.

— Значит, то был один из таких калек. Я слышал, какой-то бородатый слепец, поглаживая не очищенный от земли клубень ямса, говорил: «Цвет этого овоща неопишимо красив. В нем совмещаются цвета розы и ясного неба».

— Да, наверно. Слепой — это, конечно, неплохо. Но идеальным считается полный калека — человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится *arbiter elegantiarum*¹. Нынешний фаворит вполне удовлетворяет этим требованиям, у него сохранилось только обоняние. Говорят, что недавно ему залили ноздри жидким каучуком, но он все же немного различает запахи.

— Ну, а что же происходит потом, когда калеки определяют какие овощи хорошие и какие нет?

— Ничего. Сколько бы калек ни ругали какой-нибудь овощ, его как покупали, так и покупают.

— Стало быть, все зависит от вкуса торговцев?

¹ Знаток всего изящного (*лат.*). Так в Древнем Риме называли Петрония. Употребляется в значении «законодатель хорошего вкуса».

— Торговцы покупают только овощи, на которые, они предполагают, будет спрос. Но пользуются ли спросом именно хорошие овощи...

— Подождите. Если так, то тогда ведь нельзя полагаться на мнение калек?

— Так, в сущности, и поступают те, кто выращивает овощи. Но и у них нет единого мнения о качестве овощей. Одни, например, считают, что качество овощей определяется их питательностью. По мнению других, качество зависит только от вкуса. Но и это не все.

— Как, дело обстоит еще сложнее?!

— Да, разногласия заходят еще дальше. Считают, например, что овощи без витаминов не питательны или что питательны только те, что содержат масла, что вкус моркови не годится или что приемлем только вкус редьки, и так далее.

— Значит, есть два критерия, и в каждом из них имеются различные вариации. Не так ли?

— Совсем не так. Вот вам пример. По мнению некоторых, существует цветковый критерий. Это деление цветов на теплые и холодные, о чем говорится во введениях в эстетику. Сторонники этого критерия требуют признания овощей теплых цветов — красных и желтых. А на овощи холодного зеленого цвета они смотреть не хотят. Их лозунг — умрем или заменим все овощи помидорами.

— В самом деле, я слышал это от героического вида мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей.

— Вот-вот. Эти овощи теплых цветов называют пролетарскими.

— Но в куче перед ним были навалены одни огурцы и дыни...

— Стало быть, он дальтоник. Они только ему кажутся красными.

— А как же овощи холодных цветов?

— Некоторые жители считают, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, эти люди лишь насмеются, речей они не произносят. Но в душе все они ненавидят овощи теплых цветов.

— Им мешает малодушие?

— Нет, они не столько не хотят, сколько не могут произносить речей. От пьянства или сифилиса у них прогнили языки.

— Да-да, недалеко от героя в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, насмешливо поворачивал: «Опять эти речи».

— Собирая зеленые тыквы, не так ли? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными.

— Что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи...

— По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на овощи, которые выращивает он сам, хорошо, а что не похоже — плохо. Во всяком случае, в этом они твердо уверены.

— Но есть ведь университет? Говорят, что профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих не так уж трудно.

— Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о суссанрапских овощах, не могут отличить гороха от диких бобов. Впрочем, сведения о местных овощах до первого века все же проникают в лекции.

— Какие же овощи им известны?

— Английские, французские, итальянские, русские... Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непременно сходите разок в университет. Когда я в прошлый раз приезжал сюда, я был на такой лекции. Профессор в пенсне, показывая заспиртованный в банке старый русский огурец, изливал поток красноречия: «Взгляните на суссанрапские огурцы. Все они зеленые. А вот огурцы великой России не имеют этого примитивного цвета. Их цвет совершенен, он подобен цвету жизни. О-о, огурцы великой России...» От избытка впечатлений я полмесяца пролежал в постели.

— Стало быть... Стало быть, как вы говорите, вывод может быть один: есть ли спрос на тот или иной овощ — на то воля божья.

— Да, иного вывода быть не может. Но должен вам сказать, население этого острова поклоняется Барбраббаде.

— Что это такое, Баббурабу, или как его там?

— Барбраббада. Пишется: Barbrabbada. Разве вы не видели? Там, в храме...

— А-а, изображение ящерицы с головой свиньи?

— Это не ящерица Это правящий вселенной Хамелеон. Сегодня тоже у его изображения многие люди отвешивали поклоны. Молящиеся просили, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь, судя по газетам, все универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после получения

пророчества Хамелеона. Можно даже сказать, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к Хамелеону.

— В храме перед алтарем были навалены овощи...

— Это все жертвоприношения. Суссанрапскому Хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году.

— Но в Японии...

— Извините, вас зовут.

Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, последнее время страдающего полипами. Я неохотно поднялся и протянул старику руку:

— Позвольте мне откланяться.

— Ну что же. Буду рад побеседовать с вами еще. Вот моя визитная карточка.

Пожав мою руку, старик спокойно протянул мне визитную карточку. Посредине карточки четкими буквами было напечатано: Лэмуль Гулливер. С открытым от удивления ртом я уставился на старика. Его лицо с правильными чертами, обрамленное локонами цвета конопля, улыбалось вечной иронической улыбкой. Но это длилось какое-то мгновение. На месте лица старика возникло лицо моего пятнадцатилетнего сорванца-племянника.

— Просят рукопись. Вставай. Пришли за рукописью. — Племянник будил меня. Я проспал минут тридцать, пригревшись у котачу. А на котачу лежала книга «Gulliver Travel»¹, которую я начал было читать.

— Пришли за рукописью? За какой рукописью?

— За очерком.

— Очерком? — И я непроизвольно сказал вслух: — Похоже, что на овощном базаре Суссанрапа будет продаваться и сорная трава.

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН **(Или — «Любовь — превыше всего»)**

Комната для посетителей в одном из женских журналов.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . (Толстый господин лет сорока).

Х о р и к а в а Я с у к и т и . (Лет тридцати, очень худой, особенно рядом с толстым редактором; в двух словах его не

¹ «Путешествие Гулливера» (англ.).

опишешь. Во всяком случае, бесспорно одно: господином его назовешь с трудом).

Главный редактор. Вы бы не могли в ближайшее время написать для нашего семейного журнала роман? Видите ли, читатель сейчас становится все требовательнее, и обычные любовные романы его уже не удовлетворяют... Я прошу, конечно, чтобы вы написали серьезный любовный роман, глубоко раскрывающий человеческие характеры.

Ясукиги. Напишу, разумеется. По правде говоря, у меня задуман роман для женского журнала.

Главный редактор. В самом деле? Это прекрасно. Если вы напишете, мы широко разрекламируем его в газетах. Можно дать, например, такую рекламу: «Принадлежащий перу господина Хорикавы любовный роман неисчерпаемой любви и нежности».

Ясукиги. «Неисчерпаемой любви и нежности»? Но в моем романе «любовь — превыше всего».

Главный редактор. Значит, он воспевает любовь и нежность. Что ж, это еще лучше. Ведь с тех пор, как появилась «Современная любовь» профессора Куриягавы, юноши и девушки склоняются к тому, что любовь превыше всего... Вы имеете в виду, конечно, современную любовь?

Ясукиги. Это еще вопрос. Современный скепсис, современное воровство, современное обесцвечивание волос — все это действительно существует. Однако любовь, думаю я, не особенно изменилась с древних времен Идзанаги и Идзанами.

Главный редактор. Это только так говорится. Ведь любовный треугольник — один из примеров современной любви. Во всяком случае, в японской действительности.

Ясукиги. Что, любовный треугольник? В моем романе тоже есть любовный треугольник... Может быть, кратко рассказать содержание?

Главный редактор. Если бы вы это сделали, было бы прекрасно.

Ясукиги. Героиня — молодая жена. Муж — дипломат. Снимают квартиру, разумеется, в Токио, в районе Яманотэ. Она стройная. С прекрасными манерами, волосы всегда... К стати, какая прическа нравится читателям?

Главный редактор. Видимо, мимикакуси.

Ясукиги. Ну что ж, пусть мимикакуси. И так, прическа мимикакуси, лицо — белое, глаза лучистые, на губах привычная... В общем, в кино такая женщина могла бы играть роли,

которые исполняет Курисима Сумико. Муж — дипломат, юрист новой формации и уж никак не похож на болванов, которых выводят в новой драме. Это смуглый красавец, в бытность свою студентом игравший в бейсбол, ради удовольствия пописывающий рассказы. Молодожены счастливо живут в своей квартире в Яманотэ. Иногда они посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндзе...

Г л а в н ы й р е д а к т о р . До великого землетрясения, разумеется?

Я с у к и т и . Да, задолго до землетрясения... Иногда посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндзе. Либо сидят под лампой в комнате, обставленной по-европейски, и молча обмениваются улыбками. Героиня называет эту комнату «наше гнездышко». На стенах репродукции Ренуара, Сезанна. Сверкает черным телом рояль. Развесила листья кокосовая пальма в горшке. Все это достаточно изящно, но, вопреки ожиданиям, платят они за квартиру мало.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Ну, об этом можно и не говорить. Во всяком случае, в самом романе.

Я с у к и т и . Нет, нужно. Ведь жалованье молодого дипломата мизерно.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . В таком случае сделайте его сыном аристократа. Ну а если он аристократ, то пусть будет графом или виконтом. Почему-то князья и маркизы появляются в романах не особенно часто.

Я с у к и т и . Ну, пусть будет сыном графа. Но хорошо бы оставить комнату, обставленную по-европейски. Дело в том, что и комнату, обставленную по-европейски, и Гиндзу, и концерты я ввожу впервые... Однако Таэко — так зовут героиню — после знакомства с музыкантом Тацуо начинает ощущать некоторое беспокойство. Тацуо любит Таэко — героиня инстинктивно чувствует это. Мало того, беспокойство ее растет день ото дня.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . А что собой представляет этот Тацуо?

Я с у к и т и . Тацуо гениальный музыкант. Его талант под стать таланту Жан-Кристофа, о котором написал Роллан, таланту Ноотхафта, о котором написал Вассерман. Но из-за его бедности или еще из-за чего-то никто его не признает. В качестве прототипа я собираюсь взять моего приятеля-музыканта. Мой приятель, правда, красавец, а Тацуо совсем не красив. Лицом он на первый взгляд напоминает дикаря — уроженца северо-востока, похожего на гориллу. И только глаза светятся

гениальностью. Его глаза, как пылающий уголь, излучают непреходящий жар. Такие у него глаза.

Главный редактор. Гений — это пойдет.

Я с у к и т и . Но Таэко вполне удовлетворена своим мужем-дипломатом. Нет, она любит мужа еще сильнее, чем раньше. Муж верит Таэко. Это само собой разумеется. Потому-то грусть Таэко становится все сильнее.

Главный редактор. Именно такую любовь я и называю современной.

Я с у к и т и . Ежедневно, как только зажигается свет, Тацуо непременно появляется в комнате, обставленной по-европейски. Когда муж дома, особого беспокойства это не доставляет, но даже если мужа нет и Таэко дома одна, Тацуо все равно приходит. Тогда Таэко не остается ничего другого, как сажать его за рояль. Да и при муже Тацуо обычно сидит за роялем.

Главный редактор. В эти минуты и родилась любовь?

Я с у к и т и . Нет, она полюбила не так просто. Однажды февральским вечером Тацуо начинает неожиданно играть «Сильвию» Шуберта. Песню, вобравшую в себя страсть, точно льющееся пламя. Таэко, сидя под огромными листьями пальмы, задумчиво слушает. Постепенно женщина начинает осознавать, что любит Тацуо. И в то же время начинает осознавать возникшее у нее искушение. Еще пять минут... Нет, если бы прошла еще хоть минута, Таэко, может быть, бросилась бы в объятия Тацуо. Но тут... Как раз, когда должны прозвучать последние аккорды, возвращается муж.

Главный редактор. Ну, а потом?

Я с у к и т и . Потом не прошло и недели, как Таэко, не в силах больше страдать, решает покончить с собой. Но она беременна и поэтому не находит в себе силы осуществить задуманное. Тогда она рассказывает мужу, что ее любит Тацуо. Правда, о своей любви к Тацуо, чтобы не огорчать его, умалчивает.

Главный редактор. Потом, значит, дуэль?

Я с у к и т и . Нет, просто в очередной приход Тацуо муж холодно отказывает ему от дома. Тацуо, молча закусив губу, смотрит на рояль. Таэко стоит за дверью и с трудом сдерживает рыдания... Не проходит и двух месяцев, как муж неожиданно получает назначение в Китай, в консульство в Ханькоу, и отправляется туда.

Главный редактор. Таэко едет вместе с ним?

Я с у к и т и . Разумеется, едет с ним. Но перед отъездом пишет письмо Тацуо. «В душе я сочувствую Вам. Но сделать ничего не могу. Примиримся — такова судьба». Вот примерно смысл этого письма. С тех пор Таэко ни разу не виделась с Тацуо.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Этим и заканчивается роман?

Я с у к и т и . Нет, но осталось совсем немного. И после приезда в Ханькоу Таэко часто вспоминает Тацуо. Больше того, начинает в конце концов думать, что на самом деле любит его сильнее, чем мужа. Ясно? Таэко окружает тихий ханькоуский пейзаж. Пейзаж, который воспел поэт Цюй Юань: «Страна прозрачных рек и легких красных сосен, страна душистых трав, цветущих зарослей и попугаев». Наконец Таэко — прошел всего лишь год — снова пишет письмо Тацуо. «Я люблю Вас. Люблю Вас и сейчас. Так пожалейте женщину, которая сама себя обманула», — таково содержание письма, которое она пишет. Тацуо, получивший это письмо...

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Немедленно отправляется в Китай.

Я с у к и т и . Этого он никак не может сделать. Дело в том, что Тацуо ради пропитания играл на рояле в одном из кинотеатров Асакусы.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Фу, какая проза!

Я с у к и т и . Проза, но ничего не поделаешь. Тацуо вскрывает письмо от Таэко за столиком кафе на окраине города. За окном — затуманенное дождем небо. Тацуо, точно мысли его далеко, задумчиво смотрит на письмо. Ему кажется, что между строк проглядывает обставленная по-европейски комната Таэко. Кажется, что проглядывает «наше гнездышко» с отражением лампы на крышке рояля...

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Я испытываю некоторую неудовлетворенность, но тем не менее это шедевр. Обязательно пишите.

Я с у к и т и . По правде говоря, осталось еще немного.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Как, разве это еще не конец?

Я с у к и т и . Нет. Тут Тацуо начинает смеяться. И вдруг с досадой вопит: «Скотина!»

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Ага, сошел с ума?

Я с у к и т и . Да что вы, просто вышел из себя из-за идиотской ситуации. Ему не оставалось ничего иного, как выйти из себя. Дело в том, что Тацуо нисколько не любит Таэко...

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Но тогда...

Я с у к и т и . Тацуо ходил в дом Таэко только ради того, чтобы играть на рояле. Просто он любил рояль. Бедный Тацуо не имел денег, чтобы купить его, — вот в чем дело.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Ну, знаете, Хорикава-сан!

Я с у к и т и . Но то время, когда Тацуо имел возможность играть на рояле в кинотеатре, было для него еще счастливым. После недавнего землетрясения Тацуо стал полицейским. А когда вспыхнуло движение в защиту конституции, он был избит добродушными токийцами. Лишь совершая обход своего участка в Яманотэ, он в редкие минуты слышит, как из какого-нибудь дома доносятся звуки рояля, и тогда он останавливается и грезит о своем коротком счастье.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . В общем, это горестный роман...

Я с у к и т и . Ну послушайте дальше. Таэко и сейчас у себя в Ханькоу по-прежнему думает о Тацуо. Нет, не только в Ханькоу. Каждый раз, когда муж-дипломат получает новое назначение, переезжая с места на место — в Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, — она по-прежнему думает о Тацуо. К моменту землетрясения у нее было уже много детей... Да... После погодков она родила двойню, и у нее стало сразу четверо. Ко всему еще муж пристрастился к водке. Поэтому разжиревшая, как свинья, Таэко думает, что любил ее один лишь Тацуо. Любовь действительно превыше всего. Иначе просто не удалось бы стать счастливой, как Таэко. Во всяком случае, нельзя не испытывать отвращения к грязи жизни... Ну как вам такой роман?

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Хорикава-сан, вы это серьезно?

Я с у к и т и . Разумеется, серьезно. Посмотрите на светские любовные романы. Героиня если не Мария, то непременно Клеопатра. Разве не так? Но героиня в жизни совсем не обязательно девственница и в то же время не обязательно распутница. Найдите хоть одного серьезного читателя, который бы серьезно воспринимал подобные романы. Конечно, если есть согласие и любовь — это вопрос особый, но в тот день когда паче чаяния сталкиваются с безответной любовью, то идут на дурацкое самопожертвование или же бросаются в еще более дурацкую крайность — в мстительность. И все потому, что, вовлеченные в это, сами преисполняются самодовольством, будто совершают героический поступок. В моем же любовном романе нет ни малейшей тенденции популяризировать подобные дурные примеры. Вдобавок в конце превозносится счастье героини.

Г л а в н ы й р е д а к т о р . Вы, видимо, шутите?.. Во всяком случае, наш журнал этого ни в коем случае не напечатает...

Я с у к и т и . В самом деле? Ничего, напечатают где-нибудь еще. Ведь должен же быть на свете хоть один женский журнал, который согласится с моими рассуждениями...

Доказательством, что Ясукити не ошибся, может служить опубликованная здесь беседа.

ТРИ ОКНА

1. Крысы

Было самое начало июня, когда броненосец первого класса*** вошел в военный порт Йокосука. Горы, окружавшие порт, были окутаны пеленой дождя. Не бывает такого случая, чтобы военный корабль стал на якорь, а количество крыс не увеличилось,*** не являлся исключением. И под палубой броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, поло-скавшего флаг в бесконечном дожде, крысы начали лезть в сундучки, в мешки с одеждой.

Не прошло и трех дней, как корабль стал на якорь, и, чтобы выловить крыс, был издан приказ помощника капитана, гласивший, что каждому пойманному крысу будет разрешено на день сойти на берег. Как только был издан приказ, матросы и кочегары стали, конечно, с усердием охотиться на крыс. И благодаря их усилиям количество крыс таяло буквально на глазах. Поэтому матросам приходилось бороться за каждую крысу.

— Крыса, которую теперь приносят, вся растерзана. Это потому, что ее тянут в разные стороны.

Так со смехом говорили между собой офицеры, собираясь в кают-компании. Одним из них был лейтенант А., с виду совсем еще юноша. Он вырос, не зная забот, и мало что смыслил в жизни. Но даже он отчетливо понимал состояние матросов и кочегаров, жаждавших сойти на берег. Дымя сигаретой, он обычно говорил:

— Да, это верно. Я бы сам на их месте не остановился перед тем, чтобы хоть кусок урвать от крысы.

Такие слова мог произнести только холостяк. Его товарищ лейтенант У., у которого были короткие рыжие усы, женился с год назад и поэтому обычно подсмеивался над матросами и коচেгарами. Здесь сказывалось также, разумеется, его постоянное стремление ни в чем не проявлять собственной слабости. Но даже он, захмелев от бутылки пива, опускал голову на руки, покоившиеся на столе, и говорил иногда лейтенанту А.:

— Ну как, может, и нам поохотиться на крыс?

Однажды утром после дождя лейтенант А., бывший вахтенным офицером, разрешил матросу S. сойти на берег. Это за то, что он поймал крысу, притом целую крысу. Могучего телосложения, крупнее остальных матросов, S., залитый лучами солнца, спускался вниз по узкому трапу. А в это время его приятель-матрос, легко взбегавший вверх, поравнявшись с ним, шутливо бросил:

— Эй, импорт?

— Угу, импорт.

Этот диалог не мог пройти мимо ушей лейтенанта А. Он позвал S., заставил его вернуться на палубу и спросил, что означает их диалог.

— Что такое импорт?

S. вытянулся, глядя прямо в лицо лейтенанта А., — он явно приуныл.

— Импорт — это то, что приносят из города.

— А зачем приносят?

Лейтенант А. понимал, конечно, зачем приносят. Но, поскольку S. не отвечал, он сразу же разозлился на него и наотмашь ударил по щеке. S. пошатнулся, но тут же снова вытянулся.

— Кто принес это из города?

S. опять ничего не ответил. Лейтенант А., пристально глядя на него, представлял себе, как он снова вlepит ему пощечину.

— Кто?

— Моя жена.

— Принесла, когда приходила повидаться с тобой?

— Так точно.

Лейтенант А. не мог не усмехнуться про себя.

— В чем она это принесла?

— В коробке с печеньем принесла.

— Где твой дом?

— На Хирасакасита.

— Родители твои живы?

— Никак нет. Мы живем вдвоем с женой.

— А детей нет?

Во время этого разговора вид у S. оставался растерянным. Лейтенант А., не скомандовав «вольно», перевел взгляд на Йокосука. Город высился среди гор грязными пятнами крыш. В лучах солнца он являл собой удивительно жалкое зрелище.

— Не пойдешь на берег.

— Слушаюсь.

S. заметил, что лейтенант А. молча стоит, в замешательстве не зная, что делать.

А лейтенант в это время подбирал в уме слова, чтобы отдать следующий приказ. И некоторое время молча ходил по палубе. «Он боится наказания» — сознавать это, как и всякому старшему по чину, лейтенанту было приятно.

— Ну ладно. Иди, — сказал наконец лейтенант А.

Отдав честь, S. повернулся кругом и пошел быстро к люку. Но когда он отошел на несколько шагов, лейтенант А., стараясь подавить улыбку, неожиданно окликнул его:

— Эй, стой!

— Слушаюсь!

S. резко повернулся. Волнение снова разлилось по всему его телу.

— Мне нужно тебе кое-что сказать. На Хирасакасита есть магазин, где продается крекер?

— Так точно.

— Купи мне пачку этого крекера.

— Сейчас?

— Да, прямо сейчас.

От лейтенанта А. не укрылось, что по вспыхнувшей огнем щеке S. бежит слеза...

Через два-три дня, сидя за столом в кают-компании, лейтенант А. пробегал глазами письмо, подписанное женским именем. Оно было написано неуверенной рукой на желтоватой почтовой бумаге. Прочитав письмо, лейтенант закурил и протянул его находившемуся рядом лейтенанту У.

— Что это? «...Во вчерашнем виновен не муж — все случилось из-за моего легкомыслия. Простите, пожалуйста, у меня и в мыслях не было обидеть вас... Вашу доброту я никогда, никогда не забуду...»

На лице лейтенанта У., продолжавшего держать письмо, постепенно всплывала презрительная гримаса. Он с неприязнью посмотрел на лейтенанта А. и холодно спросил:

— Тебе что, нравится делать добрые дела?

— Почему же, иногда можно, — парировал лейтенант А., глядя в иллюминатор. За иллюминатором было лишь бесконечное море в дымке дождя. Но через некоторое время, будто устыдившись чего-то, он вдруг сказал лейтенанту У.:

— Знаешь, он ужасно тихий. Но, дав ему оплеуху, я ни жалости, ни чего-либо подобного не испытывал...

Лейтенант У. всем своим видом показал, что ему чужды сомнения и колебания. Ничего не ответив, он принялся читать газету, лежавшую на столе. В кают-компании, кроме них, не было никого. На столе стояло несколько вазочек с цветами. Глядя на их прозрачные лепестки, лейтенант А. по-прежнему дымил сигаретой. Как ни странно, продолжая испытывать к этому резкому лейтенанту У. дружеские чувства...

2. Трое

После одного из боев броненосец первого класса** в сопровождении пяти кораблей медленно шел к бухте Чэнхэ. На море уже опустилась ночь. С левого борта над горизонтом висел большой красный серп луны. На броненосце водоизмещением в двадцать тысяч тонн покой еще, конечно, не наступил. Но это было возбуждение после победы. И только малодушный лейтенант К. даже среди этого возбуждения нарочно слонялся по кораблю, с усталым лицом, будто был чем-то очень озабочен.

В ночь перед боем, проходя по палубе, он заметил тусклый свет фонаря и сразу же пошел на него. Он увидел молодого музыканта из военного оркестра, который лежал ничком и при свете фонаря, поставленного так, чтобы его не мог видеть противник, читал Священное писание. Лейтенант К. был тронут и сказал музыканту несколько теплых слов. Музыкант вначале вроде испугался. Но, поняв, что старший командир не ругает его, сразу же заулыбался, точно девушка, и стал робко отвечать ему... Однако сейчас этот молодой музыкант лежал, убитый снарядом, попавшим в основание грот-мачты. Глядя на его тело, лейтенант К. вдруг вспомнил фразу: «Смерть успокаивает человека». Если бы жизнь самого молодого лейтенанта К. была оборвана снарядом... Из всех смертей такая представлялась ему самой приятной.

И все же сердце впечатлительного лейтенанта К. до сих пор хранило все, что случилось перед этим боем. Броненосец первого класса**, закончив подготовку к бою, в сопровождении тех же пяти кораблей шел по морю, катившему огромные волны. Но у одного из орудий правого борта с жерла почему-то не была снята заглушка. И в это время на горизонте показались далекие дымки вражеской эскадры. Один из матросов, заметивший эту оплошность, быстро уселся верхом на ствол орудия, проворно дополз до жерла и попытался обеими ногами открыть заглушку. Неожиданно это оказалось совсем не просто. Матрос, повиснув над морем, раз за разом, точно лягаясь, бил обеими ногами. И время от времени поднимал голову и еще улыбался, показывая белые зубы. Вдруг броненосец начал резко менять курс, поворачивая вправо. И тогда весь правый борт оказался накрытым огромной волной. Вмиг матрос, оседлавший орудие, был смыт. Упав в море, он отчаянно махал рукой и что-то громко кричал. В море вместе с проклятиями матросов полетел спасательный круг. Но, конечно же, поскольку перед броненосцем была вражеская эскадра, о спуске шлюпки не могло быть и речи. И матрос в мгновение ока остался далеко позади. Его судьба была решена — рано или поздно он утонет. Да и кто бы мог поручиться, что в этом море мало акул...

Смерть молодого музыканта не могла не воскресить в памяти лейтенанта К. это происшествие, случившееся перед боем. Он поступил в морскую офицерскую школу, но когда-то мечтал стать писателем-натуралистом. И, даже окончив школу, все еще увлекался Мопассаном. Жизнь часто представлялась ему сплошным мраком. Придя на броненосец, он вспомнил слова, высеченные на египетском саркофаге: «Жизнь — борьба», и подумал, что, не говоря уже об офицерах и унтер-офицерах, даже сам броненосец как бы воплотил в стали этот египетский афоризм. И перед мертвым музыкантом он не мог не почувствовать тишины всех окончившихся для него боев. И не мог не ощутить печали об этом матросе, собиравшемся еще так долго жить.

Отирая пот со лба, лейтенант К., чтобы хоть остыть на ветру, поднялся через люк на шканцы. Перед башней двенадцатидюймового орудия в одиночестве вышагивал, заложив руки за спину, гладко выбритый палубный офицер. А немного впереди унтер-офицер, опустив скуластое лицо, стоял навытяжку перед орудийной башней. Лейтенанту К.

стало немного не по себе, и он суетливо подошел к палубному офицеру.

— Ты что?

— Да вот хочу перед поверкой в уборную сходить.

На военном корабле наказание унтер-офицера не было каким-то диковинным событием. Лейтенант К. посмотрел на море, на красный серп луны с левого борта, с которого сняли пиллерсы. Кругом не было слышно ни звука, лишь постукивали по палубе каблуки офицера. Лейтенант К. почувствовал некоторое облегчение и стал наконец вспоминать свое состояние во время сегодняшнего боя.

— Я еще раз прошу вас. Даже если меня лишат награды за отличную службу — все равно, — подняв вдруг голову, обратился унтер-офицер к палубному офицеру.

Лейтенант К. невольно взглянул на него и увидел, что его смуглое лицо стало серым. Но бодрый палубный офицер, по-прежнему заложив руки за спину, продолжал спокойно прохаживаться по палубе.

— Не говори глупостей.

— Но стоять здесь — да ведь я своим подчиненным в глаза смотреть не могу. Уж лучше бы мне задержали повышение в чине.

— Задержка повышения в чине — дело очень серьезное. Лучше стой здесь.

Палубный офицер, сказав это, с легким сердцем стал снова ходить по палубе. Лейтенант К. разумом был согласен с палубным офицером. Больше того, он не мог не считать, что унтер-офицер слишком честолюбив, слишком чувствителен. Но унтер-офицер, стоявший с опущенной головой, чем-то встревожил лейтенанта К.

— Стоять здесь — позор, — продолжал причитать тихим голосом унтер-офицер.

— Ты сам в этом виноват.

— Наказание я понесу охотно. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне здесь не стоять.

— Если считать позором, то ведь, в конце концов, любое наказание — позор. Разве не так?

— Но потерять авторитет подчиненных — это для меня очень тяжело.

Палубный офицер ничего не ответил. Унтер-офицер... унтер-офицер, казалось, тоже махнул рукой. Вложив всю силу в «это», он замолчал и стоял неподвижно, не произнося ни слова. Лейтенант К. начал испытывать беспокойство (в то же вре-

мя ему казалось, что он может остаться в дураках из-за чувствительности унтер-офицера) и ощутил желание замолвить за него слово. Но это «слово», сорвавшись с губ, превратилось в обыденное.

— Тихо как, верно?

— Угу.

Так ответил палубный офицер и продолжал ходить, поглаживая подбородок. В ночь перед боем он говорил лейтенанту К.: «Еще давным-давно Сигэнари Кимура...» — и, поглаживая тщательно выбритый подбородок...

Однажды, уже отбыв наказание, унтер-офицер исчез. Поскольку на корабле было установлено дежурство, утопиться он никак не мог. Не прошло и полдня, как стало ясно, что его нет и в угольной яме, где легко совершить самоубийство. Но причиной исчезновения унтер-офицера была, несомненно, смерть. Он оставил прощальные письма матери и брату. Палубный офицер, наложивший на него взыскание, старался никому не попадаться на глаза. Лейтенант К. из-за своего малодушия ужасно ему сочувствовал, чуть ли не силой заставлял его бутылку за бутылкой пить пиво, которое сам не брал в рот. И в то же время беспокоился, что тот опьянеет.

— Все из-за своего упрямства. Но ведь можно и не умирать, верно?.. — без конца причитал палубный офицер, с трудом удерживаясь на стуле. — Я и сказал-то ему только — стой. И из-за этого умирать?..

Когда броненосец бросил якорь в бухте Чэнхэ, кочегары, занявшиеся чисткой труб, неожиданно обнаружили останки унтер-офицера. Он повесился на цепочке, болтавшейся в трубе. Но висел лишь скелет: форменная одежда, даже кожа и мясо — все сгорело дотла. Об этом, конечно же, узнал в кают-компании лейтенант К. И он вспомнил фигуру унтер-офицера, замершего перед орудийной башней, и ему почудилось, что где-то еще висит красный серп месяца.

Смерть этих трех человек навсегда оставила в душе лейтенанта К. мрачную тень. Он начал понимать даже, что такое жизнь. Но время превратило этого пессимиста в контр-адмирала, пользующегося прекрасной репутацией у начальства. Хотя ему и советовали стать каллиграфом, он редко брал в руки кисть. И лишь когда его вынуждали к этому, писал в альбомах:

В твоих глазах, смотрящих на меня
Без слов, я вижу — нет печали.

3. Броненосец первого класса**

Броненосец первого класса** ввели в док военного порта Йокосука. Ремонтные работы продвигались с большим трудом. Броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн, на высоких бортах которого, снаружи и внутри, копошились бесчисленные рабочие, все время испытывал необычайное нетерпение. Ему хотелось выйти в море, но, вспоминая о прилипших ко дну ракушках, он ощущал противный зуд.

В порту Йокосука стоял на якоре приятель броненосца, военный корабль***. Этот корабль водоизмещением в двенадцать тысяч тонн был моложе броненосца. Иногда они беззвучно переговаривались через морской простор.

*** сочувствовал, естественно, возрасту броненосца, сочувствовал тому, что по оплошности, допущенной кораблестроителями, руль его легко выходит из строя. Но, сочувствуя, он ни разу не заговаривал с ним об этом. Больше того, из уважения к броненосцу, много раз участвовавшему в боях, всегда употреблял в разговоре с ним самые вежливые выражения.

Однажды в пасмурный день из-за огня, попавшего в пороховой склад на ***, раздался вдруг ужасающий взрыв, и корабль наполовину ушел под воду. Броненосец был, конечно, потрясен (многочисленные рабочие объяснили, разумеется, вибрацию броненосца законами физики). Не участвовавший в боях *** мгновенно превратился в калеку — броненосец просто не мог в это поверить. Он с трудом скрыл свое потрясение и попытался подбодрить ***. Но ***, накренившись, окутанный пламенем и дымом, лишь жалобно ревел.

Через три-четыре дня у броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн из-за того, что на его борта перестала давить вода, начала трескаться палуба. Увидев это, рабочие ускорили ремонтные работы. Но в какой-то момент броненосец полностью отчаялся ***, еще совсем был молод, но утонул на его глазах. Если подумать о судьбе ***, в жизни его, броненосца, уж во всяком случае, были не только горести но и радости. Он вспомнил один бой, теперь уже давний. Это был бой, в котором флаг был разодран в клочья и даже мачты сломаны...

В доке, высохшем до белизны, броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн гордо поднял свой нос. Перед ним

сновали крейсера и миноносцы. А иногда показывались подводные лодки и даже гидропланы. Они лишь заставляли броненосец чувствовать эфемерность всего сущего. Осматривая военный порт Йокосука, над которым то светило солнце, то собирались тучи, броненосец терпеливо ждал своей судьбы. В то же время испытывая некоторое беспокойство оттого, что палуба все больше коробится...

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

1. Макинтош

С чемоданом в руке я ехал в автомобиле из дачной местности на станцию Токайдоской железной дороги, чтобы принять участие в свадебном банкете одного моего приятеля. По обеим сторонам шоссе росли только сосны. Что мы успеем на поезд в Токио, было довольно сомнительно. В автомобиле вместе со мной ехал мой знакомый, владелец парикмахерской, кругленький толстяк с маленькой бородкой. Я время от времени с ним разговаривал и очень беспокоился, что опаздываю.

— Странная вещь, знаете ли! Говорят, в доме у господина Н. даже днем появляется привидение!

— Даже днем? — из вежливости переспросил я, глядя вдаль на поросшие соснами горы, освещенные закатным зимним солнцем.

— И будто в хорошую погоду оно не показывается. Чаще всего в дождливые дни.

— А промокнуть оно не боится?

— Вы шутите... Впрочем, говорят, что это привидение носит макинтош.

Автомобиль засигналил и остановился. Я простился с владельцем парикмахерской и пошел на станцию. Как я и ожидал, поезд на Токио две-три минуты назад ушел. В зале ожидания сидел на скамье и рассеянно смотрел в окно какой-то человек в макинтоше. Я вспомнил только что услышанный рассказ о привидении. Однако лишь усмехнулся и пошел в кафе у станции — так или иначе, надо было ждать следующего поезда.

Это кафе, пожалуй, не заслуживало названия кафе. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Клеенка на столе была белая, с простым решетчатым узором из тонких

голубых лилий по белому фону. Но углы облупились, и видна была грязноватая парусина. Япил какао, пахнущее клеем, и оглядывал пустое кафе. На пыльных стенах висели надписи: «Ояко-домбури», «Котлеты», «Яйца», «Омлет» и тому подобное.

В этих надписях чувствовалась близость деревни, подходящей вплотную к Токайдоской железной дороге. Деревни, где среди ячменных и капустных полей проходит электричка.

Ясел на следующий поезд, который пришел уже почти в сумерки. Я всегда езжу вторым классом. Но на этот раз по каким-то соображениям взял третий.

В вагоне было довольно тесно. Вокруг меня сидели ученицы начальной школы, по-видимому ехавшие на экскурсию в Осио или еще куда-то. Закуривая сигарету, я смотрел на эту группу школьниц. Все они были оживленны и болтали без умолку.

— Господин фотограф, «рау-сийн»¹ — это что такое?

Господин фотограф, сидевший напротив меня, тоже, по-видимому, участник экскурсии, ответил что-то невразумительное. Но школьница лет четырнадцати продолжала его расспрашивать. Я вдруг заметил, что у нее насморк, и не мог удержаться от улыбки. Потом другая девочка, лет двенадцати, села к молодой учительнице на колени и, одной рукой обняв ее за шею, другой стала гладить ее щеки. При этом она разговаривала с подругами, а в паузах время от времени говорила учительнице:

— Какая вы красивая! Какие у вас красивые глаза!

Они производили на меня впечатление не школьниц, а скорее взрослых женщин. Если не считать того, что они ели яблоки вместе с кожурой, а конфеты держали прямо в пальцах, сняв с них обертку. Одна из девочек, постарше, проходила мимо меня и, видимо, наступив кому-то на ногу, произнесла «извините!». Она была взрослее других, но мне, напротив, показалась больше похожей на школьницу. Держа сигарету в зубах, я невольно усмехнулся противоречивости своего восприятия.

Тем временем в вагоне зажгли свет, и поезд подошел к пригородной станции. Я вышел на холодную ветреную платформу, перешел мост и стал ожидать трамвая. Тут я случайно столкнулся с неким господином Т., служащим одной фирмы.

¹ Искаженное love scene (англ.) — любовная сцена.

В ожидании трамвая мы говорили о кризисе и других подобных вещах. Господин Т., конечно, был осведомлен лучше меня. Однако на его среднем пальце красовалось кольцо с бирюзой, что не очень вязалось с кризисом.

— Прекрасная у вас вещь!

— Это? Это кольцо мне буквально всучил товарищ, уехавший в Харбин. Ему тоже пришлось туго: нельзя иметь дело с кооперативами.

В трамвае, к счастью, было не так тесно, как в поезде. Мы сели рядом и продолжали беседовать о том, о сем. Господин Т. этой весной вернулся в Токио из Парижа, где он служил. Поэтому разговор зашел о Париже, о госпоже Кайо, о блюдах из крабов, о некоем принце, совершающем заграничное путешествие.

— Во Франции дела не так плохи, как думают. Только эти французы искони не любят платить налоги, вот почему у них летит один кабинет за другим.

— Но ведь франк падает?

— Это по газетам. Нужно там пожить. Что пишут в газетах о Японии? Только про землетрясения или наводнения.

Тут вошел человек в макинтоше и сел напротив нас. Мне стало как-то не по себе и отчего-то захотелось передать господину Т. слышанный днем рассказ о привидении. Но господин Т., резко повернув влево ручку трости и подавшись вперед, прошептал мне:

— Видите ту женщину? В серой меховой накидке?

— С европейской прической?

— Да, со свертком в фурсоки. Этим летом она была в Каруидзаве. Элегантно одевалась.

Однако теперь, на чей угодно взгляд, она была одета бедно. Разговаривая с господином Т., я украдкой поглядывал на эту женщину. В ее лице, особенно в складке между бровями, было что-то ненормальное. К тому же из свертка высовывалась губка, похожая на леопарда.

— В Каруидзаве она танцевала с молодым американцем. Настоящая «модан»¹... или как их там.

Когда я простился с господином Т., человека в макинтоше уже не было. Я сошел на нужной мне остановке и с чемоданом в руке направился в отель. По обеим сторонам улицы высились здания. Шагая по тротуару, я вдруг вспомнил сосновый лес. Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное.

¹ От английского слова «modern» — современный, модный.

Странное? Собственно, вот что: беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случилось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли мое поле зрения, но длилось это недолго, вскоре они пропадали, а следом начиналась головная боль — всегда было одно и то же. Из-за этой галлюцинации (галлюцинация ли?) глазной врач неоднократно предписывал мне меньше курить. Но мне случалось видеть эти зубчатые колеса и до двадцати лет, когда я еще не привык к табаку. «Опять начинается!» — подумал я и, чтобы проверить зрительную способность левого глаза, закрыл рукой правый. В левом глазу действительно ничего не было. Но под веком правого глаза вертелись бесчисленные зубчатые колеса. Наблюдая, как постепенно исчезают здания справа от меня, я торопливо шел по улице.

Когда я вошел в вестибюль отеля, зубчатые колеса пропали. Но голова еще болела. Я сдал в гардероб пальто и шляпу и попросил отвести мне номер. Потом позвонил в редакцию журнала и переговорил насчет денег.

Свадебный банкет, по-видимому, начался уже давно. Я сел на углу стола и взял в руки нож и вилку. Пятьдесят с лишним человек, сидевших за белыми, поставленными «покоем» столами, все, начиная с новобрачных, разумеется, были веселы. Но у меня на душе от яркого электрического света становилось все тоскливей. Чтобы не поддаваться тоске, я заговорил со своим соседом. Это был старик с белой львиной бородой; знаменитый синолог, имя которого я не раз слышал. Поэтому наш разговор сам собой перешел на сочинения китайских классиков.

— Цилинь — это единорог. А птица фунхуан — феникс...

Знаменитый синолог, по-видимому, слушал меня с интересом. Машинально продолжая свою речь, я начал постепенно ощущать болезненную жажду разрушения и не только превратил Яо и Шуня в вымышленных персонажей, но и высказал мысль, что даже автор «Чунь-цю» жил гораздо позже — в Ханьскую эпоху. Тогда синолог обнаружил явное недовольство и, не глядя на меня, прервал мою речь, зарывав, почти как тигр:

— Если Яо и Шунь не существовали, значит, Конфуций лжет. А мудрец лгать не может.

Понятно, я замолчал. И опять потянулся ножом и вилкой к мясу на тарелке. Тут по краешку куска мяса медленно пополз червячок. Червяк вызвал в моей памяти английское слово

«worm»¹. Это слово, несомненно, тоже означало легендарное животное, вроде единорога или феникса. Я положил нож и вилку и стал смотреть, как мне в бокал наливают шампанское.

После банкета я пошел по пустынному коридору, спеша забраться в свой номер. Коридор напоминал не столько отель, сколько тюрьму. К счастью, головная боль стала легче.

Ко мне, в номер разумеется, уже принесли чемодан и даже пальто и шляпу. Мне показалось, что пальто, висящее на стене, — это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоящий в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа. Червяк вдруг отчетливо всплыл у меня в памяти.

Я открыл дверь, вышел в коридор и побрел сам не зная куда. В углу в стеклянной двери холла ярко отражался торшер с зеленым абажуром. Это вселило в мою душу некоторый покой. Я сел на стул и задумался. Но я не просидел и пяти минут. Опять макинтош, кем-то небрежно сброшенный, висел на спинке дивана сбоку от меня.

«А ведь теперь самые холода...»

С этой мыслью я встал и пошел по коридору обратно. В дежурной комнате, в углу коридора, не видно было ни одного боя, но голоса их до меня долетали. Я услышал, как в ответ на чьи-то слова было сказано по-английски «all right»². Я старался уловить истинный смысл разговора. «Олл райт»? Собственно, что именно «олл райт»?

В комнате у меня, разумеется была полная тишина. Но открыть дверь и войти было почему-то жутковато. Немного колебавшись, я решительно вошел в комнату. Потом, стараясь не смотреть в зеркало, сел за стол. Кресло было обито синей кожей, похожей на кожу ящерицы. Я раскрыл чемодан, достал бумагу и хотел продолжать работу над рассказом. Но перо, набрав чернил, все не двигалось с места. Больше того, когда оно наконец сдвинулось, то выводило все одни и те же слова: all right... all right... all right...

Вдруг раздался звонок — зазвонил телефон у постели. Я испуганно встал и поднес трубку к уху:

— Кто?

— Это я. Я...

Говорила дочь моей сестры.

— Что такое? Что случилось?

¹ Червяк (англ.).

² Все в порядке, хорошо (англ.).

— Случилось несчастье. Поэтому... Случилось несчастье. Я сейчас звонила тете.

— Несчастье?

— Да, приезжайте сейчас же! Сейчас же!

На этом разговор оборвался. Я положил трубку и машинально нажал кнопку звонка. Но что рука у меня дрожит, я все же отчетливо сознавал. Бой все не являлся. Это меня не так раздражало, как мучило, и я вновь и вновь нажимал кнопку звонка. Нажимал, начиная понимать слова «олл райт», которым научила меня судьба...

В тот день муж сестры где-то в деревне недалеко от Токио бросился под колеса. Он был одет не по сезону — в макинтош.

Я все еще в номере того же отеля пишу тот самый рассказ. Поздней ночью по коридору не проходит никто. Но иногда за дверью слышится хлопанье крыльев. Вероятно, кто-нибудь держит птиц.

2. Мщение

Я проснулся в номере отеля в восемь часов утра. Но когда хотел встать с постели, обнаружил почему-то только одну туфлю. Такие явления в последние год-два всегда внушали мне тревогу, страх. Вдобавок это заставило меня вспомнить царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. Я позвонил, позвал боя и попросил найти вторую туфлю. Бой с недоумевающим видом принялся обшаривать тесную комнату.

— Вот она, в ванной!

— Как она туда попала?

— Са-а¹ может быть — крысы?

Когда бой ушел, я выпил чашку черного кофе и принялся за свой рассказ. Четырехугольное окно в стене из туфа выходило в занесенный снегом сад. Когда перо останавливалось, я каждый раз рассеянно смотрел на снег. Он лежал под кустами, на которых уже появились почки, грязные от городской копоти. Это отдавалось в моем сердце какой-то болью. Непрерывно куря, я, сам того не заметив, перестал водить пером и задумался о жене, о детях. И о муже сестры...

До самоубийства мужа сестры подозревали в поджоге. И этому никак нельзя было помочь. Незадолго до пожара он за-

¹ Са-а — междометие, выражающее раздумье при ответе (яп.).

страховал дом на сумму, вдвое превышающую настоящую стоимость. Притом над ним еще висел условный приговор за лжесвидетельство. Но сейчас меня мучило не столько его самоубийство, сколько то, что каждый раз, когда я ехал в Токио, я непременно видел пожар. То из окна поезда я наблюдал, как горит лес в горах, то из автомобиля (в тот раз я был с женой и детьми) глазам моим предстал пылающий район Токивабаси. Это случилось еще до того, как сгорел его дом, и не могло не вызвать у меня предчувствия пожара.

— Может быть, у нас в этом году произойдет пожар.

— Что за мрачные предсказания! Если случится пожар — это будет ужасно. И страховка ничтожная...

Мы не раз говорили об этом. Но мой дом не сгорел... Я постарался прогнать видения и хотел было опять взяться за перо. Но перо не могло вывести как следует ни одной строки. В конце концов я встал из-за стола, бросился на постель и стал читать «Поликушку» Толстого. У героя этой повести сложный характер, в котором переплетены тщеславие, болезненные наклонности и честолюбие. И трагикомедия его жизни, если ее только слегка подправить, — это карикатура на мою жизнь. И оттого, что я чувствовал в его трагикомедии холодную усмешку судьбы, мне становилось жутко. Не прошло и часа, как я вскочил с постели и швырнул книгу в угол полутемной комнаты.

— Будь ты проклята!

Тут большая крыса выскочила из-под опущенной оконной занавески и побежала наискось по полу к ванной. Я бросился за ней, в один скачок очутился у ванной, распахнул дверь и осмотрел всю комнату. Но даже за самой ванной никакой крысы не оказалось. Мне сразу стало не по себе, я торопливо скинул туфли, надел ботинки и вышел в безлюдный коридор.

Здесь и сегодня все выглядело мрачно, как в тюрьме. Понурив голову, я ходил вверх и вниз по лестницам и как-то незаметно попал на кухню. Против ожиданий в кухне было светло. В плитах, расположенных в ряд по одной стороне, полыхало пламя. Проходя по кухне, я чувствовал, как повара в белых колпаках насмешливо смотрят мне вслед. И в то же время всем своим существом ощущал ад, в который давно попал. И с губ моих рвалась молитва: «О боже! Покарай меня, но не гневайся! Я погибаю».

Выйдя из отеля, я отправился к сестре, переступая через лужи растаявшего снега, в которых отражалась синева неба.

На деревьях в парке, вдоль которого шла улица, ветви и листья были черными. Мало того, у всех у них были перед и зад, как у нас, у людей. Это тоже показалось мне неприятным, более того, страшным. Я вспомнил души, превращенные в деревья в дантовом аду, и свернул на улицу, где проходила трамвайная линия и по обеим сторонам сплошь стояли здания. Но и здесь пройти спокойно хоть один квартал мне так и не удалось.

— Простите, что задерживаю вас...

Это был юноша лет двадцати двух в форменной куртке с металлическими пуговицами. Я молча на него взглянул и заметил, что на носу у него слева родинка. Сняв фуражку, он робко обратился ко мне:

— Простите, вы господин А(кутагава)?..

— Да.

— Я так и подумал, поэтому...

— Вам что-нибудь угодно?

— Нет, я только хотел с вами познакомиться. Я один из читателей и поклонников сэнсэя...

Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. Сэнсэй, А(кутагава) — сэнсэй — в последнее время это были самые неприятные для меня слова. Я был убежден, что совершил массу всяких преступлений. А они по-прежнему называли меня «сэнсэй»! Я невольно усматривал тут чье-то издевательство над собой. Чье-то? Но мой материализм неизбежно отвергал любую мистику. Несколько месяцев назад в журнальчике, издаваемом моими друзьями, я напечатал такие слова: «У меня нет никакой совести, даже совести художника: у меня есть только нервы...»

Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке в глубине опустевшего участка. В этом бараке, оклеенном коричневой бумагой, было холодней, чем на улице. Мы разговаривали, грея руки над хибати. Отличаясь крепким сложением, муж сестры инстинктивно презирал меня, исхудавшего донельзя. Мало того, он открыто заявлял, что мои произведения безнравственны. Я всегда смотрел на него с насмешкой и ни разу откровенно с ним не поговорил. Но, беседуя с сестрой, я понемногу понял, что он, как и я, был низвергнут в ад. В самом деле, с ним однажды случилось, что в спальном вагоне он увидел привидение. Я закурил и старался говорить только о дежных вопросах.

— Что ж, раз так сложилось, придется все продавать!

— Да, пожалуй. Пишущая машинка сколько теперь стоит?

— И еще есть картины.

— Портрет N. (мужа сестры) тоже продашь? Ведь он...

Но, взглянув на портрет, висевший без рамы на стене барака, я почувствовал, что больше не могу легкомысленно шутить. Говорили, что его раздавило колесами, лицо превратилось в кусок мяса и уцелели только усы. Этот рассказ сам по себе, конечно, жутковат. Однако на портрете, хотя в целом он был написан превосходно, усы почему-то едва виднелись. Я подумал, что это обман зрения, и стал всматриваться в портрет, отходя то в одну, то в другую сторону.

— Что ты так смотришь?

— Ничего... В этом портрете вокруг рта...

Сестра, обернувшись, ответила, словно ничего не замечая:

— Усы какие-то жидкие.

То, что я увидел, не было галлюцинацией. Но если это не галлюцинация, то... Я решил уйти, пока не доставил сестре хлопот с обедом.

— Не уходи!

— До завтра... Мне еще нужно в Аояму.

— А, туда! Опять плохо себя чувствуешь?

— Все глотаю лекарства, даже наркотики, просто ужас. Веронал, нейронал, торионал...

Через полчаса я вошел в одно здание и поднялся лифтом на третий этаж. Потом толкнул стеклянную дверь ресторана. Но дверь не поддавалась. Мало того, на ней висела табличка с надписью: «Выходной день». Я все больше расстраивался, но, поглядев на груды яблок и бананов за стеклянной дверью, решил уйти и спустился вниз, к выходу. Навстречу мне с улицы, весело болтая, вошли двое, по-видимому служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, произнес: «Нервничает, а?»

Я остановился и стал ждать такси. Такси долго не показывалось, а те, которые наконец стали подъезжать, все были желтые. (Эти желтые такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном случае.) Наконец я заметил такси благоприятного для меня зеленого цвета и отправился в психиатрическую лечебницу недалеко от кладбища в Аояме.

«Нервничает». ...Tantalising¹... Tantalus²...

¹ Мучающийся (англ.).

² Тантал (лат.).

Тантал — это был я сам, глядевший на фрукты сквозь стеклянную дверь. Проклиная дантов ад, опять всплывший у меня перед глазами, я пристально смотрел на спину шофера. Опять стал чувствовать, что все ложь. Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было не чем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни. Я начинал задыхаться и опустил окно такси. Но боль в сердце не проходила

Зеленое такси подъехало к храму. Там должен был находиться переулок, ведущий к психиатрической лечебнице. Но сегодня я почему-то никак не мог его найти. Я заставил шофера несколько раз проехать туда и обратно вдоль трамвайной линии, а потом, махнув рукой, отпустил его.

Наконец я нашел переулок и пошел по грязной дороге. Тут я вновь сбился с пути и вышел к похоронному залу Аояма. Со времени погребения Нацумэ невольно почувствовал, что и в моей жизни чему-то пришел конец. Больше того, я невольно почувствовал, что именно после десяти лет привело меня к этой могиле.

Выйдя из психиатрической лечебницы, я опять сел в автомобиль и поехал обратно в отель. Но когда я вылезал из такси, у входа в отель какой-то человек в макинтоше ссорился с боем. С боем? Нет, это был не бой, а агент по найму такси в зеленом костюме. Все это показалось мне дурной приметой, я не решился войти в отель и поспешно пошел прочь.

Когда я вышел на Гиндзу, уже надвигались сумерки. Магазины по обе стороны улицы, головокружительный поток людей — все это нагнало на меня еще большую тоску. В особенности неприятно было шагать как ни в чем не бывало, с таким видом, будто не знаешь о преступлениях этих людей. При сумеречном свете, мешавшемся со светом электричества, я шел все дальше и дальше к северу. В это время мой взгляд привлек книжный магазин с грудой журналов на прилавке. Я вошел и рассеянно посмотрел на многоэтажные полки. Потом взял в руки «Греческую мифологию». Эта книга в желтой обложке, по-видимому, была написана для детей. Но строка, которую я случайно прочел, сразу сокрушила меня.

«Даже Зевс, самый великий из богов, не может справиться с духами мщения...»

Я вышел из лавки и зашагал в толпе. Зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно преследующих меня духов мщения...

3. Ночь

На втором этаже книжного магазина «Марудзэн» я увидел на полке «Легенды» Стриндберга и просмотрел две-три страницы. Там говорилось примерно о том же, что пережил я сам. К тому же книга была в желтой обложке. Я поставил «Легенды» обратно на полку и вытащил первую попавшуюся под руку толстую книгу. Но и в этой книге на иллюстрациях были все те же, ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колеса с носом и глазами. (Это были рисунки душевнобольных, собранные одним немцем.) Я ощутил, как при всей моей тоске во мне подымается дух протеста, и, словно отчаявшийся игрок, стал открывать книгу за книгой. Но почему-то в каждой книге, в тексте или в иллюстрациях, были скрыты иглы. В каждой книге? Даже взяв в руки много раз читанную «Мадам Бовари», я почувствовал, что в конце концов я сам просто мосьё Бовари среднего класса.

На втором этаже магазина в это время, под вечер, кроме меня, кажется, никого не было. При электрическом свете я бродил между полками. Потом остановился перед полкой с надписью «Религия» и посмотрел книгу в зеленой обложке. В оглавлении, в названии какой-то главы, стояли слова: «Четыре страшных врага — сомнения, страх, высокомерие, чувственность». Едва я увидел эти слова, как во мне усилился дух протеста. То, что здесь именовалось врагами, было, по крайней мере для меня, просто другим названием восприимчивости и разума. Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным — этого я вынести не мог. Держа в руках книгу, я вдруг вспомнил слова «Юноша из Шоулина», когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа Хань Фэй-цзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой. Такой, какой я теперь, я в глазах всех, несомненно, «Юноша из Шоулина». Но то, что я взял себе этот псевдоним, еще когда не был низринут в ад... Я отошел от высокой полки и, стараясь отогнать мучившие меня мысли, перешел в комнату напротив, где была выставка плакатов. Но и там на одном плакате всадник, видимо святой Георгий, пронзал копьём крылатого дракона. Вдобавок у этого всадника из-под шлема виднелось искаженное лицо одного моего врага. Я опять вспомнил Хань Фэй-цзы — его рассказ об искусстве сдирать шкуру с дракона — и, не осмотрев выставки, спустился по широкой лестнице вниз, на улицу.

Уже совсем за вечерело. Проходя по Нихонбаси, я продолжал думать о словах «убиение дракона». Такая надпись была и на моей тушечнице. Эту тушечницу прислал мне один молодой коммерсант. Он потерпел неудачу в целом ряде предприятий и в конце концов в прошлом году разорился. Я посмотрел на высокое небо и задумался было о том, как ничтожно мала земля среди сияния бесчисленных звезд — следовательно, как ничтожно мал я сам. Но небо, днем ясное, теперь было покрыто облаками. Я вдруг почувствовал, что кто-то затаил против меня враждебные замыслы, и нашел себе убежище в кафе неподалеку от линии трамвая.

Это действительно было «убежище». Розовые стены кафе навеяли на меня покой, и я наконец спокойно сел за столик в самой глубине зала. К счастью, посетителей, кроме меня, было всего два-три. Прихлебывая маленькими глотками какао, я, как обычно, курил. Дым от папиросы поднялся голубой струйкой к розовой стене. Эта нежная гармония цветов была мне приятна. Но немного погодя я заметил портрет Наполеона, висевший на стене слева, и мало-помалу опять почувствовал тревогу. Когда Наполеон был еще школьником, он записал в конце своей тетради по географии: «Святая Елена — маленький остров». Может быть, это была, как мы говорим, случайность. Но нет сомнения, что в нем самом она вызвала страх...

Глядя на портрет, я вспомнил свои произведения. Прежде всего всплыли в моей памяти афоризмы из «Слов пигмея» (в особенности слова: «Человеческая жизнь — больше ад, чем сам ад»). Потом судьба героя «Мук ада» — художника Есихидэ. Потом... продолжая курить, я, чтобы избавиться от этих воспоминаний, обвел взглядом кафе. С того момента, как я нашел здесь убежище, не прошло и пяти минут. Но за этот короткий промежуток времени вид зала совершенно изменился. Особенно расстроило меня, что столы и стулья под красное дерево совсем не гармонировали с розовыми стенами. Я боялся, что опять погружусь в невидимые человеческому глазу страдания, и, бросив серебряную монетку, хотел быстро уйти из кафе.

— С вас двадцать сэн...

Оказывается, я бросил не серебряную монету, а медную.

Я шел по улице, посрамленный, и вдруг вспомнил свой дом в далекой сосновой роще. Не дом моих приемных родителей в пригороде, а просто дом, снятый для моей семьи, главой которой был я. Десять лет назад я жил в таком доме. А потом, в силу сложившихся обстоятельств, бездумно поселился вме-

сте с приемными родителями. И тотчас же превратился в раба, в деспота, в бессильного эгоиста...

В свой отель я вернулся уже в десять. Усталый от долгого хождения, я не нашел в себе сил пойти в номер и тут же опустился в кресло перед камином, в котором пылали толстые круглые поленья. Потом я вспомнил о задуманном романе. Героем этого романа должен быть народ во все периоды своей истории от Суйко до Мэйдзи, а состоять роман должен был из тридцати с лишним новелл, расположенных в хронологическом порядке. Глядя на разлетающиеся искры, я вдруг вспомнил медную статую перед дворцом. На всаднике были шлем и латы, он твердо сидел верхом на коне, словно олицетворение духа верноподданности. А враги этого человека...

— Ложь!

Я опять перенесся из далекого прошлого в близкое настоящее. Тут, к счастью, подошел один скульптор из числа моих старших друзей. Он был в своей неизменной бархатной куртке, с торчащей козлиной бородкой. Я встал с кресла и пожал его протянутую руку. (Это не в моих привычках. Но это привычно для него, прошедшего полжизни в Париже и Берлине.) Рука у него почему-то была влажная, как кожа пресмыкающегося.

— Ты здесь остановился?

— Да...

— Для работы?

— Да, работаю.

Он внимательно поглядел на меня. В его глазах мне почудилось такое выражение, словно он что-то высматривает.

— Не зайдешь ли поболтать ко мне в номер? — заговорил я развязно. (Вести себя развязно, несмотря на робость, — одна из моих дурных привычек.) Тогда он, улыбаясь, спросил:

— А где он, твой номер?

Как добрые друзья, плечо к плечу, мы прошли ко мне в номер мимо тихо беседовавших иностранцев. Войдя в комнату, он сел спиной к зеркалу. Потом заговорил о разных вещах. О разных? Главным образом о женщинах. Конечно, я был одним из тех, кто за совершенные преступления попал в ад. Поэтому фривольные разговоры все более наводили на меня тоску. На минуту я стал пуританином и принялся высмеивать женщин.

— Посмотри на губы С. Она ради поцелуев с кем попало...

Вдруг я замолчал и уставился на отражение собеседника в зеркале. Как раз под ухом у него был желтый пластырь.

— Ради поцелуев с кем попало?

— Да, мне кажется, она такая.

Он улыбнулся и кивнул. Я чувствовал, что он все время следит за мной, чтобы выведать мою тайну. Однако разговор все еще вертелся вокруг женщин. Мне не столько был противен этот собеседник, сколько стыдно было своей собственной слабости и оттого становилось все тоскливее.

Когда он ушел, я бросился на постель и стал читать «Путь в темную ночь». Душевная борьба героя причиняла мне муки. Я почувствовал, каким был идиотом по сравнению с ним, и у меня вдруг полились слезы. И в то же время слезы незаметно успокоили меня. Впрочем, ненадолго. Мой правый глаз опять увидел прозрачные зубчатые колеса. Они вертелись, их становилось все больше. Боясь, как бы у меня снова не разболелась голова, я отложил книгу, принял таблетку веронала и постарался уснуть.

Мне приснился пруд. В нем плавали и ныряли мальчики и девочки. Я повернулся и пошел в сосновый лес. Тогда сзади кто-то окликнул меня: «Отец!» Оглянувшись, я заметил на берегу пруда жену. И меня охватило острое раскаяние.

— Отец, а полотенце?

— Полотенца не нужно. Смотри за детьми!

Я пошел дальше. Но дорога вдруг превратилась в перрон. Это, по-видимому, была провинциальная станция, вдоль тянулась длинная живая изгородь. У изгороди стояли студент и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили:

— Большой пожар был!

— Я еле спасся.

Мне показалось, что эту пожилую женщину я уже где-то видел. Мало того, разговаривая с ней, я чувствовал приятное возбуждение. Тут поезд, выбрасывая дым, медленно подошел к перрону. Я один сел в поезд и зашагал по спальному вагону мимо свисавших по обеим сторонам белых занавесок. На одной полке лежала лицом к проходу обнаженная, похожая на мумию женщина. Это тоже был мой дух мщения — дочь одного сумасшедшего...

Проснувшись, я сразу же невольно вскочил с постели. В комнате по-прежнему ярко горело электричество, но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и писк мышей. Открыв дверь, я вышел в коридор и торопливо направился к камину. Я опустился в кресло и стал смотреть на колеблющееся неверное пламя. Тут подошел бой в белом костюме, чтобы подложить дров.

— Который час?

— Половина четвертого.

Однако в отдаленном углу холла какая-то американка все еще читала книгу. Даже издали видно было, что на ней зеленое платье. Я почувствовал себя спасенным и стал терпеливо ждать рассвета. Как старик, который много лет страдал и тихо ждет смерти.

4. Еще не?..

Я наконец закончил в номере отеля начатый рассказ и решил послать его в журнал. Впрочем, моего гонорара не хватило бы даже на недельное пребывание здесь. Но я был доволен, что закончил работу, и пошел в одну книжную лавку на Гиндзе достать себе какое-нибудь успокаивающее душу лекарство.

На асфальте, залитом зимним солнцем, валялись обрывки бумаги. Эти обрывки, может быть из-за освещения, казались точь-в-точь лепестками роз. Я почувствовал в этом чье-то доброжелательство и вошел в лавку. Там тоже было как-то необычно уютно. Только какая-то девочка в очках разговаривала с приказчиком, что не могло не беспокоить меня. Но я вспомнил рассыпанные на улице бумажные лепестки роз и купил «Беседы» Анатоля Франса и «Письма» Мериме.

С двумя книгами под мышкой я вошел в кафе. И, усевшись за стол в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. Против меня сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что по крайней мере сын сознает, что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь памятной мне силы влечения. И в то же время — пример тех стремлений, которые превращают реальный мир в ад. Однако... Я испугался, что опять погружусь в страдания, и, обрадовавшись, что как раз принесли кофе, раскрыл «Письма» Мериме. В своих письмах, как и в рассказах, он блещет афоризмами. Его афоризмы мало-помалу внушили мне железную твердость духа. (Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей.) Выпив чашку кофе, с настроением «будь что будет!» я поспешно вышел из кафе.

Идя по улице, я рассматривал витрины. В витрине магазина, где торговали рамами, был выставлен портрет Бетховена с откинутыми назад волосами. Это был портрет настоящего ге-

ния. Глядя на этого Бетховена, я не мог отделаться от мысли, что в нем есть что-то смешное...

В это время со мной вдруг поравнялся старый товарищ, которого я не видел со школьных времен, преподаватель прикладной химии в университете. Он нес большой портфель; один глаз у него был воспаленный, налитый кровью.

— Что у тебя с глазом?

— Ничего особенного, конъюнктивит.

Я вдруг вспомнил, что лет пятнадцать назад каждый раз, когда я испытывал влечение, глаза у меня воспалялись, как у него. Но я ничего не сказал. Он хлопнул меня по плечу и заговорил о наших товарищах. Потом, продолжая говорить, повел меня в кафе.

— Давно не виделись: с тех пор как открывали памятник Сю Сюнсую! — закурив, заговорил он через разделявший нас мраморный столик.

— Да. Этот Сю Сюн...

Я почему-то не мог как следует выговорить имя Сю Сюнсуй, хотя произносилось оно по-японски; это меня встревожило. Но он не обратил на эту заминку никакого внимания и продолжал болтать о писателе К., о бульдоге, которого купил, об отравляющем газе люизите...

— Ты что-то совсем перестал писать. «Поминальник» я читал... Это автобиографично?

— Да, это автобиографично.

— В этой вещи есть что-то болезненное. Ты здоров?

— Все так же приходится глотать лекарства

— У меня тоже последнее время бессонница.

— Тоже? Почему ты сказал «тоже»?

— А разве ты не говорил, что у тебя бессонница? Бессонница — опасная штука!

В его левом, налитом кровью глазу мелькнуло что-то похожее на улыбку. Еще не ответив, я почувствовал, что не могу правильно выговорить последний слог слова «бессонница».

«Для сына сумасшедшей это вполне естественно!»

Не прошло и десяти минут, как я опять шагал один по улице. Теперь клочки бумаги, валявшиеся на асфальте, минутами напоминали человеческие лица. Мимо прошла стриженная женщина. Издали она казалась красивой. Но когда она поравнялась со мной, оказалось, что лицо у нее морщинистое и безобразное. Вдобавок она была, по-видимому, беременна. Я невольно отвел глаза и свернул на широкую боковую улицу. Немного погодя я почувствовал геморроидальные боли. Изба-

виться от них можно было только одним средством — поясной ванной.

«Поясная ванна»... Бетховен тоже делал себе поясные ванны.

Запах серы, употребляющиеся при поясных ваннах, вдруг ударил мне в нос. Но, разумеется, никакой серы нигде на улице не было. Я старался идти твердо, опять вспоминая бумажные лепестки роз.

Час спустя я заперся в своем номере, сел за стол перед окном и приступил к новому рассказу. Перо летало по бумаге так быстро, что я сам удивлялся. Но через два-три часа оно остановилось, точно придавленное кем-то невидимым. Волей-неволей я встал из-за стола и принялся шагать по комнате. В эти минуты я был буквально одержим манией величия. В дикой радости мне казалось, что у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей, а есть только жизнь, льющаяся из-под моего пера.

Однако несколько минут спустя мне пришлось подойти к телефону. В трубке, сколько я ни отвечал, слышалось только одно и то же непонятное слово. Во всяком случае, оно, несомненно, звучало как «моул». Наконец я положил трубку и опять зашагал по комнате. Только слово «моул» как-то странно беспокоило меня.

— Моул...

Mole по-английски значит «крот». Эта ассоциация не доставила мне никакого удовольствия. Через две-три секунды я превратил mole в la mort. «Ля мор» — французское слово «смерть» — сразу вселило в меня тревогу. Смерть гналась и за мной, как за мужем сестры. Но в самой своей тревоге я чувствовал что-то смешное. И даже стал улыбаться. Это чувство смешного — откуда оно бралось? Я сам не понимал. Я подошел к зеркалу, чего давно не делал, и посмотрел в упор на свое отражение. Оно, понятно, тоже улыбалось. Рассматривая свое отражение, я вспомнил о двойнике. Двойник — немецкий Doppelgänger, — к счастью, мне не являлся. Но жена господина К., ныне американского киноактера, видела моего двойника в театре. (Я помню, как я смутился, когда она сказала мне: «Последний раз вы мне даже не поклонились...») Затем некий одноногий переводчик, теперь покойный, видел моего двойника в табачной лавке на Гиндзе. Может быть, смерть придет к моему двойнику раньше, чем ко мне? Если даже она уже стоит за мной... Я повернулся к зеркалу спиной и вернулся к столу.

Четырехугольное окно в стене из туфа выходило на высохший газон и пруд. Глядя в сад, я вспомнил о записных книжках и незаконченных пьесах, сгоревших в далеком сосновом лесу. Потом опять взялся за перо и начал новый рассказ.

5. Красный свет

Свет солнца стал меня мучить. В самом деле, я работал, как крот, даже днем при электрическом свете, опустив занавески на окнах. Я усердно писал рассказ, а устав от работы, раскрывал историю английской литературы Тэна и просматривал биографии поэтов. Все они были несчастны. Даже гиганты елизаветинского двора, даже выдающийся ученый Бен Джонсон — он дошел до такого нервного истощения, что видел, как на большом пальце его ноги начинается сражение римлян с карфагенянами. Я не мог удержаться от жестокого злорадства.

Однажды вечером, когда дул сильный восточный ветер (для меня это хорошая примета), я вышел на улицу, решив навестить одного старика. Он служил посыльным в каком-то библейском обществе и там на чердаке в одиночестве предавался молитвам и чтению. Мы беседовали под висевшим на стене распятием, фея руки над хибати. Отчего моя мать сошла с ума? Отчего дела моего отца окончились крахом? И отчего я наказан? Он, знавший все эти тайны, долго беседовал со мной с удивительно торжественной улыбкой на губах. Больше того — иногда он в кратких словах рисовал карикатуры на человеческую жизнь. Этого отшельника на чердаке я не мог не уважать. Но в разговоре с ним я открыл, что и им движет сила влечения.

— Дочь этого садовника и хорошенькая и добрая — она всегда ко мне ласкова.

— Сколько ей лет?

— В этом году исполнилось восемнадцать.

Может быть, он считал это отцовской любовью. Но я не мог не заметить в его глазах отблеска страсти. На желтоватой коже яблока, которым он меня угостил, обозначилась фигура единорога. (Я не раз обнаруживал мифологических животных в рисунке разреза дерева или в разводах на кофейной чашке.) Единорог — это было чудище. Я вспомнил, как один враждебный мне критик назвал меня «чудищем девятьсот девяноста годов», и почувствовал, что и этот чердак не является для меня островком безопасности.

— Ну, как вы в последнее время?

— Все еще нервы не в порядке.
— Тут лекарства не помогут. Нет у вас охоты стать верующим?

— Если б я мог...

— Ничего трудного нет. Если только поверить в бога, поверить в сына божьего — Христа, поверить в чудеса, сотворенные Христом...

— В дьявола я поверить могу...

— Почему же вы не верите в бога? Если верите в бога, почему не можете поверить в свет?

— Но бывает тьма без света.

— Тьма без света — что это такое?

Мне оставалось только молчать. Он, как и я, блуждал во тьме, но он верил, что над тьмой есть свет. Наши теории расходились только в этом одном пункте. Однако это, по крайней мере для меня, было непроходимой пропастью.

— Эти чудеса творит дьявол.

— Почему вы опять говорите о дьяволе?

Я почувствовал искушение рассказать ему, что мне пришлось пережить за последние год-два. Но я не мог подавить в себе опасений, что через него это станет известно жене и я, как и моя мать, попаду в сумасшедший дом.

— Что это у вас там?

Крепкий не по годам старик обернулся к книжной полке, и на лице его появилось какое-то пастырское выражение.

— Собрание сочинений Достоевского. «Преступление и наказание» вы читали?

Разумеется, я полюбил Достоевского еще десять лет назад. И под впечатлением случайно (?) оброненных хозяином слов «Преступление и наказание» я взял у него эту книгу и пошел к себе в отель. Залитые электрическим светом многолюдные улицы по-прежнему были мне неприятны. Встречаться со знакомыми было совершенно невыносимо. Я шел, выбирая, словно вор, улицы потемнее.

Но немного спустя у меня начались боли в желудке. Помочь мог только стакан виски. Я заметил бар, толкнул дверь и хотел было войти, но там в тесноте в облаках дыма толпились какие-то люди, не то литераторы, не то художники, и пили водку. Вдобавок в самом центре какая-то женщина с зачесанными за уши волосами с увлечением играла на мандолине. Я сразу смутился и, не входя, повернул обратно. Тут я заметил, что моя тень движется из стороны в сторону. А освещал меня — и это было как-то жутко — красный свет. Я остановился.

Но моя тень все еще шевелилась. Я боязливо обернулся и наконец заметил цветной фонарь, висевший над дверью бара. Фонарь тихо покачивался от сильного ветра.

После этого я зашел в погребок. Подошел к стойке и заказал виски.

— Виски? Есть только «Black and White»¹. — Я влил виски в содовую и молча стал прихлебывать. Рядом со мной тихо разговаривали двое мужчин лет около тридцати, похожие на журналистов. Они беседовали по-французски. Стоя к ним спиной, я всем существом чувствовал на себе их взгляды. Они действовали на меня, как электрические волны. Эти люди, наверно, знали мое имя, они, кажется, говорили обо мне.

— Bien... très mauvais... pourquoi?

— Pourquoi? Le diable est mort!

— Qui, qui... denfer²

Я бросил серебряную монету (мою последнюю) и бежал из подвала. Улицы, по которым носился ночной ветер, успокоили мои нервы, боль в желудке поутихла. Я вспомнил Раскольникова и почувствовал желание исповедаться. Но это, несомненно, окончилось бы трагедией не только для меня и даже не только для моей семьи. Кроме того, я сомневался в искренности самого этого желания. Если бы только мои нервы стали здоровыми, как у всякого нормального человека!.. Но для этого я должен был куда-нибудь уехать. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд...

В это время небольшая белая вывеска над дверью одной лавки вдруг встревожила меня. На ней была изображена торговая марка в виде шины с крыльями. Я сейчас же вспомнил древнего грека, доверившегося искусственным крыльям. Он поднялся в воздух, его крылья расплавились на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, В Самарканд... Я невольно посмеялся над своими мечтами. И в то же время невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.

Я шел по темной улице вдоль канала. И вспомнил дом своих приемных родителей в пригороде. Несомненно, моя приемная мать живет в ожидании моего возвращения. Пожалуй, мои

¹ "Черное и белое" — марка виски (англ.).

² Хорошо... очень плохо... почему?

— Почему? Дьявол умер!

— Да, да... из ада... (фр.).

дети тоже... Но я не мог не бояться некоей силы, которая свяжет меня, как только я вернусь. На волнующейся воде канала у пристани стояла барка. Из другой барки пробивался слабый свет. Там, наверное, жили какие-то люди, семья. Также — любя друг друга и ненавидя... Но я еще раз вызвал в себе воинственный дух и, чувствуя легкое опьянение от виски, вернулся к себе в отель.

Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные «Письма» Мериме. И опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Но, узнав, что к старости Мериме сделался протестантом, я вдруг представил себе его лицо, скрытое под маской. Он тоже был одним из тех, кто, как и мы, бродит во тьме. Во тьме? «Путь в темную ночь» стал превращаться для меня в страшную книгу. Чтобы разогнать тоску, я принялся за «Беседы» Анатоля Франса. Но и этот современный добрый пастырь нес свой крест...

Через час вошел бой и подал мне пачку писем. Одно из них содержало предложение лейпцигской книжной фирмы написать статью на тему «Современная японская женщина». Почему они заказывали такую статью именно мне? Мало того, в этом написанном по-английски письме имелся постскрипtum от руки: «Мы удовлетворимся портретом женщины, сделанным, как в японских рисунках, черным и белым». Я вспомнил название виски «Black and White» — и разорвал письмо в мелкие клочки. Потом взял первый попавшийся под руку конверт, вскрыл его и просмотрел письмо на желтой почтовой бумаге. Писал незнакомый юноша. Но не прочел я и двух-трех строк, как от слов «Ваши «Муки ада»» пришел в волнение. Третье письмо было от племянника Я вздохнул свободно и стал читать о домашних делах. Но даже здесь конец письма меня пришиб.

«Посылаю переиздание сборника стихов «Красный свет»».

Красный свет! Я почувствовал, будто кто-то насмеяется надо мной, и решил спастись бегством из комнаты. В коридоре не было ни души. Держась рукой за стену, я добрался до холла. Сел в кресло и решил, как бы там ни было, выкурить сигарету. Почему-то у меня оказались папиросы «Airship»¹. С тех пор как я поселился в этом отеле, я намеревался курить только «Star»². Искусственные крылья опять всплыли у меня перед глазами. Я позвал боя и попросил две коробки «Star». Но, если

¹ "Дирижабль" (англ.).

² "Звезда" (англ.).

верить бою, именно этот сорт, к моему сожалению, весь был распродан.

— «Airship» — извольте...

Я покачал головой и обвел взглядом просторный холл. Поодаль, вокруг стола, сидели и беседовали несколько иностранцев. Среди них женщина в красном костюме, тихо разговаривая, иногда как будто поглядывала на меня.

— Миссис Таунзхед, — шепнул мне кто-то невидимый.

Имена вроде миссис Таунзхед, конечно, были мне неизвестны. Даже если так звали ту женщину... Я поднялся и, боясь сойти с ума, пошел к себе в номер.

Вернувшись в номер, я собирался сразу же позвонить в психиатрическую лечебницу. Но попасть туда для меня было бы все равно что умереть. После мучительных колебаний я, чтобы рассеять страх, начал читать «Преступление и наказание». Но страница, на которой раскрылась книга, была из «Братьев Карамазовых». Подумав, что по ошибке взял не ту книгу, я взглянул на обложку. «Преступление и наказание» — да, книга называлась «Преступление и наказание». В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти вверстанные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочел и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате...

Теперь спасти меня мог только сон. Но снотворные порошки кончились все до единого. Мучиться и дальше без сна было совершенно невыносимо. С мужеством отчаяния я все-таки велел принести кофе и, как обезумевший, схватил перо. Две страницы, пять, семь, десять... рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Больше того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Однако усталость малопомалу затуманивала мою голову. В конце концов я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Наконец я, кажется, заснул и спал минут сорок-пятьдесят. Но услышал, как кто-то шепчет мне на ухо:

— *Le diable est mort...*

Сразу проснувшись, я вскочил.

За окном начинался холодный рассвет. Я стал прямо перед дверью и оглядел пустую комнату. И вот на оконном стекле на узорах осевшего инея появился крошечный пейзаж. За пожелтевшим сосновым лесом лежало море. Я бо-

язливо подошел к окну и увидел, что на самом деле этот пейзаж образован высохшим газоном и прудом в саду. Но моя галлюцинация пробудила во мне что-то похожее на тоску по родному дому.

Как только настало девять, я позвонил в одну редакцию и, уладив денежные дела, решил вернуться домой. Решил, засовывая книги и рукописи в лежавший на столе чемодан.

6. Аэроплан

Я ехал в автомобиле со станции Токайдоской железной дороги в дачную местность. Шофер почему-то в такой холод был в поношенном макинтоше. От этого совпадения мне стало не по себе, и, чтобы не видеть шофера, я решил смотреть в окно. Тут поодаль среди низкорослых сосен — вероятно, на старом шоссе — я заметил похоронную процессию. Фонарей, затянутых белым, как будто не было. Но золотые и серебряные искусственные лотосы тихо покачивались впереди и позади катафалка...

Когда наконец я вернулся домой, то благодаря жене, детям и снотворным средствам два-три дня прожил довольно спокойно. Из моего мезонина вдали за сосновым лесом чуть виднелось море. Здесь, в мезонине, сидя за своим столом, я занимался по утрам, слушал воркованье голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду иногда залетали воробьи. Это тоже было мне приятно. «Вхожу в чертог радостных птиц», — каждый раз при виде их я вспоминал эти слова.

Однажды в теплый пасмурный день я пошел в мелочную лавку купить чернил. Но в лавке оказались чернила только цвета сепии. Чернила цвета сепии всегда расстраивают меня больше всяких других. Делать было нечего, и я, выйдя из лавки, побрел один по безлюдной улице. Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец лет сорока.

Это был швед, живший по соседству и страдавший магией преследования. И звали его Стриндберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это.

Улица состояла всего из двух-трех кварталов. Но на протяжении этих двух-трех кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня четыре раза. Сворачивая в переулок я вспомнил виски «Black and White». И

вдобавок вспомнил, что сейчас на Стриндберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же это не случайность, то... Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подсказав к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь.

Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы леггорн. А потом у моих ног улеглась черная собака. Стараясь разрешить никому не понятный вопрос, я все-таки внешне вполне спокойно беседовал с матерью жены и ее братом.

— Тихо как здесь.

— Это по сравнению с Токио.

— А что, разве и тут бывают неприятности?

— Да ведь свет-то все тот же! — сказала теща и засмеялась.

В самом деле, и это дачное место было на том же самом свете. Я хорошо знал, сколько преступлений и трагедий случилось здесь всего за какой-нибудь год. Врач, который намеревался медленно отравить пациента, старуха, которая подожгла дом приемного сына и его жены, адвокат, который пытался завладеть имуществом своей младшей сестры... Видеть дома этих людей для меня было все равно что в человеческой жизни видеть ад.

— У нас в городке есть один сумасшедший.

— Наверно, господин Х. Он не сумасшедший, он слабоумный.

— Это есть такая штука — *dementia praecox*¹. Каждый раз, как я его вижу, мне невыносимо жутко. Недавно он почему-то отвешивал поклоны перед статуей Бато-Кандзэон.

— Жутко?.. Надо быть покрепче.

— Братец крепче, чем я, и все же...

Брат жены, давно не бритый, приподнявшись на постели, как всегда, застенчиво присоединился к нашему разговору.

¹ Распад личности (*лат.*).

— И в силе есть своя слабость.

— Ладно, ладно, будет тебе, — сказала теща.

Я посмотрел на него и невольно горько улыбнулся. А брат продолжал говорить с увлечением, слегка улыбаясь и устремив взгляд через изгородь вдаль на сосновый лес. Он был молод, только что оправился от болезни и казался мне иногда чистым духом, освободившимся от своего тела.

— Думаешь, он ушел от людей, а оказывается, он весь во власти человеческих страстей.

— Думаешь, добрый человек, а он, оказывается, злой.

— Нет, есть и большие противоположности, чем добро и зло...

— Ну, например, во взрослом можно обнаружить ребенка.

— Нет, не то! Я не могу ясно выразить, но... что-нибудь вроде двух полюсов электричества. Что-то, что соединяет противоположности.

Тут нас испугал сильный шум аэроплана. Я невольно посмотрел вверх и увидел аэроплан, который, чуть не задев верхушки сосен, взмыл в воздух. Это был редко встречающийся моноплан с крыльями, выкрашенными в желтый цвет. Куры, испуганные шумом, разбежались в разные стороны. Особенно струсил собака; она залаяла и, поджав хвост, забила под балкон.

— Аэроплан не упадет?

— Не беспокойтесь. Братец знает, что такое «летная болезнь»?

Закуривая папиросу, я, вместо того чтобы ответить «нет», просто покачал головой.

— Люди, постоянно летающие на аэропланах, дышат воздухом высот и поэтому постепенно перестают выносить наш земной воздух...

Выйдя из дома тещи, я зашагал через неподвижно застывший сосновый лес; мало-помалу мне становилось все тоскливей. Почему этот аэроплан пролетел не где-нибудь, а именно над моей головой? И почему в том отеле продавали только папиросы «Airship»? Терзаясь разными вопросами, я пошел по самой безлюдной дороге.

Над тусклым морем за низкими дюнами нависла серая мгла. А на песчаном холме высились столбы для качелей, но качелей на них не было. Глядя на эти столбы, я вдруг вспомнил виселицу. И действительно, на перекладине сидело несколько ворон. Хотя они видели меня, но вовсе не собирались

улетать. Мало того, ворона, сидевшая посредине, подняла свой длинный клюв и каркнула четыре раза.

Идя вдоль песчаной насыпи, поросшей сухой травой, я решил свернуть на тропинку, по обеим сторонам которой стояли дачи. Слева от тропинки среди высоких сосен должен был белеть деревянный европейский дом с мезонином. (Мой близкий друг назвал его «домом весны».) Но когда я поравнялся с этим местом, на бетонном фундаменте стояла только одна ванна «Здесь был пожар!» — подумал я сразу и зашагал дальше, стараясь не смотреть в ту сторону. Тут навстречу мне показался мужчина на велосипеде. На нем была коричневая кепка, он всем телом налег на руль, как-то странно уставив взгляд перед собой. Его лицо вдруг показалось мне лицом мужа моей сестры, и я свернул на боковую тропинку, чтобы не попасться ему на глаза. Но на самой середине этой тропинки валялся брющком вверх полуразложившийся дохлый крот.

Что-то преследовало меня, и это с каждым шагом усиливало мою тревогу. А тут поле моего зрения одно за другим стали заслонять полупрозрачные зубчатые колеса. В страхе, что наступила моя последняя минута, я шел, стараясь держать голову прямо. Зубчатых колес становилось все больше, они вертелись все быстрее. В то же время справа сосны с застывшими переплетенными ветвями стали принимать такой вид, как будто я смотрел на них сквозь мелко граненное стекло. Я чувствовал, что сердце у меня бьется все сильнее, и много раз пытался остановиться на краю дороги. Но, словно подталкиваемый кем-то, никак не мог этого сделать.

Через полчаса я лежал у себя в мезонине, крепко закрыв глаза, с жестокой головной болью. И вот под правым веком появилось крыло, покрытое, точно чешуей, серебряными перьями. Оно ясно отражалось у меня на сетчатке. Я открыл глаза, посмотрел на потолок и, разумеется убедившись, что на потолке ничего похожего нет, опять закрыл глаза. Но снова серебряное крыло отчетливо обозначилось во тьме. Я вдруг вспомнил, что на радиаторе автомобиля, на котором я недавно ехал, тоже были изображены крылья...

Тут кто-то торопливо взбежал по лестнице и сейчас же опять побежал вниз. Я понял, что это моя жена, испуганно вскочил и бросился в полутемную комнату под лестницей. Жена сидела, низко опустив голову, с трудом переводя дыхание, плечи ее вздрагивали.

— Что такое?

— Ничего.

Жена наконец подняла лицо и, с трудом выдавив улыбку, сказала:

— В общем, право, ничего, только мне почему-то показалось, что вы вот-вот умрете...

Это было самое страшное, что мне приходилось переживать за всю мою жизнь. Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?

ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ

I

Г о л о с . Ты оказался совсем другим человеком, чем я думал.

Я . Я за это не в ответе.

Г о л о с . Однако ты сам ввел меня в заблуждение.

Я . Я никогда этого не делал.

Г о л о с . Однако ты любил прекрасное — или делал вид, что любишь.

Я . Я люблю прекрасное.

Г о л о с . Что же ты любишь? Прекрасное? Или одну женщину?

Я . И то и другое.

Г о л о с (с холодной усмешкой). Похоже, что ты не считаешь это противоречием.

Я . А кто же считает? Тот, кто любит женщину, может не любить старинного фарфора. Но это просто потому, что он не понимает прелести старинного фарфора.

Г о л о с . Эстет должен выбрать что-нибудь одно.

Я . К сожалению, я не столько эстет, сколько человек, от природы жадный. Но в будущем я, может быть, выберу старинный фарфор, а не женщину.

Г о л о с . Значит, ты непоследователен.

Я . Если это непоследовательность, то в таком случае больной инфлюэнцей, который делает холодные обтирания, вероятно, самый последовательный человек.

Г о л о с . Перестань притворяться, будто ты силен. Внутренне ты слаб. Но, естественно, ты говоришь такие вещи только для того, чтобы отвести от себя нападки, которым ты подвергаешься со стороны общества.

Я. Разумеется, я и это имею в виду. Подумай прежде всего вот о чем: если я не отведу нападки, то в конце концов буду раздавлен.

Г о л о с . Какой же ты бесстыжий малый!

Я. Я ничуть не бесстыден. Мое сердце даже от ничтожной мелочи холодеет, словно прикоснулось ко льду.

Г о л о с . Ты считаешь себя человеком, полным сил?

Я. Разумеется, я один из тех, кто полон сил. Но не самый сильный. Будь я самым сильным, вероятно, спокойно превратился бы в истукана, как человек по имени Гёте.

Г о л о с . Любовь Гёте была чиста.

Я. Это — ложь. Ложь историков литературы. Гёте в возрасте тридцати пяти лет внезапно бежал в Италию. Да. Это было не что иное, как бегство. Эту тайну, за исключением самого Гёте, знала только мадам Штейн.

Г о л о с . То, что ты говоришь, — самозащита. Нет ничего легче самозащиты.

Я. Самозащита — не легкая вещь. Если б она была легкой, не появилась бы профессия адвоката.

Г о л о с . Лукавый болтун! Больше никто не захочет иметь с тобой дело.

Я. У меня есть деревья и вода, волнующие мое сердце. И есть более трехсот книг, японских и китайских, восточных и западных

Г о л о с . Но ты навеки потеряешь своих читателей.

Я. У меня появятся читатели в будущем.

Г о л о с . А будущие читатели дадут тебе хлеба?

Я. И нынешние не дают его вдоволь. Мой высший гоно-
рар — десять иен за страницу.

Г о л о с . Но ты, кажется, имел состояние?..

Я. Все мое состояние — участок в Хондзэ размером в лоб кошки. Мой месячный доход в лучшие времена не превышал трехсот иен.

Г о л о с . Но у тебя есть дом. И хрестоматия новой литературы...

Я. Крыша этого дома меня давит. Доход от продажи хрестоматии я могу отдать тебе, потому что получил четыреста-
пятьсот иен.

Г о л о с . Но ты составитель этой хрестоматии. Этого одного ты должен стыдиться.

Я. Чего же мне стыдиться?

Г о л о с . Ты вступил в ряды деятелей просвещения.

Я. Ложь. Это деятели просвещения вступили в наши ряды. Я принялся за их работу.

Г о л о с . Ты все же ученик Нацумэ-сэнсэя!

Я. Конечно, я ученик Нацумэ-сэнсэя. Ты, может быть, знаешь того Сосэки-сэнсэя, который занимался литературой. Но ты, вероятно, не знаешь другого, Нацумэ-сэнсэя, гениального, похожего на безумца.

Г о л о с . У тебя нет идей. А если изредка они и бывают, то всегда противоречивы.

Я. Это доказательство того, что я иду вперед. Только идиот до конца уверен, что солнце меньше кадушки.

Г о л о с . Твое высокомерие убьет тебя.

Я. Иногда я думаю так: может быть, я не из тех, кто умирает в своей постели.

Г о л о с . Похоже, что ты не боишься смерти? А?

Я. Я боюсь смерти. Но умирать нетрудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после двадцати секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство. Я всегда готов без колебаний умереть, когда встречаюсь не столько со смертью, сколько с чем-либо неприятным.

Г о л о с . Почему же ты не умираешь? Разве в глазах любого ты не преступник с точки зрения закона?

Я. С этим я согласен. Как Верлен, как Вагнер или как великий Стриндберг.

Г о л о с . Но ты ничего не делаешь во искупление.

Я. Делаю. Нет большего искупления, чем страдание.

Г о л о с . Ты неисправимый негодяй.

Я. Я скорее добродетельный человек. Будь я негодяем, я бы так не страдал. Больше того, пользуясь любовью женщин, я вымогал бы у них деньги.

Г о л о с . Тогда ты, пожалуй, идиот.

Я. Да, пожалуй, я идиот. «Исповедь глупца» написал идиот, по духу мне близкий.

Г о л о с . Вдобавок ты не знаешь жизни.

Я. Если бы знание жизни было самым главным, деловые люди стояли бы выше всех.

Г о л о с . Ты презирал любовь. Однако теперь я вижу, что с начала и до конца ты ставил любовь выше всего.

Я. Нет, я и теперь отнюдь не ставлю любовь выше всего. Я поэт. Художник.

Г о л о с . Но разве ты не бросил отца и мать, жену и детей ради любви?

Я. Лжешь. Я бросил отца и мать, жену и детей только ради самого себя.

Г о л о с . Значит, ты эгоист.

Я. К сожалению, я не эгоист. Но хотел бы стать эгоистом.

Г о л о с . К несчастью, ты заражен современным культом «эго».

Я. В этом-то я и есть современный человек.

Г о л о с . Современного человека не сравнить с древним.

Я. Древние люди тоже в свое время были современными.

Г о л о с . Ты не жалеешь своей жены и своих детей?

Я. Разве найдется кто-нибудь, кто бы их не жалел? Почитай письма Гогена.

Г о л о с . Ты готов оправдывать все, что ты делал.

Я. Если бы я все оправдывал, я не стал бы с тобой разговаривать.

Г о л о с . Значит, ты не будешь себя оправдывать?

Я. Я просто примиряюсь с судьбой.

Г о л о с . А как же с твоей ответственностью?

Я. Одна четверть — наследственность, другая четверть — окружение, третья четверть — случайности, на моей ответственности только одна четверть.

Г о л о с . Какой же ты мелкий человек.

Я. Все такие же мелкие, как я.

Г о л о с . Значит, ты сатанист.

Я. К сожалению, я не сатанист. Особенно к сатанистам зоны безопасности я всегда чувствовал презрение.

Г о л о с (некоторое время безмолвен). Во всяком случае, ты страдаешь. Признай хоть это.

Я. Не переоценивай! Может быть, я горжусь тем, что страдаю. Мало того, «бояться утратить полученное» — такое с сильными не случается.

Г о л о с . Может быть, ты честен. Но, может быть, ты просто шут.

Я. Я тоже думаю — кто я?

Г о л о с . Ты всегда был уверен, что ты реалист.

Я. Настолько я был идеалистом.

Г о л о с . Ты, пожалуй, погибнешь.

Я. Но то, что меня создало, — создаст второго меня.

Г о л о с . Ну и страдай сколько хочешь. Я с тобой расстаюсь.

Я. Подожди. Сначала скажи мне: ты, непрестанно меня вопрошавший, ты, невидимый для меня, — кто ты?

Г о л о с . Я? Я ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.

2

Г о л о с . У тебя замечательное мужество.

Я. Нет, я лишен мужества. Если бы у меня было мужество, я не прыгнул бы сам в пасть ко льву, а ждал бы, пока он меня сожрет.

Г о л о с . Но в том, что ты сделал, есть нечто человеческое.

Я. Нечто человеческое — это в то же время нечто животное.

Г о л о с . Ты не сделал ничего дурного. Ты страдаешь только из-за нынешнего общественного строя.

Я. Даже если бы общественный строй изменился, все равно мои действия непременно сделали бы кого-либо несчастным.

Г о л о с . Но ты не покончил с собой. Как-никак у тебя есть силы.

Я. Я не раз хотел покончить с собой. Например, желая, чтобы моя смерть выглядела естественной, я съедал по десятку мух в день. Проглотить муху, предварительно ее искрошив, — пустяк. Но жевать ее — противно.

Г о л о с . Зато ты станешь великим.

Я. Я не гонюсь за величием. Чего я хочу — это только мира. Почитай письма Вагнера. Он пишет, что, если бы у него было достаточно денег на жизнь с любимой женщиной и двумя-тремя детьми, он был бы вполне доволен и не создавая великое искусство. Таков даже Вагнер. Такая яркая личность, как Вагнер.

Г о л о с . Во всяком случае, ты страдаешь. Ты — человек, не лишенный совести.

Я. Но моя жена всегда была мне верна

Г о л о с . В твоей трагедии больше разума чем у иных людей.

Я. Лжешь. В моей комедии меньше знания жизни, чем у иных людей.

Г о л о с . Но ты честен. Прежде чем что-то открылось, ты во всем признался мужу женщины, которую любишь.

Я. И то ложь. Я не признавался до тех пор, пока у меня хватало на это сил.

Г о л о с . Ты поэт. Художник. Тебе все позволено.

Я. Я поэт. Художник. Но я и член общества. Не удивительно, что я несу свой крест. И все же он еще слишком легкий.

Г о л о с . Ты забываешь свое «я». Цени свою индивидуальность и презирай низкий народ.

Я. Я и без твоих слов ценю свою индивидуальность, но народа я не презираю. Когда-то я сказал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Шекспир, Гёте, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр.

Г о л о с . То, что ты написал, оригинально.

Я. Нет, отнюдь не оригинально. Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времен, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал.

Г о л о с . Однако ты и учишь.

Я. Я учил только невозможному. Будь это возможно, я сам сделал бы это раньше, чем стал учить других.

Г о л о с . Не сомневайся в том, что ты сверхчеловек.

Я. Нет, я не сверхчеловек. Мы все не сверхчеловеки. Сверхчеловек только Заратустра, но какой смертью погиб Заратустра — этого сам Ницше не знает.

Г о л о с . Даже ты боишься общества?

Я. А кто не боялся общества?

Г о л о с . Посмотри на Уайлда, который провел три года в тюрьме. Уайлд говорил: «Покончить с собой — значит быть побежденным обществом».

Я. Уайлд, находясь в тюрьме, не раз замыслил самоубийство. И не покончил он с собой только потому, что у него не было способа это сделать.

Г о л о с . Растопчи добро и зло.

Я. А я теперь больше всего хочу стать добродетельным.

Г о л о с . Ты слишком прост.

Я. Нет, я слишком сложен.

Г о л о с . Но можешь быть спокоен. У тебя всегда будут читатели.

Я. Только после того, как перестанет действовать авторское право.

Г о л о с . Ты страдаешь из-за любви.

Я. Из-за любви? Поменьше высокопарностей, годных для литературных юнцов. Я просто споткнулся о любовь.

Г о л о с . О любовь всякий может споткнуться.

Я. Это только значит, что всякий легко может соблазниться деньгами.

Г о л о с . Ты распят на кресте жизни.

Я. Этим не приходится гордиться. Убийца своей любовницы и похититель чужих денег тоже распяты на кресте жизни.

Г о л о с . Жизнь не настолько мрачна.

Я. Известно, что жизнь темна для всех, кроме «избранного меньшинства». А «избранное меньшинство» — это другое название для идиотов и негодяев.

Г о л о с . Так страдай сколько хочешь. Ты знаешь меня? Меня, который пришел нарочно, чтобы утешить тебя?

Я. Ты пес. Ты дьявол, который некогда пробрался к Фаусту под видом пса.

3

Г о л о с . Что ты делаешь?

Я. Я только пишу.

Г о л о с . Почему ты пишешь?

Я. Только потому, что не могу не писать.

Г о л о с . Так пиши. Пиши до самой смерти.

Я. Разумеется — мне ничего иного и не остается.

Г о л о с . Ты, сверх ожидания, спокоен.

Я. Нет, я ничуть не спокоен. Если бы ты был из тех, кто меня знает, то знал бы и мои страдания.

Г о л о с . Куда пропала твоя улыбка?

Я. Вернулась на небеса к богам. Для того чтобы дарить жизни улыбку, нужен, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых — деньги, в-третьих, более крепкие нервы, чем у меня.

Г о л о с . Но у тебя, кажется, стало легко на сердце.

Я. Да, у меня стало легко на сердце, но зато мне пришлось возложить на голые плечи бремя целой жизни.

Г о л о с . Тебе не остается ничего иного, как на свой лад жить. Или же на свой лад...

Я. Да Не остается ничего, как на мой лад умереть.

Г о л о с . Ты станешь новым человеком, отличным от того, каким был.

Я. Я всегда остаюсь самим собой. Только кожу меняю. Как змея...

Г о л о с . Ты все знаешь.

Я. Нет, я не все знаю. То, что сознаю, — это только часть моего духа. Та часть, которую я не сознаю. Африка моего духа простирается беспредельно. Я ее боюсь. На свету чудовища не живут. Но в бескрайней тьме еще что-то спит.

Г о л о с . И ты тоже мое дитя.

Я. Кто ты — ты, который меня поцеловал? О, да я тебя знаю!

Г о л о с . Кто же я, по-твоему?

Я. Ты тот, кто лишил меня мира. Тот, кто разрушил мое эпикурейство. Мое? Нет, не только мое. Тот, из-за кого мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец Древнего Китая. Твои жертвы — повсюду. И в истории литературы, и в газетных статьях.

Г о л о с . Как же ты меня назовешь?

Я. Я... как тебя назвать, не знаю. Но если воспользоваться словами других, то ты — сила, превосходящая нас. Ты — владеющий нами демон.

Г о л о с . Поздравь себя самого. Я ни к кому не прихожу для разговоров.

Я. Нет, я больше, чем кто-либо другой, буду остерегаться твоего прихода. Там, где ты появляешься, мира нет. Но ты, как лучи рентгена, проникаешь через все.

Г о л о с . Так будь впредь настороже.

Я. Разумеется, впредь я буду настороже. Но вот когда у меня в руке перо...

Г о л о с . Когда у тебя в руке будет перо, ты скажешь: приходи!

Я. Кто скажет — приходи?! Я один из мелких писателей. Иначе мира не обрести. Но когда в руке у меня будет перо, я, может быть, попаду к тебе в плен.

Г о л о с . Так будь всегда внимателен. Может быть, я воплощу в жизнь, одно за другим, все твои слова. Ну, до свидания. Я ведь приду еще когда-нибудь.

Г о л о с (один). Рюноскэ Акутагава! Рюноскэ Акутагава! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради твоих детей. Не обольщайся собой, но и не принижай себя. И ты воспрянешь.

СОН

Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. А в тех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что «цветные сны — свидетельство нездоровья». Сны же, которые я видел, — может быть, этому способствовала профессия художника, — как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом — железнодорожный переезд с ивой, пустившей молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки.

Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм...

Этот сон тоже был явно цветным.

Мой дом находился в одном из предместий Токио, в нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гиндза или Асакуса. «Клин клином вышибают» — так думал я иногда, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой.

Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем утратил бодрость, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что, даже путешествуя, все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года три-четыре назад на меня напала тоска, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекий Нагасаки. Приехал в Нагасаки, но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио...

Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было и еще что-то, отчего вспыхнуло это желание. Я решил тут же, не заходя домой,

пойти к М. и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда прибодряло меня, даже когда одолевала тоска «Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать» — подобная мысль у меня действительно была.

Лицо натурщицы, присланной из дома М., красотой не отличалось, зато тело, а главное, грудь были, несомненно, прекрасны. И волосы, уложенные в пучок, — несомненно, пушисты. Я остался доволен и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, обращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что покраснели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее подрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя — ведь я даже не смог купить настоящую печку. И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью.

— Где твой дом?

— Мой дом? Мой дом на Сансаки-мати в Янаке.

— Ты живешь одна?

— Нет, мы снимаем жилье вдвоем с подругой.

Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами ее слова казались монотонными. Это навело меня даже на мысль, что такова она от рождения. Я почувствовал облегчение и с тех пор оставлял ее позировать сверх установленного времени. Но в какой-то момент фигура женщины, у которой глаза и те были неподвижными, начинала действовать на меня угнетающе.

Картина моя подвигалась плохо. Закончив работу, намеченную на день, я обычно валился на розовый ковер, массировал шею и голову и рассеянно оглядывал комнату. Кроме мольберта, в ней стоял лишь плетеный, из тростника, стул. Иногда стул, возможно из-за перемены влажности воздуха, слегка поскрипывал, даже если на нем никто не сидел. В такие минуты мне делалось жутко, и я тут же отправлялся куда-нибудь погулять. Хоть я и говорю «отправлялся погулять», это означало лишь, что я выходил

на деревенскую улицу, параллельную дамбе позади моего дома, где было множество храмов.

И все же ежедневно, не зная отдыха, я обращался к мольберту. Натурщица тоже приходила ежедневно. Через некоторое время тело женщины стало действовать на меня еще более угнетающе, чем прежде. Я просто завидовал ее здоровью. Однажды, глядя без всякого выражения в угол комнаты, где на розовом ковре лежала женщина, я подумал, водя кистью по холсту: «Эта женщина похожа скорее на животное, чем на человека».

Как-то теплым ветреным днем я, сидя у мольберта, старательно работал кистью. Натурщица была, кажется, мрачнее обычного. Мне вдруг почудилась в теле этой женщины дикая сила. Больше того, почудился какой-то особый запах, исходящий у нее из-под мышек. Он напоминал запах кожи негра.

— Ты где родилась?

— В префектуре Гумма, в городе**.

— В городе**? Там ведь у вас много ткацких фабрик.

— Да.

— А ты ткачихой не была?

— Была в детстве.

Во время этого разговора я вдруг заметил, что у женщины набухли груди. Они напоминали теперь два кочана капусты. Я, разумеется, как обычно, продолжал работать кистью. Но меня странно тянуло к грудям женщины, к их отталкивающей прелести.

В ту ночь ветер не прекращался. Я внезапно проснулся и пошел в уборную. Но окончательно пробудился, только когда отодвинул сѐдзи. Невольно я остановился и стал осматривать комнату, особенно розовый ковер под ногами. Потом погладил его босой ногой. Неожиданное ощущение, будто трогаешь мех. «Какого, интересно, цвета ковер с изнанки?» Это тоже почему-то меня беспокоило. Но посмотреть я как-то не решился. Возвратившись из уборной, я быстро нырнул в постель.

На следующий день, закончив работу, я почувствовал, что устал больше, чем обычно. И пребывание в комнате меня ничуть не успокаивало. Поэтому я решил пойти на дамбу за домом. Уже темнело. Но, как ни странно, деревья и электрические столбы все еще ясно вырисовывались на фоне неба. Идя по дамбе, я все время испытывал искушение что-нибудь громко крикнуть. Но, естественно, надо было подавить это искушение. Мне почудилось, что я двигаюсь лишь мысленно, и я

спустился на одну из деревенских улиц, идущих параллельно дамбе.

На этой улице по-прежнему почти не было прохожих. Только к одному из электрических столбов была привязана корейская корова. Вытянув шею, корова по-женски смотрела на меня затуманившимися глазами. У нее был такой вид, будто она ждала, что я подойду к ней. Я почувствовал, как внутри у меня медленно поднимается протест против этой стоявшей тут с таким видом корейской коровы. «Когда ее поведут на бойню, у нее будет точно такой же взгляд». Это чувство вселило в меня тревогу. Постепенно мной овладела тоска, и я, чтобы не идти мимо коровы, свернул в переулок.

Дня через два или три я стоял у мольберта и работал. Натурщица на розовом ковре лежала не шелохнувшись. Прошло полмесяца, а работа ничуть не подвигалась. Ни я, ни натурщица не открывали друг другу того, что было у нас на сердце. Скорее наоборот, я все острее ощущал страх перед этой женщиной. Даже во время перерывов она ни разу не надела сорочки. К тому же на все мои вопросы отвечала бесконечно печально. Но сегодня, продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной (я заметил, что на правом плече у нее родинка), она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной:

— Сэнсэй, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, верно?

— Угу...

— Это могила последа?

— Могила последа?

— Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен послед.

— Почему ты так решила?

— Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано. — Женщина через плечо посмотрела на меня, выражение лица у нее было почти насмешливое. — Все рождаются с последом. Верно ведь?

— Гадости какие-то говоришь.

— А если рождаются с последом...

— ?..

— То это все равно, что рождается щенок, а?

Чтобы женщина не продолжала, я снова стал работать. Не продолжала? Но ведь нельзя сказать, что я остался совершенно равнодушным к ее словам. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но выразить это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание вы-

разить это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать этого, используя холсты, кисти — в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать — тут, работая кистью, я вспоминал выставляемые иногда в музеях каменные палки и каменные мечи.

Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время повторяю про себя фразу: «Это просто невысказано». Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова. Но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное.

Проснулся я уже около десяти часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину (причем сам прекрасно понимал, что это сон). Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухла, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь, с едва заметными прожилками. Я не чувствовал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина наконец совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла... Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил две чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение, я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась, ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты — даже такой пустяк был невыносимым для моих нервов.

Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицы, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем двенадцать-тринадцать лет назад. Я, в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на террасе деревенского дома, где жили мать с отцом. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край террасы. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на

корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигая лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста...

Дымя сигаретой, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько беспокоили меня, сколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну а если не во сне?..

Натурщица не пришла и на следующий день. И я решил наконец пойти в дом М. узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янаке. Но судя по словам хозяйки М. — на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасиката, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубашках старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся о нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них:

— **—сан дома?

— **—сан с позавчерашнего дня не возвращалась.

Эти слова обеспокоили меня. Но я собирался спросить у него еще кое-что. И в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать подозрений, если что-то случилось.

— Да что там, она иногда уйдет из дому и целую неделю не возвращается.

Это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое презрению и, сам начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне. И прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым лицом, и утюг, сверкающий огнем, — нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев (а может быть, лет) назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я так же шел один по той же тихой улице. Потом... потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь со мной случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне...

ЛЯГУШКА

Я лежу у старого пруда, в нем полно лягушек.

Пруд по краям густо зарос тростником и рогозом. На берегу, склонившись над тростником и рогозом, приятно шелестят на ветру высокие ивы. А над ними — летнее голубое небо, и в нем поблескивают, точно осколки стекла, редкие кружевные облака. И отражение всего этого в пруду выглядит намного красивее, чем в реальности.

Лягушки, живущие в пруду, целый день без усталости квакают: ква-ква, ква-ква. Невнимательный слушатель может уловить только: ква-ква, ква-ква. Но на самом деле между лягушками идут ожесточенные споры. Было бы неверно утверждать, что лягушки разговаривали лишь во времена Эзопа.

Одна из лягушек, устроившись на листе тростника и вообразив себя университетским профессором, заявила:

— Для чего существует вода? Для того, чтобы мы, лягушки, могли плавать. Для чего существуют букашки? Для того, чтобы мы, лягушки, могли ими питаться.

— Правильно, правильно, — кричали лягушки, сидящие в пруду. Вся поверхность пруда, в которой отражались небо, трава и деревья, почти сплошь усеяна лягушками, и поэтому их возгласы одобрения звучат весьма внушительно.

Тут проснулась спавшая у ствола ивы змея, которую разбудили надоедливые ква-ква, ква-ква. Приподняв голову, она посмотрела в сторону пруда и сонно облизнулась.

— Для чего существует земля? Для того, чтобы на ней росли деревья и трава. А для чего деревья и трава? Для того, чтобы создавать тень для нас, лягушек. Следовательно, можно утверждать, что вся земля существует для нас, лягушек.

— Правильно, правильно.

Второй раз услышав возгласы одобрения, змея напряглась, как хлыст. Она бесшумно сползла в тростник и, сверкая черными глазами, стала внимательно приглядываться к тому, что происходило в пруду.

Лягушка, восседавшая на листе тростника, по-прежнему широко раскрывая свой огромный рот, ораторствовала:

— Для чего существует небо? Для того, чтобы на нем висело солнце. Для чего существует солнце? Для того, чтобы сушить наши лягушачьи спины. Следовательно, можно утверждать, что все небо существует для нас, лягушек. Итак, и вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце суще-

ствуют для нас, лягушек. Таким образом, неопровержимым является тот факт, что вся вселенная существует для нас. Разъясняя вам этот факт, я вместе с тем хотела бы от всей души возблагодарить всевышнего за то, что всю вселенную он создал для нас, лягушек.

Устремив взгляд в небо и неистово вращая глазами, лягушка снова широко раскрыла свой огромный рот и возвестила:

— Да святится имя твое, господи...

Не успела она кончить, как к ней метнулась голова змеи, и красноречивая лягушка в мгновение ока оказалась в змеиной пасти.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ужасно, ква-ква, ква-ква.

Пока потрясенные обитатели пруда кричали, змея спокойно проглотила лягушку и спряталась в зарослях тростника. Тут начался такой переполох, которого еще свет не видывал, во всяком случае с тех пор, как существует этот пруд. Я сам слышал, как юный лягушонок с плачем вопрошал:

— И вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце существуют для нас, лягушек. А как же тогда змеи? Змеи тоже существуют для нас?

— Совершенно верно. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Если бы змеи не ели нас, лягушек, нас бы расплодилось великое множество. А если бы мы так расплодились, то тесно стало бы в пруду — в нашем мире. Вот почему и приползают змеи, чтобы есть нас, лягушек. Нужно исходить из того, что съеденная лягушка — жертва, принесенная для счастья большинства. Ты совершенно прав. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Все в мире, все без исключения, существует для нас, лягушек. Да святится имя твое, господи.

Это был услышанный мной ответ пожилой лягушки.

РОЯЛЬ

Однажды в осенний дождливый день я шел по улице Яматэ в Иокогаме, направляясь по делу к одному человеку. Хаос в этом районе был почти таким же, как и в дни землетрясения. Если что и изменилось, так только то, что среди валявшегося на земле шифера с крыш и разрушенных кирпичных стен кое-

где вырос бурьян. В развалинах какого-то дома я вдруг увидел влажно блестящий клавишами, наполовину погребенный под остатками стены искалеченный рояль с открытой крышкой. А рядом в бурьяне мокли разбросанные ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия произведений.

Мы переговорили по делу с тем человеком, к которому я шел. Разговор был неприятный. И я поздно вечером покинул его дом, условившись, что мы вскоре встретимся еще раз.

К счастью, дождь кончился. Временами сквозь разрывы туч, которые гнал по небу ветер, выглядывала луна. Чтобы не опоздать на поезд (разумеется, электричка государственной железной дороги, в которой запрещено курить, мне не подходила), я старался идти как можно быстрее.

Неожиданно я услышал звуки, будто кто-то играет на рояле. Пожалуй, лучше сказать — не играет, а слегка касается клавиш. Я непроизвольно замедлил шаги и стал осматривать развалины. И в свете луны увидел клавиши рояля — того самого рояля, который валялся в зарослях бурьяна. Но нигде не было ни живой души.

Я услышал одну-единственную ноту. Но это был несомненно звук рояля. Мне стало немного не по себе, и я снова пошел быстрее. И тут опять за моей спиной отчетливо раздался звук рояля. Не оборачиваясь, я все ускорял шаги, чувствуя, как в спину мне бьет горячий ветер...

Я был слишком большим реалистом, чтобы давать какое-то оккультное объяснение услышанному мной звуку. Там действительно не было ни души, но, возможно, у разрушенной стены притаилась кошка. А если не кошка, то колонок или жаба — перечислял я в уме возможных обитателей развалин. Но все-таки было странно, что рояль заиграл без прикосновения человеческих рук.

Не прошло и пяти дней, как я снова по тому же делу шел по той же улице Яматэ. Рояль по-прежнему лежал в бурьяне. Как и в прошлый раз, вокруг него валялись ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия. Все это, в том числе и кучи кирпича и шифера, было залито яркими лучами осеннего солнца. Стараясь не наступать на ноты, я подошел к роялю. Теперь я увидел, что слоновая кость клавиш потеряла былой блеск, лак на крышке облез. Вокруг ножек обвилось какое-то ползучее растение,

похожее на дикий виноград. Стоя перед роялем, я испытывал нечто близкое разочарованию.

— Будет он играть наконец или нет? — подумал я вслух. И в тот же миг рояль издал тихий звук. Казалось, он ругнул меня за неверие. Но меня это не поразило. Более того, на моем лице появилась улыбка. Как и тогда, белые клавиши сверкали в лучах солнца. Однако теперь на них валялся одинокий каштан — когда он упал, не знаю.

Вернувшись на мостовую, я обернулся и еще раз бросил взгляд на развалины. Ствол каштана, который я наконец рассмотрел, придавленный обвалившейся шиферной крышей, стоял наклонившись, прикрыв собой рояль. Я не мог оторвать глаз от искаленного рояля, валявшегося в густом бурьяне. От рояля, хранившего неведомые никому звуки со времени того самого землетрясения...

ПЯТНАШКИ

На одной из отдаленных улочек он играл с девочкой младше него в пятнашки. Хотя было еще совсем светло, на углу уже горел газовый фонарь.

— Давай сюда

Радостно несясь вперед, он обернулся к бежавшей за ним девочке. Не отрывая от него глаз, она изо всех сил гналась за ним. Увидев ее лицо, он подумал: какое оно у нее удивительно сосредоточенное.

Это лицо надолго запечатлелось в его памяти. Но с годами оно бесследно исчезло.

Прошло двадцать лет, и он случайно на севере Японии как-то встретился с ней в поезде. По мере того как темнело за окном, он все острее ощущал запах ее мокрых туфель и пальто.

— Давно не виделись.

Зажав в зубах сигарету, он (всего три дня назад они с товарищем вышли из тюрьмы) внимательно посмотрел ей в лицо. Она недавно потеряла мужа. Подробно рассказывала о своей жизни, о родителях, о братьях. Глядя ей в лицо, он снова подумал: какое оно у нее удивительно сосредоточенное — и тут же снова превратился в двенадцатилетнего мальчишку.

Теперь они поженились, у них свой дом в пригороде, но с тех пор он ни разу не видел, чтобы у нее было такое же удивительно сосредоточенное лицо.

ЖЕНЩИНА

Облитая лучами щедрого летнего солнца, паучиха притаилась в глубине красной розы и о чем-то думала.

Неожиданно на цветок с жужжанием опустилась пчела. Паучиха мгновенно впилась в нее взглядом. В тихом полуденном воздухе еще плыло, затухая, тихое жужжание.

Паучиха бесшумно поползла вверх. Пчела, обсыпанная цветочной пылью, погрузила свой хоботок в нектар, скопившийся у основания пестика.

Прошло несколько секунд мучительной тишины. На лепесток красной розы за спиной опьяневшей от нектара пчелы медленно выползла паучиха. И тут же стремительно бросилась на нее. Бешено заработав крыльями, пчела делала отчаянные попытки ужалить врага. Пыльца, покрывшая ее крылья, плясала в лучах яркого солнца. Но паучиха не разжимала челюстей.

Сражение было коротким.

Крылья сразу же перестали слушаться пчелу. Потом у нее отнялись лапки. Последним несколько раз конвульсивно дернулся вверх длинный хоботок. Это был конец трагедии. Конец ужасной трагедии, под стать смерти человека. Спустя секунду пчела, вытянув хоботок, лежала в глубине красной розы. Ее крылья и лапки были обсыпаны душистой пылью...

Паучиха, не шевелясь, бесшумно высасывала кровь пчелы.

Не ведающие стыда солнечные лучи, нарушая вновь вернувшееся к розе безмолвие, освещали победно-самодовольную паучиху, убившую пчелу. Брюшко точно серый атлас, похожие на черные бусинки глаза, сухие, с безобразными суставами, будто пораженные проказой лапки — паучиха, воплощение зла, кровожадно восседала на мертвой пчеле.

Такая же до предела жестокая драма повторялась неоднократно и впоследствии. А красная роза, ничего не подзревая, день за днем лила в знойной духоте одуряющий аромат...

И вот однажды в полдень паучиха, будто вспомнив о чем-то, побежала между листьями и цветами розового куста и добралась до конца тоненькой веточки. Там, издавая сладковатый запах, засыхал бутон, лепестки

которого скрутила жара. Паучиха начала проворно сновать между ним и веточкой. И скоро бесчисленные блестящие нити заткали полуувядший бутон и обвили кончик веточки.

Через некоторое время на летнем солнце до боли в глазах засверкал белизной будто сотканный из шелка кокон.

Соткав кокон, паучиха отложила на дно этого хрупкого мешочка бесчисленное множество яиц. Отверстие мешочка она заткала толстыми нитями и, усевшись на эту подстилку, натянула тонкий полог, соорудив еще один купол. Полог отгородил жестокую серую паучиху от синего полуденного неба. А паучиха, отложившая яйца, распластав исхудалое тело в своих белоснежных покоях, забыв и о розе, и о солнце, и о жужжании пчелы, лежала неподвижно, погруженная в думы.

Прошло несколько недель.

В коконе, сотканном паучихой, начали просыпаться новые жизни, дремавшие в бесчисленных яйцах. Первой заметила это уже одряхлевшая паучиха-мать, которая лежала в своих белоснежных покоях, не позволяя себе даже есть. Паук, почувствовав под подстилкой рождение новой жизни, с трудом подполз и прогрыз кокон, в котором укрывалась мать с детьми. Бесчисленные паучата битком набили белоснежные покои. Или, лучше сказать, сама подстилка задвигалась, превратившись в неисчислимое множество крупинок.

Паучки сразу же пролезли через окошечко купола и рассеялись по веткам розы, залитой солнцем и обдуваемой ветром. Одни из них толклись на обжигающе горячих листьях. Другие, как до этого их родители, нырнули в цветы, полные нектара. Третьи — между ветками розы, прочерчивающими вдоль и поперек синее небо, стали ткать нити, такие тонкие, что их даже невозможно было различить глазом. Если бы роза не была нема, то в этот ясный летний день она, несомненно, горестно заплакала бы, запричитала тонким голоском, и показалось бы, что это поет от ветра висящая на ее ветвях крохотная скрипка.

А в это время у окошечка в куполе исхудавшая, как тень, сидела в одиночестве паучиха-мать, не выказывая ни малейшего желания даже пошевелить лапками. Безмолвие белоснежных покоев, запах увядшего бутона розы — под тонким пологом, где соединилась воедино родильная ком-

ната и могила, паучиха, произведя на свет бесчисленных паучат, с сознанием беспредельной радости матери, выполнившей свое небесное предназначение, приняла смерть. Приняла смерть жившая в разгар лета и воплощающая зло женщина, которая убила пчелу.

ШАЛАШ ДЛЯ РОЖЕНИЦЫ

Пришел мужчина с нарезанным на реке тростником и покрыл крышу шалаша, где должна была рожать женщина. Потом ушел обратно к реке. И, опустившись на колени, обратился с молитвой к богине Амаэтэрасу о ниспослании счастья матери и ребенку.

Под вечер женщина вышла из шалаша и пришла к мужчине, все еще сидевшему в зарослях тростника.

Она сказала ему:

— Приходи ко мне на седьмой день. И тогда я покажу тебе ребенка.

Мужчине хотелось увидеть ребенка как можно скорее. Но он, как и подобает отцу, покорно повиновался просьбе женщины.

Солнце зашло. Мужчина сел в лодку-долбленку, стоявшую в зарослях тростника, и грустно поплыл в деревню, в низовьях реки.

Однако, когда он вернулся в деревню, ему стало невмоготу ждать целых семь дней.

Тогда он решил каждый день снимать по одной из семи магатама, висевших у него на шее. Этот рост количества снятых магатама должен был стать его единственным утешением.

Изо дня в день солнце всходило на востоке и садилось на западе. И каждый день висевшие у него на шее магатама уменьшались на одну. Но на шестой день терпению мужчины пришел конец.

Вечером, оставив в зарослях тростника свою лодку-долбленку, он тайком направился к шалашу роженицы.

Он подошел к нему — внутри было так тихо, будто там не было ни живой души. Лишь струилось тепло от покрывающего крышу тростника, залитого осенним солнцем.

Мужчина тихонько приоткрыл дверь.

На ложе, покрытом листьями тростника, казалось, что-то шевелится — наверное, ребенок.

Мужчина прошел чуть вперед. И с опаской наклонился над ложем.

Вот тут-то это и случилось. Речная вода, точно испугавшись страшного крика, колыхнула тростник.

Мужчина кричал не напрасно. Ребенком, рожденным женщиной, оказались семь крохотных белых змеенышей...

С недавних пор я с чувством мужчины из сказки смотрю на собственный сборник.

СКАЗКИ О ТИГРЕ

Однажды вечером под Новый год отец, обняв своего пятилетнего сына, сидел с ним у жаровни.

Сын. Папа, расскажи мне что-нибудь!

Отец. Что тебе рассказать?

Сын. Что хочешь... хорошо бы о тигре.

Отец. Рассказать о тигре? Просто даже не знаю, что тебе и рассказать о тигре.

Сын. Все равно что, но расскажи о тигре.

Отец. Рассказать о тигре... Ну, так и быть, расскажу о тигре. Давным-давно в Корее один солдат-трубач напился водки, опьянел и лег спать на горной дороге. Вдруг он почувствовал на лице что-то мокрое, ничего не понимая, открыл глаза — огромный тигр мокрым кончиком хвоста водил по лицу солдата.

Сын. Зачем это?

Отец. Видишь ли, солдат был пьян, а тигр решил съесть его только после того, как улетучится противный запах водки.

Сын. Что же потом?

Отец. Солдат набрался духу и изо всех сил всадил тигру в зад трубу. Тигр ошалел от боли и побежал в город.

Сын. Он не умер?

Отец. Вбежав в город, тигр умер. Но пока он не умер, труба все время издавала жалобные звуки.

Сын (смеется). А солдат-трубач?

Отец. Солдата-трубача все очень хвалили, и он получил награду за укрощение тигра... Ну вот и все.

Сын. Неинтересно. Расскажи еще что-нибудь.

Отец. Но теперь уже не о тигре.

Сын. Нет, и теперь тоже о тигре.

Отец. Нельзя же рассказывать об одних только тиграх! Так что ж тебе рассказать?.. Ну ладно, расскажу еще одну историю. Это тоже произошло в Корее. Однажды охотник пошел в горы и вдруг видит — внизу, в долине, тигр.

Сын. Большой тигр?

Отец. Да, огромный тигр. О, какая прекрасная добыча, подумал охотник, и быстро зарядил ружье.

Сын. И убил?

Отец. Только он собрался убить его, как тигр, напрягшись, взметнулся к высоченному утесу. Однако, прыгнув высоко вверх, он не долетел до вершины и упал на землю.

Сын. Что же потом?

Отец. Тигр вернулся на старое место и снова попытался вспрыгнуть на высоченный утес.

Сын. На этот раз ему это удалось, да?

Отец. Нет, он и на этот раз упал. И тогда, поджав от стыда свой длинный хвост, он тихонько ушел куда-то.

Сын. Значит, тигра охотник так и не убил?

Отец. У него был такой жалкий вид, ну точь-в-точь как у человека, охотник пожалел его и не стал стрелять.

Сын. Плохая сказка. Расскажи мне еще что-нибудь о тигре.

Отец. Еще? Лучше я расскажу тебе о коте. О коте в сапогах.

Сын. Нет, расскажи еще о тигре.

Отец. Ну что ж, ничего не поделаешь... Давным давно жил огромный тигр и у него было трое тигрят. Как только заходило солнце, он начинал играть с тигрятами. А ночью они забирались в пещеру и спали... Ох, да ты уже спишь.

Сын (сонно). Ну.

Отец. Но однажды осенью, когда уже село солнце, тигра поразила стрела охотника и он, умирая, с трудом добрался до пещеры. Трое тигрят, ничего не подозревая, шапловливо бросились к нему. И тигр стал, как обычно, иг-

рать с ними, прыгая на них, отскакивая. А ночью они, как обычно, забралась в пещеру и заснули. На рассвете тигр лег со своими тигрятами и умер. Тигрята были в отчаянии... Что, не спишь еще?

Сын (спит и ничего не отвечает).

Отец. Есть кто-нибудь там? Он уже заснул.

Слышится голос из дальней комнаты: «Сейчас, минуточку».

ЭССЕ



СЛОВА ПИГМЕЯ

Предисловие к «Словам пигмея»

«Слова пигмея» не всегда отражают мои мысли. Они лишь позволяют наблюдать за тем, как мысли меняются. Ползучее растение ветвится от одного корня, и к тому же дает еще множество побегов.

Звезды

Еще древние говорили: ничто не ново под луной. Но ничто не ново не только под луной. По утверждению астрономов, требуется тридцать шесть тысяч лет, чтобы свет от созвездия Геркулеса дошел до нашей земли. Но даже и созвездие Геркулеса не может светить вечно. И однажды перестанет излучать прекрасный свет, превратившись в остывшую золу. Но смерть всегда несет в себе зародыш новой жизни. И то же созвездие Геркулеса, перестав излучать свет, в своих блужданиях по бескрайней вселенной при благоприятном стечении обстоятельств превратится в туманность. И в ней будут рождаться новые звезды.

Да и само солнце не более, чем один из блуждающих огоньков во вселенной. А ведь оно прародитель нашей земли. Но то, что происходит на самом краю вселенной, там, где простирается Млечный Путь, фактически ничем не отличается от того, что происходит на нашей грешной земле. Жизнь и смерть, подчиняясь законам движения, бесконечно сменяют друг друга. Думая об этом, невозможно не проникнуться некоторым сочувствием к бесчисленным звездам, разбросанным по небу. Мне даже кажется, что мерцание звезд выражает те же

чувства, которые испытываем мы. Может быть, поэтому один из поэтов высказал такую истину:

Одна из звезд, песчинками усыпавших небо,
Посылает свет только мне.

Однако то, что звезды, подобно нам, совершают свое вечное движение, все-таки немного печально.

Нос

Существует знаменитое изречение Паскаля — Нос Клеопатры: будь он покороче, облик земли стал бы иным. Однако влюбленные редко видят подлинную картину. Наоборот, однажды влюбившись, мы обретаем непревзойденную способность заниматься самообманом.

Антоний тоже не исключение — даже если бы нос Клеопатры был короче, он бы вряд ли это заметил. А если бы и заметил, нашел бы массу других достоинств, восполняющих этот недостаток. Что это за достоинства? Я убежден, на всем свете не существует женщины, обладающей столькими достоинствами, сколькими обладает ваша возлюбленная. Видимо, и Антоний, так же как мы, несомненно, нашел бы в глазах ли, в губах ли Клеопатры более чем достаточную компенсацию. Кроме того, существует еще обычное: «Ее душа!» Действительно, женщина, которую мы любим, обладает изумительной душой — это было во все времена. Более того, ее одежда, и ее богатство, и ее социальное положение — все это тоже превращается в ее достоинства. Можно привести даже такие поразительные случаи, когда к числу достоинств причисляется факт или хотя бы слух, что в прошлом она была любима некоей выдающейся личностью. К тому же, разве не была Клеопатра последней египетской царицей, окутанной ослепительной роскошью и загадочностью? Кто бы обратил внимание на длину ее носа, когда она восседала в облаке курящихся благовоний, сверкая украшенной драгоценными камнями короной, с цветком лотоса в руке. Тем более, если смотрели на нее глазами Антония.

Подобный самообман не ограничивается любовью. Все мы, за редким исключением, по собственной воле перекрашиваем подлинную картину. Возьмем хотя бы табличку зубного врача — нам она бросается в глаза не столько потому, что существует, сколько потому, что нами движет желание ее увидеть, проще говоря — зубная боль. Разумеется, наша зубная боль

никак не связана с мировой историей. Но подобный самообман присущ обычно и политикам, которые хотят знать чувства народа, и военным, которые хотят знать положение противника, и промышленникам, которые хотят знать конъюнктуру. Я не отрицаю, что существует рассудок, который должен корректировать наши чувства. Но в то же время признаю и существование «случайностей», управляющих всем, что совершает человек. Однако любая страсть легко забывает о разуме. «Случайность» — это, так сказать, воля богов. Следовательно, самообман — вечная сила, призванная направлять мировую историю.

Итак, более чем двухтысячелетняя история ни в малейшей степени не зависела от столь ничтожно малого, как нос Клеопатры. Она скорее зависит от нашей глупости, переполняющей мир. Смешно, но она действительно зависит от нашей торжествующей глупости.

Мораль

Мораль — другое название удобства. Она сходна с «лево-сторонним движением».

Благодеяние, даруемое моралью, — экономия времени и труда. Вред, причиненный моралью, — полный паралич совести.

Те, кто бездумно отвергает мораль, — слабо разбираются в экономике. Те, кто бездумно склоняет голову перед нею, — либо трусы, либо бездельники.

Правящая нами мораль — феодальная мораль, отравленная капитализмом. Она приносит нам один вред и никаких благодетелей.

Сильные попирают мораль. Слабых мораль лелеет. Те, кого она гнетет, — обычно занимают среднюю позицию между сильными и слабыми.

Мораль — как правило, поношенное платье.

Совесть не появляется с возрастом, подобно нашей бороде. Чтобы обрести совесть, нужно определенное воспитание.

Более девяноста процентов людей лишены прирожденной совести.

Трагизм нашего положения в том, что, пока мы то ли по молодости, то ли по недостатку воспитания еще не смогли обрести совесть, нас уже обвиняют в бессовестности.

Комизм нашего положения в том, что после того, как то ли по молодости, то ли по недостатку воспитания нас обвинили в бессовестности, мы наконец обретаем совесть.

Совесть — серьезное увлечение.

Возможно, совесть рождает нравственность. Однако нравственность до сих пор еще никогда не родила то, что есть лучшее в совести.

Сама же совесть, как любое увлечение, имеет страстных поклонников. Эти поклонники в девяноста случаях из ста — умные аристократы или богачи.

Пристрастия

Как выдержанное вино, я люблю древнее эпикурейство. Нашими поступками руководят не добро и не зло. Только лишь наши пристрастия. Либо наши удовольствие и неудовольствие. Я в этом убежден.

В таком случае почему же мы, даже в пронизывающий холод, бросаемся в воду, увидев тонущего ребенка? Потому, что находим в спасении удовольствие. Какой же меркой можно измерить, что лучше: избежать неудовольствия от погружения в холодную воду или получить удовольствие от спасения ребенка? Меркой служит выбор большего удовольствия. Однако физическое удовольствие или неудовольствие и духовное удовольствие или неудовольствие меряются разными мерками. Правда, удовольствие или неудовольствие не могут быть полностью несовместимы. Скорее они сливаются в нечто единое, подобно соленой и пресной воде. Действительно, разве не испытывают наивысшего удовольствия лишенные духовности аристократы из Киото и Осаки, наслаждаясь угрем с рисом и овощами, после того как отведали черепахового супа? Другой при-

мер: факт, что холод и вода могут доставлять удовольствие, доказывает плавание в ледяной воде. Сомневающиеся в моих словах захотят объяснить это мазохизмом. А этот проклятый мазохизм — самое обычное стремление достичь удовольствия или неудовольствия, что на первый взгляд может показаться извращением. По моему убеждению, христианские святые, с радостью умерщвлявшие свою плоть, с улыбкой шедшие на костер, в большинстве случаев были мазохистами.

Определяют наши поступки, как говорили древние греки, страсти, и ничто иное. Мы должны черпать из жизненного источника высшее удовольствие. «Не будьте унылы, как лицемеры» — разве даже христианство не учит этому? Мудрец — тот, кто и тернистый путь усыпает розами.

Молитва пигмей

Когда мне удастся надеть яркое платье и развлекать публику кувырканиями и беззаботной болтовней, я чувствую себя блаженствующим пигмеем. Молю тебя, исполни, пожалуйста, мои желания.

Прошу, не сделай меня бедняком, у которого нет и рисинки за душой. Но прошу, не сделай меня и богачом, не способным насытиться своим богатством.

Прошу, не сделай так, чтобы я ненавидел живущую в нищей хижине крестьянку. Но прошу, не сделай и так, чтобы я любил обитающую в роскошном дворце красавицу.

Прошу, не сделай меня глупцом, не способным отличить зерно от плевел. Но прошу, не сделай меня и мудрецом, которому ведомо даже то, откуда придут тучи.

Особо прошу, не сделай меня бесстрашным героем. Я и вправду вижу иногда сны, в которых невозможное превращается в возможное: покоряю неприступные вершины, переплываю непреодолимые моря. Я всегда испытываю смутную тревогу, когда вижу такой сон. Я стараюсь отогнать его от себя, будто борюсь с драконом. Прошу, не дай стать героем мне, не имеющему сил бороться с жаждой превратиться в героя.

Когда мне удастся упиваться молодым вином, тонкими золотыми нитями плести свои песни и радоваться этим счастливым дням, я чувствую себя блаженствующим пигмеем.

Свобода воли и судьба

Если верить в судьбу, преступления как такового существовать не может, что ведет к утрате смысла наказания, и тогда мы, несомненно, проявим к преступнику снисхождение. И в то же время, если верить в свободу воли, возникает идея ответственности, что позволяет избежать паралича совести, и тогда мы, несомненно, проявим к себе большую твердость. Чему же следовать?

Хочу ответить объективно. Нужно наполовину верить в свободу воли и наполовину — в судьбу. Или же наполовину сомневаться в свободе воли и наполовину — в судьбе. Почему? Разве не наша судьба определяет, кого мы берем себе в жены? И в то же время разве не свобода воли заставляет нас по заказу жены покупать ей хаори и оби?

Независимо от свободы воли и судьбы, бога и дьявола, красоты и безобразия, отвагу и малодушие, рационализм и веру и многое подобное мы должны уравнивать на чашах весов. Древние называли это золотой серединой. Золотая середина по-английски выражается словами good sense. По моему убеждению, не стремясь к good sense, добиться счастья невозможно. А если и удается добиться, то только показного — в палящий зной греться у жаровни, в леденящий холод обмахиваться веером.

Дети

Военные недалеко ушли от детей. Вряд ли нужно здесь говорить, как они трепещут от радости, предвкушая героические подвиги, как упиваются так называемой славой. Лишь в начальной школе можно увидеть, как уважаются механические упражнения, как ценится животная храбрость. Еще больше военные напоминают детей, когда не задумываясь устраивают резню. Но более всего они похожи на детей, когда, воодушевляемые звуком трубы и военными маршами, радостно бросаются на врага, не спрашивая, за что сражаются.

Вот почему то, чем гордятся военные, всегда похоже на детские забавы. Взрослого человека не могут прельстить блестящие доспехи и сверкающие шлемы. Ордена — вот что меня по-настоящему удивляет. Почему военные в трезвом состоянии разгуливают, увесив грудь орденами?

Оружие

Справедливость напоминает оружие. Оружие может купить и враг, и друг — стоит лишь уплатить деньги. Справедливость тоже может купить и враг, и друг — стоит лишь найти предлог. С давних времен, точно снарядами, стреляли друг в друга прозвищем «враг справедливости». Однако почти не бывает случаев, чтобы увлеченные риторикой пытались выяснить, кто из них на самом деле «враг справедливости».

Японские рабочие только потому, что они родились японцами, получили приказ покинуть Панаму. Это противоречит справедливости. Америка, как пишут газеты, должна быть названа «врагом справедливости». Но ведь и китайские рабочие только потому, что они родились китайцами, получили приказ покинуть Сэндзю. Это тоже противоречит справедливости. Япония, как пишут газеты... Нет, Япония вот уже две тысячи лет неизменно является «другом справедливости». Справедливость еще ни разу не вступала в противоречия с интересами Японии.

Оружия как такового бояться не нужно. Бояться следует искусства воинов. Справедливости как таковой бояться не нужно. Бояться следует красноречия подстрекателей...

Обращаясь к истории, я каждый раз думаю о музее «Юсюкан». В его галереях старинного оружия в полутьме рядами выстроены самые разные «справедливости». Древний китайский меч напоминает справедливость, проповедуемую конфуцианством. Копье всадника напоминает справедливость, проповедуемую христианством. Вот толстенная дубинка. Это справедливость социалиста. А вот меч, украшенный кистями. Это справедливость националиста. Глядя на это оружие, я представляю себе бесчисленные сражения, и сердце начинает учащенно биться. Но, к счастью или несчастью, я не помню, чтобы мне хоть раз захотелось взять в руки это оружие.

Монархизм

Эта история относится к Франции семнадцатого века. Однажды герцог Бургундский задал аббату Шуази такой вопрос: «Карл VI был безумен. Как, по-вашему, следовало бы сообщить об этом самым деликатным образом?» Аббат ответил: «Я бы сказал коротко. Карл VI безумен». Аббат Шуази считал

свой ответ одним из самых отчаянных поступков в жизни и всегда гордился им.

Франция семнадцатого века была настолько пропитана духом монархизма, что сохранила даже этот анекдот. Однако Япония двадцатого века ни на йоту не уступает Франции того времени в монархизме. Поистине он не приносит ни радости, ни счастья.

Творчество

Художник, я уверен, всегда создает свое произведение сознательно. Однако, познакомившись с самим произведением, видишь, что его красота или безобразие наполовину заключены в таинственном мире, лежащем вне пределов сознания художника. Наполовину? А может быть, лучше сказать — в основном?

Оправдываясь, мы тем самым уличаем себя. Хотим мы того или нет, в создаваемых произведениях всегда обнажается наша душа. Разве не говорит древний обычай: «Удар резаком — поклон» — о страхе людей тех времен перед границами бессознательного?

Творчество всегда риск. После того как силы человека исчерпаны, он может уповать лишь на волю небес — иного не дано.

«Когда я был молод и учился писать, то страдал оттого, что не получалось гладко. Скажу одно: старания лишь полдела, одними стараниями не достигнешь совершенства. Только состарившись, начинаешь понимать, что упорство еще не все: три части — дело человека, семь частей — дар неба». Эта строфа из «Лунши» подтверждает мою мысль. Искусство — мрачная бездна. Если бы не жажда денег, если бы не влечение славы, если бы, наконец, не страдания от творческого жара, то, возможно, у нас не хватило бы мужества вступать в схватку с этим зловещим искусством.

Критика

Оценка литературного произведения есть сотрудничество между художником и критиком. Другими словами, разбирая чужое произведение, критик всего лишь пытается создать свое собственное. Поэтому во все времена произведения, со-

хранившие свое выдающееся значение, непременно обладают характерными чертами, допускающими возможность самых разных критических оценок. Однако, по словам Анатоля Франса, возможность разных критических оценок вряд ли означает легкость трактовки, поскольку произведения создаются словно в тумане. Подобно вершине горы Родзан, произведение с разных точек видится и оценивается по-разному.

Классики

Счастье классиков в том, что они мертвы.

О том же

Наше и ваше счастье в том, что они мертвы.

Разочаровавшиеся художники

Немало художников живут в мире разочарований. Они не верят в любовь. Они не верят в совесть. Подобно древним отшельникам они сделали своим домом пустыню утопии. Из-за этого они, возможно, достойны жалости. Однако прекрасные миражи рождаются лишь в небе пустыни. Разочаровавшись в делах человеческих, в искусстве они, как правило, не разочаровались. Наоборот, при одном упоминании об искусстве перед их глазами возникают золотые видения, обычным людям недоступные. Они тоже, размышляя о прекрасном, ждут своего счастливого мгновения.

Исповедь

Никто не способен исповедаться во всем до конца. В то же время без исповеди самовыражение невозможно.

Руссо был человеком, любившим исповедоваться. Но обнародовать в его «Исповеди» полной откровенности невозможно. Мериме был человеком, ненавидевшим исповедоваться. Но разве в «Коломбе» он не рассказывает скрытно о самом себе? Четко обозначить границу между исповедальной и всей остальной литературой невозможно.

Жизнь. Тэйити Исигуро-куну

Любой убежден, что не наученному плавать приказывать «плыви» неразумно. Так же неразумно не наученному бегать приказывать «беги». Однако мы с самого рождения получаем такие дурацкие приказы.

Разве могли мы, еще находясь в чреве матери, изучить путь, по которому пойдет наша жизнь? А ведь, едва появившись на свет, мы сразу же вступаем в жизнь, напоминающую арену борьбы. Разумеется, не наученный плавать как следует проплыть не сможет. Не наученный бегать тоже прибежит последним. Потому-то и нам не уйти с арены жизни без ран.

Люди, возможно, скажут: «Нужно посмотреть на то, что совершали предки. Это послужит вам образцом». Однако, глядя на сотни пловцов, тысячам бегунов разом научиться плавать, овладеть бегом невозможно. И те, кто попытается поплыть, все до одного наглотаются воды, а те, кто попытается бежать, все без исключения перепачкаются в пыли. Взгляните на знаменитых спортсменов мира — не прячут ли они за горделивой улыбкой гримасу страдания?

Жизнь похожа на олимпийские игры, устроенные сумасшедшими. Мы должны учиться бороться за жизнь, борясь с жизнью. А тем, кто не может сдержать негодования, видя всю глупость этой игры, лучше уйти с арены. Самоубийство тоже вполне подходящий способ. Однако те, кто хочет выстоять на арене жизни, должны мужественно бороться, не боясь ран.

О том же

Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — глупее глупого. Обращаться несерьезно — опасно.

О том же

Жизнь подобна книге, в которой недостает многих страниц. Трудно назвать ее цельной. И все же она цельная.

Рай на земле

Рай на земле воспевается в стихах. Но, к сожалению, я не припоминаю, чтобы кто-либо из таких поэтов хотел жить в раю на земле. Христианский рай на земле являет собой весьма печальное зрелище. Даоский рай тоже всего лишь мрачная китайская харчевня. Тем более современные утопии — в памяти остались лишь приводившие в трепет идеи Уильяма Джеймса.

Рай на земле, о котором мечтаю я, не уютная теплица И не пункт раздачи еды и одежды, существующий при школе. Жить в таком раю — это когда родители уходят из жизни, вырастив своих детей. Братья и сестры, рожденные даже злодеями, но никогда — глупцами, не доставят друг другу никаких хлопот. Женщины, выйдя замуж, сразу же становятся кроткими и послушными, потому что в них вселяется душа домашнего животного. Дети, будь то мальчики или девочки, послушные воле или эмоциям родителей, способны по нескольку раз в день становиться глухими, немыми, покорными, слепыми. Друг А. не будет беднее друга В., и в то же время друг В. не будет богаче друга А., и оба находят наивысшее удовольствие во взаимном восхвалении. Далее... — в общем, о таком месте приятно мечтать.

Этот рай на земле не только для меня. Он — для всех благочестивых людей на свете. Во все времена лишь поэты и ученые в своих радужных мечтах думали о таком рае. В этом нет ничего удивительного. Лишь мечты о нем переполняли их истинным счастьем.

Постскриптум.

Мой племянник мечтает приобрести портрет Рембрандта. Но при этом он даже мечтать не смеет, чтобы получить на карманные расходы хотя бы десять иен. Десять иен на карманные расходы — вот что способно переполнить его истинным счастьем.

Насилие

Жизнь — сложная штука. Сделать сложную жизнь простой способно только оружие. Потому-то цивилизованный человек, обладая мозгами людей каменного века, и предпочитает убийство любой дискуссии.

Власть, собственно, и есть насилие, заручившееся патентом. Чтобы править нами, людьми, в насилии, возможно, и есть необходимость. А возможно, и нет необходимости.

«Человечность»

Как ни прискорбно, у меня не хватает мужества поклоняться «человечности». Более того, нередко я испытываю презрение к «человечности» — это правда. Но правда и то, что, как правило, я испытываю к «человечности» и любовь. Любовь? А может быть, не любовь, а скорее сострадание? Во всяком случае, если «человечность» перестанет волновать, жизнь превратится в психиатрическую лечебницу, обитать в которой невыносимо. И естественным результатом будет то, что случилось со Свифтом, — сумасшествие.

Говорят, что незадолго до помешательства Свифт, глядя на дерево с засохшей верхушкой, прошептал: «Я очень похож на это дерево. Все идет от головы». Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, меня охватывает дрожь. Я думаю с тайной радостью: какое счастье, что я не рожден таким же гением, как Свифт.

Листья дуба

Полное счастье могут дать лишь привилегии, даруемые идиотам. Даже самый неисправимый оптимист не способен всегда улыбаться. Нет, если можно было бы допустить существование настоящих оптимистов, то это привело бы только к тому, что они пришли бы в отчаяние от счастья.

Если был бы я дома,
Я еду положил бы на блюдо,
Но в пути нахожусь я,
Где травы изголовьем мне служат,
Потому и еду я кладу на дубовые листья.

Это стихотворение передает не просто чувства путешественника. Мы всегда идем на компромисс — вместо «желаемого» соглашаемся на «возможное». Ученые смогут, наверное, дать листьям дуба самые прекрасные имена. Но

если просто взять листья дуба в руку, они листьями дуба и останутся.

Печалиться о листьях дуба только потому, что они листья дуба, — значит проявить к ним гораздо большее уважение, чем если просто подчеркивать: на них можно класть еду. Такое утверждение еще скучнее, чем просто с безразличной улыбкой пройти мимо них только потому, что они листья дуба. Во всяком случае, всю жизнь без усталости печалиться об одном и том же комично и в то же время безнравственно. Великие пессимисты далеко не всегда корчили кислые физиономии. Даже страдавший неизлечимой болезнью Леонарди иногда грустно улыбался, глядя на бледные розы...

Примечание.

Безнравственность — другое название чрезнамерности.

Будда

Покинув тайком королевский замок, Сиддхартха целых шесть лет вел аскетическую жизнь. Он вел ее в течение шести лет, искупая невиданную роскошь, в которой жил в королевском замке. Столь же показателен и сорокадневный пост сына плотника из Назарета.

О том же

Сиддхартха приказал Чандаке приготовить лошадей, и они тайно покинули королевский замок. Но склонность к рассуждениям часто вызывала у него меланхолию. Не легко установить, кто вздохнул с облегчением, когда Сиддхартха покинул королевский замок: сам будущий Сакьямуни или Ясодхара, его жена.

О том же

После шести лет аскетической жизни Сиддхартха под смоковницей достиг высшего постижения. Его поучения, как стать Буддой, говорят о том, что материя господствует над духом. Он купается. Пьет млечный сок. Наконец, разговаривает с пасшей скот девушкой, ставшей впоследствии буддой Нанда.

Политический гений

Традиционно считается, что политический гений — это тот, кто волю народа превращает в свою собственную. Однако все наоборот. Правильнее сказать, что политический гений — это тот, кто свою собственную волю превращает в волю народа. Или по крайней мере заставляет поверить, что такова воля народа. Поэтому политический гений должен быть и гениальным актером. Наполеон говорил: «От великого до смешного один шаг». Эти слова подходят не столько императору, сколько актеру.

О том же

Народ верит в великие принципы. Политический гений и ломаного гроша не даст за великие принципы. Лишь для того, чтобы править народом, он надевает на себя личину борца за великие принципы. Но однажды надев эту личину, он уже никогда не в состоянии сбросить ее. Если же попытается содрать ее силой, то сразу же сойдет со сцены как политический гений. Даже монарх ради сохранения короны идет на ограничение своей власти. Потому-то трагедия политического гения всегда заключает в себе и комичность. Такую комичность, например, содержит сценка из «Записок от скуки», когда монах храма Ниннадзи стал танцевать, надвинув на голову котел-треножник.

Любовь сильнее смерти

«Любовь сильнее смерти» — эти слова можно найти в романе Мопассана. Но, разумеется, сильнее смерти не только любовь. Например, большой брюшным тифом съедает печенье, зная, что неминуемо умрет от этого — вот прекрасное доказательство, что и голод иногда сильнее смерти. Да и кроме голода можно назвать многое, что сильнее смерти, — патриотизм, религиозный экстаз, человеколюбие, алчность, честолюбие, преступные инстинкты. В общем, любая жажда сильнее смерти (конечно, жажда смерти — исключение). Правда, я бы не решился утверждать, что любовь в большей мере, чем все перечисленное, сильнее смерти. Даже в тех случаях, когда кажется: вот любовь, которая сильнее смерти, на

самом деле нами владеет так называемый боваризм, свойственный французам. Это сентиментализм, восходящий ко временам мадам Бовари, заставляющий нас воображать себя тем самым легендарным любовником.

Ад

Жизнь — нечто еще более адское, чем сам ад. Муки в аду не идут вразрез с установленными законами. Например, муки в мире голодных духов заключаются в том, что стоит грешнику попытаться съесть появившуюся перед ним еду, как над ней вспыхивает огонь. Но муки, ниспосылаемые жизнью, к несчастью, не так примитивны. Иногда стоит нам попытаться съесть появившуюся перед нами еду, как над ней вспыхивает огонь, но иногда совершенно неожиданно можно и поесть в свое удовольствие. А случается и такое, что, поев с наслаждением, заболелаешь как таром, в другой же раз неожиданно, к своему удовольствию, легко перевариваешь пищу. К такому миру, где не существует законов, нелегко привыкнуть. Мне кажется, попав в ад, я смогу улучшить момент и стащить еду в мире голодных духов. А уж если проживу два-три годика на игольчатой горе или в море крови и пообвыкну, то совсем уж не буду испытывать особых мук, шагая по иглам, пlying в крови.

Скандалы

Обыватели любят скандалы. Скандалная история с Белой лилией, скандалная история с Арисимой, скандалная история с Мусякодзи — обыватель следит за ними с невыразимым удовольствием. Почему же обыватели так любят скандалы, особенно скандалы, в которых замешаны известные люди? Гурмон отвечает на это так:

«Причина в том, что эти скандалы позволяют представлять наши собственные, которые мы тщательно скрываем, как нечто естественное».

Ответ Гурмона абсолютно точен. Но недостаточно полон. Ординарные люди, неспособные устроить даже скандала, видят в скандалах вокруг знаменитых людей прекрасное оружие для оправдания собственного малодушия.

И в то же время видят прекрасный пьедестал, чтобы воздвигнуть свое несуществующее превосходство. «Я не такая красавица, как Белая лилия. Но зато добродетельнее, чем она». «Я не столь талантлив, как Арисима. Но зато лучше, чем он, знаю людей». «Я не столь... как Мусякодзи, но...» — сказав это, счастливый обыватель крепко засыпает, как удовлетворенная свинья.

О том же

Одна из отличительных черт гения — способность устраивать скандалы.

Общественное мнение

Общественное мнение всегда самосуд, а самосуд всегда развлечение. Даже если вместо пистолета прибегают к газетной статье.

О том же

Существование общественного мнения оправдывается хотя бы удовольствием попирать общественное мнение.

Враждебность

Враждебность сравнима с холодом. Будучи умеренной, она бодрит и к тому же многим необходима для сохранения здоровья.

Утопия

Совершенная утопия не появляется в основном по следующей причине. До тех пор пока не изменится человеческая натура, совершенная утопия появиться не может. А если человеческая натура изменится, утопия, казавшаяся совершенной, сразу же будет восприниматься как несовершенная.

Опасные мысли

Опасные мысли — это мысли, заставляющие шевелить мозгами.

Зло

Молодой человек, являющийся художественной натурой, позже всех обнаруживает «людское зло».

Сонтоку Ниномия

Я до сих пор помню описанную в школьной хрестоматии историю о детских годах Сонтоку Ниномия. Родившись в бедной семье, Сонтоку днем помогал родителям в их крестьянском труде, а вечерами плел соломенные сандалии — в общем, работал как взрослый, и в то же время усердно занимался самообразованием. Это весьма трогательная история, как любое повествование о человеке, выбившемся в люди, — такие истории можно найти в любой повести для массового читателя. Меня, не достигшего еще и пятнадцатилетнего возраста, глубоко взволновала сила духа Сонтоку, и даже пришла в голову мысль: как мне не повезло, что я не родился в такой бедной семье, как он...

Однако эта история о человеке, выбившемся в люди, вместо того, чтобы прославить Сонтоку, позорит его родителей. Ведь они палец о палец не ударили, чтобы дать образование сыну. Наоборот, препятствовали этому. Так что с точки зрения родительской ответственности они явно вели себя позорно. Но наши родители и учителя простодушно забыли об этом. Они были убеждены, что родители Сонтоку могли быть хоть пьяницами, хоть игроками — неважно. Речь ведь не о них, а о Сонтоку. Он же, невзирая на трудности и лишения, не покладая рук занимался самообразованием. Мы, дети, должны были воспитать в себе непреклонную волю Сонтоку.

Я испытываю к эгоизму родителей Сонтоку нечто близкое восхищению. Действительно, у них оказался очень удачный сын — мальчик помимо всего прочего был им еще и слугой. Более того, добившись впоследствии великого почета, он тем самым прославил отца и мать — это уж удача так удача. Но меня, не достигшего еще и пятнадцатилетнего возраста, глу-

боко взволновала сила духа Сонтоку, и мне даже пришла в голову мысль: как мне не повезло, что я не родился в такой бедной семье, как он. Обычное дело — раб, скованный цепью, жаждет, чтобы она была потолще.

Рабство

Уничтожить рабство — значит уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабства и дня не просуществовать. Не случайно даже республика Платона предполагала существование рабства.

О том же

Назвать тирана тираном всегда было опасно. Но сегодня не менее опасно назвать раба рабом.

Трагедия

Трагедия — это когда вынужден заниматься делом, которого стыдишься. Следовательно, объединяющая все человечество трагедия — отправление нужды.

Сильный и слабый

Сильный боится не врага, а друга. Он бестрепетно повергает врага, но, как слабый ребенок, испытывает страх непреднамеренно ранить друга.

Слабый боится не друга, а врага. Поэтому ему повсюду чуждаются враги.

Разумный S.M.

Вот что я говорил своему другу S.M.

З а с л у г а д и а л е к т и к и . В конечном счете заслуга диалектики состоит в том, что она вынуждена прийти к выводу, что все на свете — глупость.

Д е в у ш к а . Напоминает тянущееся откуда хватает глаз прозрачно-холодное мелководье.

Р а н н е е о б р а з о в а н и е . Хм, оно прекрасно. Освобождает от ответственности за то, что ребенок еще в детском саду узнает, сколько горя приносит человеку ум.

В о с п о м и н а н и я . Это далекий пейзаж на горизонте, причем уже несколько упорядоченный.

Ж е н щ и н а . Судя по словам Мэри Стопс, женщина настолько верна мужу, что по крайней мере раз в две недели испытывает к нему влечение.

Ю н о ш е с к и е г о д ы . В юности меланхолия проистекает от высокомерия ко всему на свете.

Г о р е с т и д е л а ю т ч е л о в е к а у м н ы м . Если умным человека делают горести, то осторожный человек в своей ординарной жизни никогда не станет умным.

К а к м ы д о л ж н ы ж и т ь ? Так, чтобы оставить для себя хотя бы частицу непознанного мира.

Общение

Любое общение само по себе требует неискренности. До конца раскрыть свою душу приятелям без тени неискренности — значит неизбежно повредить отношения, даже с самым закадычным другом. Закадычный друг — в той или иной мере это можно сказать о каждом из нас — ненавидит или презирает своего приятеля, даже самого задушевного. Правда, ненависть перед лицом выгоды теряет свою остроту. А само презрение порождает, естественно, неискренность. Поэтому, чтобы сохранить задушевные отношения со своими приятелями, нужно максимальное уравнивание презрения и выгоды. Но это не каждому дано. Иначе как бы появлялись в давние времена благовоспитанные, благородные люди и как бы в столь же давние времена в мире царил золотой век, не знавший войны?

Мелочи

Чтобы сделать жизнь счастливой, нужно любить повседневные мелочи. Сияние облаков, шелест бамбука, чириканье стайки воробьев, лица прохожих — во всех этих повседневных мелочах нужно находить высшее наслаждение.

Чтобы сделать жизнь счастливой? Но ведь те, кто любит мелочи, из-за мелочей всегда страдают. Лягушка, прыгнувшая

в заросший пруд в саду, нарушила вековую печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из заросшего пруда, может быть, вселила вековую печаль. Все-таки жизнь Басё была полна наслаждений, но в глазах окружающих его жизнь была полна страданий. Так и мы — чтобы наслаждаться самым малым, должны страдать от самого малого.

Чтобы сделать жизнь счастливой, нужно страдать от повседневных мелочей. Сияние облаков, шелест бамбука, чирикание стайки воробьев — во всех этих повседневных мелочах нужно видеть и муки ада.

Боги

Из всего присущего богам наибольшее мое сочувствие вызывает то, что они не могут покончить жизнь самоубийством.

О том же

Мы находим массу причин поносить богов. Но, как это ни печально, японцы не верят и в заслуживающего поношения всемогущего бога.

Народ

Народ — умеренный консерватор. Общественный строй, идеи, искусство, религия — чтобы народ полюбил их, нужно, чтобы на них был налет старины.

О том же

Понять, что народ глуп, — этим гордиться не стоит. Но понять, что мы сами и есть народ, — вот этим стоит гордиться.

О том же

Древние причисляли к великим принципам государства — сделать народ глупым. Но лишь настолько, чтобы не потерять

возможность сделать его еще глупее. Или чтобы не потерять возможность сделать его и мудрым.

Слова Чехова

Чехов в одном из своих писем так рассуждает о различии между мужчиной и женщиной. Женщина, старея, все больше занимается женскими делами, а мужчина, старея, все больше отходит от женских дел.

Но эти слова Чехова равносильны заявлению, что мужчины и женщины, старея, перестают интересоваться отношениями между полами. Но ведь это известно и трехлетнему ребенку. Более того, слова Чехова указывают не столько на существование различия между мужчиной и женщиной, сколько на то, что такое различие отсутствует.

Одежда

Одежда женщины — часть ее самой. Кэйкити не поддался искушению, разумеется, благодаря присущей ему нравственности. Но нужно вспомнить, что женщина, искушавшая Кэйкити, надела одежду его жены. Если бы она этого не сделала, то, видимо, вообще не смогла бы его соблазнить.

Примечание.

См. повесть Кана Кикути «Искушение Кэйкити».

Поклонение девственности

Сколько комических поражений терпели мы, когда, выбирая жену, заботились главным образом о том, чтобы она была девственницей. А ведь женитьба — самое подходящее время, чтобы отказаться от поклонения девственности.

О том же

Поклонение девственности может начаться лишь после того, как убедишься в ней. Здесь чувству предпочитают ничтожные знания. Поэтому поклонников девственности можно с полным основанием назвать высокомерными учеными, чуж-

дыми любви. Возможно, не случайно и то, что поклонники девственности с такой серьезностью занимаются ее выявлением.

О том же

Разумеется, поклонение девушке совсем другое, чем поклонение девственности. Люди, считающие эти понятия синонимическими, слишком недооценивают артистический талант женщин.

Правила приличия

Одна школьница как-то спросила моего приятеля: целуя, нужно закрывать глаза или можно оставлять их открытыми? Я вместе с этой школьницей очень сожалею, что в школе не преподают правил приличия в любви.

Эккэн Каибара

В школьные годы я читал разные поучительные истории об Эккэне Каибаре. Однажды он плыл на пароме с каким-то незнакомым студентом. Студент, словно гордясь своими познаниями, самоуверенно рассуждал о разных науках. Эккэн, не перебивая, внимательно слушал его. Тем временем паром пристал к берегу. Тогда было принято, чтобы пассажиры, сходя с судна, сообщали свое имя. Тут студент узнал, что разговаривал с великим конфуцианцем, и, смутившись, стал извиняться за свою неучтивость. Вот такую поучительную историю я однажды прочел.

В то время из этой истории я понял, что скромность — важная добродетель. Во всяком случае, старался это понять. Но теперь, как это ни печально, не вижу в ней ничего поучительного. Теперь эта история воспринимается мной с некоторым интересом лишь потому, что я думаю о ней так:

1. Как саркастично было презрительное молчание Эккэна!
2. Как вульгарны были аплодисменты пассажиров, радовавшихся, что студент пристыжен!
3. Как трепетно бился в рассуждениях юного студента дух нового времени, неведомый Эккэну!

Защитительная речь

Один критик устойчивое выражение «расставлять перед домом сети для ловли птиц», имея в виду заброшенность дома, употребил в смысле «кишмя кишеть». Выражение «расставлять перед домом сети для ловли птиц» изобретено китайцами. Нет, разумеется, такого закона, что в употреблении этого выражения японцы должны слепо следовать за китайцами. Можно, например, употребить его образно: «Улыбка этой женщины напоминала расставленные перед домом сети для ловли птиц». Конечно, если такое толкование этого выражения привьется.

Если привьется. Все зависит от непредсказуемого «привьется». Разве не то же самое «роман о себе»? «Ich-Roman» означает роман от первого лица. Причем тот, кто именуется «я», совсем не обязательно должен быть самим автором. Но в японском «романе о себе» в качестве «я» обычно выступает сам автор. Иногда, правда, такой роман выглядит как история жизни самого автора, а роман, написанный от третьего лица, нередко именуется «романом о себе». Я уверен, что это новый пример игнорирования словопотребления, принятого у немцев или европейцев вообще. Выражение «расставлять перед домом сети для ловли птиц», возможно, тоже явилось новым примером такого же рода

Было бы неверным утверждать, что критик, которого я упоминал, недостаточно эрудирован. Только было бы слишком поспешным выискивать новые примеры, забыв о ходе времени. Критик не должен обижаться на подшучивания — всякий пионер обязан довольствоваться не очень-то сладкой судьбой.

Границы

Даже гений скован трудно преодолимыми границами. Обнаружение этих границ не может не вызывать некоторую печаль. Но незаметно вызывает и обратное чувство — удовлетворение. Словно познал, что бамбук — это бамбук, плющ — это плющ.

Марс

Спрашивать, есть ли люди на Марсе, равносильно тому, чтобы спрашивать, есть ли там люди, существование которых можно ощутить с помощью наших пяти чувств. Однако жизнь далеко не всегда протекает в условиях, позволяющих ощутить ее таким образом. Если предположить, что марсиане существ-

вуют вне достижимости наших пяти чувств, то, не исключено, и сегодня вечером они разгуливают по Гиндзе под тронутыми осенней желтизной платанами.

Мечты Бланки

Вселенная бесконечна. Ее образуют примерно шестьдесят элементов. Но как бы много соединений этих элементов ни существовало, количество их не бесконечно; чтобы создать из таких элементов бесконечную вселенную, необходимо не только испробовать все возможные соединения, но и изменять их. Таким образом, и наша обитаемая Земля — Земля, являющаяся одним из соединений этих элементов, — не есть единственная подобная планета Солнечной системы, число их бесконечно. Наполеон на Земле одержал выдающуюся победу в сражении при Маренго. Но, не исключено, на какой-то другой планете, обращающейся на другом неведомом небе, Наполеон потерпел сокрушительное поражение в сражении при Маренго...

Такова выстроенная в мечтах космология шестидесятилетнего Бланки. Ставить под вопрос правильность его точки зрения я не собираюсь. Жаль только, что, описывая свои мечты в тюремной камере, он разочаровался во всех революциях.

Сегодня это вселяет в наши сердца печаль. Мечты уже покинули Землю. Теперь, в поисках утешения, нам нужно обратиться к бескрайним далям, отстоящим от нас на многие миллиарды миль, — ко второй Земле, погруженной в космическую ночь.

Посредственность

Посредственное произведение, даже внешне монументальное, похоже на комнату без окон. Оно ни в малейшей мере не отвечает требованиям жизни.

Остроумие

Остроумие — это мысль, лишенная силлогизма. Так называемая мысль остроумцев — это силлогизм, лишенный мысли.

О том же

Неприятие остроумия коренится в усталости людей.

Политические деятели

Знания в области политики, которыми больше, чем мы, могут гордиться политические деятели, — это знания самых разнообразных фактов. И знания эти, как правило, сводятся лишь к тому, какую шляпу носит некий лидер некоей партии.

О том же

Так называемые «доморощенные политики» такими знаниями не располагают. Но если говорить об их проницательности, то в этом они не уступают политическим деятелям. И как правило, значительно превосходят их в пылкости, не преследующей цели извлечения каких-то выгод.

Факты

Как любят люди знать самые разные факты! Больше всего их интересует не то, что такое любовь. Их интересует, был ли Христос незаконнорожденным.

Странствующие воины

Раньше я думал, что странствующий воин вступал в бой с первым встречным фехтовальщиком, чтобы оттачивать свое военное искусство. Но сейчас понимаю, что на самом деле целью было доказать — на всем свете нет человека, сильнее меня. (После прочтения биографии Мусаси Миямото.)

Гюго

Это огромный ломоть хлеба, покрывающий всю Францию. Но почти без масла.

Достоевский

Романы Достоевского изобилуют карикатурными образами. Правда, большинство повергнет в уныние и дьявола.

Флобер

Флобер научил меня тому, что и скука может быть прекрасной.

Мопассан

Мопассан напоминает лед. А иногда — леденец.

По

Прежде чем создать сфинкса, По изучил анатомию. Именно в этом сокрыта тайна, как ему удалось потрясти грядущие поколения.

Логика одного капиталиста

«Художники продают произведения искусства, я продаю консервы из крабов — и не вижу никакой разницы. Но художники считают свои творения мировыми сокровищами. Следуя их примеру, я должен был бы бахвалиться консервами из крабов, по шестьдесят сэн банка.

За свои шестьдесят лет я, недостойный, ни разу в жизни не позволил себе такого дурацкого самодовольства, как художники».

Критика Мосаку Сасаки-куну

Ясное утро. Мефистофель, обратившись в доктора, читает в университете лекцию о критике. Разумеется, это не «Критика» Канта. Это учение о том, как разбирать произведения прозы и драматургии.

«Друзья, думаю, вы поняли, о чем я рассказывал на прошлой неделе, и сегодня мы сделаем следующий шаг. Я познакомлю вас с «методом полуодобрения». Что означает «метод полуодобрения»? Это метод, позволяющий полуодобрить то или иное художественное произведение,

что следует из самого названия. Однако «полу» должно быть «худшей половиной». Одобрять «лучшую половину» таким методом чрезвычайно опасно. Попробуйте использовать предложенный мной метод в отношении цветов японской сакуры. «Лучшая половина» цветов сакуры заключается в прелести цвета и формы. Но для того чтобы пользоваться моим методом, необходимо одобрить не столько «лучшую», сколько «худшую половину» — то есть запах цветов сакуры. И это позволит прийти к заключению, что «запах действительно есть. Но не более того». Ждет ли нас провал, если вдруг вместо «худшей» нам придется одобрять «лучшую половину»? Нет. Послушаем: «Цвет и форма действительно прекрасны. Но не более того». Разве такое утверждение способно приуменьшить прелесть цветов сакуры? Отнюдь нет.

Таким образом, главная проблема критики — как принизить прозаическое или драматическое произведение. Но вряд ли есть необходимость снова говорить об этом.

Далее, по каким критериям следует различать «лучшую» и «худшую» половину? Для решения этой проблемы нужно обратиться к теории ценностей. Ценности, в чем мы давным-давно убеждены, заключены не в самом произведении, а в нашем восприятии, дающем ему оценку. Следовательно, критерием различения «лучшей» и «худшей» половины служит наше восприятие или любовь народа в ту или иную эпоху.

Например, сегодня народ не любит японские букеты. Значит, японские букеты плохи. Сегодня народ любит бразильский кофе. Значит, бразильский кофе, несомненно, хорош. Таким образом, художественная ценность того или иного произведения — его «лучшая» и «худшая» половина должны различаться, исходя из приведенного примера.

Не прибегая к такому критерию, использовать другие — будь то красота, истина, или добро — не более чем комичный анахронизм. Вы обязаны выбросить прошлое, как старую соломенную шляпу. Представление о хорошем и плохом не может преодолеть пристрастий, а пристрастия и есть сочетание хорошего и плохого; любовь и ненависть тоже пристрастия — это не просто «метод полуодобрения», а закон, о котором не следует забывать, коль скоро вы решили заниматься критикой.

Итак, в этом и состоит «метод полуодобрения», а теперь мне бы хотелось обратить ваше внимание на слова «не более

того». Их нужно употреблять непременно. Во-первых, коль скоро мы говорим «не более того», это значит, одобряем «то», а именно «худшую половину». При этом, во-вторых, мы отрицаем все, кроме «того». Следует также сказать, что слова «не более того» имеют ярко выраженную тенденцию к навязыванию своего мнения. И наконец, весьма деликатный третий момент — сама художественная ценность «того» отрицается приведенным выше простым, но не бросающимся в глаза способом. Разумеется, отрицая, мы никогда не должны называть причину отрицания. Отрицание высказывается лишь между строк — именно это и есть самая примечательная особенность слов «не более того». Убить похвалой — вот значение слов «не более того», призванных, якобы одобряя, на самом деле отрицать.

Мне представляется, что предлагаемый «метод полуодобрения» заслуживает гораздо большего доверия, чем «метод полного отрицания» или «метод несбывшихся надежд». Я рассказывал о нем на прошлой неделе, кратко повторяю, чтобы напомнить вам основные положения. Это метод, позволяющий полностью отрицать художественную ценность произведения, опираясь на его художественную ценность. Например, отрицая художественную ценность той или иной трагедии, нужно остро критиковать ее за то, что она трагедийна, неприятна, уныла. Можно критиковать и наоборот — ругать за то, что в ней отсутствует счастье, радость, легкость. Вот почему я и называю этот метод также «методом несбывшихся надежд». «Метод полного отрицания», или «метод несбывшихся надежд», не может доставить полного удовлетворения, поскольку иногда вызывает подозрение в пристрастности. В то время как «метод полуодобрения», во всяком случае наполовину, признает художественную ценность произведения, что позволяет легко создать впечатление беспристрастности.

Темой моей очередной лекции будет новое произведение Мосаку Сасаки «Летнее пальто», поэтому прошу вас к следующей неделе разобрать его, используя «метод полуодобрения». (Тут один из юных слушателей задает вопрос: «Сэнсэй, а нельзя ли использовать метод полного отрицания?») Нет, с использованием «метода полного отрицания» нужно хотя бы немного повременить. Все-таки господин Сасаки писатель, получивший в последние годы широкую известность. Поэтому ограничимся, я думаю, «методом полуодобрения»...

Через неделю в студенческой работе, получившей высшую оценку, было сказано:

«Написана умело. Не более того».

Родители и дети

Весьма сомнительно, что родители способны растить своих детей. Правда, коров и лошадей они растить могут, это верно. Однако воспитывать детей, опираясь на древние обычаи и объясняя их тем, что таковы естественные законы природы, не более чем отговорка, к которой прибегают родители. Если бы любые обычаи можно было оправдать ссылкой на естественные законы природы, то мы должны были бы оправдать и наблюдаемый у первобытных народов обычай похищать невест.

О том же

Любовь матери к ребенку — самая бескорыстная любовь. Однако бескорыстная любовь менее всего помогает растить ребенка. Под влиянием такой любви или, во всяком случае, в основном под ее влиянием ребенок становится либо деспотом, либо ничтожеством.

О том же

Первый акт жизненной трагедии человека начинается с появлением ребенка.

О том же

С давних времен большинство родителей без конца повторяют такие слова: «Я оказался неудачником. Но должен сделать все, чтобы хотя бы мой ребенок добился успеха».

Возможности

Мы не можем делать то, что хотим. И делаем лишь то, что можем. Это относится не только к нам как индивидуумам. Но

и к нашему обществу в целом. Возможно, и бог не смог сотворить мир таким, каким бы ему хотелось.

Слова Мура

В записных книжках Джорджа Мура есть такие слова: «Великий художник тщательно выбирает место, где написать свое имя. И никогда не подписывает своих картин на одном и том же месте».

«Никогда не подписывает своих картин на о дном и том же месте» — это, разумеется, относится к любому художнику, а не только великому. Не будем осуждать Мура за такую неточность. Неожиданным показалось мне другое: «Великий художник тщательно выбирает место, где написать свое имя». Среди художников Востока никогда не было такого, кто бы недооценивал выбор места, куда поставить свою фамильную печать. Говорить о необходимости внимательного выбора такого места — тавтология. Думая о Муре, специально написавшем об этом, я не могу отделаться от мысли, как не похожи Восток и Запад.

Величина произведения

Судить о гениальности произведения в зависимости от его размера — значит допускать материальный подход к его оценке. Величина произведения — это лишь вопрос гонорара «Портрет старика» Рембрандта я люблю гораздо больше, чем фреску Микеланджело «Страшный суд».

Мои любимые произведения

Мои любимые произведения — я имею в виду литературные — это произведения, в которых я могу почувствовать автора как человека. Человека, со всем, что ему присуще, — мозгом, сердцем, физиологией. Но, как это ни печально, в большинстве своем они калеки. (Правда, великий калека может вызвать наше восхищение.)

Посмотрев «Радужную заставу»

Не мужчина охотится за женщиной. Женщина охотится за мужчиной. Шоу рассказал об этом факте в своей пьесе

«Человек и сверхчеловек». Но он был не первым, кто это сделал. Я посмотрел «Радужную заставу» с Мэй Ланьфанем и узнал, что в Китае тоже есть драматург, обративший внимание на этот факт. Более того, в «Мыслях о драме» кроме «Радужной заставы» приводится множество пьес о сражениях, которые ведут женщины ради того, чтобы увлечь мужчину.

Героиня из «Горы Дунцзяшань», героиня из «Казни сына у парадных ворот», героиня из «Горы Шуансошань» — все они принадлежат к подобным женщинам. Возьмем, к примеру, Ли Хуа, героиню «Любви к наезднице», — гарцуя на лошади, она не только пленила молодого полководца. Она женила его на себе, принеся при этом извинения его жене. Господин Ху Ши сказал мне: «Исключая «Четырех ученых мужей», я отрицаю художественную ценность всех постановок пекинской оперы. Но все же они глубоко философские». Может быть философ господин Ху Ши своими словами пытался смягчить свое громоподобное возмущение тем, что эти произведения не обладают достаточной художественной ценностью.

Опыт

Полагаться на один лишь опыт равносильно тому, чтобы полагаться на одну лишь пищу, не думая о пищеварении. В то же время полагаться на одни лишь свои способности, пренебрегая опытом, равносильно тому, чтобы полагаться на одно лишь пищеварение, не думая о пище.

Ахиллес

Утверждают, что у древнегреческого героя Ахиллеса была уязвимой только пята. Следовательно, чтобы знать Ахиллеса, нужно знать об ахиллесовой пяте.

Счастье художника

Самый счастливый художник — это художник, получивший славу в преклонные годы. В этом смысле Дотто Куникида отнюдь не несчастный художник.

Добрый человек

Женщина не всегда хочет, чтобы ее муж был добряком. Но мужчина всегда хочет иметь другом доброго человека.

О том же

Добрый человек больше всего похож на бога на небесах. Во-первых, с ним можно поделиться своей радостью. Во-вторых, ему можно поплакаться. В-третьих, есть он или нет — неважно.

Преступление

«Ненавидеть преступление, а не того, кто его совершил» — это не так уж трудно. Большинство детей реализуют этот афоризм в отношении большинства родителей.

Персик и слива

«Хотя персик и слива безмолвны, люди торят тропу между ними», — так говорят мудрецы. Конечно, это неверно; что значит: «Хотя персик и слива безмолвны»? Правильнее сказать: «Поскольку персик и слива безмолвны».

Величие

Народ нередко восхищается величием людей и деяний. Но испокон веку не было такого, чтобы народ любил встречаться с величием.

Объявление

«Мосаку Сасаки-куну» — раздел «Слов пигмеев», опубликованных в двенадцатом номере, ни в малейшей степени не свидетельствует о пренебрежении к этому писателю. В нем содержится насмешка над критиком, не признающим его творчества. Объявлять об этом означало бы, по-моему, пре-

небрегать умственными способностями читателей «Бунгэй сюндзю». Меня поразило, что один критик и в самом деле проявил пренебрежение к Сасаки-куну. Я слышал, что у него уже появились продолжатели. Потому-то я и делаю это краткое объявление. Я не собирался делать его публично. Оно появилось в результате подстрекательства нашего старшего товарища Тона Сатоми-куна. Читателей, возмущенных моим объявлением, прошу обращать свой гнев против Сатоми-куна.

Автор «Слов пигмея».

Дополнительное объявление

Опубликованное мной объявление: «Прошу обращать свой гнев против Сатоми-куна» — это, разумеется, шутка. Можете свой гнев против него и не обращать. От безмерного преклонения пред гениальностью всех, кого представляет названный мной критик, я проявил не свойственную мне нервозность.

Он же.

Дополнение к дополнительному объявлению

В опубликованном мной дополнительном объявлении сказано: «От безмерного преклонения пред гениальностью всех, кого представляет названный мной критик» — это ни в коем случае не ирония.

Он же.

Искусство

Живопись живет триста лет, каллиграфия — пятьсот, литература бессмертна, сказал Ван Шанчжэн. Но Дуньхуанские раскопки показали, что живопись и каллиграфия продолжают жить и через пятьсот лет. А то, что литература бессмертна, — это еще вопрос. Идеи не могут быть неподвластны времени. Наши предки при слове «бог» видели перед собой человека в традиционной церемониальной одежде того времени. А мы при этом слове видим длиннородого европейца. Надо полагать, то же может произойти не только с богом.

О том же

Помню, я как-то увидел портрет кисти Тосю Сяраку. Изображенный на нем человек держал у груди раскрытый веер, на котором — знаменитая зеленая волна Корина. Это, безусловно, усиливало колористический эффект картины в целом. Но, посмотрев в лупу, я увидел не зеленый цвет, а золотой, подернутый патиной. Я ощутил прелесть картины Сяраку — это факт. Но факт и то, что я ощутил иную прелесть, чем та, которую уловил Сяраку. Подобные же изменения в восприятии, несомненно, мыслимы, когда речь идет о литературе.

О том же

Искусство подобно женщине. Чтобы выглядеть привлекательней, оно должно быть в согласии с духовной атмосферой или модой своего времени.

О том же

Более того, искусство всегда в плену у реалий. Чтобы любить искусство народа, нужно знать жизнь этого народа. Чрезвычайный и полномочный посланник Англии сэра Рутерфорд Элькок, который в храме Годзэндзи подвергся нападению ронинов, воспринимал нашу музыку как какофонию. В его книге «Три года в Японии» есть такие строки: «Поднимаясь однажды по склону, мы услышали пение камышовки, напоминавшее пение соловья. Говорят, петь камышовку научили японцы. Удивительно, если это правда. Ведь японцы сами никогда не учились музыке». (Том 2, глава 29.)

Гений

Гения отделяет от нас всего лишь шаг. Но чтобы понять, что представляет собой этот шаг, нужно постичь некую высшую математику, по которой половина ста ри — девяносто девять ри.

О том же

Гения отделяет от нас всего лишь шаг. Современники обычно не понимают, что этот шаг — тысяча ри. Потомки сле-

пы, чтобы увидеть, что этот шаг — тысяча ри. Современники из-за этого убивают гения. Потомки из-за этого же курят гению фимиам.

О том же

Трудно поверить, что и народ неохотно признает гения. К тому же такое признание всегда весьма комично.

О том же

Трагедия гения в том, что его окружают «скромной, приятной славой».

О том же

Иисус: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали».
Они: «Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали».

Ложь

Не нужно «отдавать свои голоса за тех, кто не защищает наших интересов». Любой республиканский строй утверждает ложь, будто вместо «наших интересов» устанавливаются «государственные интересы». Нужно помнить, что эта ложь не исчезает и при советской власти.

О том же

Взяв две слитые в одну идеи и тщательно исследовав точки их соприкосновения, вы сразу же обнаружите, как много заключено в них лжи. В этом причина того, что любое устойчивое выражение проблематично.

О том же

Не потому ли в нашем обществе всякий высказывающий рациональное суждение делает это на самом деле от нерациональности, потрясающей нерациональности.

Ленин

Больше всего меня потрясает то, что Ленин был самым обычным героем.

Азартная игра

Те, кто борется со случайностью, то есть богом, всегда полны таинственного достоинства. Не составляют исключения и азартные игроки.

О том же

Испокон веку отсутствие среди увлеченных азартной игрой пессимистов показывает, как поразительно схожа азартная игра с жизнью человека.

О том же

Закон запрещает азартные игры не потому, что осуждает перераспределение богатства с их помощью, а лишь потому, что осуждает экономический дилетантизм.

Скептицизм

Скептицизм зиждется на некоей вере — вере, что нет сомнения в сомнении. Возможно, здесь кроется противоречие. Но скептицизм в то же время сомневается в том, что может существовать философия, основанная на вере.

Правдивость

Став правдивым, мы обнаружим, что не каждый способен на это. Вот почему мы испытываем страх, решив быть правдивым.

Лживость

Я знал одну лгунью. Она была счастливее всех. Но все считали, что она лжет, даже когда говорила правду, потому что

лгала слишком искусно. Именно это в глазах окружающих было, несомненно, самой большой ее трагедией.

О том же

Я тоже, как всякий художник, искусен во лжи. Но никогда не мог угнаться за лгуньей. Она помнила свою ложь многолетней давности, словно солгала пять минут назад.

О том же

Как ни прискорбно, но мне известно и другое. Бывает правда, о которой можно рассказать только с помощью лжи.

Господа!

Господа, вы боитесь, что благодаря искусству молодежь деградирует. Прошу вас, успокойтесь. Она деградирует не так быстро, как вы.

О том же

Господа, вы боитесь, что искусство отравляет народ. Но я прошу вас, успокойтесь. Уж вас-то искусству не отравить. Не отравить вас, не способных понять прелесть искусства двухтысячелетней давности.

Покорность

Покорность — это романтическое раболепие.

Замысел

Создавать что-либо не обязательно должно быть трудно. Но желать всегда трудно. Во всяком случае, желать то, что заслуживает быть созданным.

О том же

Желающие узнать свои достоинства и недостатки должны основываться на сделанном ими и посмотреть, что они собираются сделать в будущем.

Солдат

Идеальный солдат должен безоговорочно подчиняться приказу командира. Безоговорочно подчиняться — значит безоговорочно отказаться от критики. Следовательно, идеальный солдат должен прежде всего потерять разум.

О том же

Идеальный солдат должен безоговорочно подчиняться приказу командира. Безоговорочно подчиняться — значит безоговорочно отказаться от того, чтобы брать на себя ответственность. Следовательно, идеальный солдат должен предпочитать безответственность.

Военное образование

Военное образование не более, чем передача знаний в области военной терминологии. Другие знания и навыки могут быть получены и помимо военного образования. Действительно, разве в военных и военно-морских школах не работают специалисты в области механики, физики, прикладной химии, языка? Это само собой разумеется, а кроме того, там работают и специалисты по кэндо, дзюдо, плаванию. К тому же, если вдуматься, сама военная терминология в отличие от научной является общеупотребительной. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что военного образования в этом виде фактически не существует. И нельзя выдвигать в качестве проблемы то, чего фактически не существует.

Бережливость и воинственность

Нет ничего более бессмысленного, чем выражение «бережливость и воинственность». Воинственность — это расто-

чительность в международном масштабе. Действительно, разве не расходуют великие державы огромные средства на вооружение? И если не хочешь выглядеть идиотом, лучше перефразировать это выражение так: «бережливость и расточительность».

Японцы

Думать, что мы, японцы, еще две тысячи лет назад были верны императору и почитали родителей, все равно что думать, будто бог Сарудахико употреблял косметику. Может быть, вообще пересмотреть все исторические факты?

Японские пираты

Японские пираты доказали, что и мы, японцы, вполне способны быть на равных с великими державами. В грабежах, резне, развороте мы несколько не уступали испанцам, португальцам, голландцам, англичанам, приплывшим к нам в поисках «Золотого острова».

«Записки от скуки»

Меня часто спрашивают: «Вам, конечно, нравятся «Записки от скуки»?» Но, как это ни прискорбно, они никогда не доставляли мне удовольствия. Честно говоря, я не понимаю, что снискало этому произведению столь большую известность. Хотя и признаю, что оно вполне подходит как учебник для средней школы.

Симптом

Один из симптомов любви — неотступная мысль о том, скольких она любила в прошлом, и чувство смутной ревности к этим воображаемым «скольким».

О том же

Еще один симптом любви — острое желание находить похожих на нее.

Любовь и смерть

Мысль о смерти, которую вызывает любовь, как мне кажется, имеет в своей основе теорию эволюции. Самки пауков и пчел сразу же после оплодотворения жалят и убивают самцов. Слушая оперу «Кармен» в исполнении итальянской труппы, я в каждом движении Кармен видел пчелу.

Замена

Любя женщину, мы нередко вступаем в связь с другой, которая служит ей заменой. И часто делаем это совсем не потому, что любимая отвергла нас. Иногда малодушие, иногда эстетика не позволяют нам ограничиться одной женщиной для наших жестоких развлечений.

Женитьба

Женитьба — эффективное средство регулирования чувственности. Но она не может служить столь же эффективным средством регулирования любви.

О том же

Женившись, когда ему было за двадцать, он после этого ни разу не влюблялся. Как это вульгарно!

Большая занятость

От любовных приключений нас спасает не рассудок, а скорее слишком большая занятость. Чтобы полностью отдаваться любви, прежде всего необходимо время. Вспомните любовников прошлого — Вертера, Ромео, Тристана — все это люди праздные.

Мужчина

Настоящему мужчине работа всегда была дороже любви. Если сомневаетесь в этом, прочтите письма Бальзака. Он пи-

сал графине Ганской: «Если б это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы!»

Хорошие манеры

Давным-давно к нам домой приходила парикмахерша, у нее была дочь. Я до сих пор помню бледное личико этой девочки, лет двенадцати. Парикмахерша строго следила за ее манерами. Она наказывала дочь всякий раз, когда та лежала на татами, не подложив под голову валик. А недавно мне рассказали, что незадолго до землетрясения эта девушка стала гейшей. Узнав об этом, я, естественно, пожалел девушку, но в то же время не мог сдержать улыбку. Став гейшей, она, несомненно, следуя строгим поучениям матери, подкладывает под голову валик.

Свобода

Свободы хотят все. Но так кажется только со стороны. На самом же деле в глубине души свободы не хочет никто. Разве не доказывается это тем, что даже бандит, который нисколько не колеблясь лишит жизни любого, будет утверждать, что убил человека только во имя блага государства? Однако свобода — это отсутствие всяких ограничений, то есть возможность считать ниже своего достоинства разделить ответственность за что бы то ни было, будь то бог, будь то нравственность, будь то общественные традиции.

О том же

Свобода подобна горному воздуху. Для слабых она непеносима.

О том же

Видеть свободу — все равно что зреть лик божий.

О том же

Свободомыслие, свободная любовь, свободная торговля — в бокал каждой из этих «свобод» влито довольно много воды. К тому же воды несвежей.

Слово и дело

Чтобы считаться человеком, у которого слово не расходится с делом, нужно достичь совершенства в умении оправдываться.

Уловка

Даже если бы существовал мудрец, не обманувший в своей жизни ни одного человека, нет мудреца, не обманывавшего человечество. Самая действенная уловка буддийского священника — духовный макиавеллизм.

Искусство для искусства

Рьяные поборники искусства для искусства в большинстве своем импотенты в искусстве. Подобно тому, как рьяные националисты в большинстве своем люди, лишенные родины. Никому из нас не нужно то, что мы уже имеем.

Исторический материализм

Если бы каждый прозаик должен был изображать жизнь, основываясь на историческом материализме Маркса, то поэт должен был бы воспевать солнце и луну, горы и реки, основываясь на гелиоцентрической теории Коперника. Вместо слов «Солнце утонуло на Западе» сказать: «Земля повернулась на столько-то градусов, столько-то минут». Вряд ли это можно назвать изящной словесностью.

Китай

Личинка светлячка, поедая улитку, никогда не убивает ее до конца. Она лишь парализует ее, чтобы все время иметь для еды свежее мясо. Позиция нашей японской империи, а также и других держав в отношении Китая ничем, собственно, не отличается от позиции светлячка в отношении улитки.

О том же

Самая большая трагедия нынешнего Китая состоит в том, что у националистических романтиков, то есть у «Молодого Китая», нет человека, подобного Муссолини, который был бы способен дать им железное воспитание.

Роман

Правдоподобный роман не тот, в котором просто мало случайностей в развитии событий. Это роман, в котором случайностей меньше, чем в жизни.

Литературное произведение

Словам в литературном произведении должна быть придана красота, большая, чем та, которой они обладают в словаре.

О том же

Все они, как Тёгю, заявляют: «Стиль — это человек». Но каждый из них в глубине души считает: «Человек — это стиль».

Лицо женщины

Странно, но лицо женщины, охваченной страстью, становится как у молоденькой девушки. Правда, эта страсть может быть обращена и к зонтику.

Житейская мудрость

Поджигать гораздо легче, чем тушить. Эту житейскую мудрость исповедовал герой «*Bel ami*»¹. Не успев завести любовницу, он начинал обдумывать, как порвать с ней.

¹ «Милый друг» (фр.).

О том же

Житейская мудрость учит не страдать от недостатка пылкости. Гораздо опаснее недостаток холодности.

Материальное богатство

Лишенный материального богатства лишен и богатства духовного — так было в двухтысячелетней древности. Сегодня иначе — обладающие материальным богатством лишены богатства духовного.

Они

Я всегда изумлялся, в каком согласии живут эти супруги, не любя друг друга. А они изумляются, в каком согласии умирают влюбленные пары.

Слова, рожденные писателем

«Трясется», «бездельник высшей марки», «бравирующий пороками», «избитый» — все эти слова и выражения ввел в литературу Нацумэ-сэнсэй. Подобные слова, рожденные писателем, появлялись и после него. Самый последний пример — выражения, рожденные Масао Кумэ: «кривоулыбчивость», «упорное малодушие». Кодзи Уно придумал выражение «трижды и более». Мы снимаем шляпу обычно произвольно. Но иногда снимаем ее совершенно сознательно перед человеком, которого считаем своим врагом, чудовищем или мерзким типом. И совсем не случайно в статье, ругавшей одного писателя, использованы выражения, созданные самим писателем.

Дети

Почему мы любим маленьких детей? Главная причина в том, что мы можем не опасаться обмана только с их стороны.

О том же

Мы не стыдимся открыто продемонстрировать свое равнодушие и свою глупость лишь перед маленькими детьми или перед собакой и кошкой.

Икэ Тайга

«О Тайге судят по тому, что он был довольно беспечным человеком, чуждался людей и даже после женитьбы на Гёкуран оставался в неведении о супружеских отношениях.

История о том, что Тайга, женившись, не знал, что представляют собой супружеские отношения, интересна тем, что показывает, насколько он был не от мира сего, но можно сказать, что это была глупейшая, лишенная здравого смысла история».

Как показывает приведенная цитата, и сегодня еще среди художников и историков искусства остались люди, верящие в это. Возможно, Тайга, женившись на Гёкуран, и не вступил с ней в супружеские отношения, но тот, кто на этом основании верит, будто ему были неведомы такие отношения, должно быть, страдает повышенной чувственностью и убежден, что, зная о существовании такого рода отношений, нельзя не вступить в них.

Огю Сорай

Жаль, что Огю Сорай, жуя поджаренные бобы, поносил древних. И хотя я был убежден, что он ел поджаренные бобы из экономии, зачем нужно было поносить древних, понять не мог. Но теперь я пришел к мысли: ругать древних было гораздо безопаснее, чем современников.

Писатель

Чтобы заниматься сочинительством, прежде всего необходимо творческий пыл. А чтобы зажечь в себе творческий пыл, прежде всего необходимо здоровье. Пренебрегать шведской гимнастикой, вегетарианством, диастазой может лишь тот, у кого нет намерения заниматься сочинительством.

О том же

Решивший заняться сочинительством, каким бы горожанином до мозга костей он ни был, должен в душе превратиться в варвара

О том же

Стыдиться себя тому, кто решил заняться сочинительством, — грешно. В душе человека, стыдящегося себя, не появятся ростки самобытности.

О том же

Сороконожка: Попробуй походить.

Бабочка: Хм, попробуй полетать.

О том же

Изящество заключено в затылке писателя. Сам он увидеть его не способен. А если и попытается увидеть, то сломает себе шею.

О том же

Критик: Ты ведь пишешь только о людях труда, верно?

Писатель: А существует ли человек, способный писать обо всем?

О том же

Во все времена гений вешал свою шляпу на гвоздь, до которого нам, простым смертным, не дотянуться. И не потому, что не смогли найти скамеечку.

О том же

Таких скамеечек сколько угодно в лавке старьевщика.

О том же

Любой автор в некотором смысле обладает гордостью столяра. Но в этом нет ничего зазорного. Любой столяр в некотором смысле обладает гордостью автора.

О том же

Более того, любой автор в некотором смысле владеет лавкой. Как, я не продаю своих произведений? Это только когда ты их не покупаешь. Или когда я могу и не продавать.

О том же

Счастье актеров и певцов в том, что их произведения не остаются — можно думать и так.

Защита

Защищать себя гораздо труднее, чем других. Сомневающиеся — посмотрите на адвоката.

Женщина

Здравый рассудок приказывает: «Не приближайся к женщинам».

Но здравый инстинкт приказывает прямо противоположное: «Не избегай женщин».

О том же

Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол.

Рассудок

Я презираю Вольтера. Если отдаться во власть рассудка, это станет истинным проклятием всего нашего существова-

ния. Но в нем находил счастье автор «Кандида», опьяненный всемирной славой!

Природа

Причина, почему мы любим природу, по крайней мере одна из причин, заключается в том, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди.

Житейская мудрость

Важнейшая заповедь житейской мудрости — жить так, чтобы, презирая социальные условности, не вступать в противоречия с социальными условностями.

Поклонение женщине

Гёте, поклонявшийся той, которая «навсегда осталась женщиной», был поистине одним из счастливейших людей. А Свифт, презиравший самок йеху, умер безумцем. Не было ли это проклятием женщин? Или проклятием разума?

Разум

Разум позволил мне понять бессилие разума.

Судьба

Судьба не столько случайность, сколько необходимость. Слова «Судьба заключена в характере» родились не от ее игнорирования.

Профессора

Пользуясь медицинской терминологией, можно сказать, что профессора, читая лекции по литературе, должны быть

клиницистами. А они никогда не могли нащупать пульса жизни. Некоторые же из них, сведущие в английской и французской литературе, плохо осведомлены о родной.

Единство знаний и морали

Мы не знаем даже самих себя. Нам трудно подступиться и к тому, что мы знаем. Метерлинк, написавший «Мудрость и судьбу», не знал ни что такое мудрость, ни что такое судьба.

Искусство

Самое трудное искусство — жить свободно. Правда, «свободно» не означает «бесстыдно».

Свободомыслящие

Слабость свободомыслящих состоит в том, что они свободомыслящие. Они не готовы, как фанатики, к жестоким сражениям.

Судьба

Судьба — дитя раскаяния. Или раскаяние — дитя судьбы.

Его счастье

Его счастье в том, что он необразован. В то же время его несчастье в том... о-о, как все это скучно!

Прозаик

Самый лучший прозаик — «умудренный жизнью поэт».

Слово

Любое слово, подобно монете, имеет две стороны. Например, одна из сторон слова «чувствительный» — «трусливый», не более того.

Кредо материалиста

«Я не верю в бога. Но верю в нервы».

Идиот

Идиот всех, кроме себя, считает идиотами.

Житейский талант

«Ненавидеть» — один из житейских талантов.

Покаяние

В старину люди каялись перед богом. Сегодня люди каются перед обществом. Видимо, никто, за исключением идиотов и негодяев, не может без покаяния превозмочь тяготы жизни.

О том же

Но насколько можно верить таким покаяниям — это уже другой вопрос.

После прочтения «Новой жизни»

Была ли на самом деле эта «новая жизнь»?

Толстой

Прочитав «Биографию Толстого» Бирюкова, понимаешь, что «Моя исповедь» и «В чем моя вера» — ложь. Но

ничье сердце не страдало, как сердце Толстого, рассказывавшего эту ложь. Его ложь кровоточила сильнее, чем правда иных.

Две трагедии

Трагедией жизни Стриндберга была «открытость». Трагедией жизни Толстого, как это ни прискорбно, не была «открытость». Поэтому жизнь последнего закончилась трагедией, еще большей, чем у первого.

Стриндберг

Он знал все. И при этом беззастенчиво выставлял эти свои знания напоказ. Беззастенчиво... Нет, как и мы, с определенным расчетом.

О том же

Стриндберг в своих «Легендах» рассказывает, что он пытался на собственном опыте узнать, мучительна смерть или нет. Но такой опыт — дело нешуточное. Он тоже оказался одним из тех, кто «хотел, но не смог умереть».

Некий идеалист

Он несколько не сомневался, что по своей сущности он реалист. Но он идеализировал себя.

Страх

Вооружаться заставляет нас страх перед врагом. Причем нередко перед несуществующим, воображаемым врагом.

Мы

Мы все стыдимся Себя и в то же время боимся. Но никто честно в этом не признается.

Любовь

Любовь — это поэтическое выражение полового влечения. Во всяком случае, половое влечение, не выраженное поэтически, не стоит того, чтобы называться любовью.

Тонкий ценитель

Он в самом деле был знатоком. Даже любви он не представлял себе не связанной со скандалом.

Самоубийство

Единственное чувство, общее для всех людей, — страх смерти. Видимо, не случайно самоубийство осуждается как акт безнравственный.

О том же

Защита Монтенем самоубийства в чем-то верна. Не совершающие самоубийства не просто не совершают его. Они не могут его совершить.

О том же

Если хочешь умереть, можешь умереть в любое время. Попробуй сделать это.

Революция

Завершив одну революцию, начнем новую. Тогда мы сможем еще сознательнее, чем сегодня, испытывать тяготы жизни.

Смерть

Майнлендер предельно точно описывает прелесть смерти. Действительно, испытав в какой-то момент прелесть смерти,

вырваться из ее лап нелегко. Более того, кружась вокруг нее, мы все больше и больше приближаемся к ней.

«Азбучная танка»

Все необходимые в жизни идеи исчерпаны в «азбучной танке».

Судьба

Наследственность, обстоятельства, случайность — ют три фактора, определяющие нашу судьбу. Радующиеся могут радоваться. Но осуждать других — безнравственно.

Насмешники

Насмехающиеся над другими боятся насмешек над собой.

Слава одного японца

Дайте мне Швейцарию. Или хотя бы свободу слова.

Человеческое, слишком человеческое

Человеческое, слишком человеческое, как правило, нечто животное.

Некий умник

Он был убежден, что негодяем мог бы стать, но идиотом никогда. Прошли годы — негодяем он так и не смог стать, а идиотом стал.

Греки

О греки, сделавшие Юпитера богом отмщения! Вам было ведомо все.

О том же

Но это показывает в то же время, сколь медленно прогрессирует человечество.

Священное писание

Мудрость человека несопоставима с мудростью народа
Если бы только оно было попонятнее...

Некий преданный сын

Он был предан своей матери. Зная, конечно, что его ласки и поцелуи служат чувственному утешению матери-вдовы.

Некий сатанист

Он был поэт-сатанист. Но, разумеется, в реальной жизни он лишь однажды покинул свое безопасное убежище и достаточно натерпелся.

Некий самоубийца

Однажды из-за совершенного пустяка он решил покончить жизнь самоубийством. Но покончить с собой из-за такого ничтожного повода — это ранило его самолюбие. С пистолетом в руке он произнес надменно: «Даже Наполеон, когда его укусила блоха, подумал лишь: «Чешется»».

Некий левак

Он был левее ультралевых. И поэтому презирал ультралевых.

Бессознательное

Особенность нашего характера, самая примечательная особенность — стремление преодолеть наше сознание.

Гордыня

Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет. Вот пример. Т. прекрасно владеет немецким. Но на его столе всегда лежат только английские книги.

Идол

Никто не возражает против низвержения идолов. Но в то же время не возражает и против того, чтобы его самого сделали идиолом.

О том же

Однако никто не может создать идола. Исключая, разумеется, судьбу.

Обитатели рая

Обитатели рая прежде всего должны быть лишены желудка и детородного органа.

Некий счастливец

Он был примитивнее всех.

Самоистязание

Самый яркий симптом самоистязания — видеть во всем ложь. Нет, не только это. Еще и не испытывать ни малейшего удовлетворения от того, что видишь ложь.

Взгляд со стороны

Испокон веку самым большим смельчаком казался самый большой трус.

Человеческое

Мы, люди, отличаемся тем, что совершаем ошибки, которых никогда не совершают боги.

Наказание

Самое страшное наказание — не быть наказанным. А если боги освободят от наказания... Но это уже другой вопрос.

Преступление

Авантюрные действия в сфере нравственности и закона — это и есть преступление. Потому-то любое преступление овеяно легендарностью.

Я

У меня нет совести. У меня есть только нервы.

О том же

Я нередко думал об окружающих: «Хоть бы ты умер». А ведь среди них были даже мои близкие родственники.

О том же

Я часто думал: «Когда я влюблялся в женщину, она всегда влюблялась в меня — как было бы хорошо, если бы, когда я начинал ее ненавидеть, она бы тоже начинала ненавидеть меня».

О том же

После тринадцати лет я часто влюблялся и начинал сочинять лирические стихи, но всегда освобождался от любви, не заходя слишком далеко. Это объяснялось не тем, что я был слишком уж нравствен. Просто я не забывал все как следует подсчитать в уме.

О том же

С любой, даже самой любимой женщиной мне было скучно разговаривать больше часа.

О том же

Я много раз лгал. Но когда я пытался записать произнесенную мной ложь, она становилась бесконечно жалкой.

О том же

Я никогда не ропщу, если мне приходится делить с кем-то женщину. Но если, к счастью или несчастью, ему это неизвестно, в какой-то момент я начинаю испытывать к такой женщине отвращение.

О том же

Я никогда не ропщу, если мне приходится делить с кем-то женщину. Но только при двух условиях — либо я с ним совершенно незнаком, либо он мне бесконечно далек.

О том же

Я могу любить женщину, которая, любя кого-то, обманывает мужа. Но питаю глубокое отвращение к женщине, которая, любя кого-то, пренебрегает детьми.

О том же

Меня делают сентиментальным лишь невинные дети.

О том же

Когда мне не было и тридцати, я любил одну женщину. Однажды она сказала мне: «Я очень виновата перед вашей женой». Я не чувствовал перед женой никакой вины. Но слова женщины запали мне в душу. И я подумал: «Может быть, я

виноват и перед этой женщиной?» Я до сих пор испытываю нежность к ней.

О том же

Я был безразличен к деньгам. Разумеется, потому, что на жизнь мне всегда хватало.

О том же

Я был почтителен с родителями. Потому что они были пожилыми людьми.

О том же

Двум-трем своим приятелям я ни разу в жизни не солгал, хотя и правду не говорил. Потому что и они не лгали мне.

Жизнь

Даже если за революцией последует следующая революция, жизнь людей, за исключением «избранного меньшинства», останется безрадостной. «Избранное меньшинство» — другое название для «идиотов и негодяев».

Народ

И Шекспир, и Гёте, и Ли Тайбо, и Мондзаэмон Тикамацу умирают. Но искусство оставляет семена в душе народа. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Я непоколебимо убежден в этом и поныне.

О том же

Слушай ритм ударов молота. До тех пор пока этот ритм будет звучать, искусство не погибнет. (Первый день первого года Сёва.)

О том же

Я, конечно, потерпел поражение. Но то, что создало меня, несомненно, создаст еще кого-то. Гибель одного дерева — проблема малозначащая. Пока существует огромная земля, хранящая в себе бесчисленные семена. (В тот же день.)

Мысль, посетившая меня однажды ночью

Сон приятнее смерти. По крайней мере отдаться ему легче — это несомненно. (Второй день первого года Сёва).

ЗАМЕТКИ ТЕКОДО

1. Картины Тайга

Мне кажется, я уже давно хотел иметь картину Тайга. Но не могу утверждать, что не жалел денег, даже на такого художника. Все же меня не оставляло желание купить хотя бы одно его какэмоно, но не дороже, чем иен за пятьдесят.

Тайга великий художник. Живший в беспросветной нужде, Такахиса Айгай распродал все, но какэмоно Тайга оставил себе. За картину такого выдающегося мастера недорого заплатить и несколько сот иен. А мне, только из-за хронического безденежья, хочется, чтобы она стоила пятьдесят. Однако, когда речь идет о работе Тайга, отдать за нее пять миллионов иен или пятьдесят — одинаково дешево. Лишь жалкий обыватель способен думать, что ценность произведения искусства можно перевести в чеки или денежные купюры.

Судя по словам Сэмюэля Батлера, он хотел приобрести «за сорок шиллингов хорошего, в сохранном состоянии Рембрандта». И ему действительно дважды попадался до смешного дешевый Рембрандт. Один раз он не купил, потому что картина стоила фунт, но в другой раз, посоветовавшись со своим приятелем Годином, приобрел ее. Что это была за картина, сколько он за нее уплатил — неизвестно. Купил он ее в 1887 году на Стренде (Лондон) у входа в ломбард.

Этот случай говорит о том, что мое желание купить Тайга за пятьдесят иен не такое уж безумное. Вдруг в какой-нибудь жалкой лавчонке старьевщика на узкой улочке заваялся выполненный черной тушью пейзаж Кёка Сансё, мечтаю я вре-

менами, когда мне становится грустно, в надежде, что Мироку одарит меня таким земным благом.

2. Прыщ

Давным-давно, в своей новелле «Ворота Расёмон», я написал, что на щеке главного героя, слуги, был огромный прыщ. Честно говоря, я исходил только из предположения, что в те давние времена у людей эпохи Хэйан почти всегда бывали прыщи, к тому же из «Сакэйки» я узнал, что прыщи были тогда настоящей бедой, правда, слово «прыщ» звучало чуть иначе и писалось, конечно, по-другому.

Это мое открытие вряд ли привлечет внимание рядового читателя, но все же.

3. Генерал

В моей новелле «Генерал» власти вычеркнули немало строк. Но вот в сегодняшней газете я прочел, что нуждающиеся инвалиды войны прошли по улицам Токио, неся такие, например, плакаты: «Мы стали трамплином для их превосходительств, беспардонно обманувших нас», «Нас обманули призывом не поминать старое». Хорошо еще, что власти не додумались стереть с лица земли самих инвалидов.

А теперь власти хотя и в будущем, но собираются запретить продажу произведений, где говорится об утрате верности императорской армии. Верность, как любовь, не может основываться на лжи. Ложь — правда прошлого, она сродни не имеющим сейчас хождения деньгам княжеств. Власти с помощью лжи призывают не утрачивать верности. Это равносильно тому, чтобы всучать деньги княжеств, требуя взамен звонкую монету.

Как простодушны наши власти.

4. Средство для роста волос

Связь между искусством и классовыми проблемами напоминает мне связь между головой и средством для выращивания волос. Если волосы растут хорошо, пользоваться им не нужно. А лысому никакое средство для волос не поможет.

5. Искусство для искусства

Вершина «искусства для искусства» — творчество Флобера. По его собственным словам, «бог находится во всем им созданном, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника к своему творчеству должно быть таким же». Именно поэтому микрокосм, созданный в той же «Мадам Бовари», наших чувств не затрагивает.

«Искусство для искусства», во всяком случае когда речь идет о художественном произведении, может вызвать лишь зевоту.

6. Ни от чего не отказываться

Человек носит дорогую шляпу, а одет плохо. От окружающих он слышит, что такая шляпа ему не нужна. Но даже если он откажется от своей шляпы, остальная одежда не станет лучше. Просто его нищенский облик будет завершённым.

Одни пишут сентиментальные романы, другие — интеллектуальные драмы; случай со шляпой здесь очень подходит. Владелец дорогой шляпы вместо того, чтобы пытаться избавиться от нее, должен постараться, чтобы у него появились дорогой пиджак, дорогие брюки, дорогое пальто. Создатель сентиментальных романов вместо того, чтобы пытаться сдерживать владеющие им чувства, должен постараться оживить свой интеллект.

Это не только вопрос искусства. То же относится и к человеческой жизни. Мне не приходилось слышать, что монах, изо всех сил подавляющий пять вожелений, стал великим. Им становится лишь тот, кто воспылает иными страстями, которые помогут ему подавить пять вожелений. Ведь даже Унсё, узнав, что один из монахов оскотил себя, вразумлял учеников: «Каждый обязан проявить свое мужское начало».

Все, что в нас заложено, должно быть доведено до совершенства. Это единственный путь стать буддой.

7. Любовь Какита Аканиси

Однажды с поклонником Наоя Сиги я беседовал о «Любви Какита Аканиси». Я сказал тогда: «Персонажам этого романа даны имена, имеющие реальное значение. К примеру, Садзаэ — «Моллюск», Масудзиро — «Горбуша», Анко — «Де-

шевка», Тайтэй Гёбай — «Ни рыба, ни мясо». Так что Сига не лишен чувства юмора». Мой собеседник удивился: «Пожалуй, вы правы. Я на это как-то не обратил внимания». Причем этот любитель Сиги гораздо лучше меня помнил сюжет «Любви Какита Аканиси».

Он был человеком серьезным. Соединял в себе ученость и высокие личные качества, к тому же прекрасно разбирался в литературе. И в том, что не обратил внимания на названия, виновата, возможно, форма повествования Сиги, а возможно, и то, что он был пленен уже однажды сложившимся пониманием этого произведения. Это относится не только к нему. Мы все должны читать очень внимательно, ничего не упуская.

8. Анонимные писатели

С давних пор писатели, выпустив книгу, чтобы обеспечить ей хороший прием, нередко прибегают к рецензиям в газетах и журналах. Среди них есть и такие, кто нисколько не заботится об этике — они анонимно пишут рецензии, в которых беззастенчиво восхваляют самих себя.

Ларошфуко — знаменитый автор афоризмов. Но судя по тому, что писал Сент-Бёв, даже он в рецензию о себе, печатавшуюся в «Журналь де Саван», внес собственные поправки. Причем «Журналь де Саван» была единственной выходившей в то время газетой, и рецензия эта появилась в ней 9 марта 1665 года — вот какую давнюю историю имеет подготовка писателями рецензий на свои произведения. Читая эту статью, я горько улыбался, вспоминая афоризмы Ларошфуко. Все-таки среди японских литераторов дурной обычай пользоваться газетами таким образом — явление довольно редкое. Всем известно, сколь вредоносны протитуированная критика, взаимное восхваление.

Между прочим, автором той самой рецензии была мадам де Сабре, а рецензировались упомянутые афоризмы.

9. Исторический роман

В историческом романе более или менее точно воспроизводятся нравы и чувства людей изображаемой эпохи. Но должны быть и произведения, главным в которых является описание характерных черт эпохи, и в первую очередь характерных черт нравственности. Например, в Японии в эпоху Хэйан

представления об отношениях между мужчиной и женщиной сильно отличались от нынешних. Пусть писатель, словно он был самым близким другом Идзуми-сикибу, спокойно и чистосердечно расскажет об этом. Такого рода исторический роман, повествуя о том, что контрастирует с современностью, вызывал бы, естественно, множество мыслей. Можно вспомнить, например, Изабеллу Мериме. Можно вспомнить, например, пирата Франса.

Однако среди японских исторических романов подобных произведений мы пока не находим. Они в большинстве своем представляют собой, если можно так выразиться, скроенные на скорую руку поделки, в которых изображаются проблески гуманизма в сердцах людей давних времен, ничем не отличающихся от гуманизма людей сегодняшнего дня. Найдется ли среди нынешних молодых талантов способный пойти по новому пути?

10. Публика

В статье, опубликованной в одном европейском журнале, сказано, что Анатолий Франс на церемонии установки его бюста в сентябре 1921 года произнес речь. Читая недавно эту статью, я обнаружил в ней такие слова: «Я узнал жизнь не в результате общения с людьми, а в результате общения с книгами». Но, я думаю, никакое запойное чтение не поможет узнать жизнь.

Ренуар как-то сказал: «Желающие научиться живописи, ступайте в музей». А мне кажется, лучше было бы сказать: «Учитесь жизни у природы, а не по картинам великих мастеров».

Такова жизнь.

11. Факиры, ступающие по раскаленным углям

Социализм — не предмет дискуссий о его правомерности. Он неизбежен. Те, кто эту неизбежность не воспринимает как неизбежность, вызывают во мне чувство изумления, будто передо мной факиры, ступающие по раскаленным углям. Прекрасный пример тому — проект закона о контроле над опасными мыслями.

12. Сюнкан

Переосмысление того, что представлял собой Сюнкан, началось не сегодня и делалось не только в «Сказаниях о доме Таира» и «Записках о расцвете и упадке домов Минамото и Таира». Сюнкан в пьесах Мондзаэмона Тикамацу — один из самых известных его персонажей.

Сюнкан у Тикамацу остается на острове по собственной воле. Туда прибывает Мотоясу с указом о помиловании Сюнкана и двух его товарищей Нарицунэ и Ясуёри. Но жене Нарицунэ Тидори, жительнице острова, не разрешено взойти на корабль. Главный посланник Мотоясу склонен отменить запрет, но второй посланник Сэноо возражает. Узнав о смерти своей жены и ребенка, Сюнкан, чтобы Тидори могла уплыть вместе с мужем, убивает Сэноо. «Если меня вновь сошлют на этот дьявольский остров за убийство посланника сёгуна, я восприму это как высшую милость, как справедливое возмездие», — говорит он. И вот этот героический Сюнкан, уговаривая своих товарищей сесть на судно, заявляет невозмутимо: «Сюнкан поплывет на корабле спасения души, а не на судне житейской суеты».

Я давно вместе с Масао Кумэ видел эту пьесу о Сюнкане. Сюнкана играл покойный Дандзиро, Тидори — Утаэмон, Мотоясу — Удзаэмон, остальных не помню. Последняя фраза Сюнкана привела тогда Кумэ в восторг. Сюнкан в пьесе Тикамацу более велик, чем в «Записках о расцвете и упадке домов Минамото и Таира». Разумеется, провозжая взглядом отплывающее судно, он горевал. Хотя можно предположить, что всю оставшуюся жизнь Сюнкан из пьесы Тикамацу прожил в мире и покое. Во всяком случае, он не страдал в последние свои годы, как в «Записках о расцвете и упадке домов Минамото и Таира». Таким образом, давным-давно еще Тикамацу, описавший «нестрадающего Сюнкана», уже исходил из этой версии.

Однако целью Тикамацу было не просто изобразить «нестрадающего Сюнкана». Его Сюнкан — один из персонажей созданной им пьесы «Остров из «Сказания о доме Таира», где защитили женщину».

А у Кураты и Кикиути все проблемы замыкаются на одной-единственной фигуре — на Сюнкане. Как жил, как встретил свою смерть Сюнкан, сосланный на дьявольский остров, — такова проблема, волнующая обоих этих писателей. Кикиути, например, задает вопрос: «Как бы жили мы, оказавшись в по-

ложении Сюнкана, то есть если бы нас сослали на далекий остров?»

Различия в позициях Тикамацу и двух названных мной писателей можно увидеть и в характере изменений, внесенных в «Записки о расцвете и упадке домов Минамото и Таира». Тикамацу, создавая своего Сюнкана, пошел даже на то, чтобы изменить столь трагический для Сюнкана эпизод с указом о помиловании, являющийся главным в повествовании. Курата и Кикиути, не отставая от Тикамацу, тоже не следуют точно «Запискам о расцвете и упадке домов Минамото и Таира». Но они не изменяют эпизода с указом о помиловании, как это сделал Тикамацу. Они сохраняют его, следуя заданному ими облику Сюнкана.

Точно так же и отличная от Тикамацу позиция самих Курата и Кикиути продиктовала изменения в описаниях, содержащихся в «Записках о расцвете и падении домов Минамото и Таира», которые демонстрируют характер этих изменений. Курата рассказывает о смерти дочери Сюнкана, Кикиути — о том, какой плодородной была земля на острове. Таков Сюнкан этих писателей, что оказалось удобным для изображения и «страдающего Сюнкана», и «нестрадающего Сюнкана». Сюнкан, каким представляю его я, сходен с Сюнканом Кикиути. Только его Сюнкан видит источник умиротворения в жизни для людей, а мой — не только в этом.

Сюнкан в пьесах театра Но и театра марионеток остается в полном одиночестве на заброшенном бесплодном острове, но все равно он предстает перед зрителем во всем своем величии. Только я сегодня не могу воспринять это его величие.

П р и м е ч а н и е . Сюнкан, каким он изображен в «Записках о расцвете и падении домов Минамото и Таира», — мудрый мыслитель и в то же время любитель женщин. Именно в этом я неуклонно следовал «Запискам». Он слагал стихи намного хуже Ясуёри и Нарицунэ. Видимо, сильный в дискуссиях, он был слабым поэтом. В этом я тоже не изменил неуклонному следованию «Запискам». Хотя дьявольский остров в «Записках» и не остров Таити, но и не нагромождение голых скал. Судя по описаниям острова, содержащимся в «Записках», даже если отбросить отвращение городского жителя к захолустью, то и тогда страх перед ним предстанет близким сердцу этого жителя — таких островов можно немало найти в «Записках обычаев и земель».

13. Иероглифы и слоговая азбука

Особенностью иероглифов является то, что кроме передачи определенного значения они вызывают еще и эстетические чувства самой своей формой. Слоговая же азбука — всего лишь знаки фонетические, имея в виду, разумеется, их употребление. Прародители знаков слоговой азбуки — иероглифы. Более того, употребляясь всегда вместе с иероглифами, они, естественно, своей формой, как и иероглифы, тоже рожают определенные эстетические чувства. Некоторые знаки вызывают ощущение покоя, другие, наоборот, — непокоя.

Такова одна из возможностей иероглифов и слоговой азбуки. Что же из этого следует?

У меня иногда возникает предубеждение против формы знаков хираганы. Некоторые из них я стараюсь по возможности не употреблять. Один из них напоминает мне согнутый гвоздь, не способный закрепить предшествующий ему кусок фразы. А знаки катаканы меня как бы успокаивают. Видимо, они кажутся мне более совершенными, чем знаки хираганы. А может быть, чаще употребляя хирагану, я привык к ней, и поэтому моя реакция на знаки катаканы притупилась.

14. Люди периода заката Греции

Недавно из-под песков Египта и лавы Гераклеи извлечены памятники письменности греков. Они относятся к 350 — 150 годам до нашей эры. То есть к промежуточному периоду между эпохами Афин и Рима. Это трактаты, стихи, драмы, речи, заметки, письма — может быть найдено и еще что-то. Среди авторов есть и весьма известные. Названы некоторые имена. Немало, естественно, и безымянных документов. Как близки нам по идеям эти разрозненные памятники письменности, переведенные на современный язык! Например, философ Полистрат, принадлежащий к эпикурейцам, утверждает: «Чтобы избавиться от лжи и тягот и сделать жизнь человека свободной, нужно знать великий закон сотворения всего живого». А Керкедо, философ, примыкавший к так называемым киникам, заявив с возмущением: «Несправедливо, что распутники и скупцы купаются в роскоши и лишь я один беден!.. Неужели справедливость слепа, как крот? Неужели глаза Фемиды (богини справедливости) засланы пеленой?», высказывает такую смелую мысль: «Пусть все останется как есть, и пусть

моей долей будет спасать больных и милосердствовать бедным». Лет за тридцать до него Феникс из Колофона сочинил такое сатирическое стихотворение: «Каждый хочет дружить с богачом. Имея деньги, легко обрести любовь богов. Но стоит обеднеть, и тебя возненавидит даже мать родная». Наконец, Диоген указывает путь спасения: «По-моему, люди испытывают неисчислимые страдания от самых нелепых вещей... Я уже старик. Моя жизнь на закате. Занимаюсь лишь тем, что проповедую свое учение... Все люди вселенной погрязли во лжи. Словно стадо немощных овец».

Видимо, подобные идеи существовали во все времена, во всех странах. В общем, прогресс человечества подобен движению улитки.

15. Метафора

На далеком Западе прилагают невероятные усилия для создания произведений, насыщенных метафорами и сравнениями. Мы же все воспитывались в нынешней Японии, где так трудно жить. Поэтому не имеем возможности не только тратить на метафоры огромные усилия, но даже просто создавать произведения, верно передающие наши мысли. Несмотря на это, у нас все же сохранилось сердце, позволяющее влюбиться в прелесть метафор людей Запада.

«Лицо Цвингареллы было похищено косметикой. Но чувствовалось, что под нею, словно вода под тонким льдом, таится что-то прекрасное».

Это портрет проститутки Цвингареллы, нарисованный Вассерманом. Мой перевод, конечно, плох. Но лицо прекрасной проститутки, принадлежащее кисти Гуйса, по-моему, точно передает его.

16. Исповедь

Вы часто призываете меня: «Больше пиши о своей жизни, смелее исповедуйся». Но разве я не исповедуюсь? Ведь мои новеллы — в какой-то степени исповедь в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы настаиваете, чтобы я сделал себя главным героем своих произведений и без стеснения писал о том, что со мной приключилось. И вдобавок еще предлагаете в конце указывать не только себя как главного героя, но и длинные имена всех остальных персонажей. Нет уж, увольте.

Во-первых, мне неприятно посвящать любопытных в интимные стороны моей жизни. Во-вторых, мне неприятно пеной исповеди присваивать не причитающиеся мне деньги и славу. Напиши я, предположим, как Исса, «Записки об интимных связях», их сразу же поместят в новогоднем номере «Тюокорона» или какого-нибудь другого журнала. Читатели проявят к ним огромный интерес. Критики начнут хвалить за поворот в творчестве. Приятели — за то, что оголился... От одной мысли об этом мурашки по коже бегают.

Даже Стриндберг, будь у него деньги, не издал бы «Исповедь глупца». Но даже когда он вынужден был это сделать, не захотел, чтобы она вышла на родном языке. Если я окажусь без средств к существованию, может быть, и мне придется прибегнуть к такому способу добывать себе на жизнь. Время покажет. А сейчас хоть я и беден, но свожу концы с концами. Пусть я болен телом, но духом здоров. Симптомов мазохизма у себя не наблюдаю. Кто бы в таком случае на моем месте стал превращать в исповедь то, что способно вызвать стыд?

17. Чаплин

Те, кого называют социалистами — о большевиках я уж не говорю, — считаются опасными. Все беды во время великого землетрясения произошли якобы от них. Но если говорить о социалистах, Чарли Чаплин — один из них. Преследуя социалистов, нужно преследовать и Чаплина. Представьте себе, что Чаплин убит жандармским капитаном. Представьте себе, что его закалывают, когда он спокойно идет вразвалочку. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не смог бы сдержать справедливого гнева. А теперь попробуйте направить этот гнев на нашу действительность, и вы сразу же окажетесь в черном списке, можете не сомневаться в этом.

18. Игра

Это отрывок из статьи Масаноскэ Фукуды «Последние события в мире американского тенниса», напечатанной в «Санди майнити».

«После того как Тилден отрезал себе палец, он стал выступать с потрясающим успехом. Почему же, лишившись пальца, он превратился в лучшего игрока, чем прежде? Главным образом потому, что окреп духом. Чрезвычайно склонный к те-

атральным эффектам, он в прошлом, даже побеждая в матче, стремился, чтобы победа не была слишком уж легкой, и временами, казалось, поддавался сопернику, но в этом году, дав фору в виде пальца, с самого начала игры был предельно собран и смог полностью проявить свою силу...»

Тилден, сумевший повысить мастерство даже после того, как лишился пальца, необходимого, чтобы крепко держать ракетку, поистине великий спортсмен. Но он, которому так был нужен палец, он, который в то же время был так преисполнен духом «игры», что буквально забавлялся над соперником, велик и как человек. Иногда в глубине души я думаю, что, может быть, Тилден с нежностью вспоминает прошлое, наполненное духом «игры».

19. Суэта сует

Я веду беспокойную жизнь литературного поденщика. Заниматься тем, чем бы мне хотелось, некогда. Книги, которые я уже несколько лет хочу прочесть, до сих пор не прочитаны. Раньше мне казалось, что такое может быть только у нас, в Японии. Но недавно прочел книгу о Реми де Турмоне и узнал, что даже на склоне лет он ежедневно писал статью для «Ля Франс» и раз в две недели — беседу для «Меркюр». Значит, и литератор, рожденный во Франции, где так почитают искусство, не может жить в свое удовольствие? Тогда, может быть, и я, рожденный в Японии, ропщу напрасно.

20. Ибаньес

Я слышал, что в Японии побывал Ибаньес. Пробыл он всего несколько дней и ограничился прогулкой по улицам. Среди книг о нем наибольшей известностью пользуется «V. Blasco - Ibanez, Ses romans et le roman de sa vie». Camille Pitollet¹. Но мне не удалось ее прочесть. Пару лет назад я узнал об этой книге в одном из европейских журналов.

«Я пишу романы, потому что не писать не могу... Юношеские годы я провел в тюрьмах. Меня сажали по меньшей мере раз тридцать. Иногда сидел подолгу. Бывало, в стычках меня жестоко избивали. Я подвергался таким физическим мукам,

¹ Его романы — это романы жизни. Камиль Питолле (*фр.*).

какие только может испытать человек. Бывало, оказывался на самом дне бедности. А однажды меня даже избрали депутатом парламента. Был другом турецкого султана. И жил в роскошном дворце. Потом стал промышленником и вертел миллионами. В Америке построил деревню. Я рассказываю об этом, чтобы показать, что могу создавать романы, основывающиеся на жизни. Чтобы показать, что я не пишу их чернилами на бумаге, а создаю всей своей жизнью».

Это слова самого Ибаньеса, приводимые в книге Питолле. Прочтя их, я все равно не думаю, что выдающийся мастер Ибаньес действительно, как он говорит, создавал свои романы «всей своей жизнью». Я убежден, что он просто создает себе рекламу.

21. Капитан

Плывя в Шанхай, я разговорился с капитаном нашего судна «Тикуго-мару». Мы беседовали о насилиях, чинимых партией «Сэйюкай», о «справедливости Ллойд Джорджа. Держа в руках мою визитную карточку, он с интересом посмотрел на меня, слегка наклонив голову.

«Странная фамилия Акута-гава. О-о, газета «Осака майнити», ваша специальность политика и экономика?»

Я ответил ему первое, что пришло в голову.

Через некоторое время мы заговорили о большевизме. Я назвал чью-то статью, как раз в этом месяце появившуюся в «Тюокорон». Но капитан, к сожалению, не был читателем этого журнала.

«Тюокорон», конечно, хороший журнал, но...»

Заявив это, капитан продолжал с кислой миной:

«Слишком много всяких романов там печатается, просто покупать его не хочется. Может, лучше перестать публиковать их?»

Я изобразил на лице сочувствие:

«Вы правы. Романы — бич журнала. Я сам все время думаю, как хорошо, если бы их там не было».

После этого разговора я почувствовал к капитану особое расположение.

22. Сумо

«Лежа в постели, рассказываю жене, что терпеть поражение в сумо недопустимо». Это трехстишие о сумо великого

Бусона. Существуют самые разные толкования слов «терпеть поражение недопустимо». Как видно из «Лекций о трехстишиях Бусона», Кёси Хэкигодо, а за ним и Каку Кимура считают, что эти слова обращены в будущее, как бы констатируя факт: «Поражение в сумо, которое должно состояться завтра, недопустимо, и об этом сумо, потерпеть поражение в котором недопустимо, я рассказываю жене, лежа в постели», — так объясняют они это выражение. Я же всегда, и раньше и теперь, обращал эти слова в прошлое.

«Сегодня потерпел недопустимое поражение в сумо. И вот теперь рассказываю об этом жене, лежа в постели» — так я понимаю выражение, употребленное Бусоном. Если бы эти слова были обращены в будущее, то акценты во фразе были бы расставлены по-другому и построена она была бы иначе. Причем это не вопрос грамматики, а вопрос художественного восприятия — как понимать «недопустимо терпеть поражение». В «Лекциях о трехстишиях Бусона» Сики Масаока и Мэйсэй Найто тоже толкуют эти слова как обращенные в прошлое.

23. «Страшно»

«Страшно хорошо», «страшно холодно» — всего лишь несколько лет назад слово «страшно» стало употребляться в Токио в таком значении. Разумеется, было бы неверно утверждать, что слово «страшно» в Токио вообще не употреблялось. Но раньше оно всегда несло в себе некое отрицательное значение — например, «страшно неподходящий», «страшный беспорядок».

Употребление этого слова в положительном смысле, ставшее таким модным, родилось как диалектное в провинции Микава. Примеры такого употребления жителями Микавы слова «страшно» можно увидеть в поэтическом сборнике «Сарумино», вышедшем в четвертом году Гэнроку.

Осенний ветер
Как страшно ласкает он
Мисканта ветви
Сиин из Микавы

Прошло более двухсот лет, пока слово «страшно» в таком значении пришло из провинции Микава в Эдо. Ничего не поделаешь: «Страшно запоздало».

24. Кошка

В словаре «Гэнкай» слово «кошка» толкуется так:

«Кошка... небольшое домашнее животное. Широко известна. Ласкова, легко приручается. Держат ее потому, что хорошо ловит мышей. Но имеет склонность к воровству. Внешне похожа на тигра, но в длину не достигает и двух сяку...»

Действительно, кошка часто тащит со стола сасими. Но если утверждать, что кошка имеет «склонность к воровству», то есть все основания говорить, что собака имеет склонность к разврату, ласточка — врываться в дом, змея — к запугиванию, бабочка — к странствиям, акула — к убийству. Исходя из этого, составителя словаря «Гэнкай» Фумихико Оцуки можно назвать старым ученым, склонным к злостной клевете на птиц, зверей, рыб и моллюсков.

25. Количество изданий

В Японии число изданий указывается наобум. Мне рассказывали, что один, довольно крупный издатель, преподнося министерству внутренних дел опечатанную всего в двух экземплярах книгу, считал эти экземпляры первым изданием. Даже если эта история и выдумана, все равно происходит издевательство над читателями нашей страны, покупающими книги, когда в целях рекламы широковещательно объявляют: пятидесятое издание, сотое издание.

Совершенно не заслуживает доверия и число изданий, указываемых во Франции. Например, в последние годы жизни Золя двести экземпляров его романа считались одним изданием. Но это порочная практика. И мы, конечно, не должны ее импортировать, как духи или театральные сумочки. Издательство «Меркюр» на каждой выпускаемой книге ставит номер экземпляра. Нам сложно учить «Меркюр», но, несомненно, важнейшая задача профсоюза японских издателей — четко определить, сколько экземпляров составляют одно издание, чтобы называть их число без обмана. Однако я думаю, что этот очевидный способ прекрасно известен достаточно умным руководителям профсоюза издателей. Не прибегают они к нему, видимо забыв горький урок: если хочешь иметь хорошую книгу, выбирай такую, которая имеет мало изданий.

26. Дом

Котаро Хаякава в конце своей книги «Повести, собранные в Ёкояме провинции Сансю», приводит песни-заклинания.

Песня-заклинание против воровства: «Спите, балки, прошу, стропила, пусть все, что должно случиться, привидится во сне».

Песня-заклинание против огня: «Застывшие опоры, ледяные стропила, лежащие на снежных брусьях, крыша, залитая дождем, покрытая инеем».

Во всех песнях люди древности видели свою жизнь в «доме» и отождествляли с ним свое благополучие. Это чувство давным-давно умерло в нас. А те, кто родится после нас, прочитав эти песни-заклинания, вообще останутся равнодушными. А может быть, эти песни заставят их, настроивших железобетонные жилища, вспомнить притулившиеся у горы крытые тростником домишки.

Продолжаю рекламу. «Повести, собранные в Ёкояме провинции Сансю» Хаякавы — это самое интересное собрание преданий после «Повествований, собранных в Тоно» Кунио Янагиды. Они вышли в издательстве «Кёдо кэнкюся» и стоят всего семьдесят сэн. Я не знаком с Хаякавой и, разумеется, рекламирую «Повести» не по его просьбе.

Примечание. Лет сорок-пятьдесят назад подобные песни-заклинания существовали и в Токио: «Спите, балки, прошу, стропила, слушайте и вы, брусья, на рассвете в шесть часов поднимите меня».

27. «Страшно». Продолжение

«Страшно» в положительном смысле не токийское словечко. Раньше в Токио оно употреблялось лишь в отрицательном смысле: «страшно неподходящий». Но с недавнего времени стало употребляться и в положительном. Например, «страшно красивый», «страшно вкусный». Я уже говорил, что «страшно» в положительном смысле употребляется в «Сарумино». После этого Акахико Симаги обратил мое внимание на то, что «страшно» входит и в другие словосочетания.

Осенний ветер
Как страшно он ласкает
Мисканта ветви
Синн из Микавы

Недавно, читая подряд все, что попадало по руку, я наткнулся на такое «страшно» в разделе «Весна» из сборника трехстиший «Весна, лето, осень, зима. Продолжение».

Как страшно многолики
Куклы хина
Которых можно в городе купить
Каё

Судя по подписи, Сиин, живший в эпоху Гэнроку, был родом из провинции Микава. Интересно, из какой провинции был Каё, живший в эпоху Мэйдзи?

28. Дзёсо

Вряд ли нужно говорить, как много выдающихся поэтов были учениками Басё. Если же говорить о том, кто наиболее полно повторил путь Басё, то нужно в первую очередь назвать Найто Дзёсо. Во всяком случае, никто из учеников Басё не передал так, как он, в своих трехстишиях саби, которое мы находим у Басё. Недавно я прочел «Сборник Дзёсо», составленный Бэттэйро Нодой, и это чувство во мне окрепло еще больше (вступление опускаю).

Грязное деревянное изголовье
Снег еще не стаявший
В горах Ибуки

Охара
Кружатся, кружатся бабочки
Луна в тумане

Ветер в долине
Бредут по Аоте странники
Гости моей хижины

Горная деревушка
На маленькой ширме
Прохладно на сердце

Растревоженные громом
Порхают порхают
Бабочки-медведицы

Светлячки вылетают
Из густой травы
Шелест крыльев

Яркий полдень
Точно петушиный гребень
Приятная дремота

Больному неуютно
Словно лежит на колотушке колокола
Зябкая ночь

Бедняжка стрекоза
Залетела в мухоловку
Круглую как шляпа

До самого рассвета
Сквозь пелену дождя
Мерцают две звезды

Огонь от поленьев
Подарил нам
пять-шесть сяку рассвета

Эти трехстишия несут в себе не только саби. Они так разнообразны, каждое из них так неповторимо, что это свидетельствует об огромной мощи их создателя. Мне кажется, Кито был слишком самонадеян, насмехаясь над Дзёсо.

29. «Кэса и Морито»

После публикации в апрельском номере «Тюокорона» моей новеллы в форме двух монологов «Кэса и Морито» я получил такое письмо от одного осакца. «Кэса — героическая женщина, движимая чувством долга перед Ватару и любовью Морито, она пошла на смерть, чтобы сохранить верность мужу. Писать же так, будто у нее с Морито была любовная связь, несправедливо по отношению к героической Кэса, такое толкование может отрицательно сказаться на воспитании народа. В ваших же интересах я не приемлю его».

Я сразу же ответил тому человеку, что любовная связь Кэса и Морита не моя выдумка. В «Записках о расцвете и падении

домов Минамото и Таира» сказано совершенно точно: «Войдя в комнату, он лег рядом с ней. Ночь промелькнула как мгновение».

Многие почему-то умалчивают об этом и объявляют героиню новеллы, несомненно достойную сострадания, героической женщиной. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что вина за искажение исторических фактов лежит не на мне, написавшем эту новеллу, а на нещадно ругающих ее буржуа. Проблему искажения исторических фактов я не считаю столь уж серьезной, хотя в данном случае следовал им. Конечно, если найдется исследователь, который докажет, что история, рассказанная в «Записках», ложь, я в любое время с покорностью готов принять обвинение в искажении исторических фактов.

30. Будущее

Я не надеюсь остаться в веках.

Суждения публики часто не попадают в цель. А уж о нынешней публике и говорить нечего. История показывает, насколько жители Афин времен Перикла и жители Флоренции эпохи Возрождения далеки от идеальной публики. Если такая сегодняшняя и вчерашняя публика, то чего же ждать от суждений публики завтрашней? Не могу, к сожалению, не высказать сомнения, что она и через много веков окажется способной отделить золото от песка.

Далее, существование идеальной публики возможно, но возможно ли существование в мире искусств абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это лишь мои сегодняшние глаза, но отнюдь не завтрашние. Кроме того, само собой разумеется, мои глаза — это глаза японца, а не глаза европейца. Почему же я должен верить, что существует красота, преодолевающая время и пространство. Правда, пламя дантового ада и сегодня заставляет содрогаться детей Востока. Но это пламя закрывает от нас стеной тумана Италию четырнадцатого века.

Я самый обыкновенный литератор. И даже если существует общее понятие красоты, которую безошибочно оценят будущие поколения, прятать свои произведения в тайнике, чтобы они дождались своего времени, не собираюсь. Могу сказать со всей определенностью, что не рассчитываю на признание в будущем.

Я временами думаю, что через двадцать или через пятьдесят, а тем более через сто лет о моем существовании уже никто не будет знать. К тому времени мои книги, покрытые толстым слоем пыли, будут тщетно ждать читателя на дальней полке букинистического магазина на Канде. А может быть, единственный оставшийся в библиотеке томик станет пищей безжалостных книжных червей и так будет ими истерзан, что станет неудобочитаемым. И все же...

Я думаю — и все же.

И все же вдруг кто-то случайно увидит мою книгу и прочтет коротенькую новеллу или хотя бы несколько строк из нее. Я лелею дерзкую мечту — а что, если моя новелла или несколько строк заставят незнакомого мне будущего читателя испытать эстетическое наслаждение?

Но я не надеюсь остаться в веках. Поэтому понимаю, как противоречит эта дерзкая мечта тому, в чем я убежден.

И все же продолжаю мечтать. Мечтать о том, что минут мрачные столетия и появится читатель, который возьмет в руки мою книгу. И перед его мысленным взором смутно, точно мираж, возникнет мой образ.

Я отдаю себе отчет в том, что умные люди посмеются над моей глупостью. Но смеяться над собой я могу не хуже других. Только смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за слабование, заставляющее лелеять эту глупую мечту. А вместе с собой жалею всех слабовольных людей.

31. «Давние времена»

Среди моих новелл много таких, в которых рассказывается о давних временах, и меня попросили объяснить, с каких позиций я использую сюжеты из давних времен. «Позиция» звучит слишком напыщенно, но я употребляю это слово совсем не потому, что хочу обладать такой важной вещью, как «позиция». Единственное мое желание — попытаться объяснить, что я понимаю под «давними временами», другими словами — какую они играют роль в моих произведениях. Я не собираюсь становиться в позу поучающего и прошу лишь выслушать меня, исходя именно из этого.

В сказках, если они японские, написано: «давным-давно» или «не сейчас, а в давние времена». Если они европейские, то: «во времена, когда звери еще разговаривали»

или «во времена, когда пояс прял». Почему в сказках говорится именно так? Почему не «сейчас»? Потому что обращение к давним временам — предварительное условие, чтобы описываемое стало возможным. Ведь происходящее в сказках всегда удивительно. Поэтому создателям сказок было не с руки делать их ареной сегодняшней день. Неверно говорить, что сегодняшний день ни в коем случае не подходит, нет — просто давние времена намного удобнее. Достаточно сказать «давным-давно», и, поскольку это были незапамятные времена, мальчик-с-пальчик и лучезарная дева, родившаяся в стволе бамбука, не вызывают недоверия. Главное начать со слов «давным-давно».

Если видеть в этом источник слов «давным-давно», то я черпаю материал из давних времен, следуя той же необходимости, которая заставляет прибегать к этим словам в сказках. Для того чтобы с максимальной художественной силой раскрыть тему, необходимо какое-то необычное событие. В этом случае необычное событие только потому, что оно необычное, очень трудно описать как событие, происшедшее в сегодняшней Японии, и, если даже приложить большие усилия и попытаться сделать это, у читателя все равно возникнет ощущение неестественности, в результате тема будет загублена. Средство преодолеть это, как показывают слова «очень трудно описать как событие, происшедшее в сегодняшней Японии», — либо перенести события в давние времена (реже в будущее), либо вынести их за пределы сегодняшней Японии, либо за пределы Японии давних времен; других способов нет. Мои новеллы, в которых материал почерпнут из давних времен, вызваны к жизни той же необходимостью — я переношу действие в давние времена, чтобы избежать их неестественности.

Однако в отличие от сказок новеллы по самой своей сути требуют не только слов «давным-давно». Они определяют лишь границы периода. Следовательно, возникает необходимость, чтобы в определенной степени удовлетворить ощущение естественности, нарисовать и социальную обстановку того периода. Поэтому мои так называемые исторические новеллы всегда отличаются тем, что их цель не состоит в воссоздании «давних времен». В этом-то все дело. Хочу добавить — хотя я и пишу новеллы о событиях, происшедших «давным-давно», я не испытываю никакой ностальгии по тем временам.

Я благодарен судьбе, что родился не в Хэйанскую эпоху, не в эпоху Эдо, а в сегодняшней Японии.

Хочу еще добавить: я сказал, что иногда для раскрытия темы возникает необходимость в необычном событии, но кроме этого, как мне представляется, срабатывает еще и мой интерес ко всему необычному. Помимо стремления сделать так, чтобы не возникало ощущения неестественности от необычного события, я зачастую переношу действия в давние времена еще и потому, что для меня большое значение имеет и сама прелесть этих давних времен. Однако главная роль, которую давние времена играют в моих произведениях, — это музыка фраз «во времена, когда пояс прял» или «во времена, когда звери еще разговаривали».

32. Литература заката эпохи Токугава

Утверждают, что литература заката эпохи Токугава была несерьезной. Возможно, она и в самом деле была несерьезной. Но у меня возникает вопрос, знали ли жизнь создатели этой литературы. Разве они, люди бывалые, не представляли себе, сколь мрачна жизнь человека? Разве они, чтобы уйти от такой жизни (может быть, даже бессознательно), не прибегали к бесчисленным шуткам, остроумам? Достаточно прочесть хотя бы об одном из них, например книгу Гайкоцу Миятакэ «Санто Кёдэн». Непостижимо, чтобы тот же Санто Кёдэн, прожив ту жизнь, которую он прожил, не заметил, как она мрачна.

Это относится не только к создателям кибёси и сярэбон. Я думаю, что даже Сикитэй Самба не верил в выдвинутый им принцип поощрения добродетели и наказания порока. Хотя, может быть, и старался изо всех сил поверить в него. Но судя по «Дневникам Бакина», составленным Косоном Аэбой, сам Бакин не мог не заметить своей противоречивости. Помнится, Огай Мори-сэнсэй в послесловии к «Дневникам Бакина» писал: «Бакин, ты был счастлив. Ты смог поверить в путь, начертанный добрыми старыми императорами». Но я думаю, что сам Бакин не верил в него.

Если спросить, лживы ли их произведения, то следует ответить: лживы все до одного. Можно сказать, что они, обманывая себя, обманывали и людей. Но в них был гимн добру и красоте. Эпоха, в которую они жили, напоминала эпоху господства во Франции стиля рококо и одновременно была эпо-

хой наполнения прекрасным даже самой обыденной жизни. Если говорить о прекрасном, то их произведения буквально переполнены духом прекрасного (разумеется, несколько декадентского).

Я не питаю особого почтения к так называемому духу Эдо, к прелестям этой эпохи. Не склоняю голову перед произведениями того времени. Но было бы несправедливо ограничиться высмеиванием произведений писателей той эпохи как «легковесных». Если их «шуточные» произведения рассматривать как «серьезные», то действительно возникнет масса вопросов в связи с входящими в их число кибёси и сярэбон. Нет, мы не должны соглашаться с теми, кто восторгается такими произведениями. Но не должны с легким сердцем согласиться и с теми, кто их высмеивает.

ЖИЗНЬ ИДИОТА

Масао Кумэ-кун!

Хочу поручить тебе публикацию этой рукописи, если, разумеется, ты сочтешь это целесообразным, и полностью полагаюсь на тебя в выборе времени и места публикации.

Большинство людей, упомянутых в рукописи, тебе, видимо, известны. Поэтому при публикации мне не хотелось бы снабжать ее индексом.

Я живу сейчас в счастливом несчастье. Но, как ни странно, я ни в чем не раскаиваюсь. Лишь испытываю жалость к тем, для кого я был плохим мужем, плохим сыном, плохим отцом. Итак, прощай. В своей рукописи я, по крайней мере сознательно, не пытался заниматься самооправданием.

И последнее. Я поручаю эту рукопись именно тебе, потому что ты, как мне кажется, знаешь меня лучше всех (Содрав с меня шкуру цивилизованного человека, посмейся над моим идиотизмом, который ты обнаружишь в рукописи).

Рюноскэ Акутагава

20 июня 1927 года

1. Эпоха

Это было на втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцатилетний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал

новые книги. Мопассан, Бодлер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой...

Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением продолжал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не просто книги, перед ним словно бы открывался «конец века». Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...

Борясь с сумраком, он разбирал их имена. Но книги стали понемногу погружаться в угрюмый мрак. Наконец рвение его иссякло, он уже собрался было спуститься с лестницы. В эту минуту как раз над его головой внезапно загорелась электрическая лампочка без абажура. Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они казались какими-то жалкими.

— Человеческая жизнь не стоит и строки Бодлера...

Некоторое время он смотрел с лестницы вниз — на них, таких вот...

2. Мать

Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышинного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала.

Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери.

— Что ж, пойдём!

Врач повел его по коридору в одну из комнат. Там в углу стояли большие стеклянные банки с заспиртованным мозгом. На одном он заметил легкий белесый налет. Как будто разбрызгали яичный белок. Разговаривая с врачом, он еще раз вспомнил свою мать.

— Человек, которому принадлежал этот мозг, был инженером N-ской электрической компании. Он считал себя большой черной блестящей динамо-машиной.

Избегая взгляда врача, он посмотрел в окно. Там ничего не было видно, кроме кирпичной ограды, усыпанной сверху осколками битых бутылок. Но и они бросали смутные белесые отблески на редкий мох.

3. Семья

Он жил за городом в доме с мезонином. Из-за рыхлого грунта мезонин как-то странно покосился.

В этом доме его тетушка часто ссорилась с ним. Случалось, что мирить их приходилось его приемным родителям. Но он любил тетушку больше всех. Когда ему было двенадцать, тетушка, которая так и осталась не замужем, была уже шестидесятилетней старухой.

Много раз в мезонине за городом он размышлял о том, всегда ли те, кто любит друг друга, друг друга мучают. И все время у него было неприятное чувство, будто покосился мезонин.

4. Токио

Над рекой Сумидагава навис угрюмый туман. Из окна бегущего пароходика он смотрел на вишни острова Мукодзима.

Вишни в полном цвету казались ему мрачными, как развешанные на веревке лохмотья. Но в этих вишнях — в вишнях Мукодзими, посаженных еще во времена Эдо, — он некогда открыл самого себя.

5. Я

Сидя с одним старшим товарищем за столиком в кафе, он непрерывно курил. Мало говорил. Но внимательно прислушивался к словам товарища.

— Сегодня я полдня ездил в автомобиле.

— По делам?

Облокотившись о стол, товарищ самым небрежным тоном ответил:

— Нет, просто захотелось покататься!

Эти слова раскрепостили его — открыли доступ в неведомый ему мир, близкий к богам мир «я». Он почувствовал какую-то боль. И в то же время ощущал радость.

Кафе было очень маленькое. Но из-под картины с изображением Пана свешивались толстые мясистые листья каучукового деревца в красном вазоне.

6. Болезнь

При непрекращающемся ветре с моря он развернул английский словарь и водил пальцем по словам.

«talara — обувь с крыльями, сандалии.

tale — рассказ.

talipot — пальма, произрастающая в восточной Индии. Ствол от пятидесяти до ста футов высоты, листья идут на изготовление зонтиков, вееров, шляп. Цветет раз в семьдесят лет...»

Воображение ясно нарисовало ему цветок этой пальмы. В эту минуту он почувствовал в горле незнакомое ему до того ощущение, нечто похожее на зуд, и невольно выплюнул на словарь слюну.

Слюну? Но это была не слюна.

Он подумал о краткости жизни и еще раз представил себе цветок пальмы, гордо высящейся далеко за морем...

7. Картина

Он внезапно... Это было действительно внезапно... Он стоял перед витриной одного книжного магазина и, рассматривая собрание картин Ван Гога, внезапно понял, что такое живопись. Разумеется, это были репродукции. Но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы.

Увлечение этими картинами заставило его взглянуть на все по-новому. С некоторых пор он все чаще стал обращать пристальное, особое внимание на изгибы древесных веток и округлость женских щек.

Однажды в дождливые осенние сумерки он шел за городом под железнодорожным виадуком. У насыпи за виадуком остановилась ломовая телега. Проходя мимо, он почувствовал, что по этой дороге до него уже кто-то прошел. Кто? Ему незачем было спрашивать себя об этом.

Он, двадцатитрехлетний, внутренним взором видел, как этот мрачный пейзаж окинул пронизывающим взором голландец с обрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах...

8. Искра

Он шагал под дождем по асфальту. Дождь был довольно сильный. В заполнившей все кругом водяной пыли он чувствовал запах резинового макинтоша.

И вот в проводах высоко над его головой вспыхнула лиловая искра. Он как-то странно взволновался. В кармане пиджака лежала рукопись, которую он собирался отдать в журнал своих друзей. Идя под дождем, он еще раз оглянулся на провода.

В проводах по-прежнему вспыхивали яркие искры. Во всей человеческой жизни он не мог бы назвать, чего ему особенно хотелось бы. Но эта лиловая искра.. Только эту жуткую искру в воздухе он мечтал схватить — хотя бы ценой жизни.

9. Труп

У трупа на большом пальце болталась на проволоке бирка. На бирке значились имя и возраст. Какой-то человек, нагнувшись, ловко орудовал скальпелем, вскрывая кожу на лице одного из трупов. Под кожей был красивый желтый жир.

Он смотрел на труп. Это ему нужно было для новеллы — той новеллы, где действие происходило в давние времена. Трупное зловоние, похожее на запах гнилого абрикоса, было неприятно. Его друг, нахмурившись, медленно двигал скальпелем.

— В последнее время трупов не хватает, — сказал человек.

Тогда как-то сам собой у него сложился ответ: «Если бы мне не хватало трупов, я без всякого злого умысла совершил бы убийство». Но, конечно, этот ответ остался невысказанным.

10. Учитель

Под большим дубом он читал книгу учителя. На дубе в сиянии осеннего дня не шевелился ни один листок.

Где-то далеко в вебе в полном равновесии покоятся весы со стеклянными чашами — при чтении книги учителя ему чудилась такая картина...

11. Рассвет

Понемногу светало. Он окинул взглядом большой рынок на углу улицы. Люди, толпившиеся на рынке, и повозки окрасились в розовый цвет.

Он закурил и медленно направился к центру рынка. Вдруг на него залаяла какая-то маленькая черная собака. Но он не испугался. Больше того, даже эта собачка была ему приятна.

В самом центре рынка широко раскинул свои ветви платан. Он стал у ствола и сквозь ветви посмотрел вверх, на высокое небо. В небе, как раз над его головой, сверкала звезда.

Это случилось, когда ему было двадцать пять лет, — на третий месяц после встречи с учителем.

12. Военный порт

В подводной лодке было полутемно. Скорчившись среди заполнявших все кругом механизмов, он смотрел в маленький окуляр перископа. В окуляре отражался залитый светом порт.

— Отсюда, вероятно, виден «Конго»? — обратился к нему один флотский офицер.

Глядя на крошечные военные суда в четырехугольной линзе, он почему-то вдруг вспомнил сельдерей. Слабо пахнувший сельдерей на порции бифштекса в тридцать сэн.

13. Смерть учителя

Он прохаживался по перрону одной новой станции. После дождя поднялся ветер. Было еще полутемно. За перроном несколько железнодорожных рабочих дружно подымали и опускали кирпичи и что-то громко пели.

Ветер, поднявшийся после дождя, унес песню рабочих и с нею — его настроение. Он не зажигал папиросы и испытывал

не то страдание, не то радость. В кармане его пальто лежала телеграмма: «Учитель при смерти...»

Из-за горы Мацуяма, выпуская тонкий дымок, извиваясь, приближался утренний шестичасовой поезд на Токио.

14. Брак

На другой день после свадьбы он выговаривал жене: «Не следовало делать бесполезных расходов!» Но выговор исходил не столько от него, сколько от тетушки, которая велела: «Скажи ей!» Жена извинилась не только перед ним — это само собой, — но и перед тетушкой. Извинилась возле купленного для него вазона с бледно-желтыми нарциссами...

15. Они

Они жили мирной жизнью, в тени раскидистых листьев большого банана... Ведь их дом был в прибрежном городке, в целом часе езды от Токио.

16. Подушка

Он читал Анатоля Франса, подложив под голову благоухающий ароматом роз скептицизм. Он не заметил, как в этой подушке завелся кентавр.

17. Бабочка

В воздухе, напоенном запахом водорослей, радужно переливалась бабочка. Один лишь миг ощущал он прикосновение ее крыльев к пересохшим губам. Но пыльца крыльев, осевшая на его губах, радужно переливалась еще много лет спустя.

18. Луга

На лестнице отеля он случайно встретился с ней. Даже тогда, днем, ее лицо казалось освещенным луной. Провожая ее взглядом (они ни разу раньше не встречались), он почувствовал незнакомую ему доселе тоску...

19. Искусственные крылья

От Анатоля Франса он перешел к философам XVIII века Но за Руссо не принимался. Может быть, оттого, что сам он одной стороной своего существа — легко воспламеняющейся стороной — был близок к Руссо. Он взялся за автора «Кандида», к которому был близок другой стороной — стороной, полной холодного разума.

Для него, двадцатидевятилетнего, жизнь уже нисколько не была светла. Но Вольтер наделил его, вот такого, искусственными крыльями.

Он расправил эти искусственные крылья и легко-легко взвился ввысь. Тогда залитые светом разума радости и горести человеческой жизни ушли из-под его взора.

Роняя на жалкие улицы иронию и насмешку, он поднимался по ничем не огражденному пространству прямо к солнцу. Словно забыв о древнем греке, который упал и погиб в море оттого, что сияние солнца растопило его точь-в-точь такие же искусственные крылья...

20. Кандалы

Он и жена поселились в одном доме с его приемными родителями. Это произошло потому, что он решил поступить на службу в редакцию одной газеты. Он полагался на договор, написанный на листке желтой бумаги. Но впоследствии оказалось, что этот договор, ничем не обязывая издательство, налагает обязательство на него одного.

21. Дочь сумасшедшего

Двое рикш в пасмурный день бежали по безлюдной проселочной дороге. Дорога вела к морю, это было ясно хотя бы по тому, что навстречу дул морской ветер. Он сидел во второй коляске. Подозревая, что в этом «рандеву» не будет ничего интересного, он думал о том, что же привело его сюда. Несомненно, не любовь... Если это не любовь, то... Чтобы избегнуть ответа, он стал думать: «Как бы то ни было, мы равны».

В первой коляске ехала дочь сумасшедшего. Кстати: ее младшая сестра из ревности покончила с собой.

— Теперь ничего не поделаешь...

Он уже питал к этой дочери сумасшедшего — к ней, в которой жили только животные инстинкты, — какую-то злобу.

В это время рикши пробегали мимо прибрежного кладбища. За изгородью, усеянной устричными раковинами, чернели надгробные памятники. Он смотрел на море, которое тускло поблескивало за этими памятниками, и вдруг почувствовал презрение к ее мужу, — мужу, не завладевшему ее сердцем.

22. Некий художник

Это была журнальная иллюстрация. Но рисунок тушью, изображавший петуха, носил печать удивительного своеобразия. Он стал расспрашивать о художнике одного из своих приятелей.

Неделю спустя художник зашел к нему. Это было замечательным событием в его жизни. Он открыл в художнике никому не ведомую поэзию. Больше того, он открыл в самом себе душу, о которой не знал сам.

Однажды в прохладные осенние сумерки он, взглянув на стебель маиса, вдруг вспомнил этого художника. Высокий стебель подымался, ощетинившись жесткими листьями, а вспученная земля обнажала его тонкие корни, похожие на нервы. Разумеется, это был его собственный портрет, его, так легко ранимого. Но подобное открытие его лишь омрачило. «Поздно. Время упущено...»

23. Она

Начинало смеркаться. Несколько взволнованный, он шел по площади. Большие здания сияли освещенными окнами на фоне слегка посеребренного неба

Он остановился на краю тротуара и стал ждать ее. Через пять минут она подошла. Она показала ему осунувшейся. Взглянув на него, она сказала: «Устала!» — и улыбнулась. Плечо к плечу, они пошли по полутемной площади. Так было в первый раз. Чтобы побыть с ней, он рад был бросить все.

Когда они сели в автомобиль, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы не раскаиваетесь?» Он искренне ответил: «Нет». Она сжала его руку и сказала: «Я не раскаиваюсь, но...» Ее лицо и тогда казалось озаренным луной.

24. Роды

Стоя у фусума, он смотрел, как акушерка в белом халате моет новорожденного. Каждый раз, когда мыло попадало в глаза, младенец жалобно морщил лицо и громко кричал. Чувствуя запах младенца, похожий на мышиный, он не мог удержаться от горькой мысли: «Зачем он родился на этот свет, полный житейских страданий? Зачем судьба дала ему в отцы такого человека, как я?»

А это был первый мальчик, которого родила его жена.

25. Стриндберг

Стоя в дверях, он смотрел, как в лунном свете среди цветущих гранатов какие-то неопрятного вида китайцы играют в «Мацзян». Потом он вернулся в комнату и у низкой лампы стал читать «Исповедь глупца». Но не прочел и двух страниц, как на губах его появилась горькая улыбка. И Стриндберг в письме к графине — своей любовнице — писал ложь, мало чем отличающуюся от его собственной лжи.

26. Древность

Облупленные будды, небожители, кони и лотосы почти совсем подавили его. Глядя на них, он забыл все. Даже свою собственную счастливую судьбу, которая вырвала его из рук дочери сумасшедшего...

27. Спартанская выучка

Он шел с товарищем по переулку. Навстречу им приближался рикша. А в коляске с поднятым верхом неожиданно оказалась она, вчерашняя. Ее лицо даже сейчас, днем, казалось озаренным лунной. В присутствии товарища они, разумеется, даже не поздоровались.

— Хороша, а? — сказал товарищ.

Глядя на весенние горы, в которые упиралась улица, он без запинки ответил:

— Да, очень хороша

28. Убийца

Проселочная дорога, полого подымавшаяся в гору, нагретая солнцем, воняла коровьим навозом. Он шел по ней, утирая пот. По сторонам подымался душистый запах зрелого ячменя.

«Убей, убей...» Как-то незаметно он стал повторять про себя это слово. Кого? Это было ему ясно. Он вспомнил того гнусного, коротко стриженного человека.

За пожелтевшим ячменем показался купол католического храма...

29. Форма

Это был железный кувшинчик. Этот кувшинчик с мелкой насечкой открыл ему красоту формы.

30. Дождь

Лежа в постели, он болтал с ней о том, о сем. За окном спальни шел дождь. Цветы от этого дождя, видимо, стали гнить. Ее лицо по-прежнему казалось озаренным луной. Но разговаривать с ней ему было скучновато. Лежа на животе, он не спеша закурил и подумал, что встречается с ней уже целых семь лет.

«Люблю ли я ее?» — спросил он себя. И его ответ даже для него, внимательно наблюдавшего за самим собой, оказался неожиданным: «Все еще люблю».

31. Великое землетрясение

Чем-то это напоминало запах перезрелого абрикоса. Проходя по пожарищу, он ощущал этот слабый запах и думал, что запах трупов, разложившихся на жаре, не так уж плох. Но когда он остановился перед прудом, заваленным грудой тел, то понял, что слово «ужас» в эмоциональном смысле отнюдь не преувеличение. Что особенно потрясло его — это трупы двенадцати-тринадцатилетних детей. Он смотрел на эти трупы и чувствовал нечто похожее на зависть. Он вспомнил слова: «Те, кого любят боги, рано умирают». У его старшей сестры и у сводного брата — у обоих сгорели дома. Но мужу его стар-

шей сестры отсрочили исполнение приговора по обвинению в лжесвидетельстве.

«Хоть бы все умерли!» Стоя на пожарище, он не мог удержаться от этой горькой мысли.

32. Ссора

Он подрался со своим сводным братом. Несомненно, что брат из-за него то и дело подвергался притеснениям. Зато он сам, без сомнения, терял свободу из-за брата. Родственники постоянно твердили брату: «Бери пример с него». Но для него самого это было все равно, как если бы его связали по рукам и ногам. В драке они покатались на самый край галереи. В саду за галереей — он помнил до сих пор — под дождливым небом пышно цвел красными пылающими цветами куст индийской сирени.

33. Герой

Из окна дома Вольтера он смотрел однажды на возвышавшуюся перед ним гору. На покрытой ледником горе не было видно ни одного грифа. Какой-то низкорослый русский в одиночестве упорно взбирался вверх по горячей тропе.

После того как опустилась ночь, он, сидя в доме Вольтера под яркой лампой, написал такое тенденциозное стихотворение. При этом он вспоминал того русского, взбиравшегося вверх по горной тропе.

Ты как никто соблюдавший десять заповедей
Был тем кто чаще всех нарушал десять заповедей
Ты как никто любивший народ
Был тем кто больше всех пренебрегал народом.

Ты как никто горевший идеалами
Был тем кто лучше всех знал действительность

Ты — благоухающий цветами электровоз
Рожденный нашим Востоком.

34. Колорит

В тридцать лет он обнаружил, что как-то незаметно для себя полюбил один пустырь. Там только и было что множество кир-

пичных и черепичных обломков, валявшихся во мху. Но в его глазах этот пустырь ничем не отличался от пейзажа Сезанна

Он вдруг вспомнил свое прежнее увлечение — семь-восемь лет назад. И в то же время понял, что тогда он не знал, что такое колорит.

35. Рекламный манекен

Он хотел жить так неистово, чтоб можно было в любую минуту умереть без сожаления. И все же продолжал вести скромную жизнь со своими приемными родителями и теткой. Поэтому в его жизни были две стороны, светлая и темная. Как-то раз в магазине европейского платья он увидел манекен и задумался о том, насколько он сам похож на него. Но его подсознание — его второе «я» — давно уже воплотило это его ощущение в одном из его рассказов.

36. Усталость

Он шел с одним студентом по полю, поросшему мискантом.

— У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?

— Да... Но ведь и у вас...

— У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но...

Он искренне чувствовал именно это. Он действительно как-то незаметно потерял интерес к жизни.

— Жажда творчества — это тоже жажда жизни.

Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.

37. «Человек из Хокурику»

Однажды он встретился с женщиной, которая не уступала ему в таланте. Но он написал «Человека из Хокурику» и другие лирические стихотворения и сумел избежать грозящей ему опасности влюбиться. Однако это вызвало горечь, будто он стяхнул примерзший к стволу дерева сверкающий снег.

По ветру катится сугэгаса
И упадет на пыльную дорогу
К чему жалеть об имени моем
Оплакивать — твое лишь имя

38. Мщение

Это было на балконе отеля, стоявшего среди зазеленевших деревьев. Он забавлял мальчика, рисуя ему картинки. Сына дочери сумасшедшего, с которой разошелся семь лет назад.

Дочь сумасшедшего курила и смотрела на их игру. С тяжелым сердцем он рисовал поезда и аэропланы. Мальчик, к счастью, не был его сыном. Но называл его «дядей», что было мучительней всего.

Когда мальчик куда-то убежал, дочь сумасшедшего, затягиваясь сигаретой, кокетливо сказала:

— Разве этот ребенок не похож на вас?

— Ничуть не похож... Во-первых..

— Это, кажется, называется «воздействием в утробный период»?

Он молча отвел глаза. Но в глубине души у него невольно поднялось жгучее желание задушить ее.

39. Зеркала

Сидя в углу кафе, он разговаривал с приятелем. Приятель ел печеное яблоко и говорил о погоде, о холодах, наступивших в последние дни. Он сразу уловил в его словах какую-то недоговоренность.

— Ты ведь еще холост?

— Нет, в будущем месяце женюсь.

Он невольно замолчал. Зеркала в стенах отражали его бесчисленное множество раз. Будто чем-то холодно угрожали...

40. Диалог

— Отчего ты нападаешь на современный общественный строй?

— Оттого, что я вижу зло, порожденное капитализмом.

— Зло? Я думал, ты не признаешь различия между добром и злом. Ну а твой образ жизни?

...Так он беседовал с ангелом. Правда, с ангелом, на котором был безупречный цилиндр...

41. Болезнь

На него напала бессонница. Вдобавок начался упадок сил. Каждый врач ставил свой диагноз. Кислотный катар, атония кишечника, сухой плеврит, неврастения, хроническое воспаление суставов, переутомление мозга...

Но он сам знал источник своей болезни. Это был стыд за себя и вместе с тем страх перед ними. Перед ними — перед обществом, которое он презирал!

Однажды в пасмурный, мрачный осенний день, сидя в углу кафе с сигарой в зубах, он слушал музыку, льющуюся из граммофона. Эта музыка как-то странно проникала ему в душу. Он подождал, пока она кончится, подошел к граммофону и взглянул на этикетку пластинки.

«Magic Flute» — Mozart¹.

Он мгновенно понял. Моцарт, бросивший вызов своему времени, несомненно, тоже страдал. Но вряд ли так, как он... Понурив голову, он медленно вернулся к своему столу.

42. Смех богов

Он, тридцатипятилетний, гулял по залитому весенним солнцем сосновому бору, вспоминая слова, написанные им два-три года назад: «Боги, к несчастью, не могут, как мы, совершить самоубийство».

43. Ночь

Снова надвинулась ночь. В сумеречном свете над бурным морем непрерывно взлетали клочья пены. Под таким небом он вторично обручился со своей женой. Это было для них радостью. Но в то же время это было и мукой. Трое детей вместе с ними смотрели на молнии над морем. Его жена держала на руках ребенка и, казалось, едва сдерживала слезы.

— Там, кажется, видна лодка?

— Да.

— Лодка со сломанной мачтой.

¹ «Волшебная флейта» — Моцарт (англ.).



Рюноскэ Акутагава.

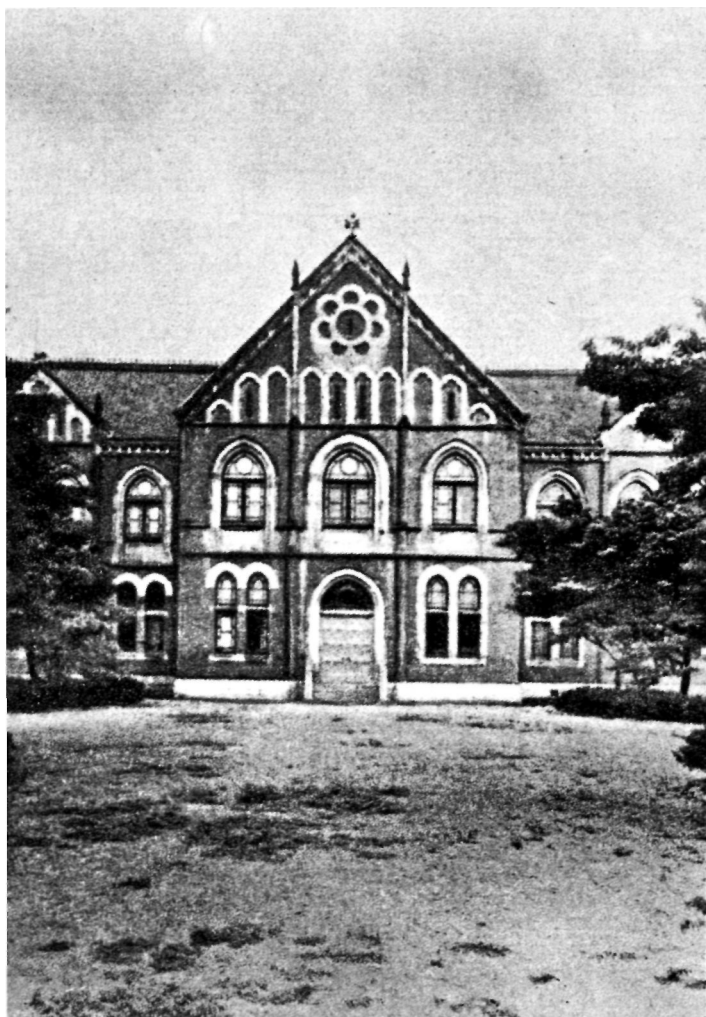




Акутагава
с приемной
матерью.

В школьные
годы.

Район Токио,
где жил
Акутагава

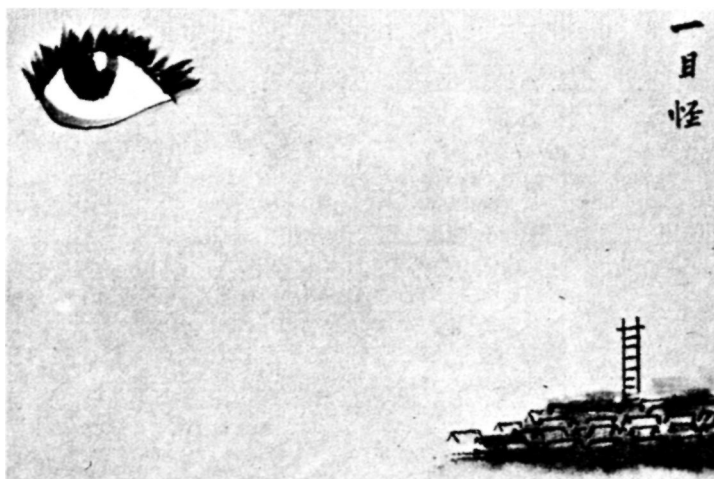


Литературный факультет Токийского университета,
в котором учился Акутагава.



Пруд в университетском дворе.

Акутагава (второй справа) со своими товарищами,
издававшими журнал «Синситё».

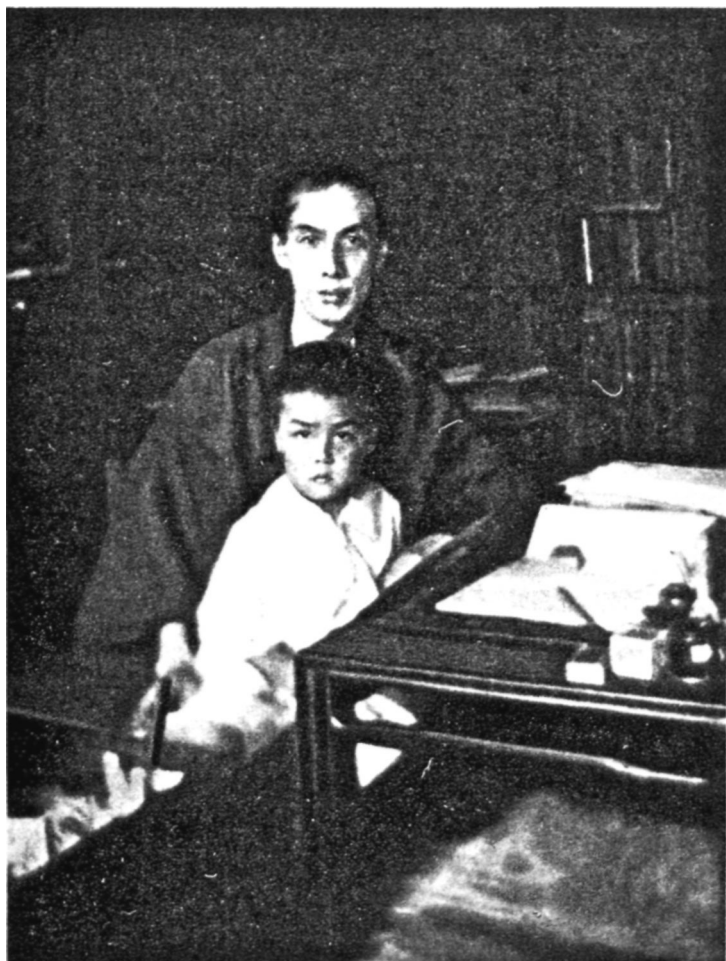


Рисунки
Акутагавы.





Жена Акутагавы (в центре) с сестрами.



Акутагава с сыном Хироси.



Дом в Табате.



Кабинет в Табате.



Во время путешествия в Китай.



Последняя фотография Акутагавы.

44. Смерть

Воспользовавшись тем, что спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти; но не потому, что боялся предсмертных страданий. Он решил проделать это еще раз и, в виде опыта, проверить по часам, когда наступит смерть. И вот, после легкого страдания, он стал погружаться в забытие. Если бы только перешагнуть через него, он, несомненно, вошел бы в смерть. Он посмотрел на стрелки часов и увидел, что его страдания длились одну минуту и двадцать с чем-то секунд. За окном было совершенно темно. Но в этой тьме раздался крик петуха.

45. «Divan»

«Divan» еще раз влил ему в душу новые силы. Это был неизвестный ему «восточный Гёте». Он видел Гёте, спокойно стоящего по ту сторону добра и зла, и чувствовал зависть, близкую к отчаянию. Поэт Гёте в его глазах был выше Христа. В душе у этого поэта были не только Акрополь и Голгофа, в ней расцвели и розы Аравии. Если бы у него хватило сил идти вслед за ним... Он дочитал «Divan» и, освободившись от ужасного волнения, не мог не испытать презрения к самому себе, рожденному евнухом жизни.

46. Ложь

Самоубийство мужа его сестры нанесло ему внезапный удар. Теперь ему предстояло заботиться о семье сестры. Его будущее, по крайней мере для него самого, было сумрачно, как вечер. Он продолжал читать разные книги, ощущая при этом свое духовное банкротство (его пороки и слабости были ясны ему все без остатка), но даже «Исповедь» Руссо была переполнена героической ложью. В особенности в «Новой жизни» — он никогда еще не встречал такого хитрого лицемера, как герой «Новой жизни». Один только Франсуа Вийон проник ему в душу. Среди его стихотворений он открыл одно, носившее название «Прекрасный бык».

Образ Вийона, ждущего виселицы, стал появляться в его снах. Сколько раз он, подобно Вийону, хотел опуститься на самое дно! Но условия его жизни и недостаток физической

энергии не позволяли ему сделать это. Он постепенно слабел. Как дерево, сохнущее с вершины, которое когда-то видел Свифт...

47. Игра с огнем

У нее было сверкающее лицо. Как если бы луч утреннего солнца упал на тонкий лед. Он был к ней привязан, но не чувствовал любви. Больше того, он и пальцем не прикасался к ее телу.

— Вы мечтаете о смерти?

— Да... нет, я не столько мечтаю о смерти, сколько мне просто надоело жить.

После этого они сговорились вместе умереть.

— Platonic suicide¹, не правда ли?

— Double Platonic suicide².

Он не мог не удивляться собственному спокойствию.

48. Смерть

Он не умер с нею. Он лишь испытывал какое-то удовлетворение от того, что до сих пор и пальцем не прикоснулся к ее телу. Она иногда разговаривала с ним так, словно ничего особенного не произошло. Больше того, она дала ему флакон синильной кислоты, который у нее хранился, и сказала: «Раз у нас есть это, мы будем сильны».

И действительно, это влило силы в его душу. Он сидел в плетеном кресле и, глядя на молодую листву дуба, не мог не думать о душевном покое, который дарит смерть...

49. Чучело лебеда

Последние его силы иссякали, и он решил попробовать написать автобиографию. Но неожиданно для него это оказалось не так легко. Нелегко потому, что у него до сих пор сохранились самоуважение, скептицизм и расчетливость. Он не мог не презирать себя вот такого. Но, с другой стороны, он не мог удержаться от мысли: «Если снять

¹ Платоническое самоубийство (англ.).

² Двойное платоническое самоубийство (англ.).

с людей кожу, у каждого под кожей окажется одно и то же». Он готов был думать, что заглавие «Поэзия и правда» — это заглавие всех автобиографий. Мало того, ему было совершенно ясно, что художественные произведения трогают не всякого. Его произведение могло найти отклик только у тех, кому он близок, у тех, кто прожил жизнь, почти такую же, как он.

Так он был настроен. И потому решил попробовать коротко написать свою «Поэзию и правду».

Когда была закончена «Жизнь идиота», он в лавке старьевщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молью. Он вспомнил всю свою жизнь и почувствовал, как к горлу подступают слезы и холодный смех. Впереди его ждало безумие или самоубийство. Идя в полном одиночестве по сумеречной улице, он решил терпеливо ждать судьбу, которая придет, чтобы погубить его.

50. Пленник

Один из его приятелей сошел с ума. Он всегда питал привязанность к этому приятелю. Это потому, что всем своим существом, больше, чем кто-либо другой, понимал его одиночество, скрытое под маской веселья. Своего сумасшедшего приятеля он раза два-три навещил.

— Мы с тобой захвачены злым демоном. Злым демоном «конца века»! — говорил ему тот, понижая голос. А через два-три дня на прогулке жевал лепестки роз.

Когда приятели поместили его в больницу, он вспомнил терракотовый бюст, который когда-то ему подарили. Это был бюст любимого писателя его друга, автора «Ревизора». Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и остро ощутил, что их поработила одна и та же сила.

Совершенно обессилев, он прочел предсмертные слова Радиге и еще раз услышал смех богов. Это были слова: «Воины бога пришли за мной». Он пытался бороться со своим суеверием и сентиментальностью. Но всякая борьба была для него физически невозможна. Злой демон «конца века» действительно им овладел. Он почувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии. В бога, в которого верил даже Кокто!

51. Поражение

У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках. Словно опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием.

ТАК УЖ Я ДУМАЮ

Больше всего жаждет воды сидящий на верблюде путешественник. Больше всего жаждет справедливости живущий в условиях капитализма революционер. Больше всего нам, людям, недостает того, что нам больше всего необходимо. Вряд ли кто-либо может сомневаться в этом.

Но если сказанное мной верно, то тогда больше всего жаждет иметь ноги солдат, у которого их оторвало. Больше всего жаждет любви влюбленный, потерявший возлюбленную. Больше всего жаждут писатели, жаждут серьезности критики, жаждут серьезности драматурги, которым внутренней серьезности недостает. Во всяком случае, не мне говорить о том, что все люди испокон веку несерьезны. Тем более было бы оскорблением обрушивать обвинения на тех, кто обладает юмором.

История учит, что истинно серьезные художники никогда не щеголяли серьезностью. В их произведениях чаще или реже, но всегда присутствует непринужденный смех. Даже известный своей суровостью Ибсен никогда не возносился над людьми, выставляя напоказ свою суровость. Вскоре после «Пер Понта» появилась «Дикая утка», из которой хлынули громовые раскаты смеха. Не уступает Ибсену и Достоевский, продемонстрировавший свою любовь к шутке в «Крокодиле» и «Дядюшкином сне». Толстой поведал о женщине, которая, целуясь с мужем, беспокоится, что у нее помнется платье. Стриндберг изобразил мужчину, легкомысленного в жизни, но без конца рассуждающего о морали.

Сама логика говорит о несомненности того факта, что у так называемых серьезных писателей, критиков и драматургов недостает серьезности. Было бы неверно утверждать, что к такому выводу никто еще не приходил. В глубине души многие это чувствуют...

По словам Паскаля, человек — думающий тростник. Думает тростник или нет — сказать определенно я не могу. Но то, что тростник не смеется, как человек, — это несомненно. Не видя, как человек смеется, я не могу представить себе его не только серьезным, но и вообще не могу предположить наличие в нем человеческих качеств. Вряд ли нужно доказывать, что я не питаю никакого уважения к писателям, критикам, драматургам, стремящимся во что бы то ни стало сохранить серьезность.

ГЛЯДЯ НА ПАРОВОЗ

...Наши дети часто подражают паровозу. Разумеется, не стоящему на месте. Они двигают руками, пыхтят, подражая мчащемуся вперед паровозу. И это делают не только мои дети. Чем же им так нравится паровоз? Наверно, тем, что в нем они ощущают мощь. Или же они хотят, чтобы и у них была такая же бурная жизнь, как у паровоза. Подобное желание испытывают не только дети. И взрослые тоже.

Только паровоз взрослых — это не совсем паровоз, не в буквальном смысле слова. Правда, по тому, как он стремительно мчится вперед и сколь четко очерчена его колея, он подобен паровозу. Колея — это либо деньги, либо слава, либо, наконец, женщины. Мы, будь то дети или взрослые — безразлично, полны желания свободно мчаться вперед, но одно то, что мы желаем этого, означает потерю свободы. Это не парадокс. Это парадоксальная жизненная реальность. Однако заключенные в нас бесчисленные предки, социальные условия определенной эпохи определенной страны в той или иной мере играют роль тормоза наших желаний. И все же эти желания обитают в нас еще со времен глубокой древности...

Я не мог не думать об этом, когда, стоя на высокой насыпи, смотрел, как мимо меня мчатся дети и настоящие паровозы. Перед насыпью, где я стоял, была еще одна насыпь, и на ней криво рос уже начавший засыхать каштан. А вот тот паровоз 32—71 — это Муссолини. Колея, по которой он мчится, сейчас ярко сверкает. Но если вспомнить, что любая колея в конце, где не ходят поезда, проржавела, то, возможно, и жизнь Муссолини закончится так же, как кончаются жизни таких же простых смертных, как мы. Более того...

Более того, мы полны желания мчаться вперед, не ограничивая себя ничем, и в то же время движемся по колее. Этого

противоречия никогда не следует упускать из виду. Вот тут-то и зарождается то, что именуется нашей трагедией. Макбет — здесь сомнений нет, но даже и такие персонажи, как Кохару и Дзихэй, в конце концов превратились в паровозы. Возможно, Кохару и Дзихэй не обладали столь могучими характерами, как Макбет. Но во имя своей любви они очертя голову помчались вперед. (Принципы трагедии, как ее понимают на Западе, здесь, как ни прискорбно, неприменимы. Трагедии создаются людьми. А не эстетиками.) Эта трагедия из-за неясности мотивов, которыми руководствуются герои (не исключено, что выяснение мотивов нежелательно и для непосредственных участников трагедии), в глазах непосвященных будет выглядеть так, словно эти герои ради забавы мчатся вперед, ради забавы останавливаются или же терпят крушение. И тогда трагедия превращается в комедию. Таким образом, комедия — это трагедия, не вызвавшая сочувствия непосвященных.

В общем, мы, и взрослые и дети, все без исключения, — паровозы. Я, например, ощущаю себя устаревшим паровозом 32—36 с высоченной трубой. Паровозом, установленным на поворотном круге.

Однако как тормозят движение этих паровозов общество определенной эпохи определенной страны и наши предки? Я все время ощущаю тормоз и в то же время не могу не ощущать биения пульса машины, не видеть пламени, бушующего в топке. Мы не просто существуем сами по себе. Мы, как паровозы, заключаем в себе многовековую историю. Более того, состоим из бесчисленного количества поршней и зубчатых колес. А колея, по которой мы мчимся вперед, неведома нам так же, как и паровозу. Возможно, она пройдет через туннели и мосты. Колея запрещает нам всякую свободу, любое, даже малейшее, отклонение в сторону. Пожалуй, факт этот страшен. Но хотим мы того или нет, он, несомненно, существует.

Каким бы решительным ни был машинист, это не дает свободы паровозу. Того или иного машиниста сажает на тот или иной паровоз прихотливая воля богов. Однако почти каждый паровоз, пока насквозь не проржавеет, стремится вперед. В этом и состоит внешняя величавость паровоза.

Каждый из нас — паровоз. Наша работа — не более чем дым и искры, которые мы выбрасываем в небо. Люди, идущие у железнодорожной насыпи, по дыму и искрам узнают, что мчится паровоз. Или что он только что промчался. Дым и искры, если речь идет об электровозе, можно заменить грохо-

том. Вот почему мне близки слова Флобера: «Человек — ничто, работа — все». Религиозный деятель искусств, общественный деятель — самые разные паровозы, каждый, следуя своей колеей, неизбежно стремительно движется. Как можно быстрее — вот единственное, что их волнует.

Ощущать самого себя всякий раз, когда видишь паровоз, — такое присуще, разумеется, не мне одному. Сайто Рёку писал о вздохах паровоза, с трудом переваливающего через горы Хаконэ: «Ух ты, что за горы, ух ты, что за горы». А паровоз, спускающийся вниз с утеса Усуитогаэ, полон радости. Он всегда бодро поет: «Как высоко Такасаки, как высоко Такасаки». Если первый — паровоз трагедии, то второй, возможно, паровоз комедии.

В СВЯЗИ С ВЕЛИКИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 1 СЕНТЯБРЯ 1923 ГОДА

...Я благонамеренный гражданин. Но Кану Кикиути, на мой взгляд, этого качества недостает.

Уже после того, как было введено чрезвычайное положение, мы с Каном Кикиути беседовали о том, о сем, покуривая сигареты. Я говорю «беседовали о том, о сем», но, естественно, наш разговор вертелся вокруг недавнего землетрясения. Я сказал, что, как утверждают, причина пожаров — мятеж взбунтовавшихся корейцев. «Послушай, да это же вранье», — закричал в ответ Кикиути. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться с ним: «Да, видимо, и в самом деле вранье». Но потом, одумавшись, я сказал, что тогда, возможно, это дело рук агентов взбунтовавшихся корейцев и большевиков. «Послушай, да это же в самом деле чистое вранье», — опять стал возмущаться Кикиути. И я снова отказался от своего предположения: «Может, и в самом деле вранье».

На мой взгляд, благонамеренный гражданин — это тот, кто безоговорочно верит в существование заговора большевиков и взбунтовавшихся корейцев. Если же, паче чаяния, он не верит, то обязан сделать вид, будто верит. А этот неотесанный Кикиути Кан и не верит, и не делает вида, что верит. Такое поведение следует рассматривать как полную утрату качеств благонамеренного гражданина. Являясь благонамеренным гражданином и в то же время членом отряда самозащиты, я не могу не сожалеть о позиции, занятой Кикиути.

Да, быть благонамеренным — нелегкое дело.

ЛИТЕРАТУРНОЕ, СЛИШКОМ ЛИТЕРАТУРНОЕ

1. Произведение, лишенное того, что можно назвать «Повествованием»

Я не считаю, что самым лучшим является произведение, лишенное «повествования». И поэтому я не говорю: пишите только произведения, лишенные «повествования». Прежде всего в моих произведениях в той или иной мере «повествование» есть. Как немыслимо без эскиза создать картину, так и прозаическое произведение в основе своей требует «повествования». (Я употребляю слово «повествование» не просто в значении «повесть».) Строго говоря, создать произведение без «повествования» вообще невозможно. И поэтому я отношусь с почтением к тем произведениям, где оно есть. Разве может кто-либо пренебрегать «повествованием», если, еще начиная с «Дафниса и Хлои», все прозаические произведения и эпические поэмы строились на нем? Содержит его и «Мадам Бовари», содержит его и «Война и мир», содержит его и «Красное и черное».

Однако, оценивая то или иное произведение, ни в коем случае нельзя основываться только лишь на достоинствах и недостатках «повествования». Тем более на его оригинальности или неоригинальности. (Джунъитиро Танидаки, как всем известно, — автор множества произведений, построенных на оригинальном «повествовании». Некоторые из этих его произведений, не исключено, останутся в веках. Но это совсем не означает, что их жизнь будет зависеть от того, насколько оригинально в них «повествование».) И если вдуматься, само наличие или отсутствие «повествования» не имеет к этой проблеме никакого отношения. Как я уже говорил, я не считаю, что самым лучшим является произведение, вообще лишенное «повествования». Но я думаю, подобные произведения также имеют право на существование. К ним могут относиться не только произведения, изображающие поступки человека. Хотя из всех прозаических произведений именно они ближе всего к стихам. Но в то же время они гораздо ближе к прозе, чем так называемые стихи в прозе. Я повторяю третий раз: я не считаю, что лишенное «повествования» произведение лучше всех остальных. И все же с точки зрения «чистоты», то есть отсутствия вульгарной занимательности, это — художественное произведение в наиболее чистом виде. Можно снова прибегнуть к примеру из живописи — без эскиза немыслимо со-

здать картину. (Я не касаюсь полотен Кандинского, названных «Импровизация».) Но тем не менее полная жизни картина появляется не столько благодаря эскизу, сколько благодаря краскам. Этот факт прекрасно подтверждают несколько полотен Сезанна, к счастью дошедших до Японии. И в литературе меня интересуют произведения, близкие этим картинам.

Но существуют ли в действительности такие произведения? Их начали создавать ранние немецкие натуралисты. В более позднее время из писателей, принадлежавших к этому направлению, можно назвать лишь Жюль Ренара. Насколько мне известно, «Жизнь семьи Филиппа» Ренара многим на первый взгляд кажется незавершенной. Но это те произведения, которые способны завершить лишь «наблюдательные глаза» и «чувствительное сердце». Приведу еще один пример из Сезанна: он оставил нам, потомкам, множество незавершенных картин. Так же как Микеланджело оставил незавершенные скульптуры. Но возникает некоторое сомнение — действительно ли не завершены картины Сезанна, которые принято считать незавершенными. Вспомним, что Родену скульптуры Микеланджело такими не казались!.. Однако вне сомнения, произведения Ренара, скульптуры Микеланджело, так же как некоторые картины Сезанна, не могут быть названы незавершенными. К несчастью, мне из-за недостатка знаний не известно, как оценивается Ренар французами. Но, видимо, не получила достаточного признания оригинальность его творческой манеры.

Способны ли писать подобные произведения одни лишь рыжеволосые? Если говорить о японцах, я думаю, можно назвать рассказы Наоя Сиги, написанные им после «Костра».

Я сказал, что такого рода произведения «лишены вульгарной занимательности». Вульгарной занимательностью я называю интерес к происшествию как таковому. Сегодня я стоял на улице и наблюдал ссору шофера и рикши. Более того, я испытывал к происходящему определенный интерес. Но каким был этот интерес? Я много думал об этом, и мне не представляется, что он сколько-нибудь отличался от интереса, с каким я смотрю ссору на сцене театра. Разница лишь в том, что ссора, которую я вижу на сцене, ничем мне не угрожает, а ссора на улице может оказаться для меня опасной. Я не собираюсь перечеркивать литературу, вызывающую такого рода интерес. Но я уверен, что существует и другой, более высокий интерес. Если попытаться ответить на вопрос, что представляет собой этот интерес (в первую очередь я хотел бы отве-

тить на него Дзюньитиро Танидзаки), то в качестве прекрасного примера можно привести несколько начальных страниц «Жирафа». Произведение, лишенное «повествования», почти полностью лишено вульгарной занимательности. (Вопрос лишь в том, как толковать слово «вульгарный».) Изображенный Ренаром Филипп — Филипп, прошедший через глаза и сердце поэта, — вызывает наш интерес главным образом потому, что он близкий нам обыкновенный человек. Видимо, назвать это вульгарной занимательностью было бы несправедливо. (Мне, естественно, не хотелось бы делать упор в своих рассуждениях на словах «обыкновенный человек». Я хочу выделить слова «прошедший через глаза и сердце поэта обыкновенный человек».) Я знаю множество людей, любящих литературу именно из-за такой занимательности. Мы не устаем восхищаться жирафом в зоопарке — это совершенно естественно. Но в то же время мы питаем привязанность и к кошке, живущей в нашем доме.

Если вслед за неким критиком назвать Сезанна разрушителем живописи, то в этом случае Ренар также разрушитель «повествования». И так же как пропитанный ароматом кадиланицы Жид, так же как источающий запах улицы Филипп, он идет по пустынной дороге, полной ловушек и опасностей. Я испытываю интерес к работе таких писателей, — писателей, появившихся после Анатоля Франса и Барреса. Какие произведения имею я в виду, называя их лишенными «повествования», почему, далее, я испытываю интерес именно к ним — это можно понять из того, что я написал выше.

2. Ответ Дзюньитиро Танидзаки

Теперь я обязан ответить на рассуждения Дзюньитиро Танидзаки. Правда, наполовину я уже ответил на них в первом разделе. Но хочу сказать, что я решительно не согласен с его утверждением, что «из всей литературы больше всего обладает структурным совершенством проза». Любое художественное произведение, даже крохотные трехстишия, не могут не иметь «структурного совершенства». Но дальнейшие рассуждения Танидзаки перечеркивают его же собственные слова В действительности «из всей литературы больше всего обладает структурным совершенством» не столько проза, сколько драма. Возможно, конечно, что «структурного совершенства» драматургической прозе и недостает больше, чем прозаиче-

ской драме. Однако драма, как правило, гораздо богаче прозы именно «структурным совершенством». Но это лишь некоторые детали рассуждений Танидзаки. Прозаическое же произведение с точки зрения литературной формы отличается «структурным совершенством» — не будем пока касаться того, «слишком» или нет. Мыслимо, конечно, и утверждение Танидзаки, что «исключить занимательность сюжета — значит отказаться от привилегий, свойственных форме, именуемой прозой». Мне кажется, в первом разделе я дал ответ на эту проблему. Не могу лишь безропотно согласиться с утверждением Танидзаки, что «японской прозе больше всего недостает созидательной силы, таланта геометрически соединить все сюжетные линии». Нет, еще с древних времен, когда появилась «Повесть о Гэндзи», она обладает таким талантом. Им обладают и многие современные писатели — Кека Идзуми, Хакуте Масамунэ, Тон Сатоми, Масао Кумэ, Харуо Сато, Кодзи Уно, Кан Кикиути. К тому же в число этих писателей может быть включен и сам Дзюньитиро Танидзаки с его замечательным «Старшим братом». Поэтому я не печалюсь, как он, по поводу того, что народ наших островов, затерявшихся в далеких восточных морях, лишен «созидательной силы».

Мы еще коснемся проблемы «созидательной силы». Но прежде необходимо чуть подробнее поговорить о рассуждениях Танидзаки. Хочу лишь сказать, что, по-моему мнению, японцы несколько не уступают китайцам в «созидательной силе». Хотя и уступают в чисто физической силе, необходимой для создания таких колоссальных романов, как «Речные заводы», «Путешествие на Запад», «Слива в золотой вазе», «Сон красной вишни», «Драгоценное зеркало, оценивающее цветы».

Я бы хотел ответить на слова Танидзаки, заявившего: «Главные нападки Акутагавы на занимательность сюжета обращены не столько к композиции, сколько к материалу, на котором строится произведение». У меня нет ни малейших возражений против материала, который использует Танидзаки. Я не вижу никаких недостатков, с точки зрения материала, ни в «Маленьком королевстве», ни в «Скорби русалки». Что же касается его творческой позиции, то я, если исключить Харуо Сато, знаю ее лучше всех. Стегая себя самого, я одновременно стегаю и Дзюньитиро Танидзаки (разумеется, в моем хлысте, и Танидзаки это прекрасно известно, нет шипов), исходя при этом из того, каков поэтический дух, дающий жизнь материалу. Глубок этот поэтический дух или мелок. Стиль Танидзаки,

возможно, прекраснее стиля самого Стендаля. (Если поверить словам Анатоля Франса, что писатели середины XIX века — и Бальзак, и Стендаль, и Занд — не были выдающимися стилистами.) Во всяком случае, когда речь идет о живописном эффекте, Танидзаки намного превосходит Стендаля, почти бессильного в этом. (В число тех, кто также повинен в этом, недурно включить и Брандеса). Но поэтический дух, разлитый в произведениях Стендаля, впервые был воплощен именно Стендалем. Даже Мериме, бывший до Флобера единственным L'artiste¹, уступал в этом Стендалю — этим все сказано. Вот чего я хочу от Дзюньитиро Танидзаки. Создавая «Татуировку», Танидзаки был поэтом. В «Если только любить», как это ни печально, он далек от того, чтобы быть поэтом. «Мой великий друг, вернитесь на свой путь».

3. Я

Хочу снова повторить: в будущем я не собираюсь создавать одни лишь произведения, лишённые того, что можно назвать «повествованием». Каждый из нас делает *только то, что может*. Еще вопрос, подходит ли мой талант для того, чтобы создавать такие произведения. Более того, создание их дело совсем не простое. Я пишу прозаические произведения только потому, что из всех литературных форм они дают наибольшую возможность проявить широту взглядов. Если бы я родился в стране рыжеволосых, где появилась такая поэтическая форма, как поэма, я бы стал, возможно, не прозаиком, а поэтом. Я много раз с завистью смотрел на рыжеволосых. Но теперь, по здравом размышлении, вижу, что больше всех любил в глубине души поэта и журналиста — еврея Генриха Гейне.

4. Выдающийся писатель

Я уже писал, что считаю себя самым противоречивым писателем. Но меня это несколько не беспокоит. Да и никого не беспокоит. С давних времен, те кого называли выдающимися писателями, все до одного были противоречивы. Они включали в свои произведения все, что угодно. Стихи, сделавшие

¹ Художником (фр.).

Гейне величайшим поэтом всех времен, пусть не все, но большая их часть, известны именно своей противоречивостью, еще большей, чем противоречивость обитателей Ноева ковчега. Но, строго говоря, противоречивость не что иное, как «чистота». Именно это заставляет меня с сомнением смотреть на так называемых выдающихся писателей. Они олицетворяют определенную эпоху. Но если их произведения способны оказать влияние на последующие эпохи, то мы снова вернемся к проблеме, являлись ли они «чистыми» писателями. «Выдающийся поэт» — фикция. Нашими ориентирами должны служить «чистые поэты» — ни в коем случае не следует игнорировать этих слов героя «Тесных врат» Жида.

Рассуждая о произведении, лишенном того, что можно назвать «повествованием», я неожиданно для себя использовал это слово: «чистый». Теперь, воспользовавшись благоприятной возможностью, хочу поговорить об одном из самых «чистых» писателей — Наоя Сиге. Поэтому, продолжая свои рассуждения, я займусь анализом творчества Наоя Сиги. Куда я буду склоняться в зависимости от времени и места, предсказать не в состоянии.

5. Наоя Сига

Наоя Сига если не самый «чистый», то, во всяком случае, один из самых «чистых» писателей среди нас. Конечно, не я первый начинаю рассмотрение его творчества. Как это ни печально, из-за огромной занятости, а может быть, просто из-за лени я работ о нем не читал. Поэтому, может быть, повторю то, что уже было сказано до меня. А может быть, и не повторю.

1. Произведения Наоя Сиги — это прежде всего произведения писателя, ведущего достойную жизнь. Достойную? Но для этого человека жить достойно означает прежде всего жить как бог. Возможно, жизнь Наоя Сиги далека от жизни бога, спустившегося на землю. Но, во всяком случае, он живет в чистоте (что является второй добродетелью) — это точно. Разумеется, смысл употребленного мной слова «чистота» не означает пользование мылом. Речь идет о моральной чистоте. Может показаться, что это сузило диапазон произведений Сиги. На самом же деле наоборот. Почему наоборот? — потому что наша духовная жизнь зиждется на моральных принципах и если их нет, создать произведение широкого звучания невозможно. Ориентация на моральные принципы не носит ди-

дактического характера. Большая часть трудностей, исключая материальные, порождены этими принципами. Так, сатанизм Дзюнъитиро Танидзакэ — следствие, несомненно, этих же принципов. Как известно, «сатана — двойник бога». Если нужен пример, пожалуйста — даже в произведениях Хакуте Масамунэ я ощущаю не столь пессимизм, о котором сейчас так много говорят, сколько христианское душевное отчаяние. Моральные принципы пустили глубокие корни, разумеется, и в самом Сиге. Однако стимулировало эти принципы в немалой мере влияние рожденного современной Японией гения морали — возможно, единственного, достойного того, чтобы быть названным гением морали, — Санэацу Мусьякодзи. Хочу еще раз напомнить, что Наоя Сига — писатель, ведущий безукоризненно чистую жизнь. Это ощущается и в атмосфере высокой морали, царящей в его произведениях. (Прекрасный пример тому — заключительная часть «Случая с Сасаки».) В то же время в них очевидны и духовные страдания. Страдания души, исповедующей мораль, легко почувствовать и в «Пути во мраке».

2. Метод Наоя Сиги — свободный от фантазий реализм. В реализме до мелочей он следует своим путем. Если говорить именно об этом реализме до мелочей, я не преувеличу, утверждая, что в нем он скрупулезнее Толстого. Это делает временами его произведения подобными плоской доске. Однако те, кого заинтересует такого рода реализм, будут, наверное, удовлетворены и подобными произведениями. Однако рождаемый такими произведениями эффект (возьмем хотя бы «Поездку в Кугэнуму») зиждется на удивительно точных натуральных зарисовках. «Поездка в Кугэнума», следует отметить, до мельчайших деталей основывается на фактах. И лишь единственная строка: «Мой круглый выпяченный живот был весь засыпан песком» — противоречила фактам. Прочтя ее, один из персонажей воскликнул: «На самом деле песком был засыпан живот ***-тян».

3. Реализм в описаниях свойствен не одному Наоя Сиге. Он лишь влил в него поэтический дух, базирующийся на восточной традиции. Одно это позволяет признать, что он не эпигон. Именно эта особенность его творчества для нас, или уж во всяком случае для меня, труднодостижима. Не могу с полной уверенностью утверждать, что сам Наоя Сига отдает себе в этом отчет. (Лет десять назад всю творческую деятельность я аккуратно раскладывал по полочкам своего сознания.) Но даже если сам Сига и не сознает этого, то, что он делает, придаст

неповторимую красочность его произведениям — это несомненно. Такие вещи писателя, как «Костер», «Даурский журавль» и другие, обретают жизнь только благодаря этой их особенности. В своей поэтичности они нисколько не уступают стихам (разумеется, говоря о стихах, я не исключаю и хокку). Это можно увидеть даже в таком «жизненном», если прибегнуть к современной терминологии, произведении, как «Жалкий человечек». Только настоящий поэт мог воскликнуть, восторженно воспевая упругие, как мячики, груди женщины: «Быть богатому урожаю. Быть богатому урожаю». Немного жаль, что современные люди сравнительно редко обращают внимание на подобное очарование произведений Наоя Сиги. (Ведь очарование не только в их сверхкрасочности.) В то же время мне немного жаль, что эти люди не обращают внимания на подобное же очарование произведений других писателей.

4. Я, как писатель, принадлежу к тем, кто не перестает удивляться писательскому мастерству Наоя Сиги. Во второй части «Пути по мраке» он сделал в этом направлении еще один шаг вперед. Возможно, правда, что эта проблема не волнует никого, кроме самого писателя. Я хочу лишь сказать, что даже ранний Сига обладал удивительным писательским мастерством.

«Трубка хотя и женская, но старинная, и поэтому толще и короче, чем те, которые курят мужчины. На мундштуке была инкрустация из слоновой кости, изображавшая женщину с веером в руке... Он не мог оторвать глаз от этой прекрасной вещицы. Как подходит она, подумал он, рослой, большеглазой, с точеным носом, не то чтобы красивой, но удивительно привлекательной женщине».

Это конец рассказа «Он и одна женщина».

«Дайскэ подошел к книжному шкафу, справа от которого стояла цветочная ваза, с самого верха снял тяжелый альбом, отстегнул золотую застежку и стал переворачивать лист за листом. Дойдя примерно до половины, Дайскэ остановился и стал внимательно разглядывать поясной портрет девушки лет двадцати».

Это конец первой части романа «Затем».

Что бросается в глаза в этих отрывках? Благодаря эффекту пластического искусства, близкого, если можно так сказать, портретному, в обоих этих романах конец выглядит предельно жизненным.

5. Здесь хотелось бы сделать одно замечание. «Рассказ об украденном ребенке» Наоя Сиги очень напоминает «Покрови-

теля детей и путников» Сайкаку. А «Ловкое преступление» напоминает, по-моему, «Артиста» Мопассана. Герой «артиста» бросает ножи в женщину, окружая ими ее тело. Герой «Образцового преступления», будучи в сумеречном состоянии, ловко убивает женщину. А вот герой «Артиста», страстно желая убить женщину, благодаря многолетним тренировкам, не попадает в нее. Женщина, прекрасно зная это, холодно смотрит на артиста и даже улыбается. Однако и «Покровитель детей и путников» Сайкаку, и «Артист» Мопассана не имеют с произведением Наоя Сиги ничего общего. Говорю об этом только для того, чтобы не дать будущим критикам возможности кричать об эпигонстве.

6. Наша проза

Харул Сато, исходя из того, что наша проза — это проза, использующая разговорный язык, призывает нас писать как говоришь. Не исключено, что он заявил это необдуманно. Но так или иначе, его слова заключают в себе проблему, которую можно обозначить как «придание стилю разговорности». Современная проза шла, как мне представляется, по пути писания «как говоришь». В качестве примера я мог бы назвать прозу (из наиболее близких мне) Санэацу Мусякодзи, Кодзи Уно, Харуо Сато. Нелишне включить сюда и прозу Наоя Сиги. Однако правда и то, что наш «разговор» — я пока оставляю в стороне «разговор» рыжеволосых — не столь музыкален, как «разговор» соседних с нами китайцев. Разумеется, я тоже не отвергаю призыва «писать как говоришь». Но в то же время симпатизирую и принципу «говорить как пишешь». Насколько мне известно, Нацумэ-сэнсэй был писателем, который в самом деле «говорил как писал». (Не в смысле, конечно, порочного круга: «те, кто говорит как пишет, пишет как говорит».) Это не значит, что не существует писателей, которые «пишут как говорят». Но появятся ли когда-нибудь на наших заброшенных в далеком восточном море островах писатели, которые «говорят как пишут»? Однако...

Однако меня больше интересует не то, как они говорят, а то, как они пишут. Наша проза, как Рим, строилась не в один день. Ее развитие началось давно, еще в эпоху Мэйдзи. Но, обращаясь даже к сравнительно недавнему времени, хочется вспомнить, как много сделали для прозы поэты.

Именно такой поэтической прозой и является проза Нацумэ-сэнсэя. Однако неоспоримо, что она не лишена некоторой очерковости. Кто родоначальник такой прозы? Она появилась благодаря таланту поэта и критика Сики Масаока (Сики не ограничился очерками, он оставил заметный след и в нашей прозе — прозе на разговорном языке). Обращаясь к этому факту, мы должны назвать среди создателей очерка таких писателей, как Кеси Такахама, Сихода Сакамото и других. (Разумеется, след, оставленный Такахаши, автором «Поэта», в романистике нуждается в особой оценке.) Но можно говорить и о вкладе поэтов в нашу прозу и в самое последнее время. Это, к примеру, проза Хакусю Китахары. Предисловие к сборнику стихов «Воспоминания» придало современный колорит и аромат нашей прозе. В этом смысле кроме прозы Китахары можно назвать еще и прозу Мокутаро Киноситы.

Мне кажется, сегодня многие считают, что поэты стоят вне японского Парнаса. Но это не значит, что прозаические и драматические произведения никак не связаны с существующими формами искусства. Поэтому кроме того, что делают сами, оказывают еще влияние на то, что делаем мы. Это не только доказывает то, о чем я писал выше, но и подтверждает мою точку зрения, что среди прозаиков нашего поколения многих можно смело причислить к поэтам — Харуо Сато, Сайсэй Муроо, Масао Кумэ. Причем речь идет не только об этих писателях. Даже Тон Сатоми, прирожденный прозаик, оставил не один стихотворный сборник.

Поэты, возможно, скорбят по поводу своего одиночества. Но я бы сказал, что это славное одиночество.

7. Проза поэтов

Поскольку проза поэтов ограничена их возможностями, она обычно настолько же несовершенна, насколько несовершенны их стихи. Не составляет исключения и «По тропинкам Севера» Басё. Уже начало первой строфы разрушает интерес к натурным зарисовкам, разбросанным в книге. Достаточно посмотреть на первую строку: «Время — вечный странник; и проходящие года тоже путники», чтобы увидеть, что легкая вторая часть не подхватывает тяжести первой. (Басё, чрезвычайно требовательно относившийся к прозе, говорил о стиле своего современника Сайкаку как о «постыдно невзыскательном»). Эти слова Басё, любившего изысканную простоту, не

безосновательны.) Но нельзя отрицать, что и его проза оказала влияние на писателей. Хотя это влияние можно обнаружить и в более поздней прозе, именуемой «поэтической».

8. Поэзия

Современные читатели считают, что японские поэты находятся за пределами Парнаса. Одна из причин — их неспособность по достоинству оценить поэзию. Другая причина — поэзию трудно включить в сферу наших жизненных ощущений, не то что прозу. (Стихи, если пользоваться старым словоупотреблением, а вернее, стихи нового стиля в этом смысле свободнее, чем танка и хокку. Пролеткультовские стихи есть, а вот пролеткультовских хокку не существует.) Но было бы неверно утверждать, что поэты, в том числе и современные, не делали подобных попыток. Самым ярким примером этого может быть оставленная нам поэтом Исикавой Такубоку книга «Грустна игрушка». Возможно, сегодня этот пример слишком уж затаскан. Но группа новой поэзии «Синсися» породила еще одного поэта, кроме Такубоку, сумевшего натянуть лук Одиссея. Это Исаку Есии, осенним вечером размышляющий на берегу Окавы о бренности жизни, создает хороший контраст Исикаве Такубоку, сражающемуся с нищетой. (Продолжая эту мысль, можно заметить, что таким же хорошим контрастом было то, что отец «Арагаги» Сики Масаока объединил усилия в создании нашей прозы с сыном «Мёдзё» Хакусё Китахарой.) Но это происходило не только в группе «Синсися». Мокити Сайто в сборнике «Красный луч» опубликовал стихотворения «Умирающая мать», «О-Хиро» и другие. Более того, он шаг за шагом заканчивает работу, не завершённую еще десять лет назад Исикавой Такубоку, — составляет сборник стихотворений поэтов, принадлежавших к так называемой группе «Сэйкацуха». Правда, в этом сборнике нет стихотворений столь многообразных, как у самого Мокити Сайто. В его собственных стихах, включенных в сборник, звучат то кото, то виолончель, то сямисэн, то заводской гудок. (Я сказал «в стихах», а не «в каждом стихотворении». Если так пойдет и дальше, то в конце концов я перейду к разбору творчества Мокити Сайто. Но я вынужден остановиться. Иначе не соблюсти равновесия с тем, что я еще собираюсь написать. Ведь и в прежние времена существовало немало поэтов, преданных своей работе не менее Мокити Сайто.)

9. Произведения двух выдающихся писателей

Любое произведение, конечно, немислимо отделить от субъективной позиции его создателя. Если же воспользоваться клеймом объективности, то можно сказать, что среди писателей-натуралистов самым объективным является Сюээй Токуда. А Хакутё Масамунэ в этом его антипод. Пессимизм Хакутё Масамунэ резко контрастирует с оптимизмом Санэацу Мусякодзи. Более того, Масамунэ моралист. Мир Токуды тоже представляется мне мрачным. Но таков его микрокосм. Это некий микрокосм восточных поэтических чувств, названных Масао Кумэ «источником Токуды». Хотя он и полон мирских страданий, адский огонь в нем не пылает. А вот Масамунэ заставляет увидеть пучину ада (летом позапрошлого года мне попался его сборник). В знании лицевой и оборотной сторон жизни человеческой он, как мне представляется, нисколько не уступает Токуде. Но у меня сложилось впечатление — во всяком случае, больше всего меня поразило то, что его произведения близки религиозным чувствам, владевшим нами еще со времен средневековья.

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон....

Примечание. Через пару дней после этой книги я прочел «О Данте» Масамунэ. И был очень, очень взволнован.

10. Пессимизм

Как утверждает Хакутё Масамунэ, человеческая жизнь сплошной мрак. Чтобы подтвердить свои слова, он создал множество самых различных «повествований». (Разумеется, среди его произведений немало и лишенных того, что можно назвать «повествованием».) Чтобы вести свои «повествования», он прибегает к самым различным художественным приемам. Так что и с этой точки зрения можно смело назвать Масамунэ выдающимся талантом. Но я хочу рассказать о другом — о его пессимистическом взгляде на жизнь.

Я тоже, как Масамунэ, убежден, что при любом общественном строе освободить нас, людей, от страданий очень трудно. Даже Утопия («На белом камне»), напоминающая Па-

на Анатоля Франса, не похожа на вожделенный рай. Нам доставляют страдания рождение, старость, болезнь, смерть, а вместе с ними и горечь расставания. Я сразу же подумал об этом, когда прошлой осенью прочел сообщение о смерти от голода не то сына, не то внука Достоевского. Это случилось, разумеется, в коммунистической России. Но и в анархистском мире мы все равно не сможем жить счастливо.

Вспомним, что изречение «Деньги — зло» существовало еще и в эпоху феодализма. Конечно, трагедии и комедии, возникающие на почве денег, с изменением общественного строя в той или иной мере исчезнут. Должна претерпеть определенные изменения и наша духовная жизнь. Имея это в виду, можно, видимо, говорить, что наше будущее — светлое. Но в то же время останутся и трагедии и комедии, возникающие теперь уже не на почве денег. Более того, деньги перестанут быть единственной силой, помыкающей нами.

Естественно, Хакутё Масамунэ стоит на иных позициях, чем пролетарские писатели. А я — может быть, я когда-нибудь превращусь в коммуниста-прагматика. Но по сути своей я всегда буду журналистом и поэтом.

Рано или поздно художественные произведения умирают. Мне приходилось слышать, что поскольку утрачивается даже *liaison*¹ во французском языке, то завтра изменится и звучание стихов Бодлера. (Как бы то ни было, нам, японцам, это никаких неудобств не создаст.) Однако жизнь стихотворной строки длится дольше нашей. Я не стыжусь того, чтобы и сегодня и завтра быть «ленивым поэтом ленивого дня» — то есть мечтателем.

II. Наполовину забытые писатели

Мы имеем по крайней мере две стороны — как монета. Но нередко — и больше двух сторон. Во многих работах рыжеволосых можно найти слова: «Как человек, как художник», т.е. обозначены две эти стороны. Среди тех, кто потерпел поражение как человек и добился успехов как художник, никто не смог превзойти вора и поэта Франсуа Вийона. Трагедия «Гамлет», по Гёте, — это трагедия того, как Гамлет, по своему складу мыслитель, был вынужден, как принц, сражаться с врагами своего отца. Это тоже трагедия двойкости. В истории

¹ Фонетическая связь слов (*фр.*).

нашей Японии были такие же люди. Великий сёгун Минамото-но Санэтомо как политический деятель потерпел поражение. Но поэт Минамото-но Санэтомо, автор сборника «Кинкайсю», как художник добился выдающихся успехов. Можно с полным основанием утверждать, что поражение «как человека», да и в любом другом качестве, — ничто, истинная трагедия — не добиться успеха как художник.

Однако очень нелегко определить, добился человек успеха как художник или нет. Например, Франс, прежде высмеивавший Рембо, сегодня приветствует его. Рембо может еще считать себя счастливым, поскольку у него вышло три (?) тома произведений, хотя и со множеством опечаток. А если бы не вышло?

Среди моих старших товарищей и знакомых я могу насчитать немало таких, кто уже прочно забыт, хотя и написал по две - три хороших новеллы. Может быть, по сравнению с нынешними писателями им недоставало сил. Но есть в том и элемент случайности. (Если найдется писатель, полностью игнорирующий элемент случайности, значит, он исключение, только и всего.) Собрать их произведения почти невозможно. А если бы удалось, это пошло бы на пользу не только им самим, но и будущим поколениям.

«Родился слишком рано, а может быть, слишком поздно» — это крик души не только поэтов южных варваров. Я слышу его у Банка Фукунаги, Кэнсаку Аоки, Бундзо Энами. В одном европейском журнале я как-то увидел рекламу серийного издания: «Наполовину забытые писатели». Может быть, я тоже один из писателей, который свяжет свое имя с такой серией. Я это говорю не из ложной скромности. Даже модный писатель периода английского романтизма, автор «Монаха» Льюис тоже оказался одним из тех, кого включили в эту серию. Однако наполовину забытые писатели — это не только писатели, принадлежащие прошлому. Более того, их произведения в целом нисколько не уступают тем, которые печатаются в сегодняшних журналах

12. Поэтический дух

Когда я встретился с Дзюнъитиро Танидзаки, он, выслушав мои критические замечания, спросил: «Что означает твой поэтический дух?» Мой поэтический дух — это лирика в самом широком смысле слова. Именно так я и ответил. Тогда

Танидзаки заявил: «В таком случае он содержится в любом произведении». Я сказал, что не отрицаю — он действительно содержится в любом произведении. И «Мадам Бовари», и «Гамлет», и «Божественная комедия», и «Путешествие Гулливера» рождены поэтическим духом. Поскольку художественное произведение заключает в себе ту или иную идею, в нем должен гореть священный огонь поэтического духа. Я говорю о том, как возжечь этот священный огонь. Это больше чем наполовину, как мне представляется, зависит от природного таланта. Вопреки ожиданиям, никакое подвижничество здесь не даст желаемого результата. Лишь яркость священного огня определяет яркость произведения.

Казалось бы, мир полон нетленными шедеврами. Но все равно писателя, оставившего хотя бы с десятков рассказов, которые достойны того, чтобы мы читали их через тридцать лет после его смерти, можно с полным основанием назвать выдающимся. Даже оставивший пять рассказов и тот достоин войти в число знаменитых. Стать одним из таких писателей нелегко. В одном европейском журнале я прочел такие слова Уэллса: «Рассказ пишется за два-три дня». Почему за два-три дня? — Любой может написать и за день, если сроки поджимают. Но утверждение, что за два-три дня всегда удается написать рассказ, говорит о том, на что способен сам Уэллс. Просто стоящих рассказов он не пишет.

13. Мари-сэнсэй

Недавно я прочел шестой том «Собрания сочинений Огая» и был поражен. Вряд ли нужно говорить о том, что ученость сэнсэя охватывает прошлое и настоящее, познания его покорились Восток и Запад. Романы и пьесы сэнсэя в большинстве своем совершенны. (Так называемый неоромантизм породил и в Японии немало произведений. Но среди них мало столь совершенных, как его драма «Икутагава».) Что же касается танка и хайку сэнсэя, то даже при самом благожелательном к нему отношении нельзя сказать, что они достойны этого выдающегося писателя. Он — поэт, который обладал редким в нынешнем мире слухом. Достаточно прочесть «Тамакусигэ фтари урасима», чтобы понять, каким было для него звучание японских слов. Это можно увидеть, хотя и смутно, в танка и хайку

сэнсэя. Внешне они сделаны мастерски. В этом он проявил большое искусство.

Однако его танка и хокку утратили неуловимое изящество. Если в поэзии удастся ухватить это неуловимое изящество, заботы о мастерстве отступают на второй план. А вот танка и хокку сэнсэя, хотя они сделаны мастерски, здесь уж ничего не скажешь, как ни странно, нас не захватывают. Может быть, потому, что для него танка и хокку всего лишь занятие на досуге? К сожалению, это неуловимое изящество не обнаруживается ни в пьесах, ни в романах сэнсэя. (Я не хочу этим сказать, что его пьесы и романы ничего не стоят.) Более того, Нацумэ-сэнсэй в китайских стихах, бывших для него таким же занятием на досуге, особенно в четверостишиях последних лет жизни, смог добиться этого неуловимого изящества. (Утверждаю это, не боясь осуждения за то, что «ставил свое выше чужого».)

Размышляя обо всем этом, я пришел к выводу, что Мори-сэнсэй от рождения имел другую нервную организацию, чем мы. Я решил даже, что он был не поэтом, а кем-то другим. Мори-сэнсэй, написавший «Сибу Тюсай», был, несомненно, выдающимся человеком. Я испытываю к нему почтение и страх. Даже лучше сказать так: если бы он и ничего не написал, его душевные силы, его мудрая проницаемость не могли не потрясти меня. Однажды мне посчастливилось разговаривать с Мори-сэнсэем, одетым в кимоно, в его кабинете. В углу маленькой комнаты лежала новая подстилка, на которой были разбросаны, словно для просушки, переплетенные старинные письма. Сэнсэй сказал мне: «Недавно ко мне пришел человек, который собрал письма Рицудзана Сибано и переплел их. Я сказал, что сделано все очень аккуратно, только странно, что письма расположены не по годам. Он ответил на это, что, к сожалению, в японских письмах указываются лишь месяц и день, поэтому расположить их по годам совершенно невозможно. Тогда я указал ему на эти старинные письма и сказал: здесь собрано несколько десятков писем Катэя Ходзё, но все они расположены по годам! Помню, сэнсэй был тогда очень горд этим. Не одного меня, конечно, поразили своими словами сэнсэй. Честно признаюсь: я один из тех, кто хотел бы оставить после себя не «Жанну д'Арк» Анатоля Франса, а хотя бы строку Бодлера.

14. Сёко Сираянаги

Недавно я прочел сборник статей Сёко Сираянаги «Безмолвный вопрос». Немалый интерес у меня вызвали небольшие статьи «Моя эстетика», «Размышления о чувстве стыда», «Связь между появлением животных и пищей». «Моя эстетика», как свидетельствует название, посвящена эстетике Сираянаги, «Размышления о чувстве стыда» — его этике. Не буду касаться второй и остановлюсь коротко на первой статье. Прекрасное не рождается вне связи с нашей жизнью. Наши предки любили костер, любили протекающую в лесу реку, любили дубинку, поражающую врага, любили печеное на огне мясо. Прекрасное родилось само собой из этих жизненно необходимых предметов (?)...

Эта небольшая статья, по-моему, достойна уважения гораздо больше, чем нынешние бесчисленные *conte*¹ (Сираянаги в конце своей статьи специально отмечает, что она написана «задолго до того, как в писательских кругах появились призывы к материалистической эстетике или, во всяком случае, касающиеся этого переводы.) Я совершенно незнаком с эстетикой. А уж от материалистической эстетики и вовсе весьма далек. Но теория возникновения прекрасного, выдвинутая Сираянаги, дала мне возможность создать собственную эстетику. Сираянаги касается возникновения прекрасного лишь в области пластических искусств. Лет десять назад, услышав однажды в горной хижине призывный рев оленя, я как-то очень явно ощутил, что такое человеческая любовь. Любое лирическое стихотворение рождается этим ревом оленя, самца, призывающего самку. Однако эта материалистическая эстетика была известна не только поэтам-хайкаистам, но и поэтам глубокой древности. А вот эпическая поэзия берет начало в повествованиях людей древности.

«Илиада» — это повествование о богах. Они, несомненно, заставляют нас воспринимать прекрасное, полное первозданной величественности. Но это нас. А люди глубокой древности не могли не чувствовать в «Илиаде» радость, горе, страдания. Более того, не могли не чувствовать, как воспламеняются их сердца...

Сёко Сираянаги в прекрасном видит жизнь наших предков. Мы — это не только мы. Когда в африканской пустыне возведут города, мы станем предками наших детей и внуков.

¹ Истории (*фр.*).

Следовательно, наши ощущения передадутся, точно подземные потоки, нашим потомкам. Я, подобно Сёко Сираянаги, испытываю нежность к кострам. И с такой же нежностью думаю о людях глубокой древности. (Я хочу написать об этом в «Записках о восхождении на Яригатакэ».) Какие огромные тяготы преодолели «наши предки, недалеко ушедшие от обезьяны», чтобы зажечь свои костры. Тот, кто изобрел способ зажечь костер, был, несомненно, гением. Но такими же гениями были и те, кто продолжал зажигать свои костры! Когда я думаю обо всем этом, мне не приходит на ум, что «современное искусство может исчезнуть, и ничего не случится».

15. Литературно-критические обзоры

Критика — один из видов литературы. Наши похвалы, так же как и поношения, служат самовыражению. Бурные аплодисменты, адресованные американскому актеру на экране, тем более умершему Валентино, предназначены не для того, чтобы порадовать этого актера. Они лишь служат выражению доброжелательности, то есть в конечном счете — самовыражению. А если служат самовыражению...

Наши проза и драматургия не дотягивают до произведений рыжеволосых. Наша критика тоже уступает работам рыжеволосых. И в этой пустыне мне попался «Литературно-критический обзор» Хакутё Масамунэ, который я прочел с удовольствием. Позиция этого критика, если прибегнуть к лексике рыжеволосых, — быть предельно лаконичным. Более того, его «Литературно-критический обзор» в действительности значительно шире, чем его название. Он воспринимается как обзор человеческой жизни в литературе. С сигаретой в руке я с удовольствием читал этот «Обзор», временами представляя себе усыпанную камнями дорогу и испытывая жестокую радость от заливающего ее яркого солнца.

16. Литературная целина

Англия обратила свой взор на литературу XVIII века, которая издавна игнорировалась. Произошло это, в частности, потому, что после мировой войны потребовалась жизнерадостная литература. (Я про себя думаю, не то ли происходит во всем мире? И в то же время думаю, как

странно, что даже в Японии, казалось бы не пострадавшей от мировой войны, тоже заразились этой модой.) Другая причина — поскольку такая литература игнорировалась, литературоведам было где собирать материал для своих исследований. Воробей не прилетит к кухонному стоку, если там не осталось рисинки. Так же поступают и литературоведы. Следовательно, факт игнорирования уже сам по себе предопределяет открытия.

То же происходит и в Японии. Возьмем хотя бы Хайкайди Иссу — произведения, созданные поэтами-хайкаистами эпохи Тэммэй, почти не привлекают ничего внимания. Я думаю, что рано или поздно сделанное этими хайкаистами станет всеобщим достоянием. Я думаю, что рано или поздно в слове «банальность» будет обнаружена еще не замеченная доселе сторона.

В общем, игнорирование совсем не обязательно должно рассматриваться как нечто безусловно отрицательное.

17. Нацумэ-сэнсэй

Я был восхищен тем, что Нацумэ-сэнсэй проявил себя как человек утонченный, назвавшись отшельником Сосэки. Сэнсэй, которого я з н а л , — пожилой человек блестящего таланта. Когда ему нездоровилось, доставалось не только его старшим товарищам, но и нам, молодым. Наверное, таковы все гении, думал я. Как-то поздней осенью в один из четвергов сэнсэй, разговаривая с гостями, даже не повернув головы в мою сторону, сказал: «Принеси сигары». Я не имел ни малейшего понятия, где лежат сигары, и вынужден был спросить: «Где они?» Сэнсэй, не говоря ни слова, резко (я нисколько не преувеличиваю, именно резко) мотнул головой вправо. Я робко посмотрел в указанную сторону и наконец увидел на столике в углу гостиной ящик с сигарами.

«Затем», «Врата», «Путник», «Придорожная трава» — все эти произведения рождены жаром сердца сэнсэя. А в жизни он, возможно, хотел сохранять сдержанность. Так он и прожил всю жизнь. Но насколько мне известно, даже в последние годы он не старался представить себя литературным мэтром. Более того, до «Света и тьмы» он бывал временами еще более резким. Каждый раз вспоминая сэнсэя, я вновь и вновь как бы ощущаю его неимоверную суровость. Но однажды, когда я пришел к сэнсэю за советом, — мне показалось, что в тот день

самочувствие у него было хорошее, — он сказал мне следующее: «Не хочу давать тебе никаких советов. Но если бы я был на твоем месте...» От этих слов я растерялся еще больше, чем в тот раз, когда искал сигары.

18. Письма Мериме

Мериме, прочтя «Мадам Бовари» Флобера, сказал: «Он растрчивает свой исключительный талант». Романтик Мериме, возможно, именно так воспринял «Мадам Бовари». Но в «Письмах» Мериме (здесь собраны любовные письма) к некой женщине рассказывается множество самых разных историй. Вот, например, второе письмо из Парижа.

На улице Сан Оноре жила бедная женщина. Она почти никогда не покидала своей жалкой мансарды. У нее была дочь двенадцати лет. Девочка после полудня уходила в оперу, где служила, и возвращалась поздно ночью. Однажды ночью девочка спустилась к консьержке и попросила: «Одолжите мне, пожалуйста, зажженную свечку». Консьержка через некоторое время поднялась в мансарду. Первое, что она увидела, — труп бедной женщины. А девочка сжигала пачку писем, вынутую из старого саквояжа. «Сегодня ночью мама умерла. Перед смертью она просила меня сжечь их, не читая», — сказала девочка консьержке. — Она не знала ни имени отца, ни имени матери. Жизнь ее была монотонной — ежедневно шла в оперу, где была фигуранткой, исполняя роли обезьян и чертенят. Последнее напутствие матери было такое: «Будь всегда на самых последних ролях, будь всегда доброй».

Девочка до сих пор осталась и доброй и фигуранткой.

А вот еще одна деревенская история, приведенная в письме из Канн.

Крестьянин, живший недалеко от Граса, упал в ущелье и умер. Он либо сам упал туда прошлой ночью, либо кто-то его сбросил. И вот другой крестьянин, его приятель, признался, что это он убил своего товарища. Почему? Зачем? «Этот человек хотел проклясть моих овец, — заявил крестьянин. — Мне сказал мой пастух, что он решил сварить в котелке три крюка, а потом произнести нужное заклинание. В тот же вечер он умер...»

Собранные «Письма» датируются 1844—1870 годами, то есть доведены до года смерти Мериме. («Кармен» написана в 1844 году.) Истории, которые мы находим в письмах, сами по себе еще не

рассказы. Но если взять *motif*¹ они имеют все возможности превратиться в них. Мопассан, используя известную историю о Филиппе, написал не один прекрасный рассказ. Мы, как говорил Тё--, не в состоянии «преодолеть свое время». Причем, господствующая над нами эпоха, как ни странно, чрезвычайно коротка. Я не мог не почувствовать это, когда увидел в «Письмах» Мериме явные признаки его увядания.

С тех пор как он начал писать письма некой женщине, им создано немало шедевров. А перед смертью он принял протестанство. Это тоже вызвало мой интерес — по-моему, Мериме еще до Ницше был привержен идее сверхчеловека.

19. Классика

Мы не способны написать ничего, что не было бы известно всем. То же можно сказать и о классиках. Профессора, занимающиеся литературной критикой, игнорируют этот факт. Конечно, это относится не только к профессорам. Во всяком случае, я проникся в некотором роде сочувствием к душевному состоянию Шекспира, написавшего в последние годы жизни «Бюрю».

20. Журналистика

Снова хочу привести слова Харуо Сато: «Нужно писать так, как говоришь». Я всегда старался писать как говорю. Сколько я ни пишу, не могу исчерпать того, что мне хотелось бы рассказать. В этом, как мне представляется, я журналист. Значит, могу считать себя братом профессиональных журналистов. (Разумеется, если мне будет в этом отказано, я безропотно возьму свои слова назад.) Журналистика в конечном счете не что иное, как история. (Неправильные толкования, содержащиеся в газетных статьях, равносильны неправильным толкованиям, содержащимся в исторических сочинениях.) История — это жизнеописания. Чем отличаются жизнеописания от романов? Мемуары не имеют явного отличия от «повести о себе». Если, не прислушиваясь к идеям Кроче, сделать исключение для лирики и вообще для поэзии, то вся литература — это журналистика. Более того, произведения, печатавшиеся в газетах в периоды Мэйдзи и Тайсё, ничуть не

¹ Мотив (*фр.*).

хуже произведений, так сказать, высокой литературы. Не говоря о прозе таких писателей, как Сохо Токутоми, Кацунан Куга, Руйко Куроива, Рэйсуй Тидзука и некоторых других, даже корреспонденции Мисэй Яманаки в художественном отношении несколько не уступают литературной смеси в современных журналах.

Мало того, писатели, печатавшиеся в газетах, не подписывали своих произведений, поэтому имена многих из них до нас не дошли. В их число стоило бы включить двух-трех поэтов. Я не могу представить себе свое становление, вычеркнув хотя бы одно мгновение своей жизни. Поскольку произведения и этих людей (пусть их имена мне и неизвестны) заставили меня испытать поэтическое волнение, они для меня, сегодняшнего — журналиста и поэта, — благодетели. Случайность, сделавшая меня писателем, их сделала журналистами. Если помимо месячного жалования получать еще и гонорар за свои рукописи — счастье, то я счастливее их. (Дешевая слава — еще не счастье.) За исключением этого, в профессиональном отношении я ничем от них не отличаюсь. Во всяком случае, я был журналистом. И сегодня я журналист. В будущем тоже буду, конечно, журналистом.

Не только выдающиеся писатели, даже я временами испытываю душевную усталость от своего журналистского призвания.

21. «Данте» Хакутё Масамунэ

Статья Хакутё Масамунэ о Данте превосходит все написанное до него. По крайней мере своей необычностью она, пожалуй, не уступает работам Кроче о Данте. Я с удовольствием прочел ее. Он почти совсем закрывает глаза на «красоту» Данте. Скорее всего, он делает это намеренно. А может быть, это получается у него непроизвольно. Покойный профессор Бин Уэда тоже был одним из исследователей Данте. Он даже переводил «Божественную комедию». Но, как видно из его рукописей, он не пользовался оригиналом на итальянском языке. Сделанные им заметки показывают, что он пользовался английским переводом Кери. Пользуясь переводом, говорить о «красоте» Данте смешно. (Кроме перевода Кери, другого я не читал.) Но все же «красота» Данте, даже если читать только перевод Кери, так или иначе чувствуется...

Далее, одной из целей «Божественной комедии» было стремление Данте на склоне лет оправдать себя. Обвиненный в растрате общественных денег и других преступлениях, он

считал, безусловно, необходимым оправдаться, как бы сделали и мы. Однако достигнутый Данте Рай кажется мне немного скучным. Может быть, потому, что мы на самом деле бредем в Аду? А может быть потому, что самому Данте удалось достичь лишь Чистилища?..

Мы не сверхчеловеки. Даже могучий Роден испытал нервное потрясение, когда изругали его знаменитый памятник Бальзаку. Такое же потрясение испытал, несомненно, и Данте, когда его изгнали с родины. Превращение после смерти в призрак и появление перед сыном в той или иной степени демонстрирует истинную сущность Данте, сущность, унаследованную его сыном. Данте, подобно Стриндбергу, выбрался с самого дна Ада. Ведь Чистилище «Божественной комедии» в чем-то близко радости избавления от болезни...

Но это лишь самый верхний слой понимания Данте. Масамунэ в своей статье пытается вскрыть его сущность. То, что в ней есть, — это ни тринадцатый век, ни Италия. Это мир, в котором живем мы. Покой, только покой — этого жаждал не один Данте. Его жаждал и Стриндберг. Я люблю смотреть на Данте без того душевного трепета, какой свойствен, скажем, Масамунэ. Масамунэ говорит, что Беатриче не женщина, а скорее небожительница. Но если, прочитав Данте, мы вдруг увидели бы перед собой Беатриче, то, несомненно, ужаснулись бы.

Пишу это и вспоминаю Гёте. Описанная им Фредерика прекрасна. Но профессор Боннского университета Нееке писал, что она была совсем не такой. Дунцер и другие идеалисты, разумеется, не верят в это. Более того, деревня Сесенхейм, где жила Фредерика, отличается от той, которую изобразил Гёте. Тик специально посетил эту деревню и заявил, что почувствовал «разочарование». То же можно сказать и о Беатриче Данте. И хотя его Беатриче ничего не говорит о настоящей Беатриче, она говорит о Данте. До последних лет своей жизни он мечтал о так называемой «вечной женщине». Но так называемая «вечная женщина» обитает только в Раю. Мало того — Рай полон «раскаяния в *несовершенном*». В адском же пламени обитает «раскаяние в *совершенном*».

Читая статью о Данте, я как бы ощущал скрытые железной маской глаза Масамунэ. Древние говорили: «Если не видеть твоих глаз, то и твоей печали не заметить». То же можно сказать и о глазах Масамунэ, но я боюсь, что глаза его искусственные.

22. Мондзаэмон Тикамацу

После долгого перерыва я вместе с Дзюньитиро Танидзакки и Хауро Сато побывал в театре кукол. Куклы прекраснее актеров. Особенно они красивы, когда неподвижны. Но кукловоды в черном немного неприятны. Фигуры, напоминающие их, можно увидеть на картинах Гойи, на заднем плане. Такое чувство, что и тебя гонят куда-то эти черные фигуры — твоя горестная судьба...

Но я хочу рассказать не о куклах, а о Мондзаэмоне Тикамацу. Я стал думать о нем, когда смотрел на Дзихэя и Кохару. Тикамацу, в противовес реалисту Сайкаку, называют идеалистом. Мироззрение Тикамацу мне неизвестно. Возможно, Тикамацу, обращаясь к небу, сетовал на наше несовершенство. Возможно, он с опаской ждал наступления завтрашнего дня, видя, каков день сегодняшней. Сейчас дать точный ответ на это никто, безусловно, не в состоянии. Единственное, что я могу утверждать, посмотрев его драму, — Тикамацу не идеалист. Идеалист... как можно называть его идеалистом? Действительно, Сайкаку реалист в литературе. В своем мироззрении он тоже реалист. (Во всяком случае, судя по его произведениям.) Правда, реалист в литературе совсем не обязательно должен быть реалистом и в своем мироззрении. Автор «Мадам Бовари» был романтиком и в своем мироззрении, и в литературе. Если романтизмом называть стремление к мечте, то и Тикамацу можно назвать романтиком. Но в то же время в определенном аспекте он — могучий реалист... Попытайтесь отделить Гандзио от Каватия в «Кохару и Дзихэй» (ради этого стоит пойти в театр кукол). Если это сделать, то от пьесы ничего не останется. Его реалистическая драма проникнет в самые сокровенные тайники человеческой души. В ней есть, конечно, и лирические стихи, характерные для годов Гэнроку... Но если называть человека, способного создавать такие стихи, романтиком, то слова Вилье де Лиль-Адана можно считать полной правдой. Не идиот всегда становился романтиком.

Драматургические приемы годов Гэнроку были менее естественными, чем сегодня. Но зато значительно менее изощренными, чем драматургические приемы после годов Гэнроку. Если отвлечься от всех этих приемов, то Кохару и Дзихэй с точки зрения психологической обрисовки героев достаточно реалистичны. Тикамацу пристально рассматривает их чувственность и эгоизм. Обращает внимание и на нечто необычное в их характерах. Не злая воля Тахэя привела их к гибели, а добрая воля жены и отца Дзихэя принесла им страдания.

Тикамацу часто называют японским Шекспиром. В нем гораздо больше шекспировского, чем это принято считать. Во-первых, он, так же как Шекспир, почти всех превосходит по интеллекту. (Вспомните интеллект драматурга латинян Мольера.) Во-вторых, его драмы сплошь усыпаны блестящими пассажами. И наконец, даже в самую напряженную драматическую канву вкраплены комедийные сцены. Глядя на нищего монаха в сцене у жаровни, я много раз вспоминал пир из великого «Макбета».

После исследований Тёгю Такаямы бытовая драма Тикамацу стала считаться значительно выше его исторических драм. Но и в своих исторических драмах Тикамацу не романтик. Этим он тоже сродни Шекспиру. Шекспир навсегда остановил свои часы в Риме. Тикамацу еще больше, чем Шекспир, игнорировал эпоху. Более того — даже век богов он превратил в мир эпохи Гэнроку. И его персонажи также, как это ни парадоксально, в психологической обрисовке часто совершенно реалистичны. Например, в исторической драме «Нихон фурисодэ хадзимэ» ссора братьев Котана и Сотана вполне мыслима как сцена бытовой драмы. А душевное состояние жены Котана, душевное состояние самого Котана после убийства отца вполне возможно и в нынешний век. Более того, любовь Сусаноо-но-микото, я не боюсь этого сказать, и в исторические времена сохранилась в неизменном виде.

Исторические драмы Тикамацу, естественно, насыщены фантазией значительно больше, чем его бытовые драмы. Но именно благодаря этому они обладают «красотой, которой лишены бытовые драмы. Представьте себе плывущий вдоль южного побережья Японии корабль с китайскими красавицами на борту («Кокусэнъя кассэн»). Созерцание этого уже заставляет нас наслаждаться ароматом иностранного государства.

Тёгю Такаяма, к сожалению, игнорирует подобные особенности драм Тикамацу. Исторические драмы Тикамацу несколько не уступают его бытовым драмам. Только нам сравнительно ближе повседневная жизнь горожан феодальной эпохи. Дома свиданий годов Гэнроку близки чайным домикам эпохи Мэйдзи. Кохару, особенно Кохару в актерском исполнении, напоминает гейшу эпохи Мэйдзи. Все это заставляет почувствовать реалистичность бытовых драм Тикамацу. Но если сейчас, после того как прошло не одно столетие, то есть после того как повседневная городская жизнь феодальной эпохи превратилась в далекий сон, мы снова взглянем на пьесы Тикамацу, то обнаружим, что его исторические драмы не уступа-

ют бытовым. Более того, исторические драмы, как и бытовые, описывают жизнь даймё той эпохи. А то, что они не кажутся столь же реалистичными, как бытовые, так это потому, что нам бесконечно далека жизнь даймё в эпоху феодализма. Как ни странно, но даже сам император с удовольствием читал пьесы Тикамацу. Может быть, причиной тому — происхождение Тикамацу, а может быть, императору было любопытно, что происходило в повседневной городской жизни того далекого времени. Во всяком случае, исторические драмы Тикамацу заставляли почувствовать не только жизнь высшего общества годов Гэнроку.

Всякий раз на кукольных представлениях я думаю об этом. Представления эти все больше приходят в упадок. Да и тексты пьес кукольного театра теперь далеки от оригинала. Но сами пьесы Тикамацу интересуют меня гораздо больше, чем такие постановки.

23. Подражание

Рыжеволосые презирают японцев за то, что они мастера подражать. Они презирают их и за то, что нравы и обычаи (или мораль) японцев им смешны. Благодаря Кумаити Хоригути я познакомился с французским романом «Юки-сан» («Дзёсэй», № 3) и задумался над тем, что такое подражание.

Японцы — мастера подражать. Я не собираюсь отрицать, что и мои произведения — подражание произведениям рыжеволосых. Но и они — мастера подражать. Разве Уистлер в своих картинах не подражает укиёэ? Они и сами подражают друг другу. Обратимся к прошлому — каким примером послужил им великий Китай? Они, возможно, скажут, что их подражание было «перевариванием»! А коль скоро это так, то и наше подражание тоже можно считать «перевариванием». Возьмем, к примеру, картины, выполненные черной тушью, — японская живопись южной школы значительно отличается от китайской живописи южной школы. В буквальном смысле слова можно переваривать лишь свиные котлеты в закусовых на улице.

Если считать подражание удобством, то нет ничего лучше подражания. Мы не признаем необходимости бороться с танками и газами рыжеволосых, размахивая своими именными мечами, доставшимися нам в наследство от предков. К тому же материальная культура, даже когда в этом нет необходи-

мости, сама по себе не может утвердиться без насильственного подражания. Действительно, даже жители таких государств с теплым климатом, как Греция и Рим, носившие в древности легкие одеяния, стали теперь пользоваться изобретенной кочевниками северного Китая одеждой, удобной только во время холодов.

Нет ничего удивительного в том, что наши нравы и обычаи кажутся им смешными. Они в общем с похвалой отзываются о нашем искусстве, особенно прикладном. Но только потому, что оно в первую очередь попадает на глаза. Наши чувства, мысли не так просто увидеть. Сэр Резерфорд Алкок, английский посланник в конце эпохи Эдо, увидев ребенка, которого прижигали моксой, с насмешкой говорил о том, сколько страданий мы причиняем себе из-за суеверий. Чувства и мысли, заключенные в наших нравах и обычаях, даже сегодня, когда появился Якумо Коидзуми, для них непостижимы. Они не могут не высмеивать нас. А нам представляются странными их нравы и обычаи. Например, из-за того, что Эдгар По был пьяницей (а возможно, из-за того, что его подозревали в том, что он пьяница), его посмертной славе был нанесен непоправимый ущерб. В Японии, которая гордится сборником «Сто стихотворений Рихаку Итто», такое отношение к По вызывает удивление. Хотя сам факт взаимного пренебрежения достаточно распространен, он достоин сожаления. Более того, мы сами не можем не чувствовать трагедии этого. Наша духовная жизнь есть в определенном смысле борьба между нами старыми и нами новыми.

Однако мы в чем-то понимаем рыжеволосых лучше, чем они нас. (Возможно, в этом есть для нас что-то позорное.) Они не обращают на нас ни малейшего внимания. Мы для них люди нецивилизованные. Кроме того, те из них, кто живет в Японии, не являются яркими представителями Запада. Возможно, они не могут служить образцом тех, кто правит миром. Но мы благодаря издательству «Марудзэн» так или иначе постигаем их душу.

Хочу еще добавить. В своей сущности они тоже не отличаются от нас. Мы (и они тоже) все вместе и есть те самые люди и звери, которые оказались в ковчеге, именуемом миром. Чрево ковчег лишено света. А на то помещение, где находятся японцы, еще и часто обрушиваются землетрясения.

Статья Кумаити Хоригути, к сожалению, не окончена. Кроме того, критический разбор романа отсутствует. Поэтому я и решил написать свои заметки.

24. В защиту «авторов-невидимок»

В древности художники имели немало выдающихся учеников. Современные художники таких не имеют. Сейчас берут учеников либо ради денег, либо ради высоких идеалов. Древние же художники обучали своих учеников, чтобы иметь «авторов-невидимок». Благодаря этому они могли передавать им тайны своего мастерства. И нет ничего удивительного, что ученики становились выдающимися художниками. Эти слова Сэмюэла Батлера во многом соответствуют действительности. Данный природой талант рождается, конечно, не только благодаря этому. Но учитель часто помогает ему раскрыться. Я узнал недавно, с какой теплотой и сердечностью Флобер обучал Мопассана. (Читая рукописи Мопассана, он придирчиво заметил, что два его произведения, созданные одно за другим, построены одинаково.) Но далеко не всякий способен взять на себя такое бремя, даже если ученик талантлив.

Сегодняшняя Япония требует массового производства художественных произведений. Да и писателям нелегко будет прокормиться без такого производства. Но увеличение количества, как правило, ведет к снижению качества. Не исключено, что рождение многих талантов произошло благодаря тому, что ученики бывали «авторами-невидимками» при мастерах. Нельзя утверждать, что к подобному методу не прибегали авторы развлекательной литературы в эпоху феодализма, а также авторы романов, печатавшихся в газетах в эпоху Мэйдзи. Художники, например Роден, *частично* создавали свои произведения руками учеников.

Традиция создания произведений «авторами-невидимками» будет продолжаться и в будущем. Не исключено, что это неизбежно приведет к вульгаризации искусства. Овладев техникой, ученик может, разумеется, стать независимым. Но может и унаследовать имя учителя.

Я, как ни печально, не имел случая обзавестись «автором-невидимкой». Но уверен, что мог бы выступить в качестве автора-невидимки, создающего чужие произведения. Трудность лишь в том, что быть «автором-невидимкой» чужих произведений обременительнее, чем писать свои.

25. Сэнрю

Сэнрю — это японское сатирическое стихотворение. Но пренебрежительно относятся к нему не потому, что оно сатирическое. Более того, сэнрю нечто иное, чем просто произведение художественной литературы, поскольку в самом названии «сэнрю» — «склонившаяся к реке ива» — содержится некая эдоская прелесть. Всем известно, что сэнрю близко хокку. Да и сами хокку в чем-то близки сэнрю.

Самый разительный пример этого — рэнку Яю Ёкои в первом издании «Залатанного платья». Они ничем не отличаются от сборника сэнрю «Сорванные цветы».

Нищие похороны
Лотос в утренних
сумерках

Любой должен признать, что это сэнрю очень близко хокку. (Лотос — это, конечно, искусственные цветы лотоса.) Сэнрю и в дальнейшем не станет вульгарным. Оно в шуточной форме обнажает внутренний мир горожан феодальной эпохи — их радости и горести. Если называть сэнрю вульгарным, то столь же вульгарными следует назвать любую нынешнюю повесть и пьесу.

Масадзиро Кодзима еще раньше указывал на чувственные описания, которые можно найти в сэнрю. Будущие поколения укажут, возможно, на социальные страдания, содержащиеся в них. Я же профан в сэнрю. Но, не исключено, когда-нибудь оно обойдет Фауста. Облачившись, разумеется, в летнее хаори, пришедшее к нам из эпохи Эдо.

Когда-то и ты поймешь
Не сердце
Поэт обласкает тебя

Чтоб услышал
Хоть один человек
Пой то, что не ждут от тебя

26. Стихотворная форма

Сказочная принцесса многие годы тихо спала в своем замке. Форма японского стиха, исключая танка и хайку,

была подобна этой сказочной принцессе. Стихи тэка «Манъёсю» — из них состоят и сайбара, и «Сказание о доме Таира», и ёкёку, и дзёрури. В них спит множество стихотворных форм. Я уже писал, что ёкёку сами по себе близки по форме современному стиху. В них есть ритм, характерный для нашего современного языка. (Так называемые современные народные пьесы, во всяком случае большая их часть, написаны в форме додоицу.) Только увидеть эту спящую принцессу — и то бесконечно интересно. Не говоря уж о том, чтобы пробудить ее.

Сегодняшние стихи, если употреблять старую терминологию, стихи нового стиля, идут, пожалуй, именно по этому пути. Для того чтобы отобразить сегодняшние чувства, вчерашняя форма стиха, видимо, не подходит. Я не утверждаю при этом, что нужно неизменно следовать старой поэтической форме. Просто я чувствую, что в этой поэтической форме есть нечто жизнеспособное. И я хочу подчеркнуть: нужно сознательно стараться ухватить это «нечто».

Мы все появились на свет в переходное время. И на противоречия нагромождаем противоречия. Свет — во всяком случае, в Японии — идет с Запада больше, чем с Востока. Но он идет из прошлого. Коллективные стихи Аполлинера и его товарищей близки рэнку эпохи Гэнроку. И большинство из них тоже незавершенные. Естественно, далеко не любой в состоянии пробудить спящую принцессу. Хорошо, если это по силам хотя бы Суинберну или могучему создателю «Катаута-но митимори».

В старых японских стихах содержится нечто свежее. Нечто, вызывающее ответный отклик, — я, естественно, улавливаю это «нечто», но воссоздать не в состоянии. Хотя, повторяю, не уступаю другим в способности почувствовать его. Может быть, с точки зрения литературы все это сущий пустяк. Только я, как это ни странно, всем своим сердцем устремлен к этому «нечто», к этой туманной свежести.

27. Пролетарская литература

Мы не можем преодолеть границ своего времени. Мы не можем преодолеть границ своего класса. Толстой, рассказывая о женщине, не боялся непристойностей. Они шокировали даже Горького. В беседе с Франком Харрисом он вполне искренне сказал: «Больше, чем Толстого, я ценю правила прили-

чия. Те, кто следует в этом Толстому, объяснят это моим происхождением, тем, что я из крестьян». Харрис прокомментировал слова Горького так: «То, что Горький из крестьян, видно как раз из этого — он стыдится своего крестьянского происхождения».

Средние классы породили немало революционеров, это верно. В теории и практике они выразили свои идеи. Но оказалась ли способной их душа преодолеть границы средних классов? Лютер выступил против римско-католической церкви. И он сам видел дьявола, препятствующего его делу. Его идеи были новыми. Но его душа не могла не видеть ада римско-католической церкви. Это касается не только религии. То же самое происходит, когда речь идет о социальной системе.

В наших душах выжжено классовое клеймо. Но мы связаны далеко не одной классовой принадлежностью. Мы связаны и географически — местом рождения, начиная от Японии и кончая родным городом или деревней. А если вспомнить еще о наследственности, среде, то можно поразиться, насколько мы сложны. (К тому же все, что создает нас, заключено в нашем сознании.)

Не говоря уж о Карле Марксе, все борцы за женское равноправие имели хороших жен. Если великие свершения возможны только в таких условиях, то по меньшей мере таких же условий требует создание художественных произведений, и в первую очередь литературных. Мы — растения, живущие под разным небом, на разной земле. И наши произведения — плоды этих растений, живущих в самых разных условиях. Если посмотреть на нас глазами бога, то станет ясно, что в каждом нашем произведении заключена вся наша жизнь.

Пролетарская литература — что она собой представляет? Во-первых, это, конечно, литература, цветы которой распускаются в пролетарской культуре. Ее в сегодняшней Японии нет. Затем, это литература, борющаяся за интересы пролетариата. Он в Японии есть. (Если бы нашим соседом была Швейцария, пролетарская литература получила бы еще большее развитие.) В-третьих, это литература, которая, даже если она и не зиждется на принципах коммунизма или анархизма, имеет в своей основе пролетарскую душу. Второе и третье определения пролетарской литературы вполне согласуются. И если создавать новую, молодую литературу, ею должна быть литература, рожденная пролетарской душой.

Я стоял у реки Сумидагава и, глядя на скопившиеся в устье парусные суда и баржи, ощущал, как в меня вливаются «стихи о жизни», еще не появившиеся в сегодняшней Японии. Они ждут своего создателя. Вести в произведение коммунистические или анархистские идеи совсем не трудно. Но лишь пролетарская душа придает поистине поэтическую величественность, сверкающую в произведении подобно алмазу. Умерший молодым Филипп имел пролетарскую душу.

Флобер передал в «Мадам Бовари» драму буржуазии. Однако не его презрение к буржуазии обессмертило «Мадам Бовари». Обессмертило ее лишь мастерство Флобера. Филипп помимо пролетарской души тоже обладал завидным мастерством. Каждый художник должен стремиться к совершенству. Лишь совершенные произведения, как кристаллы кальцита, станут достоянием наших детей и внуков. Даже если и подвергнутся выветриванию.

28. Куникида Доппо

Куникида Доппо был талантливym человеком. Ему совсем не подходит прилипшее к нему словечко «неумелый». Какое из его произведений ни взять, ни об одном нельзя сказать, что оно сделано неумело. «Правдолюбец», «Полицейский», «Бамбуковая калитка», «Незаурядно заурядный человек» — все это написано мастерски. Если называть Доппо неумелым, то «Филипп» — тоже неумелое произведение.

Однако это не значит, что Доппо называли «неумелым» без всяких оснований. Он не писал историй, развивавшихся, так сказать, драматургически. Никогда не писал длинно. (Разумеется, оттого, что *не мог* делать ни того, ни другого.) Отсюда и родилось прилипшее к нему словечко «неумелый». Но именно в этом «неумении» или частично в нем и заключался его талант.

Доппо обладал острым умом и одновременно мягким сердцем. Но, к сожалению, гармонии не получилось. В этом и была его трагедия. Столь же трагическими личностями были Симэй Фтабатэй и Исикава Такубоку. Правда, у Фтабатэя было не такое мягкое сердце, как у них. (Или же он был в большей степени, чем они, человеком дела.) Потому-то его трагедия не столь велика. Вся жизнь Фтабатэя была трагедией, фактически не являвшейся таковой...

Однако взглянем снова на Доппо — из-за своего острого ума он не мог не обращать взора к земле, так же как из-за своего мягкого сердца не мог не обращать взора к небу. Первое родило такие рассказы, как «Правдолюбец» и «Бамбуковая калитка», второе — «Незаурядно заурядного человека», «Горе мальчика», «Печаль картины» и другие рассказы. Не случайно Доппо любили и натуралисты, и гуманисты.

Обладая мягким сердцем, он был, конечно, поэтом. Не просто в том смысле, что писал стихи. Он был поэтом, отличным от Симадзаки Тосона и Катая Таямы. От него нельзя было требовать стихов Таямы, напоминавших полноводную реку. Нельзя было требовать и стихов Симадзаки, похожих на яркий цветник. Стихи Доппо теснее связаны с жизнью. Они всякий раз зывали к «облакам в бескрайней выси». В молодости одной из любимых книг Доппо было сочинение Карлейля «Герои». Мне кажется, исторические взгляды Карлейля оказали на него огромное влияние. Но не меньшее влияние оказал поэтический дух Карлейля.

Как я уже отмечал, Доппо обладал острым умом. Стихи «Свободное обитание в горном лесу» не могли не превратиться в сборник эссе «Равнина Мусаси». «Равнина Мусаси», как говорит само название, действительно равнина. Но сквозь перелески, разбросанные на этой равнине, проглядывают горы. «Природа и человек» Токутоми представляет собой полную противоположность «Равнине Мусаси». В описании природы они, безусловно, равны. Но на последнем гораздо больше, чем на первом, лежит патина печали. В ней чувствуется налет традиций Востока, включая Россию. Удивительна судьба «Равнины Мусаси» — патина печали превратила ее в еще более совершенное произведение. (Немало писателей пошли дорогой, проложенной Доппо в «Равнине Мусаси». Я помню одного — Есиэ Когана. Сборник его эссе того времени исчез в заливающем нас «книжном потоке». Но он был поразительно трогателен.)

Доппо ступил на землю. И, как всякий человек, столкнулся с людским варварством. Но живший в нем поэт навсегда остался поэтом. Острый ум заставил написать перед смертью «Записки прикованного к постели». Им же создано стихотворение в прозе «Дождь в пустыне».

Если говорить о наиболее совершенных произведениях Доппо, то нужно назвать «Правдолюбца» и «Бамбуковую калитку». Но они не дают полного представления о Доппо, который сочетал в себе поэта и прозаика. Наиболее гармонично-

го или наиболее счастливого Доппо я вижу в его эссе «Охота на оленя». Этому эссе близки ранние произведения Сэйко Накамуры.)

Все писатели-натуралисты шли вперед, сосредоточенно глядя перед собой. И лишь Доппо время от времени воспарял к небу...

29. Снова отвечаю Дзюнъитиро Танидзаки

Я прочел «Понемногу о многом» Дзюнъитиро Танидзаки, и мне снова захотелось поговорить с ним. Разумеется, мне бы хотелось поспорить не с одним Танидзаки. Но, к сожалению, сейчас редко можно встретить противника, с которым удалось бы по diskutieren открыто и бескорыстно. Именно такого человека я увидел в Дзюнъитиро Танидзаки. Возможно, я оказываю ему медвежью услугу. Но если он дружески, спокойно выслушает меня, я буду этим вполне удовлетворен.

Бессмертно не только искусство. Бессмертны и наши суждения об искусстве. Мы без конца обсуждаем проблему: что такое искусство? Мысли об этом мешают моему перу двигаться свободно. Но, чтобы полностью выявить свою позицию, я бы хотел немного поиграть в пинг-понг идей.

1. Не исключено, что я, как утверждает Танидзаки, подвержен беспрерывным колебаниям. А может быть, действительно подвержен им. У меня не хватает мужества решительно преодолеть то, что уготовано мне злым роком. А когда изредка такое мужество появляется, мне все равно ничего не удается. Примером тому — мои рассуждения о произведениях, лишенных того, что можно назвать «повествованием». Но я говорил — Танидзаки приводит эту цитату, — что «ценность художника определяется тем, насколько «чистым» он является". Эти слова ни в малейшей степени не противоречат сказанному мной, что произведения, лишенные того, что можно назвать «повествованием», являются не самыми лучшими. Я бы лишь хотел увидеть в прозаическом или драматическом произведении «чистого» художника. (К примеру, произведения японских очеркистов демонстрируют облик «чистого» художника.) Думаю, сказанного достаточно, чтобы ответить Танидзаки, заявившему: «Я не совсем хорошо понимаю, что означает поэтический дух».

2. Мне кажется, я бы тоже мог понять так называемую «созидательную силу», о которой говорит Танидзаки. Я не собираюсь отрицать, что в японском искусстве, особенно в сегодняшнем, недостает такой силы. Однако, если проявление этой силы, о которой говорит Танидзаки-кун, не ограничивается романами, то писатели, которых я уже упоминал, обладают такой силой. Правда, понятие силы имеет относительный характер, и поэтому судить о ее наличии или отсутствии следует, исходя из определенных критериев. Все же я ни за что не могу согласиться, что не дотягиваю до Наоя Сиги, имея в виду такой критерий, как «наличие или отсутствие ощущения физической силы». Танидзаки переоценивает меня гораздо больше, чем я сам. «Мы никогда не говорим о своих слабостях. Мыто не говорим, но другие скажут обязательно» — это слова пожилого дипломата, которые Мериме приводит в своей переписке. Я бы согласился, во всяком случае частично, с этими словами.

3. «Величие Гёте в том, что, оставаясь большим мастером, он не утратил черт «чистого» художника». Это высказывание Танидзаки абсолютно верно. У меня нет никаких возражений. Однако если и существует противоречивый большой поэт, то большого поэта, лишённого «чистоты», не существует. Значит, то, что делает большого поэта большим поэтом, — по крайней мере то, что позволит и в будущем называть его большим поэтом, — все та же противоречивость. Танидзаки понимает «противоречивость» как нечто низкое. В этом как раз и состоит различие наших взглядов. Говоря о Гёте, я назвал его «противоречивым». Но не вкладывал в это слово значение «непоследовательный». Если следовать мысли Танидзаки, то «противоречивость» может значить: «большая широта взглядов». Только разве «большой широте взглядов» не придается самое серьезное значение при оценке поэтов прошлого? Те, кто считает Бодлера и Рембо большими поэтами, не преклоняются перед Гюго. И я с ними согласен. (Гёте обладает силой, распяляющей нашу зависть. Даже поэты, не завидовавшие своему современнику-гению, нередко досадовали на Гёте. А я, как это ни прискорбно, лишен даже мужества откровенно проявить подобную зависть. Судя по биографии, Гёте, помимо гонорара, получал еще жалованье и регулярную денежную помощь. Возьмем его талант, возьмем положение, образование, способствовавшие развитию его таланта, возьмем, наконец, физическое здоровье, рождавшее его энергию, — все это уже само по себе вызывает зависть, причем не только у меня.)

4. Это не ответ Танидзаки. Я лишь хочу с самым искренним теплом отозваться о его словах о том, что различие наших точек зрения — это и «различие наших склонностей». Мурасаки-сикибу, столь любимая Танидзаки, в своем дневнике записала: «Сэйсёнагон всегда служит с неприступно-гордым видом. Просто невозможно смотреть, с какой самоуверенностью она записывает иероглифами то, что ей приказано. А тот, кто считает себя не хуже ее, всегда оказывается в проигрыше, хотя и служит, отдавая все душу... хранит в душе чувство преданности и, не обращая внимания на те или иные несправедливости, забывает о себе. Тот, кто не может забыть о себе, никогда не будет служить достойно». Я далек от того, чтобы считать себя той самой девушкой из могущественного дома Сэй. Но прочитав эти слова Мурасаки-сикибу (хотя научные познания ее были столь неразвитыми, что говорить о «различии склонностей» не имеет смысла), я смог понять, что испытывал укоряющий меня Танидзаки. Мои ощущения, воплотившиеся в этом моем втором ответе, объясняются не только выпрненным стилем «Понемногу о многом». А прежде всего тем, что я вспомнил Дзюньитиро Танидзаки, рассуждающего об искусстве, когда в прошлом году мы ехали с ним как-то ночью в автомобиле.

30. «Голос крови».

Когда на выставке, организованной группой «Кофукай», я увидел — это было довольно давно — «Таитянку» (?) Гогена, у меня возникло чувство неприятия. Женщина, стоявшая, замерев, на фоне роскошного пейзажа, как бы *зримо* источала запах кожи дикарки. Это заставило меня непроизвольно отшатнуться, неприятное чувство возникло еще и оттого, что женщина не гармонировала с роскошным пейзажем. Две работы Ренуара на выставке Академии изящных искусств намного превосходили этого Гогена. Особенно *charment*¹ маленькая картина обнаженной женщины. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Но шло время, и оранжевая женщина Гогена в конце концов покорила меня. Я был покорен силой, близкой очарованию, исходившему от этой таитянки. Но и французенка не утратила для меня своей обворожительности. Если говорить о красоте, то я, как мне кажется, выбрал бы, чтобы на картине была изображена не таитянка, а французенка...

¹ Очаровательная (*фр.*).

Примерно так же, я чувствую, выстраиваются приоритеты и в литературе. Среди литературных критиков есть, как мне кажется, и приверженцы таитянки, и приверженцы французенки. Гоген, во всяком случае Гоген, которого я видел, избрал в оранжевой таитянке человека-животное. Один критик, например Хакутё Масамунэ, избирает в качестве критерия следующее: изображает художник, *как правило*, человека-животное или нет. А другой, например Дзюньитиро Танидзакки, избирает в качестве критерия уже иное: красоту картины, на которой он видит человека-животное. (Разумеется, критерии, из которых исходят литературные критики, этими двумя не ограничиваются. Существует еще критерий практической нравственности, критерий социальной нравственности. Но я к этим критериям особого интереса не питаю. Даже убежден, что в них нет ничего достойного внимания.) Конечно, приверженцы таитянки и приверженцы французенки могут оказаться одними и теми же людьми. Различия между ними, как любые различия, рожденные на нашей земле, весьма туманны. Но если взять крайние точки, то признать следует лишь одно: факт существования таких различий.

Согласно эстетическим принципам Гёте, Кроче и Шпинглера, подобные различия, благодаря понятию «самовыражение», рассеиваются как туман. Однако, создавая свое произведение, мы, во всяком случае я, уклоняемся от основного пути, сворачивая на боковую тропинку. Классики мастерски шли по таким тропинкам. Может быть, именно поэтому мы не способны достигнуть их высот. Ренуар, во всяком случае тот Ренуар, которого я видел, в этом, пожалуй, ближе к классикам, чем Гоген. Но оранжевая самка человека-животного чем-то влечет меня. Неужели я один чувствую заключенный в нас тот самый «голос крови»?

Я, как все любители изобразительных искусств, родившиеся со мной в одно время, один из тех, кто увлекся Ван Гогом, охваченным бесконечной печалью. Но когда-то я испытывал интерес к предельно утонченному Ренуару. Возможно, во мне говорил городской житель. Не исключено, что это объяснялось также желанием воспротивиться тенденциям, существовавшим в среде любителей изобразительных искусств того времени. Но прошло десять лет, а Ренуар, достигший выдающегося совершенства, все еще потрясает меня. Правда, туя и солнце Ван Гога тоже все еще влекут к себе. Хотя, возможно, влекут иначе, чем оранжевая женщина. Вместе с тем и некая напряженность разжигает мой, так сказать, художественный

аппетит. Некое таящееся в глубине души настоящее стремление к самовыражению...

Я люблю утонченные литературные произведения, так же как горячо привязан к Ренуару. Те, кто гулял в «Саду Эпикура», не смогут забыть его очарования. Мы, городские жители, питаем к прогулкам в «Саду Эпикура» большую слабость, чем все остальные. Меня, конечно, не может оставить равнодушным и голос пролетарской литературы. Но больше всего меня волнует, как я уже сказал, не это. Я думаю, любому трудно быть чистосердечным до конца. Но тем не менее среди писателей, которых я знаю, такие люди есть. Я всегда немного завидовал им...

По ярлыку, кем-то наклеенному на меня, я принадлежу к «группе искусств». (Существование такого названия, существование атмосферы, породившей подобное название, возможно лишь в Японии.) Я создаю свои произведения совсем не для своего собственного совершенствования. И тем более не для того, чтобы изменить нынешнее социальное устройство. Я создаю их только ради того, чтобы оттачивать мастерство существующего во мне поэта. Или же ради того, чтобы оттачивать мастерство существующего во мне поэта и одновременно журналиста. Вот почему я не могу игнорировать «голос крови».

Один мой приятель прочел мою статью, в которой высказаны некоторые критические мысли о стихах Мори-сэнсэя, и обвинил меня в том, что я выступил по отношению к нему с nepозволительной жестокостью. Я не испытываю ни малейшей враждебности к Мори-сэнсэю. Наоборот, принадлежу к тем, кто относится к нему с искренним уважением. Но верно и то, что я завидую ему. Мори-сэнсэй не тот писатель, который, как лошадь, впряженная в повозку, всегда смотрел только прямо перед собой и ни разу не колебался, проявляя железную волю. Пафнутий из «Таис» молился не богу, а Христу из Назарета. Мне всегда было трудно сблизиться с Мори-сэнсэем, может быть, потому, что я испытывал к нему жалость, близкую той, которую испытывал Пафнутий.

31. «Голос Запада»

Я чувствую «голос крови» в гогеновской оранжевой женщине. А вот в «Молодом будде» Редона чувствую «голос Запада». Этот «голос Запада» не может не волновать меня

Дзюньитиро Танидзакки тоже чувствует в себе борение Востока и Запада Но мой «голос Запада», возможно, несколько отличается от «голоса Запада» Танидзакки. Вот почему я хочу написать о «Западе», каким я его ощущаю.

Обращенный ко мне «голос Запада» исходит всегда от изобразительного искусства. В этом смысле художественные произведения, в первую очередь проза, как ни странно, не столь остро воспринимаются мной. Одна из причин состоит, видимо, в том, что и на Востоке и на Западе мы, люди, — люди-животные, и различия в этом между нами нет почти никакой. (Приведу первый попавшийся пример: надругательство некоего профессора медицины над девушкой и то, что сделал с девушкой-крестьянкой аббат Муре, продиктованы одной и той же мужской психологией.) Постичь же до конца прелесть литературного произведения Запада мне мешает недостаточное знание языка. Мы, во всяком случае я, понять смысл стихотворений, написанных рыжеволосыми, можем. Но не в состоянии упиваться каждым их словом, каждым звуком, как упиваемся стихотворениями наших предков, например Бонтё:

Сколько очарования
В ветвях дерева
О это ива

Вот почему, как мне кажется, нет ничего странного в том, что «голос Запада» обращается ко мне через изобразительное искусство.

В почве далекого Запада пустила свои корни удивительная Греция. Как говорили древние, чтобы узнать, холодна вода или тепла, нужно испить ее. То же самое можно сказать и о Греции. Чтобы быстро и доступно объяснить, что она собой представляет, я предлагаю посмотреть несколько греческих керамических изделий, которые есть и в Японии. Могу предложить еще фотографии греческой скульптуры. Красота этих произведений есть красота греческих богов. Это предельно чувственная, я бы сказал, сверхъестественная — по-другому не скажешь, — чарующая красота, заключенная в красоте физической. Впитанная камнем, необычная, как аромат мускуса, красота, есть, конечно, и в стихах. Читая Поля Валери, я (не знаю, что скажут на это рыжеволосые критики) столкнулся с такой красотой, волновавшей меня еще со времен Бодлера. Но

самым непосредственным образом заставила меня почувствовать Грецию красота Редона, которую я упомянул...

Идейное противостояние эллинизма и гебраизма породило массу споров. Но мне они малоинтересны. Я прислушиваюсь к ним не больше, чем к уличным выступлениям. Но греческая красота, о которой я говорю, даже для меня, профана, смело может быть названа «страшной». Только в ней, я имею в виду Грецию, можно почувствовать «голос Запада», противопоставленного Востоку. Аристократия уступила место буржуазии. Буржуазия тоже рано или поздно уступит место пролетариату. Но по мере того как мы будем познавать Запад, удивительная Греция непременно втянет нас либо наших детей и внуков в свою орбиту.

Работая над этой статьей, я вспомнил об ассирийской арфе, пришедшей в древнюю Японию. Великая Индия, мне кажется, поможет Востоку протянуть руку Западу. Но это дело будущего. Запад, самая суть Запада — Греция, сейчас не пожимает руки Востока. Гейне в «Богам Греции» говорит, что боги эти, изгнанные крестом, обитают теперь в западной глуши. Пусть в глуши, но все равно на Западе. А нам не остается ничего другого, как оставаться на Востоке. Запад, даже после кровавого гебраистского крещения, отличается от нашего Востока. Самый разительный пример — эротика. Они даже в чувственных наслаждениях отличаются от нас.

Некоторые усматривают свой Запад в немецком экспрессионизме, умершем к 1914—1915 годам. Другие нередко усматривают его в Рембрандте и Бальзаке. Возьмем, например, Тоёкити Хату — для него Запад — это искусство рококо. Все это действительно Запад. Но в его тени я со страхом вижу проснувшегося Феникса — удивительную Грецию. Со страхом? А может быть, без страха? Но все равно, одновременно с непонятым протестом я не могу не испытывать нечто близкое животному магнетизму, влекущее меня к Греции.

Если бы я мог освободиться от всего этого, мне бы хотелось прежде всего освободиться от «голоса Запада». Но это не в моей власти. Как-то вечером, дней пять назад, я вместе с Сайсэй Муроо и еще с кем-то после долгого перерыва снова закурил трубку и, разговаривая с молодыми людьми, вспомнил давным-давно забытую строку Бодлера. (Для меня это, несомненно, интересно с точки зрения экспериментальной психологии.) А потом вспомнил полную непостижимого величия картину Редона.

«Голос Запада», как и «голос крови», куда-то ведет меня. Поэт в «Заратустре», увидевший себя в статуе Диониса, представляющего собой как бы вызов Аполлону, был счастлив. Я, родившийся в современной Японии, не могу не чувствовать, что и во мне самом, в моем творчестве много вызывающе противоречивого. Неужели только во мне, легко подвергающемся самым различным влияниям? Я даже думаю, не эта ли непостижимая Греция препятствует полноценному переводу на наш японский язык художественных произведений — слишком западных. А может быть, препятствует правильному пониманию их нами, японцами (я оставляю в стороне языковые препятствия). Картина Редона, нет, скорее увиденная мной на выставке французского искусства «Саломея» (?) Моро не могла не напомнить мне о том безбрежном океане, разделяющем Восток и Запад. Можно на эту проблему посмотреть и с обратной стороны: непонимание рыжеволосыми китайской поэзии совершенно естественно. Я слышал, что в Британском музее работает прекрасный востоковед. Но его переводы китайской поэзии ни в малейшей мере не передают нам, японцам, прелести подлинника. Более того, его понимание китайской поэзии, когда он опускает период ее расцвета в Танскую эпоху и говорит о взлете в конце эпохи Хань, разрушает существовавшую до сих пор точку зрения, и мы, японцы, не можем безоговорочно с ним согласиться. Известно, что Пикассо, например, обнаружил неведомую прелесть в африканском искусстве. Но когда Запад увидит неведомую прелесть в восточном искусстве, например в том, что написано Тайгу Рёканом?

32. Век критики

Мода на критику и эссеистику привела к сокращению художественного творчества. Это не мое суждение. Это суждение Харуо Сато (см. «Тюокорон», № 5). А также суждение Икусабуро Миякэ (см. «Бунгэй дзидай», № 5). Оба эти случайно совпавшие суждения привлекли мое внимание. Они представляются мне верными. Сегодняшние писатели, как говорит Сато, устали. (К ним, разумеется, не причисляются писатели, утверждающие: «Я не устал».) То ли от непрерывной работы (нигде в мире не пишут так много, как в Японии), то ли от множества личных дел, то ли от возраста, с которым не поспоришь, то ли... — в общем, хотя обстоятельства и претерпевают изменения, писатели действительно устали. Среди писателей

рыжеволосых тоже есть немало таких, кто на закате жизни взялся за критику...

Сато считает, что в век критики необходимо обращаться к самым коренным вопросам. Не особенно отличается от него и Миякэ, требующий «критики, касающейся первостепенных проблем». Я бы тоже хотел, чтобы критические работы писались кровью. Что является первостепенным для критики? Множественность мнений. А при множественности мнений появление, так сказать, «настоящей критики» сопряжено с реальными трудностями. Но мы, хотя каждый имеет свое мнение, обязаны защищать свои принципы, ставить проблемы. Хакутэ Масамунэ прекрасно делает это в своих критических обзорах, в своей работе «О Данте». Возможно, в его суждениях как критика можно найти некоторые недостатки. Но потомки, как говорил Лассаль, «будут не укорять нас за ошибки, а хвалить за пыл наших сердец».

Миякэ пишет: «Полностью отдать критику на откуп «настоящих» писателей — значит столкнуться с опасностью застопорить развитие литературы». Читая это, я вспомнил слова Бодлера: «Поэт заключает в себе критика. Но критик не всегда заключает в себе поэта». Действительно, поэт, несомненно, заключает в себе критика. Но способен ли такой критик в художественной форме, именуемой «критика», создать свое критическое произведение? Правда, это уже другой вопрос.

Не один я хочу появления «настоящего критика», о котором говорит Миякэ.

На японском Парнасе сложились определенные традиции. Например, для поэта Сайсэй Муроо создание прозаических и драматических произведений — не развлечение. Однако, когда прозаик Харуо Сато пишет стихи, для него это, как ни странно, именно развлечение. (Я, правда, помню, как сам Сато возмущался: «Мои стихи — не развлечение».)

Возможно, это один из фактов, подтверждающих слова о «всемогуществе писателя». То же можно сказать и о том случае, когда писатель является одновременно и критиком. Читая третий том «Собрания сочинений» Огая, я понял, насколько критик Огай-сэнсэй превосходил «профессиональных критиков» того времени. И понял, как уныло и бедно время, когда таких критиков нет. Если говорить о критиках эпохи Мэйдзи, то вместе с Мори-сэнсэем и Нацумэ-сэнсэем следует назвать и лучших представителей журнала «Хототогису». Известный же токийский насмешник Рёку Сайто, хотя и заимствовал, с

одной стороны, западничество Мори-сэнсэя, а с другой — японизм и китаизм, так и не смог стать критиком. (Но все же я питаю симпатию к Рёку Сайто, не создавшему ничего, кроме эссе. Во всяком случае, он был мастером слова.) Но это мое личное мнение...

Мори-сэнсэй как критик подготовил эпоху Мэйдзи, когда появилась литература натурализма (Парадоксальная судьба — в эпоху, когда появилась литература натурализма, Мори-сэнсэй превратился в антинатуралиста. Может быть, это произошло потому, что глаза Мори-сэнсэя были устремлены к более высокому небу. В общем, можно смело назвать парадоксом, что в двадцатые годы эпохи Мэйдзи даже Мори-сэнсэй, так много говоривший о Золя и Мопассане, стал одним из антинатуралистов.) Если и то время называть веком критики, если, к счастью, слова Миякэ: «Разве можно надеяться, что наступит расцвет японской литературы?» — продиктованы лишь эмоциями, то насколько спокойно можем мы ждать появления новых писателей? Или скажем так: насколько беспокойно можем мы ждать появления новых писателей?

Так называемые «настоящие критики» берутся за критические перья, чтобы отделить зерно от плевел. Я сам иногда чувствую в себе такое мессианское желание. По большей же части я пишу для того, чтобы интеллектуально воспеть самого себя. Критика для меня почти ничем не отличается от создания прозаических и стихотворных произведений. Познакомившись с суждениями Сато и Миякэ, я решил написать эту статью, предваряя свою критическую работу.

П р и м е ч а н и е . Написав эту статью, я узнал от Ёсидзо Хорики, что одну из своих критических работ Кодзи Уно назвал: «Литературное, слишком литературное». Я далек от подражания Уно и не собираюсь создавать с ним единый фронт в области пролетарской литературы. Я выбрал этот заголовок с единственной целью показать, что касаюсь лишь вопросов литературы. Надеюсь, Уно поймет меня.

33. «Группа неосенсуалистов»

Сейчас, возможно, уже покажется старомодным критически анализировать положительное и отрицательное в деятельности группы неосенсуалистов. Но я, прочитав произведения писателей этой группы, прочитав критические статьи

об их произведениях, почувствовал непреодолимое желание написать о ней.

Если говорить о поэзии, то она во все времена развивается в интересах группы неосенсуалистов. В этом смысле абсолютно верно утверждение Сайсэй Муроо, что Басё был самым великим поэтом годов Гэнроку, к которому приложимо определение «нео». Басё всегда стремился к тому, чтобы стать «нео» в литературе. Поскольку проза и драма содержат элементы поэзии, то есть являются поэзией в широком смысле, для этих жанров тоже важно появление «группы неосенсуалистов». Я помню, что в какой-то степени к «группе неосенсуалистов» примыкал Хакусю Китахара. (Символом поэтов того времени были слова: «Свобода чувств».) Я помню, что и Дзюнъитиро Танидзаки принадлежал к «группе неосенсуалистов»...

Я, естественно, испытываю интерес к сегодняшним писателям этой группы. Эти писатели, во всяком случае те из них, кто участвует в полемиках, опубликовали теоретические работы, значительно более «нео», чем мои размышления о «группе неосенсуалистов». К сожалению, я недостаточно знаком с ними. Мне известны, да и то, пожалуй, не особенно хорошо, лишь их произведения... Когда мы выпустили первые свои повести и новеллы, нас назвали «группой неорационалистов». (Мы, конечно, сами так себя не именовали.) Но если рассмотреть произведения писателей «группы неосенсуалистов», то нужно сказать, что они в некотором смысле гораздо более «неорационалисты», чем были мы. Что означает в «некотором смысле»? Это означает, что их так называемую сенсуальность освещает свет рационализма. Однажды мы с Сайсэй Муроо смотрели на луну над горой Усуи, и вдруг, услышав его слова, что гора Мёги «напоминает имбирь», я неожиданно для себя обнаружил, насколько эта гора действительно напоминает имбирный корень. Подобная так называемая сенсуальность не освещена светом рационализма. Что же представляет собой их сенсуальность? Риити Ёкомицу, чтобы объяснить мне, что представляет собой взлет их так называемой сенсуальности, привел мне фразу, принадлежащую Такэо Фудзисава: «Лошадь бежала, как рыжая мысль». Я не могу сказать, что мне подобный взлет совершенно непонятен. Но эта строка явственно родилась в результате рационалистических ассоциаций. В этом, видимо, и состоит особенность этой группы. Если же цель так на-

зываемой сенсуальности — новое само по себе, то я должен считать *более чем новым* восприятие горы Мёги как имбирного корня. Восприятие, существовавшее еще с далеких времен Эдо.

«Группа неосенсуалистов», безусловно, должна была возникнуть. И возникновение ее было совсем не легким, как возникновение всего нового (в литературе). Мне трудно испытывать восхищение писателями «группы неосенсуалистов», или, правильнее сказать, их так называемой неосенсуальностью, — я уже говорил об этом. Но все же критики слишком суровы к их произведениям. Так или иначе, писатели этой группы пытаются двигаться в новом направлении. Это следует признать безусловно. Высмеивать их усилия — это не просто наносить удар по писателям, именующим себя сегодня «группой неосенсуалистов». Это означает наносить удар по их дальнейшему росту, по той цели, которую поставят перед собой писатели «группы неосенсуалистов», которые придут вслед за ними. А это, естественно, не будет способствовать свободному развитию японской литературы, ее прогрессу.

Однако, независимо от того, как их будут называть, и в будущем несомненно появятся писатели, которых мы сейчас причисляем к «неосенсуалистам». Еще лет десять назад, осмотрев вместе с Масао Кумэ выставку общества «Содося», я услышал, помню, его восторженные слова: «Удивительно, как кипарисник в этом саду напоминает картины художников из общества «Содося». Критерием для него служил тот же самый «неосенсуализм» десятилетней давности. То, что я жду «неосенсуализма» от заграничных писателей, не нужно считать моим опрометчивым умозаключением.

Если мы по-настоящему хотим «чего-то нового» в литературе, то это может быть, пожалуй, только так называемый «неосенсуализм». (Точку зрения, что «нео» не играет никакой роли, я оставляю за рамками рассматриваемой проблемы.) Даже литература, утверждающая так называемое «понимание цели», если отвлечься от того, насколько «понимание цели» является новым или старым (допустим, такой вопрос будет задан, — на него можно ответить, что в девятые годы прошлого века появился Бернард Шоу), есть путь, по которому следовало огромное число наших предшественников. Не говоря о том, что многое из нашего сегодняшнего мировоззрения можно почерпнуть даже из

старинных карт для игры в «кироха». Более того, новое или старое в литературе или искусстве, в искусстве особенно, не может рассматриваться, исходя лишь из того, новое это или старое по времени.

Я понимаю, что современники не в состоянии понять, что представляет собой «неосенсуализм». Например, «Испанская семья» Харуо Сато до сих пор не утратила новизны. Тем более, когда это произведение печаталось в журнале «Сэйдза» (?). Но новизна его несколько не взволновала литературные круги. Может быть, поэтому сам Сато сомневается в новизне своего произведения, а затем и в том, достойно ли оно положительной оценки. Подобные факты существовали, разумеется, не только в Японии, но и в других странах. Но наиболее ярко они проявились именно здесь.

34. Объяснение

Я много раз повторял, что никогда не говорил: пишите лишь «бессюжетную прозу». И следовательно, не стою на позициях, прямо противоположных тем, которые занимает Дзюньитиро Танидзаки. Я призываю лишь к тому, чтобы признавалась значимость и «бессюжетных» произведений. Если найдутся люди, не согласные с этим, я готов дискутировать с ними. Я спорю с Танидзаки совсем не ради того, чтобы привлечь кого-то на свою сторону. (В то же время мне бы, конечно, не хотелось, чтобы появились сторонники у Танидзаки.) Мы должны сами, без помех, вести нашу дискуссию. Недавно в одном из журналов я увидел, что даже моя сюжетная проза называется бессюжетной, и решил написать эту статью. Но мне, видимо, так и не удалось объяснить, что представляет собой «бессюжетная проза». Я сделал все, что в моих силах. Некоторые из моих знакомых понимают, что я хотел сказать. А остальные могут расценивать мои слова, как им заблагорассудится.

35. Истерия

Я слышал, что существует такой метод лечения истерии: предложить больному писать или говорить все, что ему хочется, и подумал, что рождение литературы — это не шутка — произошло, в частности, благодаря истерии. Любой архан в определенной мере истерик. Поэты имеют гораздо боль-

шую склонность к истерии, чем обычные люди. Эта истерия уже три тысячи лет доставляет им страдания. Некоторые из них умерли от нее, другие — сошли с ума. Но благодаря истерии поэты воспевали свою радость и свою печаль — мы имеем все основания думать так.

Среди мучеников веры и революционеров немало мазохистов, а среди поэтов — истериков. «Состояние, когда писать не можешь», — это состояние одного из персонажей мифа, который в дупло дерева прокричал: «У короля ослиные уши». Не будь такого состояния, не родилась бы по крайней мере «Исповедь глупца» (Стриндберг). Более того, бывали эпохи, когда истерия господствовала. В одну из них родились «Вертер» и «Рене». Если взять Европу, то к этим периодам можно отнести крестовые походы, но это, пожалуй, уже не входит в круг проблем «литературного, слишком литературного». С давних времен эпилепсию называют «святой болезнью». По аналогии истерию можно назвать «поэтической болезнью».

Было бы комичным рассматривать Шекспира и Гёте как людей, подверженных истерии. Это значило бы оскорбить их величие. Ведь великими, помимо истерии, их сделала сила воображения. Сколько раз у них случилась истерия — это проблема психологов. Наша же проблема — сила воображения. Работая над этой статьей, я неожиданно увидел в девственном лесу безвестного поэта, бьющегося в истерии. Видимо, он был объектом насмешек обитателей своей деревеньки. Но лишь сила его воображения, форсируемая истерией, изольется, подобно роднику, на будущие поколения.

Я не поклонник истерии. Муссолини, превратившийся в истерика, стал опасен в международном масштабе. Но как бы сократилось число радующих нас литературных произведений, если бы никто из их создателей не был подвержен истерии. Только поэтому я хочу оправдать ее — истерию, ставшую привилегией женщин, но на самом деле знакомую любому человеку.

В конце прошлого века в литературе наступила эпоха истерии. Стриндберг в «Синей книге» назвал эту эпоху «творением дьявола». Мне, конечно, не известно, творение она дьявола или бога. Но все равно любой поэт подвержен истерии. То что Толстой, как видно из «Биографии» Бирюкова, в полубезумном состоянии бежал из дому, почти ничем не отличается от поступка одной больной истерией женщины, о которой недавно писали у нас газеты.

36. Военный корреспондент жизни

Помнится, Симадзаки Тосон называл себя «военным корреспондентом жизни». А недавно я услышал те же самые слова, которые Кадзуо Хироцу адресовал Хакутё Масамунэ. Я, в общем, понимаю смысл употребленных этими писателями слов «военный корреспондент жизни». Видимо, они противопоставлены слову «обыватель», изобретенному совсем недавно. Но, строго говоря, далеко не каждый, рожденный в нашем брэнном мире, может стать «военным корреспондентом жизни». Хотим мы того или нет, жизнь превращает нас в «обывателей». Хотим мы того или нет — заставляет бороться за существование. Одни во что бы то ни стало стремятся одержать победу. Другие занимают оборонительную позицию, выслушивая сарказмы, остроты, восхищения. Есть, наконец, и такие, кто «бредет по жизни», лишенный четких убеждений. Но каждый из них фактически, хочет он того или нет, «обыватель». Персонаж человеческой комедии, над которым властвует nasledственность и среда.

Некоторые торжествуют победу. Другие — терпят поражение. Но и те и другие, в общем мы все, пока живы, «приговорены к смертной казни, исполнение которой отсрочено», как сказал Патер. Мы сами вольны выбирать, как распорядиться этой отсрочкой. Вольны? Насколько вольны — это еще вопрос. Мы появились на свет с уже определенной судьбой и сами не в состоянии осознать, что нам предначертано ею. Древние объясняли это словом Карма. Современные идеалисты, как правило, нападают на Карму. Но их знамена и копыя демонстрируют лишь, насколько они энергичны. Демонстрировать свою энергию имеет, конечно, смысл. Речь идет не только о современных идеалистах. Мы ощущаем могущество и в энергии Карнеги. Без такого ощущения никто не захочет читать его повествования о бизнесменах и политиках, обязанных своими успехами только себе. Однако Карма не стала от этого менее угрожающей. Энергию Карнеги породила его собственная Карма. Мы все обязаны склонить голову перед ней. Если нам, или по крайней мере мне, небом будет ниспослано смирение, ответственна за это только Карма.

Мы все в той или иной степени «обыватели». И поэтому сами поклоняемся более удачливым «обывателям». Наш идол — бог войны Марс. Оставим в стороне Карнеги — «сверхчеловек» Ницше, соскреби с него налет, окажется все тем же Марсом, правда, в другом обличье. Не случайно Ницше

с таким восхищением говорит о Цезаре Борджиа. Хакутё Масамунэ в «Мицухидэ и Сёха» заставляет «обывателя» из «обывателей» Мицухидэ издеваться над Сёхой. (Нужно сказать, что было бы парадоксальным называть Хакутё Масамунэ «военным корреспондентом жизни...») Я не собираюсь насмеяться над Мицухидэ. Хотя мы, сплошь и рядом, не задумываясь, рассыпаем насмешки.

Человеческая трагедия, а может быть комедия, таится в том, что нельзя быть только «военным корреспондентом жизни». Она таится в том, что любой человек несет Карму «обывателя». Но искусство не есть жизнь. Вийону, чтобы оставить нам свою лирику, потребовалась цепь «бесконечных поражений». Пусть терпит поражение тот, кто терпит поражение. Возможно, он пренебрегал социальными обычаями, то есть моралью. Пренебрегал законами. Пусть еще больше пренебрегал он социальными условиями. Вина за пренебрежение всем этим ложится, разумеется, на него одного. Социалист Бернард Шоу в своей «Дилемме врача» вместо спасения аморального гения предлагает спасти заурядного человека. Нужно сказать, что позиция Шоу во всяком случае, рациональна. Мы любим рассматривать в музее упрятанное за стекло чучело крокодила. Но нет ничего удивительного в том, что все силы отдаем не спасению крокодила, а спасению осла. Именно поэтому и общество защиты животных не доводит своего великодушия до того, чтобы защищать хищных зверей и ядовитых змей. Но это, так сказать, вопрос *home rule*¹ в человеческой жизни. Скажу еще о Вийоне: хотя он и был первоклассным преступником, но был и первоклассным лирическим поэтом.

Одна женщина заявила: «Счастье, что в моей семье нет гения». Причем в слово «гений» она не вкладывала никакой иронии. Я тоже удовлетворен тем, что и в моей семье нет гения. (Разумеется, я не собираюсь считать аморальность обязательной принадлежностью гения). Среди жителей деревень и городов во все времена было больше тех, кто обладал добродетелью «обывателя», чем гения. Рыжеволосые, пользуясь определением «как человек», среди гениев всех времен видят и тех, кто обладал добродетелью «обывателя». Но я не верю в такое идолопоклонничество. Я не говорю о Вийоне «как художнике», даже Стриндберг «как художник» стоит того, что-

¹ Зд.: семейной традиции (англ.).

бы его читали взахлеб. Но Стриндберг «как человек» гораздо менее подходит для общения, чем уважаемые мной критики х-, у-, z- куны. Следовательно, к проблемам литературы неприложимы слова: «посмотрим на этих людей». Скорее уж другие: «посмотрим на эти произведения». Но прежде чем скажут: «посмотрим на эти произведения», проходит, подобно полноводной реке, не один век; до этого же никто не обратит на них внимания. Потом пройдет еще сколько-то веков, и эти произведения, как охапку соломы, бросают в реку забвения. Если не верить в «искусство для искусства» (это убеждение ничуть не противоречит тому, что писать приходится и для того, чтобы поддержать свое существование, но не *только* для этого), то создание стихотворений, как говорили древние, ничем не отличается от возделывания поля.

Я убежден, что не только Симадзаки Тосон — это несомненно, — но и Хакутё Масамунэ не были «военными корреспондентами жизни». Нет никакого основания утверждать, что, даже обладая талантом этих выдающихся писателей, можно разом превратиться в «военного корреспондента жизни», не будучи внутренне готовым к этому. Мы все несем в себе «Мицухидэ и Сёха». Во всяком случае, я вместо того, чтобы быть Сёхой в отношении себя самого, имею некоторую тенденцию быть Мицухидэ в отношении всех, кроме себя. Вот почему Мицухидэ во мне не насмехается над Сёхой во мне. Хотя ему этого очень бы хотелось.

37. Классика

Сомнительно, чтобы «избранное меньшинство» было меньшинством, способным видеть высшую красоту. Скорее, это меньшинство, способное понять чувства писателя, выраженные в его произведении. Следовательно, художественное произведение или писатель, создавший его, не могут иметь читателей, кроме «избранного меньшинства». Но это нисколько не противоречит тому, чтобы иметь «неизбранное большинство» читателей. Я часто встречался с множеством людей, хваливших «Повесть о Гэндзи». Но читали «Повесть» (не говоря уж о том, чтобы понимали ее, наслаждались ею) среди писателей, с которыми я общаюсь, всего два человека — Дзюнъитиро Танидзаки и Тосио Акаси. Таким образом, классическим можно назвать произведение, которое среди пятидесяти миллионов человек мало кем читается.

Но все же «Манъёсю» читает гораздо большее число людей, чем «Повесть о Гэндзи». И это не потому, что «Манъёсю» превосходит «Повесть о Гэндзи». И даже не потому, что между ними лежит пропасть: одно — прозаическое, другое — поэтическое. Просто произведения, включенные в «Манъёсю», каждое в отдельности, несравненно короче «Повести о Гэндзи». Во все времена, и на Востоке и на Западе, множество читателей привлекали лишь классические произведения, не особенно длинные. Если же они были длинными, то должны были представлять собой собрание коротких произведений. Еще По, утверждая свои принципы поэзии, основывался именно на этом факте. И Бирс, утверждая свои принципы прозы, также основывался именно на этом факте. Мы, люди Востока, руководствуясь в этом вопросе не столько рассудком, сколько чувством, оказались их предтечами. Но, к сожалению, никто из нас не построил, подобно им, логически завершенного здания, базирующегося на этом факте. Если бы мы попытались построить его, то, видимо, смогли бы обеспечить даже такой роман, как «Повесть о Гэндзи», нужным прекрасным материалом, который, уж во всяком случае, создал бы ему популярность. (Однако, знакомясь с теорией стиха По, можно обнаружить различие между Востоком и Западом. По считает наиболее подходящей длину стиха примерно в сто строк. Наше трехстишие хайку, состоящее из семнадцати слогов, он бы, безусловно, исключил из числа стихотворений, назвав «эпиграммой».)

Заветная мечта всех поэтов, заявляют они об этом или нет, — остаться в веках. Нет, неверно утверждать, что это «заветная мечта всех поэтов». Правильнее сказать — «заветная мечта всех поэтов, опубликовавших свои произведения». Есть, конечно, люди, уверенные, что они поэты, хотя не опубликовали ни строки (это поэты, наиболее мирно живущие в своей поэтической жизни). Если же называть поэтами только людей, создавших поэтические произведения в стихах или прозе, то их проблема, скорее всего, не «что написано», а «что не написано». Для жизни поэтов, живущих на гонорар, это, естественно, не очень приятно. Но если им это неприятно, пусть вспомнят, что поэт эпохи феодализма Рокюдзэн Исикава был также и хозяином гостиницы. И мы, если бы не были литературными поденщиками, тоже, возможно, нашли бы себе какое-нибудь ремесло. Может быть, благодаря этому расширился бы наш опыт и знания. Иногда я с некоторой завистью думаю о старых временах, когда невозможно было прожить

литературным трудом. Ведь именно та эпоха оставила в веках классику. Было бы, конечно, неверно утверждать, что написанное для того, чтобы поддержать свое существование, не может стать классикой. (Если посмотреть на позу, которую принимают некоторые писатели, то самая приятная из них: «Пишу для того, чтобы поддержать свое существование».) Не следует забывать слова Анатоля Франса, что нужно быть легким, чтобы улететь в будущее. Таким образом, классикой можно назвать лишь произведения, которые всеми читаются с начала и до конца.

38. Общедоступный роман

Так называемый общедоступный роман — это произведение, сравнительно просто описывающее жизнь людей, обладающих поэтическим характером, а так называемый художественный роман — это произведение, сравнительно поэтически описывающее жизнь людей, не обладающих поэтическим характером. Их различия никому не ясны. Но персонажи так называемого общедоступного романа действительно обладают поэтическим характером. И это совсем не парадокс. А если и выглядит парадоксом, то лишь потому, что сам этот факт парадоксален. Все люди в молодости часто ощущают в своем характере поэтичность. Но с годами теряют ее. (В этом смысле лирические поэты — вечные дети.) Вот почему персонажи так называемого общедоступного романа часто выглядят смешными, точно старики. (В число таких романов не входят детективы и массовая литература.)

Примечание. Уже после того как я написал это, мне пришлось принять участие в беседе, организованной журналом «Синтё», которая была посвящена Юскэ Цуруми, что заставило меня задуматься о различии между так называемым общедоступным романом и так называемым *popular novel*¹ рыжеволосых. По-моему, так называемому общедоступному роману наименование не подходит. Беннетт своими *popular novels* дал наименование *fantasies*². Причина была в том, что он разворачивал перед читателями не существующий в действительности мир. Не потому, что это был некий мистический

¹ Популярным романом (англ.).

² Фантазии (англ.).

мир. А лишь потому, что в этом мире нет печати художественной правды — ни на персонажах, ни на событиях.

39. Самобытность

В настоящее время подводится итог в художественной сфере эпох Мэйдзи и Тайсё. Не знаю почему. Не понимаю зачем. Это прежде всего итог в области литературы, вылившийся в «Собрание современной японской литературы» и «Собрание литературных эпох Мэйдзи и Тайсё», а также общий итог в области живописи, свидетельством чему является Выставка выдающихся произведений эпох Мэйдзи и Тайсё. Познакомившись с этими произведениями, я не мог не ощутить, как трудно художнику быть самобытным. Каждый с завидной легкостью заявляет, что не собирался копировать старых мастеров. Но когда смотришь на их работы (или, может быть, лучше сказать: достаточно посмотреть на их работы), понимаешь, что достигнуть самобытности — дело далеко не легкое.

Мы, даже не сознавая этого, идем по стопам наших предшественников. А то, что называем самобытностью, не более чем попытка найти свой путь. И если удастся на шаг (хотя бы на один крохотный шаг) отойти от предшественников, это зачастую потрясает эпоху. Преднамеренное же отступничество никогда не позволяет по-настоящему отойти от предшественников. И все же я один из тех, кто хотел, хотя бы из чувства долга, признать возможность отступничества в сфере художественной. В действительности отступники не так уж редки. Наверное, их гораздо больше, чем тех, кто следует по стопам предшественников. Они в самом деле совершили отступничество. Однако я не в состоянии четко понять, в чем оно заключалось. В большинстве случаев их отступничество — это отступничество не столько от предшественников, сколько от тех, кто следовал за предшественниками. Если бы эти художники были в состоянии *почувствовать* своих предшественников, то, возможно, отошли бы от них. Однако все равно влияние предшественников неизбежно осталось бы в их произведениях. Фольклористы в предании «Чужой берег» обнаружили множество прототипов японских легенд. То же и в искусстве — если копнуть поглубже, можно найти немало интересных источников. (Однако, как я

уже говорил, я убежден, что писатели, сами того не подозревая, не черпают из них.) Никакие, даже самые крупные личности не в состоянии в мгновение ока изменить все таким образом, чтобы сразу же был достигнут прогресс в искусстве или хотя бы перемены в нем.

Нашего самого большого уважения достойны те, кто попытался внести хотя бы некоторые перемены в наше топтание на месте. (Одним из таких людей был Сюнсо Хисида.) Молодежь нового времени, кажется, верит в силу самобытности. Я бы хотел, чтобы верила еще больше. Определенные перемены могут родиться только в этом случае. В мире существует огромный букет, создававшийся с давних времен нашими предшественниками. Великое дело — добавить к нему хотя бы один цветок. Для этого необходим жар сердца, достаточный, чтобы создать новый букет. Возможно, жар сердца вообще иллюзия. Можно меня высмеять за нее, но художественные гении во все времена искали иллюзий.

Несчастливы люди, которые считают жар сердца явной иллюзией. Но ведь они сами, не исключено, тоже питают те или иные иллюзии. Я один из тех, кому нечего сказать по этому поводу. Люди, увидевшие Выставку выдающихся произведений эпох Мэйдзи и Тайсё, высказывали самое разное мнение о достоинствах представленных на ней картин. Но у меня нет сейчас возможности обсуждать их достоинства.

40. Литературная вершина

Литературная вершина или, другими словами, так сказать, самая литературная литература умиротворяет нас. Сталкиваясь с подобными произведениями, мы испытываем потрясение. Литература или искусство обладают удивительной притягательной силой. Если из всех сторон жизни человека считать главной практическую деятельность, то можно сказать, что любое из искусств в своей основе обладает силой, в той или иной степени опустошающей нас.

Гейне часто склонял голову перед стихами Гёте. Но с такой же чистосердечностью роптал на безупречного Гёте за то, что тот не призывает нас к действию. Не следует слишком упрощенно относиться к словам Гейне, мол, таково его личное восприятие. В своей «Романтической школе» он пытается повлиять на наше восприятие искусства. Все виды искусств в конечном итоге тушат наш пыл (деятельности). Человек испы-

тывает их господство и потому не может быть сыном Марса. Счастливы простодушные художники и идиоты, способные блаженствовать, довольствуясь искусством. Но Гейне, к несчастью, не обрел покоя.

Я с большим интересом наблюдаю за тем, как пролетарские бойцы выбрали своим оружием искусство. Они всегда смогут легко и свободно использовать его. (Разумеется, исключение составляют те, кто не способен к творчеству даже на уровне слуги Гейне.) Но, возможно, когда-то это оружие потушит их пыл. Гейне был одним из них — сдерживаемый этим оружием, он его же и использовал. Может быть, тут-то и заключен источник его безмолвных страданий. Я ощущаю на себе силу этого оружия — искусства. Поэтому не могу утверждать, что его использование меня вовсе не касается. Тем более, что один из уважаемых мной людей, не забывая об опустошающей силе искусства, хочет, чтобы я использовал это оружие. К счастью, именно этого я и ожидал от него.

Кто-нибудь, возможно, посмеется надо мной. Я готов к этому. Может быть, мой взгляд поверхностен. Пусть так, но мой десятилетний опыт научил меня, как нелегко слова одного человека усваиваются другими. Продолжая трудиться в искусстве, я все же заметил, сколь велика его опустошающая сила. Одно это для меня играет огромную роль. Литературная вершина, как говорил Гейне, — это все те же древние каменные изваяния. Пусть звучит немного иронично, но зато холодно и спокойно.

БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРЕ

Наши произведения печатают ежемесячные журналы и газеты. Так было в прошлом, ничего не изменилось и сейчас. И я снова задумался над этим, когда смотрел на открытку с изображением собора Нотр-Дам, которую прислал мне приятель из Европы. Дело в том, что живопись в какой-то мере оказалась подчиненной господству архитектуры. Огромные фрески Микеланджело появились благодаря романской архитектуре. Небольшие картины Ван Эйка породила готическая архитектура. Видимо, и литературные произведения ощущают господство ежемесячных журналов и газет, которые их печатают. Действительно, нынешние романы несут в себе газетный дух. Если посмотреть на нынешние рассказы глазами бу-

дущего, то и в них, по всей вероятности, между строк можно будет почувствовать журнал. Может быть, это просто моя фантазия. Но то, что из наших произведений всплывают газеты и журналы, — это фантазия более чем реальная, она напоминает экспрессионистский фильм.

Подсчитаем количество романов, повестей и рассказов, печатающихся в газетах и журналах, — в год их более тысячи. Но подумаем над их жизнью — она коротка. Ни один из видов литературы не может лучше отобразить жизнь эпохи, чем роман. И вместе с тем по мере изменения характера жизни больше всех остальных видов литературы теряет свою силу опять-таки роман. Для того чтобы узнать вчерашнюю жизнь, нужно читать вчерашний роман. Но это «для того, чтобы узнать». А не для того, чтобы ощутить жизнь в романе, заставляющем трепетать наши сердца.

Писатели моего времени создают вполне обычные человеческие образы Таданао Кё или монаха Сюнкана. Но рано или поздно они трансформируются в «сверхчеловеческие». Самое чистое и светлое чувство, например чувство любви между мужчиной и женщиной, неизменно волнует нас, даже если мы находим его в «Повести о Гэндзи». Но у кого хватит упорства пробиться сквозь сотни страниц ради нескольких строк, полных жизненной правды? Преодолевают века лишь те, что с предельной выразительностью передает это чистое, светлое чувство, — может быть, именно поэтому жизнь лирических стихотворений дольше, чем жизнь романов. Действительно, японская литература чрезвычайно богата, но ни одно произведение не имеет столь долгой жизни, как танка «Маньёсю».

Все это говорит о том, что роман, а также и пьеса чрезвычайно близки журналистике. Строго говоря, ни один писатель, ни одно произведение не могут жить вне своей эпохи. Таков налог, который вынужден платить роман за то, чтобы с максимальной выразительностью передать жизнь своей эпохи. Как я уже говорил, ни один из видов литературы не имеет такой короткой жизни, как роман. И в то же время ни один из них не живет такой напряженной жизнью, как роман. Следовательно, с этой точки зрения жизнь романа окрашена в лирические тона гораздо больше, чем сами лирические стихи. Итак, роман напоминает яркую бабочку, проносящуюся перед нашими глазами в вспышке молнии.

Я возлагаю большие надежды на пролетарскую литературу. Это совсем не ирония. Вчерашняя пролетарская литература выдвигала в качестве неперемennого условия, что писатель должен обладать общественным сознанием. Но ведь «Повесть о Гэндзи» сделало «Повестью о Гэндзи» совсем не то, что ее автором была аристократка и материалом для нее послужила жизнь двора. Вряд ли кто-либо будет это оспаривать. Критики говорят так называемым буржуазным писателям: обретите общественное сознание! Слова эти не вызывают моего возражения. Но мне только хочется сказать писателям, называющим себя пролетарскими: обретите поэтический дух.

В последнее время я все острее ощущаю, что такое пожелание не бесполезно. Например, стихи и проза Сигэхару Накано совсем не такие бледные, как произведения других пролетарских писателей, они неординарны, обладают неподдельной красотой. Надеюсь, что завтра их появится еще больше. А может быть, уже родились, но не попадались мне на глаза. (Хочу добавить вот что. Недавно я прочел стихотворение Накано, в котором он критикует «Вечного студента» Масао Кумэ, называя его «вечным мальчишкой». Однако было бы ошибочным утверждать, что Кумэ порицает своего героя за то, что тот стал социалистом. Поэтому слова «вечный мальчишка» расстроят Кумэ. Они будут ему, безусловно, неприятны. В бытность студентом он больше всех нас сочувствовал социалистам. Вот почему, остро воспринимая перемены, приносимые временем, я захотел добавить этот эпизод.)

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПИСАТЕЛЮ

1. Нужно твердо усвоить, что из всех видов литературы проза — наименее художественный. Литература в истинном смысле — это только поэзия. Проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в ней поэзии. Следовательно, исторические или биографические произведения фактически тоже проза.

2. Прозаик, помимо того что он поэт, является историком или биографом. Следовательно, он должен быть неразрывно связан с жизнью человека (определенной страны в определенной эпоху). Произведения японских прозаиков от Мурасаки-сикибу до Ихары Сайкаку служат тому доказательством.

3. Поэт — человек, рассказывающий перед всеми свою душу. (Посмотрите хотя бы на любовную лирику, существующую для того, чтобы увлечь женщину.) Поскольку прозаик не только поэт, но еще и историк или биограф, в самом прозаике должен жить и мемуарист, представляющий собой частицу биографа. Следовательно, прозаик чаще, чем обычный человек, обращается к своей горестной жизни. Поэт в самом прозаике не должен быть особенно силен творчески. Если же поэт в самом прозаике сильнее историка или биографа, то жизнь прозаика неизбежно превращается в сплошную трагедию. (Если бы Наполеон или Ленин стали поэтами, то, безусловно, родилось бы два несравненных прозаика).

4. Как показывают три приведенных выше пункта, талант прозаика сводится к трем талантам: таланту поэта, таланту историка или биографа и таланту житейскому. Наши предшественники считали самым трудным не допустить противоборства этих трех талантов (люди, не считающие это самым трудным, — обыкновенные посредственности). Тот, кто пытается стать писателем, подобен не окончившему автомобильной школы шоферу, который на полной скорости гонит по улице машину. Он не может надеяться, что жизнь его будет спокойной и мирной.

5. Поскольку писатель не может надеяться, что жизнь его будет спокойной и мирной, он должен полагаться лишь на жизненные силы, деньги, философское отношение к жизни (быть способным вести неустроенную жизнь). Нужно твердо помнить, что, как это ни неожиданно, спокойная жизнь и писательство — понятия, как правило, несовместимые. *И тем, кто стремится к мирной жизни, лучше не становиться писателем.* Нужно помнить, что писатель, о котором можно сказать, что он ведет сравнительно мирную жизнь, — это писатель, биография которого в деталях просто неизвестна.

6. Тем не менее, если писатель все же хочет вести сравнительно мирную жизнь, он превыше всех талантов должен закалить свой талант житейский. Это, естественно, не означает, что именно благодаря своему житейскому таланту писатель сможет оставить самобытные произведения. (Хотя, конечно, и не противоречит этому.) Обладать житейским талантом — значит быть господином своей судьбы (при этом нет гарантии, что писатель сможет им быть), быть вежливым и предупредительным с любимым, самым отпетым идиотом.

7. Литература — это искусство самовыражения с помощью слов. Следовательно, писатель должен не жалеть труда, чтобы оттачивать слово. Если человек не способен восторгаться красотой слова, это значит, что он не обладает всеми данными, необходимыми писателю. Сайкаку называли «голландским Сайкаку» совсем не за то, что он сломал установленные в его время каноны прозы. А за то, что он познал прелесть слова, почерпнутого им из поэзии.

8. Прозаическое произведение данной страны в данную эпоху базируется на определенных канонах (определяемых историческими условиями). Человек, решивший стать писателем, должен стараться следовать этим канонам. Выгода следования им заключается в том, что: 1) можно создавать свое произведение, опираясь на плечи предшественников; 2) поскольку будешь выглядеть добропорядочно, литературные псы тебя не облают. Это, однако, не означает, что таким способом, безусловно, можно оставить после себя самобытные произведения. (Вряд ли нужно доказывать, что одно не противоречит другому.) Гений просто ломает все эти каноны. (Вместе с тем неизвестно, так ли он их ломает, как думают люди.) Гений в той или иной степени витает в небесах, то есть движется вне социального прогресса (или перемен) в литературе и не способен плыть по течению. Его можно сравнить с планетой вне литературной солнечной системы. В связи с этим его не понимают в то время, когда он живет, да и в будущем он не сразу получает признание. (Это характерно не только для одной прозы, но и для всей литературы вообще.)

9. Человек, стремящийся стать писателем, должен настоятельно относиться к философским идеям, идеям в области естественных и экономических наук. Любые идеи или теории, пока человек — зверь, не способны господствовать над жизнью этого человека-зверя. Нужно видеть все как оно есть и изображать все как оно есть — это и называется описанием с натуры. Лучший метод, который должен избрать писатель, — описание с натуры. Слова «как оно есть» следует понимать так: «как оно есть в его глазах». А не «как оно есть, когда перед глазами долговая расписка».

10. Любое правило написания прозаического произведения не есть Золотое правило. Разумеется, и мои «Десять заповедей» не являются Золотым правилом. Кому быть писателем, тот им будет, кому не быть — не будет.

Примечание. Я скептик во всем. Но должен признаться, что сколько ни старался сохранить свой скептицизм, сталкиваясь с поэзией, у меня ничего не получилось. И в то же время должен признаться, что я изо всех сил старался его сохранить.

МОЙ ВЗГЛЯД НА «ПОВЕСТЬ О СЕБЕ» (Сэйдзо Фудзисаве-куну)

Художественные произведения подразделяются на различные жанры. Стихи, проза, эпика и лирика, «подлинная повесть» и «повесть о себе» — перечисление можно, несомненно, продолжать еще долго. Однако подобные различия делаются не всегда и представляют собой лишь ярлыки, основывающиеся на количественных показателях. Возьмем, например, поэзию. Если назвать произведение стихотворным, исходя из определенной формы, то из числа стихов нужно будет исключить свободный стих и стихотворение в прозе. Если же, напротив, рассматривать свободный стих и стихотворение в прозе, то общей особенностью таких произведений будет поэтичность в самом широком смысле слова, в конечном итоге — художественность. Различие между поэтическим и прозаическим искусством тоже заключается лишь в многообразии различий между стихами и прозой. Возьмем прозаическое искусство. Чем, например, прозаическое произведение отличается от стихотворного? В чем их различие? Утверждают, что по сравнению со стихотворным прозаическое произведение оставляет гораздо большее впечатление о нашей реальной жизни. Утверждают, что такого же рода впечатление, кроме прозаического произведения, оставляет лишь поэтическая проза, то есть эпика. Однако различие между эпикой и лирикой, другими словами, между объективным искусством и субъективным, не является существенным. Не нужны даже примеры из европейской литературы — пятистишия танка, публикующиеся из номера в номер в журнале «Арагаги», являются одновременно и лирическими и эпическими. Если же исцезает различие между эпикой и лирикой, то все стихи мгновенно могут влиться во владения прозы.

Теперь мне бы хотелось высказать свою точку зрения относительно утверждения Масао Кумэ-куна, недавно поддержанного Кодзи Уно-куном, что «генеральный путь прозаического искусства — «повесть о себе». Но раньше, чем выска-

зять свою точку зрения, необходимо выяснить, что представляет собой эго-беллетристика. Согласно автору этой идеи Кумэ-куну, «повесть о себе» не есть западный «Ich - Roman». Он утверждает, что к «повести о себе» следует относить произведение, в котором описана жизнь автора, даже если повествование ведется не от первого лица, но не являющееся обыкновенной автобиографией. Но разве по существу есть разница между автобиографией и исповедью, с одной стороны, и автобиографическим или исповедальным романом — с другой? А по Кумэ-куну получается, что «Исповедь» Руссо, например, обычная автобиография, а «Исповедь глупца» Стриндберга — автобиографический роман. Но сравнение этих двух произведений неопровержимо доказывает, что «Исповедь» послужила образцом для «Исповеди глупца», и найти между ними жанровое различие, по сути, невозможно. Разумеется, оба эти произведения различаются и в манере изображения, и в манере повествования. (Если говорить о самом большом внешнем различии, то в «Исповеди» Руссо диалог не выделен отдельными строками, как в «Исповеди глупца» Стриндберга!) Но это различие не между автобиографией и автобиографическим романом, а между Руссо и Стриндбергом, бравших в расчет помимо всего прочего особенности эпохи, географии. Следовательно, истоки «повести о себе» следует искать именно в том, что она «описывает жизнь самого писателя», то есть является автобиографией. Однако, даже и в этом случае, она может быть отнесена к еще более многообразной субъективной литературе, чем лирическое стихотворение. Я уже говорил, что различие между лирикой и эпикой, другими словами между субъективной и объективной литературой по существу отсутствует и представляет собой лишь ярлык, основывающийся на количественных показателях. Но если эпическое стихотворение ничем не отличается от лирического, то и «повесть о себе» несколько не должна отличаться от «подлинной повести». Следовательно, истоки «повести о себе», по существу, вообще отсутствуют, а если уж искать их, то в реальности того или иного события, то есть в соответствии событию, происшедшему в жизни самого писателя. «Повесть о себе», независимо от определения, которое дает ей Кумэ-кун, может быть охарактеризована так: «Повесть о себе» — это произведение, гарантированное от лжи.

Еще раз повторяю: истоком «повести о себе» является то, что оно «не ложь». Это совсем не преувеличение, изобретенное мной. Сам Кумэ-кун неоднократно подчеркивает, что «как

ни странно, любому произведению, кроме «повести о себе», доверять нельзя. Однако то, что произведение «не ложь», — это лишь проблема отражения действительности, никак не влияющая на проблему художественности. Обратимся к любому виду искусства, помимо литературы, например к живописи, — каждому ясно, что никто не будет смотреть на картину, думая о том, существует ли в действительности объятые пламенем чудовище в виде бога огня из храма на горе Коя. Однако было бы слишком примитивно, исходя из этого, высмеивать слова «не ложь». На самом деле в них есть определенный смысл, особенно когда речь идет о литературе. Почему? Потому что литература больше всех остальных искусств рассматривается как сфера, тесно связанная с моралью и утилитарностью. И в то же время вовсе с ними не связана. Действительно нас фактически несколько не заботят мысли о морали и утилитаризме, когда мы думаем о проблеме — что, когда, для кого сделать предметом гласности. Литература, преодолевающая это, литература как таковая свободна как ветер в поле. Если она будет лишена свободы, то мы вряд ли сможем говорить о ее самоценности. В этом случае литература займет рабское положение, в котором верхней ее точкой будет «художественное воплощение мировоззрения», а нижней — превращение в средство социалистической пропаганды. Если литература свободна, как ветер в поле, то и слова «не ложь» должны быть отмечены, как опавшие листья. Нет, не только эти слова, но и ошибочную точку зрения, в той или иной мере связанную с проблемой «повести о себе», а именно утверждение, что «писатель в своем произведении обязан быть предельно честен», тоже следует решительно отменить. «Будь честен», «не обманывай» — это всегда было законом морали, но не законом литературы. Более того, писатель способен выразить лишь то, что заключено в его сердце, и ничего иного. Возьмем, например, «повесть о себе», автор которой награбил своего героя такой добродетелью, как преданность, сам ею не обладая. Поскольку подобный герой отличается от автора, последнего можно, пожалуй, назвать с точки зрения морали лжецом. Но фактически он совсем не лжец — «повесть о себе», в которой он воплотил такого героя, была заключена в его сердце еще до того, как он начал писать свое произведение. Просто он вынес наружу то, что было у него внутри. О лжи можно говорить только в том случае, если автор ради каких-то целей протитутуирует свой талант, нерадиво относится к тому, чтобы заключенная в нем «повесть о себе» была вынесена наружу (или

высказана). Как я уже говорил, «повесть о себе» есть художественное произведение. Утверждать, что она генеральный путь прозаического искусства, — значит, безусловно, заблуждаться. Но ошибочность подобной точки зрения не только в этом. Что такое генеральный путь прозаического искусства? Я уже говорил, что разница между прозаическим и поэтическим искусством не может рассматриваться как существенная. Следовательно, генеральный путь прозаического искусства нельзя трактовать, например, как путь «самого художественного прозаического искусства». Но в таком случае неизбежно такое определение: «самое прозаически-искусное прозаическое искусство». Оно означает лишь одно — прозаическое искусство. Возьмем, к примеру, сигарету — по своей сущности она ничем не отличается от сигары. Но было бы комичным генеральный путь сигарет видеть в «самых сигарных сигаретах». И останется один выход — говорить о «самых сигаретных сигаретах». Прибегая к этому примеру, подсказанному здравым смыслом, я хочу спросить вас: что обозначает выражение «самые сигарные сигареты», кроме того, что речь идет о сигаретах? Генеральный путь прозаического искусства — тоже самое, что «самые сигарные сигареты». Как показывает приведенный мной пример, утверждение, что «генеральный путь прозаического искусства — «повесть о себе», терпит полный крах именно в том, что видит генеральный путь прозаического искусства в «повести о себе». Терпит полный крах, пытаясь построить воздушный замок, именуемый генеральным путем прозаического искусства. Можно ли говорить о том, что генерального пути прозаического искусства вообще не существует? Нет, в определенном смысле так сказать нельзя. Генеральный путь любого искусства заключен в выдающемся произведении. Можно сказать, что он ведет к вершинам, достигнутым выдающимся произведением.

Я коротко обрисовал выдвинутую Кумэ-куном точку зрения, что «генеральным путем прозаического искусства является «повесть о себе». К сожалению, наши позиции несовместимы. Но это не значит, что я не уважаю его точку зрения. Например, Кумэ-кун выделяет из «повести о себе» автобиографию. С подобным различием как таковым, я уже говорил об этом, согласиться невозможно. Но должен сказать, что это различие вполне отвечает веянию времени в жизни литературных кругов. Будь я посвободнее, сам бы написал статейку о таком различии.

Я полностью отвергаю точку зрения Уно-куна. И делаю это потому, что он не так последовательно, как Кумэ-кун, проводит идею, что «генеральным путем прозаического искусства является «повесть о себе». Разумеется, и Уно-кун настойчиво утверждает, что художественный вкус японцев склоняется не к «подлинному повествованию», а к «повествованию о себе». Это его утверждение нужно рассматривать как шутку. Почему как шутку? Потому что к «повестям о себе», рожденным нами, японцами, я бы не задумываясь причислил «Повесть о Гэндзи», драмы Тикамацу, повести Сайкаку, стихотворения Басё, да и некоторые произведения самого Уно-куна.

В заключение хочу сказать следующее — мое решительное возражение вызывает не «повесть о себе» как таковая, а рассуждения о «повести о себе». Считать, что я апологет «подлинной повести», перед которой преклоняюсь, — значит обвинять в преступлении не одного меня. Это одновременно пачканье грязью многих шедевров, принадлежащих к «повести о себе».

ОТВЕТ КРИТИКУ

Один критик в девятом номере «Синтё» опубликовал статью о творчестве Рюноскэ Акутагавы. Подробно останавливаться на оценке им моего творчества не вижу необходимости. Хочу коснуться лишь части, касающейся моих мыслей об искусстве. Части, дискуссия о которой, если только логика рассуждений не будет нарушена, не закончится толчением воды в ступе.

1. Я когда-то писал: «Содержание произведения — это содержание, непременно слитое с формой». Критик, видимо, тоже согласен с этим. Я писал еще: «Существует расхожая точка зрения, что содержание — основание, а форма — венец, но это правдоподобная ложь». А вот с этим критик уже не согласен. Однако, поскольку форма и содержание слиты воедино, неверно утверждать, что они одновременно и основание и венец. Если было бы возможно разделить основание и венец, то, одновременно ударив в ладони, легко удалось бы установить, какая из них хлопнула — правая или левая. Слова критика о «неясном содержании» должны быть дополнены словами о неизбежной при этом «неясной форме».

2. Далее я писал: «Художник, не пишущий картин, поэт, не сочиняющий стихов, — эти слова, кроме как метафорическо-

го, никакого другого смысла не имеют». Критик утверждает, что моя точка зрения ошибочна. Однако, видя сущность искусства в самовыражении, художник, не способный к этому, не может быть назван художником. Действительно, мог бы существовать не писавший картин Рембрандт или не слагавший хокку Басё? Ими были бы лишь несчастные мечтатели. Более того, критик произвольно толкует мою статью. Вот, например, он говорит: Акутагава считает, что «поэт, если он не слагает стихов, художник, если он не пишет картин, перестают быть поэтом и художником. Акутагава, признавая лишь написанную картину, созданное стихотворение, не способен понять, что могут существовать ненаписанная картина, несозданное стихотворение». Моя статья не дает оснований для подобного толкования.

Критик еще совсем ребенок. Вот и все, что я хотел сказать.

ОБ ИСКУССТВЕ И ПРОЧЕМ

Художник должен прежде всего стремиться к совершенству своих произведений. В противном случае его служение искусству станет бессмысленным. Возьмем, например, потрясение, которое вызывают идеи гуманизма, — если стремиться только к этому, оно может быть достигнуто простым слушанием проповеди. Поскольку все мы служим искусству, наши произведения должны в первую очередь вызывать потрясение своей художественностью. У нас нет иного пути, как добиваться их совершенства.

*

«Искусство для искусства» — еще шаг, и впадаешь в развлекательность искусства.

Искусство во имя жизни — еще шаг, и впадаешь в утилитарность искусства

*

Совершенство — не просто создание произведения, читая которое, не к чему придраться. Оно — полное и всестороннее выражение идеалов в искусстве. Художник, не способный следовать этому, заслуживает позора. Таким образом, вели-

кий художник — тот, у которого сфера совершенства самая обширная. К примеру — Гёте.

*

Человеку, конечно, не дано превзойти предел возможностей, дарованных природой. Но если на этом основании ничего не делать, то не узнаешь, где этот предел. Вот почему необходимо, чтобы каждый был подвижником, стремящимся стать Гёте. А тот, кто не способен поставить перед собой такую цель, сколько бы лет ни прошло, не сможет стать даже кучером в доме Гёте. Но заявлять во всеулышанье, что тебе удалось стать Гёте, не следует.

*

Каждый раз, когда мы пытаемся вступить на путь художественного совершенства, наше подвижничество наталкивается на препятствия. Может быть, это стремление к покою? Нет, не оно. Нечто гораздо более загадочное. Чем выше взбирается в гору человек, тем роднее становятся ему подножие, закрытое облаками, — вот что это такое. Человек, не испытывающий этого, во всяком случае для меня — чужд.

*

Гусеница на ветке дерева непрерывно подвергается смертельной опасности из-за своих врагов — температуры, погоды, птиц. Художник, чтобы выжить, тоже должен спасаться от подстерегающих его опасностей, подобно гусенице. Особенно страшна остановка. Нет, в искусстве остановка невозможна. Отсутствие движения вперед означает движение назад. Но стоит художнику двинуться назад, и творческий процесс становится механическим. Это значит, что он пишет произведения-близнецы. Но стоит творческому процессу стать механическим, и художник оказывается на пороге гибели. Написав «Дракона», я привел себя на порог гибели.

*

Совсем не обязательна закономерность: чем правильнее у человека взгляды на искусство, тем лучшие произведения он

пишет. Неужели только меня одного удручает такая мысль? Молюсь, чтобы не оказаться в этом одиноком.

*

Содержание — ствол, форма — ветви. Этот взгляд имеет широкое хождение. Но это лишь правдоподобная ложь. Содержание произведения — это содержание, непременно слитое с формой. Думать, что сначала существует содержание, а форма создается потом, может только слепец, не понимающий сущности творчества. Это легко понять на таком примере. Каждый, несомненно, помнит слова Освальда из «Призраков»: «Жажду солнца». Каково содержание этих слов? Профессор Цубоути в комментариях к «Призракам» перевел их словом «темно». Возможно, с точки зрения логики «жажду солнца» и «темно» одно и то же, но с точки зрения содержания этих слов они далеки друг от друга, как небо от земли. Содержание торжественных слов «жажду солнца» может быть выявлено лишь в форме «жажду солнца». Величие Ибсена в том, что он смог точно уловить целое, слитое в содержании и форме. Нет ничего удивительного в том, что Эчегарай в предисловии к пьесе «Дитя Дон Жуана» с восхищением говорит об этой драме. Если смешать содержание тех слов и заключенный в них символический смысл, то можно прийти к ошибочной оценке содержания. Мастерски сочиненное содержание не есть форма. Но форма заключена в самом содержании. Или наоборот. Для человека, не улавливающего этих весьма тонких отношений, искусство навсегда остается закрытой книгой.

*

Искусство начинается с самовыражения и самовыражением заканчивается. Художник, не пишущий картин, поэт, не сочиняющий стихов, — эти слова, кроме как метафорического, никакого другого смысла не имеют. Они еще более глупы, чем «небелый мел».

*

Однако исповедующие ошибочную идею первенства формы — истинное бедствие. Фактически они такое же бедствие,

как и исповедующие ошибочную идею первенства содержания. Последние вместо звезды предлагают метеорит. Первые, глядя на светлячка, думают, что это звезда. Склонности, образование заставляют меня быть человеком осмотрительным, и аплодисменты тех, кто исповедует ошибочную идею первенства формы, меня не прельщают.

*

Когда удастся проникнуть в произведение великого художника, мы, часто поверженные его великой мощью, забываем о существовании других писателей. Подобно тому, как людям, долго смотревшим на солнце, стоит лишь отвести от него взгляд — и все кругом кажется темным. Впервые прочитав «Войну и мир», я стал презрительно относиться ко всем другим русским писателям. Это была ошибка Мы должны знать, что кроме солнца существуют луна и звезды. Гёте, восхищенный «Страшным судом» Микеланджело, позволил себе усомниться, не достоин ли презрения Рафаэль в Ватикане.

*

Художник, чтобы создать неординарное произведение, не остановится даже перед тем, чтобы продать душу дьяволу. Я, разумеется, тоже не остановлюсь перед этим. Но есть люди, которые сделают это с еще большей легкостью, чем я.

*

Прибывший в Японию Мефистофель заявил: «Нет такого произведения, которое невозможно было бы обругать. Единственное, что должен сделать умный критик, — выбрать момент, когда его ругань будет воспринята. И, воспользовавшись этим моментом, обрушить на голову писателя проклятия. Такие проклятия имеют двойное действие. И против народа. И против самого писателя».

*

Понимание или непонимание искусства лежит вне рассуждений о нем. Чтобы узнать, холодная вода или теплая, есть лишь один способ — выпить ее. То же самое, когда речь идет о понимании искусства. Думать, что можно стать критиком,

читая книги по эстетике, то же самое, что думать, будто достаточно прочесть путеводители, и уже никакое место в Японии не останется загадочным. Народ, думаю, можно обмануть. Но художника... Нет, народ тоже... если только среди него найдется Сантаяна...

*

Я сочувствую любому духу протеста в искусстве. Даже если он направлен против меня.

*

Творческая деятельность любого гения всегда сознательна. Что это значит? В картине «Сосна на камне» ветви деревьев обращены в одну сторону. Почему это создает такой поразительный эффект? Не знаю, было ли это ведомо самому художнику, но то, что эффект рожден именно таким расположением ветвей, он прекрасно понимал. Если бы не понимал, никаким гением не был. А был бы обыкновенным роботом.

*

Бессознательная творческая деятельность — фикция. Вот почему Роден так презрительно отзывался о вдохновении.

*

Сезанн, услышав критическое замечание, что Делакруа небрежно пишет цветы, резко выступил против. Возможно, он хотел сказать только о Делакруа. Но в протесте явно просматривается облик самого Сезанна. Ради того, чтобы постичь непреложные законы, которые заставили бы испытать художественное потрясение, нужно трудиться в поте лица — в этом и состоит поразительный облик Сезанна.

*

Суметь воспользоваться этим непреложным законом — своего рода фокус. Те, кто презирает подобные фокусы, либо не понимают, что такое искусство, либо используют это слово только в дурном смысле — других объяснений я не вижу. Но в таком случае чванливо заявлять: это никуда не годится, ни-

куда не годится — то же самое, что называть всех вегетарианцев на свете скаредными, считая вегетарианство другим названием скупости. К чему подобное презрение? Все художники, хотя бы они того или нет, вынуждены прибегать к фокусам. Вернемся к картине «Сосна на камне». Чтобы достичь определенного эффекта, художник, хотел он того или нет, вынужден был пойти на уловку: обратить ветви сосны в одну сторону. «Пишут сердцем. Пишут жизнью». Эти сверкающие, как сусальное золото, слова хорошо обращать лишь к школьникам, ради их поучения.

*

Простота похвальна... Но то, что именуется простотой в искусстве, — это простота невероятной сложности. Простота, когда выжатое прессом вновь помещают под пресс. Люди, неспособные понять, сколько нужно приложить творческих усилий, чтобы получить такую простоту, могут бесконечно что-то создавать и создавать, и этот свой детский лепет самодовольно называть красноречием, превосходящим демосфеновское. Настоящая сложность и та ближе к истинной простоте, чем эта бессодержательная простота.

*

Опасен не фокус сам по себе, а ловкость, с которой его делают. Ловкость может скрыть недостаточную серьезность. Стыдно в этом признаваться, но среди моих слабых произведений есть и такие, ловко скроенные. Возможно, это с радостью признают и мои враги. Но все же...

*

По своему характеру я сибарит, и если буду питать чрезмерное пристрастие к изяществу, то существует опасность, что это сделает меня рабом утонченности. И поскольку мой характер не изменится, нужно людям, да и себе самому, четко показать, во что я верю, а не прятаться в раковину, стараясь не демонстрировать ни себе, ни другим, что я собой представляю. Именно ради этого я и решил немного поболтать. Если я не буду отдавать тому все силы, то приблизится время, когда выплыть мне уже не удастся.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДУРНОЙ ТЕНДЕНЦИИ

1.

Тон Сатоми как-то опубликовал в журнале «Тайё» статью «Отказаться от дурной тенденции». Ее пафос: критики поступают неверно, третируя талант или мастерство писателя. Полностью согласен.

Талант я пока оставляю в стороне, что же касается мастерства, то оно никогда не относилось к понятиям, к которым применимо выражение «слишком хорошо».

Часто говорят, что литература есть высказывание. И пока оно не осуществлено, каких бы идей ни придерживался писатель, какие бы чувства ни владели им, они не могут быть оценены — тут уж ничего не поделаешь. Только после того, как увиденное писателем, прочувствованное им, высказано, оно впервые может быть оценено. Если средства высказывания назвать мастерством, как это широко принято среди людей, то не возмутительно ли утверждать, что оно может быть «слишком хорошим»?

Повторяю, высказывание осуществляется, естественно, самим писателем. Однако каким бы мастерством он ни обладал, каким бы искусным ни был, это еще совсем не означает, что он стремится воплотить в своих произведениях увиденное и прочувствованное. Люди часто думают, что создание произведения проходит в таком порядке: сначала существует некое содержание, которое затем высказывается с той или иной искусностью. Но такое понимание свойственно лишь людям, которые либо не способны постичь, что такое творчество, либо, если и способны сделать это, не обладают достаточной проницательностью, чтобы проникнуть в его суть. Возьмем самый простой пример: написать «красный» или написать «красный, как хурма» — это вопрос не мастерства, а восприятия. Не наличия или отсутствия искусности, а различия содержания. Или лучше сказать так — это вопрос высказывания как такового, в котором слились воедино мастерство и содержание. Поэтому вопрос мастерства должен решаться, исходя из принципа: хорошо или плохо, и ни о каком «слишком» говорить не следует.

Что касается в этой связи смысла выражения «слишком хороший», хотя я его никогда не употреблял, но думаю, оно означает прямо противоположное тому, что выражается словами: «нечто, превосходящее мастерство». Если это так, то речь

явно идет о «плохом», а не о «слишком хорошем». Или, точнее говоря, в произведении не удалось создать высказывания, в котором нерасторжимо соединены содержание и мастерство. Но точно так же критическое суждение, выраженное словами: «нечто, превосходящее мастерство», — обычная метафора, и ничего более. Фактически это мастерство, напоминающее «нечто, превосходящее мастерство». А это уже можно назвать словом «хороший».

Если же попытаться найти другой смысл в словах «слишком хороший», то возможно лишь одно толкование: критики, употребляющие это выражение, отрицательно относятся к мастерству. Поскольку речь идет о вопросе, что хорошо и что плохо, они, разумеется, вправе использовать такое выражение. Но в этом случае, чтобы сохранить свое доброе имя, им лучше не пользоваться выражением «слишком хороший», которое может быть истолковано превратно.

2.

Здесь я хотел бы вернуться к вопросу таланта — в отличие от мастерства слово «талант» изначально несет в себе некую похвалу, сочетающуюся с порицанием, вот в чем сложность. У меня такое впечатление, что нередко «талантливый человек» употребляется даже как синоним понятия «легкомысленный человек». Поэтому все априори убеждены, что нет никакого смысла рассуждать о такой пустой вещи, как талант. В самом деле, любое произведение, несущее на себе печать таланта, достойно того, чтобы ругать его, — в этом никто не сомневается. Все же споры критиков, третирующих талант (фактически все ясно и без споров, отсюда неизбежна ненужная ругань), слишком уж, думается мне, жаркие. Было бы ужасно, если бы, ругая произведения с подобных позиций, критики дошли до такой вульгарности, что приклеили бы ярлык «неудача» произведениям Каору Осанаи-куна, а вслед за ним — Дзюньитиро Танидаки-куна, Тона Сатоми-куна, Харуо Сатокуна, Масао Кумэ-куна. Ведь их произведения так или иначе талантливы — это факт. Опасаюсь только, вдруг слово «талантливый» и на этот раз воспримут как «легкомысленный». Чуть отвлекусь от своих изысканий и скажу: пустое возвеличивание себя равносильно тому, что христиане у нас на Востоке в средние века слово Deus переводили известным им словом «Бог» и как Бога причисляли к буддам, бодхисатвам, во-

обще ко всему сонму своих божеств — вот к чему может привести гипноз слова.

В чем талант названных мной писателей? В том, как отмечает критик в журнале «Тэйкоку бунгаку» за прошлый месяц, что они разные, каждый из них индивидуальность, и я не собираюсь это оспаривать. Но если все же попытаться найти у этих разных писателей некую общую особенность, она, мне кажется, может быть сформулирована весьма коротко. Эти писатели рассматривают человеческую жизнь в особом ракурсе. Что находит определенное отражение и в выразительных средствах. А если сделать еще один шаг, то можно сказать, что эта особенность находит отражение в стиле. Возникший некогда вопрос о «многомерном выражении» (поскольку не я выдумал этот неологизм, не могу сказать, насколько он точен) фактически рожден определенными особенностями произведения с точки зрения выразительных средств. (Это относится и к неомастерству, и к школе неомастерства.) В общем, талант в моем понимании может быть истолкован только таким образом.

Однако, если истинная сущность таланта такова, то приручить его совсем не так просто, как думают критики. Недавно среди некоторых из них стали раздаваться голоса, точно ударами в гонг пытаются отогнать талант-саранчу: идите к реализму. Но он столь же неподходящее оружие для приручения таланта, как в прошлом «объективное» и «плоскостное изображение». Факт, что реализм и талант не вытекают автоматически один из другого, осознать не так просто. Раньше, чем приступить к его детальному рассмотрению, взглянем, что представляет собой сам призыв: идите к реализму, в чем он правилен и в чем ошибочен.

3.

Призыв «идите к реализму» не означает, разумеется, что речь идет о реализме, близком натурализму, поскольку никто не собирается открывать в Японии филиал золаизма. Я прочел в журнале «Синсёсэцу» за прошлый месяц литературный обзор Хисао Хоммы «Романтизм или реализм?». (К сожалению, других работ, зовущих к реализму, под рукой не оказалось.) В нем говорится: «Истинный реализм — это искусство, глубоко усвоившее так называемые принципы реального бытия Гюю. Искусство, которое позволяет нашим глазам, усвоив

принцип реального бытия, проникнуть в пласты, ушедшие от всего привычного, традиционного. Искусство, проникающее в действительность. Искусство последовательного, неразрывного с действительностью реализма». Утверждать, что истинный реализм — это искусство последовательного, неразрывного с действительностью реализма, равносильно утверждению: гений — это гениальный человек, что несколько комично. Но суть рассуждений Хоммы-куна понять не так уж сложно. Не знаю, как в других вопросах, но в определении реализма Хомма-кун принадлежит к нашей партии, он утверждает, что истинный реализм стремится проникнуть в реальное бытие — это искусство, которое призвано в первую очередь удовлетворить наши важнейшие требования. Со всем этим я полностью согласен.

Однако, прислушиваясь к призыву «идите к реализму», Хомма-кун, вооруженный этой формулировкой, с одной стороны, нападает на романтизм, а с другой — призывая как можно скорее идти к реализму, активно поощряет «натурализм в нашей стране, являющийся главным течением реализма». Были ли изначально несовместимы реализм и романтизм — это весьма сомнительно, но я на время оставляю в стороне этот вопрос и подниму другой — идею Хоммы-куна, что романтизм никуда не годен. Правда, по сравнению с реализмом, которому он дает ясное и четкое определение, эта его идея предстает в несколько расплывчатом виде — коротко его точка зрения сводится к двум моментам: во-первых, отставание романтизма сегодня — анахронизм и, во-вторых, романтизм «представляет собой искусство, призванное вульгарными фантазиями распалить интерес», это «обыкновенная развлекательная литература», «обыкновенная дилетантская литература» — таковы его обвинения романтизма. Рассмотрим их, начав для удобства со второго. Если романтизм, как утверждает Хомма-кун, действительно такой «изм», от него нужно решительно отказаться. Я не сомневаюсь, что и в этом, как и в определении реализма, мы принадлежим к одной партии. Но его утверждение, что романтизм всего лишь «обыкновенная развлекательная литература», — это уже нечто иное. В чем же причина того, что Хомма-кун так резко нападает на романтизм? Сколько я ни листал его «Литературный обзор», ответа на свой вопрос, как ни прискорбно, так и не получил. Лишь в одном месте было сказано: «Я отвергаю романтизм в старом смысле этого слова». Это наводит на мысль, что романтизм в старом смысле этого слова — «обыкновенная развлекательная литература»;

но то, что романтизм — великое духовное движение XIX века — нельзя называть «обыкновенной развлекательной литературой» (даже если с позиций сегодняшнего дня он достоин определенной критики), ясно и без того, чтобы «проводить новое исследование историко-литературного значения всего, что включает в себя слово «романтизм». Помимо этого, Хомма-кун не утруждает себя никакими доводами, прибегая в качестве доказательств к таким безапелляционным выражениям, как «безусловно», «неоспоримо». Как бы «безусловно» это ни было для самого Хоммы-куна, поскольку читатели могут не принять его утверждений, Хомма-кун как критик никоим образом не нанес бы ущерба своему авторитету, если бы объяснил, что он имеет в виду. Но поскольку его рассуждения не дают возможности легко понять причину нападков на романтизм, лучше отказаться пока от дискуссии и выслушать первую из приводимых им причин: «Говорят о реализме, говорят о романтизме в истории современной литературы, но когда речь идет об историко-литературном значении, которое включают в себя эти слова, то и без того, чтобы проводить новое исследование, неоспоримым представляется факт, что основой литературы новейшего времени является не романтизм, а реализм. Следовательно, раздающееся сегодня требование идти к романтизму, как его обычно понимают историки литературы, есть явный анахронизм». Приведенная цитата показывает, что статья весьма эмоциональна и могла бы стать весьма значительным явлением, но лишь в том случае, если бы отвечала одному из двух условий. А именно, если бы Хомма-кун либо доказал, что в сегодняшних литературных кругах существует тенденция «требовать идти к романтизму, как его обычно понимают историки литературы», либо признал, что господствующий сегодня в литературе романтический дух — абсолютно то же самое, что романтизм, как его обычно понимают историки литературы. Если первое — истинно, то и я охотно присоединяюсь к Хомме-куну в критике этого анахронизма. По мере моих сил я вслед за ним пойду в наступление на романтизм подобно Генриху Фоссу, выступившему против братьев Шлегель. Так что и в этом пункте Хомма-кун, несомненно, принадлежит к нашей партии, но, как я вижу, ни в Японии, ни на Западе не находится тех, кто сегодня «безусловно требует идти к романтизму». Если же я просто недостаточно осведомлен, то пусть Хомма-кун еще раз поучит меня. Хотя должен сказать, что до сегодняшнего дня никаких соображений на этот счет я от него не услышал. Итак, мне не остается ничего ино-

го, как перейти ко второй причине. Мысль Хоммы-куна весьма смелая, но, чтобы обосновать ее — поскольку не признается различий в романтизме каждой эпохи, — приходится утверждать, что это явный анахронизм, хотя обновление этого «изма» идет в истории литературы обычным путем. По-моему, на это намекает и сам Хомма-кун. Но представлять требование идти к романтизму как анахронизм только на основании известного в истории литературы факта, что после романтизма возник реализм, равносильно тому, чтобы назвать требование идти к реализму, что делает сам Хомма-кун, анахронизмом только на основании того, что после реализма возникли символизм и так называемый неоромантизм. Если это не нанесет ущерба природной скромности Хоммы-куна, я бы сравнил его с Гёте — то, что он в последние годы жизни следовал классицизму, можно с полным основанием назвать анахронизмом, исходя лишь из известного в истории литературы факта, что после классицизма возник романтизм. Такая дилемма, разумеется, комична.

Как было сказано выше, Хомма-кун, нападая на романтизм, никак не обосновывает свою позицию. Он лишь беспрестанно поносит эпигонов романтизма. Поэтому нет ничего удивительного в его утверждении, что спасти литературу от краха, происходящего на наших глазах, может только «натурализм, являющийся основным течением реализма в нашей стране» (ненавидя всякие сложности, я не буду касаться вопроса, можно ли назвать натуралистов, особенно японских, основным течением так называемого реализма Гюйо). В общем, Хомма-кун провалился в нападках на романтизм и, таким образом, провалился в передаче права наследования реализма натуралистам, преуспев лишь в том, что дал определение реализма. Определить один из «измов» — дело не такое простое, и одно это уже можно признать успехом его литературного обзора, но поскольку француз по имени Гюйо говорит то же самое и Хомма-кун служит лишь его рупором, не нужно увенчивать Хомму-куна лаврами первооткрывателя.

И все же было бы неверно утверждать, что литературный обзор Хоммы-куна сплошной вздор. Логика, правда, хромает. Не приводят в восхищение и аргументы. Но теми, кто хотя бы в какой-то мере сочувствует взглядам Хоммы-куна, должен быть отмечен тот факт, что в беспорядочно выстроенных им рядах силлогизмов хотя и смутно, но намечена определенная истина. Какова же эта истина? То, что мы называем реализ-

мом, не идентично, а прямо противоположно тому, что делают натуралисты и романтики.

Мне все время не терпелось отметить недостатки работы Хоммы-куна, а теперь, переходя к сильным ее сторонам, я должен отметить, что нельзя недооценивать и той истины, которая содержится в его литературном обзоре.

Он пишет: «Видения, скрытые в недрах реальности, мечты, таящиеся в ее недрах, не простые видения, не простые мечты. Это реальность, превосходящая ту, которую обычно называют реальностью. Хомма-кун утверждает, что проникать в реальность или не проникать в нее зависит не от описываемых событий или обстоятельств. Если не ограничивать себя материалом, который в обиходе именуется романтическим, — например, как Моронао Коно отправился в баню или как Ли Тайбо превратился в рыбу, — то удастся отразить «реальность, превосходящую ту, которую обычно называют реальностью».

Таким образом, призывы Хоммы-куна идти к реализму, требуя отображения реальности, базирующейся на определенном материале, превращаются в расхожую истину, не имеющую никакой цены. Тут же приводя пример, он фактически опровергает себя: «Видения и мечты Бальзака, бывшего романтиком, позволили нам гораздо ошутимее почувствовать реальность, чем картины человеческой жизни, нарисованные Золя, провозгласившим реализм». Будь то реализм, будь то романтизм, будь то натурализм — любой из них существует лишь в произведениях, «заставляющих почувствовать вид реальности». Другими словами, романтик Бальзак был именно таким реалистом. В этом смысле и японские писатели-романтики в будущем, безусловно, должны стать реалистами. Явно ошибочным является утверждение, что наблюдаемые в нашей литературе сегодня «недостаточно глубокое исследование действительности, монотонный, однообразный взгляд на действительность, ее вульгаризаторство... не могут быть уничтожены или изменены с помощью романтизма». Мопассан, который «другими словами, чем Гюйо, выявил сущность реализма... предлагал иллюзии фактов еще более полные, еще более поразительные, еще более достоверные, чем сами факты», как о само собой разумеющемся говорил о неимоверных усилиях, требуемых от писателя. Когда писателю, такому же, так сказать, иллюзионисту, как он, удастся в такой же степени вскрыть действительность, проникнуть в суть человеческого существования, произведение, принадлежащее к любому «изму», сразу же превращается в реалистическое. Следовательно-

но, в этом случае требование идти к романтизму не есть «некий анахронизм», и можно совершенно не опасаться «возникновения дурной тенденции бегства от действительности». Вот почему вопрос, которого я не коснулся в начале своей критики литературного обзора Хоммы-куна, а именно вопрос о том, что реализм и романтизм несовместимы, как лед и пламень, полностью доказывает в своей полемике сам Хомма-кун. И можно только пожалеть, что то ли от неудержимого стремления оппорочить романтизм, то ли от неудержимого стремления поддержать натурализм он, отвернувшись от наполовину приоткрытой им истины, грубо опрокинул повозку логики, в результате чего пришел к умозаключению, прямо противоположно-му выводам, к которым сам же подводит.

В древности пророк Валаам, желая проклясть Израиль, добился обратного — благословил его. А сейчас Хомма-кун, желая искоренить романтизм, добился обратного — прославил его. Не знаю только, послужит это славе его как критика или наоборот. Сам того не ведая, он сумел избежать того, чтобы его литературный обзор свелся к пустой болтовне. Во всяком случае, за это я могу подавить его.

4.

Вначале у меня было намерение, рассмотрев парадоксальное утверждение, что реализм выходит за рамки всяких «измов», снова вернуться к проблеме таланта и проанализировать связь между реализмом и натурализмом в моем собственном понимании, после чего вновь перейти к вопросу мастерства и на этом поставить точку в дискуссии. Но слишком подробный анализ литературного обзора Хоммы-куна привел к тому, что я исчерпал установленный листаж, да и время, которое я отвел на эту работу, тоже подошло к концу. Поэтому приходится на этом закончить; хочу только заметить, что, поскольку слово «талант» я толкую не в дурном смысле, оно не противоречит движению к реализму — надеюсь, это понятно. (Что же касается моего толкования таланта, я его уже высказал, теперь хотелось бы услышать точку зрения Хоммы-куна.)

Я уже говорил и могу повторить вслед за Сатоми-куном, что пренебрежительно относиться к таланту и мастерству не годится. Но хотя наши точки зрения в основном совпадают, в подходе к проблеме и некоторых частностях мы с Хоммы-куном расходимся. Пишу об этом потому, что боюсь причинить неприятности Сатоми-куну.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература гораздо больше связана с политикой, чем принято думать. Скорее следует сказать, что особенность литературы состоит в том, что она существует благодаря способности быть связанной с политикой. Пролетарская литература появилась у нас совсем недавно, по-моему с большим запозданием. Это совсем не преувеличение, если вспомнить, что «Кренкебиль» появился двадцать лет тому назад.

Хотя пролетарскую литературу легко ругать за то, что она всеядна, за то, что нередко это литература лишь политически окрашенная, все же дорога на Парнас далеко не то же, что токийская улица, и существует она не ради удовлетворения приверженцев «искусства для искусства». Среди выдающихся произведений прошлого есть множество таких, популярность которых объясняется главным образом политическими причинами. Те, кто почитает мое утверждение лживым, должны вспомнить о славе Гюго, те, у кого оно вызовет досаду, должны вспомнить суждения о Саньё. Славу «Неофициальной истории Японии» создал не столько поэт и историк Саньё, сколько сторонник императорской власти Саньё. В таком случае не исключено, что среди пролетарских писателей появится второй Саньё или Гюго.

Разумеется, сторонники «искусства для искусства» скажут, что по политической причине позорно перекладывать заботу о культуре на будущие поколения. Я отношусь с уважением и доброжелательностью к таким приверженцам «искусства для искусства». (Я обычно отношусь доброжелательно и уважительно не только к приверженцам «искусства для искусства», но и к приверженцам чего-либо вообще, даже к приверженцам «массажа для массажа».) Однако достойно всяческого осуждения проходить мимо людского горя или людских радостей — так никогда не поступали ни Гюго, ни наш Саньё.

Я всегда был убежден, что занимать такую позицию гораздо достойнее, чем гордиться художественным совершенством произведения.

Единственное, чего я хочу, — чтобы литература, независимо от того, пролетарская она или буржуазная, не утратила духовной свободы. Она должна разгадывать эгоизм врагов и вместе с тем разгадывать эгоизм друзей. Обратиться ко всем людям сразу абсолютно невозможно. Хотя иногда это и удаётся. Каким простым выглядел бы мир, если бы все пролетар-

ское было прекрасным, а все буржуазное — отвратительным. Несомненно, очень простым... Но нет, японская литература все равно должна пройти крещение натурализмом. Кто-то обязан сказать эти самоочевидные вещи.

Поскольку человечество прогрессирует, проблемы будут возникать беспрерывно. Я не стану утверждать, что четыре военачальника и военачальники экспедиционных войск в Сибири — все как один тоже прогрессируют. Но рано или поздно они вынуждены будут прогрессировать. Вот почему превыше всего я ставлю духовную свободу. Немцы, да и все европейцы, а может быть и все человечество, многим обязаны Бёрне. Но обязаны ему намного меньшим, чем Гёте, к тому же Бёрне в своих поношениях Гёте напоминает хладнокровное животное, неспособное заботиться о счастье народа. (Только не укоряйте меня, что я воображаю себя Гёте. Я воображаю себя не только Гёте, но и множеством наших предков.)

Те, для кого пролетарская литература превыше всего, возможно, будут утверждать, что, кроме нее, нет ни одной другой, которая способствовала бы прогрессу человечества. Если это так, то я, со своим обычным упорством, спросил бы их, касаясь именно такой литературы: «Вы в этом убеждены?» Хочу снова напомнить: я отношусь доброжелательно и уважительно к любым приверженцам, даже к приверженцам «массажа для массажа».

ЗАВЕЩАНИЕ

Письмо другу

Еще никто не описал достоверно психологию самоубийцы. Видимо, это объясняется недостаточным самолюбием самоубийцы или недостаточным психологическим интересом к нему самому. В этом своем последнем письме к тебе я хочу сообщить, что представляет собой психология самоубийцы. Разумеется, лучше не сообщать побудительные мотивы моего самоубийства. Ренье в одном из своих рассказов описывает самоубийцу. Герой его сам не знает, зачем идет на это. В статьях, помещаемых на третьей полосе газеты, ты можешь столкнуться с самыми разными побудительными мотивами: жизненные трудности, страдания от болезни или духовные страдания. Но я по собственному опыту знаю, что это далеко не все моти-

вы. Более того, они, как правило, лишь обозначают тот путь, который ведет к появлению настоящего мотива Самоубийца, как говорит Ренье, нередко и сам не знает, зачем он совершает самоубийство. Оно включает сложнейшие мотивы, определяющие наше поведение. Но в моем случае — это охватившая меня смутная тревога. Какая-то смутная тревога за свое будущее. Возможно, ты не поверишь моим словам. Однако десятилетний опыт учит меня, что мои слова унесет ветер, как песню, пока близкие мне люди не окажутся в ситуации, схожей с той, в которой нахожусь я. Поэтому я не осуждаю тебя...

Последние два года я думаю только о смерти. И вот в таком нервном состоянии я прочел Майнлендера. Ему удалось блестяще, хотя и абстрактно, описать путь движения к смерти. Это несомненно. Мне хочется описать то же самое, но конкретно. Такое понятие, как сочувствие семье, ничто перед этим всепоглощающим желанием. Ты, разумеется, назовешь это *inhuman*¹. Но если то, что я хочу совершить, бесчеловечно, значит, я до мозга костей бесчеловечен.

Чего бы это ни касалось, я обязан писать только правду. (Я уже проанализировал смутную тревогу за свое будущее. Собираюсь полностью рассказать о ней в «Жизни идиота». И только социальные условия, в которых я живу, — тенью тянущиеся за мной феодальные понятия — заставили умышленно не касаться этого. Почему умышленно? Потому что мы, люди сегодняшнего дня, обитаем в тени феодализма. Кроме сцены я хотел описать фон, освещение, поведение персонажей — в первую очередь мое собственное. Более того, что касается социальных условий, я не могу не испытывать сомнений в том, известны ли мне самому достаточно ясно социальные условия, в которых я живу.) Первое, о чем я подумал, — как сделать так, чтобы умереть без мучений. Разумеется, самый лучший способ для этого — повеситься. Но стоило мне представить себя повесившимся, как я почувствовал переполняющее меня эстетическое неприятие этого. (Помню, я как-то полюбил женщину, но стоило мне увидеть, как некрасиво пишет она иероглифы, и любовь моментально улетучилась.) Не удастся мне достичь желаемого результата и утопившись, так как я умею плавать. Но даже если паче чаяния мне бы это удалось, я испытаю гораздо больше мучений, чем повесившись. Смерть под колесами поезда внушает мне такое же неприя-

¹ Бесчеловечным (англ.).

тие, о котором я уже говорил. Застрелиться или зарезать себя мне тоже не удастся, поскольку у меня дрожат руки. Безобразным будет зрелище, если я брошусь с крыши многоэтажного здания. Исходя из всего этого, я решил умереть, воспользовавшись снотворным. Умереть таким способом мучительнее, чем повеситься. Но зато не вызывает того отвращения, как повешение, и, кроме того, не несет опасности, что меня вернут к жизни; в этом преимущество такого метода. Правда, достать снотворное будет делом не таким уж простым. Но, приняв твердое решение покончить с собой, я постараюсь использовать все доступные мне возможности, чтобы достать его. И одновременно постараюсь приобрести как можно больше сведений по токсикологии.

Следующее, что я продумал, — это место, где покончу с собой. Моя семья после моей смерти должна вступить во владение завещанным мной имуществом. Мое имущество: сто цубо земли, дом, авторские права, капитал, составляющий две тысячи иен, и это все. Я тревожился, как бы из-за самоубийства мой дом не стал пользоваться дурной славой. И позавидовал буржуям, у которых уж один-то загородный дом всегда есть. Мои слова, наверное, удивят тебя. Да я и сам удивлен, что мне пришло такое в голову. Мне эти мысли были неприятны. Да иначе и быть не могло. Я хочу покончить с собой так, чтобы, по возможности, никто, кроме семьи, не видел моего трупа.

Однако, даже выбрав способ самоубийства, я все еще наполовину был привязан к жизни. Поэтому потребовался трамплин. (Я не считаю самоубийство грехом, в чем убеждены рыжеволосые. Известно, что Сакья-Муни в одной из своих проповедей одобрил самоубийство своего ученика. Его сервильные последователи снабдили одобрение словами: в случае «неизбежности». Но сторонние наблюдатели, говоря о «неизбежности», никогда не оказывались в чрезвычайных, невероятных обстоятельствах, вынуждающих принять трагическое решение умереть. Каждый кончает с собой только в случае «неизбежности», как он его понимает. Люди, решительно совершавшие в прошлом самоубийство, должны были в первую очередь обладать мужеством.) Таким трамплином, как правило, служит женщина. Клейст перед самоубийством много раз приглашал своего друга (мужчину) в попутчики. И Расин хотел утопиться в Сене вместе с Мольером и Буало. Но, как это ни прискорбно, я таких друзей не имею. Правда, одна моя знакомая захотела умереть вместе со мной. Наоборот, став с го-

дами сентиментальным, я хотел в первую очередь сделать так, чтобы не причинять лишних страданий своей жене. Кроме того, я знал, что совершить самоубийство одному легче, чем вдвоем. В этом есть к тому же свое удобство, можно свободно выбрать время самоубийства.

И последнее. Я постарался сделать все, чтобы никто из семьи не догадался, что я замышляю покончить с собой. После многомесячной подготовки я наконец обрел уверенность. (Я вдаюсь в подобные мелочи потому, что пишу не только для тех, кто питает ко мне дружеское расположение. Я бы не хотел быть виновником того, чтобы кого-то привлекли к ответственности по закону о пособничестве в совершении самоубийства. Должен заметить, что на свете нет более комичного названия преступления. Если буквально применять этот закон, количество преступников возрастет неимоверно. Даже если аптекари, продавцы оружия, продавцы бритв заявят, что им «ничего не известно», слова их неизбежно вызовут сомнения, поскольку внешний вид обратившихся к ним людей всегда выдает их намерения. Помимо этого само общество и его законы являются пособниками в совершении самоубийства. Наконец, подобные преступники обладают, как правило, добрым сердцем.) Я хладнокровно завершил подготовку и теперь остался наедине со смертью. Мое внутреннее состояние близко тому, как его обозначил Майнлендер.

Мы, люди, будучи животными, испытываем животный страх смерти. Так называемая жизненная сила — не более чем другое название для животной силы. Я тоже одно из таких животных. Но, потеряв аппетит, человек постепенно теряет животную силу. Сейчас я живу в прозрачном, точно изо льда, мире, мире больных нервов. Вчера вечером я разговаривал с одной проституткой о том, сколько она зарабатывает (!), и остро почувствовал, сколь жалки мы, люди, «живущие ради того, чтобы жить». Будь мы в состоянии забыться вечным сном, мы обрели бы для себя если не счастье, то хотя бы покой. Но это еще вопрос, когда я смогу решиться покончить с собой. Лишь природа стала для меня во много раз прекраснее. Ты упиваешься прелестями природы и, наверное, посмеешься над противоречивостью человека, готового совершить самоубийство. Но дело в том, что прелести природы в мой смертный час отражаются в моих глазах. Я видел, любил, наконец, понимал больше, чем другие люди. Одно это, хотя оно и доставляет мне массу страданий, приносит и некоторое удовлетворение. Очень прошу тебя несколько лет после моей смерти не пуб-

ликовать этого письма. Может быть, я покончу с собой так, будто умер от болезни.

Примечание. Я прочел биографию Эмпедокла и почувствовал, к какой глубокой древности восходит жажда стать богом. В этом своем письме я, во всяком случае осознанно, не делаю себя богом. Наоборот, представляю себя жалким человечком. Ты помнишь, как мы, сидя под священной смоковницей, рассуждали об Эмпедокле, бросившемся в кратер Этны? Тогда я был одним из тех, кто хотел стать богом.

ПИСЬМА



6 марта 1909 года. Хондзё.
Такэси Хиросэ

Благодарю Вас за письмо. Я уже читал несколько вещей из «Книги джунглей» в переводе Дои Харуакэ (в «Сёнэн сэкай»). Маленькие, глупые, но смелые обезьянки, вскормленный волками Маугли, спящие в тени густой листвы кокосовых пальм, тропический ландшафт, овеваемый приятным ветерком и купающийся в жарких лучах солнца — какое свежее, радостное впечатление производит все это. Невыразимо хочется прочесть в оригинале. Но в нынешних условиях достать книгу никак не мог, и мне пришлось отказаться от этой мысли. В оригинале читаю сейчас «Росмерсхольм», непрерывно обращаясь к словарю.

Если говорить о «Росмерсхольме», то ни в каком другом произведении я, как мне кажется, не встречал такой всепоглощающей атмосферы «мук смерти, то есть мук жизни», в духе Мережковского. Благодаря однокласснику переводов на английский язык я познакомился с Ибсенем. Душевные муки Боркмана. Смерть героя «Призраков». Решимость героини «Кукольного дома». Возрождение героини «Женщины с моря». Все это волнует, возвещая нарождение новой жизни. Особенно сильно изображены последние минуты героя и героини «Росмерсхольма». Под большим влиянием этого произведения написаны «Одинокие» Гауптмана. Я еще раньше прочел «Одиноких» в японском переводе, но «Росмерсхольм» показался мне гораздо сильнее.

Выдающееся произведение Запада еще чересчур сложно для восточного недоросля. Когда я сначала выискиваю по словарю слова, то совершенно не представляю, что к

чему. Потом, когда перевожу фразу за фразой, сюжет начинает слегка проясняться. И только читая в третий раз, уясняю наконец ситуацию в целом. Под градом неясных намеков, особенно в первом акте, я уже готов был признать себя побежденным. Между «Росмерсхольмом» я читаю «Кво вадис», но продвигаюсь крайне медленно. Иногда, вновь и вновь перечитывая уже знакомые страницы, я прихожу в уныние.

Сегодня, чтобы уяснить трудные места в «Кво вадис» и «Росмерсхольме», я, точно моллюск, на целый день спрятался от всех. Наверное, и на выставку Гахо не пойду — буду читать вторую часть «Воскресения». (...)

Неделю, оставшуюся до конца экзаменов, я запретил себе читать, писать письма и совершать дальние прогулки. Что касается прогулок, с этим еще можно смириться, можно даже заставить себя не писать, но временами я не в силах отказаться от чтения и тогда, хоть я и испытываю угрызения совести, прикрывая книгу учебником по химии, тайком читаю. (...)

Уважающий Вас Рюноскэ Акутагава

Апрель 1910 года. Сибя.
Киёси Ямамото

Dear Sir!

Принял наконец окончательное и бесповоротное решение поступить на английское отделение. Желающих изучать гуманитарные науки становится все меньше, сейчас число поступающих в первый колледж либо равно числу мест, либо лишь незначительно превосходит его, а в провинциальных колледжах желающих даже меньше, чем мест. Кажется, такова же судьба и естественных наук.

Даже представить себе трудно, до чего мы станем industrial¹. Родилась новая тенденция — отделение сельского хозяйства поглощает все таланты. Один из них — ты. Можешь гордиться этим. Сегодня мне захотелось, очень захотелось послушать музыку. И как раз дают концерт в зале Сэйнэн кайкан. Уже совсем было собрался пойти, но потом передумал. Я находился в каком-то странном состоянии — буквально не мог заставить себя выйти

¹ Индустриальными (англ.).

из дому. Если у меня снова возникнет такое же непреодолимое желание, очень прошу тебя, пойдём вместе, а то один я еще много лет не соберусь на концерт.

Ты, наверное, занимаешься, а я по-прежнему читаю «Таис».

Может, зайдешь? А то бываешь у меня только по делам, мне это неприятно. Постыдился бы. Все время ссылаешься на занятость и забегаешь на минутку.

Ты так давно не был у меня, что, наверное, и дорогу забыл. Сядешь в электричку, идущую к главным воротам храма, и сойдешь на улице Аанава (Симбаси — улица Гэнскэ — улица Рогэцу — улица Удагава). Сойдешь и пройдешь немного вперед: между лавкой старьевщика и баней — переулок (на грязной стене бани увидишь стрелку и надпись «Скотоводческая ферма»). Пройдешь переулок до конца и окажешься на широкой улице, прямо перед тобой будет вывеска «Скотоводческая ферма», рядом узкий переулочек, войдешь в него, и тут же справа еще одна вывеска «Молоко». Напротив, чуть правей, дорога. По ней ты дойдешь до ворот. Они ведут в дом наложницы одного депутата. Поэтому в эти ворота не входи. Слева от них — раздвижная дверь. Отворив ее, увидишь ящик для гета, на нем — детская лошадка.

Попав сюда, ты сможешь без труда добраться до моего письменного стола, так как уже оказался в прихожей моего дома в Сиба. (...)

Рю

6 июня 1910 года. Хондзё.

Такэси Хиросэ

Благодарю Вас за вчерашний вечер. Сегодня утром мы втроем, Нисикава, Ямамото и я, пошли в первый колледж подавать прошения о приеме. Мы вошли туда, когда башенные часы показывали ровно половину десятого. Номера, которые нам выдал привратник, уже достигали пятидесяти — нас это поразило. В вестибюле мы сняли гета и, пройдя босиком по холодному бетонному полу коридора, направились в бухгалтерию, чтобы внести плату за допуск к экзаменам. Бухгалтер вызвал меня: «Акугава-сан» — меня поразило, что он переменил мою фамилию. Мы пришли в комнату, где подают прошения, — там человек в синей форменной одежде, как у посыльного, какой-то машинкой, похожей на ту, которой нареза-

ют солому, небрежно отхватывал белое поле фотокарточек поступающих. После чего пожилой человек в европейской одежде и средних лет — в японской забирали прошения и фотокарточки и выдавали экзаменационные удостоверения. Мы с удивлением узнали, что большинству поступающих за двадцать. Среди них немало таких, кто сдает экзамены уже в третий раз. Мы встретили там Мацудзаки, который окончил нашу школу в прошлом году. Столкнулись с Хосокавой и еще одним прошлогодним выпускником, имени которого я не знаю. Все так странно.

Когда мы подавали прошения, мимо нас, что-то напевая, прошли несколько человек в белых шляпах, потом проследовал худой преподаватель в какой-то странной профессорской мантии — мне даже завидно стало. Наконец подошли наши номера, и мы подали свои прошения. (...)

Спрятав за пазуху экзаменационное удостоверение и памятку для поступающих, я по грязным улицам только что добрался до дому. Чувство, будто жизнь кончена. Сдам я экзамены или провалюсь, но это чувство сохранится у меня надолго.

Теперь я уже у себя в Сибя и снова должен браться за словари. Я голоден и очень взволнован. (...)

С уважением *Рюноскэ Акутагава*

1 сентября 1910 года. Хондзэ.

Садаёси Сайто

Судя по твоему письму, в будущем году ты не собираешься снова держать экзамены в первый колледж. Но если такие мысли у тебя все же есть, то, как мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы прожить год в деревне. И там можно для себя что-то открыть. Ты уж прости меня — мне, человеку постороннему, не следует слишком уж вмешиваться в твои дела, я это прекрасно понимаю. Лес белых берез на севере России помог Тургеневу создать свой шедевр «Записки охотника», запах волошек в степи помог Гоголю создать прекрасное описание пейзажа в «Тарасе Бульбе». Я уверен, что кое-что тебе даст и Синсю. Буду рад, если сможешь зайти ко мне до отъезда.

Твой.

До одиннадцати часов в одиночестве гулял под дождем. Дважды прошел мимо твоего дома. Без всякой причины меня охватило раздражение, и теперь захотелось поделиться с тобой причиной этого. Никто, кроме тебя, не захочет меня выслушать.

Меня поджидает страшная западня, а дорога у меня только одна И значит, я в нее обязательно попаду — что же мне делать? Наверное, нужно собрать все силы, чтобы избежать ее? Если вспомнить, в каком положении оказался Одзак, который, заболев, запил, ты поймешь, как все это печально. Да и меня самого стоит пожалеть.

Лермонтов говорил: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его». Мне кажется, я тоже раздвоен. Одно из моих «я» беспрерывно насмехается над другим моим «я» и унижает его. Я ничего не стоящий человек, лишенный самолюбия. Может быть, это объяснит, почему я, прочитав «Боркмана» и «Нору», не живу своей собственной жизнью. Я нахожусь в каком-то опьянении и в то же время беспрерывно пробуждаюсь от него. Я нахожусь в плену каких-то представлений и в то же время всегда освобождаюсь от них. Жажда жизни, жажда чувственных наслаждений временами сплетается во мне с чувством опустошенности. Прямо противоположные вещи одновременно заставляют меня стремиться в противоположные направления. Я верю, что я умен. Только этот ум достоин того, чтобы проклясть его. Я стремлюсь быть умным и в то же время страдаю от ума. Как хорошо, если бы исчезли обе эти противоборствующие силы. Если этого не произойдет, я не смогу обрести покой и до тех пор останусь малодушным человеком, лишенным самолюбия. Ты, наверное, будешь смеяться. Что же, я достоин того.

Мне кажется, я до конца своих дней буду чувствовать себя одиноким. И грудь мою будет разрывать печаль, как у жалкого паломника. Я могу полагаться лишь на тебя, испытывающего (в большей или меньшей степени) те же чувства, что и я.

Если тебя не станет, я не буду знать, что мне делать. Стоит подумать, что когда-нибудь наступит такой день, когда нам придется расстаться, как мне становится не по себе. Мне начинает казаться, что ты бросишь меня.

Ну, что же поделаешь. В конце концов, у нас одинаковая судьба. Всех ожидает одна и та же участь.

Для чего, собственно, я живу? Бог для меня значит все меньше и меньше. Жить ради продления рода, ради потомства — я даже начинаю думать, что в этом истина. Может быть, развлечения, восполняющие несовершенство окружающего мира, помогут рассеять эту грусть. Но как избавиться от чувства опустошенности? Жить ради продления рода — как печально звучат эти слова.

Крайняя точка — смерть? Но мне кажется, что пока еще все образуется. Кажется даже, что я не умру. Трусость. Мало-душие. Я не хочу умирать, не имея никаких оснований не хотеть умирать. Обуза семьи — эта гирия еще больше увеличивает трусость. Просто не знаю, сколько раз писал я в своем дневнике слово «смерть».

А дневник я тоже недавно перестал вести. Все мои дневники за прошлые годы — сплошная ложь. Если дневник служит для того, чтобы его потом было интересно читать, такой дневник не нужен.

Можно ли называть дневником писание, когда недостойные внимания мелочи представляют как нечто грандиозное? Просто не знаю, что делать. Вот я и живу со своей постоянной горькой усмешкой. Так я состарюсь и когда-нибудь умру. Но пока я не умер, наверное, меня будут посещать и другие мысли, чем сейчас. Рано или поздно мной овладеет печаль «забвения».

Как длинно я пишу о всяких глупостях! Но меня действительно все время посещают такие мысли. Боюсь, перечитав, не захочу посылать тебе это письмо, поэтому отправлю не читая.

Прошу прощения за ошибки и пропуски.

Молю бога, чтобы экзамены прошли успешно.

Рю-сэй

28 июня 1912 года, Табата.

Кё Цунэто

Спасибо за газеты, которые ты мне прислал. Теперь я смогу несколько дней наслаждаться чтением твоего рассказа о том, как ты ездил на родину.

Я читаю запоем. Закончив дела, по полдню читаю неотрывно. Думаю, в июле наступит покой.

Двадцать шестого вечером ходил в Орега¹. В тот день давали «The Quaker girl»² Таннера. Постановки меняются каждый раз — двадцать девятого дают «Musume»³, о которой столько говорят. Среди зрителей было много иностранцев. Даже в третьем ярусе сидели две семьи, а как много их было в box⁴ и orchestra stall⁵, и говорить нечего.

Я был вместе с Фудзиокой-куном. Вещь несколько вульгарнее, чем я предполагал, к тому же я понимал далеко не все. Опера была очень смешная. Женщина, по виду американка, сидевшая сзади меня, смеялась так, что я боялся, как бы с ее головы не слетела огромная соломенная шляпа с желтыми розами. Даже ее представительный муж с розовым галстуком все время насмешливо хмыкал. Неприятно было лишь то, что японцы, сидевшие в третьем и четвертом ярусах на upper circle и gallery⁶, знали, что, если долго аплодировать, артисты обязательно будут по многу раз петь на бис, вот они и аплодировали долго и неистово.

Выйдя наконец из ярко освещенного подъезда на улицу, мы увидели женщину в пальто из бледно-голубого атласа, на котором, на китайский манер, были вышиты облака, дракон и жираф. Из-под пальто выглядывала длинная светло-серая юбка, тоже очень красивая. Она шла к автомобилю с пожилой женщиной, одетой скромнее. Они разговаривали, кажется, по-английски. Встреча с этой женщиной позволила мне ощутить вкус Запада гораздо сильнее, чем Орега.

Двадцать четвертого или двадцать третьего ходил в колледж. Там в одной из аудиторий сдавали экзамены в сельскохозяйственный университет в Саппоро. Увидев вопросы по математике, вывешенные на кирпичной стене коридора, я убедился, что они довольно легкие. В общезнании еще остались Судзуки, Яги, Курода и Нэмото. Фудзиока живет отдельно в западном корпусе. Он похож на anachorite⁷.

Рю

¹ Оперу (англ.).

² «Дочь квакера» (англ.).

³ «Мусуме» — девушка (яп.).

⁴ Ложе (англ.).

⁵ В первых рядах (англ.).

⁶ Верхнем ярусе и галерее (англ.).

⁷ Затворник (англ.).

15 июля 1912 года. Синдзюку.
Кё Цунэто

Прости, что долго не писал.

Недавно ходил в колледж, чтобы узнать о результатах экзаменов. Хотел пойти вчера утром вместе с Исидой, Оэ и кем-нибудь еще, но собрался лишь к вечеру на следующий день. Ко всему еще и жара стояла несусветная. Белесое небо пылало, как расплавленный асфальт. Обуреваемый таким же жарким чувством, я решил сходить к тебе, чтобы все рассказать, но Исида-кун воспротивился этому, сказав, что среди множества людей, которым мы должны рассказать обо всем, значишься и ты, а беспокоить тебя дважды ни к чему. (...)

Ничего не делаю из того, о чем мечтал до каникул. Не так много читаю. Нет никакого желания поехать куда-нибудь. Целыми днями только и делаю, что слушаю, как шумит дождь за окном. Ко мне редко заходят. Я тоже редко выхожу из дому. Не хочется говорить о том, что у меня с желудком не все ладно, правда, кроме этого, ничего плохого не происходит. Из куска материи я сшил два мешка, наподобие мешков для чая, приделал к ним тесемки, надел на ноги и завязал под коленями. Так, защитившись от москитов, я могу спокойно читать, дремать. (...)

Ходил в императорский театр на «Пещеру любви». (...) Пьеса ужасная, мне стало невмоготу смотреть еще Шерлока Холмса и комические сценки, и я уехал домой на трамваем. (...) Мне было даже неприятно, что я не могу наслаждаться ничем, кроме старой драмы Кабуки. Я уверен, что так будет до тех пор, пока создание пьес не окажется в руках молодежи, проявляющей интерес к искусству.

Если у тебя есть какая-нибудь книжка mysterious¹ историй, сообщи. (...) В предисловии к своему сборнику стихов Россети пишет, что книгами, в которых описывается сверхъестественное, зачитываются. Мне кажется, он слишком самоуверен. Я иногда читаю его с улыбкой. О, как бы мне хотелось жить в чистом мире стихов, как этот поэт. Adieu.

Рю

¹ Таинственных (англ.).

20 июля 1912 года.

Кё Цунэто

(Письмо написано по-английски)

Дорогой друг.

Благодарю за теплое, сердечное письмо.

Сейчас семь часов вечера, и я мысленно представил себе, как ты, твоя мама, сестра и братья весело разговариваете, смеетесь. Ты, разумеется, говоришь восхитительнее всех, твое смуглое, оливково-загорелое лицо расплылось в сердечной улыбке, а маленькие братья отпускают шуточные замечания, над которыми все (даже твоя мама и сестра) просто не могут не смеяться.

Освещенный желтоватым светом лампы смеющийся кружок, заливающийся серебряным колокольчиком, сладкий запах цветов, стрекотание сверчка — представляя себе все это, я пишу тебе письмо в своей душевной библиотеке, обливаясь потом, поедаемый москитами. Пожалей меня!

Лето в Токио до ужаса отвратительно. Красное солнце, сверкающее, точно раскаленный добела металлический шар, струит свет и жару на иссохшую землю, которая смотрит на безоблачное небо налитыми кровью глазами. Заводские трубы, стены домов, рельсы, тротуары — все, что есть на земле, тяжело вздыхает от тяжких мучений, ниспосланных солнцем. (Возможно, тебе трудно понять, сколь отвратительно лето в Токио, и тебе смешна моя невообразимая ненависть к лету.) В этой ужасной жаре и духоте думать о поэзии, о жизни, о вечности совершенно невозможно.

Я чувствую себя летающей рыбой, упавшей, к своему несчастью, на палубу корабля и умирающей на ней. К тому же мне ужасно досаждают пыль, вонь протухшей рыбы, жужжание насекомых, страшные на вид ящерицы и самые надоедливые из всех — москиты. Короче говоря, королева лета, столь благосклонная к тебе, со мной весьма жестока.

Я читал «Юээнкуцу», мечтая о счастливой стране, где сияет солнце и все цветет, где действительность превращается в восхитительную мечту, а страдания — в жизнь, полную прекрасных наслаждений. Я хочу забыть обо всем вульгарном и банальном в этой прекрасной, сказочной стране и жить жизнью, которой живут не обычные мужчины и женщины, а боги и богини под сапфирным небом этой счастливой страны, оку-

танной запахами белоснежных цветов груши, с поэтом этой фантазии Тёбунсэем.

Не смейся над моими детскими мечтами! Это мое маленькое королевство, где таинственная луна освещает таинственную страну. Я мечтаю день и ночь, я мечтаю о цветущей розе, и в этой мечте (это моя башня из слоновой кости) я нахожу счастливую печаль, одиночество — но сладкое, покинутость — но приятную. «Голубой лотос одиночества», сказал один из древних индийских поэтов, распускается только в белесой вечерней дымке фантазии, науки и искусств; и нет науки без *müssen*¹. Ты можешь назвать также историю, логику, этику, философию и т.д., а в числе «искусств» — музыку и живопись. Фавны и нимфы, танцующие в залитой лунным светом долине, где цветут красные розы и желтые нарциссы, поют веселые песни и играют на флейтах, а в это время седовласые, морщинистые историки и философы погружены в свои так называемые научные изыскания. Песни фавнов и исследования историков одно и то же, но есть и различие между ними: первое прекрасно, а последнее — невероятно скучно.

Зеленоватый мотылек сел мне на плечо. За окном в июньских сумерках тихо шелестят дубы. Пахнет сеном, слышится монотонное мычание коров, в небе желтый нарождающийся месяц — наступает ночь с ее мыслями и снами.

Я должен зажечь лампу и сесть ужинать с моими старыми отцом и матерью. Искренне твой Р. Акутагава.

P.S. «Саломея» Бёрдсли прекрасна Я нашел ее вчера в букинистической лавке. Она стоила семь иен.

2 августа 1912 года. Синдзюку.
Дзороку Фудзиока

Написал тебе письмо еще во время болезни императора и уже собирался отправить, но из-за волнений в связи с выходившими один за другим экстренными выпусками газеты, сообщавшими о состоянии его здоровья, забыл отправить, и конверт, который я положил на книжную полку,

¹ Долженствования (нем.).

покрылся пылью. А в это время от тебя пришло письмо в розовом конверте, и я, разорвав свое старое, пишу заново. Сестра, ходившая в один из вечеров во время болезни императора к мосту Футаэбаси, чтобы поклониться императорскому дворцу, рассказывала мне со слезами на глазах, что трое школьников, склонившись в поклоне к самой земле, оставались в такой позе чуть ли не полчаса. Меня рассказ сестры подвиг тоже пойти к мосту Футаэбаси, я сказал, что хочу поблагодарить императора за рескрипт, но там я увидел студента, который покончил с собой, выпив сильный яд, — на меня это произвело ужасное впечатление. Я подумал, чем садиться в трамвай и ехать поклониться императорскому дворцу ради того, чтобы оказаться рядом с этим студентом, лучше было бы остаться дома, и помолился за выздоровление императора. А вскоре было сообщено о его кончине. Но когда в моих руках оказался экстренный выпуск газеты с траурной рамкой, которая пришла, когда было уже темно, я подумал, что все же поступил правильно, отправившись поклониться императорскому дворцу.

Вчера (первого числа) в колледже была траурная церемония. В зале, где собрались находившиеся в Токио ученики, Кикиути-сан, стоя под красно-золотым школьным знаменем, зачитал слова скорби по усопшему. После этого он произнес довольно длинную речь. Она была очень теплой. За несколько дней до этого представители учащихся отправились к Кикиути-сану, чтобы вручить ему письмо с выражением скорби, однако не дождались — в одиннадцать часов вечера его еще не было — и решили идти по домам, но по дороге встретили сэнсэя. Подставляя ветру разгоряченное выпивкой лицо, он заявил им: «Болезнь его величества для меня невыносима». Это было как раз вечером двадцать восьмого. Двадцать восьмого они же ходили к Таниями-сану, который сказал, что «Хори-сан, несмотря на это ужасное событие, отправился развлекаться в Асакусу, ну что с ним поделаешь», и сам все время пьет и никак не может остановиться. Услышав о таком скандале, я почувствовал внутренний протест — насколько большего уважения достойно поведение моих необразованных мамы и тетушки, чем Кикиути-сана, зачитавшего слова скорби по усопшему. И вправду, когда пришел специальный выпуск газеты с известием о смерти императора,

все мои домашние горько плакали. А уж преподавателям колледжа, я считаю, вести себя так совсем не пристало.

Хорошо бы в число развлечений, которые сейчас запрещены, не включили экскурсии, тогда после снятия траура, я надеюсь, мне удастся куда-нибудь поехать. Но пока еще ничего не решено. Иногда мне кажется, что у меня в голове блещет голубая гладь Инахасиро. Я хочу отправиться именно туда.

В Токио жара, невыносимая жара. А я к тому же еще живу на окраине — насекомых тучи. Стоит зажечь лампу, как слетаются полчища майских жуков, цикад, крылатых муравьев. Не люблю лета

«Гайявату» прочел с интересом. Он прозвучал для меня, как картина первобытных американских индейцев на звериной шкуре, как звук камышовой дудки, на которой играют в тени густой ивы. Хороши, мне кажется, «Peace-pipe», «Hiawatha and Mudjekeewis», «The Son of Evening Star», «Hiawatha's Departure»¹. А «Привидения» не восхитили меня. Самое выдающееся произведение Лонгфелло «Evangeline»².

Судзуки прислал письмо из Дайрэна. Он наслаждается китайской едой, ходит в китайский театр, в общем, живет в свое удовольствие. Я представил себе бесконечную серую равнину, гладкое, точно стальной лист, синее море. В ушах слышатся звуки свирели и кото, оплакивающих угасающий свет дня. Меня уговаривали поехать в южную Маньчжурию, но нет денег, и я отказался. Маньчжурия представляется мне сплошь заросшей китайским просом, в котором хрюкают черные свиньи. Но все равно мне бы хотелось хоть однажды увидеть лучи солнца, освещающие ивы на Янцзы.

Напиши мне какую-нибудь mysterious историю — все равно какую. И не вздумай отговариваться, что не любишь писать.

Жизнь моя, как и раньше, течет спокойно. Иногда хожу в библиотеку и ищу в каталогах книги с загадочными названиями. Недавно прочел «Удивительные записки о живой рисинке», довольно занятно. (...)

¹ «Трубка мира», «Гайявата и Мэджеквис», «Сын вечерней звезды», «Эпиграмм» (англ.).

² «Эванджелина» (англ.).

30 августа 1912 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Стоит подумать, что через две недели начинаются занятия в колледже, как охватывает тоска. В самом деле тоска Покрытые пылью столы в аудитории. Исписанные всякими непотребствами стекла окон. В общем, ничто не радует мое сердце. Меня всего передергивает от vulgar slang¹ и vulgar scandal², единственное, что остается, — запах сакэ. Думая об оставшихся двух неделях, честно говоря, так и слышу eternal³ чтение вслух Яки-куна. Eternal я употребляю в самом хорошем смысле, и я не собираюсь утверждать, что мне его чтение неприятно. Я назвал его тон eternal только потому, что это определенное кажется мне наиболее подходящим. Действительно eternal. Ты согласен?

Честно говоря, охватившая меня тоска гораздо сильнее предстоящего мне удовольствия встретиться со своими товарищами. Если бы я мог избавиться от тоски, согласился бы и не встречаться ни с кем. Начать с того, что, кроме тебя, с кем я с таким удовольствием разговариваю, я не знаю ни одного человека, с кем бы хотел повидаться. (Возможно, все они испытывают такое же чувство.) Поэтому, увидев их лоснящиеся после двухмесячного отдыха лица, я совсем не должен издавать восторженные возгласы. С кем хочется повидаться, того можно просто навестить. До того как я решил отправиться в Кисо, у меня была даже мысль поехать к тебе. Но пока я колебался, мол, ехать поездом и довольно долго, Kannipan со своей обычной энергией предложил plan⁴ отправиться в Кисо, так и вышло, что мы вместе с ним поехали туда Было бы жалко упустить случай посмотреть на морское побережье Идзумо, на горы Идзумо. Это путешествие придумал Kannipan, и мы rass⁵ втроем — все знакомые между собой. Ведь двадцатая часть инженерного факультета — мои товарищи. Такое путешествие втроем очень приятно. (...)

В Кисо нас заели блохи. Когда мы ночевали в Фукусиме, я глаз не мог сомкнуть, все тело вспухло и покраснело. Все, кто хочет отправиться в Кисо, обязательно должны запастись

¹ Вульгарных выражений (англ.).

² Вульгарных сцен (англ.).

³ Зд.: величественное (англ.).

⁴ План (англ.).

⁵ Отравились (англ.).

мазью от блох. В Фукусиме ночевали в одной комнате с учеником коммерческого училища Иокагамы. Ладный, хорошо сложенный парень, но ужасно разговаривал во сне. Среди ночи он вдруг произнес: «Брось шутить. Разве такое возможно?» — и расхохотался.

В хибарке на горе Отакэ мы оказались вместе с двумя школьниками из Фукусимы, они знали множество студенческих песен. Даже больше, чем я. Из их слов я понял, что жизнь во всех учебных заведениях строится по образцу первого колледжа. Они сказали, что у них существует «и наказание железными прутьями, и storm». Да, наш первый колледж чего-то стоит, подумал я. Хотя гордиться мне тогда было в общем-то нечем. (...)

Потом мы отправились в Нагою. Мы пробыли там всего несколько дней, поэтому осмотреть город как следует не удалось, но он показался каким-то безалаберным. По нему ходят разные трамваи, и, чтобы проехать из конца в конец, нужно взять шестьдесят билетов. А каждый стоит один сэн, так что нам пришлось отказаться от идеи проехаться по городу. В ресторане мануфактурного магазина Итоя, выкрашенного в темно-зеленый и желтоватый тона, я видел много разодетых женщин. На веранде, где были расставлены вазы с цветами, мы ели ложечками мороженое и смотрели на толпы нагойцев, прогуливающих по набережной, освещенной фонарями. Все они выглядели как-то неприятно. Днем, обливаясь потом, мы побывали на разных фабриках. В пропыленных конторах, залитых лучами послеполуденного солнца, мы протягивали рекомендательные письма и просили, чтобы нам разрешили осмотреть фабрику. Мы повидались с множеством секретарей, служащих, мастеров, зарывших свои желтушечные лица в конторские книги и документы. Они были отвратительны.

Везде, где мы были, у нас создавалось впечатление, что люди на фабриках какие-то неустроенные — ну точно перелетные птицы, причем нам нигде не разрешили осмотреть фабрику, и на третий день мы плюнули и распрощались с Нагоей, которую горделиво именуют «малой столицей». Я не буду утверждать, что не видел городов противней Нагои. Нагоя даже лучше Кисо, хотя бы тем, что там нет блох. (...)

Акутагава-сэй

22 июля 1913 года. Синдзюку.
Дзороку Фудзиока

Ты должен простить меня за то, что я так долго не отвечал. С выпускного вечера и до сегодняшнего дня все время кто-то приходил ко мне, к кому-то ходил я — некогда было вздохнуть. До тех пор пока не зацвели и не опали маки, не родились щенки, не зацвели гранатовые деревья, не поспели баклажаны, не созрела кукуруза, я ни за что не брался, и единственное, что делал, — ездил по городу на трамвае и ел с приятелями мороженое. Поэтому полученные письма я аккуратно прочитывал, но, не имея времени, чтобы ответить, прятал в ящик стола. Хотя, даже если бы оно у меня и было, я все равно не нашел бы в себе сил писать. Надеюсь, ты меня простишь, зная, что не в моих силах задержать ответ.

Немного читаю. Среди прочитанного большинство старых книг. (...) «Новые рассказы у лампы», «Речные заводи», «Цзинь, Пин, Мэй». Западных же книг почти совсем не читаю. Много сплю днем. Поздно возвратившись домой, я, если позволяет время, сплю до десяти часов. Поэтому с головой все в порядке и телом отдыхаю. Правда, с желудком, мне кажется, не совсем хорошо, но это не страшно.

Когда я ходил в колледж, чтобы познакомиться с листом успеваемости за первый и второй годы, встретил там Огурусукуна. Из знакомых больше никого не было. Оказавшиеся в колледже человек двадцать были для меня не более чем случайными прохожими.

Мне кажется, я окончил колледж в самое подходящее время. Мало кто покидает alma mater с таким полным отсутствием чувства сожаления и тоски. Этим отвращением к колледжу я должен быть благодарен Сэто-сэнсёу, методике его преподавания. А в том, что я утратил всякое уважение и любовь к старшекурсникам, окончившим мою школу, следует поблагодарить порядки в колледже и людей, их формирующих. Когда мы поступили в первый колледж, старшекурсники устроили нам встречу в Этикацу. Оставшиеся в нашей памяти как чистые, ничем не запятанные люди, они изо всех сил убеждали нас в том, что школьная жизнь была слишком dry¹. И без конца говорили

¹ Сухой (англ.).

о том, сколь свободна и радостна жизнь в колледже. С каким почтением мы, привыкшие к простой, ничем не выдающейся школьной жизни, слушали их рассуждения. Но, как это ни печально, слушая их рассказы, такие, на наш взгляд, искренние, мы не могли не видеть, с какой жадностью они вливают в себя пиво. Не могли не видеть, с каким наслаждением они расппевают малоприличные песенки, как развязно ведут себя. Не могли не видеть, что и другие учащиеся первого колледжа, в рубашках, заправленных в хакама, устраивали то, что они называют storm: номерками от обуви колотили по бутылочкам для подогревания сакэ. Они не зря утверждали, что школьная жизнь была dry. Начавшееся в то время disillusion¹ продолжалось до самого выпуска. Мог ли я уважать старшекурсников, так воспевавших жизнь в колледже? Мог ли я вместе с ними насмеяться над школьной жизнью, называя ее dry? Каждый раз, оглядываясь на жизнь в колледже, которую я сбросил, как изношенное платье, я вспоминаю слова Честерфилда: «The wise men are those, who had come dies in their heads and tragedies in their hearts».²

Я должен идти по своему жизненному пути с насмешливым умом и ранимым сердцем. (...) Мне кажется, все становятся другими людьми. Но я — это я. Иногда мне кажется, что я не имею кровных bond³ с самим собой. А иногда я думаю, что, возможно, я слишком слаб (в общечеловеческом плане). Может быть, мы вообще живем во имя разочарований. Однако благодаря разочарованию я смогу взрастить новые надежды. Если не выколоть сорняки, хризантем не вырастишь. Если надежда не рождена в сердце, прошедшем disillusion, то сильной такую надежду не назовешь. Мы грустим, но, я думаю, мы все же сильнее людей, не испытывающих грусти.

На этом кончаю. Перед глазами ярко-красные цветы бегонии. Тонко пахнущий бальзамин. Мурлычет кошка. Жаркий полдень. Молюсь о твоём здоровье.

Рю

¹ Крушение иллюзий (англ.).

² Мудрыми можно считать тех, чей разум смеется, а сердце грустит (англ.).

³ Уз (англ.).

12 августа 1913 года. Фудзими. Монастырь Синтэйин.
Митидзо Асано

Прости, что пишу на линованной бумаге.

Благодарю за письмо. С удовольствием прочел его. Особенно благодарен за то, что развеял мою скуку. Благодарен тебе, что смог воскресить в памяти школьную жизнь. Меня удивило, что ты взял с собой на выпускной вечер snob¹ Миядзаки — может быть, ты решил сделать это, чтобы лучше узнать его? (...)

Теперь я ежедневно купаюсь в море, ем после этого соленую деревенскую пищу, а так хочется сладкого, просто сил нет. Я уже слопал больше половины засахаренной красной фасоли, бананов, печенья, бисквитов, которые привез с собой в эту даль из Токио. Хотя, как известно, не хлебом единым жив человек. (...) Когда я прочел о красной фасоли, которую ты ел на прощальном выпускном вечере (то же было и у нас), я сразу же вспомнил красный фонарь над лавкой, где подавали отварную красную фасоль с сахаром, и так мне захотелось ее попробовать!

В последнее время каждое утро читаю, пишу письма, а после часа, взяв с собой двух крестьянских ребятишек — они живут поблизости, — иду купаться. Пляж в Эdziри крохотный и плохо оборудованный, но зато на нем нет таких типов, как в Камакуре, которые входят в воду в красных и фиолетовых купальных костюмах и резиновых туфлях. Купающихся почти нет. Я и все остальные одеты кое-как — это никого не волнует. Выйдя из воды, я ложусь на песок, дремлю, слушая бормотание моря, иногда удается поесть арбуз.

Вернувшись с моря, моюсь в огромной бочке, стоящей на кукурузном поле. Запах цветов и листьев, голоса насекомых... — меня все это радует. Помывшись, ужинаю. Ночи лунные. В этих местах августовское (по старому стилю) полнолуние называют бобовым, а сентябрьское (по старому стилю) — бататовым, и любованье луной совершается здесь два раза в год в это время.

Храмы Рюгадэра и Тэцубунэдэра находятся поблизости, и я иногда хожу в них. Там бывают двое учеников третьего класса третьей средней школы. Они не очень умные. (...)

Жаль, что часто бывает облачно и Фудзи не видна. Даже в ясные дни, когда солнце освещает море и побережье, Фудзи все равно скрыта облаками. (...)

¹ Сноба (англ.).

Позавчера в храме Тэцубунэдэра была служба, посвященная богине Каннон, было очень весело, повсюду бумажные фонарики, множество ларьков. (...)

Здесь масса блох и moskitов, иногда попадаются змеи. Храм, в котором я жил, дзэнский, его настоятель Кадзунао не знает слова «сидр». Дзэнские монахи — люди беспечные. В еде непривередливые — они выше этого. Вечерами, сидя в коридоре главного храма и отмахиваясь от moskitов, слушаю рассказы монахов, которые сорок лет назад путешествовали по Токайдо с поклажей через плечо. (...)

Когда я был в этом храме в прошлом году, мои товарищи научили крестьянских ребятишек гимну первого колледжа. Вечером, возвращаясь из храма при свете луны, они распевали его.

Гимну нас научили, говорят они. Теперь научи нас модным песенкам, а я их и сам не знаю.

Осматривал бронзовый памятник генералу Ноги. Испытал огромную радость. В зале первого колледжа (я увижу это в сентябре) висят неумело выполненные, бездарные портреты Фудзивары Каматари и Такэути Сукунэ. Bust¹ генерала Ноги гораздо лучше, чем его портреты.

До сентября собираюсь жить в свое удовольствие: читать, развлекаться. У Уайльда, написавшего «Саломею», есть «De Profundis (From the Depth)»², вместе со стихами «Ballads of Reading Gaol»³, тюремными записками и сборником essay⁴, названным «Intention»⁵, они создают прекрасную картину идей Уайльда. И в издательстве «Марудзэн», и в издательстве «Никасиния», я думаю, уже поступили одношillingовые книги. Я все эти вещи читал еще в пятом классе, и у меня до сих пор хранится книжка, в которой подчеркнута фраза: «The final mystery is oneself»⁶. Среди прозаических произведений можно назвать его выдающийся роман «The Picture of Dorian Gray»⁷ и сборники сказок «Гранатовый домик» и «The Happy Prince»⁸, привлекательные, как турецкий ковер. Есть у него и блестящие пьесы: «Lady Windermere's Fan»⁹, «An

¹ Бюст (англ.).

² «Де профундис (Из бездны...)» (англ.).

³ «Баллада Редингской тюрьмы» (англ.).

⁴ Эссе (англ.).

⁵ «Намерение» (англ.).

⁶ «Последняя тайна — ты сам» (англ.).

⁷ «Портрет Дориана Грея» (англ.).

⁸ «Счастливый принц» (англ.).

⁹ «Веер леди Уиндермир» (англ.).

Ideal до Husband»¹, «A Woman of No Importance»². Известны и другие его стихи, кроме названных мной «Ballads»³. Это «Sphinks», «Ravenna»⁴. После возвращения в Токио, если все будет хорошо, дам их почитать. Отмеченные красным карандашом — все одношиллингковые книги. Остальные — двухмарковые книги, изданные в Гамбурге (некоторые — в Лейпциге), и пятишиллингтовые из Англии. Есть и дорогие десятишиллингтовые издания. «The Picture of Dorian Gray» полон прекрасных описаний, иронических афоризмов. Помнится, есть в нем такие фразы: «A fine countenance is more precious gift than a genius. I like acting for acting is more real than life»⁵.

Самые известные пьесы и статьи Метерлинка тоже в основном в английском переводе. (...) Есть в английском переводе и пьесы Стриндберга «Заимодавцы», «Фрёкен Юлия», «Пляска смерти», «Отец», «Любовь матери», «Swan White»⁶ и проза «Blue Book», «Legend»⁷ и др. Но они хуже немецких. Д'Аннунцио — это девять томов переводов на английский язык, и в первую очередь таких романов, как «Победа смерти», «Роман розы», «Роман лилии», «Роман граната» (существуют издания Хейнеманна и Пейджа). Но я не прочел и половины этих вещей, поэтому точнее ничего сказать не могу. То, что прочел («Победа смерти», «Пламя жизни», «Жертва», «Девушки скал», «Наслаждение») точно переведено на английский язык. Есть, кроме того, английские переводы пьесы «Мертвый город» — о любви между сестрой и братом, мелодрама «Франческа д'Глинн» о трагической любви Франчески. Должен также быть перевод английский «Gioconda»⁸, но он сейчас распродан. Однако гораздо больше немецких переводов произведений этого писателя.

Переводов Вида и Рильке на английский язык, кажется, нет. Рильке — самый любимый писатель Нисикавы. Кроме писателей, вошедших во второй сборник одноактных пьес, существует очень много переводов на английский язык Толстого, Тургенева, Горького, Андреева. Они довольно легко читаются. В неделю можно прочесть два-три тома Об Ибсене в

¹ «Идеальный муж» (англ.).

² «Женщина, не стоящая внимания» (англ.).

³ Баллад (англ.).

⁴ «Сфинкс», «Равенна» (англ.).

⁵ «Красота — более драгоценный дар, чем гениальность. Я люблю игру, поскольку игра — реальнее жизни» (англ.).

⁶ «Белый лебедь» (англ.).

⁷ «Синяя книга», «Легенды» (англ.).

⁸ «Глоконды» (англ.).

переводах Арчера и о сборнике рассказов Мопассана, изданном на отвратительной бумаге, я думаю, ты знаешь.

Я превратился в ужасного педанта. У меня нет под рукой справочников, поэтому в заглавиях я мог допустить ошибки. Возможно, и книжные магазины указал не те. Но, думаю, в основном все правильно.

Прошло уже четыре года с тех пор, как я прочел «Sapho» Доде, изданную в сиреновой обложке в серии «Лотос». Но хоть и прошло четыре года, мне опротивел и английский и немецкий — наверное, я просто неуч. Не читая японских книг, не зная китайскую классику, простое запоминание иностранных слов ничего не дает человеку. Мне кажется, что, если я хоть чуточку не перестрою свое сознание, плохо будет. Смелость и счастье людей, навлекающих на свою голову житейские невзгоды, не имея времени оглянуться на себя, вызывает у меня здоровую зависть.

Днем жарко, а утром и вечером вспоминаешь, что осень наступает. Дзёка-кун должен скоро вернуться в Токио. Я буду вспоминать его каждую ночь, прикрываясь москитной сеткой. (...)

Собираюсь остаться здесь до конца месяца, но, возможно, передумаю и возвращусь раньше. Каждый день подолгу с наслаждением плаваю. Судя по газетам, горячий интерес публики снова вызвало ясновидение, и я написал в книжный магазин и попросил прислать мне новую работу профессора Фукураи и теперь жду ее с большим нетерпением. Здешние газеты ничего не пишут об этом, меня это ужасно злит.

В недавно прочитанном мной романе (кажется, Арцыбашева) шум паровоза передан так: тра-та-та, меня это очень заинтересовало. Еще больше заинтересовало то, что звук идущего по железнодорожному мосту поезда передан: трарара-трарара. (...)

Заканчиваю. Нужно идти купаться. (...)

Недавно прочел «Нарушенный завет». Советую и тебе прочесть. (...)

Рю

15 августа 1913 года.

Деревня Фудзими, храм Синтэйин.

Кё Цунэто

Ждал от тебя ответа, но он так и не пришел, и я пишу снова. Примерно в шесть часов утра я поднимаюсь, застилаю постель и убираю комнату. Завтрак. Рис, как правило, не очень

чистый. Потом, пододвинув стол к окну, выходящему на запад, читаю книгу. За окном плантация тутовника. На больших зеленых листьях, точно жемчужины, сверкают росинки. Пчелы, жужжа, трясут красные цветы склонившихся флоксов. Запах земли. Яркие лучи августовского солнца. Часов в десять я переносу стол в гостиную, выходящую в восточный сад. Солнечные лучи, проникая сквозь бамбуковую штору, зеленью падают в комнату, и в ней вместе с легким запахом банановых листьев разлита прохлада. В саду, усыпанном ослепительно белым песком, лежат короткие тени камелий, мушмулы, пальм. Стрекохут цикады. После обеда сплю часок или читаю газету. В газете «Кокумин» каждый день с интересом читаю «Плоды тутовника» Миэкиги.

Когда бьет час, я затыкаю за пояс полотенце, надеваю летнюю школьную фуражку и иду к морю купаться. Купаюсь я на побережье, у Эдзири, примерно в полри от храма. Дорога туда — сплошная зелень листвы довольно толстых деревьев тутовника и проса, красноватых листьев кунжута. У обочины дороги, увядая, цветут забеленные пылью примулы. Перехожу мост Фунимибаси. За перилами течет, точно отшлифованный лист стекла, вода. В порту, в полутё отсюда, высится лес мачт рыбачьих судов, а над ними чуть белее затухающий месяц. Когда минуешь флаг с красной окаемкой над лавочкой около моста, где продают лед, начинаются узкие улочки, застроенные домами под тростниковыми крышами. Парикмахерская, овощная лавка, торгующая грушами и арбузами, и деревянный навес около нее, мелочная лавка, а между ними шелестят листья маиса, проглядывают желтые подсолнечники. Пройдя два-три тё по сосновому бору на окраине городка, видишь низкую тесовую крышу кирпичного заводика и высящийся шпиль церкви Бифу, возвещающие о приближении к Эдзири. А там, за полями батата и сахарного тростника, уже ярко блестит синее море. Пересекаешь линию узкоколейки (между Аомори и Сидзуокой) — и тут Эдзири. Затертые портреты эдосских актеров, приклеенные к стене рыбной лавки, вызывают приятные воспоминания. За железнодорожной станцией Эдзири медленно спускаюсь к морю. Несколько приморских чайных домиков, находящихся в ведении управления железной дороги, вытянули в море мостки, выставили на них флаги, повесили фонари, зазывая гостей. На побережье Эдзири обзор не особенно широк. Справа — выдающийся далеко в море полуостров Михо, слева — горный хребет Аситака, а между ними длинная горная цепь Ито, серая в пасмурный день, синяя

в солнечный. И горизонт поэтому почти совсем не виден. Правда, радует глаз морское течение. Оно более соленое и, когда на него падает солнечный луч, приобретает невыразимой прелести голубовато-синий цвет. По сравнению с Камакурой или Курэнумой пляж оборудован неважно, но здесь лучше тем, что не увидишь человека, плавающего в купальных тапочках. Устав плавать, я бросаюсь мокрым телом на горячий песок и дремлю, слушая ленивый рокот моря. В книжке Д'Аннунцио «The Triumph of Death»¹ есть прекрасная картина: Джорджио и Ипполита купаются в море. Итальянское море ярко блестит серебром в аромате водорослей, в аромате волос. Этот passage², такой трогательный, неотступно возникает в памяти, когда лежишь на песке и слушаешь голос моря. Морская вода, вблизи — взбиваемая ногами купающихся мужчин и женщин — мутно-зеленая, ворчливо пенящаяся, а вдали, играя всеми оттенками от emerald green³ до indian blue⁴, беззаботно смеется под солнцем, плывущим по южному небу. Первая строчка «Malva»⁵ Горького: «The sea is laughing»⁶. Вот точно также смеется и мое море. Когда солнце начинает садиться и тени от вещей, лежащих на песке, становятся длинными, я, перекинув через плечо мокрое полотенце и трусы, возвращаюсь домой.

Помывшись в кадке, стоящей на кукурузном поле, и поужинав, я иду гулять. Иногда я хожу в храмы Рюкадзи и Тэцусюдзи. Иногда — в городок Аомидзу. Когда я иду по тропинке через поле, покрытое пожелтевшими бобовыми листьями, то замечаю, как в какой-то миг земли достигает свет луны. Квакают лягушки. С нежностью вспоминаю строфу из поэмы «Возвратился к полям и садам»: «Вот бобы посадил я на участке под южной горой. Буйно травы пробилась, робко тянутся всходы бобов». Глядя на луну над воротами храма, украшенными сиби, возвращаюсь домой и, покрывшись москитной сеткой, ложусь спать. Иногда во время прогулок я разговариваю с детьми, с настоящим храмом. (...)

¹ «Триумф смерти» (англ.).

² Эпизод (англ.).

³ Изумрудно-зеленого (англ.).

⁴ Индийской лазури (англ.).

⁵ «Мальвы» (англ.).

⁶ «Море смеялось» (англ.).

Каждый день я ем соленую деревенскую пищу, пью соленую морскую воду, и хоть я люблю сладкое, но тут уж ничего не поделаешь. Правда, из Токио я привез и бисквит, и сладкие соевые бобы, и банановый кекс. Но не прошло и недели — все съел. Здешние сладости очень уж невкусны, и поэтому я хожу в Аомидзу пить молочный коктейль.

Лягушек видимо-невидимо. Уолтер Патер сказал, что в морде змеи есть *humanity*¹, а мне кажется, скорее у лягушек есть *humanity*. В окрестностях Токио таких лягушек нет. Но вот когда ты сидишь в кадке, а маленькая черно-белая лягушка прискакивает к самому твоему носу и садится, как будто хочет о чем-то спросить, становится не по себе... Есть картина «Царь рыб». Автор ее Беклин. На ней изображено животное, морда которого представляет собой соединение человеческого лица и рыбьей морды. Так вот, когда я смотрю на лягушку, то всегда вспоминаю этого царя рыб.

Через недельку поеду, наверное, в Кугэнуму. До свидания.

Рю

19 августа 1913 года.

Деревня Фудзими. Храм Синтэйин.

Такэси Хиросэ

Вот уже десять дней я живу в этом храме. По утрам обычно читаю иностранные книги, а после полудня, захватив полотенце, иду купаться. Вечером иногда развлекаюсь со своими маленькими деревенскими друзьями. Мы гуляем под луной и поем песни, потом устраиваемся на веранде храма, и я рассказываю им сказки. Иногда, когда я иду купаться, они увязываются за мной, заткнув за уши колоски чумизы, яркие птичьи перья. Указывая пальцем на растения и насекомых, попадающихся нам по пути, ребятишки учат меня, как они называются. Благодаря этому моя эрудиция в последнее время значительно расширилась. Давно не было дождя, поля пересохли, и в деревне, где я живу, начались молебны о ниспослании дождя. Молящиеся в течение семнадцати дней не берут в рот ничего вареного и целыми днями сидят под бамбуком, увитым соломенными веревками с вплетенными в них полосками бумаги, и звонят в колокольчики.

¹ Нечто человеческое (*англ.*).

В одном из домов в деревне уже несколько лет болеет вся семья, решили позвать гадалею, который выполнил нужную триграмму и сказал, что болезнь семьи — наказание за то, что под домом на глубине двух дзё пяти сяку зарыты шлем, доспехи и меч. Он посоветовал немедленно вырыть их. Действительно, на глубине двух дзё пяти сяку оказались шлем, доспехи и длинный меч. Все жители деревни восторгались гадалею, называя его чуть ли не богом. А меня больше всего заинтересовало простодушие хозяина дома, который безоговорочно поверил предсказанию гадалею и вырыл глубоченную яму. (...)

Вместо Браунинга читаю Огай-сэнсё «Раздел», «Калейдоскоп», «Воля», «Десять человек — десять рассказов». Очень интересно. (...)

Рюноскэ Акутагава

29 августа 1913 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Двадцать второго вернулся в Токио. (...)

Домашние написали мне, что из Марудзэн пришли книги. Вот я и заторопился. Возвращение было радостным. Я не в силах забыть своего состояния, когда в туманный вечер, выйдя со станции Симбаси с огромным *carpet-trank*¹ в руках, я увидел красновато-желтый свет электрических и беловато-желтых газовых фонарей. Я ведь коренной токиец.

И вот я в Токио, и до сегодняшнего дня веду какую-то безалаберную жизнь. Почитываю. Днем сплю в свое удовольствие. (...)

5 сентября 1913 года. Синдзюку.

Дзороку Фудзиока

Получил твое письмо четвертого поздно вечером. Оно было отправлено второго. Я решил тут же ответить — может, успею, подумал я, и пошел купить хорошей бумаги или хотя бы *letter paper*², но и та, и другая кончились. Ну что ты будешь делать — пришлось удовлетвориться бумагой по полтора сэна за пачку.

¹ Саквожем (*англ.*).

² Бумаги для писем (*англ.*).

После возвращения в Токио жил сам не знаю как. Прочел «Преступление и наказание». Все 450 страниц романа полны описания душевного состояния heroes¹. Но развитие действия не связано с их душевным состоянием, их внутренними взаимоотношениями. Поэтому в романе отсутствует plastic² (мне представляется это недостатком романа). Но зато внутренний мир главного героя, Раскольникова, открывается с еще более страшной силой. Сцена, когда убийца Раскольников и публичная женщина Соня под лампой, горящей желтым коптящим пламенем, читают Священное писание (Евангелие от Иоанна — главу о воскрешении Лазаря), — это scene³ огромной силы, ее невозможно забыть. Я впервые читаю Достоевского, и он меня захватил, но английских переводов мало, и поэтому я не имею, к сожалению, возможности прочесть остальные его произведения.

Ты читал «Бранда»? Я не так уж был им потрясен. Не знаю, как бы я реагировал, если бы прочел его сейчас. У Ибсена я больше всего люблю «Кукольный дом» и «Боркмана». В начале летних каникул прочел «Бунт» Вилье де Лиль-Адана. Это «Кукольный дом», появившийся до «Кукольного дома», — пьеса построена буквально на том же материале. И это весьма примечательно. Она появилась в 1870 году, а значит, задолго до «Кукольного дома» (1879 год).

Недавно гулял за городом и увидел, что уже наступает осень. Вышел на берег речки Тамагава — трава между галькой пожелтела и пожухла, даже плывущие по небу облака, казалось, уносятся в безвозвратную даль. Хиро, Татикава, Фукуду — деревни, выстроившиеся вдоль берега Тамагавы, я каждую осень по многу раз прихожу сюда с тех пор, как прочел «Мусасино» Дюппо. Кора дзелькв белая, и вот наступает время, когда она сверкает в лучах осеннего солнца — тогда листьев, усыпающих крытые тростником навесы, становится с каждым днем все больше и больше. В небе, которое отражает зеркало в красноватом стекле витрины парикмахерской, стоит непрерывный гомон — кричат сорокопуги. Спокойно бредет хромой пес. На солнечной стороне улицы раздается резкий голос бродячего торговца в синих перчатках, прикрывающих лишь

¹ Героев (англ.).

² Пластичность (англ.).

³ Сцена (англ.).

тыльную сторону ладони. На красных цветах помелы, растущих за оградой сельской управы, на цветах патринии на кладбище уже лежит печать осени. Осень запаздывает.

Рю

13 сентября 1913 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Мать принесла мне благодарственное письмо от тебя. Вскрыв его, я увидел, что в конверте лежат твое заявление о переводе в Киотоский университет и письменное объяснение. Видимо, ты по ошибке вложил их в письмо ко мне, поэтому срочно посылаю их тебе обратно. Я понимаю, что перевод дело серьезное, но зачем так спешить. (...)

С пятнадцатого начинаются лекции. Английский будет преподавать Исаму Сайто. Немецкий — Оцу-сан. Это, конечно, малоинтересно. Среди студентов на удивление много старичков.

Время (три дня в неделю — общий курс психологии) не позволит мне посещать ни Гёсэй (францисканский католический колледж), ни Гайго (институт иностранных языков). Французский думаю отложить до будущего года. (...)

18 сентября 1913 года. Синдзюку.

Митидзо Асано

Жизнь в колледже показалась бы тебе очень интересной. В учебнике немецкого языка, по которому мы занимаемся на втором курсе первого колледжа, есть рассказ о том, как в одном итальянском университете студентов ели блохи. У нас на втором этаже столько блох, что мы часто повторяем: «Я вчера был тем самым студентом, которого ели блохи в Италии». Буду и в дальнейшем подробно рассказывать тебе, что представляет собой жизнь в колледже.

Разные кружки однокашников присылают приглашение присоединиться к ним. Но пока лично не познакомлюсь с ними, сказать, что они представляют собой, не могу. Лишь один, как мне кажется, стоит того, чтобы вступить в него, — и по тому, сколько времени потребует участие в нем, и по провозглашенным моральным принципам, и потому, что не требует рекомендаций.

Лекции совсем не интересные, об остальном я пока ничего не знаю, вижу только, что выпускники первого колледжа хорошо знают немецкий язык. (Во всяком случае, на моем отделении.) Бодрое настроение, которое было у меня, когда я поступил в первый колледж, с каждым годом убывает, и у меня даже такое чувство, что в конце концов я превращусь в буржуа, не способного испытывать к чему-то живой интерес. Меня это очень огорчает. (...)

Акутагава-сэй

17 октября 1913 года. Синдзюку.
Кё Цунэто

Ходил на «Электру».

Представление в театре шло в таком порядке: первой была показана «Репетиция «Макбета», второй — «Дом чаеоторговца», третьей — «Электра», четвертой — «Женская роль». Первая представляла собой перевод Мориса Беринга «Репетиции «Макбета», второй была новая драма Мацубы Мацуи, четвертой — комедия Огай-сэнсэя.

Не хочется говорить, почему начали с «Репетиции «Макбета». Но все же скажу. В японском театре, чтобы привлечь зрителя, прибегают к пантомиме. Я даже думаю, что с этой точки зрения «Репетиция «Макбета» была выбрана специально, чтобы взволновать зрителя. Эта play¹ взята из «Diminutive dramas»². Я как-то приносил эту книжку, ты ее должен был видеть, и среди включенных в нее plays это самая крикливая. Все актеры, участвующие в репетиции, капризничают, переругиваются, одни просто злятся, другие еще и вопят — в общем, более крикливой пьесы в жизни своей не видел. Подобная комедия была бы вполне уместна, если бы шла в финале, чтобы развлечь зрителя, но до «Электры» играть такую пьесу — полнейший абсурд.

Еще меньше мне понравился «Дом чаеоторговца». Декорации прекрасные, а сама пьеса никуда не годится. Приходит даже мысль, что у Мацуи-сана не все в порядке с головой. Сюжет такой. Чайная лавка «Касугаи» разоряется, и старик-хозяин, чтобы получить страховку, доходит до того, что решается поджечь ее. В это время его дочь О-Хана, которую в Токио на

¹ Пьеса (англ.).

² «Маленькие драмы» (англ.).

Симбаси называли «литературной гейшей», оставляет свое занятие и возвращается домой, но, видя, что произошло, она отдает скопленные трудом продажной женщины две тысячи иен, сделав вид, что их прислал ей пропавший без вести брат, и снова уезжает в Токио. Отец и брат, не зная, что у нее на душе, ругают ее, говоря, что она неблагодарная. Прежде всего — что нового узнали мы о времени, в котором живем? Поджечь дом ради получения страховки — такое мы много раз видели в фильмах. Девушки, продающие себя, чтобы спасти честь своего дома, — и это нам давно известно из пьес, которые ставятся в театре Соси, — давным-давно мы познакомились с такой героиней, как Кару Кампэй. Можно ли назвать пьесу «Дом чаеоторговца» *social drama*¹ лишь потому, что О-Хана стала «литературной гейшей»? Можно ли сказать, что автором решается женский вопрос? Только лишь потому, что он сам это утверждает?

А теперь об «Электре».

Серая каменная стена. Каменные колонны. Красная крыша. Серый каменный колодец. Рядом — чахлая зелень. Scene — прекрасная. Действие начинается с того, что выходит несколько женщин с кувшинами для воды. Начало показалось мне скучным. Перевод ужасный. Приведу лишь один пример:

— Ты бы посмотрела, как она смотрела на нас, — со злобством, точно дикая кошка...

Вот так говорят герои. Хотя действие и происходит в Греции, все равно слишком уж грубая спартанская речь. Так же сухо и неинтересно говорила вышедшая на сцену Клитемнестра. Это все то же проклятье перевода. На Клитемнестре было ярко-красное платье и ожерелье из драгоценных камней, сверкали два золотых кольца и золотая диадема, в *bare arms* она держала *sceptre*³ — и всем своим видом напоминала куртизанку. Такое впечатление складывалось в первую очередь потому, что лицо актрисы было размалевано, как у распутницы. Ко всему еще она все время подвывала, точно ослица. Приходит известие о смерти Ореста. Вбегает Клитемнестра, победоносно держа скипетр в поднятой руке. Клисотем сообщает Электре, что Орест разбился насмерть, упав с лошади. Оставшись одна, Электра поднимает правую руку и восклицает: «О-о, я осталась совсем одна!». В этом скорбном возгласе

¹ Социальной драмой (англ.).

² Обнаженных руках (англ.).

³ Скипетр (англ.).

мы впервые увидели живую Электру, горестно, подобно мрачному рокоту моря, выражающую свою печаль. Здесь перед нами уже не Кавако, а настоящая Электра. Занавес стремительно опускается.

Второе действие я смотрел с еще большей надеждой. Открывается занавес, слева, опираясь спиной о каменную колонну, стоит, скрестив руки, Орест в пурпурном плаще. Справа дверь — перед этой украшенной бронзой закрытой дверью в рваной черной одежде, подпоясанной веревкой, спиной к залу сидит на корточках Электра. Секирой, которой был убит Агамемнон, она выкапывает его останки. Ореста и Электру освещает голубой свет луны. Сцена прекрасна. Она напоминает картину.

Электра узнает в Оресте своего брата. Появляется приемный отец Ореста. События развиваются в направлении, куда ведет их захватывающий дух, напряженный plot¹. Из дому, где до сих пор царила тишина, раздаются крики: «Клитемнестра убита». Электра с криком: «Орест, Орест, убей, убей!» — ползает на четвереньках по земле и воет, словно дикий зверь.

Появляется Эгист. Обманутый криками Электры, он вбегает в дом. Снова крики: «Убивают, убивают!» Из окна выбрасывают мертвое тело Эгиста.

Пустая сцена, и вдруг по ней начинают метаться десятки факелов. Слышится звон скреживающихся мечей. Раздаются вопли. Это сражаются враги и друзья Ореста. В этом невообразимом шуме Электра продолжает ползать, воя, словно дикий зверь. Факелов становится все больше. Люди с криками врываются в дом, звон мечей, ругань все громче. Электра встает шатаясь, точно пьяная. Поднимает руку, поднимает ногу — сцена сумасшествия. В этих движениях танцующей Электры оформился бесконечный поток жизни, бьющий многие десятки веков в сердцах людей, начиная с далеких времен до нашей эры и кончая нынешним днем. Раздирая сверху свое черное рваное платье, с бледным лицом, горящими огнем глазами, она танцует, издавая жалобные стоны. Среди всех японских актеров, исполняющих роли людей Запада, актриса, играющая Электру, сделала это наиболее жизненно. Выходит Клисотея и сообщает о свершении возмездия. Электра, пропуская его слова мимо ушей, не прерывает танца. Обессилев, она падает на землю, но, и упав, продолжает танцевальные движе-

¹ Сюжет (англ.).

ния. Клисотем стучит в двери, украшенные бронзой, и кричит: «Орест, Орест!» Никто не отвечает. Занавес падает, скрывая плачущего Клисотема и безумную танцующую Электру.

Временами я даже плакал. Мужчины, играющие женские роли, — люди не особенно привлекательные: едут, например, такие актеры играть в провинцию, в гостинице на горячих источниках все комнаты заняты богачами, с досады они тут же превращаются в обычных женщин и, пользуясь похотливостью этих богачей, живут припеваючи на их счет. А ведь все эти актеры — самые обыкновенные люди. Среди них нет ни одного безумного. Они едят то же, что и мы, дышат тем же воздухом. Это не могло не привлечь Огай-сэнсэя.

В общем, Электра была хороша. Электра, Электра, думал я, возвращаясь вечером домой в Синдзюку в тряском трамвае. Я и сейчас еще вспоминаю ее танец.

На этом рассказ о театре кончаю.

На следующий день мы отправились осмотреть, хотя бы снаружи, дом в Усигомэ. Место прекрасное, но строение старое, и ведет к нему очень крутая дорога, поэтому отец заколебался. Один знакомый отца сообщил ему, что недалеко от Оцуки продается земля и дом. Дом совсем новый, построен только в прошлом году, но слишком уж роскошен (потолок, например, сделан из мореной криптомерии) и к тому же маленький, так что он нам не подошел (хотя просили за него не так уж дорого). Но в этом районе можно взять в аренду земельный участок — место высокое и сухое, тишина, арендная плата низкая, пожалуй, это подходит нам больше всего. Арендовать цубо двести земли, не больше, и построить дом — думаю, так мы и сделаем. (...)

В университете по-прежнему противно.

Прочел Синга. «Deirdre of Sorrows»¹ прекрасна. Но написана трудно. Очень уж вольно использует он относительные местоимения и в именительном и в косвенном падежах. Пишет, например, повторяя немецкий порядок слов: from the house out². Чтение отнимает массу времени.

Взялся за «Foregunner»³. Очень интересно. Я думаю, у Нагасаки-куна она есть. Прочти. Читается сравнительно легко.

¹ «Деидре — дочь печали» (англ.).

² Дословно: из дома выйдя (искаж. англ.).

³ «Предвестник» (англ.).

Университетские каштаны уже совсем облетели. Платаны тоже пожелтели. По утрам и вечерам руки и ноги мерзнут. Когда выхожу вечером погулять, в нос ударяет запах вялой травы, покрытой росой. Завтра открывается художественная выставка.

Ежедневно слушаю одни и те же лекции, веду один и тот же образ жизни — тоска (...)

23 октября 1913 года. Синдзюку.
Митидзо Асано

(...) Ходил на художественную выставку. У меня сложилось впечатление, что большинство выставленных на ней художников стараются передать не конкретное, сиюминутное ощущение от воды или облака, а некое частное, полученное делением суммы ощущений на их количество. Этим выставка мне не понравилась. (...)

Акутагава-сэй

1 ноября 1913 года. Синдзюку.
Дзэнъитиро Хара

(Пишу в университетской библиотеке утром 1 ноября.)

Хара-кун,
фотография канадских Скалистых гор и письмо из Банфа меня по-настоящему успокоили. Очень благодарен тебе за них.

Сейчас ты уже, наверное, в Нью-Йорке и смотришь, как опадают листья платанов. В Токио тоже похолодало. Глядя, как пожелтели с приходом осени растущие вдоль улиц каштаны и наши платаны, как на жухлой траве, точно коричневым бархатом покрывающей дамбы, чирикают желтовато-зеленые пушистые пичужки, я вспоминаю короткое стихотворение Уайльда «Желтая симфония».

Уже пошел третий месяц, как я надел форменную фуражку. Лекции не особенно интересные. Литературу читает старик по имени Лоуренс — на голове у него розовая плешь, напоминающая формой воздушный змей, какие делают на Западе. Он доброжелателен, вежлив, во всем хорошо разбирается, но, к сожалению, в литературе не си-

лен. На нем всегда серая визитка и гетры защитного цвета. Почему он круглый год носит гетры, установить пока не удалось. Сейчас он читает нам такие курсы: «Humor in English Literature from Goldsmith to Bernard Shaw», «Plots and characters in Shakespeare's late plays», «English Pronunciation»¹. Третий курс — philological² и совсем неинтересен.

Открылась художественная выставка. По традиции хочу ее поругать. Первый раздел картин традиционной японской живописи не произвел на меня впечатления большего, чем я ожидал. Даже произведения Косаки Сибаты и Комуру Суйюна, думаю, не представляют собой ничего особенного. Правда, некоторые хвалили «Обезьян» Сэйхо Мотидзуки. Ее, конечно, есть за что и похвалить. Хотя бы за то, что она мастерски копирует Бунтё. А на выставке немало произведений, которые значительно лучше слабых работ Бунтё. Но, видимо, японские художники не настолько утратили совесть мастеров искусств, чтобы гордиться этим, они, как мне представляется, стремятся к дальнейшему развитию художественного творчества. Перед «Вечной истиной» Митихико Цубаты, написанной на буддийский сюжет, стояли, склонившись в поклоне, старушка и старик, явно приехавшие в Токио из деревни. Я от души пожалел этих пожилых людей, кланяющихся калеке-будде с кривыми руками. Да и художники, выставившие здесь свои картины, живут нищенской внутренней жизнью, достойной всяческой жалости, — другого отношения они не достойны. Им невдомек, какие мысли и чувства могут породить истинные произведения искусства.

Во втором разделе мое внимание привлекли две картины. Одна — «Три облика улицы» Кэйсона Утиды, другая — «Ныряльщицы за жемчугом» Бакусэна Годы. Первая немного раздражает игнорированием перспективы, но мне все же кажется, что это самая выдающаяся из всех картин традиционной японской живописи, представленных на выставке. Три облика — это утро, день и вечер. Утро на тихой улочке, где, кажется, плавает кухонный чад, на крышах, между лежащими на них камнями, щебечут стайки птиц, и по этой улочке, на которой не видно ни живой

¹ «Юмор в английской литературе от Голдсмита до Бернарда Шоу», «Сюжет и характер в поздних пьесах Шекспира», «Английское произношение» (англ.).

² Филологический (англ.).

души, мать тащит за руку ребенка в красном кимоно; морозящий дождь, по белой полоске реки, проглядывающей между выстроившихся вдоль берега складов и мокрых ив, не отбрасывающих даже тени на воду, плывет плот — это день. Обе эти картины привлекли мое внимание, но третья, на которой изображена вечерняя улица — под навесами домов зажжены красные бумажные фонари, — два странствующих монаха бредут вниз по крутой улочке и играют на сякухати, вызвала настоящее волнение, заставила почувствовать высокое мастерство художника.

Что касается «Ныряльщиц за жемчугом», то мой особый интерес к ним возник, возможно, еще и потому, что напомнил мне «Ноа Ноа» Гогена. Тогда — один из художников, которые мне не особенно нравятся. Выставленная им в прошлом году картина «Островитянки» не произвела на меня никакого впечатления. Однако я вынужден признать, что «Ныряльщицы за жемчугом» значительно превосходят ее. На двух створках шестистворчатой ширмы были изображены на фоне дюн и моря ныряльщицы — одна выходит из воды, другая сидит, еще одна лежит на песке. Из серой земли кое-где пробивается желтая трава, на берегу — лодчонки цвета пересошей земли.

Раскинувшееся за дюнами ультрамариновое море я не принял, но изгиб тела от плеч к бедрам лежащей ныряльщицы, тяжесть, с которой опирается на руку сидящая спиной, пластика движений рук и ног ныряльщицы и ребенка, несущих морские водоросли, выписаны прекрасно. Намного лучше, чем в «Островитянках», выполнен и рисунок. Правда, море на правой из двух створок меня не восхитило, а левая действительно сделана прекрасно.

Я очень разочарован тем, что никто не хвалит эту картину. Все мои товарищи ругают ее. С преподавателями я еще не виделся, но, думаю, и они будут ругать. Насколько мне известно, лишь Мататаро Мацумото похвалил картину. Тайкан все так же хорош. (Правда, не столь популярен, как в прошлом году.) «Богатство красок» Хиронари особого интереса у меня не вызвало. «Начало картины» Сэйхо откровенно вульгарна «Весна. Лето. Осень. Зима» Сюнкё Ямамото банальна во всех своих четырех частях. «Весна на почтовом тракте» Сакуратами написана, видимо, еще в то время, когда он создал «Победителей и побежденных», но я остался совершенно равнодушен.

«Лунная ночь» и «Лесистый холм» Гёкудо — вещи вполне ординарные. В «Приливе» можно обнаружить определенное

усилие схватить нечто неповторимое, но и в этом году художник снова вернулся к серебристому туману и редкому лесочку. Какой-то непонятный отказ передать мысль.

Ничего не привлекло меня и в скульптуре. Кроме того, я вообще мало в ней еще понимаю. Мне кажется, большинство людей вообще не понимают ее как следует. Мне понравилась деревянная скульптура Нобуру Найто «Женщина в шахте» и «Юноша» Кою Фудзии, как мне показалось, они недурны, хотя их и ругают.

Среди живописи в западном стиле выделяется Хакутэй Исии. Сердце его холодно, точно отполированное зеркало. С поразительной точностью отражаются в нем тени деревьев, тени камней. Опытной рукой мастера он наносит их на холст или бумагу. Глядя на его произведения, я почему-то вспоминал рассказы Огая Мори-сэнсэя. Среди них особенно прекрасны, по-моему, темпера, названная «Причал». Прекрасно выполнены акварель «Склады» и написанная маслом «Семья господина N».

Кундзо Минами не выставил работ такого уровня, как «Обжиг черепицы», но и его «Ранняя весна» очень приятна. Земля уже дышит наступающей весной. Сиреневатое море, проглядывающее между дышащими весной холмами. Набухающие почки низкорослых деревьев, белые цветы персика. Весна уже *kiss mother Earth*¹. Только переходя от одного полотна господина Минами к другому, появившимся после «Обжига черепицы», я не мог избавиться от мысли, что творческая атмосфера, в которой создавались эти произведения, становится все эфемернее. Молюсь, чтобы он снова начал писать с присущей ему энергией.

Помимо перечисленных, стоит упомянуть еще «Явь» Такэзэи Фудзисимы и «Плывущий закат» Тоёсаку Сайто. «Явь» сделана поистине с огромной *touch*². Глядя на «Плывущий закат», я даже позавидовал его создателю.

Далее следует упомянуть Фусэцу, написавшего обнаженного старика, назвав картину «Синно», и Хироси Ёсиды, который в своей «*Play of colours*»³ пользуется привычным ему фиолетовым цветом. Я с интересом рассматривал эти работы.

¹ Целует мать-Землю (англ.).

² Зд.: трогательностью (англ.).

³ «Игра цвета» (англ.).

В общем, большинство художников не кажутся особенно значительными. Они пишут нечто частное. Они воспроизводят владеющую ими некую необычную идею, помещенную в некую идею временную. Для них изобретение цветной фотографии означало, несомненно, появление страшного конкурента.

Столетие Верди было отмечено концертами в консерватории и Императорском отеле. Я ходил на оба. В Императорском отеле я слушал исполнявшиеся на мандолине *Prelude*¹ к «Троваторе»² и «Miserere»³. Низкий, насыщенный звук гитары, на которой играл Сарколи, как бы прошивал серебристый голос мандолины. Я испытал истинное наслаждение. (...)

В тот же день Гэйдзюцудза организовала концерт в зале Юракудза. Скорее всего, это была попытка вдохнуть жизнь в так называемое новое искусство, но Дебюсси в исполнении Шёрца, да и другие музыканты не вызвали моего интереса. Забыл сказать, что в Императорском отеле исполнялся еще *quartetto*⁴ из «Rigoletto»: *soprano Mrs. Dobrovolsky, mezzo soprano Miss Nakajima, tenor Mr. Sarcoli, bariton Mr. Tham*⁵. Очень жалко выглядела Накадзима-сан, которой дали прозвище «Плачущий будда». Мне не нравилось быть свидетелем того, как трое европейцев истязают одну японку.

Свободный театр поставил на сцене Императорского театра «Ночлежку» Горького. Вчера ходил. Среди аналогичных вещей, поставленных в Японии, она, на мой взгляд, самая лучшая. Без всякой скидки можно высоко оценить игру актеров и декорации. Очень приятно, что мне не нужно заниматься критикой и я мог признать полный успех пьесы. Я очень рад за Осанаи-сана.

Ты видел «Саломею»?

Звонок. Нужно бежать на лекцию вечно спешащего куда-то Свифта. (...)

Акутагава-сэй

¹ Прелюдия (англ.).

² «Трубадур».

³ «Мизерере».

⁴ Квартет (итал.).

⁵ «Риголетто»: сопрано миссис Добровольская, меццо-сопрано мисс Накадзима, тенор мистер Сарколи, баритон мистер Там (итал., англ.).

19 ноября 1913 года.
Кё Цунэто

До дома Суги-сана мы добрались часов в пять вечера.

Из Камакуры отправились в Эносиму, из Эносимы — в Юигахаму. Дом сэнсэя — всего в квартале от станции электрички (Камакура — Фудзисава), но дорога показалась бесконечной, потому что нам с Фудзиокой пришлось по очереди тащить целый мешок крупных моллюсков, которых мы везли из Эносимы в подарок сэнсэю. Мы подошли к европейскому деревянному дому, выкрашенному в серовато-синий цвет. Уже светились окна. Вслед за нашим «разрешите войти» слышались быстрые шаги, и тяжелая застекленная дверь распахнулась. Из полумрака выглянул быстроглазый мальчик. «Сэнсэй дома?» — спросили мы. «Да», — ответил он и тут же скрылся в темноте.

Мы ждали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и тут из прихожей появился Суга-сан. «Заходите. О-о, заходите». Он провел нас в свой кабинет на втором этаже. У входа висела бамбуковая дощечка, на которой белыми иероглифами была написана рэнга. В кабинете все стены были увешаны какэмоно. Все они написаны китайскими каллиграфами, и сколько мы ни пытались, ничего прочесть не смогли. На столе красного сандалового дерева громоздились тетради и обернутые в плотную синюю бумагу китайские книги. На полке в противоположном от двери углу стояли медные безделушки и старинный фаянс. На всех этих предметах лежала патина времени.

Очень элегантно выглядели свисавшая с высокого потолка лампа, стоявшие по стенам плетеные стулья. И татами из белой джутовой соломы, обшитые аккуратным кантом, и стол из китайского сандалового дерева, и белый мех, постеленный вокруг стола, и жаровня из голубого фаянса, и сам Суга-сан в халате из грубого синего шелка на вате казались как бы погруженными в стихию китайской поэзии.

Легкие шторы на окнах были опущены, а днем, наверное, сквозь верхушки небольшой рощицы можно увидеть море. Рядом с окном у стены стояла черная изъеденная жучками доска. В верхней ее части поблескивало что-то, смутно напоминавшее иероглифы, будто это были следы, оставленные улиткой. Мы спросили, что это за доска, и сэнсэй ответил: «Тофу». Я пожалел, что сэнсэй поставил в зеленовато-синюю фарфоровую вазу темную хризантему и не зажег медную ароматическую курильницу. Три года назад у него умерла жена, он жи-

вет вместе с пятью детьми, в доме две служанки — так он и проводит свои дни.

Я еще раньше слышал, что критическое чутье, присутствующее в работах сэнсэя, не имеет себе равных. Но если посмотреть на то, что он пишет, есть, я думаю, немало людей, не уступающих ему в эрудиции. Сэнсэй, который сказал нам: «Во время последних летних каникул я собирался писать по десять тысяч иероглифов в день, но больше шести-семи тысяч не удавалось», считает немецкий язык безделицей, которой можно заниматься лишь от нечего делать.

Мы пили шоколад и слушали сэнсэя. Он рассказывал о том, как ходил к недавно умершему Готакэ. Раза три или четыре он не принимал сэнсэя — его якобы не было дома, но наконец Сугэ-сану удалось встретиться с ним. Готакэ, которому тогда было уже за семьдесят, приглаживая седые волосы, спросил:

— Зачем вы пришли ко мне?

— Пришел потому, что хотел услышать от вас о каллиграфии.

— Не знаю, что бы я мог рассказать о каллиграфии. Но есть множество людей, рассуждающих о ней, — спросите лучше их.

— Я не хочу их слушать, поэтому и пришел к вам.

Я передаю дословно слова сэнсэя. Готакэ утверждал, что не знает, что такое каллиграфия. Сэнсэй вернулся домой как побитая собака. Примерно через месяц Готакэ умер. Среди близких друзей сэнсэя есть поэт Тэцутаро Ои. Он не только поэт, но и прекрасный каллиграф. Он считал Готакэ своим учителем и до самой его смерти поддерживал с ним дружеские отношения, они многое обсуждали. Когда сэнсэй увиделся с ним и рассказал о своей встрече с Готакэ, тот сказал:

— Он очень сожалел о случившемся. После вашего прихода Готаку пригласил меня и сказал, что к нему с таким же вопросом приходил человек по имени Суга, вы, кажется, земляк, сказал он, и должны знать, что он за человек. Я ответил, что мне о посещении ничего не известно. Ведь я последние три года прожил в Китае. Потом рассказал ему, что ты за человек, и Готакэ, выразив глубокое сожаление, сказал, что немедленно отправится в Камакуру, чтобы встретиться с тобой. «Проводите меня к нему», — попросил он. Но вскоре заболел и умер. Так что Готакэ жаль не меньше, чем тебя.

Я с большим интересом слушал этот рассказ. Когда речь зашла о каллиграфии, сэнсэй сказал: «Это писал мой сэнсэй, посмотрите» — и показал стихотворение гогон, написанное на плотном листе бумаги. Иероглифы в стиле рикутё. Даже Фусэцу не сравнится с этим каллиграфом. Я рассматривал свиток с большим интересом. «Так смотреть не годится. Лучше вот как», — сэнсэй взял свиток и поднес его к лампе. Иероглифы посередине были черными, а по краям капельки туши серебрились, иероглифы казались выгравированными на бумаге. «Ну как? Уникальный стиль. Ни одному японскому каллиграфу такое не под силу». Я слушал сэнсэя с огромным интересом.

Сэнсэй развернул альбом китайской каллиграфии и указал на иероглиф «залах».

— Посмотрите на этот угол. Загнутый внутрь внешний крючок выполнен в стиле рикутё. Ни один японский каллиграф не сможет выполнить это с таким совершенством.

Растверев китайскую тушь в большой медной тушечнице, он погрузил в нее кисть с тонким концом и на лежащем рядом небольшом листе бумаги написал этот иероглиф. Ему удалось загнуть внутрь внешний крючок.

Сэнсэй показал нам много надписей на надгробьях, ксилографов с образцами каллиграфии, письмен, вееров.

— Вот это, — сказал он, — надписи на надгробьях ханьской династии. Я рад, что Фусэцу участвовал в их воспроизведении, но у меня — подлинник. (...)

Мы проговорили так долго, что опоздали на последний поезд.

— Переночуете у меня, — сказал сэнсэй.

Мы с удовольствием приняли его предложение. Он проводил нас в одну из комнат. Она поражала отделкой, изысканностью. В ней мы и переночевали. (...)

На следующий день мы вместе с сэнсэем вернулись в Токио, сразу же пошли в университет и занимались до пяти часов — представляешь, как мы устали. (...)

Арендовали землю в Оцуке. Зиму проживем у себя, а с февраля приступим к строительству дома. Он будет гораздо просторнее теперешнего, и, когда ты будешь приезжать, нам будет гораздо удобнее.

Исида-кун организовал в первом колледже Исторический кружок. Он дошел до того, что даже ездит туда читать лекции.

Театр под открытым небом, руководимый Ямамото, поставил в парке Сироумэ в Табате пьесу Кёка Идзуми «Рубин», но провалился. Даже Кумэ, присутствовавший там, сказал: «Смотреть ее было просто невыносимо».

Танигути-кун по-прежнему занимается изо всех сил. А вот Сано и Нэмото собираются уходить из университета. Нарусэ-кун роздал товарищам деньги, которые у него были, чтобы оплатить обучение, а сейчас пришел срок платить, и он совсем приуныл. Нэмото деньги, полученные из дому на европейский костюм, решил истратить по-своему, а когда костюм сшили, ничего не уплатил, придравшись к качеству. Сам же на эти деньги поехал в Мисаки.

Есть еще новости. Курода и Исихара тоже уходят из университета. Кумэ и Нарусэ занимаются довольно серьезно. Саэки-кун во время послеобеденного перерыва часто сидит под каштаном в университетском саду в позе монаха секты дзэн и дышит животом. (...)

5 декабря 1913 года, Синдзюку.
Кё Цунэто

Часть первая

Состоялся филармонический концерт. Лучше всего было исполнение Баха Кроном. Концерт проходил в Императорском театре. Перед сценой стояли огромные, высотой со сцену, кадки с пальмами. Сцена была прекрасно убрана — ее окружали щиты, на которых был лаконичный египетский рисунок, состоящий из тонких и толстых линий, правое и левое wing¹ были окрашены в темно-красный цвет. (...)

Хуже всех выглядела Канэко Накамура, исполнявшая Брамса и Томё. Не взволновал меня и Верди в исполнении Нобухира Хигути.

Театральная ассоциация поставила «Ученика дьявола» и «Побежденного». Я слышал, что в переводе пьесы Шоу масса ошибок. В общем, обе вещи сделаны неинтересно. Слаб и Ричард в исполнении Мори.

Слабо играет миссис Даджен Титосэ Хаяси. В майоре Суиндоне в исполнении Канаи слишком много от Симпа. Лучше всех был генерал Бэргоин, которого играл Сасаки. «Побеж-

¹ Крыло (*англ.*).

денный» — это нечто неопишное. Те, кто знает эту пьесу, были, несомненно, поражены: неужели можно так бездарно поставить ее?

Общество Фуюдзан открыло в крытых оцинкованных железом сараюшках, построенных на руинах за средней школой Дзюнтэн, выставку, названную Институтом свободы. Впервые в ней участвует со своими картинами Минами-сан. Все они не особенно интересные. Хороша лишь одна, где изображена устремленная в ярко-голубое небо красная труба. Больше всего привлекли внимание «Труппа Эгава» (два полотна, на одном из которых изображена лодка) Токусабуру Кобаяси и несколько работ Сэйтаро Китаямы. Повысил свое мастерство и господин Сохати. Ёри следует за Киётэру Куродой из Фуюдзана. Его работы, как и работы господина Рюсэя, сделаны очень хорошо.

В Императорском отеле был концерт Доры фон Мёллендорф, известной в мире немецкой скрипачки. Ей аккомпанировала Бецворд.

Это была самая прекрасная скрипичная музыка, какую я когда-либо слышал. У меня и сейчас стоит перед глазами фигура женщины в голубом платье, играющей на скрипке, движением головы отбрасывающей назад свои густые каштановые волосы. Звук инструмента поистине чудесен.

Прекрасно играла и Бецворд. На ней было черное бархатное платье с серебряным шитьем. Встретился с господином Масао Кубо.

Часть вторая

Исида-кун, как founder ¹ Исторического кружка первого колледжа, провел первое заседание. Присутствовали Сайто-сан и еще преподаватель университета Кэйю. Этим преподавателем был человек, читавший Виндельбанда, у него учился Исида-кун. Члены общества преуспели в немецкой и английской философии, гуманитарных науках. Кумэ заметил с досадой, что, если бы преподаватель не пришел, он бы сам прекрасно провел заседание.

¹ Основатель (англ.).

В первом колледже физический кабинет и кабинет врача теперь разделены коридором. Такой же широкий прекрасный коридор ведет и в столовую. Сэто-сан уже три дня обсуждает то, что, поскольку нынешним студентам недостает душевной активности, «Кокумин симбун» необходимы больший самоконтроль, большая «самоактивность» и самоуравновешенность.

Существует мнение, что в поэтическом сборнике Голсуорси «*Mods, Songs and Doggerels*»¹ буквально на каждой странице можно найти модные философские идеи Бергсона, и этим он примечателен. Мне кажется, три последние строфы «*My dream*»² в начале сборника действительно хороши.

В университете открыта выставка греческого и индийского искусства. Масса прекрасных вещей среди древнегреческой керамики и кукол, собранных Такакусу-саном и Куроита-саном. Из пяти заостренных палочек, которыми писали на раковинах и пальмовых листьях, две украсили, сказал ассистент с отделения индийской философии.

Торидэ ставит «Профессию миссис Уоррен» и «Море» Йитса. Думаю, ничего у него не получится. Самые дешевые билеты стоят пятнадцать сэн, поэтому Кумэ предложил нам пойти всем вместе.

Нэмото с сентября совсем не показывается. Говорит, будто Танимори-кун попал в исправительную колонию. На самом же деле он решил покутить и прожигает жизнь в Нихонкане.

Сано, Исихара и Курода тоже веселятся как могут. (...)

Сазки-кун и Сакасита-кун аккуратно посещают университет, не пропуская ни одного дня. У Сакасита-куна нос красный, наверное, потому, что он каждый день ест имбирь. Правда, это утверждает Нарусэ, а его словам особенно доверять нельзя.

Нарусэ жил на втором этаже некоего дома, принадлежащего Хонго Кикудзаке, прозвище которого Химэро, но с этого месяца переезжает к родным. В сентябре я одолжил часы Сано, а тот не возвращает, я очень огорчен.

То же случилось и с Кумэ. Он одолжил Сано денег, чтобы заплатить за учебу, а тот не возвращает. Кумэ тоже огорчен. Он сейчас пишет роман, в котором главная героиня акробатка.

¹ Настроения, песни, стихи (англ.).

² «Моей мечты» (англ.).

По настоятельной просьбе Сангу-сана снова ходил на заседание кружка Куроянаги-сана. Там читали Шоу. Кубо Кэн, Кубо Кан, Ямамия-сан единодушно заявили, что не любят Шоу. Думаю, потому, что он для них слишком сложен и они его просто не понимают. Куроянаги нарисовал даже схему. (Я ее опускаю.) (...)

Есть кое-что еще, но письмо и так уж слишком длинное, поэтому я заканчиваю.

Хотелось бы узнать твое мнение о художественной выставке. «Три облика улицы» хороши, правда? Да и остальные не столь плохи, как о них говорят.

Профессор Мацумото сказал, что работы Хиронари открывают новую эру в японской живописи. Не знаю.

10 декабря 1913 года. Синдзюку.
Митидзо Асано

Экзамены приближаются, и ты, конечно, очень занят. У меня тоже скоро Xmas examination¹, и дел невпроворот. Когда я учился в первом колледже, то, пока не сдал всех экзаменов, мне всегда бывало не по себе. К экзаменам после первого семестра я готовился изо всех сил, занимался, помнится, часов по двенадцать. Но зато получил по немецкому сто баллов — такого не бывало со мной ни до этого, ни после этого. Так что нужно заниматься как следует.

Из третьей средней школы пришел журнал. Я залпом прочел его от начала до конца. Все написанное ***-куном не привлекло моего внимания. Столь же мало интересными показались мне вещи ***-куна и ***-куна. Лишь «Красавицу Инокасиру» третьеклассника Ититаро Утино я прочел трижды. Если говорить о мастерстве, с которым написан его рассказ, то в этом он, пожалуй, уступает четверекласснику Кикоу Ямаде. Правда, рассказ Утино-куна несколько наивен, но остальные вообще писать не умеют. В противовес их глубоким рассуждениям на мелком месте, в противовес их блеклым, невыразительным краскам и инфантильным ощущениям меня даже радует наивность рассказа Утино-куна. (...)

¹ Зд.: рождественские экзамены (англ.).

12 января 1914 года. Синдзюку.
Яэдзабуро Оно

Четвертого уехал, шестого вернулся.

Целых три дня провалялся в загородном доме Ямамото в Кугэнуме.

Ямамото уже давно рассказывал мне о своем загородном доме. Каждое лето туда наезжают родственники — бывает человек двадцать. Однажды приезжали на недельку Намэ-тян и Хирацука. Его слов было достаточно, чтобы я понял, как там шумно и неинтересно, поэтому, какой бы классической стариной ни веяло от самого названия Кугэнума, какими бы красотами ни было богато это очаровательное морское побережье, мне, дикарю, думал я, будет не под силу провести в этом загородном доме целых полмесяца.

Однако наступили каникулы, и я стал без конца встречаться с множеством людей. Иногда в моей крохотной рабочей комнатке набивалось по три-четыре человека. Тогда-то я и решил сбежать из города. Во-первых, я уже давно не покидал Токио, во-вторых, не хотелось, чтобы посещения товарищей мешали работе, которую я должен был сделать во время каникул.

Вначале я подумал, не поехать ли мне в Мисаку, но начались ветреные дни, и пришлось отказаться от этой идеи. Меня укачивает даже в гамаке. Тогда я позвонил Ямамото и спросил, не свободен ли его загородный дом, он сказал, что свободен. Вот я туда и отправился. Ямамото, как хозяин, поехал вместе со мной. Поживу в Кугэнуме денька два-три, решил я, а потом попутешествую по полуострову Миура.

Сойдя с поезда в Фукудзаве, мы пересели в электричку и не успел я оглянуться, как прибыли в Кугэнуму. Я думал, что между Кугэнумой и Фукудзавой примерно такое же расстояние, как между Токио и Иокогамой, и поэтому, когда мы выходили из электрички, я забеспокоился и спросил Ямамото: «Ра-но мы сходим, может, ты ошибся?»

Мы вышли на платформу, представлявшую собой утрамбованный песок. Спустились вниз и оказались на дороге, тоже песчаной. По обеим сторонам тихой, вечерней дороги, пока хватало глаз, тянулись ряды сосен, освещенных сумеречным светом, — увидев это, я испытал чувство, будто попал на летний курорт, хотя была зима. Над соснами высились пологие горы. Над ними простиралось по-зимнему ясное опаловое небо. Идя по песчаной дороге, мы все время поднимали голову и смотрели на горы. Это были горы Хаконэ.

Загородный дом большой, укрытый в сосновом лесу. Может быть, потому, что в нем никто не жил, когда мы открыли дверь, нам он показался мрачным, будто в нем поселились привидения.

Однако, убрав комнату в двенадцать дзэ на втором этаже и сложив вещи в токонома, мы наконец почувствовали, что это действительно прекрасный загородный дом, где можно хорошо отдохнуть. Мы ввернули шестнадцативечовую лампочку, и в комнате стало даже слишком светло. Достав из дорожного мешка книгу, я стал читать.

Потекли тихие, безмятежные дни. Еду мы брали три раза в день в соседней гостинице, так что от готовки были освобождены. И фусума, на которых были изображены царь драконов и ненастье в сосновой роще, и большой лук, висевший в токонома, вселяли в меня душевный покой — может, настроение у меня было такое. Вечерами, стоя на песчаном холме, покрытом пожелтевшей сухой осокой, смотрели на далекие горы, утопающие в розоватом тумане. Я до поздней ночи читал и писал. А Ямамото, укладывавшийся спать часов в восемь, высовывал голову из-под одеяла и спрашивал: «Еще работаешь?» Это бывало обычно часа в два ночи. Зато по утрам я спал как сурок, не добудишься.

Но тут у меня возникла необходимость, помимо работы, прочесть кое-какие книги. Чтобы были деньги на их покупку, пришлось сократить время пребывания в Кугэнуме. Шестого, поднявшись с постели, я сказал Ямамото: «Сегодня еду в Токио». Он был очень удивлен: «А сюда вернешься?» Но, видя, как я укладываю в дорожный мешок книги и бумаги, махнул рукой и стал помогать мне.

Отдыхать с таким дикарем, как я, действительно участь незавидная. Он не сказал мне ни слова — у меня нет другого такого товарища, о котором можно было бы говорить с таким теплом.

Примерно в два часа я покинул Кугэнуму. Солнце палило нещадно, заливая сосны и песок. Осыпанные белым песком сосны, зелень которых безобразно посерела, тянулись до бесконечности. С каждым шагом в носки набивалось все больше песка. За забором одного из домов надоедливо лаяла черная собака. Вчера вечером все выглядело по-другому. Теперь меня все раздражало.

Электричку я ждал минут десять. Когда я прибыл в Фукудзаву, поезд только что ушел. Мое раздражение усилилось. В европейском ресторанчике у станции поел отвратительной

еды. Особенно плох был кофе — чуть подкрашенная обыкновенная вода. Счет оказался непомерно большим. В английском языке есть слово irritated¹. Именно им можно было определить мое состояние.

В Токио я приехал поздно вечером. Выпил на Гиндзе нечто напоминающее кофе.

С тех пор я безвылазно сижу дома. К телефону не подхожу. (...)

Все это время никому, конечно, не писал. Не писал даже сэнсё. Даже тебе не писал. Как ты понимаешь, я не собираюсь подслащивать пилюлю.

Получил твою открытку. Я надеялся, что ты вот-вот приедешь, и не спешил с ответом.

Ты не приехал, но зато приехал Нисикава. Мы развлекались с ним с девяти утра до девяти вечера. Он мне целую лекцию прочел по орфоэпии. Потом мы от души позлословили.

Тринадцатого решил не держать экзамены. Да если бы и захотел, не смог бы, так как не прочел ни листка notes². Все время потратил на чтение лирики Херрика. (...)

Занятия начнутся, по-моему, двенадцатого. Ты можешь подумать, что двенадцатое еще не наступило, на самом же деле пишу я тебе утром двенадцатого.

На этом заканчиваю, письмо и так слишком длинное. Этим письмом я добиваюсь твоего прощения за то, что в новом году не написал тебе ни слова. Хотя я и понимаю, что молчать целую неделю — значит не выполнить своего товарищеского долга, у меня, веришь, не было ни времени, ни сил взяться за перо.

Надеюсь, в самое ближайшее время либо я к тебе приду, либо ты придешь ко мне.

Твой школьный брат Рю

21 января 1914 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Мне кажется, добро и зло не взаимоисключающие, а, наоборот, взаимосвязанные явления. Это объясняется предрасположением и образованием. Это объясняется также слабыми

¹ Раздраженный (англ.).

² Записей (англ.).

умственными способностями, не позволяющими мыслить логически.

Вместе с тем два этих противоречащих друг другу явления для меня одинаково притягательны. Мне кажется, только любя добро, можно полюбить и зло. Когда я читал стихи Бодлера, больше всего мне понравилось в них не восхваление зла, а жажда добра. Мне кажется, добро и зло нужно рассматривать в единстве (может быть, я слишком скромничаю, говоря «мне кажется»).

Добро и зло — имена двух людей, родом из одних и тех же мест. И назвали их по-разному только потому, что не знают, что они земляки.

Слово *логос* обычно употребляют в весьма торжественных случаях. Но логос существует в недрах вселенной, логос существует в недрах человечества. Следуя великому логосу, движутся небесные тела, следуя малому логосу, движутся люди. Тот, кто не следует логосу, погибает. Действие, не следующее логосу, нужно назвать злом.

Логос — не чувство, не интеллект, не воля, а нечто представляющее собой высшую мудрость. Так называемое зло делает мелкими действия, следующие логосу. Становится чем-то расплывчатым, уходящим от практики. Становится некоей общей идеей. Иногда у меня возникает ощущение, будто кровь в моих жилах циркулирует в такт движению звезд. Подобное чувство должны испытывать люди, начавшие заниматься астрологией.

Не касаться этого нельзя. Буду я писать об этом или нет, но не касаться этого нельзя.

Только в связи с этим искусство впервые приобретает смысл. Я вспомнил твои слова: «Самое высшее искусство — это то, которое заставляет почувствовать Wissen¹» — и понял, как далеко ты ушел от меня вперед.

Требовать веры в бога не нужно. Именно отождествление веры с жалким образом бога вызывает споры о его существовании. Если я во что и верю, то в искусство. Экзальтация, испытываемая теми, кто верит в бога, думаю, нисколько не уступает экзальтации, даруемой любой другой верой.

Счастлив тот, кто подобно мастеру, воплощающему в жизнь свой новый замысел, посвятил себя искусству.

Кое-кто говорит о самоутверждении, причем самоутверждении без особых усилий. А я вижу себя стремящимся к само-

¹ Знание (нем.).

утверждению путем неустанного воплощения в жизнь все новых и новых замыслов.

Нет никакого удовольствия оглядываться на себя, мечтателя. Хочется даже зажмуриться. Но другого пути нет. Можно ли наливать в бочку сакэ, предварительно не проверив, порожняя она или нет? Но заниматься этим и неприятно, и грустно.

Когда смотришь на мир, утверждая себя, как нечто неприятное, не можешь не испытывать отвращение и подавленность, хоть и небольшую, но все же подавленность.

Мне грустно.

Сегодня мне кажется, что в годы нашей учебы в первом колледже ты тоже бывал грустен.

Я не хочу сказать, что ты был тогда таким же, как я сейчас. Просто я не понимал того, что ты говорил. Никогда не понимал.

Я стал одним из участников журнала «Синситё». И не потому, что жажду печататься именно сейчас, а потому, что мне будет это полезно для подготовки к тому, чтобы печататься в будущем. Я думаю, это верно, что человек и его самовыражение — нерасторжимое целое. Мне не хочется иметь скрипку с оборванными струнами. Я стремлюсь связать их.

Перевел новеллу Анатоля Франса. Я в отчаянии от того, что перевод мой очень слаб, от того, что я самый неумелый из всех участников журнала.

Мы, разумеется, единомышленники, но шагаем по-разному. Рано или поздно разойдемся, наверное.

Последние два-три месяца веду какую-то сумеречную жизнь. Живот все время болит. Уж не потому ли, что голова занята всякими мыслями. По той же причине не писал ничего, кроме новогодних поздравлений. Так что прошу простить меня за молчание. Наверное, ем слишком много нори. Но пусть лучше я умру от какой-нибудь желудочной болезни, чем перестану есть нори, честное слово.

Ты, наверное, занят, но все равно пиши мне иногда. Я тоже много занимаюсь, и сегодняшнее мое письмо — выдержки из дневника. Прости за ребячество. (...)

*6 марта 1914 года. Дзуси.
Дзороку Фудзиока*

Полуостров Миура превзошел все мои ожидания. Зеленеющие поля овощей и хлеба Видна Фудзи. До Мисаки я добрался

поздно вечером. Фонари в Сирогасиме горели тусклым зеленоватым светом. Стлался легкий туман. Привет Икаве-куну.

Акутагава-сэй

10 марта 1914 года. Синдзюку.
Кё Цунэто

Мэтр, благодарю, что по первой же моей просьбе прислал Йитса. Мы все благодарны тебе за киотоские сладости.

Я собирался фазу же написать, но тут неожиданно умер приказчик, и я совсем закрутился. Ты должен был его знать — это тот самый старик, который работал в нашей лавке (в Синдзюку). Помнишь, Нарусэ позвонил как-то, а тот отвечает ему: корова умерла.

У него случилась закупорка аорты — после приступа он прожил всего минут пятнадцать. Мне невыразимо жаль его еще потому, что все произошло при мне: он рассказывал служанке о только что открывшейся выставке годов Тайсё. Я почувствовал себя ужасно, когда увидел, как он бледнеет от ушей ко лбу, ото лба к глазам (подобно тому, как пелена снега заволакивает только что залитые солнцем поля и горы). Лицо его покрылось потом, будто его облили водой. Он что-то прошептал хриплым голосом. В углах рта появилась кровь.

Сегодня шестичасовым поездом мы отправили тело покойного на родину. Второго и третьего мы не спали ни минуты, глаза у всех у нас опухли от бессонницы и слез. Маленькая лавка, на стене которой висит конторская книга и стоит исцарапанная конторка, стала вдруг пустой и огромной.

Эта неожиданная смерть заставила меня подумать о том, что вся мораль, все законы вращаются вокруг центра, которым является смерть. Родственники, приехавшие, чтобы увезти останки, рассказали, что в их доме незаведенные часы неожиданно стали бить как раз в ту минуту, когда он умер. А перед самым рассветом перед их домом упала на землю мертвая птичка. Мать, тетка и служанка с ужасом слушали эти рассказы.

Примерно с неделю назад я ездил в психиатрическую лечебницу. Большая лет тридцати побежала за мной, приговаривая: «Это мой сыночек, это мой сыночек». Наверное, она сошла с ума, потеряв ребенка. Мне стало не по себе. Среди больных одна была буквально помешана на синтоизме. Ее пригласил к себе врач и спросил: «Как ваше имя?» В ответ она

выпалила одним духом: «Амэ-но ками, Ти-но ками, Наракү-но ками, Амагэрасу омиками...» — «Все это ваши имена?» — «Да», — кивнула она. Так странно было наблюдать эту сцену, так жалко мне ее стало.

Ходил на медицинский факультет посмотреть, как анатомируют. От ужасного запаха, исходившего от двадцати трупов, меня чуть не стошнило. Но зато я впервые узнал, что кожа человека на спине раз в пять толще остальной. (...)

Рю

Март 1914 года. Синдзюку.
Кё Цунэто

Послал тебе второй номер «Синситё».

Цутяга подписался именем Идэ, Нарусэ — Мацуи. Статьи, набранные петитом, принадлежат Кумэ, по-моему, все это беллиберда, недостойная внимания. Для третьего номера Юдзо Ямамото написал длинную «Drama»¹ — жаль, что Кумэ поддал ему дурной пример.

В последнее время меня ничто не радует. Участники «Син--тё» различаются между собой не как вода и жир, а как керосин и растительное масло. К тому же каждый считает себя самым ценным для журнала (Видимо, человек, легко поддающийся Einfluss², может без всякого на то основания думать таким образом.) Я читаю в одиночестве, гуляю в одиночестве — это немного тоскливо.

Опять стал болеть желудок. Подумываю об отдыхе. Нарусэ и Сато-кун предлагают воспользоваться помощью первого колледжа и, получив скидку на железнодорожный билет, отправиться в Киото.

Исида-кун занимается изо всех сил. Считают, что в будущем году он станет стипендиатом. Он еще больше побледнел и осунулся.

Сато-кун читает Флобера и Достоевского. Почти каждый день он уходит из университета вместе с Танимори-куном. Занимается по-прежнему очень серьезно. Отец Танимори-куна — один из членов верхней палаты парламента, выступающих за пересмотр военно-морского бюджета. До ухудшения обстановки в кабинете министров он расхваливал Гомбэя, а

¹ Дрaму (англ.).

² Влиянию (нем.).

когда положение резко изменилось, неожиданно стал нападать на группу Сацу — так что он выглядит немножко беспринципным соглашателем.

Иногда разговариваю с Сангу-саном. Он изучает ирландскую литературу. Он почему-то решил, что я исследую творчество Синга (Осанай-сан считает, что заниматься Сингом — это настоящее дело), и задает мне множество вопросов, а я не знаю, что отвечать. Что касается выпуска журнала, посвященного ирландской литературе, то сделать это трудно, поскольку умер человек, писавший о Грегори. Писателей там очень много, никак в них не разберешься.

Кружок Куроянаги по-прежнему работает. Сейчас они занимаются, кажется, Д'Аннунцио.

Раньше стеснялся и не выступал, а недавно всех заговорил. Судзуки-кун и Исида-кун долго рассказывали что-то очень скучное. Куроянаги-сан в тот раз угощал всех кофе и сладостями. Вместе с Минами-саном, Хяями-саном и Миурой-саном они организовали новый кружок, который назвали, кажется, «Канте» («Приливы и отливы») и раз в месяц читают лекции учащимся первого колледжа.

Вода в колодце нашего дома в Сибире какая-то ржавая и липкая. Нам сказали, что этот колодец был таким еще с давних времен. Мы попросили санитарную инспекцию сделать анализ в своей лаборатории, и наконец его провели. Он показал, что в воде содержится родон, примерно такой же силы, как в родоновом источнике в Адзабу. Все наши, живущие в Сибире, каждый день греют эту воду и принимают ванны. Если бы удалось продать колодец, я бы смог поехать за границу.

Со второго этажа нашего дома уже можно увидеть зеленую травку, пробивающуюся сквозь прошлогоднюю, сухую. На ветвях дзелькв набухли почки. Дыхание весны чувствуется во всем. Если бы это оказалось для меня возможным, я бы попытался оформить нечто напоминающее «дымок», окутывающий мое сердце, подобно тому как в увлажненной дождем почве появляются зеленые ростки. С невероятным интересом читаю в последнее время аллегории Заратустры.

Иногда мне кажется, что все мои мысли, все чувства давным-давно названы другим человеком. Даже не названы — я как бы воспринимаю мысли и чувства другого человека как свои собственные. А мысли и чувства, которые я в полном смысле слова мог бы назвать своими, — беспомощны. Такая беспомощность неведома человеку самобытному.

Иногда у меня возникает ощущение, что я вообще ничего не смог сделать из задуманного. Некая «случайность» с огромной силой влекла меня куда-то в сторону от задуманного. Я сомневаюсь, что обладаю достаточно сильной волей. Разумеется, воля приводит в движение руки и ноги, но поскольку высшая воля воздействует на мою собственную, моя воля оказывается настолько ничтожной, что даже не может быть названа таковой. Мне кажется, к тому же, что воля, превосходящая мою собственную, — это нечто большее, чем воля государства или воля общества. Дело в том, что если считать волю государства или волю общества окончательной, то невозможно выявить причину тех ограничений, которые накладываются и на эту волю (невозможно выявить причины, определяющие такие ограничения). Временами у меня возникает непреодолимое желание опереться на абсолютную «чужую силу».

Недавно у меня возникла необходимость снова обратиться к пьесам Метерлинка. Они прозрачны, точно воздух. Это пьесы, в которых уделено огромное внимание тому, чтобы целостность их не была разрушена. Это пьесы, написанные тонким драматургом, отдающим дань красоте. Отсюда и удивительный effect.

Кончаю, нужно готовиться к экзамену по немецкому языку. Он послезавтра.

Рю

*21 марта 1914 года. Синдзюку.
Кё Цунэто*

Не понимаю, почему твоё и моё письма так разминулись. Сегодня, после того как я вернулся домой, пришло твоё письмо. Я же тебе отправил своё вчера, значит, прочесть ты его должен был только сейчас.

Твоё письмо меня очень обрадовало. Ты писал мне в прошлый раз, что все наши едут в Киото, и я подумал, что хорошо их знаю и мог бы поехать вместе с ними. Начав читать твоё письмо, я тут же решил написать тебе, что еду. Но, дочитав до конца, выяснил, что вроде бы ты сам собираешься в Токио. Встреча с тобой в Токио кажется мне слишком обыденной, слишком *prosaic*¹. Я предлагаю следующее: если тебе это удобно, сойди, например, в Тодзаве, я тоже сойду там, и мы

¹ Прозаичной (*англ.*).

вместе отправимся в Камакуру к Суге-сэнсэю. Ну, как тебе мой план?

Занятия у нас продлятся до двадцать пятого — двадцать шестого, но я мог бы встретиться с тобой и раньше. Мне хочется как можно скорее увидеть тебя. Когда люди долго не встречаются, между ними возникает непреодолимая преграда. Другие — ладно. Но если бы она возникла между нами, мне бы это было очень неприятно.

Сангу-сан организовал кружок по исправлению произношения. Я предложил внести изменения в его деятельность, но было уже поздно. (...) В его статье, написанной с присущей ему самоуверенностью, есть ошибки даже в катакане.

Жизнь моя идет по-прежнему однообразно и скучно. Она настолько тягуча, что я даже не знаю, идет ли она вообще или нет, я почти не вылезая из своей раковины. А если вылезу, то, прибегая к quotation¹ из начала «Записных книжек», превращусь в жалкое существо.

Писать для «Синситё» для меня огромное удовольствие (не создавать произведение, а публиковать его). В то же время я не особенно serious² отношусь к тому, что стал одним из организаторов журнала. Но все же сейчас, хотя первый номер и открывается заявлением, в котором сказано, что единственным объединяющим нас, единомышленников, является «удобство» быть под одной обложкой с людьми, стоящими на самых разных позициях, мое участие в журнале приводит не только к ошибочному толкованию творческих позиций, но может оказаться для меня вообще весьма неудобным. И неудобства эти не ограничатся моими собственными, они будут возникать в самых разных обстоятельствах, когда мне придется защищать свою точку зрения. Но мне кажется, это препятствие я все же смогу преодолеть. Помимо этого, здесь, разумеется, сыграло определенную роль vanity³, однако самым сильным импульсом было опасение, что моя спокойная жизнь станет слишком спокойной и окаменеет.

Я старался писать, чтобы мои слова не выглядели извинением, но получилось, по-моему, все-таки извинение. Могу только сказать, что я не собирался прибегать к благовидной лжи. Хочу добавить еще две вещи. Во-первых, я, к счастью, сейчас ничем не увлечен, и, во-вторых, поскольку у меня те-

¹ Цитате (англ.).

² Серьезно (искаж. англ.).

³ Тщеславие (англ.).

перь стало гораздо больше возможностей для общения с товарищами по журналу, мой взгляд на них (включая и меня) стал абсолютно правильным, и, в результате, как это ни печально, я отношусь к ним с гораздо меньшим уважением и сочувствием.

В последнее время продолжается мое *disillusion*¹, это беспокоит меня. По случаю годовщины я пару раз встречался с У-куном, он стал очень противным. Да и других много, с кем лучше не разговаривать. Их стала масса, а раньше они мне совсем не казались такими. С Сансиро никто не разговаривает.

На моем курсе учится старший брат скандалиста Мидзуно с факультета кэндо. Все три года у него самые лучшие успехи из всего английского отделения. Он христианин и живет в доме европейца. Окончил английское отделение колледжа в Аояме. Он прирожденный лингвист — самый способный на нашем английском отделении. И парень хороший. Я всегда раскланиваюсь только с ним.

Как-то незаметно для себя я стал к себе слишком уж снисходителен. Завидую, что тебе удалось избежать этого.

Обязательно ответь мне до того, как поедешь в Токио. Я должен знать, сможешь поехать со мной в Камакуру или нет. До свидания.

Рю

21 апреля 1914 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Вчера смотрел «Нору» и «Ханнеле».

Понравилась лишь Кудзюку в роли Норы. Остальные никому не годятся. Что касается «Ханнеле», то сценическая трактовка режиссером пьесы поверхностна, а уж декорации и постановка просто примитивны. Начать с того, что выброшена линия *love* Ханнеле и Готвальда — это просто надругательство над Гауптманом. Наконец, когда в сцене в раю, напоминающем скорее балаган, выходят, тряся крыльями (из кисеи), семь-восемь ангелов с вонючими курильницами в руках, меня чуть не стошнило.

Прочел «Сад добра» Микихико Нагаты. Рассказы слабые. (...)

¹ Крушение иллюзий (*англ.*).

² Любви (*англ.*).

Почки на платанах набухли. В газетах пишут, что с сегодняшнего дня погода ухудшится. Снова, наверное, начнутся дожди.

S. действительно ушел из университета. Кто-то его поймал, когда он уносил из кабинета литературного отделения какую-то книгу или что-то еще, избил, и теперь его исключили из университета. Может быть, книги таскал даже сам Уэда-сан, когда ему нужно было в студенческие годы делать всякие выписки, готовясь к выпускным экзаменам. За S. приехал отец, но по дороге S. сбежал от него. Правда, вскоре его схватили в Асакусе и отправили к деду в северо-восточную глухомань. Жаль его, но ничего не поделаешь. Слишком часто он поступал безрассудно. (...)

19 мая 1914 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

Иногда в моем сердце рождается любовь. Безрадостная, подобная сну, любовь. Мне кажется, где-то должен существовать человек, о котором я мечтаю. Но пока что мне такая любовь не опасна. Нужно уповать на реальность. Во-первых, женщины слишком самовлюбленны, и, во-вторых, люди обожают аналогии.

В общем, у меня нет другого выхода, как пребывать в одиночестве, но временами меня охватывает невыразимая тоска.

А иногда нападает беспредельная радость. Это когда мне кажется, что в такт биению моего сердца дует ветер и плывут облака. (Ты, наверное, посмеешься надо мной.) Все это, конечно, химера, но в такие минуты мне даже становится немного страшно.

Напишу тебе еще об одной химере — мне кажется, будто нечто следит за мной. Кажется, будто нечто руководит мной. В детстве это нечто любило меня больше, а в последнее время, как мне представляется, немножко поругивает. Проще говоря, мне кажется, что во мне таится большая possibility¹ стать счастливым. Странно, но у меня такое чувство, что я обрету счастье благодаря работе. Ты, наверное, посмеешься надо мной, мол, счастливый мечтатель.

Не прощай глупости. Самая что ни на есть малодушная самозащита — прощать глупость других, чтобы простить свою

¹ Возможность (*англ.*).

собственную. Будем презирать глупость. (Однажды, когда было хорошее настроение.)

Говорят, один ученый из Оксфорда произнес знаменитую фразу: «Те, кому неинтересно читать Лэма, просто не способны понять прелести английского текста. «Essays of Elia»¹ — пробный камень литературной интуиции». Я сообщаю тебе одну из причин, почему Уэда-сан рекомендует читать Лэма.

Прихожу в уныние, стоит вспомнить, что экзамены приближаются. Экзаменатор похож на карантинного врача. Он занимается тем, что внимательно исследует рвоту и кал. И поскольку врач, который должен определить наличие питательных веществ, на экзамене не присутствует, экзамен испокон веков — самое глупое, что есть на свете. Глядя на груды исписанной бумаги, громоздящиеся на моем столе, я прихожу в полное уныние. (...).

15 июня 1914 года. Синдзюку.
Кё Цунэто

Я тоже очень занят — начались экзамены. По психологии, например, я многого еще не прочел, просто не знаю, что делать. Вопросов всего шестьдесят, но я даже их не знаю. Страдать и запоминать — явления разного порядка, между ними нет неперенной связи. Ошибочно заключив, что такая неперенная связь существует, и поставив все с ног на голову, решить, что страдания заставляют запоминать, — такова система экзаменов. В этом смысле люди, составляющие экзаменационные вопросы, представляются мне судьями Inquisition². Временами процедура экзаменов весьма унижительна. Как оказалось, главный их фактор — низменная жажда мщения. Я тоже много настрадался из-за экзаменов, но в молодые годы это переносимо. Если же отказаться от такой софистики — экзамены малоприятное дело, тут уж никуда не денешься. (...)

Когда возникает необходимость, люди часто ломают размеренное течение жизни и действуют без оглядки. Но я в последнее время и духовно, и физически лишился былой энергии.

Ходил как-то к Приферу, он сказал, что нужно заняться итальянским. Читал по-испански стихи. Испанский, по-моему, самый легкий из южных языков. Я тогда подумал было, что и

¹ «Очерки Элии» (англ.).

² Инквизиции (англ.).

вправду стоит взяться за итальянский и испанский, но теперь не хочется. Хотя уметь читать по-итальянски совсем неплохо.

Один экземпляр «Синситё» отправил тебе. Я решил, что экзамены у тебя кончатся раньше, чем у нас, и ты еще до двадцатого приедешь в свой городок у озера Синдзи. По существующему правилу участник журнала может получить не больше одного экземпляра

Следующего номера у меня еще нет, поэтому послать вместе с письмом не могу. Послезавтра пойду в университет на экзамен, тогда и отправлю. Ты получишь его через пару дней после письма.

Послезавтра сдаю Котту историю греческой и римской литературы. Это ужасно. Теокрит, Аполлон, Сайропид, Синсас, Апулей — забыл, то ли это имена людей, то ли названия книг, то ли географические названия.

Рю

28 июля 1914 года, Итиномия.

Митидзо Асано

Ты, наверное, знаешь, что на курс старше меня учился студент по имени Рики Хориути. (...) Итиномия — его родина. И поскольку это родина Хориути, море здесь такое же, как и он, дикое, нецивилизованное. Морское купание тут только называется таковым — стоит войти в воду, волны сбивают с ног. На доске объявлений муниципалитета, установленной на пляже, не сказано: «Купание разрешено», но зато есть такое предупреждение: «Стойте спиной к волнам». Правильное предупреждение, а то наглотаешься воды. В первый день я здорово нахлебался противно соленой воды. В этом нецивилизованном море Хориути являет собой удивительное зрелище. Объявив голову скрученным полотенцем, он читает вслух китайские стихи. А потом торжественно заявляет: «Прекраснее этого моря нет ничего на свете».

30 августа 1914 года. Синдзюку.

Кё Цунэто

В Итиномии я провел около месяца. Каждый день, точно по обязанности, купался, спал после обеда. У меня не было поэтому буквально ни минуты свободного времени. Я все вре-

мя находился в движении и возвращался домой такой усталый, что было даже трудно прочесть газету.

Рёхай Дзёка скоро едет в Киото. Может быть, он обратится к тебе за помощью — очень прошу поспособствовать ему. В будущем году на весенние каникулы я тоже собираюсь в Киото полюбоваться цветущей сакурой. Так что прошу тебя поспособствовать и мне.

Дом в Табате уже готов настолько, что в начале октября можно будет переезжать. Расположение комнат на втором этаже примерно такое, каким мы с тобой его себе представляли. Все сделано точно по плану.

Хорошо, если на зимние каникулы ты приедешь в Токио, и мы с тобой у теплой жаровни встретим Новый год. Дом у нас будет просторней теперешнего, и ты не будешь ни в чем испытывать неудобств. На втором этаже две комнаты, и у нас с тобой будет по одной.

«Асахи» писала о жене Шредера. О том, какой она молодец, сколько сил отдает воспитанию японских детей. (...)

*14 ноября 1914 года. Табата.
Дзэнъитиро Хара*

Хара-кун, очень давно не писал тебе.

Из-за массы неприятных дел и занятости я без конца откладывал ответы на открытки, которые время от времени получал от тебя. Хочу надеяться, что ты по-прежнему здоров, но, может быть, у тебя иногда случается ностальгия? В конце октября я переехал в Табату. Это тихое место, всего в семи кварталах от Оно. Вскоре и сэнсэй переедет в дом, который находится посередине между нашим и домом Оно.

По-прежнему посещаю университет, но о том, как надоели мне бездарные лекции, — молчу. В последнее время на лекции по литературе совсем не хожу, но зато не пропускаю ни одной по греческой философии, которые читает Хатано-сан. Оцука-сан и Хатано-сан — преподаватели, которых я уважаю больше, чем всех остальных.

Говорят, в «Сиракабе» будет выставка Блейка. В Японии Блейк очень популярен. В первую очередь как лирический поэт, а Блейк-мистик никому не известен. Поскольку книг его не достать. Один из моих товарищей собирался взять темой сочинения на выпускных экзаменах Блейка и хотел приобрести

«Complete Works»¹ Блейка. Но к тому времени оно уже разошлось, а цена выросла до 85 иен за один том, так что он в конце концов вынужден был отказаться от этой мысли.

После того как началась война, немецкие книги не приходят, и это создает немалые трудности. Сейчас в университете читают лекции о Канте, а книг нет, и я чувствую себя не совсем уверенно. Книги заставляют ощущать, что идет война, а все остальное даже и мысли об этом не вызывает. К тому же я, в общем, сочувствую Германии. Этим летом, когда я жил в Итинумии, распространился слух, что начнется война с Америкой, а сейчас все успокоилось.

Вот о чем я серьезно думаю, читая статьи о войне, так это о слабости Англии. Если даже она и победит в этой войне, Россия все равно не будет считаться с ней в балканском вопросе. Мне ее даже немного жаль. Правда, существует наследница английской культуры — Америка, и поэтому, если Англия погибнет, ничего страшного не произойдет, но все же... Из-за войны Окен, который должен был приехать в Японию, теперь не приедет. Он уже очень стар, и, если в самое ближайшее время ему не удастся приехать в Японию, я боюсь, что он умрет, так и не побывав здесь. В общем, война — штука нехорошая.

Американский сезон будет, видимо, интересным. Мне бы хотелось поехать в Америку в качестве ассистента профессора японской литературы в каком-нибудь американском университете. Но я не настолько глуп, чтобы надеяться на это.

Среди американских поэтов в Японии пользуется сейчас большой известностью Уитмен. Выходит много стихов в прозе в стиле Уитмена. И тем не менее японские поэты толком не могут прочесть даже «Leaves of Grass»², потому что не знают английского языка. Приближается зима. А зимой японцы становятся какими-то неопрятными. Думаю, я тоже становлюсь таким же. Что-то я приуныл. Зима как будто предназначена для людей Запада. Желтый подбородок не подходит для того, чтобы прятать его в воротник мехового пальто.

С интересом прочел книгу, озаглавленную «Роог»³ (она, правда, была для меня очень трудна). Но согласиться с кубизмом и футуризмом, как это делает автор, я не могу. Как теории я в состоянии принять их, но произведения искусства кубистов

¹ Полное собрание сочинений (англ.).

² «Листья травы» (англ.).

³ «Убогий» (англ.).

и футуристов — не принимаю (у Пикассо и других художников много совершенно непонятных картин). Из художников я люблю Матисса. Судя по тем нескольким картинам, которые я видел, это, на мой взгляд, поистине великий художник. Мне нужно именно такое искусство. Искусство, полное жизненных сил, как сочная трава, поднимающаяся в лучах яркого солнца к бескрайнему небу. В этом смысле я не могу согласиться с «искусством для искусства». Теперь уж прощайте навсегда сентиментальные опусы и стихи, которые я писал до сих пор. По той же причине я не согласен с произведениями большинства писателей. Не смейся надо мной, я действительно так думаю.

Недавно с большим интересом прочел «Жан-Кристофа» Ромена Роллана.

Вчера вернулся с морского побережья Дзуси. Посмотри, какие стихи я там насочинял. То, что я хочу сказать и как я это говорю — не слились в нечто цельное, поэтому стихи никуда не годны, но ты не должен смеяться надо мной.

Кукушка мягко расцветенная
Золотыми бликами солнца
Похожа на рачка в мелководье

Сквозь ресницы полуприкрытых глаз
Сверкает море
Виднеются уходящие в небо пальмы

Сверкает море
А под веером пальм
Все золотится куда хватает глаз

Рю

30 ноября 1914 года. Табата.
Кё Цунэто

Мы переехали только месяц назад, и все это время я был очень занят то одним, то другим. Недавно наконец стены высохли, садовник привел в порядок участок, и я почувствовал, что дом становится родным, но все-таки еще не до конца.

До университета мне теперь ближе. К тому же место здесь очень тихое. Правда, немного высокогато и поэтому ветрено.

Зато, когда вечером поднимаешься на второй этаж, видишь, как в тумане мерцают огни Комагомэ.

Участок треугольный, и поэтому вокруг дома есть свободные места. Мы планируем засадить их овощами. Не знаю, правда, удастся это сделать или нет. Дело в том, что в саду растет много дубов, несколько кленов и гинкго.

Малоприятно лишь то, что дорога на станцию крутая. Она такая же длинная, как спуск на улице Янаги, и вполовину уже ее, поэтому, когда идет дождь, спускаться по ней в высоких гэта — сплошная мука. Потому-то в дождь и не хочется идти в университет. А пропустишь — останешься без записи лекций. Так что не знаю, что и делать. Недалеко от нас деревня художников, принадлежащих к обществу «Гополь». Поэтому стоит выйти из дому, как обязательно повстречаешь кого-нибудь в черной фетровой шляпе. Повстречавшись, каждый раз думаешь: вот шествует искусство, одетое в кимоно из синей хлопчатобумажной ткани в горошек. До университета пешком минут сорок. Но я еще ни разу не проделал этот путь, поэтому сказать точно, сколько на самом деле занимает дорога, не могу. Добираюсь до университета я так: на электричке линии Яма-но тэ до Уэно, оттуда — иду по мосту Гондзуки, потом вдоль Ивасаки поднимаюсь на холм Хонго. Вокруг пруда Синобадзу стоят полуразрушенные здания выставки, они грязные и заброшенные. В пруду от ветра стонут лотосы — это очень неприятно. Может быть, поэтому мне захотелось поплавать на яхте.

Начался сезон. Много концертов, художественных выставок. На состоявшемся на днях концерте современной музыки слушал футуристов. Такую музыку я тоже могу писать. На выставке картин интересны полотна, представленные Академией изящных искусств и группой «Никакай». Картины, выставленные «Бунтэн», не интересны. Меня восхитила «Камелия» Рюдзабуро Умэхары, выставленная «Никакай». Думаю, было бы хорошо организовать персональную выставку этого художника. Среди картин, представленных Академией, хороша «Молитва о родах» Юкихико Ясуды. Интересен и свиток «Жаркие страны» Сако Имамуры... Меня удивило, что Мицуя Кокусиро стал постимпрессионистом. Но не только его картины — все картины в европейском стиле, выставленные «Бунтэн», несут на себе следы влияния постимпрессионистов.

Я уже писал, что некоторый интерес представляла и отборочная выставка. Стал гораздо интереснее Сохати Кимура. Интересно также и то, что Рюсэй Кисида пытался заимство-

вать цвет и линию у Боттичелли и Сегантини. Но есть и другой художник — он в такой же манере написал дурацкую картину, копирующую «Мону Лизу».

В следующее воскресенье состоится концерт в филармонии. Из-за того, что идет война, там обязательно будут исполнять что-нибудь наподобие песни о падении Циндао, и это ужасно противно. Кстати, в день падения Циндао мы пошли на вечер английского языка, в университет Кэйо. Юнкер пришел вместе с женой в круглой, как дзабутон, шляпке. Было немного жалко смотреть, с каким лицом слушал он доклад, в котором говорилось, например: «Наконец мы дали достойный отпор проискам германского империализма», «германский милитаризм разбит».

Мне кажется, в последнее время я стал все больше отдаляться от людей. Почти ни с кем не хочется встречаться. Временами мне бывает очень скучно, но ничего не поделаешь. Более того, мой интерес стали привлекать люди, стоящие на противоположных позициях, чем я. Меня заинтересовали, например, писатели, обладающие силой, пусть даже грубой. Сам не могу понять почему. Но, только читая их, я освобождаюсь от грусти. Я стал большим пуританином, чем во время учебы в колледже.

Я пишу тебе об этом потому, что в прошлом твоём письме говорилось о живописи. Так вот, и на картины мой вкус изменился тоже. Может быть, тебе это покажется странным, но, по правде говоря, в последнее время я, кажется, по-настоящему понял картины Ван Гога. И это представляется мне настоящим пониманием всей живописи. Осмелюсь даже сказать, что, может быть, это настоящее понимание всего искусства.

Я пишу об этом слишком коротко, и ты, конечно, не поймешь, что я имею в виду, но слова, как мне кажется, лишь затемняют смысл, и поэтому я ограничиваюсь сказанным, надеясь, что ты со мной согласишься.

Так или иначе, мой внутренний мир несколько изменился. И поэтому я чувствую себя скованным. Искусство, исповедующее принципы, отличные от моих собственных, представляется мне еретическим. Те, кто создает подобного рода произведения, кажутся мне круглыми дураками. Многих деятелей искусств я считаю искусными ремесленниками — не более того. Ты можешь подумать, что я, как мальчишка, задираю нос, но я действительно так думаю, поэтому не нужно насмехаться надо мной. К тому же я не стараюсь представить себя гением — можешь за меня не беспокоиться. Чувствуя себя скован-

ным, я все время внутренне напряжен. А будучи напряжен, в любую минуту готов затеять ссору — это никуда не годится. Своим поведением оскорблять чувства людей — отвратительно, но в последнее время я непроизвольно поступаю именно так, что меня очень огорчает.

Хотел бы съездить к тебе в Киото, пока ты там. Если мы встретимся в минуту, когда у меня будет желание задира́ть нос, ты, возможно, возмутишься. Правда, сколько бы я ни задира́л нос, не нужно думать, что у меня все в порядке. Люди слишком слабы и легкомысленны — это очень огорчительно. Но еще огорчительнее то, что я вхожу в число этих людей и даже могу легко стать еще хуже, чем они. Но все же надеюсь, что ты не будешь так уж сильно возмущаться, и поэтому все-таки хочу поехать к тебе. В сущности, плохо, что ты уехал в Киото. Я очень хочу встретиться с тобой и буду очень огорчен, если мне это не удастся. В письмах всего не расскажешь (хотя я и попытаюсь поведать тебе всю правду, какой бы горькой она ни была для меня, но тебе мои рассуждения могут показаться ложью), а до тебя так далеко, это ужасно. (...).

«Синситё» все-таки закрылся. А вот когда он издавался, мы могли быстро печатать в нем свои произведения.

Мне недавно захотелось заново перечитать все прочитанное до сих пор. У меня чувство, что раньше я читал, ничего не понимая.

Мир полон отвратительных людей. Все они стремятся утвердить себя — это омерзительно. Когда человек выражает себя, вопрос самооценки, видимо, не ставится. Ван Гог говорил: «Я хочу показать людям то, что во мне есть», но не говорил: «показать то безобразное, что во мне есть». (...)

28 февраля 1915 года. Табата.
Кё Цунэто

Я давно знал одну женщину. Неожиданно мне стало известно, что она помолвлена. И тогда я впервые почувствовал, что люблю ее. Но я совсем не знал, что представляет собой человек, с кем она помолвлена. Не знал также, хотя у меня и были некоторые предположения относительно чувств, которые она питает ко мне. Теперь я обо всем этом кое-что узнал.

Кроме того, я узнал, что переговоры о помолвке носят еще самый предварительный характер.

Я решил сделать ей предложение. И чтобы узнать о ее намерениях, договорился встретиться с ней. Однако письмо, которое она отправила мне, из-за плохой работы почты бросили в ящик у ворот, и я опоздал и не смог встретиться с ней. Но одно то, что она отправила мне письмо, укрепило мою решимость.

Я рассказал обо всем своим домашним, но встретил решительный протест. Тетя проплакала всю ночь. Я тоже всю ночь плакал. Наутро я хмуро заявил, что отказываюсь от женитьбы. Потянулись грустные, горькие дни. Я написал этой женщине письмо. Ответа не получил. Примерно через неделю я встретил ее в одном доме. Она обменялась со мной несколькими ничего не значащими словами. В какой-то момент, когда глаза наши встретились, я увидел, как она поджала губы и углы рта у нее напряглись. Она ушла раньше всех. Позже, когда я разговаривал с хозяином дома, его женой и матерью, зашел разговор об этой женщине. Упомянув мать женщины, жена хозяйина назвала ее «ваша тетя». Значит, мы с ней — двоюродные брат и сестра.

Я питал пустые надежды и теперь вернулся к реальности. Некоторое время не ходил на занятия. Забросил «Ивана Ильича», которого начал читать. Это было как раз время, когда благодаря Роллану мне открылась бесконечная глубина Толстого. Мне было очень грустно. Дней через пять я пошел в тот же дом, чтобы поблагодарить за приглашение. Там я узнал, что у той женщины нервное расстройство. У нее бессонница, и она спит лишь часа два в ночь. На старой гравюре на шелку, которую я преподнес жене хозяйина, было изображено лицо, очень похожее на лицо той женщины. Жена хозяйина сказала, что лицо очень приятное. Глаза, сказала она, похожи на чьи-то, но она никак не может вспомнить на чьи. Я рассмеялся. Но все равно мне было грустно.

Примерно через две недели от женщины пришло письмо. В нем она писала только, что желает мне счастья. С тех пор я не встречаюсь ни с ней, ни с ее матерью. Что стало с ее помолвкой, тоже не знаю. Меня позвал к себе в Сибу дядя и отругал, сказав, что у этой женщины дурная репутация.

Потянулись горестные дни. Скопилось много писем, на которые я не ответил. Это первое, которое я пишу после того, что произошло. Я подумал, какое было бы счастье, если бы я

мог без отвращения читать какой-нибудь увлекательный роман.

В Токио весна в полном разгаре. Вот уже совсем скоро спокойная и в то же время не знающая отдыха сила заставит петь в вечном небе жаворонков. Все течет. Все кончается там, где должно кончиться. Теперь я снова хожу в университет. Снова читаю «Ивана Ильича».

Только мне безмерно грустно.

9 марта 1915 года. Табата.

Кё Цунэто

Существует ли любовь, свободная от эгоизма? Когда любовь заражена эгоизмом, невозможно преодолеть преграду, стоящую между людьми. Невозможно излечиться от одиночества, житейских невзгод, обрушивающихся на человека. Если не существует любви, свободной от эгоизма, то нет ничего горше жизни человека.

Все окружающие безобразны. И сам я безобразен. Горько жить, когда такое у тебя перед глазами. А человек вынужден жить, глядя на это. Если все это дело рук бога, то это дело — злая насмешка.

Я сомневаюсь, что существует любовь, свободная от эгоизма. (В отношении себя тоже.) Иногда я думаю, что это невыносимо. Иногда я думаю, что обречен жить так всегда. И наконец, я думаю, что отомстить богу — значит потерять свою жизнь.

Я не знаю, что мне делать.

Возможно, тебя это не волнует, возможно, ты думаешь, что мои слова — пустая болтовня. (Ну что ж, думай так.) Но во мне существует нечто, заставляющее меня идти вперед, не избегая того, что меня окружает. Это нечто приказывает мне: смотри на безобразие всех — и окружающих, и свое собственное. Я, естественно, боюсь смерти. И хотя знаю, что умру, все равно не могу не прислушаться к голосу этого нечто.

Ежедневно случается что-нибудь неприятное. Я все время с кем-то ссорюсь. Ни с кем не могу спокойно разговаривать. От этого мне невыразимо грустно. Иногда я становлюсь до глупости сентиментальным. Думаю поехать куда-нибудь путешествовать. Почему-то ни с кем не хочется встречаться. Очень грустно.

Рю

1915 год. Табата.

Кё Цунэто

Я боялся hunger¹, принявшего форму любви. Потом боялся взаимных духовных и физических перемен в период (он был достаточно долог — по меньшей мере три года) до женитьбы. Наконец, я боялся, что моей любовью будет двигать холодный расчет.

Однако время уничтожило эти мои страхи, и я теперь могу испытывать любовь, лишённую всякой сентиментальности. Я не могу забыть, как, просыпаясь по утрам, думал о людях с чувством, похожим на ностальгию. Я не могу забыть, как в одиночестве читал свои собственные письма, написанные неизвестно кому, заведомо зная, что их никто не прочтёт.

Тихо и печально я смотрю на окружающих и на себя. Я снова равнодушен ко всем событиям, которые не касаются меня лично. Я и тот человек навсегда станем посторонними. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы случай по своей прихоти не столкнул нас. Но я боюсь такого случая. Мне остается лишь положиться на судьбу.

У меня такое чувство, будто спала пелена и я в новом свете увидел все, что окружает меня. К несчастью, в открывшейся передо мной новой стране все безобразно.

Я благословляю это безобразное. Благодаря существованию безобразного я смог лучше узнать прекрасное, что есть во мне, что есть в людях. Мало того, я смог лучше узнать и то безобразное, что есть и во мне, и в людях.

Я хочу вырасти таким, как есть. Я хочу возмужать таким, как есть. Я хочу превратить свое тщеславие, свое вожделение, свой эгоизм в нечто высокое, что послужит мне оправданием. Любовью, даже если сам не любим, я постараюсь утешить горечь бытия.

В последние несколько дней я погрузился в безрадостное состояние, хотя chaos² как будто остался позади, все вокруг успокоилось. Я хочу от души посмеяться над глупыми, комичными дутыми авторитетами. Но прежде чем посмеяться, мне хочется посочувствовать им. Может быть, на все в этом мире нужно смотреть плача и смеясь.

¹ Голода (англ.).

² Хаос (англ.).

Окруженный теми, кто любит меня, теми, кто ненавидит меня, я окончу университет, найду свое место в жизни, а потом умру. В этом нет ничего печального, ничего радостного. Но до самой смерти видеть убаюкивающие сны невыносимо. Однако еще невыносимее не возжечь огонь, достойный человека. Мне хочется до конца своих дней быть на вершине humanity¹.

Письмо получилось несвязным. Недавно я стал обнаруживать в себе светлые перемены. Но я чувствую, что какой-то уголок моего жалкого сердца стал sharp². Ежедневно хожу в университет, точно в пустыню, и это грустно. Грустно, но все равно я еще очень заносчив.

Рю

1915 год. Табата.

Масао Кумэ

Был простужен и чувствовал себя отвратительно. А когда поправился, неожиданно нашлись затерявшиеся во время переезда короткий и деревянный мечи; я в одной рубахе пошел за ними в наш старый дом и снова простудился, горло болит. Поэтому сделать перевод «Арабских ночей», видимо, не смогу. Может, возьмешься ты вместо меня? У меня температура, и я лежу в постели.

Акутагава-сэй

13 мая 1915 года. Табата.

Кё Цунэто

У меня жар, и я лежу в постели. Я решил ответить тебе, как только поправлюсь, но кажется, это произойдет не скоро, поэтому пишу тебе. Пишу лежа, поэтому письмо мое будет коротким. Начал даже думать, не легкие ли это, и очень забеспокоился. К экзаменам не готовлюсь, будь что будет. Мне очень грустно. (...)

Рю

¹ Человечности (англ.).

² Острым (англ.).

23 мая 1915 года, Табата.

Кё Цунэто

Я был довольно серьезно болен и все еще хожу к врачу. Но как бы то ни было, экзамен приближается, а ведь это так ужасно — запомнить хотя бы библиографию произведений Диккенса, в которой я слаб: там столько дат и всяких прочих сведений. Насколько легче библиография произведений какого-нибудь Шеридана или Фута. В общем, с библиографией дело у меня плохо. Кроме того, нужно запомнить словоупотребление. Ведь это же форменное бедствие, если придется отвечать на такой, к примеру, вопрос: «Не помните ли вы, когда his¹ употребляется в значении tu²? И далее, сколько раз в каких актах каких пьес пользовался этим правилом Шекспир?»

Недавно прочел роман Льюиса «The Monk»³. Эта книга была впервые издана в 1798 году и в более или менее полном виде ни разу как будто не переиздавалась. Она интересна своей старомодностью, своей старинностью.

Сцены сатанинских козней демонических сил, появления Люцифера происходят в Испании, главным образом в монастыре. Наконец монах по имени Амброзио, вырвавшись из темницы, куда его заточил церковный суд, вместе с Люцифером улетает. Но в конце концов Люцифер убивает монаха, и душа его исчезает в вечности. Автор заканчивает поучением: «Ladies⁴, отпущение человеку грехов услаждает, осуждение человека в грехах ожесточает, но и то и другое — благо». Весьма интересен факт, о котором говорила Радклиф, — о генеалогической связи Льюиса и По через Мэтьюрина и Мери Шелли. Сейчас я читаю «Франкенштейна» Мери Шелли.

Недавно я стал ревностным читателем «Every man's Library»⁵. С большим интересом прочел Бальзака. С некоторым интересом — «Монастырь и очаг» Рида.

Недавно, когда я подумал, что у меня неладно с легкими, прохожие на улице, все до одного, виделись мне туберкулезными больными. Думал, почему они не бегут к врачу, чтобы тот осмотрел их. Людей, харкающих на улице, я воспринимал как грязных животных, чуть ли не государственных преступ-

¹ Его (англ.).

² Мой (англ.).

³ «Монах» (англ.).

⁴ Леди (англ.).

⁵ «Популярной библиотеки» (англ.).

ников. А теперь все, с кем я встречаюсь, представляются мне людьми, пышущими здоровьем, и я сам иногда позволяю себе харкать на улице.

Надеюсь, и впредь все будут здоровыми. В университете я посещал минимум занятий, поэтому многого не знаю. Я выздоровел окончательно, но все еще испытываю inability¹. Все это время настроение у меня было паршивое, и я очень благодарен тебе за письмо.

До свидания.

12 июня 1915 года. Табата.

Кё Цунэто

Экзамены начались десятого и закончатся пятнадцатого. Дней немного, но в некоторые по два экзамена, так что все очень уплотнено, и мне это доставляет массу хлопот. Они усугубляются главным образом тем, что в этом году я никак не мог заставить себя отдавать силы изучению не интересующих меня предметов. В частности, самыми неинтересными для меня были лекции по английской литературе, являющейся моей специальностью. И это тоже сильно беспокоит меня. И уже совсем переполняет чашу моего терпения необходимость два раза в неделю ходить к врачу в Синагаву.

Сегодня был экзамен по Шекспиру. Я посылаю тебе копию вопросов — прочти их. Сонеты Шекспира посвящены W.H. Нужно написать десять версий, кто такой W.H., и критически разобрать, чьи это версии, кто выступал с противоположными версиями. Всего этого так много, что, думается, жизни не хватит, чтобы ответить хоть на один вопрос. Я неразумно перегрузил свою память именами и фактами. Вот один лишь пример. Первое издание сонетов Шекспира было в четверть листа; количество строк — 2551; опечаток — 36. В том же издании — «Венера и Адонис». Количество строк 3417; опечаток — 6.

Даже не знаю, хорошо я себя чувствую или нет, но, кажется, не так уж плохо.

Теперь моя голова полна цифр. Хронологическая таблица произведений Диккенса; количество сонетов Петрарки; общее число произведений авторов сонетов XVI века; номера сонетов Шекспира и количество актов и сцен «Цимбелина» —

¹ Неспособность (англ.).

поистине бедствие. Хочется побыстрее разделаться со всеми своими делами. Примерно половину лекций я еще не прочел. Письменные работы сделать, по-видимому, успеваю.

В Табате уже появилась молодая трава, деревья покрылись свежей листвой, ежедневно всю эту зелень орошает бесшумный дождик. Я люблю сезон дождей — ты это, конечно, знаешь. Я думаю, что каждый человек, если он эстет, созерцая легкий налет плесени, не может не любить этот сезон. Нет ничего прекраснее склоненных ветвей деревьев, мокрых от дождя. (...) В западных стихах такой красоты не увидишь. (...)

В Императорском театре идет «Я тоже не знаю» Муся. Главную роль играл Энноскэ. Я хотел бы без помех сделать еще очень многое. У меня масса дел, которые я обязан воплотить в жизнь. (...)

Рю

28 июля 1915 года. Табата.

Кё Цунэто

Задержался с отъездом, честно говоря, потому, что у меня перевод и пока не закончу, не смогу уехать из Токио. За оставшиеся до конца месяца дни нужно написать сто пятьдесят страниц. Даже подумать страшно.

В Идзумо, наверное, прохладно? А в Токио страшная жара. Все время за 90°. Лежишь обнаженный, но все равно весь в поту, сил нет. Вот и думаю я — сяду в поезд и через двадцать часов перестану вариться. Окунусь в прохладу. Но пока удастся отправиться в Идзумо, буду мучиться от жары. Сейчас возможности уехать нет. Однако, если ничего непредвиденного не случится, я надеюсь первого или второго августа покинуть Токио. Я каждый год уезжаю из Токио в первую неделю августа. От тебя давно нет писем, я забеспокоился, не случилось ли чего. (...)

Рю

6 августа 1915 года. Мацуэ.

Досё Акутагава

Благополучно прибыл в Мацуэ, так что можешь не волноваться.

Из-за плохой погоды в поезде было совсем не жарко.

Мацуэ — тихий городок, по которому протекает много речушек, кое-где со старых времен остались глинобитные заборы. Когда мы в дождь ехали по городу с Игавой-куном, мы видели желтые цветы подсолнечников, росших на этих заборах.

Дом Игавы-куна — у самого рва, окружающего замок, и стоит выйти наружу, как перед глазами возникает главная его башня.

14 августа 1915 года. Мацуэ.
Дзороку Фудзиока

Прошло уже десять дней, как я приехал в Мацуэ. Мы живем вдвоем с Игавой-куном и почти все время вместе. Купаемся в пруду или в море. Книг почти не читаю. Немного побаливает желудок. Мацуэ — тихий городок, по которому протекает много речушек. На окраине скромный домик Херна-сэнсэя. Дом Игавы-куна стоит у самого рва. Ров зарос густой травой, там гнездятся маленькие птички, судя по пуску, у них вывелись птенцы. Числа двадцатого вернусь в Токио.

Акутагава-сэй

22 августа 1915 года. Табата.
Кё Цунэто

Признателен тебе за заботу. Ограничиваюсь этим, так как слишком высокопарные слова благодарности представляются мне дешевой, но я тебе действительно очень благодарен. И я тогда испытывал только благодарность за твоё тепло, и ты должен простить меня за брюзгливое выражение лица — я всегда мрачней, когда болит живот.

Пассажиров в поезде было сравнительно немного, но когда мы прибыли в Киото, пошел дождь со снегом. На следующий день с утра до вечера шел дождь, и под этим проливным дождем я возвратился в Токио. Всю дорогу проболтал с одним человеком, который тоже ехал в Токио (меня познакомил с ним господин Нэгиси).

Я так устал, что до сих пор никак не могу выспаться, но сегодня утром приходил гость и мы с ним долго разговарива-

ли. Поэтому задержался с письмом. Нет сил даже стихи писать. (...)

Никак не мог оторваться от винограда, который ты дал мне в дорогу, все ел и ел. Наконец, доев последнюю гроздь в Тацуюке, вздохнул с облегчением. Персииков хватило до Йокогама. На уголке туристского проспекта я написал такое трехстишие:

Отправляя в рот виноград
Я сочиняю стихи
О охлаждающем душу осеннем ветре

Видимо, я не излечился от дурацкой болезни стихотворства.

В Киото в ресторане отеля меня угостил обедом какой-то странный господин. Мало того, купил мне еще и сэндвичи на завтрак в поезде и пачку «Сикисима». Мы немного поговорили об искусстве, о литературе. Расставаясь, я спросил, как его имя. Вначале он не хотел отвечать, назвавшись «бродягой», но в конце концов написал на клочке бумаги: Дзюдокоро Китагаки. «Хорошо, что молодежь такая настойчивая. Хорошо, что в своих помыслах она так настойчиво готова на все», — сказал он. Потом, обращаясь к нему, метрдотель назвал его бароном. Это был высокий человек в сюртуке, лет под сорок.

Выпив с ним мятной настойки, я в поезде никак не мог заснуть. Со мной заговорил сидевший рядом юноша, по виду студент. Низкорослый, с заурядным лицом. Побеседовали немного о музыке. Не помню, почему именно о музыке. Юноша заговорил о Шопене. Он сказал, что прелесть ноктюрнов Шопена состоит в том, что на паузы оказывают влияние оба звука: и предыдущий и последующий. Посмотрев на визитную карточку, которую он мне дал, я увидел, что это Миядзи Такаори. Я вспомнил, что этот юноша вместе с Шольцем играл ноктюрны Шопена. Среди студентов, окончивших в прошлом году консерваторию, он самый способный пианист.

Эти мои случайные встречи с двумя необычными людьми оказались очень интересными. Они были в чем-то совсем не японцами.

Когда я вернулся домой, меня уже ждал Ампель.

Всем привет. В первую очередь передай его всеми нами любимой Кан-тян. (...)

8 сентября 1915 года. Дзуси.
Юдзуру Мацуока

Благодаря Сэйти Нарусэ я теперь каждый день ем груши, купаюсь в море, читаю по две-три странички. Лучше, пожалуй, сказать: не просто купаюсь в море, я купаюсь, чтобы меня обжигали медузы. Я умен, и поэтому медузы меня щадят, а вот Нарусэ, заходя в море, не смотрит, куда ступает, да к тому же парень он привлекательный, и медузы влюбились в него, поэтому он весь в ожогах — и грудь, и живот. Я его лечу спиртовыми примочками.

Рю

20 сентября 1915 года. Табата.
Кё Цунэто

Со времени нашей последней встречи я живу тихо и спокойно. В университет с этого семестра хожу только четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам во второй половине дня. Поэтому у меня масса свободного времени. Но не дает покоя дипломная работа. Меня она очень беспокоит. Ну ничего, все как-нибудь образуется.

В книге Тоде я увидел репродукцию фресок Микеланджело в Сикстинской капелле. Они мне очень понравились. Нет, сказать «понравились» — значит ничего не сказать. Лучше, пожалуй, назвать это потрясением. Мне они показались просто непревзойденными. Во всяком случае, сейчас ни один человек не волнует меня больше, чем Микеланджело. Если бы такой человек и мог найтись, им был бы Рембрандт. Очень хорошо, что я достал color reproduction¹ написанного им портрета второй жены. Говорят, что когда Рембрандт разорился, то продал свой автопортрет всего за три пенса. А сейчас любая репродукция его картины стоит дороже. За ним следует Гойя. Мне нравится его «Донна Изабелла». Эти великие художники прозвучали для всего человечества трубным гласом, возвещающим о Страшном суде, — так они поют свою песню.

¹ Цветную репродукцию (англ.).

Можем ли мы жить спокойно и безмятежно? С недавних пор гении кружат нам голову.

Рю

9 октября 1915 года. Табата.

Митидзо Асано

Оцука-сэнсэй, читая лекции об Уайльде, рассказал немного об «House of Pomegranates»¹. Если тебе эта книга уже не нужна, не занесешь ли ты мне ее как-нибудь? Очень прошу.

3 декабря 1915 года. Табата.

Кё Цунэто

Долго не писал тебе. У меня была очень срочная работа. Не дипломная, другая. За диплом я возьмусь первого января, постараюсь закончить к концу марта, а в апреле перепишу начисто — таковы мои планы. Плохо, что я еще не имею text².

С желудком не особенно хорошо. Хотя выгляжу неплохо.

Сейчас я читаю «Войну и мир». Это огромное произведение, и поэтому охватить его в целом я еще не смог. Но та часть, которую я прочел (хотя она и достаточно велика), захватила меня настолько, насколько может захватить часть произведения. Из персонажей я особенно полюбил князя Андрея. Прекрасно выписаны и отец и сестра Андрея. Андрей возвращается, когда все уже считают его погибшим, и в момент возвращения умирает от родов его жена. Это место поистине прекрасно. Также прекрасно место, где Андрей, сраженный под Аустерлицем, смотрит на небо. Но первое все же лучше. Я не могу представить себе, что был человек, написавший подобное. В Японии такое не под силу даже Нацумэ.

Можно ли не впасть в пессимизм оттого, что у русских писателей раньше, чем в Японии, появилось такое произведение, как «Война и мир»? Да и не одна «Война и мир». Будь то «Братья Карамазовы», будь то «Преступление и наказание»,

¹ «Гранатовый домик» (англ.).

² Текста (англ.).

будь то, наконец, «Анна Каренина» — я был бы потрясен, если бы хоть одно из них появилось в Японии.

Я совсем пал духом — столько мне предстоит сделать. Одних книг для диплома нужно прочесть массу (не говоря о самих текстах). Темой диплома я выбрал «W.M. as Poet»¹. Я хочу в Poems² выявить духовную жизнь Morris³, но не знаю, что у меня из этого получится.

Все Personal study⁴ начинают reduce⁵ действия, слова, идеи, чувства человека, ставшего gegenstand⁶ этому. Другими словами, начинают с вскрытия сущности внешних явлений. Я имею в виду органическое соединение всех фактов в единое целое. Вопрос в том — как создать это единое целое.

В последнее время вспоминаю иногда Мацуэ. Спокойную морскую гладь и над ней необъятное небо. Крохотный пароходик, который скользит по воде под этим небом, направляясь скорее всего в Фурууру. Эти воспоминания вселяют покой в мое сердце. Я действительно испытываю полный покой. Особенно когда обращаю взор к тому небу и морю. Молю, чтобы моя жизнь была такой же спокойной, как тогда.

В Табате все деревья пожелтели. Вечерами пахнет осенью. (...)

В храме Отацудзи, где могила Сики, уже пожелтели гинкго и лишь фотинии живой изгороди и криптомерии остались темно-зелеными. Кругом все желтым-желто. Я вижу, как по дороге едет повозка с корзинами желтых хризантем. Скрипят колеса. Слышится детская песенка, которую поют, когда подманивают красных стрекоз (прислушавшись, я понимаю, что это совсем другая песня. Странная песня о плывущих по небу облаках). (...) Вережат сорокопуть (временами их слетается великое множество.) И снова тишина. Иногда совершаю прогулки в Одзи. (...)

Даже в простых чувствах заключается бесконечное vanity⁷. А те, кто воспевают эмоции как нечто непознаваемо сложное, обыкновенные буржуа. Характер человека, окружение и все остальные явления modify⁸. В какой-то момент возникают вдруг удивительные чувства, эмоции. Познать, как это проис-

¹ «У. М. как Поэт» (англ.).

² Поэмах (англ.).

³ Морриса.

⁴ Изучения личности (англ.).

⁵ Снижать (англ.).

⁶ Противостоянием (нем.).

⁷ Тщеславие (англ.).

⁸ Видоизменяются (англ.).

ходит, не дано ни науке, ни искусству. Нужно только жить, только обогащаться опытом.

Я заканчиваю письмо в волнении, охватившем меня, когда я начал его писать — даже не представлял, что это произойдет. Оно прохватило меня точно порывом ветра. Мне кажется, мою голову пронзают огненные стрелы. Меня влечет любовь к людям и в то же время стремление к одиночеству, и я все время слышу голос: «Что же делать, что же делать?» Сейчас все куда-то разъехались. Мне бы хотелось, замерев на десятилетие, на столетие, потом увидеть все как нечто «застывшее, как нечто стабильное, хотя беспрерывно текущее». Не знаю почему, но только мне кажется, что в моем сознании присутствует какое-то темное око. Оно внимательно оглядывает все, что меня окружает. Я боюсь потерять это ощущение. Боюсь потерять это око. Жалкое состояние.

Живи в мире и здоровье.

Рю

15 февраля 1916 года. Табата.
Кё Цунэто

Недавно пару раз играл в карты у Цукамото. Я был одним из тех приятных людей, которые собирались там. Но карты — занятие не по мне. Теперь не буду играть до самого нового года. В последнее время я почувствовал некоторую easiness¹. Радуюсь, что подходит к концу огромная работа, висевшая на мне. Перевод тоже закончил. Думаю, мне удастся жениться на Фуми-тян. Недавно тетушка, с которой я живу, и тетушка из Сибы ходили вдвоем на смотрины. Кажется, обе вернулись с good opinion². А может быть, просто стесняются ругать ее при мне. У меня же самого еще более good opinion, чем раньше.

Вышел журнал, посылаю его тебе. Ни к одной из рукописей своих товарищей по журналу я не питаю никакого интереса. Доброжелательно отношусь к своим. Усилились холода. Вчера ходил в театр Итимурадза. (...)

Рю

¹ Легкость (англ.).

² Добрым мнением (англ.).

1916 год.

Киёси Ямамото

Мг. К.!

У нас в доме время от времени возникают разговоры о Фумико-сан. Говорят, что я поступлю правильно, женившись на ней. А я делаю вид, что мне это безразлично. И постоянно отшучиваюсь шутками. Вначале мне и в самом деле было безразлично. Но теперь все изменилось. Я начал питать большую склонность и даже любовь к Фумико-сан. Но и сейчас продолжаю все сводить к шутке. Делаю вид, будто мне это безразлично. Ты спросишь почему? Потому, что у меня есть определенное предчувствие. И мне vanity¹, опираясь на это предчувствие, приказывает: не афишируй своих чувств. Предчувствие вот какое: жениться на Фумико-сан я не смогу. У меня такое чувство, что прежде всего на это не согласится сама Фумико-сан, затем не согласится твоя старшая сестра, затем не согласишься ты, затем не согласится еще масса людей. Но есть еще кое-что, кроме предчувствия. Дело в том, что, даже если мое предчувствие и не оправдается, совесть все равно не позволит мне жениться на ней. А если хоть чуточку оправдается, то тем более не позволит мне сделать это. Ради собственного счастья я не имею права жертвовать счастьем другого человека, столь мне дорогого.

Я предполагаю, что через несколько лет мы с тобой поздравим Фумико-сан с замужеством. Не исключено, что ее мужем станет мой товарищ, а я буду сгорать от ревности. Надеюсь, о моих чувствах не узнает никто, кроме тебя. Меня такой исход удовлетворит. Романтический характер склонен находить удовольствие в собственном несчастье. Я уверен, что, даже пребывая в грусти, найду в себе силы изобразить на лице улыбку.

Когда заходит разговор о Фумико-сан, я свожу его к шутке. И в дальнейшем намерен так поступать. И буду всячески препятствовать тому, чтобы мои домашние отправились к вам. Когда-нибудь я, возможно, женюсь на немислимо откуда взявшейся, похожей на немислимую свинью женщине и, окарикурировав всю свою жизнь, посмеюсь над собой. Учти, о моих чувствах, кроме тебя, не должен знать никто. Надеюсь, ты никому не расскажешь о них. Пока о моих чувствах никому не известно, я могу спокойно разговаривать с твоей бабушкой и

¹ Тщеславие (англ.).

сестрой. Если же они узнают, то я не смогу появляться в твоём доме.

Я иногда сталкиваюсь с силой, пронзающей жизнь человека, пронзающей искусство. (Правда, стоит мне столкнуться с ней, как она моментально исчезает.) Но стоит ей исчезнуть, и меня охватывает непреодолимый страх перед окутывающим меня мраком и одиночеством. Вот тогда-то мне и хочется, чтобы меня кто-то полюбил. В такие минуты я вижу себя окруженным стеной одиночества. Вижу себя крохотной песчинкой, утонувшей в пучине вечного времени. В такие минуты я всей душой стремлюсь к любви. И это случается со мной довольно часто. Мне грустно. Но я знаю, останавливаться нельзя, нужно идти вперед. Я знаю, что нужно идти вперед независимо от того, усыпана дорога розами или терниями. Потому-то я и иду вперед. И буду идти так до самой смерти. Мне грустно.

24 марта 1916 года. Табата.
Кё Цунэто

Думал написать миниатюру об Аракаве. Но это не такое важное дело, чтобы заниматься сбором материала. Да, кажется, о нем нет даже книги.

Я тоже слышал, что Херн видел каменного Дзидзо. Об Аракаве я хотел написать именно поэтому.

Меня критикуют за то, что детали «Носа» не natural¹. На это указал Хёитиро Ватануки. Его замечания весьма серьезные.

А вот Нацумэ-сэнсэй очень хвалит, и даже прислал мне длинное письмо. Мне даже неудобно. Нарусэ удивился: «Смотри, как тебя хвалит Нацумэ-сан». После такой похвалы Нацумэ-сэнсэй уже не кажется ему такой выдающейся личностью. Нарусэ убежден, что самое лучшее произведение — это его «Груда костей».

С большим интересом прочел Мопассана. Удивительный талант этого человека пронзителен как ни у одного другого писателя-натуралиста. Талант не может видеть вещи такими,

¹ Естественные (англ.).

какими бы ему хотелось. Он неизбежно видит правду во всей ее полноте. Особенно остро чувствуется это у Мопассана.

Однако Мопассан не просто смотрит на окружающее, никак не приукрашивая его. В людях, которых ему удалось увидеть такими, каковы они на самом деле, он ненавидит то, что достойно ненависти, любит то, что достойно любви. В этом от него сильно отличается холодный Флобер, безразличный ко всем людям.

Женщины в «Une vie»¹ знают лишь одно — любовь. Я даже удивился, какой Мопассан моралист.

Недавно с огромным интересом смотрел картины Константана Гюи. Даже японцам близки и понятны его рисунки. Например, манера передачи тушью светотени во многом напоминает принципы японской живописи. Очень интересны рисунки Дирне. Прекрасна картина «Данте» Делакруа. Всем известно, что нет хороших репродукций картин Тинторетто и Делакруа, но даже и те плохие, которые я видел, произвели на меня огромное впечатление. Их картины удивительно динамичны. Особенно это относится к «Офелии».

Безумно занят из-за диплома.

Лоуренс умер. Жаль его. Мы его хоронили. Потом помолились за упокой души нашего старого учителя. Сам он не был особенно доброжелательным человеком. Окружающих его японцев он считал людьми второго сорта. (...) Вопрос моей женитьбы на Фумико несколько осложнился. Возможно, мне придется посоветоваться с тобой. Я становлюсь сильным. Мне жаль моих близких, создающих ненужные осложнения. Я все равно не уступлю.

Что будет дальше, не знаю.

Чтение и писание (в том числе и диплома) занимает большую часть дня. Даже по ночам вижу лишь сны о дипломе. Я испытываю приближение чего-то опасного, но одновременно и радостного. Зато не делаю ничего неприятного. Выхожу прогуляться, иногда хожу очень далеко. На три дня ездил в Дзуси. В Сёнане хлеба вытянулись на пять сяку. Овощи еще не зацвели. Для сливы уже поздно, а персики только-только

¹ «Жизни» (фр.).

начали цвести. Однажды вечером пошел в сторону Аkitани, на обратном пути вдруг увидел на побережье что-то белеющее в тумане. Что бы это значило? — подумал я. Оказалось, цветущий персик. В горах деревья еще по-зимнему мертвые и лишь расцвели желтые цветы, жаждущие талой воды. Из птиц попадаются вальдшнепы, иногда — фазаны. Как только закончу диплом, обязательно поеду куда-нибудь. До этого ничего не выйдет.

В море у Дзуси масса стариков. Очень приятная птица со сверкающей на солнце серебром грудкой. Голосят они как поганки. Много диких уток, чаек.

Вернувшись в Токио, я снова окупился в дела. Так не хотелось возвращаться, но я заставил себя сделать это.

Рю

13 мая 1916 года. Табата.

Киёси Ямамото

Киёси-сама!

Сегодня меня с новой силой охватила Liebe¹ к Фуми-тян. От этого я испытываю еще большую грусть. Если бы только, думал я, Фуми-тян знала, что я так люблю ее. Если бы только, думал я, мне стало известно, что она об этом знает. Вот одна из причин моей грусти.

Если бы только, думал я, мне было бы известно ее отношение ко мне. Если бы только, думал я, мне было бы известно хотя бы и ее negative² отношение ко мне. В этом тоже одна из причин моей грусти.

Даже среди тех, кто оплакивает свою безответную любовь, нет, я думаю, никого, кто грустил бы, как я, из-за невозможности рассказать о своей любви любимому человеку. Думаю также, что нет никого, кто грустил бы больше, чем я, из-за невозможности получить хотя бы negative ответ на свое признание. Мне грустно.

Надеюсь, ты поймешь эту мою грусть. Надеюсь, ты знаешь, что лишь ты один способен развеять ее. Я целиком полагаюсь на тебя. Мне безмерно грустно.

Пишу об этом тебе одному. Мне неприятно, что обременяю тебя своей просьбой. Я надоедаю тебе своими неприятностями из-за собственного мне эгоизма, а может быть, из-за эго-

¹ Любовь (нем.).

² Негативное (англ.).

изма, который обычно порождает у людей Liebe. Не ругай меня за него.

Я целиком полагаюсь на тебя. Жду, что ты мне скажешь.

Рю

7 июня 1916 года. Табата.

Кё Цунэто

Новелла «Отец» основана на факте — он произвел на меня, как ты правильно говоришь, огромное впечатление. А то, что я сделал ее искусственно *moralish*¹, то произошло это потому, что здесь повлияли состояние, в котором я находился, когда писал новеллу, да и сами люди, о которых я писал. Мне теперь и самому она кажется гипертрофированно морализаторский. Вторично, думаю, я уже такого не допущу. Если до этой записки ты не получишь шестого номера «Синситё», сразу же сообщи мне открыткой или еще как-нибудь. Может быть, не отослали по ошибке. (В мае по вине издательства «Токёдо» все получили журналы с опозданием.) Будь здоров.

16 июня 1916 года. Табата.

Дзороку Фудзиока

Ты уже сколько времени отдыхаешь. А у меня последний экзамен пятнадцатого. С месяц пробуду в Токио, а потом уеду куда-нибудь. Куда, пока не решил. Экзамены до сегодняшнего дня сдавал каждый день, но это не было особенно обременительным. Представляешь, мы с тобой станем бакалаврами литературы — странно, правда? Может быть, выберешь время и заедешь?

Акутагава-сэй

25 июля 1916 года. Табата.

Кё Цунэто

Прости, что так задержал ответ. Нас, делающих «Син--тё», мало, и поэтому приходится писать свои собственные произведения, без конца улаживая множество журнальных дел. В связи с этим первую половину месяца я

¹ Моралистичной (нем.).

бываю страшно занят. Занят и журналом и своими писаниями, так что до писем просто руки не доходят. Это ведь один и тот же вид деятельности — когда пишешь свою новеллу, одновременно удовлетворяешь, как мне кажется, желание писать письма. Числа до десятого будущего месяца мне придется пробыть в Токио, поэтому в Оки поехать, думаю, не смогу. Начать с того, что в этом году была масса расходов, ушли почти все деньги. Может быть, даже не удастся выбраться в Мацуэ.

Для следующего номера «Синсёсэцу» работаю над «Бататовой кашей». Уверен, что встретят ее плохо. Начал было писать повесть «Ворь», но понял, что не успею, и бросил. Мне хочется написать о многом. Когда говорят, что нет материала, мне кажется, это неправда. Если не писать постоянно, то и материала никакого не появится. Ждать же, пока он в тебе перебродит, — значит позволить ему прокиснуть. В общем, если писателю нужен материал, ему не остается ничего иного, как творить. (...).

Рю

9 августа 1916 года. Табата.
Юдзуру Мацуока

Юдзуру-сама!

Так тебе и надо, говорю я, видя, в каком положении ты оказался, когда тебе докучают плотники и москиты. Читая твою открытку, я невольно расхохотался. Ну что за охота так странно рассуждать о плотниках и москитах в Этиго.

Я пишу «Бататовую кашу». До сих пор, как мне кажется, все идет хорошо, но я пока не перечитывал, так что с уверенностью сказать, что получилось, не могу. Закончил первую часть в двадцать страниц. Думаю, объем будет примерно такой же, как у «Носа». Заявляется к одному моему товарищу Кубоман и говорит: «Пришел однажды к нам Акутагава и, увидав «Синсёсэцу», заявляет: «Неужели я когда-нибудь смогу написать для этого журнала?», а сейчас и вправду пишет для него, я рад за приятеля». Еще насмешается.

(...) Акаги в статье «Искоренить порнографическую литературу», опубликованной в «Емиури», нападает на Куботу, Есии, Микихико Нагату. По его мнению, глупость Гото и Ти-

камацу столь вопиюще, что их романов он вообще не хочет касаться. Вместе с тем, он не отрицает произведений о распутниках вообще, а лишь критикует позицию, того же Нагату, недостаток мастерства, с каким они сделаны. Таким образом, он охватывает значительно более широкую сферу, чем просто порнографическая литература. Поэтому, читая статью Акаги, не поймешь, следует ли критиковать позицию и недостаток мастерства в тех романах, которые построены на ином материале, чем жизнь распутников. Я считаю, что нужно скорее критиковать ставшую поголовной тенденцию рассказывать малопривлекательные любовные истории, чем грешит нынешняя японская литература. Акаги придерживается, видимо, того же мнения, но в своей статье, как мне представляется, потерял ориентир и поэтому все ставит с ног на голову: говорит о существовании порнографических романов, построенных якобы на принципах антилюбовных историй. Кроме того, я считаю, что в статье есть и несправедливость: в число порнографических романов не включены произведения Нагаи и Осанаи. Скоро напишу еще.

Рю

25 августа 1916 года. Итиномия.
Фумико Цукамото

Фуми-тян!

Я все еще живу здесь, у моря, читаю, пишу. Пока точно не знаю, когда вернусь домой. Вернувшись, я уже не буду иметь возможности писать тебе, поэтому мое письмо будет длинным. Днем я работаю, купаюсь, это позволяет забыть ненадолго Токио, а по вечерам с такой тоской и любовью думаю о нем. Мне так хочется снова пройтись по его залитым светом, шумным улицам. Но Токио я люблю не только потому, что люблю токийские улицы. Я люблю и тех, кто живет в Токио. И в такие минуты я часто вспоминаю тебя, Фуми-тян. Уже прошло несколько лет с тех пор, как я сказал твоему брату, что хочу жениться на тебе. (Не знаю, хорошо ли делаю, что пишу об этом в письме.) Причина, почему я хочу жениться, одна. Причина та, что я люблю тебя, Фуми-тян. Люблю давно. Люблю и сейчас. Никакой другой причины нет. Я принадлежу к людям, которые не могут, как другие, думать о женитьбе с точки зрения жизненных удобств. Только поэтому я сказал твоему брату,

что, если только ты согласишься, я с огромной радостью женюсь на тебе.

Так что, будешь ты, Фуми-тян, моей женой или нет, зависит только от тебя — ты должна решить это.

Мои чувства остались прежними, как и в то время, когда я говорил с твоим братом. Пусть люди смеются надо мной — мне это безразлично. Общепринято жениться нормально, то есть после смотрин и выяснения родственныхниками, что представляют собой женихи невеста. Для меня это неприемлемо. Неприемлемо потому, что я считаю себя выше людских предрассудков.

В общем, женюсь я на тебе, Фуми-тян, или нет, решить можешь только ты. Что касается меня, я, безусловно, — и тебе это известно — женюсь с радостью. Однако если мои слова хотя бы чуточку похожи на некое принуждение, то я заранее готов просить прощения у тебя, у твоей матери и брата. Ты совершенно свободна, Фуми-тян, и должна свободно решать. Было бы ужасно, если бы мне пришлось пожалеть, что я пишу тебе все это.

Моя профессия в сегодняшней Японии самая неденежная. У меня совсем нет сбережений. Так что жизнь моя предопределена. Кроме того, и тело мое, и голова не столь уж высокого класса. (Правда, голова несколько самоуверенна.) В нашем доме три старика: отец, мать и тетка. Если тебя все это устраивает, приходи к нам.

Я бы хотел услышать из твоих уст чистосердечный ответ. Повторяю: причина одна. Я люблю тебя, Фуми-тян. Если тебя это устраивает, приходи к нам.

Ты свободна показать это письмо родным или не показывать.

В Итиномии уже чувствуется осень. Меня охватывает уныние, когда я вижу, что листья на деревьях начинают вянуть, колосья хлеба — желтеть. Пока я здесь, напиши мне еще хотя бы одно письмецо, если, конечно, будет время и желание. Я говорю: если будет время и желание. Но если ты и не напишешь, я не обижусь. А напишешь — доставишь мне огромную радость.

На этом кончаю. Привет всем.

Рюноскэ Акутагава

28 августа 1916 года. Итиномия.
Нацумэ Сосэки

Сэнсэй!

Снова пишу Вам. Представляю, как утомительно читать наши бесконечные письма в нынешнюю жару. Иметь таких

учеников, как мы, — подлинное несчастье. Но зато Вы можете не беспокоить себя ответом. Одно то, что мы можем писать Вам, вполне нас удовлетворяет.

Сегодня хочу рассказать немного о нашей неустроенной жизни. Мы живем в небольшом доме на отшибе, который называют флигелем; в нем две комнаты — в одной десять, в другой шесть дзё. Служанка — единственный человек, который приходит покормить нас, а вечером постелить постели. Такое уединение — первейшее условие, чтобы сделать нашу жизнь свободной. И мы бездельничаем в этом флигеле, по целым дням оставаясь в спальном кимоно. Часто вдвоем мы просто забываем о времени, и иногда даже не знаем, в котором часу встаем, в котором ложимся. Единственный наш ориентир — высота солнца; в общем, живем в ладах с природой. Стыдно об этом говорить, но мы даже редко ходим в туалет. Справляем малую нужду во дворе. Почва песчаная, влага впитывается быстро, и мы не боимся, что кто-нибудь из хозяев заметит наше безобразие. А нам это удобно, да и бодрит как-то. В комнате ужасный беспорядок — все вперемешку — бумага, книги, краски и кисти, подушки. Раньше я любил чистоту еще больше, чем Кумэ, а теперь заразился дурной привычкой читать, не обращая внимания на беспорядок. Ночью мы все сгребаем в угол и служанка стелет нам постель. Матрасы и ночные кимоно довольно чистые, а вот полог от москитов, видимо, дырявый. Я говорю «видимо», потому что в него всегда забираются москиты, а есть ли дыра на самом деле или нет, не знаю, не проверял — очень уж нудное это занятие. Вместо этого я ставлю под полог жаровню и выкуриваю оттуда москитов. Правда, Кумэ считает, что если с вечера долго выкуривать москитов, то утром болит голова. Что же тогда делать, спрашиваю я. Да лучше уж пусть голова болит, чем сожрут москиты. Но все же решили каждый вечер сжигать в жаровне не больше, чем по десять курительных палочек. Голова теперь не болит, но все равно на следующий день в носу ощущаешь запах дыма. Когда кончатся курительные палочки, перестанем этим заниматься, но мы накупили их столько, что они никогда не кончатся. В последнее время я что-то помрачнел.

Когда нет дождя, я бросаю все и лезу в море. Здесь, даже если море сравнительно спокойно, волны бывают довольно большие, поэтому при самом слабом ветре море буквально бурлит. Позавчера мы купались. Я немного проплыл в глубину, потом повернул к берегу, где помельче. Оглянулся, Кумэ нигде не видно. Я решил, что он уже вылез из воды, и тоже

поплелся к берегу. Он действительно лежал на берегу. Цвет лица у него был ужасный. Закрыв лицо руками, он стонал. У Кумэ плохое сердце, поэтому я забеспокоился и спросил, что с ним. Оказывается, он заплыл слишком далеко, устал и уже отчаялся добраться до берега. Его несколько раз накрывало волной, и он с трудом выплыл. Да еще и наглотался соленой воды, думал, конец. «Зачем же ты заплыл так далеко?» — спрашиваю. «Даже женщина проплыла столько, неужели мужчина не может? Позор», — распаял он себя. Глупое бахвальство. А женщина — не какая-то случайная купальщица, Кумэ влюблен в нее. Если уж говорить о здешних женщинах, то среди них нет ни одной красивой. Правда, в черном купальнике, с красной или сиреневой косынкой на голове, в воде они выглядят очень привлекательно. Они прыгают, резвятся, точно тела их переполнены радостью. Приползет краб — они весело смеются. У меня возникла идея нарисовать на ватмане одну из них на фоне моря и дюн, поросших цветущими хризантемами, но все никак не соберусь. Раньше всех из нас, издающих «Синситё», стал рисовать Кумэ... Во всяком случае, пишет он не хуже, чем «внучатый ученик» Сезанна. Еще Мацуока пишет картины, и они имеют такую особенность, что смотреть их можно, повернув как угодно — вверх ногами, боком. Так что в своем мастерстве они ушли от меня далеко вперед. И поэтому оба наших художника уверены, что достигли уровня Пикассо.

Приближается 1 сентября, и настроение у меня не особенно хорошее. Все докучаю своими причитаниями, лучше бы поблагодарил за Ваше доброе отношение ко мне.

Сегодня читал рассказы Чехова в новом английском переводе... Мало всей жизни, чтобы смочь написать на таком же уровне. Кумэ писал Вам, что я ругаю Сологуба. Это не совсем так. В его произведениях есть немало мест, перед которыми я склоняю голову. Ругаю же я лишь рассказы Уэллса. Если такой писатель достиг славы, то это значит, что писатели Японии опередили писателей Англии.

Прямо на берегу мы занимаемся гимнастикой, едим — так что о нашем здоровье не беспокойтесь. А вот Вы, сэнсэй, в Токио, в такую жару, пишете роман — очень прошу Вас, относитесь серьезнее к своему здоровью. Мы очень беспокоимся за Вас после того, как Вы побывали в больнице в храме Дзюдзэндзи. Вы должны быть здоровы всегда, хотя бы ради нас, молодых.

Рюноскэ Акутагава

8 октября 1916 года. Табата.
Кё Цунэто

Два часа ждал тебя на станции под дождем. Потом вернулся домой. Вечером пришла твоя открытка. «Носовым платком» я не так уж горжусь, но отзывы хорошие. Сейчас пишу новеллу для «Сисёсэцу».

Рю

8 октября 1916 года, Табата.
Юдзуру Мацуока

Сейчас два часа ночи. Вчера приходил Кумэ, принес «Син--тё» и просидел до половины одиннадцатого. После его ухода никак не мог заснуть — стал читать «Карамазовых», потом «Синситё». Сейчас я пишу тебе эту открытку — решил сделать это, пока не стерлось огромное впечатление от твоей «Чистой тушечницы». Вещь отличная. Прекрасно сделана. Я опасаясь лишь, что по мере писания ты будешь приравнивать свои способности к потребности будущего читателя. А ведь способности, надеюсь, ты не обидишься на мои слова, рождаются только путем непрерывной работы над собой. Вот причина моих опасений. Жаль, что ты недостаточно поработал над выбором изобразительных средств, что самое трудное при создании художественного произведения. (...)

4 ноября 1916 года. Табата.
Эйитиро Ока

Эйитиро Ока-сама!

Ты тронул меня своей горячей похвалой «Трубки». Даже я, при всем своем сомнении, не считаю эту новеллу столь уж хорошей. Но если бы ты обругал ее, я бы, наверное, разозлился.

«Серебряная монета» Кумэ — шедевр. Первая часть, как мне кажется, сделана рукой зрелого мастера.

Меня обязали написать что-либо для нового номера, и я пребываю в страшном волнении, как перед экзаменом. «Бунсё сэкай» принимает рукописи до десятого, это ужасно.

И тем не менее я решил отправиться вместе с Кумэ, который вернулся с Хоккайдо, в Хонго. Тогда-то мы тебя и навестим. Участники литературного журнала «Синситё» пытаются

использовать его как орудие для уничтожения общества «Сиракаба». Я понимаю их тайный умысел и огорчаюсь. Я собираюсь опубликовать нечто вроде декларации протеста против того, чтобы участники «Синситё» превращались в орудие каких бы то ни было акций.

Рюноскэ Акутагава

13 ноября 1916 года. Табата.

Торао Суга

Торао Суга-сама!

Давно ничего не слышал о Вас, но я надеюсь, сэнсэй, что Вы здоровы. Вы, наверное, знаете от Куроянаги-сэнсэя, что я стал преподавателем Военно-морской школы механиков. Хочу поселиться в Камакуре, оттуда и ездить в Иокосуку. Мне стыдно обременять Вас, но все же хочу попросить: не смогли бы Вы снять мне жилье недалеко от себя. Мои пожелания такие: чтобы дом был ближе к морю, а не к горам, чтобы не стоял в самом конце склона. Потом, Вам это может показаться странным, но мне бы неприятно действовало на нервы, если бы прошлый жилец страдал туберкулезом или еще какой-нибудь заразной болезнью. Что касается размеров, то комната в шесть-восемь дзё меня вполне устроит. Обед я получаю в школе, так что кормить меня придется только два раза — утром и вечером. По воскресеньям и субботам я буду почти всегда ездить в Токио — значит, и в эти дни еды мне не потребуется. Таковы мои условия, и, если Вы найдете что-либо подходящее, сообщите мне, буду весьма признателен. Я должен приступить к работе первого декабря, и, если Вы до тех пор ничего не подыщете, я буду вынужден поселиться в какой-нибудь гостинице в Иокосукэ. Если же Вам удастся найти подходящее жилье, я хотел бы еще до первого перебраться в Камакуру. Простите, что обеспокоил Вас своей просьбой.

Рюноскэ Акутагава

13 декабря 1916 года. Камакура.

Фумиико Цукамото

Получил два твоих письма. Благодарю тебя. Дни текут го-скливо. Лишь твои письма радуют меня. Только что вернулся из Токио. Ездил туда вот почему — нужно было две ночи провести у гроба покойного и помочь в похоронах. Как ты пони-

маешь, хоронили Нацумэ-сэнсэя. Никогда еще я не переживал такого горя. И сейчас сердце сжимается, стоит вспомнить, что сэнсэя нет. Ведь он был первым, кто заметил мои писания. И с тех пор всегда поощрял меня.

Пишу тебе письмо, и все время вспоминаю сэнсэя. На следующий день после смерти сэнсэя его дочь Фудэко-сан пошла в университет, и преподаватель японского языка Хагоро-мо Такэсима дал тему сочинения: «Скорбь в связи со смертью Сосэки-сэнсэя». Записывая тему на доске, он не мог сдержать слез, и все ученики, видя его слезы, расплакались. Лечащего врача сэнсэя Манабэ-сана — он преподает на медицинском факультете — все студенты с волнением спрашивали о состоянии сэнсэя, совершенно не интересуясь самочувствием Оямы-сана. Когда Манабэ-сан сказал, что не сможет прочесть лекции, поскольку должен заняться лечением сэнсэя, студенты в один голос заявили: «Наши занятия мало что значат сейчас, лучше идите к Нацумэ-сэнсэю и вылечите его». Так все заботились о нем, но жизнь есть жизнь, сколько тебе предназначено, столько и проживешь. Я надеялся, что врачи хотя бы на год продлят его жизнь, а сейчас все вокруг меня превратилось в пустыню. Может быть, это связано еще и с тем, что я безумно устал. На этом кончаю — завтра рано вставать.

Рюноскэ Акутагава

*17 декабря 1916 года. Камакура.
Юдзуру Мацуока*

Мацуока-кун!

Может, потому, что я устал и духовно и физически, у меня полный сумбур в голове. Писать я, конечно, пишу, но работа идет медленно, я почти не продвигаюсь вперед. Иногда навещаю Сугу-сана, он показывает мне ксилографы древних каллиграфов и объясняет их прелесть. Он не только блестяще знает предмет, но и сам прекрасный каллиграф. Хотя по его письмам этого не скажешь.

Слишком рано ушел от нас Нацумэ-сан. Я все время об этом думаю.

У меня кончились таблетки, и я впал в уныние. Сходи к врачу, хоть к тому же Кикудзике, возьми у него лекарства, положи в картонную коробочку и пришли, очень прошу тебя. Двадцать второго я приеду и отдам деньги. Только сделай это побыстрее. Стоит мне хоть раз пропустить прием, и нервы оказываются в таком состоянии, что снова

чувствуешь себя совершенно больным, так что очень прошу, постарайся прислать. (...)

Рю

21 декабря 1916 года. Камакура.
Юдзуру Мацуока

Юдзуру-кун!

Ничего у меня не получается. Начал писать «Пальцы», «Подделка», «Копьеносец» — все три никуда не годятся. Я их забросил. Посылаю шестой номер. Хотелось бы писать побольше, но нет времени. Тоскливо.

Рю

1916 год. Табата.
Фумико Цукамото

Фуми-тян!

Пока мы не виделись, ты, наверное, еще подросла. И наверное, немного пополнела. Прошу тебя, стань покрупнее. Ты не должна оставаться худышкой. Но при этом оставайся по-прежнему ребенком. Пусть твое сердце, доброе от природы, останется таким же. Среди людей попадаются маленькие умницы — не будь такой. Не становись похожей на ****. Как ни умна она, это все равно ни к чему. Ни к чему потому, что нет у нее природного прямодушия. Она обладает извращенным не по возрасту умом. Это никуда не годится. Оставайся такой, какая ты есть, не теряй душевной чистоты.

Пусть это трудно — все равно. Я хочу сказать, чтобы ты была такой же, как сейчас. Самое почетное для тебя как человека всегда оставаться такой же душевной. Я люблю тебя, Фуми-тян, именно такой. С кем бы я ни сравнивал тебя, ты никому не уступишь.

Выдающиеся женщины — женщины, пишущие романы, женщины, пишущие картины, женщины, пишущие пьесы, женщины, возглавляющие женские общества, — как правило, авантюристки. Зазнавшиеся дуры. Не нужно уподобляться им. Человек, живущий естественной и честной жизнью, — это человек самого высокого полета. Показуха никогда не нужна. Ты, Фуми-тян, нынешняя, прекраснее десятка таких, как ****.

Будь всегда такой. Этого вполне достаточно. Во всяком случае, я тебя не сравню ни с кем.

Это не комплимент. Я не стану лгать тебе. Прошу тебя — верь мне. Я тебе тоже верю. Нужно, чтобы каждый человек сделал то, что обязан сделать. Всегда поступай так, прошу тебя. Это относится и к учебе, и к домашним обязанностям — выполняй их как следует. Но было бы низко требовать за это какое-то вознаграждение. Возьмем ту же учебу — заниматься ради одних только успехов не следует. Это было бы низким тщеславием. Учиться нужно только ради того, чтобы сделать то, что обязан сделать. Этого вполне достаточно. А какие будут успехи, безразлично. Успехи определяются людьми. Люди же не могут судить о том, чего ты стоишь на самом деле, поэтому их оценка ничего не значит.

Существует множество людей, для которых важны лишь деньги, мнение общества. Людей, которые кичатся богатством, принадлежностью к аристократии. Но богачи могут гордиться лишь деньгами, а не тем, что чего-то стоят сами. Аристократы могут гордиться титулами. Но не тем, что являются выдающимися людьми. Как омерзительны кичливые аристократы и богачи, омерзительны и люди, благоговеющие перед ними. Не нужно брать с них пример. То же относится и к успехам в учебе. Не нужно стремиться к дутой славе. Следует стремиться лишь к тому, чтобы доказать, чего ты стоишь на самом деле. Нужно надеяться только на себя. (...)

Переживая вместе горести и радости, постараемся стать уважаемыми всеми людьми.

Может быть, приедешь ко мне с братом, куда-нибудь сходим. Я все время очень занят. Грустно текут мои дни. Мне хочется почаще видиться с тобой, Фуми-тян. Но, видимо, из этого ничего не выйдет. Все-таки приезжай. Я жду тебя. Можем пойти на выставку.

5 января 1917 года. Табата.
Тадао Суга

Тадао Суга-сама!

Благодарю за письмо. Ты напрасно считаешь, что я забыл о наших встречах в Камакуре. Просто ко мне все время кто-то приходит, и я безумно занят. У меня нет даже времени спокойно написать письмо. Но вот пишу. Это первое мое письмо, напоминающее таковое. В начале месяца написал для «Осака

майнити симбун» довольно необычную новеллу. О других — в «Бунсё сэкай» и «Синтё» — ты, видимо, знаешь. Но все эти три новеллы мне не особенно по душе, и я полон пессимизма. Хотя я и говорю о пессимизме, эта проблема связана только со мной, я совсем не считаю, что мои новеллы хуже, чем у других. Поэтому, если их будет кто-то ругать, я разозлюсь. (...)

Рюноскэ Акутагава

18 января 1917 года. Камакура.
Юдзуру Мацуока

Юдзуру Мацуока-сама!

Прочел новогодние номера самых разных журналов. Хочу написать о своих впечатлениях, чтобы удовлетворить потребность поболтать. Опубликованный в «Тайё» рассказ Хакутё «Иссохшая душа» довольно хорош. Но не более того, хотя и написан аккуратно. Побольше бы умения, на таком материале можно было бы создать поистине трагедийную вещь. Будет случай, прочти. Потом я прочел «Солнце сияет», и мне стало грустно. Слишком уж много в нем недостатков. Прежде всего удивительно не хватает силы, хотя описывается событие, которое должно предстать перед читателем как нечто огромное. Стилль ужасный. Но все же я думаю: не лучше ли он «Бедных людей»? Обе вещи Танидзаки никуда не годятся. Так называемая поэтическая лексика в Японии служит тому, чтобы скрыть пустоту. Все это слишком театрально и неестественно красиво. (...) Таяме не удалось ничего. Разговор монаха с гейшей в рассказе, опубликованном в «Гюокорон», слишком уж вульгарен. Провозгласить натурализм и не уметь написать произведений, основываясь на этом методе, все равно что лысому рекламировать средство для роста волос. Плоха и «Утерянная рукопись» Сатоми. Написана наспех. (...)

Прочитанное произвело на меня самое безрадостное впечатление. Такое убожество. (Лишь в этом пункте я согласен с Когэцу Накамурой-куном.) С огромным интересом прочел о том, как Гюго писал «Собор Парижской богоматери». В декабрьские морозные дни он, распахнув окно, писал, забыв о холоде и вообще обо всем на свете. И меньше чем за год написал эту невероятную вещь — приходится только поражаться этому. В мемуарах одного француза сказано, что однажды Гюго накопил огромное количество бумаги и чернил и подумал: зачем мне столько. И вдруг на следующий день Гюго засел за

«Собор Парижской богородицы». Такого не бывает сейчас ни с одним писателем. Видимо, то же случилось с сэнсэем, когда он начал писать свой роман.

Я все время читаю, как делал это и в годы учебы в колледже. Иначе не могу. Почему? Сам не понимаю. Сейчас читаю «Разбойников» Шиллера. До этого прочел чудесные сказки Гофмана, и мне захотелось написать какой-нибудь страшный рассказ о привидениях, но отложил свою затею. Впервые прочел Гауфа. Выдающиеся мастера непринужденно и свободно идут к намеченной цели — за ними не угонишься. Да и не столь выдающиеся тоже. (...)

Рю

8 февраля 1917 года. Камакура.
Кёко Нацумэ

Кёко Нацумэ-сама!

Пишу Вам потому, что мне очень стыдно — Кумэ и Мацуока навестили Вас, а я, бессовестный, не поехал и остался в Кумамото.

Большое спасибо за «Мрак» и фотографию, которые Вы передали для меня. На днях они вернулись в Токио. Мне нужно успеть к сроку, а то рукопись не примут, потому-то я и не смог поехать вместе с ними. Я и сейчас еще работаю не покладая рук. Часто вспоминаю сэнсэя.

Мои новеллы, которые раньше все без устали ругали, только сэнсэй хвалил. После этого, кто бы их ни ругал, я всегда оставался спокоен. Достаточно того, что их хвалит сэнсэй, успокаивал я себя. Теперь, всякий раз садясь за работу над очередной новеллой, я сразу же вспоминаю об этом. В Камакюре убийственная скука. В школе тоже ничего интересного. Бывает, я ошибаюсь и учащиеся подкалывают меня. Все они отчаянные ребята и убеждены, что, какой бы безнравственный поступок ни совершить, он все равно обернется добром. (Возможно, такое убеждение, исходя из определенных обстоятельств, является общепринятым среди военных.) Потому-то они и подкалывают меня, подлавливая на ошибке, сбивая с меня спесь. В этом году наша встреча падает на пятницу, и мне, видимо, приехать не удастся. В субботу у меня занятия с самого утра.

Вы уже прочли «Брата нужного человека» Мацуоки? Если будет время, прочтите обязательно. Прекрасное произведе-

ние. Прочтите и «Наказание железными палками» Кумэ, хотя бы в память о его беспутном поведении.

Только поел. Наелся так, что даже живот болит. Написал это и тут же вспомнил, как Вы нас всегда кормите, прямо на убой.

Рюноскэ Акутагава

9 февраля 1917 года. Камакура.

Кё Цунэто

Как поживаешь? Я по-прежнему буквальнорываюсь между основной своей работой и побочной. У Масако-сан тоже все без перемен. К Новому году собирался послать в Усигомэ поздравительную открытку, но, не зная адреса, не смог этого сделать.

Недавно захотелось написать большую вещь, но все никак не соберусь. Иногда беседую с Сугай-саном о каллиграфии. Подружился с его детьми. Они — может быть, оттого, что нет матери, — очень ласковые, приветливые. Хорошо в Камакуре. Я даже подумываю, не поселиться ли тут навсегда. Здешние храмы — олицетворение безмятежности и покоя. Одинокие сливы, бамбуковые рощи, голубые водопады, песчаные отмели, поросшие мхом камни, уединенные, молчаливые храмы, буддийские пагоды — все эти атрибуты китайской поэзии в изобилии представлены в Камакуре.

Недавно, увидев у Хары несколько картин, проникся огромным уважением к японцам. В давние времена среди них было множество выдающихся личностей. Особенно выдающимися были художники эпохи Тэмпё. По сравнению с ними великий Сэсю щенок. Рядом с древней живописью не смотрелись даже Гахо и Кандзан. (...)

Рю

29 марта 1917 года. Табата.

Юдзуру Мацуока

Мацуока-кун!

Сегодня увидел твое письмо, которое мне переслали из Камакуры. Прочел его, лежа в постели и глотая кислую слюну. Чувствую себя еще не совсем здоровым. Хочется навсегда распрощаться со школой. Писать тоже не хочется. Но жить в безделье, мне кажется, тоже было бы грустно. С другой стороны, может быть, в этом и есть мое назначение. «Воры» ужасны. Дешевка, рассчитанная на самый непрехотливый вкус.

Там есть, например, такое место: я, автор, заставляю женщину на последнем месяце беременности выпить какое-то зелье, чтобы вызвать выкидыш. Человеку свойственна глупость. Есть там и другие бессмысленные выдумки. Характеры лишены четких очертаний. Когда у меня был жар, доски на потолке казались мраморными, а теперь снова стали деревянными. Примерно также воспринимались мной «Ворь» до того и после того, как я их написал. Это худшее из всего написанного мной. В общем, я не тот человек, который способен создать нечто путное.

Когда у меня сильно повышалась температура (это было два раза Один — после того, как ко мне приходили Кумэ и Акаги), я чувствовал, что умираю, и мне становилось невыносимо горько. Умереть было бы слишком уж нелепо. Сделанное мной до сих пор — ничтожно. Как мне представляется, я не выстроил как следует ни свои мысли, ни свои писания. Из-за усталости, наверное. (...)

Рю

5 апреля 1917 года, Камакура.
Харуо Сато.

Харуо Сато-сама!

Сегодня прочел в поезде «Сэйдза» за этот месяц. И был очень тронут. Кроме благодарности за похвалу, есть и другая причина, почему я был тронут.

Пишу это письмо, чтобы объяснить причину. Вы пишете, что у нас есть много общего. Я и сам так думаю. Или, возможно, на меня оказывало влияние чтение Ваших произведений. Не в том смысле, что я из них что-то заимствовал, а в том, что, познакомившись с ними, я отважился писать свои. Сам факт, что существует человек, пишущий такие вещи, заставил меня отважиться на то, чтобы публиковать свои — вот в каком смысле я говорю о влиянии. Возможно, Вы примете мои слова за лесть, но это не так. Во всяком случае, читая Ваши произведения, я в некотором смысле почувствовал, что они близки мне. Действительно, близки, начиная еще с давнего «Нимба» и кончая нынешними рассказами о той самой собаке — это тоже факт. Но я думаю, что много общего у нас не только поэтому. Я страдаю такой же жаждой совершенства, как Вы. Временами мне приходила в голову мысль, что из-за этого я вынужден буду закончить свои дни, чувствуя себя дилетантом.

Иногда я даже гордился этим. Разумеется, кроме жажды совершенства тут примешивается и некоторое позерство — боязнь оказаться в смешном положении, но главное — над мной всегда висит проклятие, которое можно выразить китайской поговоркой: видит глаз, да не дотянешься.

Но вдруг в какой-то счастливый момент мной овладевает отвага. Я боюсь, что употребленное мной слово «отвага» покажется самовосхвалением, но я действительно иногда проявляю безрассудную храбрость. Временами ее можно объяснить минутной прихотью, бесследно исчезающей через два-три месяца. Однако друзья и товарищи всячески восхваляют мою храбрость, и поэтому до сих пор я остался таким же, как и раньше, — храбрым до бесстыдства.

Но в то же время я ни на йоту не смог преодолеть проклятья жажды совершенства. Разумеется, сейчас это доставляет мне гораздо больше страданий, чем раньше, когда я еще не начал писать. Поэтому к своим собственным произведениям я могу относиться и высокомерно, и скромно. С точки зрения моих художественных идеалов то, что я сейчас пишу, достойно, как мне кажется, сочувствия, и, если кто-то будет утверждать, что они ничего не стоят, я, наверное, рассержусь. Мне кажется, что и Вам не чуждо подобное чувство. Поэтому у меня ощущение, что и в этом у нас с Вами много общего. Вы так не думаете?

Но даже если и не думаете, то все равно читайте то, что я буду писать впредь, — тогда, рассматривая написанное мной, Вы станете порицать то, что я порицаю, и хвалить то, что я хвалю в своем творчестве (простите мое самомнение, оно совсем крохотное). Мне, конечно, было бы неприятно читать Ваши критические замечания напечатанными в журнале. Но в то же время и приятно. Поэтому я был очень тронут, прочитав Вашу статью.

Я, как и Вы, хотел перевести «Человеческую трагедию». Так же, как и Вы, я преклоняюсь перед поэзией Сайто-куна. Не могу лишь сочувствовать Вашему отношению к собакам. Как и Стриндберг, я их терпеть не могу.

Написал Вам письмо из желания высказать свои мысли. Дописал до этого места и вдруг подумал: не будет ли с моей стороны невежливым посылать такое письмо? Ведь мы с Вами еще ни разу не разговаривали. Прошу прощения и надеюсь, что Вы извините меня. Не сердитесь на мое нахальство.

Может быть, и это нахальство, но у меня есть еще одна просьба. Не обращайтесь со мной как с любимцем публики. На самом деле у меня нет ни малейшей популярности. Как правило, люди считают меня ненастоящим писателем. Недавно я узнал, что у многих — даже предположить этого не мог — такое же мнение обо мне, как у Когэцу Накамуры-куна.

Мне бы хотелось навестить Вас, если только Вы к моему приходу привяжете собаку, но в ближайшие две-три недели должен писать неотрывно — сроки поджимают, так что сейчас вряд ли удастся сделать это.

Я мог бы писать в таком же роде до бесконечности, поэтому кончаю.

Рюноскэ Акутагава

18 апреля 1917 года. Камакура.
Фумико Цукамото

В последнее время ты приезжала часто. Но каждый раз кто-то приходил, и мы не могли спокойно побыть вдвоем, жаль. Мне кажется, мы способны говорить бесконечно, но, как видишь, ничего не получается.

Дней пять-шесть назад я видел в электричке, как хулиганы приставали к девушке. Видимо, она возвращалась из колледжа или еще откуда-то. Хулиганов было трое. Вульгарные, омерзительные. Девушка сошла, кажется, в Харамати, они выскочили вслед за ней. Хотя все это происходило днем, мне стало жаль девушку, беспокойно за нее. А вдруг такое случилось бы с тобой — даже подумать страшно. Я ехал тогда к Нацумэ-сан и, когда, приехав, рассказал об этом, поразился, услышав от нее, что дочь преследует один китайский студент, обучающийся в Японии. Вернее, не преследует, а стоит за воротами и ждет, пока она выйдет из дому, звонит по телефону, в общем, ведет себя самым неподобающим образом. Услышав это, я еще больше забеспокоился о тебе.

Когда на следующий день, приехав в школу в Иокосукэ, я рассказал об этих токийских хулиганах, то узнал, что и в Иокосукэ есть такие же хулиганские компании. Они полосуют хаори, затевают в поездах драки. Мне стало еще беспокойнее. На свете гораздо больше таких хулиганов, чем представляется

нам, порядочным людям. Будь осторожна. Это пойдет на благо нам обоим.

В будущем году, примерно в это время, мы сможем зажить своей семьей. Мое жалованье всего шестьдесят иен — нищенское, конечно. Так что участь твоя весьма незавидная, будь готова к этому. В дни печали мы будем печалиться вместе, но зато в дни радости — радоваться вместе. Так или иначе, все образуется. Лучше быть первосортным бедняком, чем второсортным нуворишем. Можешь смело так считать.

У меня есть работа. Правда, не такая уж приятная. Она мне доставит еще немало горестей и печалей. Но что бы она мне ни доставляла, если только ты будешь со мной, я выйду победителем из всех бед. Это никакое не преувеличение. Я в самом деле так думаю. И всегда так думал. Кроме тебя, Фуми-тян, нет ни одного человека, с кем бы я хотел жить вместе. Только с тобой. Лишь бы ты была такой же, как сейчас, такой же естественной и прямодушной, как сейчас, лишь бы любила меня.

Я все время беспокоюсь и поэтому спрашиваю: ты меня правда любишь?

Никому не показывай, пожалуйста, это письмо. Если его прочтут, мне будет неловко.

Рю

7 мая 1917 года. Камакура.

Юдзуру Мацуока

Мацуока-кун!

Во-первых, поскорее сообщи, понравился ли тебе журнал. Я очень беспокоюсь. А у меня сейчас, перед вступительными экзаменами, сплошные совещания, нет свободной минуты. Я даже выступал: «Совершенно согласен с предложениями учебного отдела». Не смейся. И ют результат — в субботу меня запрягли до трех часов, а в четыре потащили на прощальный вечер в связи с уходом в отставку нашего ведущего профессора Мацуи.

Морита-сан, разбирая «Его младшую сестру», заявил: «Не понимаю, почему Кодзи не стала массажисткой». Безапелляционное заявление. В японских пьесах дзёрури есть множество сюжетов, когда жена, чтобы добыть деньги для мужа, становится куртизанкой. По западным понятиям — огромная трагедия. Тем более если вместо слова «куртизанка» употребить «проститутка». Однако в Японии такого рода событие само по себе не рассматривается как трагическое. Даже для Кёка Ид-

зуми трагедия продающей себя женщины лежит beyond¹ факта продажи своего тела, лежит в сфере возникающих впоследствии распрей. А вот мне почему-то в последнее время стало казаться, что так называемое восточное поведение в таких обстоятельствах имеет немало героических черт. Прочитал недавно книгу Коё Сакаино, в которой отрицается как ложный факт, будто святой Нитирэн, перед тем как отправиться в Тацунокути, обругал Хатимана-саму. Вполне основательно, как мне кажется. Ведь такое скандальное поведение его совсем не украшает. И если сочинение святого Нитирэна — апокриф, всякие истории о его непристойных выходках отпадают сами собой. Это радует.

Теперь о другом. Я замыслил повесть в трех частях Начало — эпоха Нара. Далее — эпоха Воюющих царств. Конец — период Реставрации. Стержень ее — борьба иностранных и японских богов, стремящихся вытеснить друг друга. Кроме того, я переписываю большую часть «Воров». В сентябре собираюсь отдать в какой-нибудь журнал. Обязательно опубликуй своего «Дзидзо-сама». Прочел «Мечь» Кумэ. Первая половина хороша, а дальше никуда не годится. Его «Эротические забавы», пожалуй, лучше. Конец представляется мне очень уж неприглядным. Причем неприглядны не факты. Непригляден сам замысел. Мне кажется, такая неприглядность довольно часто появляется в произведениях Кумэ. Хотя в начале описание вполне добротное, сделано в свойственной ему манере. Не нравятся мне и некоторые другие появившиеся произведения. В том же «Синсэсэцу» я прочел статью Хисао Хоммы «О Морисе», она меня разочаровала. Ничто ее не спасает. И поскольку не спасает, то и автора жалеть нечего. Ты решил писать для «Куросио»? Недавно в Камакуру приехал Наканэ. Я не могу написать (в шестой номер) и порекомендовал Кумэ и тебя. Как ты на это смотришь? (...)

Рю

31 мая 1917 года. Камакура.
Фушико Цукамото

Я постоянно беспокоюсь о тебе.

Сегодня ходил к Вацудзи-сану в Кугэному. Дом его стоит в сосновой роще. В восточной части дома — каби-

¹ Вне (англ.).

нет, в котором висит большая картина — «Мона Лиза», под ней работает Вацудзи-сан. У него жена и дочь. Все они выглядят очень счастливыми. Я позавидовал этому тихому, мирному дому. Когда и у нас будет дом, который вселит в меня покой, я тоже смогу так же работать, подумалось мне. А как сейчас скитаться по углам — что в этом может быть хорошего?

Рад, что тебе неведомы литературные занятия. Чужестранец по имени Стриндберг говорит: «Самое прекрасное — когда женщина вяжет и когда прижимает к груди ребенка». Я тоже так думаю.

В письмах лучше ничего не приукрашивать. Лучше чистосердечно писать все, что думаешь. Поэтому пиши как всегда, это меня вполне устраивает. Твои письма не кажутся мне ни пустяковыми, ни смешными. Мне бы хотелось, чтобы твоя душа всегда позволяла тебе писать такие простодушные, чистые письма. Не нужно красоваться, заботиться о стилистических ухищрениях. Сейчас уже ночь. Слышится далекий рокот волн. Моросит. Открыл дверь — сладко запахло какими-то цветами.

Пишу письмо, все время думая о тебе. Ты сейчас уже, наверное, спишь.

Рюноскэ Акутагава

16 июня 1917 года. Камакура.

Кан Эгути, Харуо Сата

Я тронут вашим намерением устроить вечер в связи с выходом «Ворот Расёмон». Если вы это сделаете, буду очень благодарен. Из числа известных литераторов я послал книгу Морите, Судзуки, Комия, Абэ, еще одному Абэ, Вацудзи, Куботе, Хате, Танидзаки, Гото, Ногами, Сангу, Хинацу, Ямамото.

Правда, двадцать второго (это пятница, а суббота — двадцать третье) приехать не смогу. А двадцать четвертого, поскольку будет проводиться освидетельствование призывников, я смогу приехать, этот день мне очень удобен. Может быть, так и сделаем? Решайте, где и в котором часу, и сообщите в Табату. Хорошо бы отправить туда же и газету со статьей Эгути-куна.

Рю

30 июня 1917 года. Камакура.

Кан Эгути

Кан Эгути-сама!

Благодарю за всё. В школе прочел вторую и третью статьи обо мне. Перехваливаешь ты меня. Особенно «Барсука» — пустая вещица. Что же касается несколько надуманной «Судьбы», то в ней сознательно использованы атрибуты старины. Это произведение, в котором нашел отражение определенный интерес к старине, и я испытываю чувство неудовлетворенности еще с тех пор, как вышла моя «Верность» — ты высказал о ней совершенно правильное мнение. «Ворота Расёмон» — предмет моей гордости — мои товарищи по «Синситё» раскритиковали. Думаю, зачинщик критики — Нарусэ, ну что же, ничего не поделаешь.

Сегодня прочел рассказ Кумэ. По-моему, немного не ясна его позиция. Думаю, было бы интереснее, если бы он рассказывал небылицы в стиле Вида. Я уверен, что это позволило бы ярче выявить главное. Слишком уж ярко нарисована женщина, идущая под зонтом. Меня удивила высокая оценка «Так называемой лунной ночи» Цубоути. Даже Танидзаки и того похвалили. Пишет он, возможно, и неплохо, но ведь этого еще недостаточно. Ему присуще лишь писательское мастерство. Смешно, что литераторы из «Васэда бунгаку», презирующие мастерство, хвалят его. Это уж просто никуда не годится.

Каждый день купаюсь в море. Сильно загорел. Думаю, как бы лучше провести летние каникулы.

Твой Рюноскэ Акутагава

6 июля 1917 года. Камакура.

Фумико Цукамото

Вчера получил твое письмо, благодарю тебя. Я здоров, живу буднично. Скоро каникулы, это меня очень радует. Правда, придется потерпеть еще дней пятнадцать. Как надоело скитаться по углам. Только и думают, как бы с тебя побольше сорвать, а радушием и не пахнет — это невыносимо. Ты сейчас поучись готовить, а когда станем жить вместе, будешь меня кормить. Я люблю вкусно поесть.

Недавно проплыл на военном корабле из Иокосуки в Юу, префектура Ямагути, а оттуда через Ивакуни и Киото вернулся домой. В Киото зашел к Суругая поесть бобовой пастилы.

Прекрасная там пастила, не переслащенная. Когда в следующий раз поеду в Киото, я тебе куплю в подарок, хочешь? В Камакуру приезжает множество иностранцев. Смотришь, как по вечерам они толпами прогуливаются по городу, и кажется, будто это прогуливаются европейские пирожные, очень красиво. Недавно старушка-иностранка что-то покупала в лавке и никак не могла договориться с хозяином-японцем, я стал переводить. Она очень обрадовалась и все время благодарила меня. С тех пор, запомнив меня в лицо, она при встрече со мной на улице еще издали начинала здороваться. Теперь она уже, конечно, уехала.

Каждый день перед моим домом важно прогуливается размалеванная девица. Какая же она всегда бодрая и энергичная, несмотря на жару, думаю я с восхищением. На дровяном складе поблизости вчера кто-то умер, была панихида. Сегодня утром, проходя мимо, я видел, как хозяйка, глотая слезы, ела пирожок с бобовой начинкой. Она выглядела одновременно и жалкой и смешной. На этом заканчиваю — итак уж написал массу всякой чепухи.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Все время думаю: писать или не писать, когда не пишется. Поэтому на целый день опоздал с ответом. Всем привет.

*19 июля 1917 года. Камакура.
Тадатака Икэсаки*

Только что прибыла твоя вторая открытка. Минуя Токио, приезжай прямо в Камакуру либо пароходом, либо паромом. Здесь такие Franch & American bellies¹, похожие на европейские пирожные, просто загляденье. Одной из них я недавно переводил.

С большим интересом прочел «Монаха и его учеников» Кураты. Пишу тебе, как человеку, связанному с ним. В общем, приезжай. В последнее время хайку мне, кажется, удаются. Вот одна из них

Дождь цветущая акация
Вот кто укрывает
Змей и женщин

¹ Французские и американские красотки (*фр.*).

26 июля 1917 года. Табата.

Юдзуру Мацуока

Юдзуру-сама!

Вчера вернулся из Камакуры. Никак не могу закончить переделку «Воров», поэтому решил отложить эту работу до конца года, а в сентябре опубликовать две новых вещи. Но беспокоюсь — а вдруг не успею, как с «Ворами». Через пару дней у меня встреча в издательстве «Оранда сёбо». В Токио невыносимая жара. Даже нагишом и то жарко, просто сил нет. Жара забирает всю жизненную энергию без остатка. Я уже сыт по горло романами, длинными, как «Карамазовы». Но зато с большим интересом прочел миниатюры Сиги, опубликованные в июльском номере «Сиракаба», они привели меня в восхищение. Ты читал? Немалое мое восхищение вызвал и «Монах и его ученик». Попалось мне в журнале немало и других вещей, значительно лучших, чем, к примеру, «Его старшая сестра» Муся. Очень важно, когда пишут о борении душ, не касаясь близкой нам исконной борьбы души и тела. Во всяком случае, это поучительно. (...)

Рю

29 августа 1917 года. Камакура.

Кё Цунэто

Прости за долгое молчание.

Надеюсь, Масако-сан здорова. Летние каникулы провел в Токио. С Кохей Акаги-саном собирался съездить в Киото, но там начались кое-какие события, и мы решили не ехать. Был план посмотреть остров Мацудзима, но и он сорвался.

В Токио я каждый день читал, писал — в общем, коротал время в мире и покое. Никуда не выходил из дому, даже в театре ни разу не был. А когда кто-нибудь приходил, все время молчал, не вступая в разговор. Что же касается жары, то должен сказать — токийская не показалась мне такой уж страшной после того, как в Йокосуке я еле передвигал ноги, изнывая от духоты. С желудком у меня все в порядке. После того как я поселился в Камакуре, здоровье мое поправилось.

Примерно в марте будущего года собираюсь окончательно поселиться в Камакуре, однако это не более чем мечтания — не знаю, удастся ли их осуществить. Но что точно — стало невыносимо скитание по углам.

Честно говоря, мне бы хотелось уйти из школы и зажить спокойной, размеренной жизнью, но обстоятельства не позволяют сделать это. Упиваться ароматом цветов, читать книги — как прекрасно жить этим, думаю я, но это лишь думы, что ужасно. Я ведь всегда был восточным эпикурейцем. Вот и сейчас, читая книги, прославляющие китайских отшельников, я завидую им. (...)

Рюноскэ Акутагава

29 августа 1917 года. Табата.

Кэйдзо и Ханакэ Сано

Кэйдзо Сано-сама!

Ханакэ Сано-сама!

Каникулы закончились, и я снова затосковал. Посылаю вам одновременно свои «Записки о морском путешествии». Мне очень неудобно, но, поскольку я должен поместить их в альбом газетных вырезок, прочитав, верните мне их, пожалуйста.

Пишу это письмо и чувствую угрызения совести. В первую очередь это относится к Вам, Оку-сан. И письмо должен был послать гораздо раньше, и «Записки о морском путешествии» должен был послать гораздо раньше. В общем, я очень виноват перед Вами.

Когда я не занят делами, занят развлечениями — посочувствуйте мне. Сколько у меня в Иокосуке хороших друзей, столько в Токио дурных. Они искушают меня, и мы без конца ходим в театры, на концерты. Вот так из ленищегося писать письма я превратился в ленищегося совершать благие дела.

Сегодня приходили мои дурные друзья. Они только что ушли. Я вынес столик и стул на веранду и пишу вам. (...)

Преданный вам Рюноскэ Акутагава

4 сентября 1917 года. Камакура.

Кё Цунэто

Пишу тебе, испытывая большую радость оттого, что ты согласился с моим желанием начать отшельническую жизнь.

Что касается отшельнической жизни, то на востоке она более прогрессивное явление, чем на Западе. Хотя речь идет об одном и том же отшельничестве, я не особенно сочувствую тому, как ведут себя западные монахи. Эпикур купил землю,

разбил сад и совершал прогулки с учениками — на Западе такое поведение считают чуть ли не идеальным, а на Востоке оно в порядке вещей. Особенно преуспели в этом китайцы. Можно только позавидовать таким высокопоставленным бездельникам, как Ван Мо и Цзе Цзюнь (Тао Цзюнь поселился в глухой деревушке, и вообще мне он далек). Гуляя в саду, сочинять хайку, а когда выдается свободное время, читать книги — для меня это было бы высшим наслаждением, но ничего не выходит — человек должен добывать средства к существованию. Ты говоришь, чтобы я не писал слишком много, но жизнь заставляет меня писать изо дня в день, из месяца в месяц. В этом месяце тоже написал две вещи — в «Куросию» и «Тюокорон». Написал для «Синтё» «Дневники». Я тебе пришлю из Токио, обязательно прочти.

С тех пор как отшельничеством в Японии заинтересовалась буржуазия, оно деградировало. Популяризация нередко принимает форму вульгаризации. В эпоху Токугавы, в годы Гэнна, одним из отшельников стал видный военачальник Исикава Дзёсан, вслед за ним в городе появилась масса отшельников, и в результате идея отшельничества оказалась профанированной. Самым великим отшельником, по-моему, был Басё, живший в годы Гэнроку. Нет, постой, после него был еще Икэ Тайга. И Кофу Такэси. Моя история отшельничества несколько сомнительна, прости.

Очень хорошо, что Масако-сан забеременела. Среди жен моих друзей двое таких. Одна из них фрау Акаги.

Когда я заживу своей семьей, мне нужно будет проявлять в этом вопросе осмотрительность, не спешить — ведь я бедняк. Но все равно это, наверно, лучше, чем скитаться по углам. Что может быть мрачнее, безрадостнее такой жизни. Пока Синг жил в Париже, снимая каморку, он не смог написать ничего путного, и это вполне естественно.

Если говорить о творчестве, тем сколько угодно, но у меня совсем нет условий, которые бы позволяли писать. К тому же затекает поясница. Когда не думаешь о ней, вроде и ничего, но стоит подумать, начинает затекать, просто сил нет.

Прочтя как-то, что Шаванне, не читая, сжигал критические отзывы о своих картинах и спокойно продолжал творить, я решил тоже прибегнуть к этому методу. Это был единственный выход для импрессионистов, иначе бы они ничего не создали. Я тоже считаю, что нужно быть свободным от критики твоих работ, сохранять свою творческую свободу.

С недавних пор я стал преклоняться перед картинами Тайга. Почему лишь один такой художник появился в тот век? Он даже более велик, чем Сэсю. (...)

Рю

4 сентября 1917 года. Камакура.

Фумико Цукамото

Фуми-тян!

Несколько дней прожила у меня в Камакуре тетушка, только что уехала обратно в Токио. Проводив ее, я вернулся домой и, испытывая грусть, стал писать тебе письмо. У меня чувство, что только оно поможет мне избавиться от этой грусти.

Если в прошлый раз я вел себя не так, как следует, прости.

Ты рассказала тогда, что тебя выбранил преподаватель этики. Меня обрадовал твой рассказ. Ты должна всегда быть такой. Не прав был преподаватель, выбранивший тебя. Прекрасно, если ты всю свою жизнь будешь такой. С кем бы ты ни столкнулась, ты не должна робеть. Будь всегда такой же честной. Чего не знаешь, прямо говори, что не знаешь. Человек должен всегда так поступать. Как бы ни старались казаться respectable женой или дочью никчемного человека, они все равно не смогут поступать по-людски. Слушая твой рассказ, я радовался и одновременно восхищался тобой.

Я тебя хвалю, но ты не должна задаваться.

Ещё одна радость — тетушка очень тепло отозвалась о твоём честном поступке. После того дня я чуть ли не до слез радовался каждому твоему письму. Честный человек всегда найдет путь к сердцу честного человека. Им не могут помешать бесчестные люди, как бы они ни старались. Мы с тетушкой радовались нашему с тобой счастью. Порадуйся и ты, Фуми-тян, вместе с нами.

И последнее. Когда мы с тобой и Ясу-саном шли на станцию, мимо нас прошла женщина и я, продолжая разговор, украдкой взглянул на нее. Ты сказала, чтобы я этого не делал. Это тоже порадовало меня.

Люди, возможно, подумают, чего, мол, он радуется таким малостям. Но это говорит лишь об их ничтожестве. Я уверен, что цена человека лучше всего познается на мелочах. Когда речь идет о чем-то значительном, каждый поступает осматривательно, и поэтому низость его выявляется не столь явственно.

Когда же речь идет о незначительном, человек не особенно задумывается над своим поведением. Другими словами, ведет себя естественно. Тут его не спасет никакое желание скрыть свою сущность — истинная цена человека, помимо его желания, все равно выплывет наружу. Вот почему так называемые мелочи с точки зрения истинной цены человека на самом деле мелочами не являются. Я уже много раз наблюдал низость мужчин и женщин, проявляющуюся в мелочах. Такие люди отвратительны мне, будто от них исходит омерзительный запах. Они всегда держатся в обществе вместе.

Давай будем жить тихо и счастливо, не умничая, не зазнаваясь. Если бы только нам это удалось, какими бы мудрыми людьми были бы мы с тобой.

В последнее время часто думаю о том, что пора заводить свой дом. Но я так беден и пока не смогу обеспечить достойную жизнь.

Гуляет ветер, шумит море. Шумят сосны. Полнолуние, но небо покрыто тучами, и луны не видно. На свет лампы летит мошкара. Пишу тебе, и моя тоска понемногу исчезает.

Передай привет маме, поблагодари ее за письмо, которое она мне недавно прислала. Во время каникул хотел навестить вас, но был так занят, что не смог этого сделать. Извинись за меня.

Несколько дней назад пришла открытка от Яси-сана. Она написана гораздо лучше той, которую он прислал мне в прошлом году из Итиномии, я восхищен. Действительно восхищен — передай ему мои слова.

Первого числа проводились вступительные экзамены, я был в сюртуке и цилиндре. Сюртук плохо хранился, и пуговицы покрылись плесенью. Вот и всё.

Рю

*5 сентября 1917 года. Камакура.
Фуmico Цукамото*

Наши письма разминулись.

Только что прочел твое письмо, Фуми-тян, и сразу же отвечаю. История, связанная с Нацумэ-сан, может быть истолкована ошибочно, поэтому я ни с кем о ней не говорил. Только твоему братцу я как-то рассказал об этой истории и попросил никого (разумеется, ни маме, ни тебе) не передавать сказанного. Мне было неприятно, что могут подумать, будто я хва-

стаюсь таким оборотом дела. Брат поступил плохо, передав тебе наш разговор. Как только встречу с ним — обязательно отругаю. Обещания нужно держать.

Нацумэ-сан даже и не помышляет обо мне. Не помышляю о ней и я. Я дал обещание тебе, Фуми-тян, и нет никакой необходимости говорить, отказываюсь я от Нацумэ-сан или нет. Даже если бы и не обещал тебе, все равно отказался бы.

Мне даже и во сне не привидится, что я смогу счастливо прожить жизнь не с тобой, Фуми-тян, а с каким-то другим человеком. Ты — единственная, способная дать мне силы, сделать мою жизнь счастливой. Вот почему ты так нужна мне. Если бы я должен был сражаться за тебя, как в давние времена сражались за женщину, чтобы жениться на ней, я бы вступил в бой с кем угодно. И довел бы его до победного конца. Так ты мне дорога, Фуми-тян. Я готов без стеснения заявить это перед всеми богами. Я люблю тебя, Фуми-тян. Люби и ты меня.

Любящие могут преодолеть все. Даже смерть бессильна перед любовью.

Не забывай, Фуми-тян, что я люблю тебя больше всех. И думай иногда обо мне. Я веду сейчас жалкую жизнь постояльца. Но как только мы сможем быть вместе, во мне, я уверен, родятся новые силы. И тогда мне ничего не будет страшно.

Только когда ты переедешь ко мне, твоей маме, должно быть, станет одиноко. Это печально. Ты, наверное, тоже так думаешь. (...)

Опять написал длиннее письмо. На этом заканчиваю. Если будет время, напиши.

Рюноске Акутагава

13 сентября 1917 года. Камакура.

Фумико Цукамото

Привет.

Я начинаю думать, что два моих последних письма не дошли до тебя.

Ждал твое письмо с огромным нетерпением. И теперь очень беспокоюсь — может быть, не дошли мои письма, может быть, не дошло твое. В ближайшее время собираюсь перебраться в Июосуку (на этой неделе). Поэтому пока не знаю своего нового адреса, так что отправляй письма

в Табату. Если захочется, напиши, пожалуйста. Не напишешь — буду тосковать. (...)

Рюноскэ Акутагава

13 сентября 1917 года.

Тадао Суга

Суга-сама!

У тебя нет никакой необходимости извиняться передо мной. Брат не знал, что Коматидзоно — гостиница. Потом решил, что я вступил в определенные отношения с горничной из Коматидзоно. (Наверное, ты тоже так считаешь. Мне остается только горько улыбнуться.) Однако я уладил это недоразумение. Так что тебе нечего беспокоиться.

В будущем году я женюсь. Я не дошел до такой низости, чтобы вступать в интимные отношения с другой девушкой. Можешь быть спокоен и на этот счет. Лучше не отделять меня, преподавателя школы механиков, от меня — писателя. После твоего отъезда я заскучал и решил перебраться в Иокосуку. (...) Завтра переезжаю. Если в воскресенье выдастся время, приезжай ко мне.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Суга-сан, книга Тургенева — один из томов принадлежащего мне собрания сочинений, постарайся не потерять, очень прошу.

16 сентября 1917 года. Табата.

Мотоо Отагуро

Мотоо Отагуро-сама!

На днях получил Вашу книгу, очень признателен. Должен был сразу же поблагодарить, но переезжал в Иокосуку, была масса дел, и поэтому пришлось отложить до сегодняшнего дня. Полученную книгу я прочел в тот же вечер, и у меня явились такие мысли.

Я подумал: «В балете есть содержание, характерное для балета. Разумеется, оно не может быть аналогичным содержанию в скульптуре или живописи. Поэтому настанет время, когда и в балете наверняка будет порицаться картинность или скульптурность, как порицалась живопись импрессиони-

стов». Вы согласны со мной? Я бы еще вот что сказал: по-моему, содержание балета (во всяком случае, то, что его выражает) — это чувство движения, даже самого незначительного. Когда смотришь на колеса двинувшегося экипажа, кажется, будто они вращаются в обратную сторону — так происходит чуть заметное движение. Оно присуще и ветвям деревьев, и человеческому телу, но, я думаю, если это не балет, на это никто не обращает внимания. А вот в балете движение должно быть обязательно выражено. Потому я и привел эту цитату. Я считаю, что это банальная истина.

Ворчу, но пишу для «Бунсё сэкай». Завтра возвращаюсь в Иокосуку.

Ваш Рюноскэ Акутагава

19 сентября 1917 года. Иокосука.
Фумико Цукамото

Очень благодарен тебе за письмо. Я прочел его позавчера в Токио. Понимаю, что виноват перед тобой за свою настойчивость.

Школа и литература одновременно — это действительно многовато. Поэтому в будущем я намерен остановиться на одном из двух. Не просто намерен — твердо намерен. Это будет, конечно, литература. Преподавание не очень подходит моему характеру. Моя самая заветная мечта — жить молодым отшельником, читать, писать. Сейчас этого не получается, но, может быть, когда-нибудь получится?

То, что ты, Фуми-тян, ничего не умеешь, — прекрасно. Оставайся такой, как сейчас. Ни в коем случае не превращайся в некую выдающуюся девушку, которая может все. Слишком уж много развелось их на свете.

Будь ребенком. Это лучше всего. Мне бы и самому хотелось стать ребенком. Но ничего не получается. Если бы с твоей помощью мне это удалось, мы бы жили как два ребенка.

В доме, где я поселился, живут только двое — старушка и служанка. По понятиям Иокосуки, дом довольно богатый. Я снимаю комнату в восемь дзё на втором этаже. Дом хоть и старый, но очень покойный. Старушка глуховата и часто отвечает невпопад. Вот и сегодня утром я говорю: «Уже, наверное, часов семь», а она отвечает: «Да, рукой подать». Так и не пойму, с чем она спутала семь часов.

Жить в Иокосуке, имея в виду школу, мне удобнее, но само место не особенно привлекательное. Может быть, лучше обосноваться в Камакуре? Как ты думаешь? Если остаться в Иокосуке, не избежать взаимных посещений и всяких других малоприятных вещей. А терпеть такие посещения и жить как два ребенка, несовместимо. И вообще эти взаимные посещения не по мне.

Сегодня в десять часов утра умер военный преподаватель нашей школы Хомма. Проболел всего четыре дня и умер. Я был потрясен — он всегда казался мне крепким, здоровым человеком. Говорят, у него было заражение крови. Я должен буду сочинить надгробную речь, которую прочтет начальник школы на похоронах. Так не хочется писать ее.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Ответа можешь не писать.

P.P.S. Мой новый адрес: Иокосука, Сиоирэ 580. Умэкиги Оваси.

28 сентября 1917 года. Иокосука.

Фумико Цукамото

Фуми-тян!

Уже двенадцатый час, а я из последних сил пишу тебе письмо. Прежде всего хочу назвать автора «Рождественской песни». Это Charles Dickens (Чарлз Диккенс). Он самый выдающийся писатель Англии нового времени. Кроме «Рождественской песни» он написал и другие рождественские повести, но эта — шедевр. Оригинал чрезвычайно сложен, и с твоим английским, Фуми-тян, читать ее будет трудновато. Не знаю, справится ли с этим и Ясу — читать повесть намного сложнее, чем английскую хрестоматию для пятого класса средней школы. На этом о Диккенсе кончаю.

Нанадзи действительно ростовщик. Я тоже пришел в уныние от одной мысли, что похож на человека, собирающегося сдавать свои вещи в заклад. Я ленив и одеваюсь не очень опрятно, поэтому меня часто принимают не за того, кто я есть. Однажды я навещил одного нашего преподавателя, и его служанка решила, что пришел налоговый инспектор муниципалитета. Если я буду только преподавать и перестану писать, то не пройдет и трех лет, как я умру. Я люто ненавижу преподавание. Стоит мне увидеть лица учеников, меня охватывает невыразимая тоска — и тут уж

ничего не поделаешь. Но зато я моментально оживаю, когда передо мной бумага, книги, перо и хороший табак. Разумеется, и ты, Фуми-тян, должна быть со мной.

В последнее время ко мне часто кто-нибудь заходит. Иногда и совершенно незнакомые люди. Вчера, например, приходили печатник из арсенала, пишущий какую-то повесть, и довольно странная студентка, мечтающая стать писательницей. Я высказал им свою точку зрения: «Вы не сможете писать художественные произведения и уж тем более не сможете сделать это своей профессией».

Они пишут только ради того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Ну что они могут написать, движимые подобной идеей? Ее вообще нельзя считать приемлемой. Я прихожу в уныние от одной мысли, что такие люди читают мои новеллы. Ведь я пишу ради удовлетворения высоких духовных потребностей людей, возвышающихся над средним уровнем.

Если еще десять или двадцать лет я буду двигаться вперед, не сворачивая с избранного пути, и если богу будет это угодно, то в конце концов смогу написать отмеченное мастерством значительное произведение. (А может быть, и не смогу. Кто знает, что произойдет в будущем.) Во всяком случае, я ощущаю временами охватывающее меня восторженно-трагическое волнение. Ощущаю мужество, которое позволит бороться в одиночку с целым светом. В такие мгновения мне не страшны полчища нуворишей всего мира. Такие мгновения — самые счастливые в моей жизни.

Чем мне ехать в Таканаву, лучше ты, Фуми-тян, приезжай в Табату. После вечерних занятий в субботу я тоже приеду туда. А когда буду возвращаться в Иокосуку, провожу тебя до Таканавы. Это мое изобретение — как видишь, план прекрасный.

А в том, что ты приедешь ко мне, нет ничего неудобного. Естественное дело нужно рассматривать как естественное. Так что, Фуми-тян, все в порядке, можешь не беспокоиться.

Более того, без тебя многое идет не так, как следует. А благодаря твоей прямоте и честности все прекрасно уладится. Я это гарантирую. Было бы большой ошибкой думать, что все на свете идет заведенным, не зависящим от нас порядком. Нет, главное — человек, поистине честный человеческий человек.

Эта простая истина не воспринимается нынешними женщинами. Особенно состоятельными и умничающими женщи-

нами. Они не способны создать счастливую жизнь. Нужно сделать все, чтобы не стать похожей на них.

Мне тоже хочется очень многого, просто не знаю, что и делать. Трать я на книги все заработанные деньги, все равно останется немало других, которые захочется прочесть, захочется купить. Так будет продолжаться до бесконечности. Если мы будем вместе, сможем отказываться от того, что пока не можем себе позволить. Соревноваться в покупках не будем, а то быстро разоримся.

Думай иногда обо мне. Иначе я рассержусь.

Твой Рюноскэ Акутагава

7 октября 1917 года. Токио.

Кё Цунэто

Сегодня приехал в Токио.

Здесь пронесся страшный ураган.

На улице Ябусимо в Хонго, по которой мы с тобой часто гуляли (узенькая улочка, ведущая к дому Мори-сана), вырваны с корнем три огромные дзельквы, а на противоположной стороне разрушено два дома. Пострадали почти все деревья в университетском саду. В парке Уэно — что-то невообразимое. На Гиндзе навалом лежат ивы — зрелище ужасающее. Утром на улицах валялись сорванные вывески. У нас повалило забор, а в доме напротив (там на крыше всегда сидели голуби) ветром сорвало часть карниза и внутрь хлынули потоки дождя. Пострадал карниз и в доме Коямы-куна, стоящем за нашим, многие картины повреждены.

Школа стала отнимать много времени. Учю переводу с японского на английский — это невыносимо. В ближайшее время предполагаю написать для «Осака майнити» новеллу, которая будет печататься в ней полмесяца.

Привет Масако-сан.

Рюноскэ Акутагава

9 октября 1917 года. Иокосука.

Фумико Цукамото

Фуми-тян!

Очень благодарен за письмо, которое ты на днях прислала в Табату. Все были рады ему. Я хотел своими глазами увидеть, что натворил ураган, но из-за страшной за-

нятости ни в прошлое воскресенье, ни в это не смог обратиться. Накопилась масса дел, и школьных, и моих собственных.

В Иокосуке было сравнительно спокойно. Видимо, потому, что она окружена горами. Ущерб не столь велик, как в Камакуре и Дзуси. В доме, где я живу, с крыши слетело две-три черепицы, и всё. А может, пять-шесть, в общем, ничего страшного.

Сегодня пришло письмо от твоего брата, он пишет, что есть фотография, на которой он перед отъездом сфотографировался с тобой и Эдой Исо-сан, укради ее, предлагает он. Я ее действительно украду, как того хочет твой брат, так и знай. Но воровство есть варварство, и я бы хотел, по возможности, прибегнуть к более благородным средствам. Может, пришлешь ее мне сама? Еще больше был бы тебе благодарен, если бы ты привезла ее в Табату. Прошу тебя, сделай это. Я очень хочу получить фотографию, но, честно говоря, еще больше хочу повидаться с тобой. Сообщаю тебе это тихонько, по секрету. Этого не должен слышать никто. Я хочу встретиться с тобой не для того, чтобы поговорить, а просто чтобы побыть вместе. Странно? Может быть, и странно, но мне действительно этого хочется. Не смейся. Удивительно еще и то, что, когда я пытаюсь представить себе твое лицо, оно всегда возникает в моем воображении одним и тем же. Каким я его вижу, мне бы не хотелось говорить, но всегда улыбающимся. Когда-то я увидел тебя в прихожей твоего дома в Таканаве. С тех пор я покорен тобой, твоим лицом. Среди множества твоих обликов тот единственный сохранился в моей памяти. Странно, но факт. Время от времени твое лицо всплывает передо мной. Я до боли думаю о тебе, Фуми-тян. И в такие минуты, хоть мне и больно, я бываю счастлив. В счастливые мгновения я всегда думаю о несчастье. Так я готовлю свое сердце к несчастью — вдруг оно на меня обрушится. Одним из таких несчастий был бы твой отказ соединить со мной свою жизнь. (Я просто думаю, а вдруг такое случится. Никаких оснований для этого у меня нет.) Другим была бы смерть тетушки. Столкнувшись с этим, я бы постарался не впасть в отчаяние. А это так трудно. Если бы оба эти несчастья обрушились на меня одновременно, я бы не вынес

Уже поздно (час ночи), и я заканчиваю. Ты, Фуми-тян, наверное, уже спишь. Мне даже кажется, что я вижу тебя спящей. Если бы я был с тобой, то нежно касался бы твоих век, чтобы тебе снились хорошие сны, — это было бы моим колдовством.

Рюноскэ Акутагава

30 октября 1917 года. Иокосука.
Юдзуру Мацуока

Сначала о деле. Я не понимаю смысла того, что именуется словом sollen¹, может быть, ты напишешь мне, чтобы я понял (не понимаю даже в обычном смысле).

Я тоже начал читать Нисиду. Выдающийся человек совершает выдающиеся дела, думал я, читая с восхищением. Действительно, у меня создалось впечатление, что он разоблачает мою несерьезность. Может быть, напрасно, но такая мысль у меня появилась.

Меня просили, чтобы в будущем я отказался от писания. Предположим, я сделаю это, но жалование преподавателя не даст мне необходимых средств к существованию. Мне же гораздо больше по душе профессия писателя. Я был бы вполне удовлетворен, если бы удалось писать в год хотя бы одну вещь. А если бы еще раз в год использовать псевдоним — совсем хорошо.

В будущем я собираюсь не обращать внимания на литературно-критические статьи в газетах и журналах — не читать их. Дело в том, что я слишком слаб, чтобы не испытывать на себе их влияния, пусть даже незначительного. Буду пытаться сам, шаг за шагом, двигаться вперед. Мне омерзительно оглядываться на себя, человека, старающегося не поддаваться, но без конца поддающегося настроению. Мне кажется, нужно успокоиться. Но все это произойдет в далеком будущем (конец первой части).

Передай жене: я огорчен, что она не придет в день рождения императора. Видимо, даже «высокий стиль» моего приглашения не соблазнил ее. Если обстоятельства позволят, утром в день рождения императора будь дома, пока я не позволю. Не сможешь — ну, что ж. Но если сможешь — не уходи. Мы договоримся о времени, и ты приедешь ко мне. Встретимся под Камакурой, погуляем, полюбуемся облаками. Не будет облаков — сойдет и дым. В Камакуре сейчас повсюду в небо поднимается дым — это жгут листья. По вечерам, даже когда спускается туман, тянет дымком. Банально, но поэтично.

Рассказ Кумэ в этом месяце никуда не годится. Кое-какие хорошие места есть, но непонятно, ради чего он написан. And it may be unfavourable for Kume himself, I fear². Disciples³ что-ни-

¹ Должен, поручено, следует (нем.).

² И я боюсь, это может быть неблагоприятным для самого Кумэ (англ.).

³ Ученики (фр.).

будь скажут, я думаю. Вчера встречался с Гото, он хвалил твой рассказ в «Тэйкоку бунгаку». Но Кан Кубо считает, что лучше сделан «Люди, защищающие Ходзё». Гото говорил, что «Примирение» — плохой рассказ, а вот «Печаль еретика» намного сильнее. Он растолстел — прямо завидно. Читаю сейчас «Бесов». До «Карамазовых» не дотягивают, но все равно увлекли меня (конец второй части).

30 октября 1917 года. Иокосука.
Фумико Цукамото

Благодарю за письмо. Не ответил сразу же потому, что собирался в один из трех дней — в субботу, воскресенье или понедельник — приехать в Таканаву. Но оказалось, что мне это не удастся. Поэтому и пишу.

Вечером в субботу приехал в Токио и начал с того, что встретился с приятелем из «Дзидзи симпо», потом отправился на Канду, купил в книжной лавке книги, которые ты просила, и часов в семь вернулся домой. Почти в одно время со мной пришли приятели, и мы допоздна проговорили о хайку. В воскресенье я еще завтракал, когда зашел Киёко Уэнояма-кун (есть такая писательница Сидзу Сираки, это ее муж), принес рекомендательное письмо от Кумэ и предложил купить у него картину, писанную маслом. Уэнояма-кун болен туберкулезом, и у меня чувство, что полотна его полны бактерий, да и сами картины ничего не стоят, но он оказался в таком тяжелом положении, что я обещал купить одну. (О самом Уэнояме-куне я напишу чуть позже.) Не прошло и часа после его ухода, как явился Дзюнъитиро Танидзаки-кун в черном пиджаке и красном жилете. Чинно усевшись, он начал оживленно говорить о живописи, о литературе. Позавтракав вместе со мной, а потом и пообедав вместе со мной, он ушел, пробыв часов шесть. После этого мне удалось выйти из дому, и я отправился по делам школы и по своим собственным делам в Хонго к Куроянагисану. У него я пробыл часов до шести, а оттуда поехал в Сибу. Брат только что вернулся из путешествия и много порассказал интересного — смотрю, уже десять часов, решил остаться ночевать. Утром в понедельник, в десять утра, в доме Суэо Гото в Хонго должно было состояться заседание редколлегии «Тэйкоку бунгаку», я тоже вроде бы ее член, поэтому рано утром покинул Сибу и отправился к Гото-куну. Нас угостили обедом, и Киёси Эгути-кун, который пришел с опозданием,

сказал, что хочет поговорить со мной. У меня не было времени, чтоб идти к нему, не было и времени, чтобы пойти с ним ко мне, поэтому я предложил: давай поговорим по дороге, так мы и проболтали всю дорогу от Хонго до Табаты. Вернувшись домой и проспав часок, я принял ванну — смотрю, уже пять и нужно возвращаться в Иокосуку. Я поел, переоделся и помылся в Симбаси.

В такой суете прошло три дня. В подобной суете я живу постоянно, но в один из трех дней на будущей неделе приеду обязательно (возможно, во второй половине дня в понедельник). Иначе мне будет очень грустно.

Благодарю за фотографии. Круглая сделана превосходно — я взял ее. Есть европейская картина такой же формы, и на ней изображено такое же лицо. Чья это картина и как называется, не помню, но знаю, что итальянская, эпохи Ренессанса. Возьму и портрет мужчины. Он мне тоже нравится. Так же прекрасно сделана круглая фотография Нобу Исо-сан. Ее лицо напоминает старинную куклу хина.

Недавно твой брат прислал из Маньчжурии фотографию, на которой изображено, как бандитам отрубает голову. Казнь только что завершилась. Варварская страна Маньчжурия. Когда он вернется из путешествия по этой варварской стране, ты его, бедного, будешь, наверное, ругать. Но было бы хуже, если бы он делал такие фотографии тайно, так что лучше не ругай. Я тоже собираюсь заняться фотографированием, но при моей лени даже представить себе не могу, когда возьмусь за это.

Я уже начал писать об Уэнояме-куне. У него и Сираки-сан большие легкие, а после того, как они поженились, здоровье их сильно ухудшилось. У них двое детей, оба больны тем же, Сираки-сан из-за туберкулеза ампутировали ногу. Они никак не могут пристроить ее романы и картины мужа, поэтому живут очень тяжело. Когда они жили в Мэгасаки, то, говорят, задолжав за квартиру, поодиночке бежали из дому, сделав вид, что отправляются путешествовать. Постель и все домашние вещи им, разумеется, пришлось бросить. Уэнояма-кун оставил живопись и стал работать в типографии, получая всего двадцать иен в месяц, так что и это их не спасает. Ужасное положение. При всем том Уэнояма-кун любит Сираки-сан. А может быть, и преклоняется перед ней. Я им очень сочувствую.

Что бы там ни было, я хочу сделать нашу жизнь счастливой. Обосноваться, я думаю, стоит в Камакуре. Нам нужно

уютное гнездышко, и маленький домик вполне подойдет. Нужно, чтобы он выходил на солнечную сторону и хорошо проветривался. Все это вселит в меня покой. Какая это будет радость!

Встречаясь иногда с похожими на распутниц писательницами или стремящимися стать ими, я всегда думаю: как хорошо, что ты, Фуми-тян, не похожа на них. Среди писателей немало таких, кто женится на такого сорта женщинах. Мне они не по душе, Фуми-тян, всегда оставайся такой, как ты есть. Тогда и я смогу стать на голову выше.

На этом кончаю. Вспоминай обо мне.

Рюноскэ Акутагава

17 ноября 1917 года. Иокосука.
Юдзуру Мацуока

Не мог присутствовать на встрече «Сандокай» из-за церемонии присвоения званий ученикам школы. В последнее время я безумно занят. Для новогоднего номера одного журнала пишу детективный рассказ. Надеюсь, что мне за него хорошо заплатят, я несу всякий вздор. Но в душе волнуюсь. Слишком уж много этого вздора я нагромождаю. Но все-таки вещь получается занятная.

Поправляйся и приезжай в Камакуру развлечься. Передай мое приглашение и жене. Может, сходим к Суге-сану. (...) Или еще куда-нибудь. Давно не виделись, а так хочется послушать рассказы твоей жены. На этом заканчиваю.

17 ноября 1917 года. Иокосука.
Фумико Цукамото

Фумико-сан!

Благодарю за письма, которые ты мне регулярно посылала с дороги. Рано утром десятого, в пять или половине шестого, ты еще спала, не зная, что твой пароход плывет мимо Иокосуки. А я в это время лежал с закрытыми глазами и думал о тебе, Фуми-тян. Утомилась, наверное, прошептал я. И явственно ощутил, как ты, не отвечая мне, проплываешь мимо. У меня как раз ночевал Кумэ, и я, стараясь не разбудить его, тихо встал и пошел умыться. Над горой, начавшей желтеть, виднелось голубое небо. Мне стало грустно. Ты уже, наверное, подплываешь к Иокогаме, подумал я. Сейчас ты уже, конечно,

проснулась. Я подумал так, потому что мне показалось, будто в ответ на мое шутливое «доброе утро» ты сердито посмотрела на меня.

Когда твоя мама соберется к нам, приезжай вместе с ней. Мы сможем тогда спокойно поболтать. Мне так хочется быть всегда с тобой и говорить, говорить без конца. Хорошо бы нам еще и kiss ¹. Не хочешь, не надо. Ты такая милая, Фуми-тян, что, будь ты конфеткой, я бы съел тебя без остатка, начиная с головки. Я тебя не обманываю. Я люблю тебя в два, в три раза больше, чем ты меня.

Давай как можно скорее будем вместе и заживем дружно и счастливо. И будем наслаждаться спокойной жизнью. Ну вот и все.

Рю

12 декабря 1917 года. Иокосука.
Фумико Цукамото

Фумико-сан!

Не угадала. Твое письмо пришло как раз, когда я завтракал. Еда была скудной, невкусной. Продолжая есть, я прочел твое письмо.

Давно не писал я, а совсем не ты. Ведь я не ответил еще на твое прошлое письмо. Виной тому — моя обычная занятость, голову некогда поднять. Будь ко мне, пожалуйста, снисходительна.

Бедный Кумэ. Не только ученики отвернулись от него, но его возненавидела и ***-сан. Уж лучше вообще не рассчитывать на чью-то благодарность Кумэ в такой тоске, что даже аппетит потерял. После того как у него произошел этот разрыв, он приехал ко мне в Иокосуку и со слезами рассказал, что случилось. Столкнуться с таким в самом деле невыносимо. Мне так хочется поскорее найти ему невесту, но не знаю подходящих. Недавно прочел роман Пьера Лоти. В нем есть такой эпизод: французский солдат, уехавший воевать в Африку, страдая от того, что невеста, которую он оставил на родине, вышла замуж за другого, ищет смерти и в конце концов погибает в бою.

¹ Целоваться (англ.).

Знаменитые слова Шекспира: «Frailty, the name is woman» — Цубоути перевел так: «Ничтожество, имя твое: женщина». Женщина — человек ненадежный; вот что это значит.

И ***-сан, и невеста солдата, и Офелия — все одинаковы. Обрати на это внимание, Фуми-тян. Я не могу быть уверен, что завтра подобное не приключится со мной. Что я тогда буду делать? Неужели мне суждено затосковать, как Кумэ?

Надеюсь, твой брат с женой живут хорошо? Я уверен, что такие честные, бесхитростные люди, как он, становятся самыми лучшими мужьями. Но против такого утверждения можно и возразить (я отчетливо помню лицо Го Исо-сана). Можешь сама представить себе, сколько существует способов показного поведения.

Из-за всех этих событий Кумэ теперь стал редко навещаться в Токио, я буду, наверное, скучать без него. На днях ездил к Кумэ. На его столе стоит фотография ***-сан. Никак не может забыть ее. Он сказал мне, что ***-сан оставила ему лишь коробку с письмами, две фотографии и фарфоровую куколку. Кумэ показал мне все это.

Когда кончатся экзамены, ты бы хоть приехала ко мне как-нибудь вечером. Можешь даже одна. Обратно я провожу тебя. Мне всегда радостно думать о тебе.

До свидания.

Акутагава

26 декабря 1917 года. Табата.

Тадао Суга

Тадао-кун!

Отвечаю на письмо. С двадцатого числа в школе каникулы, поэтому я в Табате. Если подыщешь сдающийся дом, обязательно сообщи. Нашелся бы такой дом, я бы с января переехал жить в Камакуру. Только я очень беден и платить больше пятидесяти иен не смогу. К тому же еще я лентяй — хорошо бы поближе к станции. Разумеется, лучше в десяти кварталах от станции, но там, где есть трамвай, чем в семи-восьми, но без трамвая. При соблюдении этих двух условий даже самый захудалый домишко меня устроит. Постарайся, пожалуйста. (...)

Твой Рюноскэ Акутагава

19 января 1918 года. Табата.

Кё Цунэто

Женские имена:

Камозэ (если у тебя сохранилась память о Симокамо, назови так).

Сино (ко).

Садзарэ (хорошо бы возродить это имя, встречающееся в старинных сказаниях).

Мари (ко).

Итои (это имя жены одного из моих приятелей. Оно редкое, и мне очень нравится).

Этим я исчерпываю женские имена и перехожу к мужским.

Жан, Лоран (записал два этих имени потому, что питаю некоторый интерес к переводам Жана Лорана эпохи Токугава).

Тэну. Сиро (мне очень нравится имя этого поэта).

Сюн, Ямагати (в нем звучит поэзия, присущая древним стихам).

Масуми (это имя может быть и мужским и женским).

Вот и все.

Ты просил меня написать, я выполнил твою просьбу, но хотел бы, чтобы ребенок был назван именем, которого я не указал. Меня охватывает страх от одной мысли, что я повлияю на его судьбу, если ему будет дано одно из перечисленных имен.

В будущем месяце я женюсь. Я даже не думал, что смогу сохранять такое спокойствие перед женитьбой. У меня ощущение, и я ничего не могу с собой поделать, что свадьба — это один из видов бизнеса. Когда родится ребенок, я дам ему имя человека, память о котором нужно сохранить. Тетушка столько вынесла на своих плечах, что, если это будет девочка, хочу назвать ее Фукико, если мальчик — Фукихико. Неплохо, думаю, и Хакубохико. А там как получится. Нацумэ-сан, например, шестому ребенку, родившемуся в Год обезьяны, дал имя Нобуроку — это было, конечно, своеволие. Так и мне нестерпимо хочется дать имя Хакубохико.

Забросил работу, ничего не пишу, только читаю. Я помню имена многих второстепенных английских писателей. (...)

P.S. Привет жене. Когда она должна родить? В будущем месяце?

Рю

23 января 1918 года. Иокосука.
Фумико Цукамато

Второе февраля приближается. Мне кажется, что ждать еще очень долго, но и кажется, что уже скоро. Потрясающе — осталось ровно две недели. Что ты думаешь?

Я все время стараюсь представить себе тот день. И испытываю некоторую робость. Такое чувство, будто меня, еще не одетого, без снаряжения, выволокли в фехтовальный зал. Но самое главное мое чувство — радость.

Фуми-тян, ты должна не забыть взять вместе с необходимыми свадебными принадлежностями еще кое-что. Я имею в виду мои письма. А я возьму связку твоих. Мы их сложим вместе и куда-нибудь спрячем — для нас они большая ценность. Так что не забудь, захвати, пожалуйста.

Скучно мне писать письма. Скорее бы увидеть твое лицо, скорее бы взять тебя за руку. Оставшиеся две недели я воспринимаю как разделяющую нас невидимую стену.

Только что я тихо произнес: «Фуми-тян». Преподавательская школы была полна, но я сказал это так тихо, что никто не расслышал. И я снова тихо произнес: «Фуми-тян». Когда мы будем вместе, я буду так звать тебя. На этот раз тоже никто не услышал. Американец, стол которого рядом с моим, читая книжку, клевал носом. Мне захотелось во весь голос выкрикнуть твое имя. Но я сдержал себя, так что все обошлось. Не волнуйся.

Мне так хочется прямо сейчас увидеть твое лицо. Хотя бы на минутку. Но это невозможно, и на душе у меня пасмурно.

В тот день тебе придется ехать из Синагавы в Табату в коляске — это очень утомительно. Дорога дальняя. Правда, ни на чем другом не доедешь. Автобус идет только до Додзаки. Я в коляске всегда сплю. После посещения «Дзисёкэн» мне всегда не по себе. Тебе, наверное, это безразлично, Фуми-тян? Раз в жизни можно стерпеть и неудобство. Но так или иначе, это произойдет через две недели. Хорошо бы не было дождя. Меня почему-то беспокоят самые неожиданные вещи.

Если будет время, напиши.

Твой Рюноскэ Акутагава

P.S. Ты еще ходишь в школу?

24 января 1918 года. Иокосука.
Юдхуру Мацуока

Прочел твое письмо. Хорошо, что Кумэ успокоился. О свадьбе извещу тебя обязательно. Из-за всяких формальностей и домашних дел, в какой день ее устроят, окончательно не решено. Лишь примерно, и может еще все измениться. С полной уверенностью могу сказать только, что произойдет это в будущем месяце. Никого, включая Кумэ, я не оповещал. До официального бракосочетания я бы не хотел делать свою женитьбу достоянием гласности — это лучше и для моей будущей жены, и для школы. Всяких мелких дел — тьма, но что поделаешь. А я к тому же еще и пишу, просто невыносимо. Допишу новеллу, а там — буду еще писать или нет, все равно, думаю я и пишу с наслаждением. У Кумэ всякие неприятности. Как мне кажется, они связаны с его творчеством. Неужели все так безнадежно? В общем, беда не приходит одна — куда здесь денешься. На этом кончаю.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Вынь из конверта деньги, я их вложил вместе с письмом.

1 февраля 1918 года. Табата.
Юдзуру Мацуока

Отвечаю на твой вопрос. Завтра, второго, я женюсь. Жена, скорее всего, останется у нас дома, а я один буду жить в Иокосуке, снимать комнату. (Как договорились, сообщи об этом Нарусэ и передай ему привет.) В Камакюре подходящего жилья найти пока не удалось. Страдаю от бедности. Это мое единственное оповещение о свадьбе. Думаю, никому больше не напишу.

Привет.

5 февраля 1918 года. Иокосука.
Юдзуру Мацуока

Сегодня я читал «Юдифь». Вернее, и сейчас читаю. Она потрясает меня. В чем ее грандиозная мощь? Я не могу ответить на этот вопрос. Когда перед моими глазами проходят страшные судьбы борющихся христиан и иноверцев, я духов-

но очищаюсь. Каким жалким, никчемным, по сравнению с этим представляется все, что написано нами с тобой, что пишут наши приятели. Не знаю, родится ли когда-нибудь у нас значительное произведение? Ведь один образ Даниеля, по наитию божьему выкликнувшего: «Убей брата своего», в десять раз превосходит все написанное нами. А здесь еще есть Холофернес, есть Юдифь, олицетворяющая «человеческую скорбь». В общем, уровень несопоставим. Благодаря тому, что событие так схвачено и так нарисовано, рождается истинная трагедия. Есть ли кто-либо, способный написать такое? Или лучше сказать по-другому: не должен ли кто-либо из нас написать такое? Мне становится страшно. У меня чувство, будто я стою у бушующего моря и мне приказывают: садись в лодку и плыви! И приказывающих мне бесчисленное множество. Я — один из них. Ты тоже — один из них. Но море бушует, вверх вздымаются огромные волны. Действовать всегда страшно. У меня ощущение, что из моей головы в мгновение ока вылетело всякое представление об умеренности, философичности. Ты читал «Юдифь»? Если нет — прочти обязательно. Но даже если и читал когда-то, прочти еще раз. Все, что у нас сейчас написано, ничего не стоит. И я ничего не стою. И японская литература ничего не стоит.

Я написал все это в школе. Потом перечитал и понял, что, находясь в сильном волнении, написал, возможно, немало странных вещей. Но я должен был сделать это, хотя написанное и может выглядеть странным. Пойми мое состояние. Хорошей бумаги не было, и пришлось писать на том, что оказалось под рукой. Хотелось как можно скорее написать «Аджатасатру» — эта идея овладела мной.

Нужно прочесть еще массу. Но чувствую, придется повременить. Я все время раздражен. Однако нужно браться за дело. Пусть хоть на нищенское существование, но я должен скопить денег, чтобы не заниматься в будущем преподаванием. Кажется, во мне снова появилась пылкость времен основания «Синситё». Давай возьмемся за дело.

Недавно виделся с Танидзаки. Он тоже занимается разными исследованиями с завидным упорством. Говорит — буддийской космологией. Наслаждается, по его словам, чтением «Абхидарма коша». Собираюсь переехать в Камакуру, поблизости от моего нынешнего жилья. Хотя я и молодожен, но ты даже представить себе не можешь, насколько искусство захватывает меня больше, чем семейная жизнь. Если будет время, приезжай. После того что случилось с Кумэ, у меня не ос-

талось, кроме тебя, ни одного попутчика На этом заканчиваю. Читаю «Юдифь». До свидания.

13 февраля 1918 года. Иокосука.
Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!

(...) В связи со специфическим характером проблемы мне пришлось побеседовать с начальником школы — никаких особых препятствий, кажется, не будет, и я смогу стать постоянным сотрудником газеты, но на определенных условиях. Чтобы не было недоговоренностей, привожу для верности эти условия.

1. Свободно публиковать свои произведения в журналах.
2. Не писать ни для одной газеты, кроме «Осака майнити» («Токио нити-нити»),
3. Беспрепятственно публиковаться в вышеназванных двух газетах: «Осака майнити» («Токио нити-нити»).

При этом в тексте должно быть указано: «В свободное от служебных обязанностей время». (Разумеется, это указание имеет в виду не работу в качестве постоянного сотрудника газеты, а то, что я буду писать только в «Осака майнити».)

4. Ежемесячное жалование — пятьдесят иен.
5. Гонорар — прежний.

Если мои условия приемлемы, напишите по адресу: Табата, 4-35, Собственный дом. Если неприемлемы, прошу сообщить по тому же адресу. На днях по просьбе «Ёмиури» написал для нее новеллу в семь страниц и просил бы рассматривать эту работу как выполненную до подписания нашего договора. Новелла должна пойти в воскресном приложении. Из-за женитьбы новеллу для вас ненадолго отложил. Подождите дней пять. В самом скором времени вышлю.

Благодарю за заботу.

Ваш Рюноскэ Акутагава

26 февраля 1918 года. Табата.
Тадатака Икэсаки

Решил наконец поселиться в Камакюре. В саду пруд, заросший лотосами, вокруг него штук шесть банановых пальм — приятно слушать шелест дождя. До моря совсем близко. Думаю, числа десятого будущего месяца закончу переезд. Посе-

лится там моя жена, я и служанка, иногда будет, наверное, наезжать и тетушка. И заживем мы, надеюсь, мирно и спокойно. (...)

Рюноскэ Акутагава

1 марта 1918 года. Иокосука.
Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!
Отвечаю на Ваше письмо.

Новая новелла, которую я начал писать, рассчитана, на десять, а может быть, и пятнадцать номеров. Я ее назвал «Муки ада».

Сейчас на меня навалилась такая масса всяких житейских дел, что большую вещь даже и обещать не могу. «Муки ада» номеров для пяти уже готовы — в субботу — воскресенье, как только закончу, пришлю из Токио. Нашел наконец подходящий дом, в самое ближайшее время переезжаю в Камакуру. Так что скоро меня ждет, видимо, покой. Сегодня еду в Токио. Еду туда потому, что Теин Такита потребовал представить рукопись.

Легкие облака — брызжет дождик. Сливы в школьном саду буйно цветут.

Рюноскэ Акутагава

11 марта 1918 года. Табата.
Кё Цунэто

Благодарю за поздравление и подарок, который получил, приехав в Токио. Дом наконец нашел и думаю переезжать числа двадцатого. Он на тихой улочке между мостом и станцией. В нем две комнаты по восемь дзё, одна — шесть дзё, две — по четыре. Ванная, кухня — для нас дом, пожалуй, даже слишком велик. Но зато в саду пруд, банановые пальмы — все это очень поэтично. Если поедешь в Токио, заверни. Номер дома я и сам еще не знаю. Когда перееду, обязательно напишу.

Как обычно, заработки мои мизерны, так что в ближайшее время с деньгами у меня будет, думаю, плоховато. Но все-таки, когда человеку перевалило за двадцать пять, он должен не столько задаваться вопросами о смысле жизни, сколько сознавать силу вопросов чисто материальных. Поэтому он жаж-

дет денег, но, поскольку ему ясно, что при всем желании он не сможет их получить, не предпринимает никаких попыток заработать.

В школе я занят сейчас не так уж много, благодаря чему у меня остается достаточно времени для чтения. Недавно с огромным интересом прочел «Гамлета». А до этого с немалым — «Мера за меру». Моя школа хороша для меня хотя бы тем, что в ее библиотеке есть классика. Например, первое издание «Каина» Байрона. Так приятно читать старую, тронутую временем книгу. Прочитанный после этого Гамсун в немецком переводе оставил у меня странное впечатление. Бегло просматриваю я и новые книги. Ничего особенно интересного не обнаружил.

Скоро (примерно в середине апреля) мне, видимо, придется поехать в командировку в Киото. Кажется, Дзюнь-итиро Танидзаки собирается в ближайшее время переехать на жительство в Киото. Кажется, он будет писать роман об эпохе Хэйан. Мне бы хотелось совершить неспешное паломничество в храмы.

Об остальном расскажу в следующем письме.

Передай привет Масако-сан.

Написал ей недавно отдельное письмо, но так и не отправил.

Рю

29 марта 1918 года. Иокосука.

Дзюнкэ Сусукида

Дзюнкэ Сусукида-сама!

Написать столько, сколько предполагал, не удалось. Посылаю следующие десять страниц. Подождите еще деньков пять. Сегодня уезжаю из Иокосуки и перебираюсь в Камакуру. Мой новый адрес: Камакура, Омати, Адзацудзи, дом Кояма. Теперь, прошу Вас, посылайте мне все по этому адресу. Сегодня утром получил чек на пятьдесят иен. Но мне неясно, приняты ли мои условия, исходили из них, или уплатили по-старому — сообщите, пожалуйста. На фотографии Вашего дома у жены хмурый, недовольный вид. Кстати, все наши в один голос говорят, что пожилые в Вашей семье в молодости были, наверное, очень красивые.

Кумэ пишет, кажется, роман, главный герой которого Хи-робуми Ито. Что пишут Танидзаки-кун и Тоёсима, еще не

знаю. В конце мая или начале июня поеду в командировку в Этасиму. Тогда, я думаю, нам удастся встретиться в Осаке. Сейчас в школе мы готовим ведомости оценок, и я безумно занят. Буйно цветут магнолии. В Иокосуке, по-моему, градусов на пять теплее, чем в Токио.

Будьте здоровы.

Ваш Акутагава

*24 апреля 1918 года. Камакура.
Дзюнскэ Сусукида*

Ваше письмо получил. Последние несколько дней из-за нервного переутомления ничего не читаю и не пишу, и мне очень неудобно, что я сразу же не поблагодарил Вас за то, что мои условия любезно приняты. С головой еще не все в порядке. Что касается «Мук ада», то я немного успокоился, поскольку повесть Арисимы-сана все еще печатается. Мне потребуется буквально еще два-три дня, и я вышло новеллу. Она получилась какой-то напыщенной и мне не по душе, но коль уж сел в лодку, нужно плыть. Недавно начал писать эссе «Благоволение». Окончив, предполагаю о осени приступить к «Ямататакэру-но микото». Жду вашего письма.

Я болен.

Страдая от жара, я дрожу, глядя на ярко цветущую сакуру.

Акутагава

P.S. Тоесима пишет для одного-двух номеров. Кумэ тоже, кажется, приступил.

*29 апреля 1918 года. Камакура.
Юдзуру Мацуока*

Юдзуру-сама!

Наконец поставлен точный диагноз — нервное истощение. Думал бросить все и немного развлечься, но, как обычно, безумно занят по службе (сейчас, например, редактирую «Обучение в военно-морском флоте Америки»), приближается время подготовки вопросов для вступительных экзамен-

нов — тоска. Поэтому и о двадцать шестом ничего тебе не сообщил. Еще одна причина — тетушка вернулась в Токио, и жена осталась дома одна. Но в ближайшее время выберемся. Смотревший меня врач сказал, чтобы я пил бромистый калий, женьшень и побольше гулял, а мне все это мало помогает. Ко всему еще я должен ежедневно писать, чтобы выполнять свои обязательства. (...)

Рю

*7 мая 1918 года. Камакура.
Дзэнъитиро Хара*

Дзэнъитиро Хара-сама!

Благодарю за прекрасное поздравление.

Я по-прежнему веду нищенскую жизнь. Преподавание в школе безумно опротивело, но без него мне не свести концы с концами, так что ничего не поделаешь. Жалкое существование. Я не могу позволить себе сесть и спокойно писать. В западных романах и пьесах часто бывает так: умирает какой-нибудь дядя, о существовании которого ты даже не предполагал, и на тебя сваливается несметное богатство — хорошо бы такое случилось со мной. Мое положение совсем не исключительное — оно характерно для всей японской интеллигенции. Даже представить себе трудно, насколько это связывает ее творческую деятельность. Тебе, человеку, которому не нужно заботиться о средствах к существованию, неведомы наши страдания, и прекрасно. Но именно потому тебе все это может показаться странным — вот я и решил написать несколько слов о своем положении. Мои причитания не показались тебе странными? Если нет — прости, что подумал о тебе плохо.

Через два-три дня поеду в командировку в Токио для подготовки к проведению вступительных экзаменов. В конце месяца должен буду посетить военное училище. Как видишь, очень занят. Вот в каких условиях приходится писать — можно ли удивляться, что ни одно из моих произведений меня не удовлетворяет.

Конечно, учиться писать стихи под руководством такого выдающегося специалиста, как Такахама-сан, — большое удовольствие. Если ты продолжаешь писать хайку, давай устроим «встречу поэтов».

Вечер, брызги от весел
До костей промокли в лодке
Зябко
Сердечно

Рюноскэ Акутагава

P.S. Привет жене.

16 мая 1918 года. Табата.
Масадзиро Кодзима

Масадзиро Кодзима-сама!

Для подготовки к проведению вступительных экзаменов пятнадцатого и шестнадцатого пробыл в Токио. Сегодня во второй половине дня возвращаюсь в Камакура.

«Муки ада» получаются какими-то напыщенными, поэтому я пишу, не испытывая внутреннего удовлетворения. Раскрывая каждый день газету, я думаю: по замыслу вещь должна была получиться гораздо интереснее. «Паутинка» не получилась. Много мест нужно бы отработать. Но я не в силах сделать это. Попросил Судзуки-сана, чтобы он безжалостно черкал все, что ему не понравится.

Нужно ли говорить, как я безумно занят. А иногда еще меня до самой школы преследует какой-нибудь журнальный репортер, даже неудобно. Они такие настырные, что от встречи с ними, — в последнее время они довольно часты, — одни неприятности. Специалисты по стилистике из «Бунсё курабу» в своих разборах опираются на «Луну в тумане». Это объясняется тем, что стиль «Луны в тумане» понятен даже профанам в отечественной литературе. Сравните хотя бы ее стиль со стилем литературы эпохи Хэйана. Стиль «Луны в тумане» чрезвычайно простонароден. (...)

Ваш Рюноскэ Акутагава

11 июня 1918 года. Камакура.
Танидзака Икэсаки

В Киото и Осаке встречался с множеством людей, смотрел картины. Среди гейш в Осаке гораздо больше красавиц, чем в Киото. В одну из осакских гейш я даже немножко влюбился. В вечерние сумерки прекрасна река, протекающая по городу.

Здесь совсем нет нуворишей — это так хорошо. Очень хотелось поболтать с тобой.

Кланяюсь.

18 июня 1918 года. Камакура.
Масадзиро Кодзима

Кодзима-сан!

Пишу Вам потому, что Вы похвалили меня в «Мита бунгаку». Мое произведение не стоит того, чтобы хвалить его такому тонкому ценителю, как Вы. Недавно, перечитав новеллу, я буквально покрылся холодным потом.

Я не вправе возражать, *so far*¹ речь идет о вторжении в сферу Вашего высказывания, когда Вы, касаясь пояснений, говорите, что моя приверженность к ним мешает по достоинству оценить произведение. Но у меня есть возражение против слов «пояснения в этой новелле». В моем повествовании переплетаются два слоя пояснений, внутреннее и внешнее. Одно из них явное — таких много среди примеров, которые вы приводите. Другое — скрытое, которое отрицает (фактически оправдывает) тот факт, что отношения между его светлостью и дочерью Ёсихидэ можно было назвать любовью. Эти два слоя пояснений, связывая повествование, взаимно актуализируются — такова их сущность, поэтому ни одно из них не может быть опущено. Это, видимо, и привело к некоторой навязчивости. Разумеется, здесь сыграло роль и то, что новелла писалась для газеты, что выдвигает перед автором определенные условия. Если Вы скажете, что она недостаточно отделана, я соглашусь. Но это не столь уж важная проблема

И последнее, не могли бы Вы прислать восьмой (хорошо бы и девятый) номер «Мита бунгаку»? Вернулся только вчера и еще никак не могу прийти в себя. Пришлось извиняться перед «Синсэсэцу» и «Синдзидай» за то, что не выполнил в срок своих обещаний. У нас была давняя договоренность, поэтому мне очень неудобно. Убедительно прошу Вас, уладьте это. Что писать, я уже решил. Это будет несколько загадочная вещь, которую я назвал «Пасть дракона». Сегодня просмотрел

¹ Здесь: поскольку (англ.).

журнал сказок Судзуки-сана. Мне показалось, что все напечатанные в нем сказки лучше моих. Авторы старше меня, у них есть дети, и они, как мне кажется, прекрасно понимают внутренний мир ребенка. Простите, Вы женаты?

Если я отправлюсь в путешествие раньше, мы могли бы встретиться в Токио.

Рюноскэ Акутагава

19 июня 1918 года. Камакура.
Юдзуру Мацуока

Юдзуру Мацуока-кун!

Только что вернулся из путешествия, настроение хуже некуда. Обещал написать для «Тюокорона» детективную новеллу и вот пишу нечто весьма странное. У меня чувство, что я протитурую свой талант, — тоска! К тому же, хоть я и пытаюсь писать детективную повесть, ничего, кажется, из этого не выйдет. (...)

Рюноскэ Акутагава

22 сентября 1918 года. Табата.
Масадзиро Кодзима

Масадзиро Кодзима-сама!

Завтра у меня свободный день, хочу написать сказку. Скорее бы закончить вторую часть «Цивилизованных убийц». Кумэ, наверное, уже говорил, что я получил письмо от Роана Утиды. Кстати, сегодня, когда я был в Токио, ко мне пришел президент неизвестного мне «Общества чистого искусства Востока» и предлагал двести, а то и триста иен за то, чтобы я написал для них новеллу — я просто ушам своим не поверил. Есть же такие нетерпеливые люди — все они должны получить раньше всех. Но мне его предложение показалось таким несерьезным, что я отказался. Теперь о Кэйю.

С будущего года намечается рост военно-морского флота, возрастет и число учеников нашей школы, а это приведет к тому, что увеличится количество часов. К тому же опасность войны пока существует. Все это означает, что придется ездить в Йокоосуку ежедневно — для меня это стало невыносимым. Если удастся уйти из школы и

хотя бы в апреле будущего года вернуться в Токио, лучше преподавания в Кэйо ничего не придумаешь. В случае положительного решения мне все-таки хотелось бы немного побездельничать. Вот мои планы, из них и исходите. Если необходимо, я готов встретиться с господином Саваги. В общем, Иокосука опротивела мне окончательно. (...)

Рюноскэ Акутагава

21 октября 1918 года. Иокосука.
Масадзиро Кодзима

Кодзима-сама!

Возвратился вчера из Токио и обнаружил Ваше письмо. Благодарю за хлопоты об университете. Что касается жалованья, то, поскольку речь идет о возможности переезда в Токио, если оно и будет немного ниже моего теперешнего, препятствием для меня это, разумеется, не послужит. Если не дадут два свободных дня, я удовлетворюсь и одним. (С апреля будущего года, кажется, будет свободным одно воскресенье.) Сейчас у меня пять часов в неделю. А до этого было двенадцать. С ноября по декабрь этого года — шесть часов, потом, до марта, — восемь часов в неделю. Самое неприятное, что независимо от того, есть у тебя занятия или нет, согласно заведенному бюрократическому порядку ты обязан находиться в школе с восьми утра до трех часов дня. Вот и сейчас у меня два дня, когда я не веду занятий, но все равно должен садиться в поезд и ехать в Иокосуку. Поэтому, если в университете будет даже десять часов в неделю, я восприму это как благо, поскольку после окончания занятий сразу же смогу возвращаться домой. Хорошо, если Вы все это при случае расскажете Саваги-сану. С апреля намечается рост военно-морского флота, и я совсем пришел в уныние. Причина, заставившая меня пойти на службу в Школу механиков, и рост военно-морского флота решительно несовместимы. Подробно писать почему, слишком утомительно. Перейду лучше к делам более приятным.

В будущее воскресенье приеду в Токио, может, зайдете, поговорим. (...)

Свою новеллу я заканчиваю в огромной спешке, первую порцию отослал сегодня, поскольку Кумэ неожиданно закончил свою вещь. «Напугаю же я Акутагаву», — сказал он, отсылая последнюю часть в газету. Поступок возмути-

тельный, но куда денешься, вот я и пишу день и ночь, не разгибаясь. А требование газеты написать как можно скорее, да к тому же еще и определенного объема (на тридцать-сорок номеров), — в таких условиях я совсем не уверен, что мне удастся создать что-нибудь стоящее. По словам Кикичи, в газетной колонке «Покойное кресло» меня то хвалят, то ругают, и я очень рад, что это не напечатается в канагавском выпуске газеты — так спокойнее. Для меня лучше всего, если мои новеллы, печатающиеся в газете, не разбираются в ежемесячных обзорах.

Писать можно до бесконечности, поэтому заканчиваю.

Рюноскэ Акутагава

20 ноября 1918 года. Камакура.
Садаёси Нисимура

Садаёси Нисимура-кун!

Прочитав твое письмо, я очень обрадовался. У меня вышло три книги, но в Иокосукэ нет ни одной. В ближайшее воскресенье буду в Токио и оттуда вышлю тебе. (Не исключено, что первый сборник уже распродан.) Не такие уж это хорошие книги, но все же прочти написанное твоим старым товарищем.

Нисикава по-прежнему старательно занимается, регулярно посещая лабораторию сельскохозяйственного факультета Токийского университета. Накахара, ходят слухи, ударился в разгул, но никаких подробностей не знаю. Иидзука должен был закончить институт иностранных языков, но и он выпал из поля моего зрения. Цуцуи сменил место жительства и фамилию и занял видный пост в окинавской торговой фирме. Ямамото поступил в компанию Мицубиси и сейчас в Китае. Об остальных мне абсолютно ничего не известно. Я бы тоже хотел поехать в Китай, но у меня сейчас нет денег. Так что остается только хотеть. И завидовать тебе. Во всяком случае, прожить в Шанхае с месяцы, я думаю, сможешь. Я бы тоже хотел поехать туда на месяцок. Достаточно прочесть выходящие сейчас в Китае порнографические книжонки, чтобы заинтересоваться цивилизованным варварством китайцев. В книжных магазинах Шанхая, наверное, много таких порнографических книжонок, если увидишь какие-нибудь, пришли, пожалуй-

ста. Деньги — они не такие уж большие — я тебе сразу же вышлю.

Если весной будущего года приедешь в Токио, обязательно приходи повидаться. В Токио я бываю по воскресеньям. Мой дом в пригороде Токио в Табате. В остальные дни живу в Камакуре, префектура Канагава, откуда езжу в школу. Писать мне удобнее в Камакуру, быстрее получу. Хоть изредка присылай письма. Я пишу, проникая в самые разные проблемы, поэтому, если узнаешь что-нибудь интересное, напиши. Найти сюжет сейчас очень трудно — все мы страдаем от этого. Японские писатели, как правило, очень бедны и не в состоянии жить по-человечески — очень скоро они оказываются в тупике. До того как стать писателем, нужно заняться коммерцией, сколотить капитал, чтобы можно было жить в свое удовольствие, — пожалуй, это самый верный путь.

Я думаю, что как раз в это время Танидзаки-кун должен быть в Шанхае. Если встретишься с ним после получения моего письма, скажи, что ты мой приятель, и поговори. У этого эдокко светлая голова. На этом заканчиваю. Писал в школе.

До свидания.

Рюноскэ Акутагава

*10 декабря 1918 года. Камакура.
Кё Цунэто.*

Узнал из твоей открытки, что ты приходил, когда меня не было дома, и очень удивился. С десяти утра я целый день ждал тебя и, решив, что ты уже не появишься, ушел из дому. Идти к Нацумэ-сан было слишком поздно, и поэтому отправился в ресторанчик, где до поздней ночи можно вкусно поесть. А потом, не заходя домой, уехал в Камакуру. Жаль, что ты не пришел чуть раньше, а я не ушел чуть позже. Мне в самом деле искренне жаль, что так получилось. Очень хочется встретиться с тобой, чтобы вместе похоронить это сожаление, и я прошу тебя дней на пять-шесть отложить свой отъезд. Я отдыхаю с восемнадцатого, но еще до этого, в воскресенье, пятнадцатого, приеду в Токио и смогу навестить тебя. В субботу, четырнадцатого, не смогу приехать, так как у нас в школе вечер английского языка. Кроме того, последний срок «Тю-окорона» — пятнадцатое, и к этому времени я обязательно

должен закончить новеллу. Потом я совершенно свободен, и мы сможем в удовольствие поговорить. Прошу тебя — отложи отъезд. Уверен, что сможешь это сделать, и заклинаю тебя: сделай это.

Рюноскэ

12 января 1919 года. Камакура.
Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!

Мне неудобно говорить Вам об этом, но все же спрошу: не можете ли мне стать штатным сотрудником Вашей газеты? При нынешней моей жизни я, как мне кажется, не смогу писать так, как хотелось бы. И не только не смогу. Получая от Вашей газеты пятьдесят иен в месяц, я, пожалуй, не в состоянии буду писать достойные ее вещи. Сейчас деньги, поступающие от Вашей газеты, и мое школьное жалованье обеспечивают лишь самое скромное существование моей семьи, но могу ли я испытывать радость оттого, что, хотя мне и не придется думать о том, прокормлю ли я семью, у меня нет возможности работать так, как хотелось бы, писать всякую чепуху я тоже не могу позволить себе. Я все обдумал и взвесил. И вот решил написать Вам это письмо. Говоря «не можете ли стать штатным сотрудником Вашей газеты», я имел в виду и посоветоваться с Вами как со своим хорошим знакомым. Как, по-Вашему, может быть разрешена эта проблема? Хотелось бы знать Ваше откровенное мнение еще до того, как встанет вопрос о том, смогу я или нет стать штатным сотрудником Вашей газеты.

Хочу объяснить, что я имею в виду. Не беря на себя обязанность ежедневно являться на службу в газету, я должен буду писать по несколько произведений в год, для определенного количества номеров, — за это мне будет выплачиваться жалованье. Разумеется, работу в школе я оставлю и начну вести жизнь профессионального писателя. Мои отношения с Вашей газетой будут частично пересмотрены — вместо постраничной оплаты будет включено условие, сколько я должен написать, и установлено жалованье, которое позволит достойно содержать семью. Если бы это удалось, я бы, как мне кажется, смог заняться работой по-настоящему. Может быть, мои запросы непомерны. Я настолько зашел в тупик в связи с писательством, что должен посоветоваться именно с Вами. Как я

уже говорил, мне очень неудобно, но все же хочу просить Вас подумать о моей просьбе. Я предполагал, что после того как Вы обдумаете ее, я приеду в Осаку, и мы посоветуемся, что мне предпринять. Должен писать очередную новеллу, но решил начать с письма Оно полно горечи, но мне остается лишь просить Вас о сочувствии.

Ваш Рюноскэ Акутагава

19 января 1919 года. Табата.
Мотоо Отагуро

Мотоо Отагуро-сама!

Получил Ваше письмо. Кажется, сейчас требуются произведения, лишенные каких-либо достоинств. Я попросил «Синтёся» послать Вам экземпляр. Думаю, дней через пять получите. «Одержимого творчеством» друзья считают лучшей моей новеллой, но, перечитывая, я вижу в ней массу недостатков, она меня не удовлетворяет. Потребуется еще лет пять, а то и шесть, чтобы добиться мастерства и писать достойные вещи.

Импровизация:

Мир — это пигмеи, заключенные в ящик.

Рюноскэ Акутагава

4 февраля 1919 года. Камакура.
Сютаро Намбу

Сютаро Намбу-сама!

Два произведения, написанные мной в январе, несколько отличаются от того, что я делал прежде, — это верно. Тон Сатоми-кун назвал это неким движением. Но если это и так, оно вовсе не означает, что я собираюсь полностью покинуть обрабатываемое мной поле. Не хватает мужества слепо следовать определенной «истине». Единственное, что бы мне хотелось, — расширить свое поле. Разговаривая с такими людьми, как Тон Сатоми, я в шутку заявляю, что, если бы это было в моих силах, я бы раздавал всем и каждому свои визитные карточки, обозначив себя на них каким угодно мыслимым или немыслимым «истом»: натуралист, романтик, символист etc. Смысл сказанного в том, что я хочу и в выборе темы, и в ее осмыслении быть свободнее, чем сейчас. Я уверен, что в про-

тивном случае буду обречен на ложь. Сегодня, читая шестой номер «Мита бунгаку», я вдруг захотел объяснить Вам все это. Мне очень хочется, чтобы Вы, не как критик, а скорее как близкий мне человек, поняли мое состояние.

Рюноскэ Акутагава

20 февраля 1919 года. Табата.
Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!

Сразу же после нашей встречи схватил инфлюенцу и лежу в постели. Но температуры нет, так что, думаю, ничего страшного. Из-за болезни сильно задержал ответ. От Вас пришло уже два письма. Сейчас прикидываю, как побыстрее выздороветь и оставить свою школу. Я все думаю, не стоит ли в «Токио нити-нити» открыть литературную колонку. Хорошо, если бы удалось это сделать. Неплохо, конечно, открыть ее хотя бы в одной «Осака майнити», но отсутствие такой колонки в токийской газете не позволит ей установить тесные связи с литературными кругами, а это очень плохо. Из-за болезни прервал новеллу, которую пишу для «Синсёсэцу». Единственное, что делаю, — сочиняю в постели хайку и дзэку. Вот одна из них:

Как странно выглядит
В вечерних сумерках
Кукла из хризантем

Рюноскэ Акутагава

23 февраля 1919 года.
Масадзиро Кодзима.

Масадзиро Кодзима-сама!

Я все еще в постели и, по правде говоря, здорово струсил. Помнишь, сколько времени ты болел? А я ведь намного слабее — эта мысль неотступно терзает меня. Температура, правда, почти нормальная, поэтому, лежа в постели, я прочел массу книг. Только благодаря простуде мне удалось одолеть два огромных тома Херна. (...)

От Кикиути слышал, что у Кумэ и Эгути все в порядке. Наверное, ты тоже получил от Кумэ открытку, что он ушел из

газеты. Он и Эгути собираются переехать в Табату. Вместе с тобой и мной они намереваются собирать раз в месяц «Группу Табата», правда, что мы будем делать, не знают, но что-нибудь да будем. (...)

Если бы вопрос с Кэйо решился быстро, я бы мог еще раз прочесть лекцию об *it* и *that*. Школа механиков, пользуясь изменениями, которые произойдут в этом году, бессовестно увеличила количество часов, и я принял окончательное решение вести жизнь профессионального писателя. Я, естественно, в глубине души испытываю сильное волнение, но коль уж отправляешься в плавание, нужно попытаться добраться до того места, до которого удастся доплыть кораблю. А одно то, что я буду избавлен от необходимости прорабатывать английскую книгу для чтения, несказанно радует меня. (...)

Рю

6 марта 1919 года.

Юрико Ивабути

Юрико Ивабути-сама!

Ваше письмо и приглашение на поэтическую встречу пришли, когда я был простужен и находился в Токио, поэтому прочел их только сегодня. Если бы сделал это раньше, обязательно пошел бы на встречу — очень жаль. Это не просто красивые слова — в самом скором времени я оставляю школу, возвращаюсь в Токио и все равно собирался пойти к Вам попрощаться, поэтому поэтическая встреча представила бы мне прекрасную возможность сделать это. Люди любят давать советы: не хотите ли Вы устроить у себя домашнюю поэтическую встречу? И пригласить на нее меня? (...) Удобнее всего для меня любая пятница после пятнадцатого. Что касается времени, то можно и днем, можно и вечером (утром не удастся, так как у меня занятия в школе). На встрече будут ли читать только хайку или стихи других жанров, значения для меня не имеет, и я с удовольствием буду на ней присутствовать. Постарайтесь дать мне возможность посетить Вас. С удовольствием прочел Ваше письмо. Жду ответа.

Я бесконечно рад, что наконец прекращаю свою преподавательскую деятельность. Может быть, поэтому пейзаж, который я вижу из окна вагона, кажется мне таким по-весеннему свежим.

Трогательны горы в начале весны
Поросшие бамбуком

Рюноскэ Акутагава

7 мая 1919 года. Нагасаки.

Фумико Акутагава

Прибыл в Нагасаки. Свалился на голову бедного Нагами-сана. Местами Нагасаки просто восхитительный город. Особенно поражают районы, где причудливо уживаются прелесть Китая и прелесть Запада. Мощенные камнем улицы, на которых можно увидеть толпы иностранцев и китайцев. Каменные мосты в китайском стиле. В городе три старинных католических храма. Довольно большие. Вчера ходил в один из них и подлая проговорил с французским священником. На обратном пути, гуляя по улицам, наткнулся на интересную вещь — посылаю ее тебе. На этом заканчиваю.

3 июля 1919 года. Табата.

Сютаро Намбу

«В дороге» напечатана в «Осака майнити». По-моему, вещь получилась какая-то дурацкая, поэтому настроен я крайне пессимистически. Не могу заставить себя встречаться с людьми. Все, что читаю в этом месяце, ругаю почему зря. (Твое не читал, так что можешь успокоиться.) Я всем говорю и пишу, что, кроме воскресенья, ни с кем не встречаюсь. Я пишу постоянно. Борюсь со своими противниками — не особенно крепким здоровьем, погодой, критикой, потакающей вульгарной публике, сомнениями в своих возможностях, — я временами чувствую себя обессилевшим. Если захочется, пригласи меня как-нибудь к себе попить чайку. На этом заканчиваю.

17 июля 1919 года. Табата.

Сютаро Намбу

«Сомнение» — слабая новелла. Но изначально она не была обречена на то, чтобы быть слабой. Означает это вот что: я

убежден, что достаточно было еще немного поработать над ней, чтобы превратить в полнокровное произведение, — потому-то я и не хочу, чтобы меня побуждали много писать, чтобы торопили. Торопливое писание тоже, конечно, многому учит. Так было у меня в период «Воров». А вот теперь «Сомнение». На этом заканчиваю.

17 июля 1919 года. Табата.

Сютаро Намбу

Знай, что слабые произведения тоже нужно сочинять. Люди, не пишущие слабых произведений, обречены создавать лишь посредственные. Неудачи вполне возможны, поэтому нужно продолжать усердно писать, преодолевая неудачи. Собственное слабое произведение учит во сто крат лучше, чем слабое чужое. Очень многому научила меня «В дороге». К счастью, она не пойдет в «Токио нити-нити». На этом заканчиваю.

31 июля 1919 года. Табата.

Мосаку Сасаки

Мосаку Сасаки-сама!

У Готье есть роман «Мадмуазель Мопен». Совсем плохая вещь. Если будет время, обязательно прочти. Хотя бы бегло. Говорить о себе — непозволительная наглость, но если бы я отважился на нее, то сказал бы, что убежден: в свое время (года в двадцать три), духовно восприняв революцию, я смог впервые увидеть во всем величии таких гигантов, как Гёте и Толстой. Я до сих пор не в силах забыть того огромного влияния, которое в то сложное время оказал на меня «Жан-Кристоф». Глядя на себя с позиций сегодняшнего дня, я вижу себя человеком, впервые обратившим взор солнцу, изведавшим яркое солнечное сияние, но оставшимся в неведении, что на небе существуют и другие яркие звезды (например, зная величие Гёте, отворачиваясь от Тика, Гофмана и других немецких романтиков как от достойных поругания). Но, не изведав яркого солнечного сияния, невозможно увидеть и другие звезды, даже яркие. Без меня тогдашнего не было бы и меня сегодняшнего. В то же время я не могу не сочувствовать

множеству молодых смельчаков, которые, подобно мне в те годы, рассуждая о Толстом и Достоевском, о других даже вспоминать не хотят. Поэтому, говоря о литературе, я всегда стремлюсь, подняв указательный палец над головой, напомнить: вначале познайте солнечное сияние. Кто-то, глядя на мой поднятый палец, поймет, что должен обратить взор солнцу, но, с другой стороны, я опасуюсь, не высмеет ли он чуть мерцающие на небосклоне мои произведения. Если это произойдет, я, покорно склонив голову, отвечу: мое назначение — в меру своих скромных сил стараться зажигать крохотные огоньки, и я не собираюсь заниматься клеветой на солнечное сияние. Поступай я по-другому, здоровая почва искусства, которую нужно постоянно удобрять, не станет плодороднее.

В твоём произведении встречаются слова гётевского наказа. Я в глубине души порадовался за тебя. Если ты уже осознал величие Гёте (я имею в виду осознание не банальное), то попытайся смелее проникнуть в ещё неведомые тебе его глубины. И тогда Гёте с его первым томом Фауста превратится для тебя в бога.

Я не собираюсь выступать в качестве ментора и поэтому боюсь оказаться в роли поучающего, а может быть, даже просто показаться поучающим. Не делай удивленных глаз и не смейся, будто я говорю глупости. Мое единственное желание — чтобы ты хотя бы мельком взглянул на мой мир. Я говорю тебе о великих людях только потому, что их величие подвигло меня на все, что я совершил.

Я и сейчас вечерами, глядя на тома их произведений, испытываю чувство, будто они незримыми призраками витают в моем кабинете. Именно в такие минуты у меня появляется отвага жить. Эти призраки не несут в себе тень печали. Наоборот, на их лицах светятся улыбки, и я вижу их. Они все еще живы и ведут тяжелое сражение, чтобы защитить меня. Они подвигают на творчество. И это воодушевляет. Но когда это воодушевление покидает или готово покинуть меня, то в целом столетье (речь идет, разумеется, о творчестве, а не о реальной жизни) я не в состоянии выбрать себе попутчика. Я растерянно замираю в окружении этих людей. Да и сами картины древности, приходящие мне на ум, столь малочисленны, что хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать их. (...)

Рюноскэ Акутагава

22 сентября 1919 года. Табата.

Тадао Суга

Тадао-сама!

Спасибо за письмо. Сильно задержал ответ из-за того, что писал вторую часть «Ведьмы». Мне она представляется произведением, рассчитанным на широкую публику, и поэтому не нравится. Но все же, если ты заинтересуешься и прочтешь, мне будет приятно. У меня много планов. Хочу написать, например, несколько юмористических новелл, к которым, как ни странно, писатели совсем не обращаются. Если не написать за свою жизнь новелл двести, то, как мне кажется, приобрести имя невозможно. Ты согласен со мной? Хотелось бы написать и роман. Недавно с огромным интересом прочел «Утраченные иллюзии» Бальзака. В Японии нет такого могучего романа, правда? Он переведен на японский язык, и я мог бы рекомендовать его тебе, но это, к сожалению, такой огромный роман — два тома, триста восемьдесят три страницы, — что у меня язык не поворачивается сказать: прочти его. Одноактная пьеса Кикиути в «Тюокороне», по-моему, прекрасна, а как считаешь ты? (...)

Рю

11 ноября 1919 года. Табата.

Хисао Ода

Хисао Ода-сама!

С удовольствием прочел твое письмо. И твой вопрос, почему я так холодно и безразлично смотрю на общество, вполне, на мой взгляд, естествен для такого молодого человека, как ты. Однако я не могу отдавать обществу любовь большую, чем та, которая присутствует в моих нынешних произведениях, и здесь уж ничего не поделаешь; более того, произведения, проповедующие подобную любовь, кажутся мне неубедительными, даже лживыми. Я вскрываю глупость общества, но у меня и в мыслях нет нападать на него. Ведь я один из людей этого общества и поэтому лишь смеюсь над глупостью (и над глупостью других, и над своей собственной). Любить или ненавидеть общество — значит обманывать самого себя. А обманывая

себя, писать невозможно. В общем, я испытываю к обществу pity¹, a love² не испытываю. К тому же мне не хочется ненавидеть его более, чем с irony³. Возможно, такая моя позиция покажется тебе ущербной. Однако скоро повзрослеешь и придешь к тому же. Я прекратил преподавание и теперь свободен. Я так ненавидел школьную жизнь, что совсем забыл своих учеников. Помню лишь твой class⁴, который я обучал с первого года.

Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего.

Рюноскэ Акутагава

22 декабря 1919 года. Табата.

Масадзиро Кодзима

Масадзиро Кодзима-сама!

Спасибо за «Повесть о весеннем дожде». Я сразу же передал ее Катори-сэнсэю.

«Чудеса магии» не так поэтичны, как «Паутинка», поэтому, естественно, страдают отсутствием гармонии. Но зато есть и новеллы, содержащие то, что отсутствует в «Паутинке». Я не хочу утверждать, что писать нужно обязательно. Раньше и я все призывал: пишите, пишите, но теперь такой агитацией перестал заниматься. Я оставил мысль, что самое ценное — деятельность. Хочешь писать — пиши. Но заставлять себя писать, когда писать не хочешь, — глупо. (Другое дело, если это профессия.) Я пишу только потому, что хочу писать. И в то же время я не считаю, что желание писать всегда лучше, чем нежелание писать. Поэтому, если мне вдруг не захочется писать, я всегда могу прекратить это занятие. Путь, по которому должен идти служитель искусств, не один лишь «заморский». Японцам европейская одежда не подходит, поэтому для них естественное желание не превращаться в подобие Толстого или Гюго. Тебе так не кажется?

Что-то я заболтался. На этом заканчиваю.

Твой Рю. (...)

¹ Жалость (англ.).

² Любовь (англ.).

³ Иронией (англ.).

⁴ Класс (англ.).

29 декабря 1919 года. Табата.
Мосаку Сасаки

Уважаемый мэтр!

Не нужно без конца упражняться в умении складывать слова, писать свободно и легко. Сколько ни старайся, все равно не удастся чудесным образом перенестись из Усигомэ в Ясную поляну. Я хочу спокойно, без суеты нарабатывать умение. Ибо, сколько ни упражняйся в умении писать свободно, достичь этого можно только на своем собственном горьком опыте. Ты не должен повторять моих ошибок и заблуждений. Как мне представляется, твой недостаток проистекает не от трудности роста, а от его легкости. Если ты будешь только упражняться в умении писать свободно, никогда не наступит день, когда ты сможешь избавиться от своих недостатков. Я с удивлением прочел твое письмо. И пишу тебе потому, что удивился даже больше, чем ты можешь представить себе. Если бы ты знал, как прочна моральная основа, на которой ты стоишь, ты бы стал больше уважать себя и отказался от подражания бессовестным людям, которым нет числа в японской литературе. Пусть Кадзуо Хироцу делает вид, что его до слез трогает вид нижнего белья Толстого. Нужно ли тебе знать, что Сэйити Нарусэ готов служить швейцаром у Роллана? То, что Ёсиро Нагаэ скупает обувь Достоевского, — это его личное дело. Ты, Мосаку Сасаки, должен оставаться Мосаку Сасаки. И если ты сможешь оставаться таковым, то у тебя хватит упорства сложить из камней гору. Я тоже испытываю сейчас необходимость такого упорства. Прошу тебя, не занимайся упражнениями в умении писать свободно. Иначе тебе грозит опасность утратить природное дарование. На этом заканчиваю.

Гаки-сэй

29 января 1920 года. Табата.
Такэо Нагао

Такэо Нагао-сама!

Получил Ваше письмо. Отвечаю на него с полной откровенностью. Жизнь в Токио для такого юноши, как Вы, вопреки Вашим надеждам, окажется не столь уж легкой. Но если Вы

во что бы то ни стало хотите сделать это, то, пожалуй, лучше всего, как Вы и предполагаете, поискать работу в газетах и журналах. Я хочу только предупредить, что, во-первых, найти место не просто, а во-вторых, даже если Вы его и найдете, жизнь Ваша не будет такой уж безоблачной. Я не сомневаюсь, что, имея среднее образование, Вы вполне справитесь с работой корректора. Но быстро найти ее трудно. Только среди моих знакомых несколько человек ищут такую работу, а я, как это ни печально, не могу помочь им. Токио в чем-то, конечно, дает большую свободу, чем Ваш родной город, но в то же время в чем-то и сковывает больше, чем Ваш.

Я сейчас прикован к постели инфлюенцей. И это письмо тоже пишу лежа. Вы уж как-нибудь разберитесь, пожалуйста, мои каракули. В заключение хочу сказать, что я самый обыкновенный человек, ничем не отличающийся от других. И наконец, последнее, если Вы еще раз напишете мне и захотите получить ответ, то, извините меня, вложите в него конверт с маркой. На этом заканчиваю.

Ваш Рюноскэ Акутагава

27 марта 1920 года. Табата.

Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!

Давно не писал. Все это время молчал потому, что никак не удавалось описать любовь Сусаноо-но микото. Потому же не могу писать и новеллу для журнала. Я забросил все рукописи — и давно задуманные, и неоконченные. Лучше бы мне не браться за новеллу об зре богов, думаю я с некоторым раздражением. Я взялся за нее, надеясь воплотить нечто эпическое, и, если в конце концов что-то получится, поаплодируйте мне. Я еще хочу попробовать после этого описать два божества: Хикохоходэми-но микото и Такэру-но микото.

Юдзо Ямамото попросил меня написать рекомендательное письмо, чтобы он смог обратиться к Вам, что я и сделал. Если встретитесь с ним, знайте, что он лишь по виду несколько легкомыслен, а на самом деле весьма положительный человек. Кикиути и Эгути сказал, чтобы они писали. Хочу, чтобы обязательно написал и Сатоми. На этом заканчиваю.

Рюноскэ Акутагава

27 апреля 1920 года. Табата.
Кё Цунэто

Привет!

Благодарю за письмо и журнал. Даже я, профан, прочел твою статью с интересом. Я не думал, что философия права такая занятная штука. Поняв, что она собой представляет, проникся к ней огромным уважением. Прочитал и остальные статьи.

Книги еще не пришли — японская почта доставляет мне уйму хлопот. Из двадцати книг, включая твою, до меня не дошло четыре. Я считаю почту воровским притоном, что еще больше усиливает мое беспокойство. В ближайшие пару дней отправлю тебе заказную бандероль.

«Сусаноо-но микото» восхищаться не следует. Прежде всего потому, что я боюсь за твое реноме. Лучше прочти в четвертом номере «Тюокорона» новеллу «Осень». За исключением пяти-шести строк, она — я убежден в этом — сделана неплохо. А «Сусаноо» примерно с двадцать третьей части я предполагаю серьезно переделать. После этого можешь хвалить. Двадцать первого мать моего младшего брата умерла от перитонита. То одно, то другое — никак не мог как следует поработать над «Сусаноо-но микото» и писал его на скорую руку. В прошлом году умер отец, в этом — тетушка, и все житейские заботы свалились на мою голову. В университете Досия, мне кажется, слишком много людей восхищаются Хякудзо Куратой. Если ошибаюсь, прости. У меня появилась такая мысль потому, что я увидел, как восхищаются им Дзороку. Сына называли Хироси. Кикүти был godfather¹. Пока у тебя нет сына, ты не можешь считаться человеком в полном смысле этого слова. И с точки зрения жизненного опыта ты как бы с одним крылом. Сын большой, вес у него сейчас — он родился десятого числа — уже один каммэ и триста моммэ.

Я вдруг вспомнил, как мы ходили с тобой ужинать в «Хатиноки», когда ты в прошлый раз приезжал в Токио... Лекции Масао Кубо хороши. Но он такой же, как все. Поэтому сердиться на него не нужно. Удивляться тоже не нужно. В последнее время я начинаю достигать active serenity². Если мне удастся хотя бы чуточку приблизиться к будде, я смогу и хорошие вещи писать, и улучшить род человеческий, но таких

¹ Крестным отцом (англ.).

² Полной безмятежности (англ.).

высот я еще, к сожалению, не достиг. По-прежнему все время в кого-то влюбляюсь. А не влюбляться скучно. Но и будучи влюблен, я постоянно думаю: инстинкт влюбленности — это вождение и достижение минутного блаженства, а в жизни — это взлет и мгновенное падение. Мои рассуждения достаточно банальны, но если в конце концов доходишь до них, начинаешь вдруг считать себя персоной весьма значительной. Человек создан не только, чтобы влюбляться, все его помыслы сосредоточены на том, чтобы быть мечом, несущим смерть, и мечом, несущим жизнь. Кики перестал интересоваться литературой и искусством и хочет заняться социальными вопросами. Такой уж он человек — ничего не поделаешь. (...)

9 мая 1920 года. Табата.
Сютаро Намбу

Сютаро-сама!

Я восхищен твоим тщательно составленным списком расходов на поездку в Китай. Если удастся, давай поедем вместе. Я ведь тоже собираюсь совершить нишенское путешествие.

Как движется роман? Я слышал сегодня от Фудзимори, что ты написал статью обо мне в «SSS». Мне это очень приятно. (...)

Гаки

18 мая 1920 года. Табата.
Сютаро Намбу

Намбу Сютаро-сама!

Я восхищен мужеством, с которым ты отдаешь все свои силы писанию. Склоняю перед тобой голову. Еще ниже склонил бы голову, если бы ты продолжал писать с сегодняшней стремительностью, но лучше. У меня очень неповоротливая шея, поэтому я никак не могу заставить ее обратиться к работе, хотя двадцатую часть «Сусаноо» уже переработал, а с недавних пор пишу не покладая рук. Но все равно слабые места так слабыми и остаются.

Твоя сила критика (Кики такого же мнения) в твердости. А твоя сила как писателя (это можно видеть и по твоему рассказу в последнем номере «Мита бунгаку») —

в стремлении описать ситуацию тщательно, во всей полноте. Ты должен ценить в себе оба эти качества. Только в этом случае сможешь создавать прекрасные произведения. И тогда даже если Рюноскэ Акутагава не склонит перед тобой голову, родится нечто прекрасное, и ее склонит перед тобой весь остальной мир. Кикиути в «Литературных беседах» в «Синтё» в качестве выдающихся писателей назвал четыре имени: Катаками, Ки Кимура, Дзэнтаро Судзуки и Накатогава — меня это несколько удивило. Ну ладно, работай спокойно, пиши побыстрее свой роман, а я в сентябре снова восхищусь тобой.

До свидания.

Твой Рю

3 июня 1920 года. Табата.

Рицудзиро Вакэ

Рицудзиро Вакэ-сама!

Благодарю за «Марию Магдалину». Получив книгу, я решил вместе с благодарностью послать Вам «Волшебный фонарь» и, узнав в издательстве «Сюнъёдо», что его Вам не отправляли, сразу же выслал.

По поводу Ваших переводов. Я, не откладывая, написал письмо господину Мори из «Сюнъёдо». Он должен ответить непосредственно Вам. Хочу, однако, сказать, что в последнее время журналы неохотно печатают переводы, так что просто не знаю, что и делать. Если, несмотря на это, желание напечататься у Вас не пропадает, то, может быть, Вам лучше выпустить свои переводы книгой в издательстве «Синтёся». Есть ли у Вас переводы рассказов Джека Лондона о любви? Если есть, их можно будет, я думаю, пристроить в «Библиотеке Вертера». Напишите, я тут же передам Вам ответ «Синтёся». Рад буду помочь Вам.

Ваш Акутагава Рюноскэ

3 июля 1920 года. Табата.

Хидэо Наканиси

Хидэо Наканиси-сама!

Прости, что задержал ответ. Скоро я опять буду сильно занят, поэтому, если ты свободен шестого (понедельник),

то, может быть, зайдешь (вечерком)? В газете я взял отпуск, но пока еще нахожусь в Токио и стараюсь избегать гостей. Как прекрасно «Приглашение к путешествию!». Я с давних пор просто влюблен в строку оттуда: «Незабудки Суматры». Прекрасны у Бодлера и «Печали луны», и «Предраассветные сумерки», и «Окна». Много у него стихотворений в прозе. Ты читал «О знаменитом Бодлере» Готье?

Когда дует ветер доносится чарующий
запах незабудок Суматры

Гаки

15 июля 1920 года. Табата.
Сютаро Намбу

Сютаро Намбу-кун!

Получил твоё письмо. В нём и в критическом обзоре в газете ты написал о «Нанкинском Христе» в совершенно разных тонах. Меня это не порадовало. И сложилось впечатление, что хотя в обзоре ты в общем хвалишь мое произведение, но в то же время беспокоишься о том, чтобы не вызвать у читающей публики недовольства такими похвалами. Возможно, во мне говорит подозрительность, но то, что тон совершенно другой, чем в письме, — это факт. Но давай отвлечемся от этого и поговорим с позиций чистой логики: ты утверждаешь, что, отдавая должное художественным достоинствам произведения, ты не находишь в нём того, что нашло бы отклик в твоём сердце. Но разве недостаточно, чтобы произведение искусства волновало тебя своей художественностью? Не есть ли то, что находит отклик в сердце, великая тайна? Ты когда-нибудь задумывался серьёзно над этим? Мне кажется, вряд ли. Разбирая мое произведение, ты говоришь, что я злоупотребляю игрой. Что ты имеешь в виду, говоря о злоупотреблении игрой: то ли написание подобного произведения, то ли мою позицию, нашедшую в нём отражение? Если первое, то я бы мог указать с десятков произведений современных писателей, включая таких выдающихся, как Толстой, Франс, Бальзак. Хотел бы услышать от тебя ответ, почему их творчество — игра? Если второе, то я хотел бы спросить:

разве можно называть игрой состояние японского туриста, оказавшегося не в силах рассказать правду Цзинь-хуа? Разве когда нам, писателям, удается увидеть в жизни odious truth¹, наша нерешительность по поводу сделанного открытия не сродни мучениям японского туриста? Разве бывает так? Разве тебе не знакомо подобное чувство? Тебе не припоминается, что и ты видел вокруг себя бесчисленное множество таких же Цзинь-хуа? И разве ты не догадываешься, что убить их мечту — значит причинить им боль, несчастье?.. И этот вопрос также я хочу задать тебе. Кроме названных мной двух моментов, находишь ли ты нечто другое в моем произведении, что можно было бы назвать игрой? Есть ли на более чем двадцати страницах моей новеллы какие-либо неточности, несообразности? Об этом я тоже, отбросив нерешительность, хочу спросить тебя. Неужели ты настолько не понял темы моего произведения, что осуждаешь меня за образ Джорджа Мерри? Неужели полностью отвергаешь его? А если так, тогда, я думаю, не о чем и говорить.

Быть серьезным — совсем не значит заставлять персонажи произведения вести серьезные речи. Задача писателя состоит в том, чтобы достойно отразить нашу повседневную жизнь, заключенную в нас самих и в том, что нас окружает. Я не думаю, что тобой руководят какие-то дурные намерения. Но думаю, тебе следует несколько иначе взглянуть на свою серьезность. Я не хочу выступать в качестве ментора, но должен откровенно сказать тебе, что я недоволен. И хочу, чтобы ты также откровенно ответил мне. Пока не ответишь, я с тобой не хотел бы встречаться.

Гаки

13 января 1921 года. Табата.

Кэнги Тамабаяси

Кэнги Тамабаяси-сама!

Сегодня утром прочел Ваше письмо.

Хорошее письмо. Прочел его с удовольствием. Я часто получаю письма от незнакомых людей. Некоторые просят, чтобы я взял их к себе в ученики. Некоторые просят прочесть рукописи. Некоторые просят, чтобы я написал и послал им

¹ Низкую правду (англ.).

стихотворение. Получив такие письма, я обычно, недовольно морщась, отказываюсь. Ваше письмо совсем другое. Одно это уже доставляет мне удовольствие. К тому же в нем, как мне кажется, чувствуется чистота, утраченная нами, тридцатилетними. Еще раз хочу сказать — с удовольствием прочел Ваше письмо. Но, не будучи с Вами знаком, я не знаю, что Вам посоветовать. Могу лишь сказать то, что говорю всем: независимо от того, кем Вы хотите стать, учитесь. Учитесь, я тоже все время учусь.

Рюноскэ Акутагава

11 марта 1921 года. Табата.
Дзюнскэ Сусукида

Дзюнскэ Сусукида-сама!

Прежде всего хочу поблагодарить за заботу. Сегодня я получил массу рекомендательных писем. В ближайшее время я не собираюсь в Осаку, но если у Вас есть ко мне дела, могу приехать на денек раньше. Жду ответа. Писать о своем путешествии ежедневно я не собираюсь и решил сделать так: разделить свои записки на две части — впечатления о Юге, концентрирующиеся вокруг Шанхая, и впечатления о Севере, концентрирующиеся вокруг Пекина, — и послать их в газету. Выйдет ли из этого что-нибудь путное, не знаю. Позавчера, на прощальном вечере в ресторане «Сэйёкэн» Тон Сатоми в своем выступлении заявил: «В древности китайцы были великим народом. И я не думаю, что сейчас эти великие китайцы вдруг перестали быть великими. Оказавшись в Китае и не видя его былого величия, ты должен все равно это величие Китая обнаружить». Именно так я и собираюсь поступить. Три дня назад Мацуути-сан выдал мне деньги. Если не хватит, попрошу выслать, когда прибуду в Пекин. А до тех пор мне их вполне хватит. Выступая на том же прощальном вечере, Кан Кикиути сказал: «Акутагава всегда был счастливым. Но нынешней его поездке в Китай я ни капельки не завидую. Без приличного вознаграждения ни за что бы не поехал». Приличным вознаграждением он считает, например, тысячи две иен. Видимо, он спутал поездку в Китай с «Госпожой Жемчужиной». (...) На этом заканчиваю. С нетерпением жду ответа

Ваш Рюноскэ Акутагава

26 марта 1921 года. Осака.
Досё Акутагава

Досё Акутагава-сама! Надеюсь, вы все здоровы. Не успел я выехать из Токио, как у меня в поезде поднялась температура Поэтому пришлось сойти в Осаке. Посоветовавшись с Су-сукидой, который пришел на вокзал встретить меня, я решил остановиться в гостинице «Китахама», недалеко от редакции газеты, и ко мне пришел врач, живущий поблизости. Он вынул из саквояжа огромный термометр, каким, помнится мне, в давние времена ветеринар в нашем доме измерял температуру коровам, вставляя его в задний проход, и другие принадлежности, и я сразу же проникся к нему доверием. Он сказал, что у меня обычная простуда, и дал лекарства на два дня. Но я не стал его пить, достал перекись водорода, приготовил поло-скание и, приняв лекарство от простуды, которым меня снабдил Симодзима-сэнсэй, пополоскал горло перекисью водорода. В результате температура, доходившая до тридцати девяти, всего за три дня стала нормальной. Но на «Кумано-мару» я все же опоздал и подумал, не сесть ли мне на «Оми-мару», судно, отплывающее двадцать пятого из Модзи. Здесь, в Осаке, я вдруг обнаружил, что забыл дома ножницы, пластырь, градусник, блокнот и другие мелочи. Купив все это, я увидел, что чемодан оказался мал, пришлось купить корзину. От болезни я оправился быстро (сегодня утром у меня тридцать шесть и четыре), так что можете не беспокоиться. Следующее письмо отправлю из Модзи до посадки на судно.

Акутагава

P.S. (...) Прошу прислать мне в Шанхай адреса писателей и художников, обозначенных в конце новогоднего номера «Син бунгаку».

P.P.S. Пока я буду в отъезде, в газетах, возможно, появятся мои путевые заметки. Очень прошу вырезать их.

R.P.P.S. Только что был у меня Сусукида. Решено, я отпываю двадцать восьмого. Выеду из Осаки двадцать шестого или двадцать седьмого. Адреса пришлите в Шанхай. Здесь я их уже не успею получить.

R.P.P.P.S. Находясь в Осаке, написал для «Осака майнити» (воскресное приложение). Вырежь, пожалуйста.

До сих пор не чувствую вкус табака. Нос заложен. Ужасно.

Вместе с письмом посылаю шанхайскую газету. Посылаю ее потому, что в ней моя фотография.

Как простуда тетушки? Если не будет следить за собой, разболеется, как я. Нужно внимательнее относиться к себе. (...)
Заболеть во время поездки малоприятно. (...)

29 марта 1921 года. Борт «Тикуго-мару».
Хэкидо Одзава

Рюити Оана.
Привет!

Благодарю за то, что пришли проводить меня. В поезде у меня вдруг поднялась температура, и мне пришлось сойти в Осаке и неделю прожить в гостинице «Китахама». Двадцать седьмого я выехал из Осаки и двадцать восьмого сел в Модзи на «Тикуго-мару». В районе Гэнкай началась сильная качка — тарелки на столах стали подпрыгивать, ножи и вилки — падать на пол. У меня столько раз бывала морская болезнь, что и говорить об этом не хочется. Такая противная штука. Голова кружится, тошнит — ужас. Но морская болезнь случилась не у одного меня. Заболели не только пассажиры, это естественно, но даже некоторые члены команды. Среди пассажиров избежал ее лишь один американец. Он едет со своей любовницей-японкой. В самый шторм он преспокойно стучал на своей портативной пишущей машинке.

Сегодня распогодилось. Справа по борту показался остров Чечжудо. Он чуть побольше острова Авадзи, на нем живут корейцы, поэтому там одни корейские землянки, и кажется, что остров почти не заселен.

В Шанхай должны прибыть завтра днем, часа в три-четыре. Сегодня морская болезнь прошла, но после вчерашнего голова немного кружится.

Прочитав письмо, передай его, пожалуйста, Оане. На этом заканчиваю.

20 апреля 1921 года. Китай.
Масадзиро Кодзима

Нанкинрод — шанхайская Гиндза. Кафе, книжные магазины, куда я захожу, — все на этой улице, по ней решительно шагают студентки нового Китая с завитыми челками, в красных шерстяных шалях на плечах.

Гаки

24 апреля 1921 года. Китай.
Досё Акутагава

Мои дорогие!

Приехал в Шанхай, так и не избавившись от простуды, начался сухой плеврит, и мне пришлось лечь в клинику Сатоми. К счастью, болезнь удалось захватить в самом начале, лечение прошло успешно, и сегодня я выписываюсь. Но все же больше трех недель пришлось провести в клинике — это сильно нарушило мои планы. Я решил перенести поездку в Пекин на конец мая. А если и к тому времени окончательно не поправлюсь, вообще откажусь от нее и, ограничившись посещением района к югу от Янцзы, возвращусь домой. Находясь в клинике, я все время собирался написать вам, но так и не написал и заставил беспокоиться. Сейчас уже все хорошо. А то я уж было заволновался, как бы не умереть в Шанхае. Счастье еще, что здесь Садаёси Нисимура и Джонс. Кроме них меня навещали и совсем незнакомые люди, палата буквально утопала в цветах. Шанхайские газеты, бедные на сенсации, ежедневно сообщали о моем здоровье. Брат Икавы-куна даже поиздевался: «У тебя тут как в палате Его императорского величества». Еще с недельку пробуду в Шанхае, затем поеду в Ханчжоу, Нанкин, Суджоу, а потом — в Ханькоу.

На этом заканчиваю.

Шанхай. Гостиница «Бандзай».
Рюноскэ Акутагава

P.S. Список адресов и письма отца и Фумико получил. Хорошо бы переслали мне письма Сиро Мураты. Дорогие мои матушки, я вас тоже очень прошу писать — так приятно получать весточки вдали от Японии.

Дорогой отец, заклинаю тебя не злоупотреблять сакэ. Вот я после болезни дал себе слово, пока буду в Китае, не выкурю ни одной сигареты, и держусь. Заболев, я с трудом заставил себя не бросить все и не вернуться домой. Но, связанный поручением газеты, не имею права сделать это. Так соскучился по японцам, что с тоской смотрю на китайские лица.

25 апреля 1921 года. Китай.

Эйитиро Ока

Хотя этот парк и называют «общественным», вход туда китайцам запрещен, но при этом между деревьями слоняется немало голубоглазых бродяг, заброшенных сюда из Сибири.

Шанхай.

Акутагава-сэй

Май 1921 года. Китай.

Адресат неизвестен

Целыми днями гуляю по Шанхаю. Выучил дюжину китайских слов. Мне кажется, Шанхай не столько Китай, сколько Европа. Причем Европа второсортная. Вот и в ресторанчике, где я сейчас сижу, из посетителей-японцев лишь я один. Остальные — европейцы. И его величество король Англии с фотографии, висящей на стене, весело смотрит на нас.

5 мая 1921 года. Китай.

Досе Акутагава

Мои дорогие!

У меня все в порядке, не беспокойтесь. Вчера вернулся из Ханчжоу, через два-три дня поеду в Сучжоу и Нанкин, а оттуда — в Ханькоу. Сегодня, пятого мая, первый праздник мальчиков для Хироси. Желая, чтобы он и все остальные были здоровы. В Ханькоу в английском семмльменте я встретил Горо Уцуномию. Жаль, что вы не передали ему письмо для меня. Скоро начинается сезон дождей, а погода необычная для этого времени года — думаю, в Японии то же самое. Тетушка, береги свое здоровье. А ты, отец, не пей слишком много. В Китае я видел немало девушек, у которых нос похож на матушкин. Много еще больших толстушек, чем Фумико. В отдельном конверте посылаю вырезки из шанхайских газет. Меня поражает, что целых три дня они пишут обо мне. Из Шанхая я послал несколько посылок с книгами. Когда прибудут, проверьте, чтобы в них не оказалось клопов, и сложите в моей комнате на втором этаже. Много книг я вам посылаю. На этом заканчиваю.

P.S. Недавно видел сон, как я вернулся домой. Еще в Ходзэ. К нам пришел Ёси-тян. Вдруг он кричит: «Все вы призраки» —

и опрометью убегает. А тетушка остается. Тут я просыпаюсь, с таким тяжелым сердцем. Во сне Хироси все время вертелся между нами.

Жены моих шанхайских знакомых подарили ему серебряные игрушки (две штуки по двадцать иен каждая). Супруг Фумико в Шанхае пользуется успехом у женщин. На этом заканчиваю.

Акутагава

10 мая 1927 года. Китай.

Рюити Оана

В Шанхае было так ветрено, что я все время сидел безвылазно в гостинице. Потому и не писал — прости. Вчера наконец, продолжил поездку. Из Ханчжоу прибыл в Сучжоу. Здесь огромный конфуцианский храм, но в нем гнездится множество летучих мышей. Когда шел по нему, все время слышал шум дождя. Что такое, думаю, и с удивлением обнаружил, что это шелест крыльев летучих мышей. Весь пол загажен. Запах ужасный. Завтра собираюсь поехать в Янчжоу. На этом заканчиваю.

P.S. Прочли ли вы письмо, адресованное Хэкито-сэнсэю?

Сучжоу.

Гаки.

17 мая 1921 года. Китай.

Досё Акутагава

Мои дорогие!

Я уже побывал в Ханчжоу, Янчжоу, Суджоу, Нанкине. Если и дальше моя поездка по Китаю будет такой же спокойной и безоблачной, то я, пожалуй, до самой осени не вернусь домой. В общем, я решил, не заглядывая в Лушань, Санься, Тунтин, из Ханькоу сразу же отправиться в Пекин. Как бы прекрасен ни был Китай, скитаться по гостиницам больше двух месяцев не так уж приятно. Позавчера меня осмотрел врач, сказал, что все в порядке. Получили ли вы фотографии? Скоро должны получить те, которые я сделал в Янчжоу и Сучжоу. В Нанкине купил кимоно для Хироси. Это тигровое кимоно, которое надевают в праздник мальчиков китайские дети. Кимоно, правда, маленькое, не знаю, влезет ли в него Хироси. Зато

и стоит дешево — всего одну иену тридцать сэн. Я все время покупаю интересные книги и литографии — они мне все время попадаются — и поэтому сижу без денег. В Пекине должен получить очередную сумму на путевые расходы из оскской газеты. (За пребывание в клинике пришлось уплатить целых триста иен.) Хочу как можно скорее съездить в Пекин и сразу же после этого вернуться в Японию. Сегодня вечером сяду на судно и на пятый день буду в Ханькоу. Оттуда до Пекина двое суток, так что через неделю смогу отдохнуть в пекинской гостинице. Теперь письма шлите в Пекин. (...)

Надеюсь, все вы здоровы. Продолжаешь ли ты, тетушка, делать уколы? Лучше делать не внутривенные, а внутримышечные. Если еще не начала, начни после того, как получишь это письмо. В Китае существует чудодейственное лекарство в виде чая, которое здесь называют «Трава жизни». На собственном опыте убедился в его удивительной эффективности. Возвратившись, буду поить им тетушку и матушку. Фумико, как только кончится настойка женьшеня, сразу же купи. И заставь всех пить. Регулярно, не пропуская ни дня. Я говорю так, потому что принимать ее лишь время от времени равносильно тому, чтобы плевать на свое здоровье.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Только что получил ваше письмо. Я сейчас совсем без денег, и поэтому купить материю не смогу. Если хотите получить подарки, просите только дешевые.

31 мая 1921 года. Китай.
Микиноскэ Исида

Приехал в Чанжа. Осмотрел библиотеку Е Дэхоя. Сам Е-сэнсэй живет сейчас в Сучжоу. В библиотеке насчитывается триста пятьдесят тысяч томов. Он склонен распродать их. Может быть, вы купите? Здесь есть чрезвычайно интересные книги. Нужно будет еще просмотреть книги библиотеки Гуаньчутан. Завтра утром возвращаюсь в Ханькоу. А через пару дней хочу выехать в Лоян. На этом заканчиваю.

Акутагава-сэй

2 июня 1921 года. Китай.
Дзюньскэ Сусукида

Сусуки да-сэнсэй!

Я не забыл своего обещания «посылать материалы регулярно». Но выполнить его оказалось гораздо труднее, чем я предполагал. Причина в том, что кроме осмотра достопримечательностей, памятников старины, посещения театров, университетов мне приходится еще тратить время на приемах, лекциях, я вынужден принимать весьма уважаемых людей, желающих поглазеть на меня, как они глязуют на японскую саламандру в аквариуме зоологического сада. Когда я на судне, меня ловит капитан или эконом, и я должен внимательно рассматривать принадлежащие им фальшивые старинные книги и картины. Могу ли я после всего этого напрягать ум и что-то писать — нет, единственное мое желание лечь спать. Я уже дошел до нервного истощения. Долго так продолжаться не может. (Попробовал пару дней писать, но испугался, что совсем сдам.) Временами я думаю, что рекомендательные письма Савамуры-сэнсэя оказались чересчур сильнодействующим средством. Хорошо бы желание писать появилось у меня, когда я возвращусь на родину. Кроме того, я все время боюсь забыть то, что увидел, то, что услышал здесь, поэтому независимо от того, где нахожусь, будь то на улице, в ресторане или закусочной, я достаю блокнот и старательно все записываю. Вот какие у меня дела. Буду бесконечно рад, если Вы не станете ругать меня за то, что я не держу слова В Шанхае я две недели пролежал в больнице, и, когда вышел, уже наступила весна. От осмотра ущелья Ичанся отказался, от поездки в Сиань отказался и, быстро осмотрев Лаоян Лунмень, решил сразу же отправиться в Пекин. В конце концов, я совершенно не обязан непременно осматривать ущелье Ичанся. Что же касается Сианя, то там происходят столкновения, и до Лаоян Лунмень, как я слышал, по дороге вообще не добраться. Да к тому же и деньги тают со страшной быстротой. Меня буквально замучили посетители.

Искренне Ваш

Рюноскэ Акутагава

Июнь 1921 года. Кунтай.
Досё Акутагава

Мои дорогие!

В Ханькоу получил ваше письмо. Все это время был очень занят и тянул с ответом. Со здоровьем у меня все в порядке, не волнуйтесь. Не могу понять, сколько моих посылок вы получили. До сегодняшнего дня я отправил:

Из Шанхая — шесть ящиков и три мягких посылки (одну из них я отправил немного позже — это старинная европейская одежда).

Из Нанкина — ботинки и старинные изразцы (не помню, во сколько ящиков все это упаковано — я поручил это сделать хозяину гостиницы).

Я вкладываю в письмо квитанции, сходите, пожалуйста, на почту и скажите, что количество отправленных и полученных посылок не совпадает. Возможно, что я сам ошибся, поэтому нужно подсчитать общее количество. (Всего из Шанхая я послал сначала восемь посылок, и, если, кроме старинной европейской одежды, эти восемь посылок вы получили, все в порядке.) И еще, количество книг, указанное на ящиках, может быть ошибочным. В них еще должны быть старые газеты, которые я вложил туда. Поэтому, если даже количество посылок совпадает, нужно еще проверить, все ли книги на месте. Очень прошу сделать это, хотя и понимаю, как это утомительно.

Хочу надеяться, что и посылки, и книги в них не пропали. В Ханькоу накопил книг иен на пятьдесят-шестьдесят, завтра отправлю. Не знаю, сколько это будет посылок. Чтобы купить нужные книги, я до предела сократил расходы, экономлю на всем. В Ханькоу директор отделения Сумитомо господин Мидзуно пригласил меня пожить у него, благодаря чему снял с меня расходы на гостиницу. В Китае, куда бы я ни попадал, все японцы оказывают мне самый сердечный прием. Как хорошо, что я стал писателем!

Завтра уезжаю из Ханькоу. Осмотрю Лаоян Лунмень (дня три-четыре). После этого отправлюсь в Пекин. После отъезда из Ханькоу закончится большая часть моего путешествия.

Я тронут заботами Одзавы и Оаны. Послал им благодарственные открытки.

Живя в Японии, это трудно себе представить, но я целыми днями осматриваю всякие достопримечательности, а вечерами присутствую на приемах, пишу заметки — в общем, безум-

но занят. За путевые заметки в газету засяду, только вернувшись домой, здесь ничего не получается. Вот почему писать такие длинные письма для меня каторжный труд. Даже открытку написать я могу, лишь урвав время от сна. Здесь жара, как у нас в июле.

В Цзюцзяне встретился с сыном Икэбэ (это врач из Ходзё). Странно, когда встречаешь в Цзюцзяне человека, с которым двадцать лет не виделся в Японии. Сейчас он работает инженером в кинематографе Мацутакаэ.

Прошу вас, внимательнее относитесь к своему здоровью. Просыпаюсь по ночам и мечтаю о возвращении домой.

До свидания. *Акутагава*

P.S. Отправил письмо Ямамото в Пекин. Тетушка, продолжаешь ли ты уколы? Если будешь все время наведываться в Сибу, то полюбишь тамошних детей, а наших перестанешь любить. Бывай побольше дома, прошу тебя.

14 июня 1921 года. Китай.
Досё Акутагава

Мои дорогие!

Приехал в Пекин, встретился с Ямамото. В Китае сейчас повсеместно происходят волнения. Если еще немного помедлить, то, опасаясь, вернуться назад не удастся. Осмотрел Пекин (съездил в Датун и посетил храм Шифо). В ближайшие дни предполагаю отправиться в Шаньдун и, осмотрев Сайнань, Тайшань и Цюйфу, на острове Циндао сесть на корабль и морем вернуться в Пекин. Решил на этот раз в Маньчжурию и Корею не ездить. Таким образом, время моего путешествия сократится на треть, но ничего не поделаешь. В моей последней поездке (из Ханькоу в Пекин) мне повезло — не успел я покинуть Ичан, как там начались беспорядки. Только выехал из Ханькоу, как в Учане (он через реку от Ханькоу) вспыхнуло восстание. (Говорят, было убито более тысячи двухсот человек.) Эти волнения происходили сразу же после моего отъезда. Представляете, как бы я натерпелся, если бы они начались к моему приезду! Чувствую себя хорошо. Все время хожу в летней китайской одежде. Она стоит здесь всего двадцать восемь иен — очень дешевая и удобная. К тому же гораздо прохладнее европейской. В Пекине днем жара, но ночи прохладные. Я собираюсь вернуться в конце июня, самое позднее — в

начале июля, меня это очень радует. Шаньдун — это уже почти Япония, и поездка в Сайнан — уже почти возвращение домой. Пришли книги, отправленные из Ханькоу? Я заранее оплатил пересылку и упаковку. Получите их, пожалуйста. Я и в Пекине покупаю книги. Скажите об этом тетушке. Саквояж пришел в полную негодность. Все идет своим чередом, только вот клопы одолевают. О дне приезда в Токио заранее сообщу телеграммой, будьте все дома. Надеюсь, тетушка тоже не поедет в этот день в Сибу. Кстати, о Сибе — неужели брат до сих пор серьезно занимается торговлей? На этом заканчиваю.

Рюноскэ Акутагава. (...)

24 июля 1921 года. Китай.

Акутагава

Я не поехал в Датун, так как из-за забастовки туда не ходили поезда. Пришлось остаться в Пекине. Пришли ли книги, посланные мной из Ханькоу? Здесь лето в разгаре. Сюда больше не пишите. Письмо идет десять дней, а через десять дней меня уже в Пекине не будет. На этом заканчиваю.

P.S. Поблагодарите, пожалуйста, Симодзиму-сэнсэя за то, что он мне регулярно пишет. (...)

20 сентября 1921 года. Табата.

Мосаку Сасаки

Уважаемый мэтр!

Все время собираюсь ответить тебе, дотянул до сегодняшнего дня. Знай — это произошло потому, что меня буквально заставили написать новеллу для «Кайдзо». К моему удивлению, писалось так легко, что я исписывал в день по десять страниц. Но получилась у меня новелла или нет — не знаю.

По-моему, «Мать», третья ее часть, слабая. Следовало ярче выписать поведение героини в том месте, где она радуется смерти ребенка. Уверен, от этого новелла только бы выиграла, во всяком случае, освободилась от недостатков.

Я испытываю огромную радость, вспоминая в своих путевых заметках о Шанхае, о том, с чем пришлось столкнуться во время поездки. Писание новелл — это стремительный спуск с горы, а писание путевых заметок — спокойное движение по

равнине. Как известно, процесс писания — самое скучное занятие для писателя. Восторгаться здесь нечем. Чтобы хоть немного отдохнуть, собираюсь съездить на горячие источники. А сейчас продолжаю понемногу писать путевые заметки и одновременно новеллу.

По твоим словам, читая дополнительный номер «Тюо-корона», можно прийти к выводу, что японская литература находится в состоянии застоя. По твоему мнению, произошло это потому, что она лишилась духа свободы, существовавшего в то время, когда мы делали в ней свои первые шаги. Как хорошо, если бы появлялись полнокровные произведения, восклицаешь ты. Я придерживаюсь аналогичной точки зрения. Но ведь каждый, кто говорит: хорошо, если бы появлялись полнокровные произведения, слово «полнокровные» понимает по-своему. Поэтому хорошо, если есть хотя бы туманное представление о том, что значит полнокровное произведение. Сейчас каждый человек перечисляет самые различные условия, необходимые для так называемого полнокровного произведения: реализм, романтизм, человечность, домовитость, — и все это вкладывается в самое общее определение: полнокровное произведение. Это глупо. В результате появляется множество несоединимых точек зрения. Намного предпочтительней позиция старых натуралистов, утверждавших, что вне натурализма произведение вообще существовать не может. Твои нападки на Кикиути тоже вполне резонны. Но и в данном случае меня огорчает безапелляционность — ведь удавшиеся ему произведения в полном смысле полнокровны. (В частности, я восхищен литературной колонкой в газете, которую он ведет.)

Должен заявить тебе следующее еще об одной твоей блестящей идее. Причина возникновения критической точки зрения по поводу того, что литература не развивается, объясняется следующим. Литература не подчиняется законам прогресса, действующим в других областях. Она прогрессирует спиралеобразно. Поэтому она беспрерывно возвращается к первоначальной точке. В этом причина того, что натуралисты вернулись к временам «Кэньюся». Глупо, разумеется, критиковать их за это. Это первое.

Далее, прогресс литературы не подчиняется законам прогресса, действующим в других областях, еще и потому, что она развивается зигзагообразно и, следовательно, возможны

взлет и падение. Не видеть всего этого и нападать на писателей — большая ошибка критиков. Это во-вторых. (...)

Помимо отмеченных, существует и еще одна причина застоя литературы. Поскольку литераторы тоже люди, им тоскливо оставаться в одиночестве. (Есть много других причин, но это самая главная. Во всяком случае, самая главная, помимо стремления без разбора соглашаться с чужим мнением.) То есть тенденция взаимоотталкивания, напряжения и в конце концов слияния. В результате литераторы легко объединяются в группировки. (Это относится не только к близко знакомым между собой писателям, но к литературному миру в целом.) Когда появляются такого рода группировки, в литературе появляется масса различных нечетких *view*¹ (поскольку группировки занимают самые разные позиции).

Полнокровное произведение — это прекрасно. (...)

Плохо, когда не хочется писать. Когда приходится насиловать себя. Стоит мне закрыться в своем кабинете, как тут же пропадает желание писать. А вот когда выхожу из дому, тут же возникает такое желание. С тобой происходит то же самое? Если нет, запишись в своем кабинете. И хотя бы читай, читай без разбора, пусть даже пародии. Хочешь уйти из газеты — уходи. В своих произведениях ты еще не раскрыл себя целиком. Но ты обязан сделать это. Ты утверждаешь, что не хочешь писать. Следовательно, твердо решив не писать, ты тем самым показываешь, что тебе претит плестись в хвосте нынешних литераторов. Однако хотеть писать и не писать — это какая-то гипертрофия скромности. Ты называешь себя бесталанным просто потому, что не знаешь своих возможностей. Это все равно, что, не зная ценности фарфоровой чашки Нонки, использовать ее для сбора золы. Будь я на твоём месте, возмнил бы о себе в десять раз больше, чем того заслуживаю. И, занимаясь писательством, стал бы одновременно читать великих мастеров древности и современности, Востока и Запада, чтобы усовершенствовать свое мастерство. Ты должен писать, было бы странно, если бы ты не сделал этого.

Сегодня который уж день ясная погода. Новеллу закончил, и на душе спокойно. Собираюсь сходить к Кикуги. (...)

Р.С. Гамсун великий писатель!

¹ Взглядов (англ.).

19 января 1922 года. Табата.
Кураскэ Ватанабэ

Ватанабэ-сэнсэй!

В связи с Вашей статьей для «Синсёсэцу» ко мне приходил сегодня редактор. С удовольствием ознакомился с Вашим мнением об «Одержимом творчеством». Я действительно использовал Бакина только для того, чтобы высказать некоторые свои мысли. В западной литературе таких примеров можно найти сколько угодно. Подобные опыты кажутся мне плодотворными. Правда, при этом происходит искажение фактов, но, в общем, они вполне оправданны. (...)

Ваш Гаки

26 декабря 1922 года. Табата.
Камэноскэ Мидзумори

Камэноскэ Мидзумори-сама!

Простите, что пишу на бумаге для рукописей.

Хочу сказать Вам кое-что по поводу инцидента, возникшего в связи с пролетарской литературой. Это весьма серьезно. Не принадлежите ли Вы к пролетарской литературе? Прочитав несколько Ваших критических статей, я подумал, что Вы сражаетесь за пролетариат. Потому и посчитал Вас пролетарским писателем. Это никак не связано с тем, что Сасаки-кун, исходя, видимо, из предположений Мудзумори-куна, безоговорочно причисляет Вас к ним. Пролетарских писателей я особенно не читаю. Но у Вас есть произведения, которые представляются мне интересными. Поэтому я и указал Ваше имя. Дурных намерений у меня не было. Ни насмеяться, ни язвить я тоже не собирался. Если же Вы это так воспринимаете, то, возможно, виной тому проявленный мной недостаток писательского такта. Если Вы опасаетесь, что упоминание Вашего имени будет неверно понято кое-кем, не стесняясь вычеркните все, что я о Вас написал. Прочитав Вашу открытку, я был несколько удивлен. Я предполагал, что принадлежность к пролетарским писателям определяется не материалом или еще чем-то, содержащимся в произведении, а левыми тенденциями самого писателя.

Жду ответа. Если возникшая проблема доставила Вам какое-то неприятности, еще раз прошу простить меня. Мне бы очень хотелось встретиться с Вами и подробно объяснить истинную суть происшедшего.

Рюноскэ Акутагава

25 марта 1923 года. Югавара.

Рюити Оана

В последние дни все время идет дождь, я несколько раз звонил в Академию художеств, но внятного ответа так и не добился, поэтому отказался от мысли посмотреть выставленные там картины и в конце концов поехал сюда. Ты смотрел?

На следующий день после моего прибытия приехал человек из «Кайдзо» и стал настойчиво требовать, чтобы я написал для журнала, чем отбил у меня всякое желание писать. Камэсан умер, и дом осиротел. Гончарную мастерскую теперь превратили в лавчонку поделок из камфарного дерева. (...)

Преследуемый «Кайдзо», ничего не делаю. Никак не могу прийти в себя. В соседнем номере живет пожилой адвокат с сыном, в приступе гнева он раздраженно ругает горничную и вообще все на свете, а ночами страшно храпит — таково мое житье. Внизу поселилась женщина, играющая на кото, — она страшная засоня, встает не раньше двенадцати. Внешне похожа на медсестру Ота. Однажды, когда ее муж промывал проявленные и отпечатанные в бане фотокарточки, она подошла и сказала: «Нет, это не прежние неумелые дерьмовые фотографии, а умелые дерьмовые». Такой женщины следует опасаться. Я живу, разумеется, не в главном доме, а во флигеле. И жду, пока двадцать шестого в главном доме освободится тихая комната. Потом переберусь в нее. В городе открылось много новых лавок. Раз в неделю привозят фильмы. Это хорошо. Хотя еще ни разу в кино не ходил. У нашей собаки течка, и, когда я иду на почту отправить письма, меня сопровождают огромные псы, которые без конца грызутся между собой. Готов ли протез? На днях продолжу свою болтовню в открытке.

Кланяюсь.

25 марта 1924 года. Табата.

Садаёси Сайто

Садаёси-сан!

Прости, что пишу на бумаге для рукописей. Ты глубоко ошибаешься, утверждая, что я не отвечаю на твои письма. Я получил от тебя всего три письма, включая это, последнее. (Ты утверждаешь, что оно четвертое.) Далее, коль уж ты добрался до Бэппу, я надеюсь, и в Токио заедешь. А когда будешь в Токио, мы с тобой как следует поразвлекаемся, решил

я легкомысленно, потому и не писал. А ты возмущаешься. Почему ты так торопишься обратно в Китай? Жить в Ханькоу ужасно — ты со мной не согласен? Может, обманешь домашних и выберешься на пару деньков в Токио? Расходы по твоему пребыванию в Токио беру на себя. (Не возмущайся — я не собираюсь тебя унижать.) Может, и вправду удастся? Примерно с пятого числа будущего месяца я совершенно свободен. Если ты приедешь в это время, сможешь поселиться в гостинице рядом с моим домом. И Савамаса и Садандзи сейчас выступают, а такому человеку, как ты, посмотреть на токийское пепелище, я убежден, весьма полезно. Постарайся. Мне бы тоже хотелось увидеть твое цикадье лицо, и именно сейчас я начинаю освобождаться от работы, не то что когда пришло твое первое письмо — тогда дел у меня было невпроворот. В десятых числах сентября прошлого года мы с Нисикавой провели вместе несколько дней. Бедняжка — у него сгорело все, что он привез из Европы. У Накахары в Иокогаме тоже, кажется, сгорело все до нитки. Я сохранял полнейшее самообладание. Дело в том, что я был простужен и боялся, что, если начну суетиться, поднимется температура. Наша третья средняя школа сгорела дотла. Со-тян (Ёсида, сын плотника) погиб во время пожара. Сегодня встречался с одним китайским студентом. Говорят, он участник выходящего в Шанхае журнала «Содзо». Я снова возлюбил Китай.захотелось опять побродить по улочкам, где прогуливаются свиньи. Нет, на этот раз думаю отправиться в Европу. Но нужно раздобыть денег, поэтому даже не знаю, когда удастся осуществить эту мечту. Ты предприниматель, и твое назначение — наживать деньги, тебе следует побыстрее нажить их и стать моим патроном.

Мои книги, выпущенные «Сюнъёдо» и «Кайдзося», все до одной сгорели. Но, к счастью, лучшие из моих сборников «Расёмон» и «Кукловод» еще не все были распроданы в магазинах этих издательств и уцелели.

В будущем месяце мы с Кикиути поедem вдвоем в Кумамото, но это еще очень неопределенно. Если ты к тому времени еще будешь в Бэппу, с удовольствием посетим тебя. Как я уже писал, если сможешь приехать в Токио, обязательно телеграфируй.

Твой *Акутагава*

P.S. Ты все еще холостяк? А у меня двое сыновей.
22 октября 1924 года. Табата.

Кэндзи Такахаси

Кэндзи Такахаси-сама!

Извините, что пишу на бумаге для рукописей. Благодарю, что Вы снова написали мне. Я испытываю большую радость, что такой человек, как Вы, проявляющий столь большой интерес к науке, читает мои статьи. Итак, Ich-Roman¹. Вы должны согласиться, что когда рассказчик пишет от своего имени (Ich) — это не обязательно автобиографический роман. Вам с Ямагаси, по-моему, здесь есть над чем подумать. Я, скорее, сторонник точки зрения Майера и Оферманса, но, если найду веские доказательства их неправоты, не остановлюсь перед тем, чтобы стать отступником. Так что и я подумаю, и Вы тоже еще раз проанализируйте свои построения. Литераторы, всегда склонные делать поспешные выводы, пользуясь даже моими словами, трактуют: «Искусство долговечно, а жизнь коротка» — в чуждом для европейцев понимании. Теперь Ich-Drama². Само появление этого термина не имеет никаких логических оснований. Точка зрения Дибольда представляется мне более чем разумной. Возьмите хотя бы студентов немецкого отделения — большинство из них защищает Шиллера. Вам, я думаю, известна моя оценка Шиллера. В воскресенье я буду дома. Мне будет очень приятно, если меня навестит такой человек, как Вы, проявляющий столь большой интерес к науке, но, к сожалению, подобные посетители бывают у меня крайне редко. Меня донимает малоинтересная литературная молодежь, будущие писатели, которые обожают упиваться ядовитыми миазмами, которыми окутана литература.

Рюноскэ Акутагава

P.S. Прочсть первый Ich-Roman Шпильгагена, положивший начало этому направлению, — таков самый короткий путь понять, что это за явление. К сожалению, я не знаю названия этого романа. Так что помочь в этом не могу.

16 апреля 1925 года. Сюдзэндзи.
Фумико Акутагава

Фумико!

¹ Роман о себе (нем.).

² Драма о себе (нем.).

Хорошо, что Хироси ежедневно ходит в детский сад — ему это пойдет на пользу. Нужно на какое-то время оставлять его без родительской опеки. Ругать тебя за то, что, не посоветовавшись со мной, определила его туда, не буду, лишь молюсь, чтобы все было хорошо.

Твое письмо на писчей бумаге прочел легко, а написанное на бумажном свитке так помялось, что я с трудом разобрал его. Ты уж пиши поразборчивей.

Не понимаю, почему ты говоришь о деньгах. Перед отъездом я оставил сто иен деду и сто иен тетушке. Потом решил дать деду еще сто иен, подумав, что может не хватить на оплату счетов. Если мне понадобятся деньги, решил я, смогу телеграфом получить откуда угодно. Но сейчас такой необходимости нет. В моем бумажнике еще триста иен.

Если потребуется оплатить счет от садовника, сходи хоть в «Синтёся», хоть в «Кобунся». Тысенку они дадут обязательно.

Здесь я закончил три вещи: «Путевые заметки» и «Лекции по литературе» для «Кайдзо» и новеллу для «Бунгэй сьондзю». Теперь начну писать для «Дзёсэй». Получил уже штук пять телеграмм. Заходят ко мне довольно редко. Кумэ, Сатоми, Ёсии, Накатогава, Идзуми — все приехали сюда, чтобы работать. Горничная это прекрасно усвоила, быстро делает свое дело и не докучает пустой болтовней. То же и с едой — когда я иду к источнику, чтобы принять ванну, она заходит в мою комнату, ставит на стол поднос — чашка с рисом и курицей, стоящая на котелке с горячей водой, — и сразу же уходит. Так что я обслуживаю сам себя.

Хорошо бы прислал книги Камбара. Дурак этот Камбара, чего медлит, не пойму, до сих пор не получил ни одной. Будь добра, зайди к нему по дороге из детского сада и поторопи. Некоторые из них мне очень нужны в работе, для меня это серьезная проблема. Бумаги для рукописей осталась всего одна пачка. Тоже проблема.

Завтрак: немного молока, одно яйцо, три банана и кофе.

Обед: чашка с рисом и курицей или мясом, сырая рыба.

Ужин: то же, что обед. Кроме того, грибы и вареные овощи.

Иногда на обед и ужин я получаю другую еду, но в общем примерно это я ем каждый день. После еды — три-четыре кусочка сахара. Я привык к нему. Покупать сладости в лавочке, мимо которой я хожу ежедневно, что-то не хочется. Фасолевая пастила не нужна. Не нужно и печенье, так что не присылай. Как бы мне хотелось сходить в детский сад встретить Хи-

роси! Последние дни непрерывно идет дождь. На холмах пышно цветет сакура.

Рю

1 мая 1925 года. Сюдзэндзи.

Сютаро Намбу

Сютаро Намбу-сама!

Я не откликнулся на твое недавнее приглашение, даже на письмо не ответил — прости меня, пожалуйста. Не смог воспользоваться приглашением из-за пустякового, в общем-то, события, в котором я должен был принять участие (меня непосредственно оно не касается), пришлось немало посуетиться. К счастью, в конце концов все образовалось, меня поблагодарили, и я сбежал сюда. Все это время писал не разгибая спины, даже ванну некогда было принять. Меня это ужасно мучило. Но вчера работу закончил и скорее всего послезавтра уеду отсюда. Навешу в Камакуре больного Кумэ — и в Токио. Вот такие дела. Из-за безумной занятости в последнее время даже не имел времени влюбиться в какую-нибудь красотку.

Передай привет жене; если увидишься с сестрой, передай и ей привет. Госпожа Ёсида стала весьма известной личностью — восхищаюсь ею. Недавно прочел биографию Наполеона. Он был великим человеком, но в то же время и чудовищем. Никто так не презирал людей, как он. Мог бы рассказать о нем пару анекдотов, но они слишком длинные, поэтому не буду этого делать.

Твой *Рюноскэ Акутагава*

1 мая 1925 года. Сюдзэндзи.

Эйдзиро Нисикава

Все еще барахтаюсь в том же самом горячем источнике. (Пришло ли мое письмо, которое я послал тебе по адресу: г. Тоттори, Сельскохозяйственный колледж. Когда получишь, напиши мне в Табату. Твой адрес я забыл. Поэтому послать обещанные книги не мог.) Завтра или послезавтра возвращаюсь в Токио. До вчерашнего дня ко мне часто приходил в сопровождении жены старик Кёка Идзуми. Духом он моложе меня. Как говорил Мериме — крепкий конь. (Если у тебя

есть деньги, может быть, войдешь в общество по изданию собрания сочинений Кёка.)

Горы зазеленели. Сейчас я занят изучением книг русского писателя Пильняка. Мне кажется, он не очень интересен. Хотя в Советской России отзывы о нем самые хорошие. Но на них тоже особенно полагаться нельзя.

Рю

7 мая 1925 года. Табата.

Кэнскэ Акаги

Кэнски Акаги-сама!

Вчера вернулся в Токио из Сюдзэндзи. И сегодня пишу Вам. Не знал Вашего адреса (в своем письме Вы его не сообщили), решил отправить на адрес колледжа. История знает десятки миллионов подобных Вам впечатлительных, страдающих людей. Но среди них не было и одного процента таких, кто бы обладал могучим духом. Факт жестокий, но факт. Нужно закалять свой дух, постоянно помня об этом. «Без нашей дудочки никто не пляшет». Те, кто привык плясать под чужую дудочку, ни за что не заплашет, не слышав ее. Возлагать надежду на таких людей — большая ошибка. О чем бы Вы ни писали, помните, что сами способны дуть в дудочку. Иначе впоследствии не будете иметь права сокрушаться по поводу того, что «никто не пляшет». Вы, видимо, материалист. В таком случае признайте с еще большим мужеством этот жестокий факт. Очень хорошо, что Вы прочли «Карамазовых». Я тоже считаю этот роман лучшим из всего написанного Достоевским. Если будет время, прочтите и другие его произведения.

Я не сочувствую слишком рьяным революционерам. (Вы молоды, поэтому Вам это простительно.) Буржуазия будет свергнута. Диктатура пролетарской власти, отобранной у буржуазии, тоже падет. И тогда наступит время, когда государство перестанет существовать, о чем мечтал еще Маркс. Но путь к этому очень долог. Десятки тысяч людей будут убиты до того дня, как наступит райская жизнь. Вы, видимо, верите в коммунизм. Вы, должно быть, знаете о капиталистической политике, к которой перешла несколько лет назад Советская Россия. Должны верить в чистосердечность России или, уж во всяком случае, в чистосердечность Ленина, который рассматривал переход к капиталистической политике как необходимость. Мы все должны настойчиво продвигаться вперед. Суе-

та, волнения, истерия — такое может удовлетворить лишь любителей театральных представлений. Я, разумеется, не хочу этим сказать, что скован ограничениями, не позволяющими мне двигаться вперед даже медленно. Просто моя повозка снабжена хорошими тормозами, хоть как-то сдерживающими ее движение. Я хочу продвигаться спокойно, без нервозности. Вам, видимо, тоже, чтобы не задохнуться, нужно выработать в себе терпеливость. Вы так не думаете?

Должен приступить к своей ежедневной работе, так что вынужден на этом закончить. Я всегда ленюсь писать письма, поэтому, не исключено, отвечать Вам буду неаккуратно. Хочу, чтобы Вы знали это. На том заканчиваю.

Рюноскэ Акутагава

20 июля 1925 года. Табата.

Тацуо Хори

Хори-кун!

Прости, что пишу на бумаге для рукописей. В прошлый раз, показывая мне свой роман, ты сказал: «Писать модернистские вещи очень легко, но...» А я ответил: «Тогда и пиши модернистские вещи». Но теперь, подумав, хочу сказать, что если стоишь перед выбором: модернистское произведение или реалистическое, то, как бы это ни было трудно, следует писать не модернистское, а реалистическое произведение. Думаю, это будет весьма полезно для твоего роста. Это чрезвычайно важно, поэтому и решил написать тебе. Роман, который ты мне показывал, так сказать, умеренно модернистский. Поставить же перед собой цель писать более модернистские вещи, мне кажется, опасно с точки зрения совершенствования писательского мастерства. Как ты считаешь? До встречи.

Рю

25 сентября 1925 года, Табата.

Харуо Сато

Сэнсэй!

Немного приболел — едва освободился и сразу же решил написать тебе. (...) В последнее время я стараюсь по возможности не писать, работаю лишь ради пропитания. Но оказывается, это еще тяжелее, чем писать постоянно. Мне кажется, именно так и умирает литературный поденщик. Сейчас читаю

корректуру китайских путевых заметок. Все время откладывая ее, пишу одновременно лирические стихи. Можешь их прочесть. Я сейчас все время читаю поэтические сборники. И глубоко продумываю прочитанное — у меня чувство, что японские поэты глухи. (Я не говорю о пишущих танка.) Во всяком случае, достигая зрительного эффекта, они бессильны передать слуховой. Ты согласен со мной? По-моему, стоит поразмышлять над ритмом стихов в жанре нагаута, сайбара, имаё. С вечера идет осенний дождь. Листья на деревьях желтеют. (...)

Тёкоко

*29 октября 1926 года. Кугэнума.
Мосаку Сасаки*

Мосаку Сасаки-сама!

Вчера прочел в «Тюокороне» твою «Прогулку». Я очень явно ощутил твое расположение ко мне. От души благодарен тебе. С головой у меня неладно. Утром, в течение десяти-пятнадцати минут, после того как встаю, — все хорошо. Но малейший повод (например, мне не понравился ответ служанки) — и на меня находит невыразимая тоска. Я собираюсь написать для новогодних номеров нескольких журналов, но боюсь, что ничего не получится. Сразу же по возвращении в Токио хочу как следует обследовать свои нервы — сделать это мне всегда недосуг. Не исключено, что я злоупотребляю табаком и чаем. Несколько дней у меня жил пожилой Хэкито.

Рюноскэ Акутагава

*6 марта 1927 года. Табата.
Суэкити Аоно*

Суэкити Аоно-сама!

Простите, что пишу на бумаге для рукописей. Прочел в «Синтё» дискуссию критиков и захотелось написать Вам. И прежде всего о Либкнехте в моей новелле. Один из участников дискуссии заявил, что изображенный мной Либкнехт мог вполне найти место и в журнале «Курабу». Но дело в том, что мне-то этот журнал не подходит. Мне хотелось трагедию в горной келье Гэнкаку сопрячь с миром вне этой кельи. (Именно поэтому все, кроме последней части, происходит в горной келье.) Кроме того, мне хотелось намекнуть на то, что в мире наступила новая эпоха. Как Вы знаете, Чехов в «Вишневом саде» вывел студента новой эпохи и

заставил его скатиться по лестнице со второго этажа. Я не могу, как Чехов, несмешливо отмахнуться от новой эпохи. Но в то же время и не горю желанием встретить новую эпоху с распростертыми объятиями. Либкнехт, как Вы знаете, в одной из своих статей, посвященной встрече с Марксом и Энгельсом, которая включена в его «Воспоминания», восхищается ими. Я хотел, чтобы и на моего студента пала тень Либкнехта. Возможно, мой замысел не удался. Во всяком случае, за исключением Вас, никто из участников дискуссии не понял моего намека. Ну что ж, ничего не поделаешь. Но все же у меня явилось желание сказать Вам об этом, потому и пишу.

Далее. Я считаю, что независимо от того, принадлежит человек к буржуазии или нет, его жизнь, если она будет лишена хотя бы маленьких радостей, не принесет ему ничего, кроме страданий. Я почувствовал это еще отчетливее, прочитав «Беседы с Анатолем Франсом» Никола Сегура. Даже социалист Франс говорит, что люди, подгоняющие его к социализму, «достойны сострадания, близкого к презрению». Буду весьма признателен, если Вы простите меня за недостаточную вежливость моего письма.

Ваш *Рюноскэ Акутагава*

28 марта 1927 года. Табата.

Мокити Сайто

Сайто-сама!

Прости, что пишу на бумаге для рукописей. Благодарю за письмо, тронут твоим вниманием. Если только позволит время, я бы дописал к «Стране водяных» еще страничек десять. Более или менее удовлетворяют лишь «Миражи», опубликованные в «Фудзин корон». Хотя и эта новелла несколько фрагментарна — здесь уж ничего не поделаешь. Я все время стараюсь писать, напоминая себе Масасигэ Кусуноки, который вывел свои войска к реке Минатогава и начал решающее сражение, — в общем, тружусь не покладая рук. (...) Мне сейчас крайне необходимо: во-первых, зверская энергия, во-вторых, зверская энергия, в-третьих, зверская энергия.

Дрожит ветка с набухающими почками
Мгновение назад
С нее сорвалась обезьяна

Рюноскэ

Предисловие к сборнику переводов на русский язык

Сборник не был издан. Впервые опубликовано в «Собрании сочинений» в 1958 г.

Поминальник

Впервые опубликовано в 1926 г. в октябрьском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 23.

«*Сисянцизи*» — знаменитая китайская драма эпохи Юань (XIII—XIV вв.).

К стр. 24.

Посмертная табличка — деревянная дощечка на подставке с посмертным именем покойного, которое ему дают при погребении.

К стр. 24.

Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. — «Хацуко» в переводе «первый ребенок». *Тян* — ласкательное сан (суффикс вежливости), прибавляемое к имени детей.

К стр. 25.

...Детский сад мадам Саммаз в Цукидзи. — Известный в конце прошлого века английский детский сад и школа, открытые женой пастора-англичанина в Цукидзи — одном из районов Токио.

Двадцатые годы Мэйдзи — 80-е годы XIX века.

К стр. 26.

..*Меня окликнули: «А-сан!»* — По первой букве имени с суффиксом «сан» гейши называют своих постоянных посетителей.

К стр. 27.

Дзёсо Утифудзи (1662—1704) — японский поэт. Приведенное стихотворение названо «Придя на могилу Басё, думаю о своей болезни».

Басё (1644—1694) — великий японский поэт.

О себе в те годы

Впервые опубликовано в 1919 г. в январском номере журнала «Тюокорон».

К стр. 28.

Нарусэ Сэйити (1892—1936) — японский писатель, литературовед. Специалист по французской литературе. Университетский друг Акутагавы.

«*Синситё*» — литературно-художественный журнал, который основали Акутагава и его университетские товарищи Кан Кикүти, Юдзуру Мацуока, Сэйити Нарусэ и Масао Кумэ. Выходил с перерывами с 1906 по 1917 г.

Сэн — одна сотая иены.

К стр. 29.

Лоуренс Джон (1855—1916) — англичанин, профессор Токийского университета с 1909 по 1916 г.

К стр. 30.

Тоёда Минору (1885—1972) — японский литературовед, специалист в области английской литературы.

Фудзиока Кацудзи (1872—1935) — известный японский филолог.

Мюллер Макс (1823—1900) — английский филолог, специалист по сравнительному языкознанию.

К стр. 31.

...*писал рассказ «Кошелек».* — Рассказ не был опубликован.

К стр. 32.

Написал наконец половину «Носа». — «Нос» — первая новелла, принесшая Акутагаве известность.

Японские Альпы — так была названа в конце прошлого века англичанином Уильямом Голандом самая высокая часть горного хребта в центральной части острова Хонсю.

Таяма Катай (1871—1930) — японский писатель.

К стр. 33.

Гюисманс Жорж Карл (1898—1907) — французский писатель.

Дюрталь — герой некоторых произведений Гюисманса.

Кикүти Кан (1889—1948) — японский писатель, университетский друг Акутагавы.

К стр. 34.

Юдзэн — особый способ окраски тканей, названный так по имени его изобретателя.

Нагаи Кафу (1879—1855) — японский писатель.

Танидзаки Дзюньитиро (1886—1965) — японский писатель.

Кумэ Масао (1891—1952) — японский писатель, университетский друг Акутагавы.

Киркегор (1813—1855) — датский религиозный мыслитель.

...пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакья Муни. — Речь идет о пьесе Мацуоки «По ту сторону греха». *Сакья Муни* — родоначальник буддизма.

Мусякодзи Санэацу (1885—1976) — японский писатель и драматург. Увлекался толстовством. Один из основателей журнала «Сиракаба» («Белая береза»).

К стр. 35.

...часто в своей «Смеси» ... — «Смесь» — критический раздел популярного журнала «Сиракаба».

К стр. 36.

...«день уже склонялся к вечеру». — Цитата из Евангелия от Луки, гл. 24, стих 29.

...«горело в нас сердце наше» — там же, гл. 24, стих 32.

...«посадили на осленка» — там же, гл. 19, стих 35.

...«постилая одежды свои по дороге» — там же, гл. 19, стих 36.

Итикава Тюся (1860—1936) — японский актер театра Кабуки.

Накамура Утаэмон (1865—1940) — японский актер театра Кабуки, исполнитель женских ролей.

Дома и садзики — партер и ложи.

«*Татибаная*» — прозвище знаменитого японского актера театра Кабуки Удзаэмона Итикавы (1874—1945).

К стр. 37.

Икэда Тарука (1883—1921) — японский художник.

К стр. 38.

Итикава Санки (1886—1968) — японский литературовед, специалист в области английского языка и английской литературы.

Петцольд — норвежская пианистка, педагог, преподавала в Токийской консерватории с 1909 по 1924 г.

К стр. 40.

Оби — широкий кусок яркой парчи, служащий поясом для кимоно.

Ямада Косаку (1886—1963) — японский дирижер.

К стр. 42.

Хироцу Кадзуо (1891—1968) — японский писатель, критик.

«*Эмали и камеи*» — сборник стихотворений французского писателя и критика Теофиля Готье (1811—1872).

Симонс (1863—1931) — английский поэт, критик.

Риккерт Генрих (1863—1936) — английский поэт, критик

К стр. 45.

Кана — японская слоговая азбука, употребляемая наряду с иероглифами.

У моря

Впервые опубликовано в 1925 г. в сентябрьском номере журнала «Синтё».

К стр. 46.

Дзабутон — плоская подушка для сидения на полу.

«*История восьми псов*» — роман одного из известнейших японских писателей позднего средневековья Кекутэя Бакина (1767—1848).

К стр. 47.

Рё — старинная японская золотая монета.

К стр. 53.

«*Типпэрэри*» — песенка ирландских солдат, широко распространенная после первой мировой войны.

Письмо

Впервые опубликовано в 1927 г. в июльском номере журнала «Тюокорон».

К стр. 53.

...указав пальцем на его татуировку, сказал: «*Имя жены О-Мацу-сан, да*» — По-японски «сосна» — «мацу». Как сказано выше, на руке собеседника была выколота сосновая ветка.

К стр. 54.

Вакамару Уси — выдающийся японский военачальник конца XII века.

Фусума — раздвижные перегородки в японском доме в виде деревянной решетки, оклеенной специальной бумагой.

Сёдзи — раздвижные стены в японском доме. Внешне не отличаются от фусума.

Из записок Ясукиги

Впервые опубликовано в 1923 году в майском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 58.

Хорикава Ясукути — имя, взятое Акутагавой для своих автобиографических новелл.

К стр. 59.

Токи Дзэммаро (1885—1986) — японский поэт и литературовед.

К стр. 60.

...Исав продал брату право первородства за чечевичную похлебку. — Эпизод из Ветхого Завета.

К стр. 64.

Ламарк Жан Батист (1794—1829) — французский естествоиспытатель, создатель теории эволюции.

Десятииеновая бумажка

Впервые опубликовано в 1924 г. в сентябрьском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 69.

Журнал «Тюокорон» — существующий поныне крупнейший литературно-художественный и общественно-политический журнал, основанный в 1899 году.

День основания империи (Кигэнсэцу) праздновался 11 февраля.

Масао Хасэ — имеется в виду Масао Кумэ.

Юкити Отомо — имеется в виду Кан Кикүти.

Мёллендорф — известная немецкая скрипачка, гастролировавшая в Японии в 1913 г.

К стр. 70.

Ваграм — селение в Австрии, где в 1809 г. произошло решающее сражение между австрийской и французской армиями, в котором Наполеон I одержал решающую победу.

К стр. 72.

Мацумото Ходзэ — имеется в виду Юдзуру Мацуока.

«Подсолнухи» — известная картина голландского художника Ван Гога (1853—1890).

Хуго Вольф (1860—1903) — австрийский композитор.

Верхарн Эмиль (1885—1916) — бельгийский поэт и драматург.

К стр. 75.

Леблан Морис (1864—1941) — французский писатель.

К стр. 78.

«Ясукэ» — название известного ресторана, в котором подавались суси — рисовые колобки с начинкой из рыбы или овощей.

День в конце года

Впервые опубликовано в 1926 г. в январском номере журнала «Синтё».

К стр. 79.

... *украшавшие ворота ветки сосны и бамбука*, — На Новый год ворота домов в Японии украшают ветками сосны и бамбука, символизирующих здоровье и долголетие.

Некий социалист

Впервые опубликовано в 1927 г. в газете «Осака майнити симбун» от 4 января.

Зима

Впервые опубликовано в 1927 г. в июльском номере журнала «Тюокорон».

Он

Впервые опубликовано в 1927 г. в январском номере журнала «Дзесэй». Вторая часть («Еще один он») — в январском номере журнала «Синтё».

К стр. 90.

Хонго, Хондзё, Камэидо — районы Токио.

К стр. 92.

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт.

Рембо Артюр (1854—1891) — французский поэт.

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт.

Сусаки — в то время район развлечений в Токио.

К стр. 93.

Одавара — курорт неподалеку от Токио.

Херн Лафкадио (1850—1904) — американский писатель, в 1890 г. переехал в Токио, приняв японское гражданство, и по фамилии жены взял псевдоним Коидзуми Якумо. Способствовал росту интереса в Европе и Америке к Японии.

К стр. 99.

Янагибаси — в то время квартал публичных домов в Токио.

Хаори — короткое кимоно.

К стр. 100.

«*Полевой мак*» — роман крупнейшего японского писателя Нацумэ Сосэки (1867—1916).

«*Букмэн*» — известный английский литературный журнал.

К стр. 101.

«*Манъёсю*» — японская поэтическая антология VIII века.

Удивительный остров

Впервые опубликовано в 1924 г. в январском номере журнала «Дзуйхицу».

К стр. 103.

Хогарт Уильям (1697—1764) — английский живописец, график, теоретик искусства.

К стр. 104.

Susanrap — прочитанное наоборот Parnasus (Парнас).

...в *style secession*. — Стиль в английском искусстве, распространённый в конце прошлого века.

К стр. 105.

Сато Харуо (1892—1964) — японский поэт, писатель, критик.

Любовный роман

Впервые опубликовано в 1924 г. в апрельском номере журнала «Фудзин курабу».

К стр. 110.

«*Современная любовь*» профессора *Куриягавы*. — Модная в то время книга японского критика, специалиста в области английской литературы *Хакусона Куриягавы* (1880—1923).

Идзанаги и Идзанами — в японской мифологии родоначальники всех божеств синтоистского пантеона.

Мимикакуси — причёска, прикрывающая уши.

К стр. 111.

Курисима Сумико — популярная в те годы японская киноактриса.

...до великого землетрясения. — Имеется в виду катастрофическое землетрясение в районе Токио 1 сентября 1923 г.

Вассерман Якоб (1873—1934) — немецкий писатель.

Асакуса — район Токио, где сосредоточено множество увеселительных заведений.

Три окна

Впервые опубликовано в 1927 г. в июльском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 121.

Кимура Сигэнари — верный вассал военного правителя Японии *Тоётоми Хидэёси*. Погиб в бою в 1615 году. О нем сложено множество легенд.

В твоих глазах, смотрящих на меня... — Стихотворение из средневекового сборника «Дзэнрин-кусю». Оно было напечатано на обложке первого сборника новелл Акутагавы «Ворота Расёмон».

К стр. 123.

...палуба все больше коробится. — Некоторые японские литературоведы полагают, что под броненосцем ** подразумевается сам Акутагава, а под броненосцем *** — приятель Акутагавы, писатель Кодзи Уно (1891—1961), который незадолго до появления этого рассказа заболел нервным расстройством. Как известно, Акутагава всю жизнь боялся повторить судьбу матери, сошедшей с ума.

Зубчатые колеса

Впервые опубликовано посмертно в 1927 г. в октябрьском номере журнала «Бунгэй сундзю».

К стр. 124.

«Ояко-домбури» — японское блюдо, рис с куриным мясом и яичницей.

К стр. 125.

Каруидзава — дорогой японский курорт.

...«модан»... — Имеется в виду «modern girl», «модная девушка». Так в то время называли европеизированных японских девушек.

К стр. 126.

Цилинь и фынхуан — мифологические животные, встречающиеся в древней китайской поэзии.

К стр. 128.

...царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. — Речь идет о Ликурге, мифическом царе эдонян во Фракии, которого Зевс покарал безумием.

К стр. 129.

...души, превращенные в деревья в дантовом Аду. — «Божественная комедия» Данте, кн. 1, Ад, песнь 13.

К стр. 132.

«Горная келья» — так назывался загородный дом Нацумэ Сосэки.

К стр. 133.

«Марудзэн» — крупнейший книжный магазин в Токио, существующий поныне.

Хань Фэйцзы — древний китайский философ.

...*рассказ об искусстве сдирать шкуру с дракона...* — то есть никому не нужное, бесполезное искусство.

К стр. 135.

Суйко — полумифическая японская императрица конца VI — начала VII века.

...*вспоминая медную статую перед дворцом.* — Имеется в виду статуя Масасигэ Кисуноки, достойного такой чести за верное служение императору.

К стр. 136.

«*Путь в темную ночь*» — роман японского писателя Наоя Сиги (1883—1971), изображающий разочарование и пессимизм японской молодежи.

К стр. 138.

Сю Сюнсуй — японское звучание имени китайского ученого XVI века Чжу Шуньшюя, переехавшего в Японию.

К стр. 142.

Я сейчас же вспомнил древнего грека... — Речь идет об известном греческом мифе о Дедале и Икаре.

К стр. 143.

...*невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.* — Орест, по греческой мифологии, убийца своей матери Клитемнестры и ее второго мужа. *Духи мщения* — эринии — преследовали его за это.

К стр. 144.

...*населил мир моего рассказа сверхъестественными животными.* — Речь идет о повести «В стране водяных», обитатели которой — каппы — водяные.

К стр. 145.

Радостные птицы — метафорическое название сорок.

К стр. 146.

Бато-Кандзэон — один из образов буддийской богини милосердия Каннон. В этом образе она выступает богиней гнева.

Диалог во тьме

Впервые опубликовано посмертно в 1927 г. в сентябрьском номере журнала «Бунгэй сьундзю».

К стр. 150.

Штейн Шарлотта (1792—1827) — возлюбленная Гёте.

К стр. 152.

Сатанизм — течение в японской литературе, главным образом в поэзии, получившее распространение под влиянием Бодлера и Гюисманса.

К стр. 153.

...ангел, который на заре мира боролся с Иаковом. — Эпизод из Ветхого Завета.

Сон

Написано в 1927 г. Впервые опубликовано в «Собрании сочинений» в 1958 г.

Лягушка

Впервые опубликовано в 1917 г. в октябрьском номере журнала «Гэйкоку бунгаку».

Рояль

Впервые опубликовано в 1925 г. в майском номере журнала «Синсёсэцу».

Пятнашки

Впервые опубликовано в 1927 г. в январском номере журнала «Кураку».

Женщина

Впервые опубликовано в 1920 г. в майском номере журнала «Кайхо».

Шалаш для роженицы

Впервые опубликовано в 1917 г. в январском номере журнала «Канэ».

К стр. 169.

Богиня Аматаэрасу — богиня солнца, одно из главных синтоистских божеств.

Магатама — украшение-талисман из драгоценных камней.

Сказки о тигре

Впервые опубликовано в 1926 г. в газете «Осака майнити симбун» от 31 января.

Слова пигмея

Впервые опубликовано в 1923—1925 гг. в журнале «Бунгэй сյондзю».

К стр. 174.

...Одна из звезд... — стихотворение известного японского поэта Сики Масаоки (1867—1902).

Паскаль Блез (1623—1662) — французский ученый, философ, писатель.

К стр. 179.

«*Луньши*» — древний китайский трактат о поэзии.

Сэндзю — район Токио.

К стр. 180.

...удар резаком — поклон. — Существовал обычай, по которому, когда ваялась статуя будды, после каждого удара резаком мастер делал три поклона. Именно это, видимо, и имеет в виду Акутагава.

К стр. 181.

Гора Родзан славится в Японии тем, что с разных точек видится совершенно по-разному в отличие от знаменитой конусообразной горы Фудзи.

К стр. 182.

Исигуро Тэйити — японец, с которым Акутагава познакомился в Шанхае во время поездки в Китай.

К стр. 183.

Джемс Уильям (1842—1910) — американский философ-идеалист и психолог, один из основателей прагматизма.

К стр. 184.

...Если бы я был дома... — стихотворение из поэтической антологии VIII в. «Манъёсю».

К стр. 185.

Сиддхартха (Сакьямуни) — родоначальник буддизма.

К стр. 186.

«Записки от скуки» — памятник японской литературы XIV века. Автор «Записок» — монах Кэнко-хоси (1283—1352).

«Любовь сильнее смерти». — Имеется в виду роман Мопассана «Сильна как смерть».

К стр. 187.

Боваризм — понятие, появившееся во Франции после публикации романа Флобера «Мадам Бовари» для обозначения философии этого образа.

«...в мире голодных духов...» — Мир голодных духов — один из кругов буддийского ада.

Скандалная история с Белой Лилией, скандалная история с Арисимой, скандалная история с Мусьякодзи. — Белая Лилия — сценическое имя модной певицы, жены промышленника, которая сбежала с молодым человеком. Известный писатель Такэо Арисима (1878—1923) совершил совместное самоубийство со своей возлюбленной. Писатель Санзацу Мусьякодзи (1885—1979) в 1922 г. развелся с женой и стал открыто жить с другой женщиной.

Гурмон Реми де (1858—1915) — французский писатель, сыгравший большую роль в истории символизма.

К стр. 186.

Ниномия Сонтоку (1787—1856) — один из теоретиков перестройки сельского хозяйства Японии. После буржуазной революции Мэйдзи 1867—1868 гг. его идеи получили широкое распространение.

К стр. 190.

С.М. — *Сайсэй Мууро* (1889—1962) — японский поэт, писатель.

К стр. 191—192.

...Лягушка, прыгнувшая в заросший пруд... — Пересказ трехстишия Басё: «Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине».

К стр. 194.

Каибара Эккэн (1630—1714) — известный японский ученый-конфуцианец.

К стр. 196.

Бланки Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер, утопист-коммунист.

К стр. 198.

Сасаки Мосаку (1894—1966) — японский писатель.

К стр. 202.

Мур Джордж (1852—1933) — английский романист, эссеист.

К стр. 203.

Куникада Doppo (1871—1908) — японский писатель, поэт.

Мэй Ланьфаль (1895—?) — известный китайский актер.

Ху Ши (1891—?) — китайский философ-литератор.

К стр. 204.

...хотя персик и слива безмолвны... — Слова из «Исторических записок» о внутреннем согласии природы и морали.

К стр. 205.

«*Бунгэй сьондзю*» — литературно-художественный и общественно-политический журнал. Основан в 1923 г.

Сатоми Тон (1888—1983) — японский писатель.

Ван Шанчжэн (1526 — 1590) — китайский ученый, занимавшийся вопросами литературы и искусства.

Дуньхуанские раскопки. — Речь идет о Дуньхуанских пещерах в Китае, где было обнаружено огромное количество прекрасно сохранившихся произведений искусств.

К стр. 206.

Тосю Сяраку (годы жизни неизвестны) — знаменитый мастер портретной живописи; писал главным образом актеров. Его деятельность художника длилась всего десять месяцев — с середины 1794 г.

Огата Корин (1658—1716) — известный японский художник, прославившийся в разрисовке ширм.

Олок Рутерфорд (1809—1897) — первый британский посланник в Японии. В 1859 г. подвергся нападению ронинов-самураев, потерявших место в своем княжестве.

К стр. 211.

Сарудахико — японское синтоистское божество, отличавшееся уродством.

К стр. 215.

Такаяма Тёгю (1871—1902) — японский критик, литературовед.

К стр. 216.

Уно Кодзи (1891—1961) — японский писатель.

К стр. 217.

Тайга Икэ (1723—1776) — японский художник.

Сорай Огю (1666—1728) — японский ученый-конфуцианец.

К стр. 223.

Стриндберг Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель, публицист.

К стр. 230.

Ли Тайбо (701—762) — великий китайский поэт.

Тикамацу Мондзаэмон (1653—1724) — великий японский драматург.

Первый день первого года Сева. — 26 декабря 1925 г.

Заметки Тёкодо

Впервые опубликовано в 1925 г. в июньском номере журнала «Синтё».

К стр. 231.

Айгай Такахиса (1796—1834) — японский художник.

Батлер Самюэль (1835—1902) — английский писатель.

Сансё Кёка — псевдоним Тайга Икэ.

К стр. 232.

...деньги княжеств... — кредитные билеты, выпускавшиеся до буржуазной революции Мэйдзи и имевшие хождение лишь внутри княжества.

К стр. 233.

Унсё (1827—1909) — монах буддийской секты Сингон.

К стр. 234.

Ларошфуко де Франсуа (1613—1680) — французский писатель-моралист.

Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804—1869) — французский критик, поэт.

Мадам де Сабре (1599—1678) — хозяйка знаменитого во Франции салона.

К стр. 235.

Идзуми-сикибу (X в.) — поэтесса, автор широко известных дневников.

К стр. 236.

Сюнкан (1142—1178) — монах и политический деятель.

«Сказания о доме Таира», «Записки о расцвете и упадке домов Минамото и Таира» — произведения героического эпоса о борьбе за власть двух феодальных домов.

Итикава Дандзиро (1885—1922), *Накамура Утаэмон* (1865—1940), *Итимура Удзаэмон* (1874—1945) — известные актеры театра Кабуки.

К стр. 237.

Курата Хякудзо (1891—1943) — японский драматург.

К стр. 239.

Гуйс Г. Константин (1805—1892) — французский художник.

К стр. 240.

Кобаяси Исса (1763—1827) — великий японский поэт.

К стр. 241.

Бланко Ибаньес (1867—1928) — испанский писатель.

К стр. 242.

Сэйюкай — буржуазная партия так называемых конституционалистов. Просуществовала с 1900 по 1940 г.

Сумо — один из видов спортивной японской борьбы.

К стр. 243.

Бусон Ёса (1716—1783) — великий японский поэт.

Найто Мэйсэй (1847—1926) — японский поэт.

Годы Гэнроку — 1688—1704 гг.

Эдо — название Токио до 1868 г. Основан в 1590 г.

К стр. 244.

Оцуки Фумихико (1848—1928) — японский лингвист.

К стр. 245.

Янагида Кунио (1875—1962) — крупнейший японский этнограф.

Симаги Акахико (1876—1926) — японский поэт.

К стр. 246.

Найто Дзёсо (1662—1704) — японский поэт.

К стр. 247.

Саби — тонкость, изящество, простота — один из важнейших эстетических принципов японской поэзии.

К стр. 249.

Канда — район в Токио, где сосредоточены букинистические магазины.

К стр. 251.

Эпоха Токугава — годы правления феодального дома Токугава с 1603 по 1867 г.

Миятакэ Гайкоцу (1867—1955) — японский журналист.

Санто Кёдэн (1761—1816) — японский писатель.

Кибёси — популярные в XVII в. иллюстрированные книжки, часто юмористические.

Сярэбон — юмористическая литература XVII—XVIII вв.

Самба Сикитэй (1776—1822) — японский писатель, создатель кибёси, сярэбон и другой юмористической литературы.

Аэба Косон (1855—1922) — японский писатель, драматург.

Мори Огай (1862—1922) — японский писатель, военный врач.

Жизнь идиота

Впервые опубликовано посмертно в 1927 г. в октябрьском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 254.

Сумидагава — река, протекающая в Токио.

К стр. 255.

...из-под картины с изображением Пана. — В 1909 г. группа японских писателей, поэтов и художников образовала Общество Пана. Образ Пана являлся символом свободной жизни.

К стр. 256.

...голландец с отрезанным ухом. — Имеется в виду Ван Гог. Сойдя с ума, он отрезал себе мочку уха.

К стр. 257.

...он читал книгу учителя. — Речь идет о Нацумэ Со-сэки.

К стр. 263.

Герой. — Имеется в виду Ленин.

К стр. 264.

Хокурику — северная часть острова Хонсю.

Сугэгаса — плетеная шляпа, напоминающая формой зонт.

К стр. 267.

Divan — «Западно-восточный диван» Гёте.

«Новая жизнь» — исповедальный роман известного японского писателя Симадзаки Тосона (1872—1943).

Франсуа Вийон (1431—?) был приговорен к смертной казни.

К стр. 269.

«Поэзия и правда» — автобиографическое произведение Гёте.

Один из его приятелей сошел с ума. — Речь идет о писателе Кодзи Уно.

Радигэ Раймон (1903—1923) — французский писатель.

Кокто Жан (1892—1963) — французский писатель.

Так уж я думаю

Впервые опубликовано в 1923 г. в июльском номере журнала «Дзидзи симпо».

Глядя на паровоз

Впервые опубликовано в 1927 г. в газете «Санди майнити» от 15 сентября.

К стр. 272.

Кохару и Дзихэй — главные персонажи пьесы Мондзаэмона Тикамацу «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Не имея возможности соединиться, они покончили с собой.

К стр. 273.

Сайто Рёку (1867—1904) — японский критик, публицист.

В связи с великим землетрясением 1 сентября 1923 г.

Впервые опубликовано в 1923 г. в октябрьском номере журнала «Тюокорон».

Литературное, слишком литературное

Впервые опубликовано в 1927 г. в апрельском-июльском номерах журнала «Кайдзо».

К стр. 274.

«*Литературное, слишком литературное*» — перефразирование слов Ницше «Человеческое, слишком человеческое».

Под словом *повествование* Акутагава понимает фабулу.

К стр. 276.

«*Жираф*» — рассказ Дзюньитиро Танидзаки.

Ренар Жюль (1864—1910) — французский писатель.

Баррес Морис (1862—1923) — французский писатель.

Рыжеволосые — так в то время называли в Японии иностранцев.

К стр. 277.

«*Повесть о Гэндзи*» — первый в истории мировой литературы роман (XI в). Автор — фрейлина Мурасаки-сикибу (978—?).

Идзуми Кёка (1873—1939) — японский писатель.

Масамунэ Хакутё (1879—1962) — японский писатель, драматург, критик.

К стр. 278.

Брандес Георг (1842—1927) — датский литературный критик.

...*мой великий друг*... — Слова Тургенева, обращенные к Толстому.

К стр. 281.

«*Затем*» — роман Нацумэ Сосэки.

К стр. 282.

Ихара Сайкаку (1642—1693) — выдающийся японский писатель и поэт. Создатель жанра «повествований о брэнном мире», основного жанра городской литературы XVII в.

Такахама Кёси (1874—1959) — японский поэт, писатель.

Сакамото Сихода (1873—1917) — японский поэт.

Китахара Хакусю (1885—1942) — японский поэт.

Киносита Мокутаро (1885—1945) — японский поэт, писатель, драматург, литературный критик.

Муроо Сайсэй (1885—1962) — японский поэт, писатель.

...«*По тропинкам Севера*» — лирический дневник великого японского поэта Мацуо Басё.

К стр. 284.

Танка — один из видов японской поэзии, пятистишие, размером 5-7-5-7-7 слогов.

Хокку — один из видов японской поэзии, трехстишие, размером 5-7-5 слогов.

Исикава Такубоку (1886—1912) — выдающийся японский поэт.

Ёсио Исаму (1886—1960) — японский поэт, драматург.

«*Арараги*» — журнал поэзии танка, основанный в 1909 г.

«*Мёдзё*» — литературно-художественный и искусствоведческий журнал, основанный в 1900 г. Известен пропагандой европейской живописи.

Китахара Хакусю (1885—1942) — японский поэт.

Сайто Мокити (1882—1953) — японский поэт.

Сямисэн — японский трехструнный щипковый инструмент.

«*Сэйкацуха*» — группа поэтов, организованная Исикавой Такубоку вокруг журнала «Сэйкацу то гэйдзюцу» («Жизнь и литература»).

К стр. 285.

Токуда Сюсэй (1871—1943) — японский писатель.

...*Яувожу*... — Слова, высеченные на вратах Ада («Божественная комедия» Данте. Песнь третья).

К стр. 287.

Минамото-но-Санэтомо (1192—1219) — военный правитель Японии (сегун). Был известен также как выдающийся поэт.

Южные варвары. — так называли в средневековой Японии португальцев и испанцев.

Фукунага Банка (1886—1965) — японский писатель.

Аоку Кэнсаку (1883—1964) — японский писатель.

Энами Бундзо — японский писатель.

Льюис Мэтью Грегори (1775—1818) — английский писатель, поэт.

К стр. 288.

Хайку — то же, что хокку.

К стр. 289.

Сибано Рицудзан (1736—1807) — японский монах секты Дзэн.

Ходзэ Катэй (1780—1823) — японский ученый, врач.

К стр. 290.

Сираянаги Сёко (1884—1950) — японский писатель, литературный критик, искусствовед.

К стр. 291.

Валентино Рудольф (1885—1926) — американский киноактер.

К стр. 292.

Хайкайдзи — прозвище поэта Кобаяси Иссы.

Эпоха Тэммэй — 1781—1789 гг.

Кроче Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ, историк, литературовед, критик, публицист, политический деятель.

К стр. 295.

Токутоми Сохо (1863—1958) — японский литературный критик.

Куга Кацунан (1857—1907) — японский литературный критик.

Куроива Руйко (1862—1920) — японский литературный критик, переводчик.

Тидзука Рэйсуй (1868—1942) — японский публицист.

Яманака Мисэй — японский публицист.

Уэда Бин (1874—1916) — поэт, литературный критик, исследователь английской и французской литературы.

Френсис Генри Кери (1772—1844) — английский переводчик, литературовед.

К стр. 296.

Фредерика — девушка, дочь пастора, которую в студенческие годы любил Гёте. Описана в «Гёце фон Берлихингене» под именем Мария.

Дюнцлер Генрих (1813—1901) — немецкий литературовед, известен своими исследованиями творчества Гёте.

Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель.

Накамура Гандзиро (1860—1935) — актер театра Кабуки.

К стр. 297.

Каватия (Санэкава Эндзяку, 1877—1951) — театральный деятель, в начале века оказывал большую помощь Гандзиро Накамуре.

Вилье де Лиль-Адан (1838—1889) — французский писатель.

Век Богов — так называют доисторическое время в Японии.

К стр. 298.

Сусаноо-но-микото — одно из главных синтоистских божеств — бог ветра, владеющий морскими просторами.

Эпоха Мэйдзи — 1868—1912 гг.

К стр. 299.

Хоригути Кумаити (1865—1945) — дипломат, специалист по французской литературе.

Уистлер Джеймс (1834—1903) — американский художник.

К стр. 300.

Укиёэ — жанр японской гравюры.

К стр. 301.

Батлер Сэмюэл (1835—1902) — английский писатель.

К стр. 302.

Рэнку — дословно «нанизанные строфы»; одна из форм японской поэзии.

Ёкон Яю (1702—1783) — японский поэт.

Кодзима Масадзиро (1894—1972) — японский писатель.

Хаори — накидка, принадлежность парадной выходной одежды.

К стр. 303.

Тёка — дословно «длинная песня», одна из форм японского стиха.

Сайбара — древние вокальные произведения, создававшиеся на основе народных песен.

Ёкёку — пьесы театра Но. *Дзёрури* — драматическая поэма.

Додоицу — народная песня, имеющая размер в 26 слогов (7-7-7-5).

Суинберн Алджернон Чарлз (1837—1909) — английский поэт, драматург, литературный критик.

...могучий создатель «*Катаута-но-митимори*». — Речь идет о писателе Аятари Такэбэ (1719—1774).

Харрис Франк (1856—1931) — американский журналист.

К стр. 305.

...умерший молодым *Филипп*... — Имеется в виду герой «Жизни семьи Филиппа» Ж. Ренара.

Фтабатэй Симэй (1864—1909) — японский писатель, переводчик.

К стр. 306.

Карлейль Ричард (1790—1843) — английский критик, публицист.

Ёсиэ Коган (1880—1940) — японский поэт, специалист по французской литературе.

К стр. 307.

Накамура Сэйко (1884—1974) — японский писатель, литературный критик, переводчик.

К стр. 309.

«*Кофукай*» — группа художников, организовавшая в 1912 г. выставку.

Шпинглер Гоэл Элиас (1875—1939) — американский критик, теоретик искусств.

К стр. 311.

«*Сад Этикура*» — сборник афоризмов Анатоля Франса.

«*Таис*» — роман Анатоля Франса.

Редон Одилон (1840—1916) — французский график, живописец.

Цутида Бакусэн. (1887—1936) — японский художник, устроитель выставок западной живописи в Японии.

К стр. 312.

...*Аббат Муре* — герой романа Золя «Ошибка аббата Муре».

Бонтё (?—1714) — японский поэт.

Валери Поль Амброзио (1871—1945) — французский поэт.

К стр. 313.

Хата Гоёкити (1872—1958) — литературный критик, специалист по немецкой литературе.

...*снова закурил трубку*... — Имеется в виду «Общество трубки», организованное молодежью, группировавшейся вокруг известного писателя Сайсэй Муруо.

К стр. 314.

«*Заратустра*» — книга Ницше «Так говорит Заратустра».

Моро Гюстав (1826—1898) — французский художник.

Рёкан Тайгу (1757—1831) — японский поэт.

Миякэ Икусабуру (1897—1941) — японский писатель.

Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист.

К стр. 315.

Сайто Рёку (1867—1904) — японский писатель, критик, эссеист.

Хорики Ёсидзо (1892—1971) — японский литературный критик.

К стр. 316.

«*Группа неосенсуалистов*» — литературная группа, появившаяся в Японии в 1921 г.

К стр. 317.

«*Группа неорационалистов*» — такое наименование получили писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Синситё» — Акутагава, Кикиути, Кумэ.

Фудзисава Такэо (р. 1904) — японский писатель.

К стр. 318.

Период Эдо — 1603—1868 гг.

«Содося» — созданное в 1915 г. объединение художников, писавших в западном стиле.

К стр. 319.

...«понимание цели». — Речь идет о статье теоретика и практика пролетарского литературного движения Суэкичи Аоно (1890—1961), опубликованной в журнале «Бунгэй сэн-сэн» («Литературный фронт»), в которой говорилось о «социалистической цели».

К стр. 320.

«Вертер» — «Страдания молодого Вертера» Гёте.

«Рене» — «Рене, или Следствия страстей» Шатобриана.

К стр. 321.

Военный корреспондент жизни. — Симадзаки Тосон называл себя так, говоря, что жизнь — поле сражения и там тоже нужны свои военные корреспонденты.

Патер Уолтер (1839—1894) — английский писатель, литературный критик.

Карма — одно из основных понятий индийской философии — сумма поступков и их последствий, воздаяние за содеянное.

К стр. 322.

...среди пятидесяти миллионов человек... — Население Японии, по переписи 1925 г., — 59,8 млн. человек.

К стр. 324.

Бирс Амброзио (1842—1914) — американский писатель, журналист.

Исикава Масамити (1753—1830) — японский поэт, ученый. *Рокудзэн* — его псевдоним.

К стр. 325.

Цуруми Юскэ (1885—1973) — японский писатель, политик.

Беннетт Арнолд (1867—1931) — английский писатель.

К стр. 327.

Эпоха Тайсё — 1912—1925 гг.

Хисида Сюнсо (1874—1911) — японский художник.

К стр. 328.

...один из уважаемых мной людей... — Акутагава имеет в виду Сигэхару Накано.

Беседы о литературе

Впервые опубликовано в 1927 г. в январском номере журнала «Бунгэй сундзю».

К стр. 342

Кё Таданао — известный полководец конца XVI—начала XVII вв. Роман о нем написал Кан Кикүти.

Десять заповедей писателю

Впервые опубликовано посмертно в 1927 г. в сентябрьском номере журнала «Синтё».

К стр. 332.

«Голландский Сайкаку». — Голландским в Японии в то время именовали все пришедшее с Запада. Называя Сайкаку голландским, хотели тем самым подчеркнуть, что он порвал с национальной традицией.

Золотое правило. — Имеется в виду Золотое сечение Евклида.

Мой взгляд на «Повесть о себе»

Впервые опубликовано в 1925 г. в ноябрьском номере журнала «Синтё».

К стр. 333.

Фудзисава Сэйдзо (1881—1932) — японский писатель, театральный критик, публицист.

Ответ критику

Написано в 1922 г. Время первой публикации неизвестно.

К стр. 337.

Один критик... — Имеется в виду Такатэру Ифукубэ, опубликовавший недоброжелательную статью в сентябрьском номере журнала «Синтё».

Об искусстве и прочем

Впервые опубликовано в 1919 г. в ноябрьском номере журнала «Синтё».

К стр. 340.

«Призраки» — пьеса Ибсена.

Цубоути Сёё (1859—1935) — японский писатель, драматург, критик, переводчик, педагог.

Эчегарай-и-Эйсагирре Хосе (1832—1916) — испанский драматург. В последние годы жизни испытывал большое влияние Ибсена.

«Дитя Дон Жуана» — пьеса Ибсена.

К стр. 342.

Сантаяна Джордж (1863—1952) — американский философ-идеалист, писатель.

Отказаться от дурной тенденции

Впервые опубликовано в 1918 г. в ноябрьском номере журнала «Синтё».

К стр. 345.

Осанаи Каору (1881—1928) — режиссер, постановщик, драматург, писатель. Сыграл большую роль в становлении современного японского театра. Ставил пьесы Чехова, Горького.

К стр. 346.

...к неомастерству и школе неомастерства. — Речь идет о группе неомастерства, избравшей своим методом неореализм, которая была организована Акутагавой и его товарищами, начавшими издание журнала «Синситё».

...«объективность и плоскостное изображение». — Эти принципы провозгласили в качестве своего творческого кредо японские натуралисты.

Хомма Хисао (1886—1981) — литературовед, литературный критик. Специалист в области английской литературы.

Гюйо Ман Мари (1854—1888) — французский философ-позитивист, сторонник утилитаризма.

К стр. 348.

Фосс Генрих (1751—1826) — немецкий писатель. Один из представителей радикально-демократического крыла «Бури и натиска».

...*против братьев Шлегель*. — Речь идет об Августе Вильгельме Шлегеле (1767—1845), немецком историке литературы, критике, поэте, переводчике, и Карле Фридрихе Шлегеле (1772—1829), немецком критике, философе и поэте.

К стр. 350.

Коно Моронао (?—351) — японский военачальник, ставший одним из персонажей «Сказания о великом мире».

Плюсы и минусы пролетарской литературы

Впервые опубликовано в 1923 г. в февральском номере журнала «Кайдзо».

К стр. 352.

«*Кренкебиль*» — новелла Анатоля Франса.

«*Неофициальная история Японии*» — крупнейшее историческое сочинение, созданное в 1827 г. выдающимся японским историком, конфуцианцем, поэтом Рай Санъё (1780—1832).

К стр. 353.

Берне Людвиг (1786—1837) — немецкий писатель и публицист, глашатай буржуазно-демократических, революционных идей, а в последние годы — христианского социализма.

Завещание (письмо другу)

Написано в июле 1927 г.

Ренье Анри Франсуа Жозеф (1864—1936) — французский поэт.

К стр. 354.

Майнлендер П. (1841—1876) — немецкий философ. Покончил жизнь самоубийством.

К стр. 355.

Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий писатель-романтик.

Письма

К стр. 358.

Хирозэ Такэси (1874—1964) — окольный учитель Акутагавы.

«*Сёнэн сэкай*» — журнал для детей. Основан в 1895 г.

Боркман — герой пьесы Г. Ибсена «Йун Габриель Боркман».

«*Росмерсхольм*», «*Призраки*», «*Кукольный дом*», «*Женщины с моря*» — пьесы Г. Ибсена.

К стр. 359.

«*Кво вадис*» (в русском переводе «Камо грядеши») — роман Г. Сенкевича.

...на выставке Гахо... — Имеется в виду выставка известного в то время художника Гахо Хасимото.

Ямамото Киёси (1892—1963) — школьный товарищ Акутагавы.

К стр. 361.

Сайто Садаёси — школьный товарищ Акутагавы.

Синсю — район Японии.

К стр. 362.

Лермонтов говорил... — Слова Печорина из «Княжны Мери».

К стр. 363.

Цунэто Кё (1888—1967) — школьный товарищ Акутагавы. Впоследствии крупный правовед.

Росетти Данте Габриел (1828—1882) — английский художник, поэт.

Бёрдсли Обри Винсент (1872—1898) — английский художник и писатель.

К стр. 364.

Фудзиока Дзороку (1891—?) — школьный товарищ Акутагавы. Впоследствии философ. Участник пролетарского литературного движения в Японии. После войны погиб в автомобильной катастрофе.

К стр. 366.

...поблагодарить императора за рескрипт... — Имеется в виду императорский рескрипт об образовании 1890 года.

К стр. 370.

Канпиран — прозвище одного из школьных товарищей Акутагавы.

К стр. 371.

Storm — бесчинства в школьных общежитиях.

К стр. 372.

«Новые рассказы у лампы», «Речные заводы», «Цзинь, Пин, Мэй» — произведения китайской классической литературы XIII—XVI вв.

К стр. 374.

Асано Митидзо — школьный товарищ Акутагавы.

К стр. 375.

...памятник генералу Ноги. — Прославленный японский генерал Марэсукэ Ноги (1849—1912). После смерти импера-

тора Мэйдзи в знак преданности ему вместе с женой покончил жизнь самоубийством.

Фудзивара Каматару (614—669) — политический деятель древней Японии.

Такэути Сукунэ — политический деятель древней Японии, известный по преданиям, рассказывающим о правлении первых японских императоров.

К стр. 376.

Вид Густав Иоханнес (1858—1914) — датский писатель и драматург.

К стр. 377.

«*Нарушенный завет*» — роман Симадзаки Тосона.

К стр. 378.

Судзуки Миэкичи (1882—1936) — японский прозаик, известен также как детский писатель.

И ри — мера длины, около 4 км.

И тё — мера длины, около 100 м.

К стр. 379.

«*Возвратился к полям и садам*» — поэма великого китайского поэта IV в. Тао Юаньмина.

...украшенными сибирью... — Сибирь — орнамент в виде рыбьего хвоста.

К стр. 380.

Петер Уолтер (1839—1894) — английский писатель, литературный критик.

Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник.

К стр. 382.

«*Бранд*» — пьеса Г.Ибсена.

К стр. 384.

Беринг Морис (1874—1945) — английский журналист, литератор.

Мацуи Мацуба (1870—1933) — японский драматург.

К стр. 387.

Цубо — мера площади, 3,3 кв. м.

Синг Джон Миллингтон (1860—1938) — ирландский драматург.

К стр. 388.

Хара Дзэнъитиро (1892—1937) — школьный товарищ Акутагавы. Впоследствии занимался торговлей.

К стр. 389.

Косака Сибата (1872—1917) — японский художник.

Комуро Суйун (1874—1945) — японский художник.

Мотидзуки Сэйко (1886—1967) — японский художник.

Тани Бунтё (1863—1940) — японский художник. Внес большой вклад в развитие национальной японской живописи.

Цубата Митихико (1868—1938) — японский художник, попытавшийся под влиянием европейской живописи привнести нечто новое в традиционное японское искусство.

Утида Кэйсон (1890—1961) — японский художник, писавший в европейском стиле.

Тода Бакусэн (1887—1936) — японский художник, писавший в европейском стиле.

К стр. 390.

Мацумото Мататаро (1865—1943) — психолог, занимался организацией художественных выставок.

Ёкояма Тайкан (1868—1958) — художник, организатор художественных выставок.

Тэрадзаки Хиронари (1866—1919) — японский художник.

Ямамото Сюнкё (1871—1933) — японский художник.

Сакуратани Кидзима (1877—1938) — японский художник, организатор художественных выставок.

Каваи Гёкудо (1873—1957) — японский художник.

К стр. 391.

Найто Нобуру (1882—1960) — японский скульптор.

Фудзиси Кою (1882—1958) — японский скульптор.

Иси Хакутэй (1882—1961) — японский художник.

Минами Кундзо (1883—1950) — японский художник.

Фудзисима Такэдзи (1867—1943) — японский художник, внесший большой вклад в становление в Японии живописи в европейском стиле.

Сайто Гоёсаку (1880—1951) — японский художник.

Накамура Фусэцу (1866—1943) — японский художник, каллиграф.

Ёсида Хироси (1876—1951) — японский художник.

К стр. 392.

Добровольская — жена военного агента посольства России в Японии.

Накадзима Канэко — японская певица.

«*Ночлежка*» — так была названа в Японии пьеса М. Горького «На дне».

Осанаи Каору (1881—1928) — драматург, режиссер, крупнейший театральный деятель Японии.

Свифт — преподаватель английского языка в колледже, где учился Акутагава.

К стр. 393.

Суга Торао (1864—1943) — ученый-германист. Преподавал в колледже, где учился Акутагава.

Какэмоно — японская картина или каллиграфическая надпись на продолговатой полосе шелка или бумаги. Решается вертикально.

Коно Тофу — знаменитый японский каллиграф XIV в.

К стр. 394.

Накамура Готакэ (?—1913) — выдающийся японский каллиграф.

Ои Тэцитаро — малоизвестный японский поэт, каллиграф.

К стр. 395.

Исида Микиноскэ (1891—1974) — школьный товарищ Акутагавы. Впоследствии историк.

К стр. 396.

Крон (1874—?) — скрипач и дирижер. В 1913—1925 гг. был профессором Токийской консерватории.

«Ученик дьявола» — пьеса *Бернарда Шоу*.

«Побежденный» — пьеса немецкого поэта, писателя и драматурга *Вильгельма Шольца* (1874—?).

Майор Суиндон, *генерал Бэргони* — персонажи «Ученика дьявола».

Симпа — один из японских «новых театров», испытывавший большое влияние театра Кабуки.

К стр. 397.

Общество Фуюдзан — общество молодых художников, основанное в 1912 году художником *Сайто Ёри* (1885—?) и просуществовавшее всего один год.

Кобаяси Токусабуро (1884—1949) — японский художник, писавший в западном стиле.

Китаяма Сэйтаро — японский художник.

Кимура Сохати (1893—1971) — японский художник, принадлежавший к Обществу Фуюдзан.

Курода Киётэру (1866—1924) — японский художник-реалист.

Кисида Рюсэй (1891—1929) — японский художник-импрессионист, один из основателей Общества Фуюдзан.

Кубо Масао — переводчик, литературный критик.

Виндельбанд Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ-неокантианец.

К стр. 398.

«Кокумин симбун» («Народная газета») — основана в 1900, закрыта в 1942 г.

Такакусу Дзюндзиро (1866—1945) — специалист по индологии и буддизму. В то время профессор Токийского университета.

Куруита Масами (1874—1946) — японский историк. В то время доцент Университета культуры.

Торидэ — японская театральная труппа, существовавшая с 1912 по 1914 г.

Нихонкан — увеселительное заведение в районе Асакуса в Токио.

К стр. 399.

Сангу Макото (1892—1967) — поэт, литературовед, соученик Акутагавы по колледжу.

Куроянаги Сётаро (1871—1923) — профессор английского языка в годы учебы Акутагавы в первом колледже.

Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист, представитель интуитивизма и философии жизни.

Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, ученик и последователь Шеллинга.

Оно Яэдабуру — соученик Акутагавы по колледжу.

К стр. 400.

Токонома — ниша в японском доме, где висит свиток, лежит фамильное оружие.

Херрик Роберт (1591—1674) — английский поэт.

К стр. 403.

...не восхваление зла, а жажда добра. — Имеются в виду «Цветы зла» Бодлера.

К стр. 405.

..Амэ-но ками, Ти-но ками, Нараку-но ками, Аматаэрасу омиками. — Большая назвала себя богиней неба, богиней земли, богиней преисподней и, наконец, богиней солнца — это единственное из названных ею божеств, присутствующее в синтоистском пантеоне.

К стр. 406.

Цутия Буммэй (1890—?) — японский поэт, школьный товарищ Акутагавы. Один из участников «Синситё».

Ямамото Гомбэй (1861—1933) — адмирал. В то время премьер-министр Японии.

...стал нападать на группу Сацу. — Речь идет о нападениях на политических деятелей и высшее командование флота — выходцах из княжества Сацума при смене кабинета Ямамото Гомбэя.

К стр. 407.

Грегори Изабелла Августа (1852—1932) — ирландский драматург.

К стр. 409.

«Записные книжки». — Речь идет о романе английского писателя и драматурга Джона Лили (1554—1606) «Эвфуес, или Анатомия остроумия».

К стр. 410.

«Нора» — пьеса Г. Ибсена.

«Ханнеле» («Вознесение Ханнеле») — пьеса Б. Гауптмана.

Нагата Микихико (1887—1964) — японский писатель.

К стр. 412.

Уэда Кадзутоси (1867—1937) — японский литературовед.

Лэм Чарлз (1775—1834) — английский писатель.

Прифер — канадец, преподаватель английского языка и английской литературы.

К стр. 413.

Котт — француз, преподаватель истории европейской литературы Нового времени.

Теокрит, Сайронид, Синсас — вымышленные имена.

К стр. 414.

Шредер Эмиль — пастор германского посольства в Японии, вместе с женой активно занимавшийся пропагандой немецкой культуры в Японии.

«*Сиракаба*» — литературно-художественный журнал, издававшийся с 1910 по 1923 год. Его основателями были известные писатели, члены одноименного общества, Санэацу Мусякодзи, Наоя Сига, Тон Сатоми, Такэо Арисима и др. Большая заслуга журнала — знакомство японцев с творчеством Толстого, Ромена Роллана и т.д., а также с творчеством импрессионистов.

Блейк Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник.

К стр. 415.

Американский сезон — в то время период интенсивного культурного обмена между Соединенными Штатами и Японией. Обычно это происходило осенью.

К стр. 417.

«*Никакай*» — группа, организованная в 1913 г. художниками, пишущими в западном стиле.

«*Бунтэн*» — выставка искусств министерства просвещения, проводившаяся с 1907 г.

Умэхара Рюдзабуро (р. 1888) — японский художник.

Ясуда Юкихико (1884—1978) — японский художник.

Имамура Сако (1880—1916) — японский художник.

Мицую Кокусиро (1874—1936) — японский художник.

Кимура Сохати (р. 1893) — японский художник.

К стр. 418.

Юнкер — преподаватель немецкого языка первого колледжа.

...*падение Циндао* — Циндао — город в Восточном Китае. 15 августа 1914 г. Япония предъявила Германии ультиматум, потребовав отозвать свои корабли из Циндао. Не получив ответа, Япония объявила Германии войну. 7 ноября гарнизон Циндао капитулировал.

К стр. 420.

...*благодаря Роллану*... — Имеется в виду книга Ромена Роллана «Жизнь Толстого».

К стр. 424.

Шеридан Ричард Бринсли (1751 — 1816) — английский драматург, театральный и общественный деятель.

Фут Сэмюель (1720—1777) — английский комедиограф.

Льюис Мэтью Грегори (1775—1818) — английский романист и поэт.

Радклиф Анна (1764—1823) — английская писательница.

Мэтьюрин Чарлз Роберт (1782—1824) — английский писатель.

Рид Чарлз (1814—1884) — английский романист и драматург.

К стр. 428.

«*Сикисима*» — сорт сигарет.

Ампель — имеется в виду «Дневник Ампеля» швейцарского философа Генри Фредерика Ампеля (1821—1881).

К стр. 429.

Тодде (1857—1920) — немецкий искусствовед.

Уукамото Фумико (1900—1969) — будущая жена Акутагавы.

К стр. 434.

Аракава Дзюноскэ — известный в Японии ваятель, создавший множество скульптур Дзидзо — буддийского божества, покровителя детей и путников.

Ватануки Хеитиро — псевдоним Хаясибара Кодзо (1885—1975) — литературоведа, поэта, соученика Акутагавы по первому колледжу.

К стр. 438.

Кубоман — сокращенные фамилия и имя японского драматурга, писателя и поэта Кубота Мантаро (1889—1963).

Акаги Кохэй (1891—1949) — японский литературный критик.

К стр. 438.

Гото Суэо (1886—1967) — японский писатель.

Тикамацу Сюко (1876—1944) — японский писатель, критик.

К стр. 443.

Ока Эйитиро (1890—1966) — японский драматург.

К стр. 445.

Ояма Ивао (1842—1914) — японский генерал, прославившийся в русско-японской войне как главнокомандующий маньчжурской армией. Умер почти одновременно с Нацумэ Сосэки.

К стр. 448.

Накамура Когэцу — японский литературный критик.

Нацумэ Кёко (1877—1963) — жена Нацумэ Сосэки.

К стр. 449.

«*Мрак*» — роман Нацумэ Сосэки, вышедший в 1916 г.

К стр. 450.

Эпоха Тэмпё — 729—749 гг.

Сэсё (1420—1506) — великий японский художник.

Хасимото Гахо (1835—1909) — японский художник.

Симомура Кандзан (1873—1930) — японский художник.

К стр. 451.

«*Сэйдза*» — литературно-художественный журнал.

К стр. 454.

Морита Сохэй (1881—1949) — японский писатель.

«*Его младшая сестра*» — рассказ Мусякодзи Санэацу, напечатанный в журнале «Сиракаба» в 1915 г.

К стр. 455.

Сакаино Коё — буддийский философ.

Хатиман — бог войны в синтоистском пантеоне.

Эпоха Нара — 710—794 гг.

Эпоха Воюющих царств — период междоусобных войн в Японии в XVI в.

Период Реставрации — так в японской историографии именуется Революция Мэйдзи 1867—1868 гг.

Вацудзи Тэцуро (1889—1960) — японский философ, логик, историк культуры, литературный критик.

К стр. 456.

Эути Кан (1887—1975) — японский писатель и литературный критик. Близкий друг Акутагавы.

Комия Тоётака — литературовед и литературный критик.

Абэ Дзиро (1883—1959) — литературный критик, философ.

Абэ Ёсисигэ (1883—1966) — японский философ.

Ногами Тоёитиро (1883—1950) — японский литературовед, исследователь театра Но.

Хинацу Коноскэ (1890—1971) — японский поэт, литературовед.

К стр. 458.

Икэсаки Тадатака (1891—1949) — литературный критик. Псевдоним — Акаги Кохэй.

К стр. 459.

Муся — сокращенная фамилия писателя Мусякодзи Санаэ-ацу.

К стр. 460.

Сано Кэйдзо (1884—1937) — профессор военно-морской школы механиков в Иокосуке, где преподавал Акутагава. *Сано Ханакко* (1895—1961) — его жена, поэтесса.

Оку-сан — вежливое обращение к замужней женщине.

К стр. 461.

«*Куросио*» — литературно-художественный журнал, основанный в 1927 г.

Эпоха Токугава — правление феодального дома Токугава, XVI—XIX вв. *Годы Гэнна* — 1615—1624 гг.

Ван Мо, Цзе Цзинь — китайские поэты и художники VI—VIII вв.

Тао Цзинь (365—427) — китайский поэт.

Исикава Дзёсан (1583—1672) — японский военачальник, поэт, ставший в конце жизни отшельником.

Кофу Такэси — дзэнский монах.

Шаванне Пюви де (1824—1898) — французский художник.

Цукамото Ясима (1903—1944) — младший брат будущей жены Акутагавы.

К стр. 466.

Суга Тадао (1899—1943) — японский писатель, главный редактор одного из крупнейших литературно-художественных журналов «Бунгэй сундзю».

Отагуро Мотоо (1893—1972) — японский музыкальный и театральный критик.

К стр. 467.

«*Бунсё сэкай*» — литературно-художественный журнал, выходивший с 1906 по 1920 г.

Дзё — мера жилой площади, примерно 1,5 кв.м.

К стр. 470.

«*Осака майнити*» — крупная японская газета.

К стр. 472.

Нисида Китаро (1870—1945) — известный японский философ.

К стр. 473.

«*Тэйкоку бунгаку*» — литературно-художественный журнал, основанный литературным факультетом Токийского университета. Существовал с 1895 по 1917 г.

К стр. 478.

Год обезьяны — по шестидесятилетнему циклу 1912 г.

К стр. 482.

«*Юдифь*» — пьеса немецкого драматурга, поэта и прозаика Кристиана Фридриха Хеббеля (1813—1863).

Сусукида Дзюнкэ (1877—1945) — японский поэт, эссеист, редактор литературного отдела газеты «Осака майнити». Газета «Токио нити-нити» была поглощена «Осака майнити». Название осталось прежнее.

«*Ёмиури*» — крупнейшая японская газета.

К стр. 484.

Ито Хиробуми (1841—1909) — крупнейший японский политический деятель эпохи Мэйдзи.

Тоёсима Тосио (1890—1955) — японский писатель, переводчик.

К стр. 485.

«*Ямотакэру-но микото*». — Новелла была написана и опубликована под названием «Сусаноо-но микото».

К стр. 487.

«*Бунсё курабу*» — литературно-художественный журнал, издававшийся с 1906 по 1920 г.

«*Луна в тумане*» — одно из выдающихся произведений японской средневековой литературы. Автор повести Акинари Уэда (1734—1809).

К стр. 488.

«*Мита бунгаку*» — литературно-художественный журнал, издававшийся с 1910 по 1944 г. Был основан как орган литературного факультета университета Кэйо, одного из крупнейших в Японии частных университетов, основанного японским просветителем Юкити Фукудзавой в 1858 г.

«*Синдзидай*» — общественно-политический журнал.

К стр. 489.

Утида Роан (1868—1929) — японский писатель, эссеист, литературный критик.

К стр. 490.

Саваги Кодзуэ (1886—1930) — японский историк искусств. В то время читал в университете Кэйо историю европейского искусства.

К стр. 491.

Нисимура Садаёси — школьный товарищ Акутагавы.

К стр. 494.

«*Синтёся*» — издательство, выпускавшее журнал «Синтё», основанный в 1904 г., в котором активно печатался Акутагава.

К стр. 497.

Намбу Сютаро (1892—1936) — японский писатель, литературный критик.

Дзэку — четверостишие, один из видов китайской поэзии.

Ивабути Юрико — хозяйка литературного салона.

Нагами Токутаро (1890—1950) — японский драматург, искусствовед.

К стр. 500.

Ода Хисао — ученик Акутагавы в период его преподавания в Военно-морской школе механиков.

Катори Хадзума (1874—1954) — японский поэт, занимался художественным литьем.

Каммэ — мера веса, 3,75 кг.

Моммэ — мера веса, 3,75 г.

К стр. 504.

Кубо Масао (1891—1953) — японский писатель, драматург.

К стр. 505.

Фудзимори Дзюндзо (1897—1980) — японский писатель, литературный критик.

«*SSS*» — литературный журнал «Санэс» («Три S»).

К стр. 506.

Катиками Нобуру (1884—1928) — японский критик, литературовед, специалист по русской литературе.

Кимура Ки (1894—1979) — японский писатель, публицист.

Судзуки Дзэнтаро (1884—1957) — японский писатель, публицист.

Накатогава Китидзи (1896—1942) — японский писатель.

Вакэ Рицудзиро (1889—1968) — сотрудник газеты «Осака майнити», переводчик английской литературы.

Наканиси Хидэо — владелец издательства «Наканисия».

К стр. 508.

Цзинь-хуа, Джордж Мерри — герои новеллы Акутагавы «Нанкинский Христос».

Мицути Норинобу — сотрудник газеты «Осака майнити».

К стр. 509.

«*Госпожа Жемчужина*» — повесть Кана Кикиути, пользовавшаяся огромным успехом.

К стр. 510.

Акутагава Досё (1849—1928) — приемный отец Акутагавы.

«*Син бунгаку*» — литературно-художественный журнал. С 1906 по 1920 г. выходил под названием «Бунсё сэкай».

К стр. 511.

Одзава Хэкидо (1881—1941) — японский поэт.

Оана Рюити (1894—1966) — японский художник.

Джонс — шанхайский корреспондент агентства Рейтер.

К стр. 513.

Дорогие мои матушки... — Акутагава имеет в виду приемную мать и тетку.

Мурата Сиро (?—1945) — японский журналист, заведующий восточно-азиатским отделом газеты «Токио нити-нити».

Ёси — племянник Акутагавы.

Хироси — сын Акутагавы.

К стр. 517.

Сумитомо — в то время одна из крупнейших финансово-промышленных олигархий Японии.

К стр. 519.

Симодзима Исаоси (1870—1947) — врач, поэт, каллиграф.

К стр. 522.

Ватанабэ Кураскэ (1901—1963) — историк, один из учеников Акутагавы.

Мидзумори Камэноскэ (1886—1958) — писатель, издательский работник.

К стр. 524.

Савамаса Масадзиро (1892—1929) — японский актер.

Итикава Садандзи (1880—1939) — актер, театральный деятель, один из организаторов свободного театра.

Нисикава Эйдзиро — школьный товарищ Акутагавы.

Накахара Ясутаро — школьный товарищ Акутагавы.

К стр. 525.

Такахаси Кэндзи (р. 1902) — литературный критик, литературовед, переводчик немецкой литературы.

Ямагиси Мицунобу — литературовед, специалист по немецкой литературе.

Оферманс — профессор германистики японского университета Дзёти.

«Искусство долговечно, а жизнь коротка» — слова Гипократа.

К стр. 526.

Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель.

«Синтёся», *«Кобунся»* — издательства, в которых печатался Акутагава.

«Кайдзо» — литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся с 1919 по 1955 г.

«Дзёсэй» — женский журнал, выходивший с 1922 по 1928 г.

К стр. 527.

Камбара Харуо (1900—1960) — японский писатель, этнограф.

Ёсида Яёи (1892—?) — первая любовь Акутагавы. Оказала большое влияние на его становление как писателя.

К стр. 528.

Ахаги Кэнскэ (р. 1907) — японский поэт и историк.

К стр. 529.

Хори Тацуо (1904—1953) — японский писатель.

К стр. 530.

Нагаута — жанр древней японской поэзии, песни, баллады.

Сайбара — жанр древних вокальных произведений, созданных на основе народных песен.

Имаё — жанр японской средневековой поэзии, восьмистишие.

К стр. 531.

«*Курабу*» — развлекательный журнал, в котором печатались главным образом произведения массовой литературы.

К стр. 532.

«*Фудзин корон*» — женский журнал, выходящий с 1916 г.

Кусуноки Масасигэ (1294—1336) — японский военачальник, одержавший ряд блистательных побед.

В. Гривнин

ОГЛАВЛЕНИЕ



В поисках человека	5
НОВЕЛЛЫ, МИНИАТЮРЫ	22
ЭССЕ	173
ПИСЬМА	371
Комментарии	544

Рюноскэ АКУТАГАВА

Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — глупее глупого. Обращаться несерьезно — опасно.

Назвать тирана тираном всегда было опасно. Но сегодня не менее опасно называть раба рабом.

Совість не появляется с возрастом, подобно бороде. Чтобы обрести совесть, необходимо определенное воспитание.

Опасные мысли — это мысли, заставляющие шевелить мозгами.

Понять, что народ глуп, — этим гордиться не стоит. Но понять, что мы сами и есть народ, — вот этим стоит гордиться.

Художник, я уверен, всегда создает свое произведение сознательно. Однако, познакомившись с произведением, видишь, что его красота и безобразие наполовину порождены таинственным миром, лежащим вне пределов сознания художника. Наполовину? Может быть, лучше сказать — в основном?

Уничтожить рабство — значит уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабского сознания не просуществовать и дня.

Рюноскэ Акутагава
"Слова пигмея".

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"